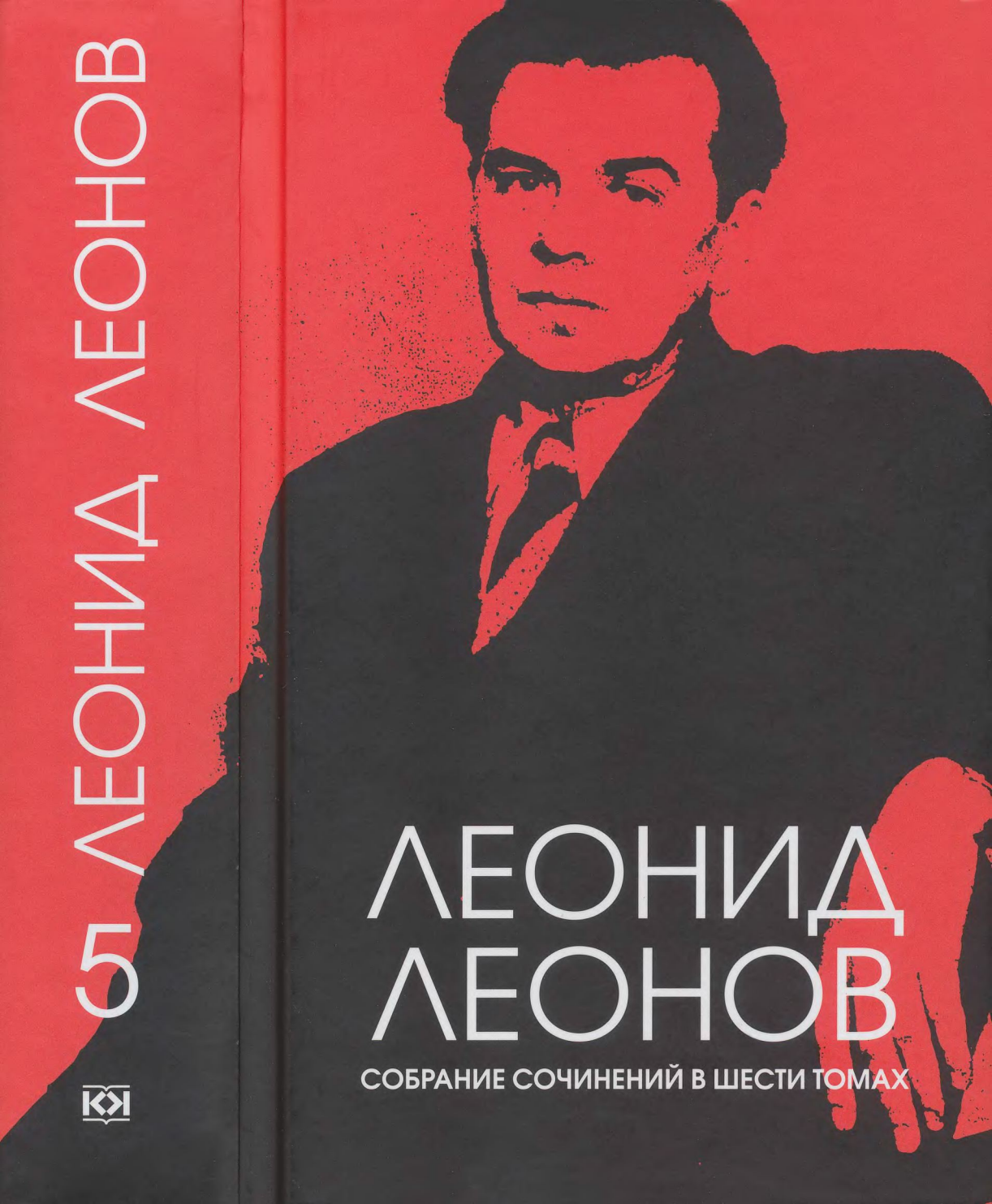

Л. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ШЕСТИ ТОМАХ

ТОМ 5

ПИРАМИДА
Роман – наваждение в трех частях

Часть I
ЗАГАДКА

Часть II
ЗАБАВА
(Главы I–VII)

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ТЕРРА TERRA
ИЗДАТЕЛЬСТВО | PUBLISHING HOUSE
КНИГОВЕК™
КНИЖНЫЙ КЛУБ | BOOK CLUB

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Л47

Внешнее оформление художника
А. БАЛАШОВОЙ

Леонов Л.
Л47 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 5: Пирамида: Роман в трех частях: Загадка, Забава (гл. I-VII). — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. — 720 с.

ISBN 978-5-4224-0734-7 (т. 5)
ISBN 978-5-4224-0729-3

Леонид Максимович Леонов (1899–1994) — русский советский писатель, прозаик, драматург, публицист. Творчество Леонида Леонова пронизано глубокими раздумьями о судьбах русского народа, искренней любовью к своей Родине. Произведения его переведены на все основные языки мира и многократно переизданы. В данное собрание вошли самые значимые работы из литературного наследия Л. М. Леонова. Помимо них, каждый том включает в себя тексты, неизвестные широкому читателю.

В пятый том вошли первая часть и фрагмент второй части романа-наваждения «Пирамида».

Книга рассчитана на массового читателя.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-4224-0734-7 (т. 5)
ISBN 978-5-4224-0729-3

© З. Прилепин, состав, 2013
© Л. Леонов, наследники, 2013
© Книжный Клуб Книговек, 2013

ПИРАМИДА

РОМАН – НАВАЖДЕНИЕ
В ТРЕХ ЧАСТЯХ

Не рассчитывая в оставшиеся сроки завершить свою последнюю книгу, автор принял совет друзей публиковать ее в нынешнем состоянии. Спешность решенья диктуется близостью самого грозного из всех когда-либо пережитых нами потрясений — вероисповедных, этнических и социальных — и уже заключительного для землян вообще. Событийная, все нарастающая жуть уходящего века позволяет истолковать его как вступление к возрастному эпилогу человечества: стареют и звезды.

Однако наблюдаемая сегодня территориальная междоусобица среди вчерашних добрососедей может вылиться в скоростной вариант, когда обезумевшие от собственного кромешного множества люди атомной метлой в запале самоистребления смахнут себя в небытие — только чудо на пару столетий может отсрочить агонию.

Из-за недостаточной емкости памяти людской события угасающей поры хранятся ею в тесной упаковке мифа или апокрифа, вплоть до иероглифа. Громада промежуточного времени, от нас до будущих хозяев омолодившейся планеты, уплотнит историю исчезнувших предшественников в наконец-то прочитанный апокриф Еноха, который объясняет ущербность человеческой природы слиянием обоюдо-несовместимых сущностей — духа и глины. Гулкое преддверие больших перемен надоумило автора огласить свою, земную версию о том же самом на страницах предлагаемой книги.

21 марта 1994 года
Автор

ЗАГАДКА

Глава I

Поздней осенью предвоенного года меня постигло очередное огорченье ремесла с мотивировкой, сулившей на сей раз наихудшие последствия. В письме вождю, объясняя уже состоявшуюся премьеру опальной пьесы передоверием театра к литературному имени автора, последний просил взыскивать с него одного. Неделю спали не раздеваясь, в ожидании ночного стука в дверь, поневоле мирясь с тишиной, пока опережают более срочные кандидаты на возмездие и длится сезонно-ведомственная перегрузка.

Опасаясь заразить друзей самой прилипчивой и смертельной хворью лихолетья, сидел в своем карантине до поры, когда вдруг потянуло отдохнуть от судьбы. После нескольких проб наудачу наметился постоянный маршрут вылазок за горизонт зримости.

Стояла туманная погода с таинственно призывающей миражностью. Потрамвайно, с пересадками ехал до последней остановки и потом вдоль всяких новостроек, обреченной на снос деревенской ветоши и зеленых заборов птицефабрики, мимо пустыря с горелыми бараками; и, помнится, сквозь знобящий зуд, смрад и лязг дорожных машин выходил наконец в моросящий загородный простор. Для надежности еще чуток тащился по раздолбанному грузовиками проселку, чтобы у сворота на Старо-Федосеево подняться на высокую насыпь древнего, царской булыгой крытого тракта, уводившего во глубину сибирских руд и дальше — еще страшнее. Отсюда полчаса ходьбы до облюбованного мною уголка на земле.

Так, к сумеркам, добирался я до старинного, в черте окружной железной дороги Старо-Федосеевского не-

крополя. Основанный в екатерининскую пору, он стал у москвичей заветным местом для раздумий о потустороннем, а там, глядишь, и самого погребенья, где вдали от городской суеты, под сенью раскормленной сирени и среди скромных современников покоились со своими супругами забытые ныне столпы отечественной коммерции, медицины, адвокатуры и сцены, а также их усопшие малютки. Снаружи к дремучему тамошнему древостою примыкала опрятная березовая рощица, освоенная окрестными жителями под бытовую надобность выходного дня. Подтверждалось, как обожает младая жизнь резвиться у гробового входа. К шелесту палого листа под подошвой то и дело примешивался хрустящий отзвук недавних гулянок, компанейских общений с возлияниями. Здесь, на пятачке моей пустыни, под утешный скрежет битого стекла кружил я, слагая мысленное, с отказом от ремесла, послание потомкам.

Меня приманил слабый загадочный свет меж обнаженных ветвей в глубине. Через подвернувшийся лаз в кирпичной кладке кладбищенской ограды с холодком в спине двинулся я на ощупь среди крестов и статуй. Удача вывела меня к древнему храму, смутно белевшему сквозь изморось под пологом низких лохматых небес. Судя по благостному сиянию в глубине оконных амбразур, там внутри шла прощальная вечерняя служба. В воображении моем косяком вытянутая на восток, обитель мертвых удивительно походила на корабль перед уходом в невозвратное плаванье. Все было готово к отплытию: провожатые давно разошлись, пассажиры мирно почивали по каютам. Стая предзимнего воронья шумно кружила над погостом, устраиваясь на ночлег, словно ветер иной, запредельной непогоды клокотал в черных рваных парусах. И уже на паперти опознанный отрывок церковного напева отозвался во мне гулом целительных детских воспоминаний, и не было сил сопротивляться их властному зову. Не обошлось без колебаний, как могло состояться богослужение в храме, закрытом две пятилетки назад ввиду упразднения православного кладбища под центральный стадион с воинствующим на фронтоне девизом безбожья: в здоровом теле здоровый дух, который по Ювеналу, кстати, достигается лишь упорной молитвой

богам. Вдруг мнимая палуба качнулась подо мною. В запасе еще оставался целый миг для бегства, но одержимость моя оказалась сильнее непонятного страха.

Я перешагнул порог и, отойдя в сторонку потемней, огляделся.

Всенощная подходила к концу, и близился тот умиротворяющий момент, когда корабельщик в алтаре поручает Всевышнему довести его утлое суденышко на вечное пристанище **вскрай** моря.

После знобящей осенней мглы в лицо повеяло приветным теплом горящего воска. Храм представился мне просторнее своих истинных размеров за счет полупотемок и той гулкой тягостной пустоты, что наступает в таких зданиях перед уходом божества. Два мощных столба сводчато подпирали нависавший сверху сумрак ночи. Чем жарче вера, тем проще требуется ей жилище; невеселая скудость сияла вокруг. Осенняя сырость сползала из дырявого купола, и ветерок запустенья раскачивал пламя свечей. Некому стало залатать кровлю, прибрать сизый и плоский, невесть откуда взявшийся и как бы приступкой служивший камень у подножья колонны. Апостолов и патриархов на фресках виднелось больше, чем молившихся внизу понурых богомолок. Теснимые плесенью праведники на верхних ярусах по частям покидали обреченную обитель. От иных только и сохранилось — осеняющее троеперстье, развернутый свиток в руке, клочок святительского омофора. Уцелевшие, похоже, вопросительно, как в неминучую судьбу свою, вслушивались в доносившийся к ним с левого клироса чистый, глухим стариковским дребезжаньем сопровождаемый, девичий дискантик, потому лишь на той серебряной ниточке и удерживался весь корабль у причала. Трудно было уловить смысл исполняемого ирмоса, звучавшего подобно **вокализу**, куда каждый вправе вкладывать **свое** содержанье. Пленительный голос принадлежал совсем юной девушке в венчике из плетеных косичек. Ей вторил старик в округлой, неухоженной бороде. Втроем со священником в алтаре они составляли церковный причт бывшего старофедосеевского погоста.

Поющая девочка на клиросе сразу привлекла мое вниманье. Худенькая и простенькая, она могла показать-

ся дурнушкой, не мне однако. Сияние пылающих свечей поблизости придавало юной певице призрачную ореольность, усиленную наброшенным с затылка газовым шарфиком. Кроме того, во всем ее облике читалась та кроткая, со скорбной морщинкой у рта отрешенность от действительности, возмещаемая ранним прозрением вещей, недоступных ее ровесницам, что в простонародной среде всегда служила приметой особого благоволения небес, а в науке — проявлением душевного расстройства. Время от времени, склонив голову на бочок, она не по возрасту озабоченно внимала кому-то прямо перед собою, и я осторожно сменил место — узнать, кто ее незримый собеседник.

Сквозь плывучее свечное мерцанье виден был по каменному своду колонны изображенный в полный рост, узкоплечий, скорее долговязый, нежели просто высокий, и чем-то не по-земному привлекательный юноша; и хотя без обычных примет небесности, сразу в нем опознавался ангел. Непостижимо, как было ему канонически дозволено вместе с высшими чинами архангельского звания оказаться на церковной фреске дальше паперти, где по обе стороны от входа белоснежнокрылатые вестники записывают на длинных свитках имена нерадивых прихожан, досрочно покидающих богослуженье. В отличие от них здешний был в холщовой по колено рубахе, и с опояски на ремешке у него свисала связка крупных старинных ключей, что указывало на охранительную должность у загадочной, нарисованной позади него, на мощных петлях, кованой двери — входом неведомо куда. Какая-то сокровенная эпопея из тех, что заслоняются от нас шумной повседневностью, разыгралась тут незадолго до моего прихода. Она еще излучалась из самих стен, словно прохожая звезда начинила все кругом своим сверканьем и заодно породнила певчую девочку и ангела навек в некоем нездешнем качестве. По тогдашнему настрою моему немудрено было увидеть, как, чуть отслоившись от колонны, он молча, вполоборота, по странной птичьей повадке — сверху вниз, произнес подружке не услышанное мною слово, в ответ на которое она обронила такую же рассеянную и неразгаданную улыбку... И тотчас, повинуясь навыку ремесла, я поднял свою

чудесную находку. Вряд ли поток нагретого воздуха от горящих свечей мог шевельнуть широкий рукав ожившего ангела, причем явственно звякнули ключи от затаившегося здесь клада. Меня пронзил озноб открытья.

Предвестье желанного недуга вытеснило недавнюю горечь, превращаясь в тугое бесноватое пламя. Напрасно прежние, в порядке очередности созревавшие души ненаписанных книг ломились из меня наружу, как из горящего дома. Им приходилось посторониться, пока через кончик пера, как по трапу, не сойдет на бумагу скромная, с веснушками и в ситцевом платьице, снаружи ничем для глаза не примечательная девочка со старофедосеевской окраины. Отсюда смутная, пока столь заманчивая на дальнем прицеле и, оказалось впоследствии, неосуществимая тема размером в небо и емкостью эпилога к Апокалипсису. Мне предстояло уточнить трагедийную подоплеку и космические циклы большого Бытия, служившие ориентирами нашего исторического местопребывания, чтобы примириться с неизбежностью утрат и разочарований, ибо здесь с моей болью обитал я.

Хмурое небо конца тридцатых годов со зловещими тучками еще худших потрясений на горизонте не располагало к живописанию подлинной, тогдашней действительности, полностью осознанной современниками лишь к концу столетия.

Невзирая на осеннюю непогоду, я заладил таскаться в храм чуть не каждый вечер. Мне не везло. Кроме имени, за целую неделю только и удалось разведать, что Дуня моя доводилась дочкой тамошнему батюшке, квартировавшему в черте кладбищенских владений. Из облюбованного уголка с видом благоговейного усердия слушал я доносившееся из алтаря его молитвенное бормотанье, пока не привлек к себе вниманье приметливых старушек: случалось и на паперти под мелким дождиком безнадежно караулить свою удачу. Из-за нерешимости моей подойти для знакомства всякий раз девочка успевала сбежать мимо меня по ступенькам, под накинутой поверх головы ветошкой, и с легким шелестом исчезнуть в моросящей мгле.

С запозданьем пускался вслед, но мраморные истуканы и кресты на могилах ловили меня в объятья, же-

лезные решетки цеплялись за плечи, деревья кропили водою, ветками хлестали по лицу: мертвые жалели Дуню и оберегали ее, как могли, от людской огласки. Все же посчастливилось однажды прорваться сквозь их враждебный строй на опушку кладбищенской рощи. Погода чуть разветрилась, и молодой месяц на минутку высветил опрятную продолговатую поляну и уединенный, на дальнем конце, в окружении хозяйственных пристроек, приземистый, со ставнями и мезонином домик причта, куда скрылась беглянка. Догадка, что собак на кладбище не держат, повела меня прямиком на освещенные окна, отражавшиеся в просторной луже от вчерашнего ливня. Из предосторожности я двинулся к цели сторонкой, по еще влажной высокой траве, и тотчас скрипучий голос из палисадничка подтвердил, что не иначе как нечистая сила понесла меня в обход мощеной тропки.

Хромая, побрел я к обозначившейся в сиреневых зарослях скамейке, где в ошметках на босу ногу, с моряцким бушлатом на плечах сидел знакомый по клиросу старик. Подпершись локтями в колени, видать, по минованьи **недуга** и за неимением чего покрепче похмелялся всухую пряным лиственным настоем предзимья.

— Считай, пофартило тебе, любезнейший, — распрямляясь, заметил Финогеич. — Давно слежу, как ты путляешь. Закрывают нашу лавочку! Вот, бывший **погребало** — сижу на чистом воздухе, отдыхаю от жизни своей. Третьевось исторического покойника доставали, на новую квартиру перевезли: певец свободы, сказывали. Глыбокий раскоп оставили, засыпать не стали: все едина — на снос!

— Чего же не окликнул, чудило? — в поддержание знакомства по-свойски упрекнул я. — Впотьмах долго ли было и башку сломить.

— А я со скуки! Гадал, минует тебя судьбица либо в самый раз угодишь. Соображаю, нашему брату, который **выпимши**, тому любая ямина не повредит. А коли не спьяну, пошто к ночи притащился? Ежли грабить, то и со счету сбились, сколько разов грабленые!

По внезапному наитию я назвался сотрудником ходовой вечерней газетки: собираю крупицы истории, рассыпанные по плитам столичных некрополей. По вечернему часу любое объяснение звучало столь же правдоподобно.

Во укрепление знакомства я протянул ему жестянку с трубочным табаком и осведомился: не курит ли?

В подозрении — не ловушка ли, не подкуп ли? — старик не торопился с ответной благодарностью:

— Кто же от угощенья отказывается, — усмехнулся он, делясь местом на скамье и с запасцем забирая щепотку, бумага нашлась своя. — При неполном нашем питании курево составляет существенную вещь. Сеял я его, табачище, в позапрошлом сезоне, неважный у нас родится... больно сладостен, а силен, до сажня вымахивает! Местность наша богатая...

Он принялся раскуривать даровую, в мизинец толщиной цигарку. Пока горела спичка, у меня было время подробней рассмотреть предлагаемого мне судьбой благодетеля. В придачу к черной, без сединки, бороде был он такой рябой, что нельзя было долго смотреть на него без утомленья, зато в глазницах светилась та прозрачная доверчивость, какую русская сказка приписывает лесной блазне.

— А вообще-то для покойника грунты здесь на редкость благоприятные, — продолжал он, затянувшись в ту полную силу, когда, по народному присловью, из-под ногтей дым идет, — желтый песочек по самую глыбь: ровно в материнском объятии лежи-полеживай... Кабы солнышка вдобавок! Знать московская тут похорониться стремилася. Русский купец предпочитал привозные мрамора, итальянские. Уже в ту пору, сразу после флота, обрядился сюда по нашему помиральному ведомству, тому сороковой годок пошел; тогда почти на кажной ямине стояла фигура прискорбного содержания: слезы проливающая дева над разбитым кувшином либо ангел, трубящий пробуждение мертвых... Не подумайте, что жалею, либо на Бога ропщу. Вот и при церкви нахожусь, а ведь не шибко верующий... Не в том смысле, что их вовсе не существует. По моему разумению, ангелы, как и бесы, почти те же люди: снаружи не отличишь, но хотя, несмотря на всею науку, в людском облике и действует промеж нас, а непохожие...

— В чем же, в чем же они непохожие? — бережно, чтоб не спугнуть удачу, дважды коснулся я заветной струны.

— Да как тебе пояснее выразить... С виду они обыкновенные, кепочка-шляпенка чуть на бочок, скромное

пальтишко с зимним проветриванием, а от холода не дрожит! Сущий холостяк, а прибранный да ухоженный. Опять же, будучи под запретом пользовать на себя без крайности господнюю благодать, а даже без пищи обходится, разве только иногда для виду изюмцу поклюет. Словом, совсем двойной, а вся прочая сноровка людская. Далеко искать не надо; совсем недавно один такой, заблудившийся в здешних дебрях и весь в глине закостенелый, как раз на сей скамейке, где ты сидишь, беззвучно слезу обронил о своей участи на чужбине, если не считать землю местом его лишь временной деятельности...

— От одиночества, что ли? — тоном безразличия спросил я. — Почему бы чудаку не войти в близкие отношения с подходящей девицей как из хозяйственных соображений, так и для совместного проживанья? — И в ответ получил как раз ожидаемое опровержение догадки, что по бессмертью своему публика эта избавлена от земного воспроизводства себе подобных.

— Видите ли, в общем устройство их такое, что всем наделены, окромя глупостей, — намекнул Финогеич. — Какое будет ваше мнение на сей счет?

Я присоветовал старику обратиться письменно через газету к видному ученому по данной отрасли и другим пережиткам старины, некоему Шатаницкому, который повсюду, вплоть до отрывных календарей, опровергал обывательские суеверия.

— Слыхал я, слыхал про Шатаницкого, главным атаманом у безбожников числится... Башковитый господин, обходительный, и пуще всех студентов Никашку, сына моего, приголубил. Неча сказать, подобрал себе младенца понянчиться на досуге! То пособие схлопочет, то еще что, а только сдается мне — темнит проклятый!..

Нам тогда обоим и в голову не приходило, что кто-либо из домашних за спиной у нас, нечаянно выйдя на крыльцо, слышал происходившую беседу. Покашляв с предостерегающим значением, батюшка удалился, а тотчас появившийся на смену годков тринадцати отпрыск, по имени Егор, зловещим тоном оповестил собеседника: что его **папаша кличут.**

Надежды мои рушились в полном разгоне. Старик поднимался с явным смущеньем по поводу предстоя-

щего разноса. Неохотно всходил он на крыльцо, брался за железное кольцо на двери заместо нынешней скобки. Чуть спустя, следом за ним, подобравшись к окну, я заглянул поверх занавески.

Цветные лампады благостно сияли в углу, пар от самовара весело стелился по низкому, меловой бумагой оклеенному потолку. За чайным столом налицо находилось все лоскутовское семейство. Дуня шептала что-то смешное на ушко матери, уважаемой Прасковье Андреевне, которая протягивала налитую чашку угрюмому молодцу сверхплотного телосложенья с изобильной, свисавшей на лоб прической. Встретясь с таким по ночной поре, любой без раздумий поделился бы с ним своим имуществом. Потом оказалось, то и был единственный сынок Финогеича, который с повинной головой, спиною к изразцовой печке, как раз выслушивал от священника обстоятельную нотацию о вреде празднословия с захожими людьми.

Также хватило времени рассмотреть кое-какие подробности небогатого их жилища: вышитое цветными пряжами **Поклонение Волхвов** на стене, иконы с зажженной лампадкой в углу, вазон с крашеным ковылем на книжной этажерке, канарейку в клетке над фикусом. Не дочка, как следовало ожидать по ее болезненной чувствительности, а мать раньше прочих учуяла соглядатая под окном. Произошла маленькая суматоха, после чего выскочивший наружу тот глыбистый парень незабываемым голосом опросил с крыльца, кому не терпится отведать здешнего гостеприимства. Задержись я лишнее мгновенье, знакомство наше с милейшим Никанором Васильевичем случилось бы при куда менее благоприятных обстоятельствах, нежели две недели спустя... Кстати, нет способа вернее попасть в яму, как поспешно избегая другой... Не сомневаюсь, Дунины покровители помогли мне оскользнуться посреди поляны в дождевой луже со льдинкой первого заморозка... По счастью, яма оказалась не глубже пояса, иначе дальнейший розыск пришлось бы отложить до выздоровления.

За воротами, чуть отряхнувшись, я взглянул в зенит над собою. В небе тесно, на расстоянии коробка спичек, две звезды зловеще сияли прямо над головой в ожидании, к маю, третьей, красной, что знаменовало крушение це-

заря и великой державы в конце предстоящей войны, о чем пока никто в мире не подозревал.

К сожалению, и позднейшие мои попытки дознаться истины разбивались о настороженное сопротивленье старофедосеевцев. После полученного нагоняя Финогеич, начисто утративший былую словоохотливость, вовсе не поддавался ни на сухумский табачок, ни на бутылку плодоягодной, случайно отыскавшуюся в моем портфеле. Сам о. Матвей, когда я дружественно и как бы в полушутку обратился с просьбой о консультации для задуманного сценария из жизни ангелов, в ответ только головой покачал.

— Не к лицу вам, сударь мой, — укоризненно произнес священник, — при полуседых-то висках сущими пустяками заниматься! В то время как смирный народ наш уже который годок любовно, не покладая рук воплощает бессмертное сочинение Карла Маркса и его великих сподвижников, — всю тираду свою он вымахнул мне в одно дыханье, не поперхнувшись.

Подобной же неудачей завершилась и моя атака на младшего поповича Егора, беспатентно практикующего починкой примусов, зонтов и радиоприемников, вдобавок, как оказалось впоследствии, злостного мудреца в отношении современности. Единственно за попытку подарить ему на память альбом редких почтовых марок, без дела завалявшийся у меня со школьной поры, надменный отрок лишь язык показал человеку втрое старше себя, чем подтверждалось сугубо неправильное воспитание молодежи и в духовной среде. Точно так же не повезло мне и с **матушкой**.

На неделе выпал погожий среди дождливой осени денек, когда, прогуливаясь в тамошних местах, я по той же оказии очутился под заветным окошком домика со ставнями. Слышно было сквозь открытую фортку — кто-то напевал вполсилы бесхитростную с напевом, как баюкают ребенка, домашнюю песенку. С замираньем сердца опознал я надтреснутый, пусть ни разу не слышанный голос Прасковьи Андреевны. За работой и, видимо, в одиночестве, на руку мне, она в неумелом стишке изливала свои потаенные думки. По отсутствию соблазна для воров все двери в доме ждали меня настежь. Из-за

спешки я опрокинул какую-то бадью в потемках сеней. Прихватив неотлучное вязанье и насколько позволяли опухшие ноги, матушка заспешила на шум моего вторженья. Лишь позже сообразил я возможные последствия для насмерть перепуганной старухи, завидевшей незнакомца во мраке дверного проема. Примечательно, не в глаза, а на руки мне смотрела она и, значит, только внушительный портфель с данайскими дарами помог ей успокоительно истолковать мое поведенье.

Из дрожавших пальцев выскользнувший клубок шерсти покатился под комодик, и поднимать его обоим стало некогда. Как ни старался я словесно и мимически выразить глубокое удовлетворенье по поводу состоявшегося знакомства, на все мои настоятельные доводы поделиться кое-какими сведеньями о любимой дочке без дурных для нее последствий, старуха упорно ссылалась на отсутствие у них в семье милицейских приводов и судимостей. Так, со взаимным бормотаньем ходили мы вкруг накрытого к обеду стола, пока сиплая кукушка из часов не призвала просителя к благоразумию... Надо считать удачей, что на обратном пути возвращавшийся с Дуней Финогеичев сынок встретился мне уже за пределами кладбищенской территории, причем его костоломная громада вразвалку проследовала почти вплотную к местной трансформаторной будке, за углом которой я как раз читал **случившуюся** в кармане газетку, невзирая на плохое освещение.

Глава II

И тут в крайнем расстройстве, по дороге домой, надоумился я толкнуться в пятую, самую запретную для меня дверь профессора Шатаницкого, который по словам Финогеича, отечески поддерживал сына во всех его нуждах, а тот, вместе с отцом жительствуя по соседству в домике со ставнями, наверно, был в курсе всех семейных событий бывшего священника Матвея Лоскутова, что и открывало мне прямой выход на желанный для меня клад. Сам покровитель значился директором таинственного учрежденья с названием, почти не поддающимся

беглому произношению — «Институт прикладных, проблемных и прелиминарных систематик», которое выглядело защитной маскировкой явно оборонного объекта. Торопясь скорее приступить к делу, покуда не охладело намерение пробиться сквозь стенку запретности, я вошел в первую попавшуюся телефонную будку. И, видимо, пока с трубкой в руках раздумывал, добуду ли в справке секретный номер Шатаницкого, машинально раз-другой крутанул диск автомата, и сразу по вопросу с упоминанием Шатаницкого понял, что я уже прорвался по назначению. И не успел я намекнуть, что литератор такой-то нуждается в срочной консультации профессора по его специальности, как получил ответ: «Да, мы уже знаем». И мне лестно было услышать, что и на академическом Олимпе знают о моем существованьи. Но тут же приветливый женский голос, как бы на всякий случай, поспешил предупредить, что профессор не сможет принять меня в ближайшие полтора месяца ввиду длительной заграничной поездки по ряду университетских городов. И лишь по смиренному молчанию моему убедившись в серьезности моих намерений, секретарша ободрила меня сочувственной скороговоркой, «что если ваша тема не терпит отлагательства, то профессор успеет до отъезда послезавтра в десять у себя в институте уделить вам целый час и даже полтора, если потребуется».

Несомненную удачу мою несколько омрачали и заранняя осведомленность о моем визите, и быстрая смена отказа согласием на аудиенцию, и кое-какие лишь теперь осознанные странности того же плана позади. Время от времени, несмотря на основную нагрузку, оный профессор публиковал в журналах трудные, но тем более до жути пронзительные обзоры очередных и покамест незримых реальностей мироздания, снискавших ему у благодарных читателей репутацию корифея всех наук.

За ним и раньше замечались причудливые склонности, вроде появляться в разных, но сразу опознаваемых обликах, или исчезать, растаяв в воздухе, не простясь. Но тут бесчисленную рать его почитателей, жаждущих любой утехи от эпохальных переживаний, буквально сразила внезапная, в захолустном листке и мелким шрифтом напечатанная сенсация, будто кумир их, трижды и

одновременно, в один и тот же день и час, пребывал на международном конгрессе любителей-ихтиологов, с букетом возле самолета с только что прилетевшей заокеанской делегацией и в юбилейном президиуме какого-то почтенного хрыча смежной специальности. Однако, по мнению явного клеветника под чисто бесовским псевдонимом Бубнило, абсурдная чушь сия объяснялась не присущей гениям рассеянностью, а скорее прямой принадлежностью к высшему разряду инфернальных существ, обычно к ночи не упоминаемых. И лишь в самом конце доносного фельетона иносказательно намекалось, что пресловутый Шатаницкий, он же Шатайницкий, он же Шайтаницкий в действительности является не только нынешним резидентом преисподней на святой Руси, но и видным участником знаменитого ангельского мятежа против небесного самодержавия, после чего начались время, история и люди.

Догадка его строилась не только на сказаниях древности и на сомнительной тактике нашего отечественного атеизма, который, пытаясь упразднить всевышнего посредством умерщвления священников и осквернения алтарей, ни разу теми же средствами не посмел хотя бы замахнуться на его противника, не оттого ли, что всевластные главари утвердившегося режима втайне видели в нем соратника и ветерана с революционным стажем, стократно превышающим совместный диверсионный опыт всех активистов насильственного счастья.

Кстати, в своей недавней и нашумевшей книге «Разоблаченная космистика», написанной на случай возможных анкетных затруднений впереди, означенный корифей так убедительно, приемом обратной диалектики, разгромил невежественные суеверия старины, себя самого в том числе, что я уже не верил в его собственную оккультную сущность.

И отправляясь к нему в адскую дыру за лоскутовским кладом, намеревался заодно пристально оценить возможности ее хозяина, с целью пристроить его на вакансию в будущем сочинении в качестве эзотерического персонажа.

Тогда, в то время, я еще не знал, что каверзная, уже слагавшаяся тема, водя по бумаге моим пером, через

столько лет, день за днем, порой по букве в час, позволит мне определиться на циферблате главного времени — откуда и куда мы теперь — но и раскроет логический финал человеческого мифа.

Адская дыра Шатаницкого помещалась на шестом этаже засекреченного института в длинном коридоре с книжными шкафами, куда меня без пропуска, лифтом доставила молчаливая девушка с неразборчивым лицом. В ту же минуту из деканского кабинета, броском, не менее дюжины вырвалась горстка перепуганных старичков, торопившихся скорее убраться домой, что служило дурным предзнаменованием. Дверь оставалась открытой, как приглашение, и, признаться, не без трепета в подколенках переступал я порог, готовясь увидеть длинного черного мужчину в глухом до ворота казинетовом сюртуке с леденящим зиянием во взоре. Вопреки ожиданиям, сидевший за столом корифей оказался неожиданно мелковатым, уже запенсионного возраста, но еще подвижным и даже вполне домашним, только почему-то с незапоминающимся лицом, пригодным на любую уважаемую должность от архивариуса до библиотекаря, деятелем в двояковыпуклых очках, который пристально и вдобавок через лупу изучал, если мне не изменяет память, обыкновенный кусок пемзы. Не отрываясь от занятия, он дружественным жестом указал мне свободный, чуть поодаль, стул. За плечом у начальства, положив мощный кулак на спинку кресла, хмурый, со свисающей на лоб гривой, стоял увалень, в котором я тотчас и нервным чутьем опознал моего Никанора Шамина.

Не решаясь с ходу брать быка за рога, я начал нашу беседу с догадки, не тех ли самых закоренелых церковников только что спровадил он с глаз долой, то и дело досаждавших ему каверзными вопросами типа, если Бога нету, кем тогда обеспечивается устойчивая, без заметного износа, долговечность такой несусветной машинищи, как мироздание.

Выяснилось, что сортом повыше кроткие и душевные старички, сплошь заслуженные деятели разных искусств и наук, проживающие в престижных пансионатах и лишь после долгих хлопот проникшие в служебное капище Шатаницкого, приходили сюда, чтобы от имени всех

старожилов земного шара пожаловаться корифею на его ближайшего ученика с кличкой Откуси, который, по столичным слухам, собирался опубликовать диссертацию на крайне скользкую тему. Года три назад сей даровитый паренек, случайно прогуливаясь в дремучих саянских предгорьях, обнаружил под навесом скалы небольшую, полтора на полтора, колонию розоватых, с просинью, на шаткой ножке высотою с палец и, как оказалось, мыслящих грибов. Неизвестно, что именно происходило в них в тот час — месса, митинг или коллективная медитация — но в бормотанье их, если зажмуриться, то ясно прослушивались характерные стридулирующие фонемы раннего санскрита. Они-то и вдохновили даровитого ученого на докторскую диссертацию с заключеньем, что дрожавшие тогда у ног его в ожидании неминуемой расправы скромные создания являются истинными предками человечества. Напрасно совестливые старцы молили Шатаницкого не смывать библейскую позолоту с молодежи, которая, оказавшись во вседозволенной срамоте, такие вертепы учредит на родных могилах, что, как говаривали в старину, упокойнички во гробах спасибо скажут, что умерли, — и в крайнем случае, если нельзя отменить приговор науке, то хотя бы малость повысить родословную людишек на уровень гриба съедобного, в пределах от боровика до рыжика. Но тут один из гостей, древней и ядовитей прочих, костяным пальцем пригрозил, что непрестанная пальба по святыням недосягаемой дальности кончится однажды соразмерным откатом той же пушки, которая расплющит главного канонира со всей его компашкой заодно.

— ...И не успел я кротко посоветовать скандалисту не шалить огнестрельными предметами во избежание вреда для собственного организма, как вся орава ринулась от меня наутек, видимо, оскорбленная кощунственным зачислением в потомство безмозглого гриба. Как видный мыслитель здешнего района скажите, милейший Шамин, ведь правильно я истолковал их досадное бегство, не так ли?

— Кротким-то голосом вы их так застращали, дорогой учитель, — солидно ухмыльнулся Никанор, — что я и сам, пожалуй, враз сообразил бы смыться куда поглубже,

чтобы срочно с казенной помощью не переправиться на тот свет.

— Ценная гипотеза, — ироническим кивком похвалил Шатаницкий, — моя попроще. В идеальной утопической разверстке, на века вперед, коммунальная дележка уже теперь лимитных благ пищи и пространства обрекает человечество на неминуемое, в конце концов, измельчание вида до ста миллиардов особей на чашку Петри, и тогда, уплотняясь в бархатистую розовую плесень, оно станет гордиться пусть отдаленным родством с поганкой, которая самостоятельно, хотя и с помощью ветра, летала над землей в поисках ниши для жительств, — плавно заключил он и вопросительно взглянул на меня.

— Моя совсем иная, — отвечал я, — в том плане иная, что старость есть четвертый сезон жизни, когда вдруг внезапная тишина, и холодеют ноги, и метельные сумерки за окном, и перед выходом в ночь — добавочная минутка для примирения с грибной эфемерностью земного существованья...

Но тут, по ходу раздумья, как половчее встроить услышанное в уже созревающий сюжет, меня точно ветром шатнуло в сторону смежных и куда более сложных затруднений.

Если шарлатанская интонация любых суждений корифея, о чем бы ни шла речь, являлась естественным акцентом презрения к нашей действительности, вследствие его затянувшегося пребывания в беспросветной тьме опалы, то чем всякий раз диктовалась его тяга искажать их смысл до абракадабры — непроизвольным свойством личности, как цветного стекла, даже солнечному лучу придавать свою окраску или сознательным сейчас намереньем затруднить мои догадки о причине слишком быстрого, в один прием, успеха при вручении заранее предназначенного для меня клада.

Кстати, от попыток разглядеть нечто главное в лице моего визави, стал я испытывать гадкую ломоту в затылке. И когда я, вдоволь наслушавшись балаганной галиматьи, осведомился наугад, какие крупные катаклизмы или еще похлеще новинки состоялись за минувший год в окружающем нас астральном архипелаге, тот поведал мне замысловатую байку, завершившуюся в подтвержде-

ние моих догадок вручением уже предназначенного мне лоскутовского клада или наваждения.

Оказалось, что услышанная мною уже двухлетней давности важнейшая сенсация века недаром так тщательно охранялась от огласки в силу своей стратегической значимости. Началось с того, что видный сотрудник великого вождя Скуднов Т. И. подарил своей бывшей школе старинный, на трех латунных ножках телескоп. И воодушевленные приближающимся пятидесятилетним юбилеем дарителя ребята единогласно порешили встать на вахту в честь юбиляра и открыть именную звезду соразмерной величины.

С помощью самодельной приставки загадочной конструкции из всякого лабораторного утиля под командой своего наставника Пхе, они пристально обшарили местное небо и с третьего захода в запредельной пучине небес, в созвездии Водолея, обнаружили целый архипелаг неизвестных планет. Сканирующим облетом двух из них, несмотря на густейшее задымление, как у нас, на обеих было обнаружено обилие храмов, заводских корпусов и другой мощной техники, также обширные посевы неизвестного хлебного злака и главное — огненные траектории уже межпланетной перестрелки, что является приметой давно обогнавшей нас суперцивилизации. Спектральный анализ, хотя и обнаруживший в тамошних окрестностях мощные сгустки гуминового существа, плавающие в облаках сильно ионизованного газа (пардон, того же происхождения), не смог показать присущий ему запах, чем выявляется любое массовое скопление организмов. Вспомним Филона Александрийского, прозрачно намекавшего на густую заселенность мира духами стихий, или Гершеля с его проницательной догадкой о жителях на Солнце — наглядное свидетельство о мощном прозрении больших умов, опережающих свою эпоху.

— А так как людское множество, сопряженное с ростом коммунальных потребностей, определяет логику общественной эволюции — развитую промышленность, мощную рабочую стихию, прибавочную стоимость, борьбу за рынки сбыта, социальный антагонизм, обусловленный перекосом с излишеством и нищетой на флангах и,

наконец, бурные приступы революционного самоочищения — все это призывает вселенскую братию к единству, которое позволит обеим сторонам установить надежные форпосты в глубинах мирозданья для совместной хозяйственной деятельности, где мы сможем в обмен на их передовую промышленную технологию поделиться своим обширным опытом массовой культуры, коллективизации и классовой борьбы. И оттого, что природа в сходных условиях при создании тварей стремится повторить свои от века испытанные системы, вроде стереоскопического зрения, пищеварительного потока или при бездорожье куда более надежных, чем колесо, радиально подрессоренных ног и даже зачатков мышления, то несомненно, что и более просвещенные туземцы с помощью дальнобойного, недоступного пока здесь космического зондажа раньше вас успели выявить свое генетическое сходство с вами. Не так ли? — своеобычно вставил корифей, предоставляя мне право выбора альтернативы. — Мои дозорные сообщили, что на днях к нам оттуда инкогнито прибывает загадочная личность, некто Дымков, который под видом чудака, странствующего по смежным галактикам, скупает, выменивает на бусы, монетки и ленточки, коллекционирует мечтания тамошних жителей и, по-видимому, кое-что более ценное заодно, оставляя на память о себе какой-нибудь сюрприз убойного действия. Он направлен не в обличье купца или миссионера, как раньше засылали к аборигенам, а под видом ангела, что при угрозе неизбежной у нас поимки позволяет ему укрыться среди верующего простонародья и даже не исключается — где-нибудь на кладбище у духовного лица. Допускаю, что, как и вы, он постучится ко мне за автографом и, наверно, в поисках дружбы, сразу устроит вам ночную прогулку над Москвой, так что остерегайтесь этого пройдохи, Шамин. Кстати, не стоит пренебрегать и показаниями и самого сведущего автора по части миров невидимых, некоего Оригена, что только высшие чины небес состоят из чистого духа, любые прочие же лишены материальности и, значит, при сошествии в нижние этажи стихийно меняют свою предельно разреженную каркасно-циклопическую структуру, построенную из шквальных ливней сверхкоротких излучений, исполинского натяженья темных

космических масс, гравитирующих на запредельной скорости, вольных звездных ветров и еще не раскрытых учеными гормональных дуновений вообще откуда-то извне на местную, более скромную, всего лишь атомную инженерную конструкцию. Отсюда, концентрируясь в земные габариты, галактическое долгожительство приобретает видимость бессмертия, а сомасштабно уплотненный творческий потенциал становится даром чудотворенья. Но сама внешность пришельцев оттуда остается стандартно прежней, раз и навсегда проверенный ген, кодирующий их суть и форму, всюду будет один и тот же, отчего при переходе в земные параметры тамошние гиганты и становятся неотличимы от людей. К сожаленью, наука бессильна пока объяснить, каким образом те и другие, они и вы, являясь всего лишь костяками энергетических вихрей, таинственно вписаны в работу физических законов, осуществляющих всеобщее равновесие. Недаром кое у кого возникает опасение, что живая клетка, уже давно в обгон мысли и с риском вывернуться наизнанку устремившаяся в беспредельность, сослепу ударится о нечто, спрятанное там, отчего может получиться внезапное и вонючее возгорание, как от спички, смаху чиркнутой о коробок. Ввиду прибытия столь важного, видимо, и неприглашенного гостя возникает ответная необходимость внедрить к ним туда, как и они к нам, целевого наблюдателя, — сказал Шатаницкий и лишь теперь решился представить мне своего подопечного: — Этот даровитый юноша создает большой аналитический труд обо мне, где намеревается доказать современникам и мне в том числе, что я совсем не тот, кем являюсь в действительности, и в случае успеха он станет энциклопедистом по части эзотерических наук и полноправным преемником легендарного Элифаса. И у вас, милейший Шамин, в наличии имеются все данные для блистательного восхождения на вершину, — как бы увлекаясь и даже завидуя Никаноровой младости, стал перечислять он.

— А чего же тут думать? Служба легкая, если на командировочные не поскупитесь, ходи да гляди, где, что и как, а в промежутках спи-отдыхай, сколько нужно по усталости. Однако доехать в такую даль и месяца в два не уложишься, так что все дело в харчах, чтобы не скучать

в дороге, — не мигнув глазом, мгновенно откликнулся Никанор в манере охламона и пентюха.

— Не беспокойтесь, Шамин, суточные будут по первому разряду и харчей получите достаточно, чтобы не скучать в пути. Славно, что договорились наконец, — дружественным тоном заключил корифей. — Надеюсь, работа ваша движется благотворно. Кстати, передавайте мой поклон дорогому Матвею Петровичу.

На уходе с порога еще разок я оглянулся закрепить в памяти прообраз своего будущего эпизодического персонажа. Но если прежние литературные характеристики падшего ангела Света строились на зыбкой двоякости его противоречий, вроде мудрости и низости, показного обаяния при заманке клиента в западню и мертвой хватки в отношении с клиентами, либо скорбного величия его незаживляемых воспоминаний о безвозвратном и мстительной ненависти к Творцу за разжалованье в цари местного Мрака, то задуманный мною в качестве адского в нашей стране резидента — неуловимого возраста, мерцающей внешности вообще ускользающий от словесной характеристики иррациональный субъект с недвижной маской безразличия на лице и поднятой ладонью, провожавшей из-за стола гостя, — вдруг представился мне вполне земным существом эпохальной тогда породы, которая посредством лести, оперативности и социально благополучных анкет стремительно, минуя дипломные проверки, достигала номенклатурных высот. Универсальная осведомленность в самых спорных проблемах познания на стыке враждующих мировоззрений создавала ему в глазах толпы ореол корифея передовых наук, а непримиримый скептицизм насчет идейных заблуждений старины, нравственных в особенности, с замахом на непознаваемое, и вдобавок высокомерная, гортанно-лающая страстность персональной неприязни к самой теме, умело низведенной на уровень философической байки для нищих скорее разумом, чем духом, создавали в аудитории впечатление, будто лектор персонально и давно занимается мироустройством человечества под началом кого-то выше и могущественнее, который с момента появления людей находился в серьезных неладах с их создателем.

В совокупности перечисленные достоинства повышали у властей предержащих репутацию корифеевой благонадежности в смысле свойской веры до гробовой доски с правом полной автономности в его ученых дебрях. И тут пронзила меня ошеломительная догадка, что самоуличающий псевдоним **Шатаницкий** служил ему надежным инструментом мимикрии, а псевдокомический камуфляж под Антихриста — прикрытием далеко не карьерной, нелегальной деятельности, которую история еще расшифрует в надлежащем объеме.

Блокнотная запись отставала от беглой лекции корифея, и образовавшиеся пробелы пришлось заполнять впоследствии профанскими домыслами, что явно затрудняет восприятие всей концепции в целом. Чтобы не стать эпигоном в очереди стольких литературных ходатайств за лукавого скорее перед общественным мнением, нежели перед вечным Судьей, автор дал обет представить на суд читателей весь следственный материал в девственном виде, в каком тот достался ему по ходу дознания.

Здесь мелькнуло в уме: не тем ли объяснялись и щедрость дара, и сама по себе подозрительная легкость достигнутой аудиенции, чтобы моим пером от лица людей поставить публично через всю вечность им же перекинутый каверзный вопрос Всевышнему — для чего затевалась игра в человека?

Кстати, в тот же вечер накоротке состоялся разговор Никанора с Матвеем Петровичем.

— Вы же встретитесь с ним не для того, чтобы душу продавать, а для того, чтобы с его помощью взглянуть на истину с обратной стороны... Вам не придется тащиться в его логово на шестом этаже. Он сам охотно приедет к вам в любое время дня и ночи. Кстати, Дуня сказала мне вчера, что собирается привести к вам Дымкова для личного знакомства, и если бы, как бы по рассеянности, вы назначили обоим столь несовместимым визитерам один и тот же час, то могли бы, присутствуя при их встрече, выведать даже из обоюдного молчания их кое-какие сведения о замыслах непримиримых крайностей.

— Что ж, стоит и впрямь рискнуть для пользы дела в какой-нибудь погожий праздничный денек, — задумчиво произнес Матвей Петрович, имея в виду шумный

первомайский праздник, когда общее внимание будет отвлечено от сверхсекретного события.

Глава III

При выходе на улицу мы с Шаминым сразу договорились о времени и месте предстоящих встреч. Кстати, оказалось, что к концу месяца ихний сосед по домику со ставнями, бывший дьякон, переселяется от российской действительности в тихий уголок где-то под Тюменью. Тогда одна из двух, ближайшая к сеням комнатушка его вполне сгодилась бы нам для бесед на лоскутовскую тему. Заодно попутчик мой справился о моих впечатлениях от Шатаницкого, но я уклонился под предлогом слишком малого времени для оценки столь значительной личности и ответил вопросом, каким образом вообще образовался странный симбиоз столь несхожих натур, как он и Шатаницкий. Тут Никанор и посвятил меня в историю их недавней и сомнительной дружбы как активного вдохновителя и таким образом соучастника всех событий, изложенных в моей еще не написанной книге. По словам Шамина, чисто охотничья тяга его к подозрительному корифею обозначилась сразу по прочтении фельетона Бубнилы и не менее памятного эссе Фурункеля, тоже беса, о триумфальном возвращении вчерашнего черта из недавней опалы в реальную академическую среду. В обоих доносных документах, по сходству лексики и почерку мышления написанных почти одновременно и тою же рукой, явно подразумевается тот, о ком речь, — сей подозрительный деятель передовой науки, наотрез отвергаемый ею же самой. Чтобы разгадать такой ребус — зачем понадобилось заведомо несуществующему господину держаться за почтенную номенклатурную должность, Никанор, помимо обязательных для тогдашней молодежи безбожия и бдительности, обладал еще незаурядными качествами настойчивости и проницательности, которые и толкнули его на опасный розыск истины. Вечерком однажды хитрый студент пришел к своему учителю с просьбой автографа на его зачитанной до дыр **Космистике** и по ходу беседы виновато признался в заветной мечте создать

портрет корифея в полный рост его личности при условии непосредственного наблюдения вблизи для полноценной обрисовки.

— Тогда скажите, мой юный друг, как вы намереваетесь осуществить свое благородное намеренье — в художественном, скульптурном или даже музыкальном аспекте? — поощрительно осведомился оригинал будущего шедевра, как бы выбирая себе позу и внешность, чтобы пуще не омрачить свой облик в сознании человечества.

— Ни в коем случае, — как бы радуясь удаче, почти вскричал Никанор, — только в словесном оформлении.

Похоже, что корифей соглашался из расчета, что благодарный за опеку простоватый стипендиат посильно, в духе современности, объяснит его неприглядную деятельность, и тогда философские каракули юнца станут весомым документом о неизбежности Зла в мировом процессе. Таким образом, казалось бы, оправдывалась народная молва, что тонкая лесть способна усыпить любые организмы даже потустороннего профиля. По-видимому, корифея настолько встревожили шаминские о нем подозрения, что он не раз пытался выкупить их у своего разоблачителя ценою любой, на выбор, блистательной карьеры впереди, даже дразнил его титулом будущего Колумба галактических территорий, «пока ихние Колумбы не открыли нас», но в таком зловещем тоне, что храбрец на всякий случай прятался в оболочку и лексику охламона и пентюха, притворным смирением защищаясь от чудовища. И тут, не стерпев затянувшейся тихомотины и решась на прямую атаку, Никанор сказал, что его тоже беспокоят участившиеся пришельцы оттуда, несомненные лазутчики в том числе, и высказал надежду лично словить одного из них, уже затаившегося у нас, пожирней, чтобы выведать тамошние секреты: как ухитряются залетать к нам в такую даль или как без повреждения проходят сквозь каменную стенку, а также другие полезности заодно.

— Что же, на мой взгляд, весьма уместное соображение, — задумчиво сказал Шатаницкий, — если учесть, что человечество приблизилось к финалу отпущенной ему скромной вечности, который для верующих станет огнен-

ным апофеозом Судного дня... А для науки — обыкновенной эволюционной вспышкой нашей вселенной, когда она, с разбегу пробившись сквозь нулевую фазу времени и физического бытия, ворвется в иное, еще не освоенное математическое пространство с переносом туда интеллектуальной столицы мироздания. Очевидный теперь крах вчерашней эры завершится неминуемым пересмотром печально не оправдавшей себя парности Добра и Зла за счет полной отмены нашего ведомства и его иерархической системы. А в такой обстановке, сами понимаете, ваши бредни обо мне могли бы причинить крупные неприятности не только нам одним. Прикиньте в уме, как разбушевался бы кремлевский властелин, если бы услышал хоть намек, что под орлиным-то крылышком у него, дотоле мнившего себя грозой глобального империализма, угнездился штабной форпост империализма вселенского. К тому же, если мы периодически сокрушаем святыни и сокровища людей по старинке, с передышками на ремонт развалин, достойных превратиться в пепелище — вечный источник их литургических вдохновений, то доктрина великого вождя работает с непрестанной вибрацией, расшатывая нестерпимым зудом социальной неприязни все общественные и технические устои до молекулярного распада. Сообразите, что он учинил бы нам по отсутствию иного, более прочного и стойкого объекта для утоления ярости, подкинув пломбированную ампулу с наиболее убойным, на России проверенным штаммом бактерий в нашу подземную державу, где наравне с князьями и вельможами имеется такая же шелудивая и, как порох, вспыльчивая голытьба, и тогда мощный выплеск старинной лавы из недр земного шара, к тому же изо всех семисот вулканов сразу, доставит значительные неудобства проживающим на его поверхности.

В ответ на мое молчаливое недоумение, зачем ему понадобилась только что услышанная путаная галиматья вроде бы ни о чем, Шамин счел долгом своим как гида иносказательно предупредить меня о досадных последствиях нашего вторжения в довольно сложную лоскутовскую эпопею, точнее эпопею, с учетом собственных его наивных богословских заблуждений ради посильного оправдания бесчисленных бедствий, ниспосылаемых

людям под видом огненной ласки Божией. В том и заключается опасность, что самые запретные тайны, добываемые раскопками в свыше заминированной местности, взрываются так быстро, что смельчак, успевший осмыслить ценность добытых сокровищ, не успевает поделиться ими со своими современниками в силу своего исчезновения.

— Но не страшно вам ледяной рукой самим шарить эти же тайны под мышкой у вашего шефа Шатаницкого? — спросил я.

— Но у меня имеется надежный аргумент в защиту, который я случайно, вслед за Шатаницким, обронил давеча, но вы не заметили его. Этот аргумент ведет меня напрямки к разгадке, почему **он**, некто несуществующий, прячется от другого, почти такого же, как сам он, реально не существующего.

— От кого же, по вашим предположениям? Вы уже знаете?

— Я знаю только то, что вы успели вложить в меня, приглашая в свою команду. Дальнейшее я буду вам докладывать по мере моего вызревания в вашем воображении. Чутьем я уже понимаю, кто персонально имеется в виду. При расставанье сегодня он пригласил меня зайти к нему на квартиру с расчетом показать себя мне поровну в обеих ипостасях реальности и нереальности, приспособительно к моему низшему интеллекту, чтобы заслониться мною от такого же, для нас с вами реально не существующего.

— Ага, признали наконец даже царственное величие того, чье существование только что отвергали?

— Все правдоподобно о неизвестном, недоступном нашему воображению. Покамест я только возвращаю потомкам их законное право творить, как выразился ваш лесник Вихров, толкуя на свой лад речение Августина, что «чудо не противоречит природе, чудо противоречит лишь тому, что мы о ней знаем», — четко, вразбивку, как по книжке, прочел Никанор, в неожиданно новом облике представая предо мною: — Поймите, дорогой Леонид Максимович, я не могу логически уложиться в это дело. Есть какая-то другая пара другой надмирной реальности.

К тому времени как раз подошел мой автобус, и Никанор успел спросить меня напоследок: «Я не рассердил вас своей защитительной речью? На всякий случай вы могли бы заслониться от грозящих вам опасностей, перекантовав их на кого-нибудь из окружающих по вашему выбору».

— Благодарю вас. Непременно воспользуюсь вашим советом защититься средствами моего ремесла, — сказал я, уже вскочив на подножку автобуса.

Глава IV

Скоропреходящей славой певцов и других деятелей, наделенных, скажем, ораторской гортанью, отмечен тернистый путь дьякона Никона Аблаева. Уцелевшие от рассеяния старо-федосеевские прихожане, наверно, помнят первозданные рокоты, подобно меди звенящей извергавшиеся из него как на ектениях — по мере приближения к **странствующим** и **путешествующим**, так и на знаменитых его многолетиях, в особенности ценившихся в купеческой среде, даже из других приходов. Ценителями был пущен слух, будто большой колокол у Параскевы Пятницы, что еще красовалась тогда в Охотном ряду, является родным братом дьякона, коего якобы отливали в один с ним прием, из остатков сплава, что похоже на преувеличенье, хотя и лестное. Во всяком случае, неизгладимый трепет переполнял сердца молящихся, когда, совершая кажденья, продвигался он сквозь них в громадном, цвета морской пучины серебротканом стихаре при стоячих, как во смерче, волосах; отчего и в крещенские морозы мог не пользоваться шапкой. По скромности ума воздерживался он от мышления вслух, так что и, оскользнувшись в житейское ничтожество, сохранял библейское достоинство и несколько китовье обличье по причине широты лица и массивности телосложенья. Кроме того, Никон Аблаев, опора многочисленной по тому времени родни, являл собой образец кротости, простодушия и доброты.

Наличное его семейство состояло из малолетних двойняшек от рано умершей жены и жилистой и безответной тетки, на которой все и крутилось, как на под-

шипнике, да еще одно время из младшей его же сестры-монашки, отпущенной на братнее иждивение из колонии исправительной. По счастью, Бог ее прибрал как раз к сроку, когда в одну из трех занимаемых ими каморок переселились Шамины, отец с сыном, из сгоревшей сторожки. Не старая и еще миловидная, она угасла к началу старо-федосеевского разорения скорее от скорби, нежели истощения, подкинув взамен себя брату на руки сынишку семи годков. Сей худенький мальчик Сергий, всем виновато улыбавшийся, словно сознавая преступность своего появления на свет, и завершал собою смирную, совсем неслышную, однако при скудном достатке довольно прожорливую ораву. Не умея накормить ее, дьякон подобно сказочному богатырю оказался на распутье — податься ли ему в бухгалтеры, грабители или нищие? По врожденной неспособности к ответственной цифири счетное дело отпадало само собой; ремесло с кистенем более подходило к его телосложенью, но отвращало периодическим пролитием крови, а столь отягчающие обстоятельства, как здоровье и внешность, затрудняли прошение милостыни. При виде надвигающихся туч Никон Аблаев предпринимал обход близлежащих казенных мест в поисках какой-либо непрерывной и несложной должности, ибо Господь избавил его от общеизвестных огорчений, связанных в ту пору с избытком ума или образованья. Естественно, нигде не проходило бесследно появление на пороге столь архаической фигуры — ростом под потолок, в широчайшем кожаном поясе и с можжевеловой клюшкой, в заграничных пьексах с загнутыми вверх носками.

Похоже, жалким юморком балаганного вторжения дьякон рассчитывал смягчить свою социальную неприкасаемость, даровым развлечением приобрести милость чиновника; самое невинное сношенье с лишенцем грозило тому суровым взысканием. Однако смешливое, втайне сочувственное оживленье скоро угасло, а в противность правилу, обратная аблаевская дорога домой становилась втрое длиннее... Конечно, на обширной тогдашней стройке легко нашлось бы занятие попроще для пары лишних, еще крепких рук, кабы не постоянные, чисто сатанинские препятствия, словно чьей-то нечеловеческой воле и власти требовалось перед неминучей

дьяконской погибелью, как он сам про себя пошутил, побрить тупой железкой свою жертву наголо.

Судьба нередко старается скрасить прискорбные обстоятельства существования безобидной с виду шуткой. Кстати, о пьексах; тогда же в самом начале тридцатых годов, в зимнюю полночь однажды к Лоскутовым постучался бывший член приходского совета — некто Подшибякин и в доверительной, с глазу на глаз, беседе сообщил о состоявшемся у них с женой решении прекратить жизнь посредством самоудушенья дровяным угаром. (За неделю перед тем начался месячник штурма на частную торговлю, и останки от богатейшего подшибякинского магазина спортивных товаров подверглись отчуждению в пользу районного спортактива.) На что о. Матвей уместно применил пастырское увещание, раскрыв отчаявшимся супругам красоту жизни, также указал на несовместимость веры и отчаянья. Признательные за спасение — лишь бы Коминтерну не досталось! — владельцы в ту же ночь доставили в Старо-Федосеево на салазках часть утаенного имущества в составе трех пар финских лыж, а в придачу к ним объемистый куль разномерной обуви, годной и для носки в быту, кроме того непочатый ящик чего-то, матушке показалось — по весу, не иначе как толкательных чугунных шаров...

— Щекотно и холодно жить мне стало, отец Матвей, ровно сом я, в рыбью вершу иду... — намекнул Аблаев однажды, озираясь, чтобы пуще не обозлить кого-то поблизости. — Поминутно мнится мне боковое мерцание, и вроде хвост юлит, а чуть обернешься — пропадает.

Характерно, что из тех же соображений предосторожности о. Матвей пропустил сказанное мимо ушей.

И хоть понимал дьякон, что в беде по гостям таскаться то же, что заразу разносить, незадолго до катастрофы, видимо, отчаявшийся в бесплодных хлопотах Аблаев, неразлучный теперь с племянником, чаще повадились навещать Лоскутовых всякий раз во время ужина — покормить ребенка за чужой счет.

— Имеется ли живая душа в вигваме? — трубно возглашал он с порога. — Ступай, погости у них, Сергуня, чайком погрейся, а я издали на тебя полюбуюся. Тут люди хорошие, они и **потом** тебя не обидят, — и толчком в плечико

направлял племянника на поклон к Прасковье Андреевне, сам громоздко опускался на стоявшую близ сеней семейную реликвию — узкий с позолотцей диванчик, тоже подшибякинское подношение, в домашнем просторечии **канапе**; подразумевалось, что сам дядя уже отужинал.

Из-под приспущенных век, опершись подбородком в можжевеловый посошок с воротяжку, следил он, как матушка, освобождая место для юного гостя, торопится скрыть чем-нибудь скудные улики своего сомнительного достатка. Все здесь служило бездельному дьякону укором, никто в семье не сидел без дела. На манекене у окна красовалась пышная кофта, только что сошедшая со спиц хозяйки. Судя по струйке канифольного чада, тянувшегося в открытую форточку, младший лоскутовский отпрыск Егор у себя за ширмой колдовал над чьей-то сломавшейся радиодиковинкой, тогда как глава семьи в тесной каморке по соседству завершал суточный урок по починке обуви от местного населения. К тому часу все были в сборе, кроме Дуни, поздно возвращавшейся из вечерней бухгалтерской школы, куда с грехом пополам удалось пристроить дочь лишенца. В непогодные вечера по причине глухих пустырей Никанор нередко выходил встречать ее на трамвайную остановку.

— Намедни ходил по объявлению в институт художества, где открылась вакансия натурщика, — излагал дьякон свои мытарства, — разделся, оглядели со всех сторон, пожурили, что осунулся. Работа почасовая и вроде сходная, хотя духовному лицу в трусиках-то перед девчатами, которые с тебя срисовывают, негоже сидеть: щекотно, зазорно и холодно. Как-никак, хоть и бывший, но все же дьякон я, и негоже телесной наготой хлеб насущный зарабатывать!

Но тут мнения разошлись. По здравому суждению Прасковьи Андреевны, ничего предосудительного в таком занятии нет, ибо художество и в храмах применяется, а с нищего тем более Господь не взыщет. Супруг же ее высказался в обратном смысле, дескать, духовному лицу не безразлично, в каком виде предстать перед будущей, хотя и некрещеной, паствой. Одно дело изображать богатыря Илью Муромца, или Стеньку Разина, либо земледельца за сохой, и совсем другое — напялить на себя ли-

чину, искажающую в человеке подобие Божие. На беду, после первого же пробного сеанса в обличье римского гладиатора с запрятанными под пожарную каску волосами в местной стенгазетке появился устрашающий запрос одного активного атеиста в адрес дирекции — доколе и с какой целью вдохновляется наша чуткая молодежь, срисовывая красками портрет махрового лишенца?

Подобным же провалом на идеологической подкладке завершилась и аблаевская попытка пристроиться в студию на Потылихе, где собирались было снимать детское кино с его участием.

— А что, роль предложили сомнительную? — встревожился Матвей.

— Да нет, восточная сказка обыкновенная. Просто дух Агафит-Абдул, проживающий в запечатанной бутылке под Дербентом, вырывается на свободу, отчего среди жителей происходит большая суматоха с участием милиции. Но требовалось весь волос с башки заодно с бородой удалить, глаза навыкате для устрашения... да что там, на любое непотребство согласился бы. В моем положении хоть в тюрьму проситься!

— С малютками-то и в тюрьму не примут... — сочувственно тужила матушка и давала совет толкнуться в лесорубы или землекопы, куда нонче всем **нам** один путь готовит судьба.

Здесь в разговор вмешался третий, появившийся из-за ширмы, мальчик Егор. Ни к кому не обращаясь, обронил он неожиданную сентенцию о значении душевной гибкости в условиях налетевшей исторической бури. Думали, что подразумевается гибкость лозы, под ветром приникшей к земле во избежание поломки, тогда как отрок имел в виду мудрость воды, способной принять форму любого сосуда, повторяя самое фантастическое русло и оставаясь собою, чтобы при благоприятной оказии вырваться из навязанных ей преград. И, как всегда, родители мысленно отметили несвойственную его возрасту дальнозоркость ума.

Предельным неблагополучием веяло в ту пору от дьякона: боязно было в глаза ему взглянуть, чтоб не прочесть там правду. Тем временем с обострением нужды вслед за самоваром прожиты были прочие аблаевские

ценности: хорьковая ротонда, приданое покойницы, и золотые часы с цепочкой, подписное подношение ревнителей церковного благолепия. Дальше пришел черед за излишками одежды, посуды, обиходной утвари: все сглотнул расположенный близ кладбища толчок, пригородное крестьянство охотно брало даже подержанные детские игрушечки.

И напоследок, с отчаянья решась кутнуть напропалую, дьякон после жаркой русской бани вдоволь полакомился ледяным пивком и... утратил свой трубный profundo бас, а заодно и надежду отбиться от судьбы, после чего как бы во исполнение чьего-то тщательно продуманного бесовского замысла все покатилось в яму.

Неделю спустя все затихло за стенкой у Лоскутовых, которые боялись к дьякону в окошко заглянуть, чтобы не наткнуться на какое-либо страшное зрелище... пока не открылось, что Дуня украдкой бегает подкармливать аблаевских девочек. И тогда родители, учитывая безвыходное состояние голодающих соседей намеренно оставляли в сенях на полке в холодке деликатную милостыньку — то остатки обеденных щей и хлеба ломоток, то полселедки в бумажке с парой отварных картошек в придачу, во избежание подозрений всего по малости и делая вид, будто не замечают пропажи.

Если же подсчитать, сколько всяких харчей перетаскала туда милосердная Дунюшка тайком от родителей, не посмевших ее остановить, то, конечно, без соседской доброты Аблаевы раньше срока достигли бы той крайней нужды, когда неотвязно одолевает поиск легкой смерти. Кроме некоторой худобы за счет прежней могучей телесности, только в том и выражалось у дьякона его бедственное состоянье, что временами выключался из сознанья и глядел в точку перед собою, пока не стряхнут, не пустят в ход, как остановившиеся часы.

Но и на краю пропасти не покидала Аблаева надежда на доброту Господню, помогавшую ему и в беде сохранять достоинство сана, — вплоть до одного ужасного сна, когда Прасковья Андреевна наотмашь отчитала его: «Чего-чего уставился, бесстыжие твои очи? — на весь мир кричала она дьякону, не успевшему и протянутой руки опустить. — Накинулися на Матвея, кабы он еще сто-

рукий был, да разве столько ртов сапожной иглой прокормишь... Конец, конец нашей милости!..» До рассвета вслушивался Аблаев в несмолкавшее над ним гулкое эхо разноса, чудом не разбудившее малышей.

После стольких неудач душевно обессилевший Аблаев прекратил свои напрасные хождения по отделам кадров и день уже не выходил из дома, лишь затемно иногда пускался вместе с племянником в долгие, непонятные прогулки по городу. И Бог знает, о чем толковали они, старый да малый, с пустынной набережной уставясь в черные, стылые воды Яузы, либо на бульварной скамье бездумно следя, как откуда-то из тьмы ночной возникающие снежинки, покружась в свете фонаря над головой, внезапно гаснут, возвращаясь в неведомый мрак. В тот последний месяц не так сблизило их кровное родство, как общность судьбы, точнее, недоуменье перед нею. Когда разразилось несчастье, то, по рассказу Финогеича, за сорок с лишком лет его кладбищенского служенья никто не убивался так пронзительно над покойником, не рвался за ним в могилу, цепляясь за гроб, будто обнимая уходившего, как над Аблаевым осиротевший Сергунька.

К тому времени обе стороны, живя рядом, сознательно избегали встречаться ввиду неминуемого разговора на одну и ту же, скрываемую и по-разному болезненную для них тему. Но однажды близ полуночи, отправляясь к знакомому шоферу за лоскутом ворованной подошвенной кожи о. Матвей невзначай и лицом к лицу столкнулся с Аблаевым, который возвращался домой после обычного для всей голодной твари поиска любой жертвы, волоча за собой полусонного парнишку.

— Вот с приятелем, вдосталь надышавшись свежим воздухом на сон грядущий, от трудов праведных отдыхать идем... — застигнутый врасплох сипловато полупризнался дьякон.

Давно догадавшийся об истинной цели их необычных ночных прогулок и решась прорваться сквозь разлучавшую их стену отчужденья, батюшка в таком же смущенье поинтересовался в открытую — велик ли улов:

— Что, никак опять с пустыми руками?

— Не скажи, бывают и удачи, то бутылка-другая попадется, вещь с малым повреждением, еда, почти не быв-

шая в употреблении, требующая немало хлопот вернуть ей пищевую пригодность для ребяток, — также нараспашку отвечал Аблаев.

На минуточку у обоих полегчало на душе — настолько, что батюшка рискнул присоветовать дружку впредь обходиться без помощничка, чтоб не лишать его сна, не застудить в наступающей непогоде... А дьякон, отмахнувшись, жестоко пошутил — дескать, пора им закаляться к светлому будущему, которое уже не за горами.

— И то правда твоя, Никон, уж скоро мы оставим их перед лицом пустыни: пущай приобщаются помаленьку.

И опять замолкли, попеременно ощутив на себе пристальный детский взор с вопросом, на который у взрослых не бывает ответа.

— Суетимся, стареем, Никон, а меж тем ранняя сменка-то подрастает... Ишь вытянулся, славный, ко всему понятливый, нешумный совсем: никогда тебя скрозь стенку не слыхать! — похвалил Матвей, коснувшись влажного от измороси вязаного его беретика. — В кого же ты, в мать али папашу задался такой, тихоня?

— У меня папаши не было, мамку мою урки в лагере изнасильничали... вот я и зародился ей на горе, — не по-детски звенящим голоском признался мальчик, словно извиняясь за свое незваное появление на свет Божий.

И до гробовой доски Матвей Петрович не мог простить себе этот далеко не самый тяжкий грешок на фоне тогдашних злодеяний. Вина его состояла в том, что, хоть и лишенец, зато с наличием в семье трех рабочих единиц — он, неурочным часом оправдываясь перед совестью своей, а на деле из малодушной боязни разгневать хозяйку, воздержался оказать вовсе нищему собрату посильное, но немедленное гостеприимство.

Всю следующую неделю, похоже, от Аблаевых даже за водой не выходил никто, словно вымерли. Дуня, относившая ребяткам по колобку да миску вареной свеколки, застала всех дома, кроме хозяина. Сергуня зачарованно глядел в окно на скакавших по снегу ворон, тетка с ожесточением все стирала что-то, младшие беззвучно играли на полу. В сумерках охваченный дурным предчувствием Матвей навестил только что, якобы с поденщины, вернувшегося соседа, и тот с запинкой сообщил ему о своей

потребности посоветоваться об одном, не при детях, самоважном деле. Так, по отсутствию более подходящего укрытия, очутились они в незапертом храме. К ночи до костей леденящий ветер поднялся, буквально с ног валил, а там, на правом клиросе, несмотря на холодище, было тихо и уютно, для их цели в самый раз хорошо — при свете крупносвечного воскового огарка, который шипел и брызгался, словно отбивалось от наползавшего изовсюду мрака. Немудрено, что в тогдашнем состоянии оба не заметили спокойной, на противоположной стене, откуда-то из щели убегающей в купол полоски таинственного сиянья... Но откуда было взяться луне в ту вьюжную ночь?

Зябко потирая руки, дьякон грел их, почти вплотную поднося к пламени свечи.

— Да не пугай ты меня, сказывай, о чем молчишь, Никон... — под конец взмолился Матвей и за плечи его потряс, изнемогая от ужасных догадок.

— Благослови, Матвей Петрович, великий грех принять, — твердо вымолвил Аблаев и так вздохнул, что заметавшееся пламя упорхнуло бы, кабы не привязанное на фитильке. — Ничего мне не осталося, кроме как...

— Не смей, не смей, и слушать тебя не хочу... — зашептал о. Матвей, неуверенный, что хватит в создавшихся условиях всего христианского красноречия отговорить беднягу от задуманного шага. — Давно уныние в тебе примечаю, а нет ничего грешнее, чем духом пасть, когда все на свете нипочем становится. Понимаю, что дело твое аховое: утопая, за бритву схватишься, однако не затем, чтобы ею себе по горлу полоснуть. Если кормчие почнут шататься, всему кораблю погибель. Оглянулся бы на праотцев, как иного с головой волна накрывала благодатно, но избегал пучины не утративший веры пловец! — и сам еле превозмогая отчаянье, показал наугад на одного из них, внимавшего им сверху, со штукатурки.

— Погоди, Матвей Петрович... — отстраняясь от его объятий, молвил дьякон. — Рановато меня погребаешь, опять же ребяток в могилу с собой не возьмешь. Тут дело похуже складывается, потому что выхода у меня иного нет. — И вдруг усмехнулся с явным вызовом, неподобающим для места, где находились. — Дивлюсь, какая же ему

власть на меня дадена, захватил поперек тулова и держит, зубов не разжимая, дыхнуть не даст?

Если в прежних упоминаниях о своих напастях дьякон подчас намекал на причастность к ним исконного врага неба и рода человеческого, то сейчас пришла пора содрогнуться и старо-федосеевскому батюшке, едва смекнул — о ком речь.

Неточными, сбивчивыми словами дьякон поведал о. Матвею, как незримая, не называя — чья, глумливая рука затягивала на нем удавку... Испытывая на шее тесноту, затруднявшую дыхание, Аблаев дерзнул добиваться личного приема товарища Шарапова, который оказался в опуске. Замещавший его начальник со странно уклоняющимся от рассмотрения лицом подсказал просителю, что работы у них хоть завались — при желании любую должность подберут, хотя бы на прокладке эпохальной железнодорожной магистрали — с условием снятия сана и публичного отреченья на большом рабочем собрании желательно в таком стиле, чтобы не только исключалось возвращение на покинутую стезю, но и те, кто собирался податься в религию, навек закаялись после такого зрелища.

Консультация происходила в полутемном, насквозь прокуренном и столь тесном закутке, что вплотную набившиеся туда местные, почему-то все на одно лицо — секретари, экспедиторы и коменданты — могли лишь стоя, один из-за плеча другого, наблюдать свою безмолвную, расслабленно громоздившуюся посреди добычу; и все хором склонялись намеченную операцию начинать без промедления, ибо как с зубами, чем быстрее, тем менее болезненнее. Так что оставалось договориться только о самой процедуре отреченья.

Тотчас на шуршливую змейку похожая девица позвонила директору недавно отстроенного в этом же районе Дворца культуры, который, похоже, того лишь и дожидался у телефона. В назначенное утро обнадеженный дьякон направился к нему на поклон, но к большой досаде Минтая Миносовича срочно вызвали в райком, после чего тот перебрался в плановую комиссию, откуда проследовал прямиком на областной смотр балагурства и празднословия. Все шесть часов, проведенные в приемной, Аблаев оглаживал на себе гриву и, прокашлива-

ясь в рукав, занимался сравнительным изучением бород и причесок на развешанных по стенам портретах ударников и лишь в обеденный перерыв, когда помещение опустело, поотдохнул от сверлящего из всех щелей любопытства.

К концу дня вернулся Минтай, смуглый мужчина, весь как бы изнутри проросший волосом, с адской поволокой в глазах, настолько внушительных размеров, что Аблаев казался при нем бородатым отроком. Видимо, из равнодушия к предлагаемому товару директор клуба все время беседы, пока проситель излагал свои нужды, то читал газету, то заколачивал в себя под пиво бутерброды с кетовой икрой и под конец без единого слова, нажатием кнопки передал дьякона клубному режиссеру для дальнейшего оформления. Обладая большой творческой фантазией, тот молодой человек предложил уже готовый на бумажке ритуал мероприятия с последующим во избежание скуки остриженим волос, кроме чуба да запорожских усов под гетмана Наливайку. По игре воображения он даже придумал выпустить Аблаева на рампу в полном церковном облаченье для глубины впечатленья. Однако согласились на подрясник и без парикмахерского глумленья в конце. Номер должен был завершиться страстным призывом прозревшего неофита ко всем ксендзам, муллам и буддийским ламам последовать его примеру. В целях идеологической цельности самое составление текста клуб брал на себя.

— Сам знаю, на что иду, — сокрушенно заключил дьякон свою повесть, — но, веришь ли, Матвей Петрович, на разбой пошел бы для деток, да вот на беду купцы-то перевелись нынче на Руси...

Некоторое время равномерная капель где-то в алтаре нарушала ночное безмолвие.

— Когда же назначено душу-то из тебя вынать?

— Сегодня что у нас, среда? — из какой-то ужасной дали откликнулся дьякон. — Вечерком послезавтрева...

Оба не отводили глаз от длинного пламени, которому оставалось не больше пяти минут горения.

— Кровью-то расписки не требуют?

— Прямого разговора не было, но, веришь ли, как вспомню про девочек, как они там неслышно на полу в пестрые

стекляшечки играют, как на руки мои глядят, когда вхожу, то вчетверо отдал бы... — и вдруг, не сдержась, спросил: — Что у **них там**, наверху, нищему за измену положено?

Вызывающий вопрос выражал скорее степень аблаевского смятения, нежели бунта. В создавшихся условиях отговаривать дьякона от задуманного было так же неуместно, как воспрещать ему принести себя в жертву ближним, тем паче малюткам, защита которых сама собой подразумевается в христианской морали.

Да и не в том ли заключается обязанность священника, чтобы обелить очевидное бессилие небес, похожее на прямое попущение заведомому злодейству, и примирить ум с горестной неизбежностью скорбей на земле. Тогда-то, поставленный в необходимость, и открыл Матвей дьякону самые коварные, с канонической точки зрения, скопившиеся, довольно рискованные мыслишки за несчитанное время сиденья за сапожным верстаком. Он гораздо больше наговорил в тот раз, чем здесь приведено, жарче и сбивчивей, зато короче, так как недосказанное возмещалось преимуществами непосредственного общения.

По Матвееву признанью, его тоже давно смущали кое-какие явления, внешне как бы порочащие логику Божественного промысла, что однако не означает крушенья веры, а лишь подчеркивает несовершенство наших знаний о Боге. Туманная, потому что впервые и вслух, высказанная мысль касалась главного догмата веры о непостижимом, во дни Ирода царя, сошествии Божества на казнь во искупление первородного греха. Ибо в чем ином может проявиться родство зеркального двойника с оригиналом, как не в божественности человека и человечности Божества.

— Подумаешь, Никон, на заре райского новоселья какая неизбывная беда приключилася: молодица неразумная, едва замужем, плода запретного вкусила. И за то проклят был во чреве весь род людской со всею еще неродившейся детворою включительно... А без того рокового яблочка, кабы воздержалась, кем бы люди остались — мотылечками, воробушками, зверями лесными? У царей выше всех прочих совершенств — справедливость. Не устрашусь открыть свою догадку об истинной причине милосердного акта Господня. Оно действитель-

но состоялось, сошествие с небес, во исполнение первородного греха... весь вопрос — чьего? Не потому ли, что, вдоволь наглядевшись на горе людей, обусловленное их телесной природой, и порешился отец небесный предать палачам возлюбленного сына своего, чтобы испил чашу неведомого ему дотоле страданья нашего? Иначе, если впрямь нет у него жилища милее сердца человеческого, то как ему, осознавшему свою причастность к обстоятельствам, в этом доме пребывать и царствовать?.. Смекаешь теперь, в чем заключался голгофский подвиг его на земле? — глаза в глаза спросил о. Матвей и вдруг до холодной испарины ослабел весь, отрекшись от коренного догмата веры своей. Единственное оправданье о. Матвею заключалось в том, что страшную тираду свою произносил как бы в исступленьи.

— Полагаешь ли, отче, что и в самом деле неприятно Господу нашему созерцать с небеси, как Аблаев понесет шершавому Минтаю душу свою за паек продавать? — со скрипучим сарказмом справился дьякон, и батюшка не ответил на его ужасный вызов, содрогнувшись при мысли, что там, наверху, слышат их диалог.

— Рвет мне сердце крик души твоей, но молчи, молчи, пусть не гордятся горем нашим, — чуть спустя, оправясь от шока, сказал дружку о. Матвей и какими-то неповторимыми, навзрыд, словами прибавил в утешенье, что сам Иисус будет стоять рядом с ним на помосте и совместно пригубит чашу горечи его. — Давай обнимемся напоследок, конченый ты мой человек!

Наставление бывшего попа завтрашнему отступнику, как вести себя на эшафоте, подошло к концу. Догоравшая свеча дализывала растекшуюся под огарком лужицу воска, и вдруг, перед тем, как погаснуть, взметнувшееся пламя населило сумрак кругом скользящими тенями, так что в последнее мгновенье Никону почудилось даже, как еретическими вольномыслиями напуганный старичок в нижнем ярусе иконостаса, участник Никейского собора, по пояс высунулся в их сторону, приложив к уху ладонь. В следующий момент храм потонул во мраке, выбирались наружу впотьмах и ощупью в уже наступившую длинную бессонную ночь. Никто, кроме Финогеича, не знал о предстоящей аблаевской перековке, но и все остальные

жители домика со ставнями провели в невыносимом томлении духа тот бесконечный день, пока ближе к вечеру не прибыло начальство с подручными.

В общем-то, от кладбища до Дворца культуры было рукой подать, однако Минтай сам подкатил за добычей на машине едва ли не за час до начала, и хотя дьякон был тоже изрядного роста, у него похолодело в сердце при виде сопровождающих его сотрудников впечатляющего вида: один из которых с челюстями для раскусывания кокосовых орехов, другой же имел лицо как переспелый ананас; всю дорогу до места он-то, на случай бегства, как бы по рассеянности и держал мощную длань на аблаевском колене. Не смея войти без дозволения в святое место, они протяжными воплями клаксона вызывали жертву к себе за ворота. Аблаев настрого запретил домашним провожать его даже взглядом из окна. В последнюю минуту погружаемый в машину, в обжимку усаживаясь посреди провожатых, вдруг погано ослабевший весь, стал волноваться и заикнулся в шутку насчет пивка для храбрости. Было отвечено, что на обратном пути хоть ведро любой крепости, а туда — ни-ни, чтоб не получилось неуважение к аудитории.

Выступление Аблаева намечалось в промежутке между двух эстрадных номеров, и во избежание пристрастного любопытства встречного персонала к отступнику, дьякон был доставлен через запасный ход прямиком в кабинет директора, где его ожидал на подносе чай с бутербродом и трехъярусным пирожным на бумажке. Впрочем, оставленный без присмотра с незапертой дверью пленник вскоре пропал, и его нашли за туалетной комнатой в конце коридора, где он, приоткрыв стеклянную дверь на заваленный снегом балкончик, жадно закуривал мятую и не первую, видимо, папироску.

— Вот к проклятию готовлюсь, — сипловато покаялся Аблаев.

— Зря на сквозняке торчите, — потирая руки, точно мыл перед едой, приветливо пожурил его директор, — без того голос стал совсем как колокол надтреснутый.

— От переживаний растрескался, — в смертной истоме поведал дьякон.

Вокруг них в зловонном тумане пополам с табачным дымом тасовалась текучая толпа, и состоявшаяся здесь

беглая беседа на далеко несовместимую тему, под шум спускаемой воды, воспринималась дьяконом греховным криминалом высшего порядка.

Разговор у них начался советом Минтая не трепыхаться зря, так как сама по себе предстоящая Каносса для новичка настолько щекотливая, на деле не больнее, чем застарелый зуб тащить.

— Шибко-то в церковную схоластику не вдавайся, — фамильярным тоном сообщника по злодейству ободрил он напоследок, — а вот мужской сальный анекдотец в адрес Магдалины не повредит. Сообразно текущему моменту, юмор — улыбка ума. И особенно подкупает меня в тебе детское простодушие и нечто от Фомы Аквинского, в смысле быковатой внешности при чувствительной душе. И не дрожи.

— Стараюсь. Вот спросить еще собирался да забыл, как вас по отчеству величать, — от робости замялся Никон, — Минтай... Миносович?..

— Нет-нет!.. Покойный Минос доводился мне папой разве лишь в том разрезе, что его супруга произвела меня на свет от его же родного дяди Посейдона, владыки морей, в честь его родители звали меня ласкательно Минтаем, так что во избежание династической путаницы зови меня просто товарищ Минотавр. Теперь что тебя беспокоит?

— Долго ли продолжится крестная мука моя?

— Ну это, братец, по рвенью... главное — с огоньком, чтобы мостов в прошлое не оставалось. Однако нам пора! — покровительственно заключил он, возлагая ладонь на темя аблаевское, причем оказалось, что тот приходился ему едва под локоть.

Видимо, в обиходе попривыкнув к повседневной бесовщине вокруг себя, люди сейчас не замечали вблизи, что при своих габаритах дьякон выглядел почти раза в полтора мельче клубного директора, про которого тамошние завсегдатаи шутили, что в его сапоге уместился бы мальчик лет восьми.

Тут Аблаев ощутил электрическое прикосновенье просунувшейся под локоток руки, которая прямиком повела его сквозь почтительно расступившуюся публику перед экзотической фигурой дьякона в рясе с длинными

волосами, как было условлено по сценарию отреченья. И когда после нескольких ступеней вверх, за поворотом вправо открылось зияющее пространство, у него подкосились ноги, и пришлось бы экую громаду волоком тащить на помост, как на дыбу, если бы не лишняя спасительная минутка ожидания за кулисой, пока кончалось выступление самодеятельного квартета щипковых инструментов, задушевно исполнявшего свой коронный номер на мотив — однозвучно гремит колокольчик.

Обычно клубные концерты передавались по радио, и дьякон заранее упросил Финогеича подежурить тот страшный часок под говорящей тарелкой в заводском снежном скверике. Всякая боль легче выносится, если родная душа хоть издали присутствует в момент ее причиненья. После выпавшего утром мокрого снежка хлипкое затишье установилось в природе; тяжкий шелест капели несколько мешал старику читать по звукам происходившее в зале, и по признанию старика, слезы в горошину катились у него из глаз, пока слушал корявое, по бумажке, бормотанье человека, публично, с растоптанием, отвергавшего Бога своего.

В те годы с целью привлеченья зрителя клубы стремились полезное сочетать с развлекательным — как детям добавляют сиропцу в горькое лекарство. Появление дьякона, принятого публикой за обещанного в программе иллюзиониста, знаменитого своим искусством мгновенно менять внешность, пол и возраст, было встречено чуть ли не овацией. Когда же Аблаев стал рассказывать, как порвали паутину средневековых суеверий, вырвался он на простор истинного прогресса, в зале пополз ропот разочарования. К несчастью вдобавок, самый текст покаянья, после долгих согласований в инстанциях с уймой обязательных цитат и вписок, по-птичьи трепыхался в дрожащей руке отступника, отчего случались двусмысленные оговорки, так что сбившись под конец, оратор перешел на смешное нечленораздельное гуденье. Выпущенный ему на выручку конферансье завел уморительный диалог на профессиональные темы, и, в частности, осведомился — сможет ли артист в подтверждение распространенных слухов произнести показательные многолетия, будто посредством акустических колебаний можно разрушить стеклянный сосуд сред-

ней емкости? Отступать было некуда: уже какие-то ловкие ребята бесовского облика тащили из буфета посудину на двести граммов с прицепом, а с первого ряда комично удаляли подростков, чтобы не поранило. Совсем не к месту заплакавшего дьякона вывели под руки в мертвой тишине, а Финогеич со своего поста смог расслышать чей-то вздох, сопровожденный словами: о Господи!

Между прочим, зал был набит до отказа, а в переполненной директорской ложе находилось немало влиятельных лиц с женами, среди них знаменитый корифей Шатаницкий, которому очень понравилось мужественное, в колизейном стиле, самосожженье.

В подсобном коридоре, отвалясь на спинку скамьи, где его оставили отдыхать после казни, долго ждал дьякон, что вот-вот вынесут ему разрешительное, с красной печатью, свидетельство на право получения должности. Но время шло, с эстрады доносился сперва грохот полусотни каблуков, затем музыкальный плач пилы, а он все ждал, потому что смертельнее всего было теперь вернуться к семье без фактической расписки ада в полученье одной исправной человеческой души. Проходивший мимо давешний сподручный Минтая посулил выслать справку тотчас по получении бланков из типографии и поручил милиционеру проводить гражданина на улицу. Здесь, лишь за воротами, на размокшем от слякоти пустыре, издали признав по походке, и подхватил ослабевшего великана подоспевший Финогеич. Домой возвращались затемно пешком.

— Духом-то не падай, Никон Степаныч. Главное — отлежаться теперь. Через овражек переберемся и дома, — твердил старик, поддерживая плечом обугленную громаду, и всю дорогу горевал об отсутствии баньки в Старо-Федосееве, ибо нет лекарства пользительнее от всех болезней как на раскаленном полке́, где вперемежку с ознобцем ублаготворить тело веничком, пока не станет на место вывихнутая душа. — Злые стали люди, злые докрасна...

В заключение же пытался рюмочкой заманить пострадавшего к себе, чтобы сразу не пугать ребяток.

Те еще не ложились, и несмышленые повскакали навстречу ввалившемуся кормильцу. Мимо протянутых рук,

пройдя к себе за занавеску, дьякон слег в постель и двое последующих, без пищи проведенных суток же отзывался на собственное имя. Лишь неотлучавшийся Сергунька доставлял заметное облегченье другу поглаживанием недвижной руки. Напрасно приоткрывшаяся тетка молила его пропить накопленные себе на похороны семь червонцев; напрасно заходивший проведать Финогеич подтверждал, что прижиганье образовавшейся душевной раны действует не хуже бани; напрасно отец Матвей пытался влить в аблаевское сердце пастырский бальзам.

— Как подымешься, — говорил о. Матвей, раскрывая свой заветный клад, который втайне хранил на черный день для себя, самую главную свою надежду — уйти от судьбы, — сложишь всех ребяток заедино с барахлом в один кузовок да и махнешь на алтайское приволье. Проживает у меня там на небольшом озерце родной дядя жены, чуть постарше меня, человек хороший, тоже попом служил да после ссылки по нужде, как и я, в пчеловоды перековался. Ни тебе прописки в такой глуши, ни гоненья. А что касаемо пищи? Так зверь-то не цингует, живет, а воск и медок, надо полагать, и при полном коммунизме не отменят. И мнится мне среди работы за верстаком, будто иду босыми ногами по росной травке, иду и мысленно плачу от радости: совратился, сам не знаю куда, где не велено больше томиться, вздрагивать, казни ждать. Так и сижу с иглой в руке... Ты меня слышишь, Аблаев?

Однако тот молчал, рассеянным взором уставясь в окно на поваливший хлопьями снег и — еще дальше куда-то. Он догорал молча и помер со слезами на глазах на пятые сутки без единого слова прощанья и прощенья.

Осиротевшая семья так же кротко и неслышно, как жили, куда-то стаяла вместе со снегом той зимы, и что сталось с ними потом — лучше не задумываться.

Глава V

Слишком приятельское приветствие сомнительного корифея бросает дурную тень на человека вполне достойного, кабы не его богословское мудрование о вещах, запретных для ума, и еще надлежит заблаговременно изло-

жить кое-какие сведенья о бывшем священнике Матвее Петровиче Лоскутове, на судьбе которого построен ключевой миф о нынешней верховной смуте.

В сущности, жизнеописание бывшего священника целиком уместилось бы в полстранички. Добрые и щедрые наставники, как бы передавая из рук в руки, заботой и лаской пестовали его убогое детство. Еще в школе местный учитель, чахоточный мечтатель, отбывавший там царскую ссылку, заронил в кроткого паренька искру подвига во имя некой общечеловеческой цели, а после смерти матери мастеровитый шорник, по-соседски приютивший сироту, обучил его всем статьям своего уменья — от сложной архитектуры русского хомута до всепогодной крестьянской обувки, что впоследствии и пригодилось о. Матвею, когда под влиянием обстоятельств вынужден был сменить пастырское служение на сапожное ремесло. И наконец, епархиальный архиерей, на выпускном экзамене тронутый поэтическим, без выхода из канонических рамок, толкованием столь туманного догмата, как тринитарность, не только довел даровитого юношу до семинарии, но и по уходе на покой, когда тот по традиции занял унаследованный от тестя скромный приход, не оставлял своего любимца без покровительства. Не он ли попозже, на основе своих служебных связей исхлопотал будущему ересиарху беспримерный дотоле перевод из вятской глуши прямиком на скромное, но еще доходное подмосковное кладбище? Но версия эта маловероятна в общественных условиях того периода, когда синодальное ведомство надолго утратило былую значимость.

Открытие Бога, ставшее призванием отца Матвея, состоялось в раннем возрасте, когда по дороге из лесу домой его застала в поле такая праздничная Ильинская гроза. Молнии с огненным треском раздирали небо над головой, а ливневая влага, ручьем стекавшая под холстинковой рубахой, придавала душе и телу жуткий трепет посвящения в тайность, а все вместе становилось восторженным чудом, облекавшим парнишку с головы до пят.

В избе у шорника хранилась старопечатная, именуемая **патерик**, книга с жизнеописаниями отшельников, иерархов и священномучеников российских. В зимние

вечера, при коптилке, ведя пальцем по строкам, питомец читал ее слепнущему благодетелю, который немигающим взором смотрел в огонь, умиленный чужою судьбою, не доставшейся ему самому. Юного грамотея тоже манили необычайные приключения святых героев, в особенности их поединки с нечистой силой, как у Иоанна Многострадального, по шею закопавшего себя в землю, и дикая прелесть уединенного жития в таежной землянке, куда слетаются окрестные птахи навестить праведника и охромевший зверь лапой стучится в оконце на предмет удаления занозы. В семинарские годы он помышлял о миссионерстве на северной окраине, чтобы, подобно Иннокентию Камчатскому, в утлом челноке пробираясь среди смыкающихся льдов, нести слово Божье отдаленным алеутам. В памяти юноши еще не угасло прощальное напутствие чахоточного учителя следовать примеру именитых предшественников прошлого века, тоже бывших семинаристов, беззаветно потрудившихся на ниве очевидного теперь разрушения исторической России. Выходец из деревенской нищеты, о. Матвей одно время испытывал горячие симпатии к революции бедных, и сам был не прочь принять в ней посильное участие. Тем паче прельщала русского батюшку новизна, преобразующая человечество наподобие всемирной, во Христе, образцовой пасеки, причем общественная устойчивость диктовалась уже не головоломным сплетением обоюдоострых истин, а тем социальным инстинктом улья, где все одинакие, и оттого некому завидовать, нечего красть и незачем убивать ближнего на баррикаде... покуда на собственном опыте не убедился, что означенная, медок творящая пчелка трудовая, не забывающая о вощине для свечи пасхальной, ныне насильно, во имя какой-то другой, не понятной ему цели впрягается в ее земной насекомый интерес с запретом мысленно всматриваться в небо, что и служило ему самому наглядным доказательством своей политической неграмотности.

С той поры героические помыслы его сменились преждевременным стариковским влечением к мирной жизни, чтобы, сидя в кругу многодетной семьи на терасе уютного домика с видом на речку и во благовременье вкушая вечерний чаек, слушать мелодичную русскую

песню возвращающихся с покоса поселян либо, еще краше, любоваться деятельностью местных, своего прихода рыбарей, как они дружно и воздерживаясь от возгласов крестьянского просторечия, тянут на берег свои мрежи, полные живого, трепещущего серебра.

Казалось бы, всего тут с избытком наговорено про бывшего попа Матвея, однако не заключался ли коренной просчет эпохи именно в упрощенном подходе к человеку на основе анкетной биографии, которая есть не более чем телесный экстерьер, без заглядки в тайники подсознанья, где под опекой рассудка ютятся в тесноте совесть и вера. Словом этим обозначалось у о. Матвея непрестанное, сродни таланту, ощущенье благодетельного, над собою, присутствия надмирного и всевластного существа, отвергаемого наукой по невозможности приручить его в пробирке, in vitro, для подключения к коммунальному хозяйству на манер электричества. Ввиду масштабной несовместимости сторон для непосредственного общения человека с божеством, по ничтожеству одного и величию другого, детская вера сводилась к готовности при жизни пролежать песчинкой на безвестной вселенской тропке в ожидании — когда однажды, при обходе звездных владений Господь коснется его своей пречистою стопой. Отнюдь не чудо требовалось отроку; на пути к будущему призванью в раннем возрасте усваивается стариковская мудрость, что постоянным пребыванъем среди дивных творений природы притупляется наше восприятие их божественной прелести. Также рано понял он, что и всякая драгоценность в потемках музейной витрины сверкнет не раньше, чем высветит ее там и прогреет благоговейное восхищенье созерцателя. Простонародная душа терпеливей к страданью в надежде, что всякая, без вины, боль земная посмертно, по золотинке за бочку слез, вознаграждается в небесах. Впрочем, священник и не нуждался в подтверждающем сей тезис знаменье небесном, пока все казни египетские не обрушились на его страну. Раскорчевка бывшей империи под всемирную цитадель интернационального братства началась планомерным искорененьем православия, заложенного в фундамент русской государственности. Вслед за изъятьем ценной служебной утвари из алтарей стали редеть храмы на Руси, а с уцелевших посымали их

медные глаголы, чтобы вкрадчивым напоминаньем не омрачали наступившую весну человечества. Старинный собор старо-федосеевского некрополя с наспех залатанными повреждeньями октябрьского штурма еще сохранял свою внешнюю парадность, быстро тускневшую от наплыва покойников, которые буквально ломились на кладбище, отбоя нет, словно торопились поспеть на обительский корабль до его отхода в потустороннее плаванье. Не радовали бедного вятского попа обманчивые приметы приходского процветания — текучая волна богомольцев, расточительный дым кадильный, гробы, проплывавшие мимо под безутешные рыданья провожатых, вплетенные в райские напевы почти концертного хора: пугало зловещее обилие отовсюду слетевшейся экзотической голытьбы.

Точно с ветру взявшиеся благородные матроны в кружевных траурных косынках убирали нагар со свечей, торговали рукодельными цветочками и погребальной мишурой в украшение могилок, а преобразившиеся в садовников и регентов бравые, воинского обличья и с седыми подусниками старички пели в хоре, хлопотали по благоустройству новоприбывших на кладбищенском новоселье. Задолго до утрени, от ворот до паперти выстраивалась шеренга обломков прошлого, где попадались призрачные игуменьи владычных монастырей, и митрофорные протоиереи с академическими значками на груди, а среди них известный о.Матвею по семинарскому учебнику доктор гомилевтики и, наконец, скорбно зажмурясь от постигшего их ничтожества, сами недавние давальцы на церковное благолепие. Все это чередовалось вперемежку с калечным и бездомным божьим людом, похмельным сбродом и просто рванью человеческой; держась за вделанную в стенку железную скобу, чтоб не утратить место в толчее, они зорко караулили пятак богомольца, устрашаемого при виде стольких протянутых рук; разок-другой пришлось и чуть не батожком унимать их голодную корысть. Томясь стыдом за свою временную сытость, потому что всякий раз искал в этой галерее нищеты свою завтрашнюю участь, о. Матвей с опущенным долу взором торопился миновать их жалкий квохчущий строй. На всех пока хватало кутьи и милостыни, но уже поговаривали в народе, что новая власть царем да богача-

ми не ограничится, а после малой передышки примется за самые небеса.

Не более двух лет длилось тревожное процветанье Лоскутовых на новом месте. Близ очередного Рождества порывом того ветра смыло с паперти нездоровую толчею затянувшегося праздника. Закрытием именитого некрополя как бы отменялся исконный обычай племени провожать усопших заупокойной молитвой с восковой свечой и ладаном. Из искры возродившееся пламя быстро становилось повсеместной огненной бурей, в которой пылала и плавилась всяческая сорная старина — святыни, обряды, потребности, ремесла, включая тысячелетнюю государственность и самую веру русских. В середине первой пятилетки, куда ни глянь, по всему горизонту стлалось незримое, обжигающее душу зарево.

В былых крестьянских пожарищах на Руси неизменно наступал тот переломный момент, когда во всю ширь отчаянья раскрывается бесполезность дальнейшего сопротивления огню. Уже без причитаний и молитв ночная суматоха сменяется отрешенным созерцанием, как повсюду прорвавшаяся сквозь стропила рыжеволосая беда швыряет в рассветную муть охапки искр, а шалый ветерок помогает ей пожирать основы бытия. Уже не плачут дети, бабы не бьются оземь головой, лишь собаки вопросительно косятся на помертвевших хозяев... Еще красочней из-под пера Матвеева вырвалось надгробное рыданье по отечеству в письме родному дяде жены, отставному протопопу Устину Зуеву, который, своевременно перековавшись на пчеловода, безнаказанно существовал пока в алтайской глуши.

«Доселе помнятся мне вещие слова твои из предпоследнего письма — «сколь не просится у тела душа моя, чтоб отпустило ее отдохнуть на небесном приволье, противится, держит крепко, дай Бог, в чаянии лучших времен... напрасно машет крыльями, бедняжка, отцепиться не может». Вот и моя тоже... Воистину обширная, незримая зола простирается ноне кругом нас: экое кострище из России содеяли — еще полвека отполыхает, пока не прогорит дотла! У них сколько веков плакал Иеремия, а мы только лишь спочинаем, и кто знает, надолго ли хватит наших слез. Соблазнились православные на жидкое брат-

ство и, не понюхав, вкусили досыта. Не про нас ли сказано: зарекалась ворона навоз скребать, а как увидит — обязательно. И вот — пала, грозная, в боях, не обнажив меча, дружина.

Я думал, когда новый строй придет, что будет общий улей, где все объединено. Людей ждет удел пчелок золотых, которые работают на хозяина и на Бога. А новые властители собираются перековать род людской на породу шершня, который, как сам видел, среднего размера муху обыкновенную запросто перекусывает пополам.

И вот, чуть сумерки, все мы, обреченное, слепнущее старичье, мысленно бродим по своей неостылой погорельщине и в потемках, благоговейно подымая из-под ног обугленные головешки, на ощупь пытаемся опознать, чем это было раньше. Доныне по указанию Господню гений и святость вели род людской из ничтожества на вершины всеобщего прогресса, но, чрезмерно жалостливые к чужому горю и, чуть дымком запахло, спешившие с ведерком помочь соседу, русские по любимой поговорке — на миру и смерть красна — сверх того мечтали об одинаковой для всех судьбе на базе равенства материального, однако же без превосходства умственного во избежание кровавых междоусобиц, чтобы всем и всего было поровну — вплоть до глада, хлада и нищеты бездомной. Нас взяли на заманку всемирного братства... Боюсь, что вскоре Господь накажет нас исполнением желаний... — ибо оглянися, как жутко и страстно железкой выскребаем разум из собственного черепа своего, стремимся погасить высший дар Его... кровью застилается рассудок от созерцанья неотвратимых последствий... Невольная приходит на ум догадка — не в том ли заключалось историческое предназначенье России, чтобы с высот тысячелетнего величия и на глазах у человечества рухнуть наземь и тем самым собственным примером предостеречь грядущие поколения от повторных затей учинить на земле без Христа и гения райскую житуху? И вот лукавый бес ночной шепчет мне под руку полюбоваться — как причудливо выполняется у нас нагорное пророчество о примате нищих духом в царстве Божием.

Пишу сие не столько во утешение скорби, как ради осмысления жертвенной участи нашей в глазах потомков».

И потом приписал в конце:

«А еще грешен: частенько чудится мне, как бывало на вечерней зорьке перед покосом русские девчушки водили песни хороводные, в которых слышались зов, прощание и молитва».

Временами и вдруг одолевала о. Матвея срочная надобность выяснить — слышат ли там, в небесах, что творится на святой Руси?

Гонимый алканием чуда, не раз за зиму и на исходе дня, вскинув на плечи ветхий, вятской поры, кожушок, кружным путем через боковой ход пробирался священник в обындевелый храм. В год, как Кирова убили, жестокое поветрие порвало обшивку купола и через дыры вместе с голубями ворвались недуги подобных зданий, покинутых Богом и людьми. Пророки и евангелисты в кольцевом барабане покрылись известковыми нарывами, а запрестольная фреска вовсе превратилась в легкомысленный натюрморт. Зажмурясь, чтоб не видеть запустенья, ничком валился на щербатый, выхоженный пол и, не простужаясь, по часу и дольше лежал распластанный, шепча сто тридцать восьмой псалом, и так был насторожен слух, что слышал паденье оторвавшейся от купола снежинки инея. Вдруг где-то над головой, как бы на тарабарском языке, возникала отдаленная речь вперемежку с плеском крыльев и глухим скрежетом скрестившихся мечей, и замирало сердце, принявшее мираж за докатившийся сюда отголосок битвы Добра со Злом. И не было о. Матвею ни намека, ни хотя бы утвердительного лучика в ответ, всего лишь курлыкали вверху слетевшиеся на ночлег иззябшие голуби, да вечерний сквозняк шевелил ржавые листы порванной кровли, да еще пришел Финогеич, отыскавший пропавшего попа по следу в глубоких снегах той зимы.

— Беда с людишками, совсем припадошные стали! Подымайся, дакось я тебе помогу... — ворчал старик и придерживал беднягу под локоток, пока могильный озноб стекал обратно в камень. — Как в сказке говорится, чего еще тебе, старче, надобно? Сапожной иглой злата не добудешь, зато никакая рыбина зубатая в нищую-то нору за добычей не сунется. Слышь, волна какая вверху расхлесталася, а у нас тишина, как на дне морском. Нас-то многовато развелось, дай Ему отдохнуть от нас! Может,

еще и повидаетесь, по ком скорбишь, потерпи... — И всю дорогу выговаривал смирившемуся батюшке о вреде лежания на плитах, ровно вымолоченный сноп — долго ли остудиться этак-то, а тот повинно отшучивался, дескать, приговоренные не простужаются.

...За те памятные полтора часа, потраченные на попытку логически расшифровать мистический иероглиф бытия, который все мыслящее читает в своем ключе, Матвею Петровичу живо вспомнилось одно опалившее ему душу утро давней поры полного сиротства между смертью матери и опекой благодетельного шорника. В бытность подпаском на селе, оставленный наедине со стадом и застигнутый грозою на лугу без всякого укрытия кругом, мальчик недвижно, с благоговейным испугом подлинного откровения выстоял литургию стихий, где чьи-то молнийные возгласы, чередуясь с басовитой осанной громов, завершились штормовым ливнем, насквозь промочившим парнишку. Наступившая затем, как бы по праву, робким щебетом пташек оглашаемая тишина звучала как совместный кому-то гимн благодаренья всей живности земной от затихшего стада до травы включительно. Любой из Матвеевых сверстников воспринял бы ту, во всю ширь окоема распахнувшуюся радугу как приглашение природы принять участие в ее беспечальных играх напропалую, но пастушонок лишь ежился в отяжелевших от влаги лохмотьях. Наверно, такая же, на грани разумности проступившая потребность в убежище от непогоды учила нашего предка преодолевать заодно и прочие неудобства первобытного существованья, что и доставило ему сперва старшинство в семье, а затем и свойственную царям тоскливую одинокость, толкнувшую его впоследствии на розыск пусть отдаленнейшей, на микробном уровне, космической родни, которая почему-то никак не откликается на наши позывные. Не отсюда ли возникла дерзкая Матвеева догадка о вовсе невыносимом, герметически замкнутом одиночестве Демиурга, звездно взорвавшегося некогда блистательной россыпью миров?

Вчистую отбившемуся от большой семьи Человеку потребовались труд и время изобрести перспективные средства общенья с нею. Самым надежным из них оказалось полное, со стихиями заодно, порабощенье вчерашней родни во имя священной и пока никем не

уточненной цели. Но если в мире, где подразумеваемое нечто глубокомысленно переливается из пустого в порожнее, эволюция осуществляет единственно осмысленное стремленье к высшему совершенству, тогда что же является ее движителем — соревнованье с божеством, ностальгическая тяга ко вратам рая или нынешняя, во главу угла поставленная коммунальная обслуга расплодившихся землян? Уложившийся в дюжину строк обзор высотной гонки по гималайским серпантинам прогресса с тормозным визгом на поворотах и зависанием колес над обрывом, после подъема на перевал наконец-то завершается выходом в просторное небо. И там, в сияющей дымке горизонта, профильно угадывается мечта обетованная, совсем близкая теперь, кабы не зональная пропасть впереди. Поначалу мнилось — ничего не стоило перемахнуть ее инерционным броском сорокавекового разбега, но утратившая былую ангельскую крылатость старая мудрая глина тела Адамова опасалась сорваться в гулкую за краем круговерть с плывучими поверху облачками. Меж тем, сзади напирала беспечная, с несметными обозами цивилизации лавина человечества, и вот уж кончался отпущенный ему на раздумье лимитный срок. Именно тою, на полстолетия затянувшейся долькой космического мгновенья и датируется тогдашняя стоянка мира над бездной.

И правда, в сравнении с тем, что творилось на Руси, даже с учетом незаживаемой раны Лоскутовых, тишина установилась в старо-федосеевском некрополе, как на дне моря житейского. Если не считать газет с призывами на разгром старого мира, истинные отголоски бушевавшей наверху бури достигали сюда в виде обломков через заказчиков, вчерашних прихожан, нуждающихся в наставленье либо исповеди, или в панихидке по родственнику, внезапно изъятому из обихода, а то и ввиду собственной своей насильственной кончины. Особо запомнились два таких случая, — в одном — ветхая старушенция с ридикюлем слезно просила заочно отпеть любимого внука и, видать, то ли для снискания социальной симпатии, то ли из опаски, чтобы не спутали на небесах, совала растерявшемуся батюшке фотографию вихрастого юнкеришки в еще несмятых погонах. И у Матвея Петровича не хва-

тило мужества отклонить ее наивную и фантастическую просьбу о придании земле фотокарточки убиенного без суда и следствия, хотя, кабы раскрылось, власти расценили бы его поступок как пособничество контрреволюции. Казалось бы, старушка добивалась даже канонически непредусмотренного погребения картонки с портретом расстрелянного. А в другом речь шла всего лишь о совершении погребального обряда, правда, в присутствии будущего покойника, в чем, по существу, заключалось благословенье его на нечто еще более страшное, чем простое самоубийство. Впервые опаленный дыханием эпохи, батюшка испытал надолго парализующий шок, словно прикоснулся к проводу смертельного напряжения.

Лунной ночью ранней зимы, сразу после Покрова, батюшку разбудил воровской стук в окошко. В шлепанцах на босу ногу, с одеялом внакидку и крадучись, чтоб не разбудить семью, выскочил в сени и, ухом приникнув к двери, ждал снаружи обычного пароля таких вторжений, вроде нуждающегося в приюте запоздалого путника или срочной телеграммы, но молчали и на крыльце. Когда же, подчиняясь странному влеченью, посдвинул засов, в дверную щель к нему силой протиснулся с воспаленным взором некий юноша, спекшимися губами шептавший что-то неразборчивое. Незнакомец именем Бога заклинал о. Матвея отпеть его безотлагательно, причем торопясь расплатиться за свою жуткую надобность, совал ему какую-то вещицу в бумажке наугад, в напрасном поиске кармана на ночной до пят рубахе последнего.

Практически такое почти не встречалось в прошлом. Один ближайший, а ныне в дальней отлучке находящийся родственник, начитанный по части исторических курьезов, рассказывал отцу про известного своими причудами Карла Пятого, повелевшего придворным отслужить о нем заживо, в гробу, заупокойную мессу, и клир послушно исполнил над ним полный погребальный обряд. При внешнем сходстве разница заключалась в том, что если там, четыреста лет назад, отпеванье происходило во утоленье философской любознательности — испытать промежуточные состояния по дороге в царский саркофаг, то здесь таилось стремленье любой ценой укрепить волю на умерщвленье тирана, тем самым утратить чувствитель-

ность к ожидавшим его пыткам. Налицо был тот случай, когда дух, отрекаясь от жизни, делает тело послушным инструментом подвига, ибо мертвому дыба не страшна. Бедный поп оцепенел от догадки — на кого замахивался безумный юнец.

Оба они, священник и будущий убийца, дрожали.

Один — с перепугу, другой — от нетерпенья выполнить веление совести. На выручку до костей промерзшего хозяина подоспел вышедший на шум Финогеич и, как был босой и не вникая в суть дела, ловким матросским швырком скинул с крыльца явно сыскную личность. Движимый не только отеческой жалостью, но и социальным сочувствием, пожалуй, к несостоявшемуся герою, почти двойнику другому, единокровному, батюшка вовремя приказал старику отступиться от мальчишки, который, сидя на снегу, корчился и грыз шапку... Кстати, та оброненная в сенях вещица в бумажке оказалась золотой монеткой, в милицию о. Матвей свою находку не сдал как прямую улику общения с важным, да еще отпущенным на волю преступником, а также из боязни, что настрого спросят — где остальное.

Сходное вторжение эпохи на старо-федосеевский некрополь повторилось год спустя, зимой же и тоже при луне. Перестрелкой под окнами разбуженные жители домика застали лишь самую развязку события, когда погоня настигла беглеца. Немного удалось им разглядеть сквозь наспех расцарапанную наледь на стекле. В белесом сумраке ночи происходила суматошная, как в плохом кино, схватка теней, завершенная глухим, без вспышки, выстрелом впритык. К рассвету вышедшая на разведку молодежь ничего не обнаружила на месте происшествия, которое легко сошло бы за забаву могильных нечистей, кабы не красная льдистая дырочка, протаянная в натоптанном снегу.

...Оглушаемые фанфарным лязгом похвальбы и ночным грохотом на всю мощь запущенных грузовиков, большинство современников, кроме самих расстреливаемых, не подозревало в полном объеме того, что раскрылось им после смерти вождя, хотя убойной всячины и тогда было уже достаточно для эсхатологических раздумий — чем в конечном итоге и, судя по такому началу,

должна завершиться наша земная путевка. И так как застигнутым бедою на малом островке выгоднее держаться вместе, то на очередной вечерней сходке жителей домика со ставнями, встревоженных только что состоявшейся казнью крупнейших тогдашних генералов страны, естественно, возник вопрос: не заглянет ли теперь зловещая судьба и в их печальный закоулок? Сама собой возникла дружная, с участием тогда еще живого Аблаева, беседа скользкого содержания — откуда взялась такая разноликая, пополам с издевкой, скорбь земная, противоречащая догме о стопроцентной полноте христианского существования? Высказались одни мужчины, каждый — на уровне своего разумения о предмете и с тою предельной четкостью на гребне волны, когда мысль становится отпечатком личности. Сильнее всех подкованный в науках, студент второго курса Никанор, по аналогии с двойными звездами, выразил смелую догадку насчет Добра и Зла, будто не одно-**единственное**, а целых два равноправных и взаимополярных начала своим вращеньем вкруг третьего надмирного и лишь математически помышляемого суперобъекта балансирно обеспечивают гармонию вселенной. По мнению тоже начитанного и младшего в семье тринадцатилетнего отрока Егора, беда диктуется переизбытком статического электричества, производимого все возрастающим в условиях крайней тесноты трением народов и особей друг о дружку, чем и объясняются частые самовозгорания человечины. Покойный дьякон, напротив, истолковал Зло как контроль над излишним милосердием Добра, его щедростью, попустительством, чтобы не случилось разорения и оскотения. Что касается Финогеича, то, мыслитель по своей шекспировской специальности, он разрубил завязавшийся узелок своей лопатой в том смысле, что скоропалительное, за шесть суток создание мира даже у Творца не могло обойтись без технических промашек, как нонче у Советской власти на наших глазах. Тут все замолкли и выжидательно уставились на своего председателя, которому полагалось заключительное слово. Наверно, как и у прочих знаменитых отступников, ересь матвеевская образовалась из постоянной близости к объекту поклонения, подобно тому, как от длительного пребывания в окружении цар-

ственной особы благоговение придворного незаметно вырождается в привычку, почтительную фамильярность, позволяющую ему снять пушинку с плеча государя, поправить складку коронационной мантии. И так как рассмотрение божественной темы под углом бренного человеческого бытия в корне противоречило неприкасаемым догмам вероученья, то Матвей Петрович постарался значительно смягчить свое вопиющее вольномыслие, чтобы, по Писанию, с жерновом на шее не утонуть **в пучине морской за соблазнение малых сих**.

На стыке фанатической веры и благочестивого вольномыслия насчет кое-каких явных логических неувязок и вознамерился батюшка последовательно, догмат за догматом, разъяснить весь Филаретов катехизис на уровне, доступном даже для сельского населения. Было известно с давних пор: распря небесная началась из-за человека, оказалось тут, еще задолго до появления его на свет. И лишь после уймы бессонных ночей, которые провел за сапожным верстаком, мысленно исследуя ускользающую от ума непреложную истину, наткнулся вдруг на каверзный и никем дотоле не поднимавшийся вопрос: а собственно зачем, в утоление какой печали Верховному Существу, не знающему наших забот, потребностей и вожделений, понадобились вдруг грешные, дерзкие, скорбные люди и почему никто пока не усомнился в туманном богословском постулате об изначальной любви к своим завтрашним творениям, ибо как можно заранее полюбить еще не родившихся? Недели две подряд о. Матвей мучился над другою и явно духом тьмы навеянной догадкой, что человечество было изобретено по хозяйственным соображениям, дабы не пропадала даром излучаемая свыше благодать. Самое вероятное, третье, строилось на убеждении — ежели уделом земных властелинов бывало одиночество, то надмирный вдобавок, в силу своей способности делать благо без затраты физических усилий, в создании людей не знал и творческой сытости, достигаемой тою блаженной усталостью, позволяющей мастеру наградить себя своею собственной похвалой, для взыскательного художника высшею на свете, что полностью согласуется с библейским эпизодом, где создатель вселенной, по отраслям обозревая свое титаниче-

ское деяние, четырежды произносит ему скупую и щедрую оценку: **хорошо**. Отсюда начиналось все, о чем идет речь, и оттого даже в помысле трудно допустить такую разновидность предварительного пространства, как абсолютная пустота, чтобы в нее вписалось столь же иррациональное, потому что ячеистое мироздание со множеством одинаковых вселенных, мнимая несоразмерность коих объясняется чисто перспективным эффектом расстояния одной от другой, ибо в расширяющемся объеме без центра нет такой мелкости, чтобы еще меньшее, но равное не уместилось в ней. Мироздание, подобно батавской слезке, ворвалось в едва готовую пустоту с температурой абсолютного нуля клубком огненных молний.

И так без остановки вширь и вглубь, чем дальше, тем сложней, пока поиск первичной истины, как обычно, не завершится вывихом ума. К тому же вся эта реальная необъятность предназначалась, видимо, для заселения обыкновенными людьми. Разгадка заключалась в том, что небесная благодать поступает к нам сверхмощными выплесками пылающей плазмы, в которой растворены равновеликие открытия по обе стороны Добра и Зла, одинаково для свободного выбора обеспеченные полновесной казной вселенского всемогущества. Но люди из еще неостылых обломков протуберанца, вторично пропущенных сквозь жаркие тигли своих сердец, как из исходного материала, выплавили себе лишь таившиеся там дотоле сокровища, как музыка, молитва, магия, математика и прочие производные от мысли и мечты, — спектральный менталитет собственного, пусть на меньшем числе координат райского мирка, достойного звездою сиять в короне Вседержителя, если бы тысячелетия спустя ученые потомки не усмотрели в благородном диаманте досадные изъяны вроде погрешностей социальной огранки или затемнения по наличию глины, оказавшейся наиболее рукопослушным материалом при изготовлении первомодели человечества. Догматическое свидетельство Моисея об оправдании нашего праотца по образоподобию Божию и переданное нам в апокрифе Еноха дерзкое поведение будущего сатаны в большом доме подтверждают версию Матвея Петровича, что Адам был задуман Богом как промежуточная рабочая ипостась

между собою и ангелами с подчинением последних человеку. Разыгравшаяся затем ссора плачевно отразилась на дальнейшей истории человечества. Впрочем, никаких ангельских мятежей не было, да и не могло быть, потому что как могли призраки пронзать друг друга копьями, рубить саблями, оставаясь бессмертными?

Глава VI

С детства проявившиеся технические склонности у мастеровитого отрока Егора, наряду с сапогами обозначенные на фанерной дощечке у кладбищенских ворот, к тому времени приобрели в округе некоторую клиентуру, пусть более скромную, чем у отца. Избранные им ремесла: радио и фото, временные у будущего крупного конструктора еще неоткрывшейся отрасли, уже доставляли хоть и несравнимый с отцовским, все же чувствительный прибыток в скромном семейном бюджете. Далекий от увлечений тогдашней молодежи, о. Матвей явно с укоризной относился к первому из них — в силу подозрительного звучанья непонятных наименований, наводивших на мысль о сущности участвующих там сомнительных стихий. Под странным названием супергеттеродин вполне мог скрываться продолговатый демон драконьего цвета с вилами в руках; модуляция невольно рисовалась батюшке в образе змееобразно извивающейся плясавицы, а при упоминании слова пентод в воображении возникал один вовсе вслух не называемый предмет. В особенности раздражали о. Матвея починочные, после школы, занятия младшего сына, когда тот со свистом и грохотом гонялся по всему свету в поисках заморских станций. И благостная вечерняя тишина уступила место адскому беснованью, где в плескучее, медное завыванье вплетались — то писклявый, то басовитый свинячий хрюк, то взводистые взвизги заведомых, как бы рогами бодаемых блудниц, исполняющих непристойные танцы в обнимку с видными деятелями обреченного капитализма. Да и то вряд ли пожилые христиане способны были в такой степени изворачивать суставы, крутить ногами поверх головы, под команду вертепозаведующего выколачивая чечетку.

— Ишь, как выгибаются, болезные, — дивился батюшка, всматриваясь в колдовской ящик поверх очков, которые почему-то надевал при слушании самоновейшей музыки.

— За тыщи верст слыхать, как щиблетами пришепетывает... Видать, дармовые у них в аду подметки!

— А вы еще сомневались насчет их социального загнивания, — спешил Никанор подчеркнуть авантюризм военщины и банковскую корысть на фоне возрастающей безработицы. — Вот вам лицо современного империализма!

— В щелочку поглядеть бы, — машинально считая петли, вставляла Прасковья Андреевна, — в **неглиже** для облегченья действуют или как? Вспотевшему да раздемшись недолго ли и ревматизм схватить: у всех у нас на земле организмы нонче истощенные, подточенные.

— Шибко-то не жалей их, мать, в аду не простужаются! — вразумлял супругу Матвей Петрович и, мирясь с оглушительной работой младшего сына, как-никак уже теперь советчика, помощника и почти зрелого мыслителя по эпохе, лишь просил его малость поубавить звук.

Совсем по-другому, одобрительно, относился Матвей Петрович к смежной специальности оборотистого отрока, который из-за перегрузки казенных фотомастерских в тесном, разумно оборудованном чуланчике брался за срочное изготовленье снимков самого широкого профиля — от паспортов и служебных удостоверений личностей до свадеб, юбилеев, похорон по заказу уже редких, но покамест здравствующих современников, стремившихся увековечить памятные события жизни в семейных альбомах. Чуть позже того, как присудили к смерти девятерых сразу главных большевиков, родители упросили уважаемого Егора потратить на них одну фотопластинку по случаю их двадцатипятилетнего супружества, причем отец посулил в полушутку, что Господь возместит ему потраченный химический состав и проявленное усердие. Батюшка, облекшись в парадную рясу, а матушка с веткой искусственной сиреньки в руке уселись на любимое канапе, и мастер накрылся вместе с аппаратом большим черным платком и торжественно совершил свое священнодействие.

Четверть часа спустя юный фотограф выскочил из своей лаборатории бледный со свежим, пробным, еще мокрым отпечатком в дрожавшей руке. И впрямь было отчего всем свидетелям событий утратить самообладанье: позади сидящих юбиляров стоял долговязый, никому из жильцов домика со ставнями, кроме Дуни, не известный молодой человек с улыбкой извинения на лице за свое незваное вторженье. И правда, робкая благожелательность и такое пронзительное обаянье читались во всем облике незнакомца, если бы не эта чрезмерная домашность поведенья, вроде того, что не следовало бы фамильярно класть руку на плечо ничего не подозревающему о том священнику.

К моменту, когда постихли естественные пополам с досадой возгласы удивленья, подоспел Финогеич, который принял участие в начавшемся обсужденье необычного феномена. Кажется, он-то и присоветовал хозяевам сгоряча обратиться за разъяснением получившейся мистики в периодическую печать, однако, по дельному замечанию Егора, именно наличие необъяснимой фигуры, возможно, иностранца, на семейной фотографии могло по тем временам сократить затянувшееся существованье старо-федосеевской обители с ее живыми обитателями заодно. А пока рассуждали — не упразднить ли предательское стекло вместе с непросохшим оттиском к бесовой бабушке — сам, догадливый виновник приключенья добровольно за дальнейшей ненадобностью исчез с негатива и бумаги, что вызвало еще большее недоумение.

Тут и последовало единственное на этом этапе наших знаний, рациональное толкованье загадочного факта:

— Подобные явленья уже не раз встречались в науке, — успокоительно пояснил Никанор. — Дело в том, что вся совокупность наших впечатлений где-то в глубинах подсознанья тотчас фиксируется автоматической нейронной записью, элементы которой, систематизируясь соответственно моменту, преобразуются в психические миражи не меньшей реальности, чем мироздание в целом.

Прогноз даровитого студента полностью оправдался, ибо то было фактически первое появление ангела Дымкова, который в шутливой форме предупредил обитателей домика со ставнями, чтоб не пугались его, когда он заявится к ним с визитом.

Кстати, мельком стоит упомянуть некоторые предваряющие теперь уже близкую будущность и связанные с Дуниной болезнью, странные обстоятельства в семье Лоскутовых.

В тот вечер все обратили вниманье на молчаливую отрешенность Дуни при обсуждении столь впечатляющего явления. Да мать в придачу заметила, как ее дочка, смущенная уймой догадок о подозрительном субъекте на снимке, принялась носком туфельки поправлять загнувшийся уголок половика, тем самым уличая себя в знакомстве с явным призраком, которого по невинной детской робости, видать, постеснялась сразу представить родителям.

Проявленная ею мнимая и неумелая безучастность к только что происшедшему лишний раз убедила стариков в серьезности недуга, симптомы которого и раньше внушали им опасенья за душевное здоровье любимицы. В сущности налицо была с древности известная, мифотворческая способность избранников видеть в окружающей природе как бы искусно встроенные туда образы, символы и сюжеты. Но если у античных греков то была полуденная сказка о веселых и наивных божествах с их забавными подвигами, шалостями и ссорами — поэтическое освоение действительности для последующего подчинения уму, то Дуню окружал сумеречный мир с приметами той жестокой политической реальности, какою жили ее нация и семья. Скопившиеся в нем виденья обычно оживали к исходу дня, а остальное время прятались в складках ткани, в причудливой лепке древесной листвы, в очертаньях туч, отовсюду украдкой следя за Дуней, так что порой приходилось защищаться, отворачиваться от посторонних любопытных взоров, заклеивать бумажкой сучки на бревенчатой стене светелки, потому что были сплошь глаза — птичьи, рыбьи, жабьи, ничьи. Если всмотреться, буквально каждая пядь пространства населена была потаенной жизнью, и все, в зачатке таящееся вокруг, готово было сойти к девочке для дружеского общенья. И, к примеру, как сладостно было ей в зимнее воскресное утро прямо из постели уйти и заблудиться в инейных, солнышком изнутри подсвеченных джунглях на замерзшем окне. Словом, в Дуне проявилась

та предельная степень душевной хрупкости, когда струна звучит еще до прикосновенья пальцев.

Все эти тогда сигнальные симптомы нездоровья своей дочурки, дотоле не подвергавшегося клиническому обследованию, Прасковья Андреевна простодушно приписывала малокровью — по причине дурного воздуха в жилье, пропахшем старой ношеной обувью, и отсутствием витаминов.

Вскоре один заурядный для того времени и скорбный эпизод до крайности обострил Дунино заболеванье. Несчастье случилось по весне, однажды, когда цвела сирень, как раз в день Дунина рожденья. Вниманье сидевших за утренним чаем Лоскутовых привлек отдаленный всплеск веселых голосов, перекрываемый разудалым, под гармонь, пением неведомого солиста. Сюда и раньше, по отсутствию столь же уютного природного уголка поблизости, забредали для мирного дружеского общенья и местные пьянчужки, на сей раз шалила молодежь. Сбившись у раскрытого окна, семья с возрастающей тревогой вслушивалась во взводистый, чуть сиповатый голос певца, в котором пополам с отрыжкой звучала похмельная тоска. Через старенький перламутром выложенный театральный бинокль удалось разглядеть: из боковой еще непросохшей аллеи на главную вразвалку выходила дружная ватажка окрестных парней, совершая воскресный обход района в поисках точки для приложения избыточных сил и здоровья. Впереди шагал атаман, чуть постарше прочих, в черных, с напуском по моде тех лет шароварах и в крохотной козырьком назад легкомысленной кепочке — с непреклонным намерением ущекотать весь шар земной. Форсистая, единственная во всей гурьбе девушка делала плясовой выход с ритмическим неслышным притопом полсупожек и выводила звонистым девичьим голоском:

Ой, съела рыбину живую,
Трепещится в животе.

Поведением своим молодые люди не причиняли какого-либо вещественного ущерба кладбищенской недвижимости, однако глава семейства, несмотря на стара-

ния домашних удержать его от жизнеопасного порыва, чреватого последствиями неосторожности, мужественно направился к ним с отеческим назиданием о греховности шумных гулянок в обители мертвых. Хотя богослуженья в закрытом храме уже не совершались, все же по воскресеньям, **для порядка**, в силу нравственной потребности, он облачался в рясу. С той минуты старо-федосеевские жители могли уже невооруженным глазом и в самых щекотливых подробностях наблюдать дальнейший разворот события.

Навстречу обличителю из оравы сейчас же выделился тот, что с гармонью, приземистый крепыш, без головного убора, зато с фигуристым зачесом на лоб — на манер янычарского полумесяца. При виде русского батюшки лицо его смешливо скуксилось, и такое необузданное вдохновенье засветилось во взоре, что о. Матвею надлежало сразу сматываться восвояси. Он же, вопреки здравому смыслу, завел несусветную бодягу насчет почивающих здесь предков и беззаветных ихних исторических трудов, на базе коих процветает нынешнее наше отечество, даже цитатой из Евангелия приукрасив ее во усиление агитационного момента. Вместо ожидаемого раскаяния молодой человек наугад передал кому-то позади свой музыкальный инструмент и, молниеносно нагнувшись, поднял невесть откуда взявшуюся там, длинную хворостину. Но не успел озорник на пробу резануть ею по воздуху, как оробевший батюшка потешно, задирая полы рясы и прямо по лужам, пустился наутек, причем бежал он молча, из боязни призывами о помощи перепугать домашних, которые с замирающим сердцем наблюдали его фиаско. Вообще-то при желании загонщик мог в два прыжка настичь удиравшего старикана и разок-другой огреть попа в острастку, чтобы не делал впредь **опиум для народа**. Однако, находясь в благодушно-праздничном настроении, гнал он его просто так, для разминки выходного дня и еще позабавить приятелей, которые издавали горловые подстрекающие звуки им вослед.

Преследователь непременно бы стеганул свою жертву напоследок, если бы погоню не остановила, как ни странно, самая слабая из свидетелей — Дуня. Со вскинутыми над головой руками метнувшись навстречу отцу,

она закричала на пронзительной ноте, и вдруг будто что-то главное порвалось внутри, замертво рухнула наземь. Когда о.Матвей на последней задышке добежал до крыльца, девочка лежала на весенней травке, запрокинув голову и с открытыми в небо глазами. Венчик волос рассыпался, скошенные губы посинели, ничьи слова не доходили до ее сознанья.

А когда очнулась, то лежала на канапе с подушкой под головой. Батюшка суетливо шарил в домашней аптечке подходящее лекарство, и почему-то под руку подвертывался один и тот же пересохший пузырек с каплями датского короля. Хотя пальцы и щеки у Дуни еще дрожали, она виновато улыбнулась всем, обступившим ее, и снова погрузилась в забытье, чтобы на следующий раз уже у себя в светелке застать сумерки за окном. Из боязни потревожить больную все домашние молча ужинали внизу. В тишине с окружной дороги раздался паровозный гудок, как напоминанье, что жизнь продолжается. Свет ночника на соседнем столике падал на непонятный ядовито-зеленый предмет, оказавшийся парфюмерным набором — мыло и одеколон в одной коробке — подарок от вернувшегося к вечеру Никанора. Сам он сидел сбоку на табурете, со сжатыми кулаками на коленях, безотрывно глядя на подружку. Позже матушка поднялась отпаивать дочку горячим травяным снадобьем с привкусом чего-то приятного, древнего, полузабытого. И вот уже зубки не стучали больше о блюдечко — добрый признак возвращенья к жизни. И на другой день, собравшись наверху у Дуни в гостях, все дружно отметили находчивость Прасковьи Андреевны, у которой хватило сил удержать Егора от безумной попытки броситься на выручку отца, и особо порадовались тогдашнему отсутствию Никанора, который при его нраве и физическом сложении мог легко совершить опрометчивый поступок, чем на добрый десяток лет, как за классовую вылазку, прервал бы прохождение институтского курса. Потом все вперебой стали убеждать Дуню, чтобы не поддавалась страхам и потерпела неотвратимое, как святую болезнь, до поры, пока нынешний переполох успокоится, перемелется, забудется.

— Не хочу в завтра, сегодня еще до вечера хочу умереть, — еле слышно, с закрытыми глазами бормотала

Дуня и впервые заплакала обильными, облегчающими слезами.

Неизвестно, в чем заключался клинический механизм ее душевной травмы, если с тех пор стали вдвое ярче и предметней ночные приключения ее из нашей яви в иную, полную суматошно-беззвучных, как в немом кино, корчей какой-то отдаленной полыхающей цивилизации, приобретавшие в дошедшей до нас обработке Никанора зримую реальность текущей действительности.

По мере того, как развивался Дунин недуг, множились и родительские страхи. Все чаще подмечали старики, как она иногда, словно уверенная в чьем-то постороннем присутствии, остро воспринимала шорох за дверью, вслушивалась в пустую тишину и потом спешила заполнить ее притворным оживлением, испуганно отстранялась от вдруг шатнувшегося пламени на горящей свече. Через длинную цепочку прихожан, чтоб не пугать бедняжку, как бы в гости, Лоскутовым удалось пригласить на дом популярного некогда доктора по душевной части, и тот согласился приехать к священнику на другой конец города с расчетом навестить заодно своих прежних сотрудников и друзей, успевших переселиться навсегда в старо-федосеевский некрополь. Года два назад он заблаговременно и не совсем добровольно устранился от врачебной практики под предлогом возраста, после неосторожного, на собрании высказанного намека — будто наиболее частые психические заболевания века зарождаются от чисто эпохальных перегрузок, печальных условий коммунального существования, которые тем не менее служат закалкой населения для дальнейших преобразований в стадное единство, чем значительно удешевляется система управления. Впрочем, батюшку упредили, что при обширном медицинском опыте доктор малость выжил из ума, хотя и сохранившегося вполне хватает ему для суждений по специальности.

До встречи с пациенткой долгожданный гость в сопровождении хозяина, встречавшего его у ворот, обошел часть кладбища и у некоторых могил, дорогих ему, по строгому выбору, постукивал тростью в землю, как стучатся в дом к приятелю, здороваясь или справляясь, — найдется ли ему там свободная коечка, а у других — вполь-

голоса читал начертанные на стоячем камне вкрадчивые слова, какими мертвые взывают к живым о сострадании и милостыне.

— Взгляните, батюшка, сколько у меня тут знакомых-то набралось! — палкой обводя пространство перед собою, говорил он. — Одних я лечил, у других почтительно учился. А в натуре выясняется, что вечные истины то и дело повинуются временной правде, которая поднятым мечом указывает им место в арьергарде. Меж тем, добиваясь абсолютной праведности, применяя стерилизацию жизни, чтобы обезопасить себя от греха, мы заодно убиваем бродильный грибок, вдохновляющий нас на поиск лучшего! — и со значением усмехнулся закопанному у него в ногах ординарному профессору Московского университета, как если бы продолжал тридцатилетней давности полемику. — Чудесно, знаете, в мои годы гуляется по кладбищу под вечерок: когда с вершинки возраста все видно кругом и никуда не надо торопиться... Однако воздух заметно холодает, ведите меня теперь к вашей дочке. Скажите, вот вы давеча мельком какого-то ангела помянули... остальные ее виденья тоже с божественным оттенком?

О. Матвей сокрушенно развел руками:

— Правда, под влиянием обстоятельств, от Церкви сам я шибко отбился... но все равно, к прискорбью родительскому, что-то не замечал я особой набожности в детках нынешнего поколения... Да еще неизвестно — кто он таков, — уклончиво отвечал батюшка из понятных родительских опасений, что невыявленный призрак, сопровождающий дочку в ее ночных странствиях невесть куда, на поверку может обернуться личностью инфернального значения. — Но мать сама слышала, как Дунюшка ангелом назвала провожатого в ту ночь, когда тот уводил ее в свою, жутко сказать, непостижимую пустыню.

— Так-так, очень хорошо... — уже с профессиональной приглядкой и к хозяину поинтересовался обходительный старичок. — И в чем же заключается она, напугавшая вас непостижимость?

— А в том, что умещается сия необъятная пустыня внутри нашей кладбищенской ограды, простираясь далеко за пределы нашей местности, причем как бы вдетое

одно в другое... — смутясь его пристального взора, сказал о. Матвей и за неименьем подходящих слов показал на пальцах, как оно образуется.

Тем временем подошли к домику со ставнями, и оттого, что визит хотя бы и отставной знаменитости явился для Лоскутовых маленьким просветом в их тусклых буднях, принарядившаяся Прасковья Андреевна вышла встретить именитого гостя на крыльцо в шерстяной, с розанами, шалью на плечах. Рядом с матерью истинная виновница, настороженная праздничным переполохом, выглядела Золушкой с предчувствием бедствий в душе.

Предусмотрительно отправив Дунюшку к ней наверх, втроем присевши вкруг стола, родители по артикулу науки выдержали положенный обстоятельный допрос насчет психической ущербности родни. После чего врач по скрипучей лестнице поднялся в светелку Дуни, где в задушевной беседе наедине она без понуждений раскрылась симпатичному дедушке во всех тайностях своего дара и даже поведала кое-что из запомнившихся ей видений, пестрая и сбивчивая сложность коих, непосильная для детской выдумки, и доказывала их достоверность.

Когда часок спустя обеспокоенные родители поднялись к ним, те беседовали шепотом, взявшись за руки. Ни следа омраченности не читалось в ее лице.

— Входите... мы вчерне почти закончили, но пусть пока бедняжка отдохнет от моих расспросов, умница такая! Будет лучше, если остальное мы обсудим там внизу, — предложил доктор и в ответ на вопросительное внимание стариков к беспорядку на столе методично вернул в коробок раскиданные спички и захватил с собою испачканные кляксами листки бумаги — поверочные тесты умственных способностей пациентки, чтобы обстоятельно и по старинке разъяснить ситуацию родителям.

Оказалось, в хаосе чернильных пятен, ровно как в застылой листве вечернего сада, в сочетании облаков полдневных пытливое воображенье легко просматривает силуэты, фигуры, символы и в самых чудовищных ракурсировках фантомные твари, каких на свете нет. При толковании непонятного слова **парейдолия** он назвал им неслыханное тут имя некоего Леонардо, который советовал ученикам творчески вглядываться в плесень отсы-

ревшей штукатурки, где, по признанию профессора, сам он неоднократно различал и битву гарпий с гигантскими улитками, и воспламененное шествие нищих Петра Амьенского в Святую землю, и вовсе экзотические находки, способные обогатить художника разнообразием таящихся там тематических мотивов.

Мимоходом ученый старик заглянул в подсознательную глубь гениальных прозрений, где скопившаяся боль преображается в могущественные фантомы, известные древним под именем демонов, причем одни из них намертво поселяются в зачарованном хозяине, не выпуская пленника вспять на волю, другие же, окрыленные избыточной одержимостью, вырываются наружу и, становясь героями шедевров, веками блуждают по миру в образе ужасных или пленительных призраков, вместе с живыми людьми активно сотрудничая в формировании не только духовной, но и политической действительности. И наконец, пользуясь избыточным временем пенсионера с бессонницей впереди, лектор не преминул упомянуть гениев высшего полета, создававших могучие религиозные мифы и устремлявших поколения огненным потоком на силовое подчиненье языческих народов своему догмату и под своей эгидой, тем самым обрекая нацию на вдохновенный героизм, истощительную эйфорию военных невзгод и нередкое затем горькое похмелье отдаленных потомков. И вот великая с тысячелетним стажем империя после такой же всемирно-исторической вспышки с безумным разбросом жизненных сил во внешнее пространство на наших глазах и подобно взорвавшейся звезде превращается в красного карлика, каких немало скопилось на нашем небосклоне.

— Дело в том, — продолжал старик, в силу преклонного возраста уже не опасаясь сыскного уха за дверью, — что большой прогресс достигается избыточным вдохновением сверх положенной трудовой нормы, оплачиваемой помимо харчей, жилплощади, ширпотреба и обязательной радости труда с выполнением доставшейся тебе доли в никем пока не разгаданной всечеловеческой эстафете. Всевозрастающий дефицит сего животворного витамина в скудном нынешнем пайке под трубный призыв к непрестанному титанизму неминуемо завершится однажды

пандемией душевной цинги с ее симптомами нравственного опустошения, жестокости, эгоизма и уже генетической апатии с напрасными попытками забыться посредством дурманящего зелья, спазматических танцев в стиле хлыстовских радений и наивной дедовской тарантеллы, названной так по сходству с корчами от укуса тарантула. Если в прежние времена иные, обреченные на казнь, обладали даром на подъеме духа терять чувствительность, благодаря чему кротко и молча, как божья свеча, сгорали в кострах Средневековья, то нынешние чересчур впечатлительные особы Дунина психического склада автоматично, в обход петли и шприца с отравой, выключаются из действительности, вот и ваша дочка убегает от яви в необъятные просторы самой себя, где она в плеске текучей воды слышит голоса, с ветерком и цветами разговаривает, во мгле за горизонтом предупредительно, кабы ей поверили, читает ожидающую нас вещую быль. К несчастью, запуганные навек вперед, мы до самой катастрофы не осмелимся произнести вслух происхождение недуга, постигшего вашу девочку.

— Да ведь Дунюшке такой нагрузки и не выдержать, хворая она у нас, отрада наша! — на вздохе сожаленья сказала матушка, машинально взглянув на Богородицу в углу.

Слегка послушав тишину, доктор дружественно положил руку на запястье Прасковьи Андреевны:

— Сегодня уже нередкое заболеванье ее через сотенку лет, а то и ближе... может стать чуть не поголовным, — добавил он тоном иронического благовестия в ответ на тревогу стариков. — Если учитывать скорые и неизбежные потрясения мира, в наблюдаемом явлении нет причин для радости, то и для огорчения их нет. В плане самосохраненья автоматическое отключение особи от жгучих впечатлений бытия выгоднее для вашего ребенка, чем судьба тех, кто такой способностью не обладает. Общеизвестно, что зачастую именно боль душевная, впитавшая чьи-то потаенные сомненья и чаянья, подобно жемчужной раковине, становится источником откровений и сокровищ, которые с разгону, сквозь железные твердыни, врываются в действительность. Не в том ли и заключается творчество, что годами лелеемый образ однажды покидает опустошен-

ное материнское лоно, чтобы эталонами человеческой личности, вроде Гамлета, Фауста, Дон-Кихота, навечно рассеяться в библиотеках, театрах, памятниках, в душах потомков?

Тут в углу деревянная кукушка прокуковала девять раз, а к тому часу внук должен был приехать за своим знаменитым дедом. Милый старик стал неторопливо укладывать очки в футляр, собирать нехитрую медицинскую снасть, а матушка подтолкнула мужа, чтоб готовил рублик за визит.

— Это очень приятно, кабы жемчужинка-то... и душевная вам благодарность за успокоительное слово! — засуетился о.Матвей, мучительно выбирая подходящую позицию для выполнения щекотливой обязанности, но благоразумие удержало его от расточительства.

— Беда наша в том, — поспешила уточнить цель его визита Прасковья Андреевна, — что болезнь Дуни наукой не признанная, да и жуткие видения ее насчет будущности не одобряются нонче. Вот и дрожим, не забрали бы ее от нас в дурдом, а то, глядишь... — на глубоком вздохе, с дальней материнской приглядкой обмолвилась вдруг она, — в лагерь куда-нибудь на Командорские острова. И потому было бы нам желательно, окромя ласки вашей, порошки либо капли какие через вас получить, самые заграничные, пускай: ничего не пожалеем на родимое дитя!

— Нынче единственное ее лекарство в смене общего нравственного климата. Всех их могут травмировать наши напрасные врачебные уловки, — и помедлил, стоит ли предупреждать о последствиях всякого насильственного вторжения в иллюзорную раковинку ее мира. — Правда, в моей практике еще не попадалось случая прозрений такой плотности... даже не удивлюсь, если бы на дом к ней однажды и не надолго пожалует некто оттуда, — и оборвался при виде закрестившихся стариков, — так что, пока не схлынет, примиритесь с ее неопасной болезнью, раннее выздоровление от которой могло бы оказаться куда смертельней. Тем более что нередкое сегодня такого рода двойственное сосуществование не помешает ей зарабатывать хлеб насущный. Первый же раздавшийся над ухом плач собственного ребенка призовет ее оттуда назад в жизнь!.. Словом, от счастья не лечат.

И тут сама Дунюшка показалась вверху, на пороге светелки.

— Вы за меня в самом деле не бойтесь, — держась за перильца лестницы, сказала она родителям, — я и вправду счастливая. Свой век я без горя проживу, за большого профессора замуж выйду.

— Бедняжка ты наша, — ужаснулись те ее девической вере в свою звезду, — откуда тебе известно, какой профессор в нашей дыре объявится, с неба, что ли?

— Мне многое наперед известно! — Девочка горько усмехнулась и ободрила родителей намеком, что знатные женихи нередко с детства рядом растут, вырастая потом до высот поднебесных.

Лишь удостоверясь в безопасности Дунина заболевания, которое попозже бесследно пройдет, старики предложили профессору посидеть с ними за вечерним чайком.

Вкусно припахивая дымком, старый самовар на столе объединял сидящих в дружную семью, а пылающие дровишки так утешительно пощелкивали в печурке. Доктору было приятно отдохнуть от шума житейского в здешней привольной тишине. Расслабившись в сердечной теплоте оказанного приема, старик вдруг распространился о давно опровергнутых наукой и все еще неразгаданных вещих снах и, как бы приглашая аудиторию посмеяться над детски-трогательными заблуждениями людей, он поделился своими сведениями про сны в научно-историческом разрезе, даже вступил в ученые прения с подошедшим к чаю студентом Никанором Шаминым, который подобно Цицерону и Плутарху хаял сны, считая их последствием невежества либо дурного пищеварения, и становился в тупик под напором именитых авторитетов, спущенных на него солидным противником. Так, например, Сократ, по свидетельству ближайшего ученика и почтенного виноторговца, слышал во сне предвестный Гомеров стих, что через три дня узрит те плодоносные страны, и скончался согласно полученному указанью. Царь Навуходоносор обожал сновиденья, а безбожный Вольтер даже стишки писал во сне. Сам Гиппократ, обладавший значительным медицинским образованием, предписывал видевшим во сне померкнувшие звезды бегать по кругу, в случае же — луны, как ни смешно, бе-

гать не только кругообразно, но и вдоль. Франклин и Аристотель тоже верили в сны, а Марк Аврелий тем же способом открыл лекарство от головокруженья и кровохарканья.

Впрочем, начитанный старик не отрицал, что так называемые небесные знаменья, чаще всего получаемые через детей и после текстуальной обработки старших приобретавшие магическую фактуру примет, молитв и прогнозов, позже закреплялись в памяти поколения, нации и человечества в целом.

Слушая его лекцию и задумчиво созерцая на гравюрке в резной рамочке над комодом ужасное изверженье Крокотау 1883 года, о. Матвей приходил к заключенью — насколько меньше жертв оказалось бы в тот день, кабы жители на предмет эвакуации хотя бы за неделю были предупреждены сновиденьем о грозящей катастрофе.

После некоторого раздумья, стоит ли углубляться в столь щекотливую проблему, Матвей Петрович решился дополнить высказанные гостем соображения в рассуждении об их исторической значимости.

— В заключение позвольте и мне, уважаемый доктор, напомнить одно не менее знаменитое и особо назидательное для нас египетское происшествие. Одному фараону библейских времен приснилось, будто бы из тамошней реки Нил вышли семь тощих коров и вчистую пожрали семь тучных коров, однако толще не стали. Призванный на царский совет Иосиф, уже восходивший к славе, и разъяснил государю загадочное сновиденье как предвестие семилетнего голода, который погубит чуть не пол-Египта, чем и надоумил фараона запасаться продовольствием.

— Вот бы и нам такого Осипа, чтоб разъяснял правительству горестные сны наши, — со вздохом сожаления высказалась матушка.

Тут встревоженный смыслом сказанного и пытаясь уточнить библейскую ситуацию, вмешался доктор и сбивчиво напомнил, что Иосиф выступал не заступником народных масс, а всего лишь как придворный советник фараона.

— Осип-то и у нас имеется, да, видать, по грехам нашим ниспосланный с обратным назначеньем, — начал

было Матвей Петрович, но вдруг тревожно, спросонья, зашебаршившаяся в клетке слепая канарейка помешала ему досказать вовсе самоубийственную мыслишку.

К слову, он и сам уразуметь не мог, хорошо еще, что полностью она не сорвалась у него с языка, но все равно, хотя посторонних в доме не было, все кругом затихло. И в ту же минуту всех заставил подняться в ожидании беды раздавшийся стук в окно. И опять Господь был милостив к простодушному батюшке. Оказалось, стучался приехавший за доктором несколько запоздавший внук.

Почему-то, на прощанье по стариковской рассеянности или сознательно в предвиденье дальнейшего доктор не пожелал своей пациентке скорого выздоровленья.

Глава VII

Ничье воображенье не смогло бы превзойти причудливую действительность тех лет. И оттого обыкновенные жители питались приметами, гаданьем, предчувствием, подпольными слухами о чудесных знаменьях и просто вещими снами, полностью оправдавшимися впоследствии. В тот раз о.Матвей потому лишь убоялся рассказать о самом пророческом сновидении из всех, что предвидел, как горько оно осуществится в реальности.

Глаз не оторвать, сеанс длился дольше обычного и заключался в том, что внезапно на бывших Воробьевых горах открылась огнедышащая дыра, по-церковному **волкан**, переполошившая столицу, почти как тот самый Крокотау, в рамочке над комодом, но чуть послабже. Уже над ним летают дежурные аэропланы, безуспешно кидая в прорву тушительный порошок, и хотя пожарные с помощью импортной техники опрокинули туда же всю целиком протекавшую неподалеку москворецкую водищу, огонь не утихает: даже из Сокольников видать багровое зарево несчастья на облаках образовавшегося пара. Их снизу жадно лижут языки огня, пожиравшие ценные памятники отечественной старины от Новодевичьего монастыря до толстовского музея в Хамовниках, тем временем, без труда перешагнув опустевшее русло реки, раскаленная лава движется дальше двумя руслами в об-

ход Кремля, сквозь пылающий Манеж, подступая к Большому театру и угрожая ему — тому самому главному в стране зданию на восхолмии впереди.

Магазины не торгуют, трамваи уже стоят, тем не менее вся публика стихийно, не соблюдая правил уличного движения (многие с непокрытыми головами, невзирая на падающий пепел), движется к месту происшествия, интересуясь взглянуть — что за волкан исторический у них открылся? Гонимый жгучим предчувствием подвига и в переодетом виде, чтобы не раздражать иноверцев, туда же устремляется и сам Матвей Лоскутов, а сбоку шагает покойный Аблаев, шибко помолодевший, как все они с того света, тоже в штатском. Всюду слышатся охрипшие голоса, и одни призывают не отступать от генеральной линии партии вопреки опасности, другие же подают дельную мысль: пока не застыло — пристроить внутри кратера чугунный котел центрального отопленья, а третьи — не может уловить о. Матвей, — о чем толкуют третьи, пальцем показывая на него с Аблаевым? Оказывается, третьи — жители, скорее чутьем отчаянья, нежели по длинным волосам разгадавшие ихнее с дьяконом инкогнито, единогласно требуют от них как лишенцев практически доказать по специальности свою верность советскому режиму. С одной стороны, риск большой, как бы не осрамиться, но и отказываться совестно, поскольку Родина: хватит ли веры и воли одолеть стихию?

И вот уже сам начальник райсовета в кожаном пальто прямиком, сквозь войсковое оцепленье, ведет их обоих на временную вышку, с которой видно внутреннее строенье волкана, куда по проволочным лестницам гуськом спускаются добровольцы из заключенных, уповающих заслужить досрочное освобожденье. Воздух от накала дрожмя дрожит, и вдруг жуткий вопль — это геройски погиб сорвавшийся вглубь один местный умелец, замысливший укротить волкан химической затычкой собственного изобретенья. Наконец, вся нужная утварь готова, пора к молебну приступать, однако начальник придерживает о. Матвея указаньем не слишком стараться, дабы не вовлечь атеистов в соблазн веры, хватает его за рукав, подсказывая очередность подлежащих спасенью предметов, не обращая вниманье на угрожающие вы-

крики снизу, чтоб не мешал работать батюшке, который, невзирая на помехи, успешно выполняет историческое задание, благодаря чему вскорости, как и положено чуду, волкан заглох и, как бывает в снах, почва немедленно зарубцевалась. И уже под звуки праздничного радио жители шеренгами расходятся по домам, по местам работы. Воспрянувшие труженики ликуют, на руках подкидывают председателя за избавленье, забывши про недавнего вспомогателя, который украдкой кое-как спускается с вышки, где уже без Аблаева, заблаговременно исчезнувшего восвояси, и задворками пробирается к себе на погост очень довольный, что совесть чиста и обошлось без привлеченья к уголовной ответственности за богослуженье, дозволяемое лишь в наглухо закрытом помещенье.

Таким образом, пророческая суть притчи, еще горше для Церкви оправдавшаяся пару пятилеток спустя, полностью совпадает с мнением, будто сны есть не что иное, как миражное отражение грядущего на пленке дремотного подсознанья.

В силу тогдашних обстоятельств, нависавших над домиком со ставнями, общее чувство неполноценности сближало обитателей в единый организм. И когда на следующее утро за трапезой о. Матвей поведал семейству о ночной фантасмагории с волканом, у стариков состоялся показательный диалог, где проявилось взаимопонимание с полуслова. Прасковья Андреевна с особым негодованием отметила нетактичное поведение большого начальника во время богослужения, который хватал священника за рукав, как если бы сама наблюдала факт столь неуместного для власти самовольства. Когда Матвей Петрович в шутку же справился, как ее не затолкали в подобной давке, то продолжая начатую игру, она пояснила, что ей посчастливилось: своевременно со знакомой старушкой приткнулась на высокой паперти соседней церквушки.

Эта мимолетная стариковская забава позволила ребятам заключить, что родители и в помыслах своих так сильно сжились воедино, что не только сообща смотрят свои киносны, но и участвуют в них оба. В обсуждении ночного события почтительно участвовал и сидевший за столом Никанор.

Дружба Никанора с Дуней началась с детства, когда эпоха уже обожгла обоих своим дыханием. Социальное положение Шаминых, начиная с хлебного пайка, отличалось от лишенцев Лоскутовых, но уже тогда детей сближала порочившая их сословная общность, заставлявшая скрывать от сверстников ремесло родителей. Однако ничто не нарушало невинной, впоследствии перешедшей в родство дружбы Никанора с Дуней.

Сама по себе возникшая у них духовная близость была обусловлена легко ранимой хрупкостью девочки, в то время как старшинство и грубоватая сила юноши уже нуждались в своей прекрасной даме для защиты, что и сделало его хранителем, сообщником и позднее истолкователем чудесного дара Дуни, манившего к себе, как всякая тайна. Подобная мерцающей жемчужинке, она-то и стала у них любимой, без износу, самой доступной игрушкой нищеты, вдохновлявших многих поэтических бродяг по морям и весям еще необжитой истории.

Слегка покатая к западу, роща мертвых кончалась невысоким обрывом в лощинку. И дальше знакомый лаз в густом кустарнике сводил туда, на тесную кремнистую площадку, сзади которую подпирала сыпучая стенка, увитая сладостно пахнущим вьюнком, что обычно селится по тощим оползневым склонам на припеке, а снаружи от постороннего любопытства прикрывал огромный пустырь, поросший высоким и ржавым, багреющим на закате конским щавелем. Недаром ходила молва, будто некогда здесь состоялась встреча московской рати с конной разведкой крымского хана. Тут по дну неглубокой долинки, со своим особым климатом старой сказки, протекал едва по щиколотку, однова перешагнуть, скромный ручеек. Ни пташки залетные, ни пронырливые ребятишки окраины не добирались сюда, лишь стрекозы спускались посидеть на камешке у воды, вытекавшей из останков Едыгеева побоища, ледяной и несмотря на отраву такой прозрачной, что видно было, глаз не оторвешь, как колеблемая струйками бьется по песочку черная тинка... У Дуни с Никанором ручеек тот носил название **Глухоманка**. Это была неприкасаемая, величавая и на карте еще не обозначенная река, настолько взаправдашняя, что всяк, случайно переступивший ее, показался са-

мому себе великаном. Не было в стране уголка укромнее для раздумья о будущем.

На еще теплой щебенке, закинув руки за голову и глядя в линялое вечереющее небо с росчерком дыма из фабричной трубы, Дуня делилась с дружком обрывками ночных видений, которые тот, сидя с поджатыми к подбородку коленками, мысленно сшивал согласно тогдашнему передовому мировоззрению в целостные эпизоды, достойные серьезного обсужденья. Не исключается, что по отсутствию иных средств призвать современников к благоразумию, он сознательно лубочными кошмарами загромождал Дунины повествования, придавая им пугающую плакатность в расчете, что человечество, хотя и в обрез, еще успеет образумиться, на шажок-другой отступив от пропасти.

Случалось, изнурительный сеанс ясновиденья, выходя за пределы Дуниной психики, просто не умещался в ее бедном словаре, девочка плакала и дрожала, а Никанор молча гладил ее руки и пытливей вглядывался в ее лицо, узнавая в нем недосказанное.

Порой у него на глазах Дуня вовсе покидала действительность, и тогда в ее расширенных зрачках посменно и явственно читались то одиночество обступавшей ее необъятности, то эйфория надмирного полета, то растерянность на крутом скольжении в никуда, так что можно было догадаться о сложной топографии ее миражей. В такие минуты она невпопад и голосом издалека откликалась на вопросы, пока не возвращалась вдруг в свой прежний кроткий облик, чем обозначался выход кого-то, третьего, из игры.

Дотоле никто на свете не вторгался в их дружбу, пока со средины лета на их беседах не стало замечаться незримое присутствие еще кого-то, чье прибытье всякий раз с ревнивым подозрением Никанора обозначалось у нее заметным оживленьем. Девчушка подозрительно хорошела тогда, все преображалось в ней, и какая-то внутренняя необъяснимая сила проступала в ее облике. Как и русскую природу, никто с первой встречи не назвал бы Дуню красивой, в обеих пришлось бы всматриваться, чтоб оценить их ненавязчивую, как бы в рассеянное созерцание погруженную прелесть. Меж тем девушка вступала в воз-

раст, когда из толпы сверстников избирают одного... Вот каким путем не приученный к нежности сын могильщика, самодеятельный материалист к тому же, впервые ощутил на себе отжитое, по его мнению, и даже классово чуждое ему состоянье — любовь.

Осторожные, щадящие попытки Никанора выяснить личность загадочного спутника ее прогулок за пределы реальности неизменно разбивалась о безответную Дунину улыбку.

К счастью, и как правило, такие визиты совершались не раньше сумерек, а в ту зиму, когда о дочкиной тайне проведали родители, по обычаю привидений оно стало заявляться к Дуне близ полночи прямо в девичий мезонинчик.

Едва Дуне доводилось среди ночи открыть глаза, оно уже сидело возле или, мерцая в полутьме, стояло в приножье низенькой постели. И сколько раз ни пыталась Дуня включить украдкой свет, оно успевало прикинуться полотенцем на спинке кресла или манекеном с очередным вязаным рукодельем матери.

Признаться, за всеми Лоскутовыми водилась врожденная странность поговорить во сне, но... чтобы сразу на два голоса?! Однажды особо чуткому в подобных случаях материнскому уху померещилось снизу, будто Дунюшка не одна у себя, и сейчас же та явственно попросила у неведомого компаньона дозволенье захватить **оттуда** с собою хоть веточку на память, а тот не менее отчетливо рассоветовал делать это. Ночи через две они там беседовали уже подольше, очень бойко местами, к сожалению, неразборчиво, кроме одного да и того иностранного слова **фламинго**. Не счесть сколько, пока ноги с холоду не заломит, выстояла матушка на скрипучих ступеньках лесенки в намерении выведать Дунюшкин секрет. Как ни крепилась, открылась мужу под конец и в следующую ночь, когда чуть раздвоился дочкин голос, о. Матвей мужественно, с карманным фонариком в руке, выступил из-за шкафа, в намерении выяснить личность невесть как пробравшегося в дом обожателя. Дуня лежала на спине одна и с открытыми глазами, худенькое тельце жалостно рисовалось под тканевым одеяльцем... Не дрогнула, не зажмурилась: ее не было дома.

Глухая тоска затопила сердце матери:

— Лежит, гляди, ровно челнок на отмели. Унесет ее от нас темная вода.

— Значит, пора, мать. Зовет к себе море житейское.

— Чего же Никанор-то тянет?

— Успеют нищих наплодить!

— В том и вопрос, успеют ли... С кем она впотьмах шатается, по горным вершинам порхает?

Лишь тут матушка решилась посвятить о. Матвея в одно свое приключеньице позапрошлой ночи.

Сквозь непрочную стариковскую дрему услышала приглушенный дочкин голосок и точно такой ответный, пока боролась с неохотой покидать нажитое тепло, разговор достиг уже прихожей: они уходили. Выскочив на крыльцо в валенках на босу ногу и — что под руку подвернулось — на плечах, Прасковья Андреевна еще застала их голоса, удалявшиеся в направлении храма. Из-за одышки и по тонкой наледи на снегу она не успела догнать молодых; чуть приоткрытые кованые ворота, которые после повторного изъятия церковных ценностей перестали запирать на замок, подсказали матушке путь погони. Коекак поднявшись на паперть, она заглянула внутрь и, верно, обмерла бы на месте, кабы тревога за любимое детище не пересилила вполне понятное потрясенье... Непостижимая светлынь наполняла храм. Тускло сияла алтарная позолота, облезлый металл церковной утвари и прочее, в чем отражалась узкая, сверху донизу, полоса света, рассекавшая надвое нежилую инейную мглу. Лишь со стороны клироса можно было понять его происхожденье. Все дело было в левой колонне: знакомого ангела не виднелось на привычном месте, отчего нарисованная сзади дверь, как стало видно сейчас — довольно грубой кузнечной клепки, несколько поотошла наружу. Собственно щель-то была не шире ладони, но оттуда выбивался могучий слепительный полдень. Но самое неправдоподобное заключалось в том, что у Прасковьи Андреевны, при ее-то больных ногах, достало сил с той синей каменной приступки дотянуться до дверной скобы и, плечом оттолкнув такую тяжесть, коекак просунуться в находившееся по ту сторону пространство. Чуть отлежавшись ничком, почти замертво, устремилась за пропавшей дочкой.

Необъятная, как дети рисуют ее на картинках, безмолвная желтая пустыня без единой живой отметины, окромя ветровой волнистой зыби по пескам, простиралась на все четыре стороны. Слепящее сверканье излучалось из мглистой небесной синевы. И некогда было взглянуть, что так неистово пылает в зените. Чутьем где-то за ними угадывая беглянку, напрасно призывала матушка не углубляться в такую даль, где помимо диких зверей легко погибнуть от мучительной жажды. Однако даже эхо не отзывалось на зов матери... Когда же надоумилась оглянуться, то к ужасу своему даже собственных следов позади не обнаружила. Уже несчастная женщина готова была проститься с жизнью, когда с облегченьем различила мелькнувший меж двух прихолмий тот опознавательный синий камень, служивший здесь заблудившимся одновременно маяком и ступенькой для возвращения домой, так что, едва коснувшись ногой, она тотчас оказалась в полупотемках тамошнего храма без вреда для здоровья.

— Страсть какая... — под свежим впечатленьем рассказа подивился о. Матвей, попрекнув верную свою жену и помощницу. — С ее сердцем и в баню-то сходить не велят, а она же в необитаемую пустыню на склоне лет пускается!

— Так ведь не чужое дитя, поп.

— Вот для них-то и следует беречься, мать...

Заодно, по не остылому еще воспоминанью, старики потужили, что еще годика два назад не открылось столь надежного убежища, которое так пригодилось бы для самого ненаглядного существа на свете. Зато и порадовались, что осталось не обнаружено властями, которые применили бы тайну сию по нынешней лагерной надобности, и во избежание бед при первой же оказии следует выкорчевать тот жизнеопасный соблазнительный камень прочь даже из самой памяти людской, — на том и порешили в ожидании лучшего.

Глава VIII

Любопытно, что почти одновременно с появлением Дымкова с разностью нескольких дней в старофедосеевский некрополь прибыл параллельный персо-

наж явного и, к сожалению, до конца не разгаданного назначения.

Ночной стариков разговор вскоре забылся, так как при дневном свете еще очевидней стала маловероятность дикой пустыни, помещающейся внутри хотя бы и внушительной колонны. Все же, кабы обнаружилось невзначай, наличие подобного тайника в распоряжении лишенцев могло тяжко отразиться на судьбе бывшего настоятеля. После трехдневных колебаний о. Матвей в секрете от домашних отправился на место происшествия с целью удалить со штукатурки злополучную дверь посредством находившегося под рясой скребка на длинном стержне. Совесть так и не позволила ему в личных интересах довершать разрушение старинной, и без того обветшалой церковной росписи... да и незачем было. Не составило труда на ощупь убедиться, что самому искусному, вернее, плоскому сыщику не удалось бы пролезть за спину незыблемо стоявшего там ангела. Впрочем, наступившее успокоение невольно окрашивалось досадой, ибо, выходя из дому, он втайне от себя самого прихватил умеренной длины веревочку, чтобы при благоприятных условиях, привязавшись к дверной скобе повторить поразительную матушкину вылазку без опасения заплутать в потусторонних песках. Благоразумнее было отнести помянутую пустыню к тем редким сновиденьям последних лет, в которых старики по каким-либо уважительным причинам не принимали совместного участия.

Зима началась небывалыми метелями, не успевали прокладывать траншейные ходы главного пользования, во избежанье подозрений, особенно со стороны приболевшей Дуни, батюшка оба конца совершил кружным путем, по целине, через дальнюю часть рощи, где после закрытия кладбища в ночки потемнее на весь сезон заготовляли дрова, возвращался на исходе дня. Повсюдная на русских погостах сословная граница делила непоровну и Старо-Федосеево. Если могилы бедных вызывали у Матвея глубокую симпатию своим смирением, то, напротив, погребения зажиточных веселили его дух благолепием надгробий в виде сломанных арф, античных урн, повитых как бы темной кисеей, также — сохранившихся кое-где по непригодности для другого изделия мрамор-

ных херувимов в снежных шапках набекрень, несмотря на свое скорбное назначение. Меж ними возвышались более долговечные сооружения для именитых деятелей отечественной коммерции, столичной адвокатуры, оперного искусства и среди них затесавшийся один химик по искусственной резине. Проходя мимо последнего, о. Матвей различил носом показавшийся ему вкусным на морозе чад тлеющих ветвей, после чего не без удивления заметил воровской дымок, поднимавшийся над родовой усыпальницей купцов Суховеровых. Толщина снежного покрова не позволяла подойти ближе, но и с расстояния бросалась в глаза пригодность того неприступного здания с бойницами и чугунной оградой для притона какой-либо шайки проворных мошенников, фальшивомонетчиков, например, а то и зарубежного диверсанта из подсылаемых для недопущения русского народа к коммунизму; ведь по соседству пролегал особого назначения тракт, по которому ездил на дачу один, хотя и полузначительный, товарищ, но все равно в случае чего именно с о. Матвея взыскали бы за укрывательство. Не надеясь единолично справиться с напастью, батюшка отправился за подмогой в лице Финогеича, занимавшегося вечерней разделкой дров. С топором для острастки старики двинулись по суховеровскому адресу, но сколько ни прислушивались, ничего предосудительного вроде теньканья балалаечного либо не менее оскорбительного женского взвизга не сочилось сквозь плотную кладку искроватого Лабрадора. Однако неоспоримые приметы, как то: нахоженная тропка и запасы хвороста в ограде, а пуще — выведенная через пролом из-под кровли дымящаяся труба указывали на обжитое гнездо порока. Нажимом колена Финогеич толкнул легко поддавшуюся дверь, а о. Матвей мужественно вступил в белесую удушливую мглу.

Ничего не было видать, кроме горевшего посреди чахлого костерка, дым еле тянулся в наспех проделанную дыру. Но если чаще смахивать набегавшую слезу, можно было заметить и другие признаки постороннего присутствия: ложе под дырявым брезентом о бок с огнем, также разложенную на каменной плите, с инеем вместо скатерти, всякую обиходную утварь вроде пузырька с постным

маслом, тряпицы с солью да жестяной коптилки, на фитиле которой мотался язык полузадушенного пламени и, наконец, нож с примечательным багрецом на лезвии, почти уликой не осуществленного пока злодейства, кабы не утешительный, размашисто начертанный крест на такой же инейной стене. Пообвыкнув, о. Матвей различил и самого злоумышленника, столь ветхого старичка, что казалось — комар его с налета повалит, и столь прокопченного, что представлялся сгущеньем того же дыма. Он дремал, на корточках припав к огню, но, едва обдало его холодом, тотчас вскочил, принялся было топтать преступные головешки, но сдался и замер с опущенной головой.

По тем временам любой, да еще тайный нарушитель обязательных правил о милицейской прописке по месту жительства подлежал немедленному выселению с попутным исследованьем личности в смысле плохой классовой принадлежности. Правда, столь древнее существо по его плачевной очевидности, едва ли способно было причинить ощутимый вред советской державе; однако что-то в нем, помимо вопиющей беззащитности, мешало о. Матвею сразу ограничиться изгнаньем. Представлялось немыслимым в таком архаическом обличье добраться из заграницы почти в самое сердце мирового коммунизма без стократного задержанья в пути, а иначе какая нужда погнала его в столицу? И вообще, если отвергнуть грешные подозренья, сорвавшийся с житейской скалы существует лишь за счет постепенного, день за днем, скольженья вниз, тогда как в достигнутой фазе падать старику было уже некуда. Короче, батюшку смущала слишком цепкая, по всем параметрам проявляемая жажда бытия, в частности — запасы хвороста и всякого топливного хлама у входа в посмертную суховеровскую резиденцию или надежные, в резиновых обсоюзках валенцы, годные идти хоть на край света, или домашняя утварь — от щербатого топоришка и бывшего ведра без державки до эмалированного, почти нового чайника, видимо, крепко запоганенного, если обрекли на выброс, и наконец, не по телу просторный, препоясанный вервием и тоже, видать, свалочного происхождения брезентовый бешмет — не по зубам ни морозу, ни собаке.

— Ишь, ровно в санатории устроился... — строго пошумел Финогеич. — Орел, койку снял у мертвеца!

— Чево, чево? — ладонь приставив к уху, затормошился тот. — Окажи милость, покричи.

— Спрашиваю, квартирка не тесновата ли?

— Одинокому в самый раз, — осклабился жилец с очевидной целью подкупить расположение хозяев. — Вот, мебельцы маловато...

— Ну, веселиться тут вовсе нечему, брат, — перхая и задыхаясь, оборвал его о. Матвей. — Видать, из ума выжил, куда на местожительство поселился...

— Без спросу, без прописки, главное...

— Погоди, Финогеич... Когда своей боли хватает, о чужой не спрашивают. Мы тебя не видали и взялся отколе — знать не хотим. А только покинь нас, сирых, не обременяй совесть нашу грехом изгнания. — И окончательно задохнувшись, с поклоном уступил дорогу к настежь распахнутой двери.

— Чего с ним трепаться, Петрович, — снова вмешался Финогеич. — Хорошо, если только жулье, а может, и беглец... Покарауль, я постового кликну!

Передавши батюшке свою снасть, он повернулся было к выходу, однако наружу не бежал, думая лишь попугать нежелательного постояльца и спровадить его без шуму, как отпихивают от берега мертвое тело, приплывшее за крестом да могилой. Старик безобидно наблюдал его действия, оглаживая безволосый, беспрестанно жующий рот, — едва же помянули милицию — заметался, тоже для виду, скорее из учтивости, нежели со страху, полкраюшки хлеба пихнул за пазуху, притворился, будто в трубу скатывает свой трескучий брезент.

— А вы не хлопочите, начальнички, не надрывайтеся, и сам уйду, — приговаривал он, не по возрасту разбитной. — Мне абы стужу переждать, а чуть солнышко — меня и силком не удержишь. Я по летнему-то сезону аки царь повелительный живу: хоромы просторные, челяди без числа. Вздремнется на полянке лесной, один с тебя мушку сдувает, другой байку шепчет на ушко... — Он испытующе поднял глаза на о. Матвея, и таким ветром судьбы и простора пахнуло на того, что сердце сжалось от предчувствия. — Небось, и сами тут хворостины до-

жидаетесь. До весны потерпели бы, а там я вас обоих с собой прихвачу... Жизнь-то наша как конфетка с полу: и горчит вроде, и выплюнуть жаль.

Такая мгла пополам с могильным хладом дохнула о. Матвею в душу, едва представилась ему **чья-то** крайняя надобность вот так же, в глухую январскую полночь попросить приюта у мертвецов, **не своя** однако... Ввиду давних слухов о скором теперь строительстве Международного стадиона Дружбы на территории старофедосеевской обители, что обрекало на снос и домик со ставнями, бывший ее настоятель заранее свыкся со своей предстоящей бездомностью, даже приоткрыл однажды супруге тайное намеренье скрыться в какую-нибудь недосягаемую щель, чтоб облегчить семье получение новой жилплощади и больше не отягчать социальную будущность деток своим существованьем. Вероятно, в мыслях у батюшки промелькнул кто-то третий, чья судьба была ему дороже собственной. Недавние опасенья погасли, и вот уже чем бы ни грозило такое сообщничество, не посмел отказать в милости и пристанище бродяге, на месте которого каждую минуту мог оказаться тот, **подразумеваемый**.

Злая укоризна хоть и мнимому Матвееву благополучию содержалась во всем облике бывалого бродяги. Лишь потому и сорвалась у о. Матвея подсознательная обмолвка **брат**, что по седым косицам, заправленным под бывший меховой треух, как и по свойственной православному духовенству укладистой речи, сразу опознал в старике претерпевающего бедствие иерея. И в том заключалась боль сердца, что самый распоследний средь своих современников может мановением пальца отнять кров у кого-то жалчей себя. Тем сильней ощущал он пронзительное родство с этой падшей тенью человеческой, и призыв ее — сообща перейти на положение птахи лесной — не заставал врасплох о. Матвея. Еще до казни аблаевской стал он мысленно примеряться к участи калик перехожих, неминучей вскорости для всех попов на Руси, в предвиденье чего не только закалял себя помаленьку всяческим неудобством вроде несвежей пищи или мокрой обуви, обязательной для пребывающих в непрестанном скитании, но и семейство свое, из отеческой жалости, понуждал к тому же

под предлогом причиняемого излишествами вреда. Все полнее раскрывались ему преимущества людской бездомности: ибо стоило отрешиться от иных благ цивилизации, как немедля приобреталось то высокое телесное безразличие, которое, освобождая от смертных страхов, доставляет желанный покой души. Начистоту сказать: он так устал от подлой дрожи по любому поводу — преступной ли принадлежности своей к духовному званию или купленной из-под полы подошвенной кожи — что порою торопил пришествие судьбы, благословившей бы его в дорогу толчком в плечо, чтобы властно повернуться спиною к разгромленному пепелищу.

Незлобивая готовность бродяги к смене жилья, равно как и завидная сноровка, с какой он рассовал по дырьям на себе свою походную утварь, прицепил к поясу мятый чайник и кружку того же свалочного происхожденья — все это смягчило о. Матвея. На худой конец вряд ли удалось бы подобрать лучшего товарища, а тот уже простер руки над огнем, то ли в намерении унести клочок пропадающего тепла, то ли прощаясь до скорого свиданьица.

Скорее для проформы, нежели для выяснения личности, Матвей задал надлежащие вопросы. Странник назвался беглым попом Афинагором из разгромленного год назад безвестного монастырька в зауральской глуши. И с горечью, в духовном стиле, прибавил, что лишь после долгих бездомных скитаний волна житейская донесла его наконец до тихого пристанища здесь, у них, за надежной каменной стеной. В зимнем ветерке трепетали седые, с прожелтью волосишки на висках, и сам он весь подрагивал, словно только что вынутый из воды, и тут, по молчанью переглянувшихся хозяев догадавшись, что теперь-то они и столкнут его с бережочка назад, в судьбу, он с умилением благодарности поведал им, как разоритель обители, суровый московский комиссар, подай ему Господь здоровья, на глазах у братии стравивший собакам проживавшего там на покое ветхого архиерея, пощадил бедного Афинагора, собственноручно дважды вразумил его по шее и отпустил с наставленьицем впредь не попадаться на глаза. С той самой поры и ходит Афинагор, не противясь ветру; а где старушка и за молитву не пустит на ночлег, то можно и в стожок приткнуться, благо тулуп-

чик теплый, на вороньем меху. «Бесстрашному нигде не боязно, а ежли и дадут по загривку разок для острастки, так начальству и нельзя иначе!»

— А ты не спеши, не серчай: и мы живые! — дрогнувшим голосом попрекнул о. Матвей. — Куды тебе старому в потемках...

— Обо мне не тужи, поп. У Бога-то на кажного жучка припасена своя щелочка.

Теперь о. Матвей и сам не мог отпустить старика, не утолив жадного, непременно наедине, любопытства о том самом, что ему предстояло впереди.

— Ведь не сразу гоним... отдохни, ежели здоровье позволяет тебе здешнее проживание, — и вздохнул, сознавая тяжесть совершаемого проступка. — Ступай к своим дровам, Финогеич, да матушку не пугай пока. Дверь потуже притвори, все тепло выстудим к ночи. — Он огляделся куда присесть, но было некуда. — Отколе свалился-то на нас, сирых?

— Все оттуда же, из миру.

— Мир-то велик. Кормишься чем?.. Воруешь хлеб-то аль с рукой стоишь?

— А пошто? Господь поставляет! И под толщей снега олень чует свою еду. Я тружуся, хотя без дозволенья. Выслежу где крышку гробовую при дверях либо писк младенческий попритчится, уж я там стучусь с заднего ходу. «Не угодно ли безмерную горесть вашу али родительское ликованьице через небесную канцелярию оформить? Могу и заочно, **туда** ни одно письмецо заветное не пропадет... опять же по дешевке у меня. Ну, иные посмеются, иные вчерашних штец плеснут, а бывают которые и коленом под седалище. Да ведь я сухой, хоть с башни скидывай, не ушибаюся!

Здесь впервые испытал смущенье о. Матвей, потому что сказанное совпадало с его собственным намереньем в случае чего заняться ночной халтуркой. Тем более боязно стало задать очередной вопрос:

— За что гонение-то принял?

— Видать, по совокупности бытия моего.

И кое в чем он до такой степени походил на самого Матвея в его гаданьях о своей будущей судьбе, что не хватало воли прогнать его со двора.

Во избежанье еще более щекотливых совпадений благоразумнее было воздержаться от дальнейших расспросов: время ужина близилось, кстати. Да тут еще бродяга подкинул хворосту в прогоравший костер, и белым чадом окончательно заволокло суховеровское помещение.

— Вот тебе на прощанье мой наказ, Афинагор, — с кашлем и обильной слезой заторопился о. Матвей. — Как знаешь обходися, днем огня не разводи, из берлоги своей не отлучайся. Застигнут — раньше всех отрекуся. Дров не воруй... Березку свалим — и тебе сучков достанется. Посторонних к себе не водить...

— Сказал!.. Сюда самую убогую, хуже нет, и пряником не заманишь, — последовал еще более легкомысленный намек, содержанием своим неприятно резанувший уходившего о. Матвея.

Таким образом, к концу первого же посещения стали замечаться и другие противоречивые изменения как в облике, так и речевом складе немощного старца. Главное же разочарование ждало о. Матвея впереди, когда с приличного расстояния оглянулся на покидаемый мавзолей. Взгромоздясь на ограду, бывший иерей Афинагор салютовал старо-федосеевскому настоятелю своим треушком на манер флотских сигнальщиков, что выглядело вовсе непозволительным на фоне тогдашнего церковного разорения. Погрозившись в ответ имевшимся у него скребком, о. Матвей повернулся было назад для строгого внушения, но вблизи мнимый бродяга оказался коренастым деревом неизвестной в сумерках породы, с клоком снега в развилине сука. Вообще эпизод с Афинагором выглядит до такой степени маловероятным, что разумнее было бы отнести его за счет воображения, разыгравшегося в условиях зимнего кладбищенского вечера, кабы не наличие двух одновременных свидетелей, не связанных между собою ни узами свойства, ни тем более классового сговора. Из чувства самосохранения о. Матвей постарался предать забвению Афинагора с его пугающей осведомленностью, восприняв ее как примету болезненного раздвоения личности под влиянием жизни.

Кстати, по отсутствию какой-либо целенаправленной деятельности весьма сомнительного и даже с эзотерическим значением беглеца Афинагора, никто не

смог бы догадаться об истинной роли мнимого старца. И даже Никанор Шамин, который с его чутьем на заграничных соглядатаев, инопланетных в том числе, мог усмотреть в Дымкове тайного посланца **оттуда**, из самых недр небесных, к нам сюда для сверхсекретных переговоров со здешним резидентом противной стороны вроде Шатаницкого. И тогда ему осталось бы предположить, что единственно для маскировки той туманной пока, сверхмасштабной махинации заблаговременно возникли не только старо-федосеевское кладбище с укромным флигельком, заселенным нынешними обитателями, но и самая эпоха наша, предшествующая великому финалу. Сказанное наглядно доказывает, как близок был будущий исследователь преисподней логики XX века к разгадке, если бы ему подвернулся случай лично повстречаться с Афинагором, которого, возможно, вовсе не было на свете...

Но тут, во избежанье увечья, лучше уступить дорогу выезжающему из небытия новехонькому автомобилю, управляемому нервной, недостаточно уверенной рукой.

Глава IX

После выпуска на экран последнего нашумевшего фильма любой режиссер на месте Сорокина предался бы такому полнометражному безделью где-нибудь на Черноморском побережье, а он, безумный, все утро до обеда гонял по столичным окраинам учебный грузовик, вечера же прожигал в блатных поисках гаража для персональной машины, которую вот-вот предстояло получить. Он, хотя в творчестве своем и воспевал социалистическую действительность, в личном быту более склонялся к среднеевропейскому образу жизни... Даже обмолвился как-то Юлии Бамбалски, которую все собирался выводить в кинозвезды, что следует поменьше соприкасаться с тем, к чему надо подольше сохранять профессиональную привязанность. В полухолостяцком обиходе Сорокина можно было вполне обойтись казенным транспортом студии. Для понимания этого этапного пункта в его интеллектуальной биографии необходимо представить себе

осенний Крещатик в Киеве лет восемнадцать назад, тощего юношу в куцей, домашнего шитья курточке, во исполненье мечтаний приглашенного в гости к тамошнему магнату, и как он, стоя посреди улицы, белесыми глазами смотрит вослед толстопузому восьмицилиндровому штейеру, только что в придачу к порции грязи в лицо оглушившего его сиплым барственным гарканьем.

Подобные нравственные травмы лучше всего излечиваются доставлением тех же переживаний нижестоящему. Осуществление реванша крайне затянулось, и миросозерцание Сорокина окончательно накренилось бы в нежелательную сторону, если бы внезапный, как все чудеса на свете, фельдъегерь не вручил ему однажды под расписку весь в сургучных печатях государственный конверт с постановлением Совнаркома. Там, за подписью лица, коего высота соответствовала размеру оказываемого благодеянья, кинорежиссеру Сорокину разрешалось в обход расписанья приобрести в личную собственность легковую автомашину отечественной марки за наличный расчет. В те далекие от роскошества годы само по себе выдаваемое избранникам правительственное дозволенье такое становилось актом признания его социальной исключительности.

Уже в сумерках, одарив механика американской сигаретой, которые держал при себе для подкупа товарищей промежуточного значения, он выкатил свою покупку на снежный пустырек, носовым платком удалил пятнышко на фаре и взглядом художника искоса окинул свою красавицу...

Разыгравшийся снегопад, волшебно клокотавший в обоих потоках слепящего света, придавал праздничную чрезвычайность совершающейся метаморфозе. Одно созерцание роскошного, мощностью в сорок лошадей, чуда техники, готового к преодолению любых пространств и расстояний, внушало обладателю помимо хозяйской гордости и неотложную потребность немедленно, хотя бы даже насильно поделиться с кем-нибудь поблизости избыточной радостью — в смысле безвозмездной доставки его к месту назначения. Впрочем, режиссер явно рассчитывал на благородную скромность жертвы с желательным проживанием ее в городской черте.

За первые же полчаса окупилась по меньшей мере треть усилий, затраченных им для восхожденья на нынешнюю вершину. Несмотря на терзавшие его социальные потрясенья, мир вокруг постепенно преображался в наилучшую, более уютную сторону. Ненадолго Сорокину показалось даже, что он полюбил людей, чего не замечал за собою прежде. Во всяком случае, ему крайне понравилась и та симпатичная старушка, что с девичьей грацией ускользнула от его неопытности, и торопившиеся к семейным очагам беззаветные труженики на тротуарах, даже погрозивший ему перстом, гуманнейший на своем перекрестке милиционер в поварском колпаке и таких же снежных эполетах. Метель усиливалась, но и дворники на ветровом стекле не уставали, а переполненных баков хватило бы исколесить весь город.

Словом, давно уже смерклось, а он все ехал в неопределенном направлении, наслаждаясь новизной приятно сменяющихся впечатлений. Его очень порадовала предпраздничная, такая живописная, благодаря снегопаду, толчея возле залитых светом витрин, которым разве только соответственных товаров не хватало для соревнования с высокомерной Европой; он тепло отметил исключительную согласованность в работе светофоров, которые забавно и цветисто перемигивались при его приближении. Даже в небольшой уличной катастрофе разглядел диалектический перепад, неизбежный для извечного обновления жизни. Виден был сквозь снег опрокинутый трамвайный вагон и с ходу врезавшийся в него тягач с прицепом. На первой скорости пробираясь сквозь сумятоху, Сорокин задумался о нерешенной проблеме гения и толпы, в частности, о замене писклявого гудка чем-то более внушительным, чтобы прокладывать себе путь среди ротозействующего быдла. Однако, едва выехал на простор, разладившееся было настроение быстро поправилось с уклоном в великодушие. Оттого, что рассказанная радость, как и всякая вещь перед зеркалом выглядит как бы в двойном размере, захотелось срочно поведать ближнему про свою удачу. И тотчас высшие силы, подготовлявшие очередной сюжетный ход, предоставили в распоряжение режиссера на первой же трамвайной остановке целую очередь ближних, наиболее подходящих для

данной цели. Трудно было бы подобрать их в лучшем составе для оценки великого человека, поднимающегося по ступеням общественного успеха.

Иззябшие, с одинаковыми лицами от безнадежного ожиданья, они, возможно, даже смерзлись немножко в один монолит под общим снеговым покровом, когда возле остановился голубой лимузин и свежий баритон через приспущенное окно уведомил их об аварии, надолго загромоздившей трамвайные пути. Обдав их слегка бензиновым чадком, добрый человек покатил было дальше, но странная неудовлетворенность — то ли недостаточной признательностью помянутых существ, избавленных от бессмысленной траты времени, то ли осознанная мизерность услуги, заставила его вскоре воротиться на прежнее место. Очередь почти вся разошлась, кроме командировочного среднеазиатца с фанерным чемоданом, да еще худенькой, заурядно миловидной девушки, как с наклеву разглядел кинорежиссерский глаз; недвижная, с белыми ресницами, она вглядывалась в снегопадную даль. На деле же Сорокина приманил назад поразительный, даже в сумерках ядовито-синий цвет ее плюшевой шубки с явно наставными рукавами и столь же вопиющим лисьим воротником. Именно эта провинциальная экзотика, немыслимая для дневного появления на центральной улице, и заставляет туземцев прятаться от блеска цивилизации в глухой норе... зато такие особы, осознавшие свое убожество, способны глубже понять самое мелкое оказанное им благодеянье.

— Хэлло, фрекен, — спустив шторку окна, Сорокин обратился к девчушке, — я только что с места происшествия, там возни хватит до утра. Возможно, нам окажется по дороге?

— Нет, спасибо, — даже не шевельнулась Дуня: ни одной снежинки не свалилось с нее при этом.

— В таком случае прошу прощенья, — с кивком сказал Сорокин, и милицейский свисток согнал его со стоянки.

Он пустился вдоль невыразимо длинной улицы, дважды объехал площадь в ее конце, но возникшее искушенье не покидало его, кроме того, чисто сценарная загадка подобного убожества в блистательный век со-

циализма овладела его воображением. Было не слишком поздно, но поднявшийся к ночи крепкий морозный ветерок заметно поубавил прохожих. Когда Сорокин добрался туда же кружным путем, привычный к непогодам, утомясь ожиданием, командировочный уже сидел на своем бывалом чемодане, но давешняя провинциалка даже не покосилась в сторону настойчивого благодетеля. Усилившаяся поземка заметала ее холщевые туфельки, безусловная теперь сдача гордой девчонки была подсказана тонким прозреньем художника.

— Это опять же я... — окликнул он, рассчитывая с ходу сломить неприступность, какою бедные обороняются от любопытства богатых. — Простите, мисс, что врываюсь в сладостную дремоту, обычно предшествующую замерзанию. Я вернулся сказать, что вечерняя сводка погоды сулит на ночь самую низкую температуру месяца, а ближайшая линия метро предположена к концу пятилетки...

— Спасибо, я не тороплюсь, — отвечала Дуня, смягчив отказ улыбкой на этот раз.

— Отлично, — дружески кивнул Сорокин. — Я навещу вас через четверть часа. Постарайтесь продержаться до моего возвращенья.

Без всякой спешки, в наказанье, Сорокин поехал сперва на заправочную колонку, ибо лишь полный бак может обеспечить покой начинающего автомобилиста, и заодно набил карман предрождественскими мандаринами в подвернувшемся фруктовом ларьке. Словом, на волшебно-мерцающем циферблате протекала восемнадцатая минута и, вместо того, чтобы простить несговорчивую за ее строптивость, режиссер по странному побуждению отправился взглянуть на дом, где проживала будущая кинозвезда, в частной жизни Юлия Бамбалски. Освещенные окна, крайние левые в третьем этаже означали, что она только что вернулась из горно-лыжной поездки на всемирно-знаменитые склоны Бакуриани, иначе она не преминула бы еще днем позвонить ему на студию, **доложиться** в ее обычном тоне иронического раздражения по поводу все тех же злосчастных съемок. И, следя за движением теней на шелковой шторке, Сорокин попытался разобраться в своей

немирной дружбе с этой капризной, еще недавно ослепительной девушкой...

В юности, пока не оперился, ему крайне нравилось бывать в богатом доме Бамбалских, особенно в обеденную пору и на кухне, — в ту пору ему всегда до неприличия хотелось есть, из-за чего не состоялась фаза детского флирта. После революции, свалившей прославленную фирму и несколько уравнявшей общественное положение сторон, прерванные было отношения возобновились уже на обратной основе: сдержанная, с оттенком прежней влюбленности, хотя и полувраждебная порой преданность той **давней** Юлии и ее нетерпеливый, в деловом смысле, поиск сильного сорокинского покровительства. Тому причиной был один беглый, в шутку данный мальчику наказ, ставший обязательством на интимном празднике ее совершеннолетия, где упоенный первым успехом режиссер посулил девушке чуть ли заглавную роль в позднее отмененном фильме. За отсутствием других ставшее целью жизни это напряженное ожидание славы, в условиях семейного поклонения, наложило отпечаток на весь ее облик и поведенье: вплоть до выходных платьев и артистического псевдонима все было готово у Юлии, чтоб вознестись над человечеством. Но месяц назад, после ее отъезда на горную прогулку, газеты оповестили о начавшихся съемках его очередного, опять без Юлии, боевика, и теперь не миновать было скользкого и неприятного объяснения. И вдруг Сорокин понял сквозь досаду, что все это время только и думал про ту несчастную на трамвайной остановке.

Девушка в плюшевой шубке еще стояла, вся под снегом и привалясь к железной мачте. Для верного успеха Сорокин даже из кабины вышел на этот раз:

— Туды-сюды, малость припоздал, прошу прощеньица... — в манере удалого русского извозчика былых времен обратился он к бедняжке, смахивая рукавицей налипший снег с ветрового стекла. — Если вас пугает моя настойчивость, то вот в чем ее разгадка. Я только что приобрел это самоходное чудо техники и хотел бы на радостях поделиться счастьем с остальным человечеством. Было бы жестоко оставить подобное побужденье без отклика.

Дуня окинула его с ног до головы, сплошь в экипировке заграничного производства, грустным взглядом, сразу охладившим его не к месту пылкую речистость:

— Ладно, везите меня, но имейте в виду, я живу далеко, в Старо-Федосеевском районе. Хватит ли у вас бензина и терпенья на такой подвиг?

Что-то дрогнуло внутри режиссера, однако благородный порыв сердца поборол его природную деловитость. Стыдно признаться, было до щекотки приятно чувствовать себя властелином из знаменитой сказки, который инкогнито бродя по ночной столице, оказал вот такой же, помнится, судя по неказистой одежке благородной нищенке царственную для нее и ничуть не расточительную для него самого милость.

— О, за полуторный объезд экватора без промежуточных зарядок вполне ручаюсь, уважаемая фрекен, — ответил Сорокин, щегольски распахивая дверцу.

Первые две минуты молчали. Улица медленно бежала назад. Когда выехали на магистраль, внезапно по сторонам зажглись вечерние фонари и похоже стало, что все снежинки из тьмы, сколько их было вокруг, понеслись разбиться о ветровое стекло. Поток их настолько уплотнился, что механические дворники еле справлялись с работой, и все вокруг слилось для Дуни в одно приятное усыпляющее колыханье. Прошло уже две минуты, а Дуня так и не собралась с силами побороть свою виноватую скованность, происходившую от сознания, что через весь город и впервые в жизни возвращается домой в барских условиях, добытых в сущности обманным путем: сразу не раскрылась доброму хозяину. Началось с того, что Сорокин по-джентльменски, как требовалось в данной роли, осведомился у пассажирки, удобно ли ей, не зябнет ли, и, хотя в вопросе звучала нотка вымогательства, одобряет ли она его покупку. Сквозь дымку забытья Дуня ответила, что ей хорошо, оттаивает понемножку, машина нарядная. А когда он пожурил ее по праву старшинства за опрометчивое согласие на рискованную поездку с незнакомцем — не боитесь какой-нибудь случайности вроде ограбления — та лишь усмехнулась в ответ: будь у ней, что грабить, не стояла бы полдня на таком снегу. К тому же коленку подвернула. На самом деле в тот момент Дуня

больше всего боялась, что он запросто высадит ее на ближайшем перекрестке, если выяснится, что она, хоть бывшего, попа родная дочка. И тут же то ли для подстраховки от разоблачения, то ли в оправданье своего убогого наряда, Дуня торопливо, чтобы не оскользнуться в жгучей лишенской неправде, поведала мнимую и в качестве образца годную для школьной хрестоматии тех лет биографию своего родителя. Оказалось, в юности рабочий с мебельной фабрики, беззаветный подпольщик, разъезжающий по самым опасным поручениям, он устраивал забастовки, железнодорожные крушенья на пути карательных отрядов, создавал подпольные типографии. По характеру своему нигде не хвастался личными заслугами перед партией, числился в ней на вторых ролях, так что на парадных съездовских фотографиях его следовало искать в задней шеренге с размытыми, вне фокуса, ликами; в отличие от благолепных властелинов, проигравших Россию в очко у зеленого стола мирового господства, Дунин папа успешно бежал с Нерчинской каторги, кроме того, ветеран революции, участник Гражданской войны, причем под ним коня убило и осколком того же снаряда повредило позвонок, что и приковало его навсегда к инвалидному креслу. Даже с Лениным встречался. Но он не хотел выставляться своими заслугами в смысле льгот или наград за выполнение долга, и это отразилось на всем достатке семьи: от еды до одежды.

— Я потому давеча не посмела ответить вам вопросом на вопрос: не боитесь ли и вы, что кто-то из друзей случайно увидит вас в компании с таким пугалом?

— Если вы намекаете на свою более чем скромную шубку, то я не вижу вашей вины в том, что бытовые трудности заставили вас вынуть ее из бабушкиного сундука. Угадал?

— Вы прозорливец, словно в воду глядели. Но интересно, чем я привлекла ваше вниманье?

— Сходством судеб, фрекен. Я тоже когда-то стыдился заплаток на локтях. Мы с вами родня и по смежным обстоятельствам: перед вами автор мнимой биографии вашего отца. Фамилия моя Сорокин, я как раз сценарист и режиссер фильма «Призрак с Алатау» о героическом персонаже с полным комплектом комиссарских добро-

детелей для заучивания наизусть на уроках политграмоты. Его просмотрели двадцать два миллиона зрителей и, значит, вы тоже не избежали общей участи. Суть дела в том, что вы из страха или стыда отреклись от отца в его настоящем анкетном облике. И я не позволю себе, пользуясь случайным преимуществом, посягать на детскую тайну, чреватую тревогой за будущность поколения, хотя это заманчивый сюжет для кинематографа с достаточной оплатой в случае удачи. Так что у каждой Золушки имеется шанс на внезапное чудо впереди.

— Это в смысле больших денег, что ли?

— В смысле минимального комфорта в суровой гонке предстоящей судьбы... Или что-то другое, еще важнее, у вас на уме?

— Ну, скажем, компас душевный, — как от неосторожного прикосновенья, сжалась она, — чтобы в такой метели, как нынешняя, вовсе не сбиться с пути. — В голосе ее прозвучал не по возрасту ранний надлом, словно вдоволь где-то насмотрелась ужасов, поджидающих человечество впереди, и режиссер вопросительно пощурился на спутницу, смущенный легковесностью своих догадок о причинах ее ранимости.

— В ваши годы дети еще не знают стариковских забот, но революция заблаговременно готовит их к печали. Упоминая о дорожных неудобствах, я имел в виду лишь ваши бытовые невзгоды. Большая ваша семья?

— Нас четверо, есть еще старший брат, уже два года, как застрял на краю света.

— А как понимать на краю света?

— О, где-то на Командорских островах, — на вздохе произнесла она.

— Ну, для четверых, с расчетом на пятого, когда вернется, потребуется целое помещение. Судя по району, квартирка у вас, наверно, тесноватая, продувная, с дровяным отоплением к тому же... угадал?

— Ничуть, вполне достаточная, — сдержанно ответила Дуня.

Наступила неловкая пауза, и Сорокин пытливо взглянул на свою спутницу через зеркальце.

— Дело в том, — прервал молчание Сорокин, — что в облачке у вас над головой мне почудилась безотчетная

боязнь чего-то, которая однажды может превратиться в пандемию еще не паники, но уже неодолимого страха. Речь идет о той роковой надмирной точке, куда зловеще взбегают все экспоненты нашего эфемерного существованья. Вам уже теперь известно что-то, о чем не знаю я. Меж тем, опыт мой подсказывает мне, что в ваших тайнах заключена тема для больших раздумий художника. И оттого хотелось бы взглянуть на ваш заветный клад поближе.

— А зачем вам понадобился мой именно клад? — сопротивлялась Дуня.

— Согласен, было бы с моей стороны наивно с первой встречи рассчитывать на доверие случайной пассажирки, и я помогу ей побороть вполне уместные сомненья. Суть дела в том, что, по мнению мудрецов с обоих флангов, предстоящая внезапность — не очередная в истории людей, а уже финальная, и потому требующая срочного оповещенья планеты, что нагляднее всего сделать средствами кино. Вот я и пытаюсь заранее выяснить событийную весомость вашего облачка, хватит ли его для философского осмысления проблемы на мировом экране. Имейте в виду, что мне было бы достаточно хотя бы ключевого словца, годного стать фабульным ориентиром для сценария и заодно названием великого фильма, небесполезного и для его создателей, — вкрадчиво продолжал Сорокин, полегоньку разжимая Дунин кулачок, — оценить жемчужинку у ней в ладони.

Тут необходима оговорка. Подобно тому, как процветающий режиссер Сорокин благородной услугой бедной девушке с окраины стремился снискать себе самоуважение, которым обеспечивается сытность житейского благополучия, Дуня также безотчетно, чем могла защищаясь от его барственного любопытства, ни за что не согласилась бы раскрыть мучителю скорбный недуг своих ночных озарений, если бы тот не применил тонкого встречного маневра.

— Но мне-то затея ваша зачем, зачем? — непроизвольно вырвалось у ней и вдруг затихла, словно в ожидании пощады.

— Вы сами знаете, зачем, — жестко подтвердил ее догадку будущий соавтор. — Разумеется, предприятие тако-

го рода потребовало бы крупных фирменных затрат, зато успех его принес бы баснословные деньжищи, и тогда фрекен смогла бы весьма повысить более чем скромный домашний обиход. Стоит ли пренебрегать благоволением судьбы? Почтительно жду услышать пароль нашей с вами удачи.

— Хорошо, — послушно согласилась Дуня, потому что и в самом деле до сих пор ни единой трудовой копейкой не помогла родителям и младшему брату содержать семью. — Ну, скажем, просто дверь...

— О, это почти грандиозно по широте охвата, — похвалил Сорокин и попросил вдобавок уточнения, какая она: дубовая, двухстворчатая или крашеная, например.

— Она железная и узкая, от прежних времен.

— Это в тесной-то вашей квартирке такая казенная дверища? — подивился Сорокин.

— Нет-нет, она не дома у нас, и не в подвале, как вы сейчас подумали... И вообще на том месте, где мы живем теперь, раньше стоял большой дом, который в революцию сгорел до нашего приезда, и прихожане взамен построили нынешний, этажом поскромней, но добротнее и даже, оказалось впоследствии, с чудесной светелкой для меня, — скороговоркой пояснила Дуня, пугливо взглянув на водителя, но тот и виду не подал, что заметил ее неслучайную обмолвку.

— Пускай чуточку вокруг одиноко, зато ни криков, ни стрельбы, и, если привыкнуть к ночной перекличке дальних поездов, полные сутки прозрачная без единой соринки тишина. А в окне у меня, за лужайкой, вся под луной светится березовая роща и в ней белокаменная, бывшая теперь церквуха, милая-милая такая, — неожиданно на пару строк раскрылась Дуня.

— Простите, в каком значеньи **бывшая**: уже руина или пока уцелевшая по недосмотру и лености властей?

— А что, вам руина больше нравится?

— Я хотел лишь сказать, что всякое величие неизмеримо возрастает в ореоле трагизма, — стал оправдываться Сорокин, — и подобно тому, как элегия панорамнее, чем одномоментная ода, руина философически богаче самой себя в любой стадии расцвета. Пару минут назад вы так ласково отозвались о своей, видимо, симпатич-

ной церквушке, словно прощаясь навсегда. И потому простите чужаку нескромный интерес, что именно привлекает в ней девушку ваших лет: парадная обрядность, утешное для стариков заунывное пенье или некое иное сокровище, вовсе бесполезное в его повседневной деятельности.

— А стоит ли чужаку интересоваться предметом, непригодным для повседневного использования? — кротко и тихо, вопросом на вопрос ответила Дуня.

— Оказывается, вот вы какая, со всех сторон неприступная особа! Что же, это, пожалуй, и верно, — согласился Сорокин, воспринимая щелчок как заслуженное. — Недаром мне почудилось сразу, что помимо двух ваших подмеченных мною тайн, имеется и третья, самая неприкасаемая.

— Ой, с вами даже и молчать жутко... Чуть задумалась, а вы уже как по книге прочитали, о чем, — притворно восхитилась Дуня с намереньем птахи лесной отвести охотника подальше от своего гнезда. — А скажите, как вам это удается, с первого взгляда проникать в самую глубь людей.

— Во всяком случае, сложнее, чем представляется публике в зрительном зале... по-видимому, годами многолетней творческой работы... — поддавшись на уловку, солидно распространился Сорокин и попытался утолить ее раннюю любознательность к своему ремеслу. — Для краткости ограничусь изложением моей тактики при отборе как исполнительского состава, так и студенческого при поступлении в наш престижный институт. Положительной приметой избранничества в придачу к таланту перевоплощенья может служить мимолетная заминка речи, как будто тревожное облачко над головой периодически, в силу ассоциативного мышленья, ходом коня, застилает текущую действительность. Но только полифоническая увязка творческого двоения личности с событийной анкетой кандидата подтвердит мне его право на желанную роль или профессию. Так что вступающему в жизнь художнику не надо пугаться ее ожогов и зигзагов, питающих большое искусство, если оно призовет вас однажды на распутье дорог, — заключил он тоном отеческого наставленья.

Лобовые дворники уже не справлялись с работой, так что пришла необходимость смахнуть снег со смотрового стекла и заодно уточнить свое местоположение на планете. Хозяин пригласил спутницу заняться мандаринами в пакете на полке у нее за спиной, и та, ввиду его расходов на бензин, деликатно отклонила соблазн под предлогом с детства почему-то вкусовой неприязни именно к мандаринам.

— Все в порядке, фрекен, — сообщил он, усаживаясь за руль, — а то судя по окрестным хибаркам подумалось мне, что сослепу заехали на окраину предыдущего века. Однако... вернемся к вашей двери. Итак, удалось выяснить пока, где она и что вокруг. Остается уточнить — куда ведет и что за нею... А вам лично доводилось пройти туда хоть раз...

— И даже не однажды!

— Так что же вы заставали там?

— Разное, смотря на какой страничке распахнулось: то пустыня, то горы высокие, а однажды сплошное море без краев подступало к самому порогу...

— ...почему-то не выплескиваясь наружу? — осторожно, как говорят со спящими, осведомился Сорокин. — И вообще, как у вас буквально на пятачке умещаются целые ландшафты? — прикинув в уме размер Дуниной площадки, продолжал допрашивать Сорокин. И опять ответа не последовало, словно не дослышала или не поняла. — И если вас влекло туда в чем-то убедиться, посмотреть и просто унести с собой на память, то что именно?

— Не знаю, — простодушно и на все вопросы сразу отвечала Дуня.

— Впрочем, как сказал один могильщик, всякое случается на свете, — нехотя согласился Сорокин. — Но, по крайней мере, вам не страшно было бродить в пустыне и по воде с риском заблудиться или утонуть, хотя бы ноги промочить?

— А там и нечего бояться, если можно пройти сквозь все до края, не прикасаясь ни к чему. Ведь помимо того, что железная, это моя входная дверь. И что плохое может случиться внутри меня со мною?

— В чем я также не сомневаюсь, — сочувственно кивнул Сорокин и, удержавшись от любознательности, допустил вовсе неуместный вопрос: — А что говорят врачи?

— Приезжал один старичок, долго беседовал со мной, и я слышала из светелки, как на прощанье он сказал отцу что-то вроде — не мешайте ее счастью, а какому, не сказал... И не надо меня допрашивать больше, а то у меня виски болят.

Налицо представлялся заурядный по тем временам случай, когда гонимая нестерпимым страхом свирепой будущности особь человеческая бежала в необозримые просторы самой себя, в иную реальность, полную миражных видений, недосягаемую для боли земной, мнимую и тем не менее явную. И вряд ли по одной лишь нехватке личного опыта Сорокину трудно было творчески постичь такую степень душевного смятенья. Числясь видным мастером кино и в меру своего гибкого, на любую надобность пригодного ума, он добротно выполнял поручаемые ему казенные заказы, так что искусство никогда не было для него тем актом самосожженья, в котором зарождаются шедевры.

Странным образом совпало, что в ту же минуту Дуня, в свою очередь, надоумилась спросить у всеведущего режиссера, как ему самому представляется та, поджидающая людей, еще никому не ведомая грозная внезапность. Отвечая на Дунин вопрос, Сорокин перебрал в уме обывательские страхи перед будущим, грозившие физическому существованью человечества: сейсмическую катастрофу, какую-то нехорошую дыру в небесах, мор повальный, самоубийственную ненависть не только к соседу, но и к своему зеркальному отраженью, чудовищное изобретение высшей убойности и прочее он сознательно отвергал как низменные и лишь для черни придуманные кары небесные, в частности, ту из них, которая скоро и впервые должна свершиться в вечности, пусть даже с одновременным уничтожением вселенной.

Вдобавок он высказал собственные свои критические соображения насчет ценности Апокалипсиса, которые, к чести его, тотчас попытался смягчить признанием:

— Извините, проще не умею. Надеюсь, однако, вы поняли, о чем речь?

— Не совсем, ведь я всего лишь на бухгалтера обучаюсь... Что вы на меня так смотрите? Доктор сказал, что я слишком чувствительна на дурную погоду... Да еще ногу

подвернула, болит. Не знаю, как без вашей помощи добралась бы домой.

Яркая рекламная вспышка ненадолго ворвалась через окно, наполнив кабину зеленовато-искристым светом, и Дуня пошутила, что местные волшебники, универмаг с Мирчудесом приветствуют огнями великого деятеля кино.

За те считаные секунды Сорокин успел через зеркальце прочесть в ее лице нечто главное, в сумерках ускользавшее от его вниманья. Вспомнил еще недавно такое же обычное, как у праведников, нестареющее лицо, но со складкой горечи о пережитом вчера и печально затуманенный взор куда-то в неминуемое завтра на безвестной фреске Вознесение Девы в Сиене, где побывал на обратном пути после недавнего венецианского фестиваля... Но ведь здесь всего лишь внешнее сходство с небесным, а не родство. Тогда если не святая, но, как видно, и не припадочная, то чем же, наконец, она привлекла его внимание, что добровольно, в отмену срочных дел и на ночь глядя, пустился в столь безумную авантюру? Вряд ли ее убогая синяя хламидка заслуживала подобной жертвы без логической увязки с заветной дверью в свой крохотный мирок, постигаемый современниками только в лупу творческого воображенья. Таким образом, досадное заблужденье режиссера Сорокина объяснялось тем, что приманившая его обаятельная тайна загадочной фрекен служила ей всего лишь игрушкой, талисманом, затрепанной куклой, с которой напуганные дети по ночам и на ушко делятся своим одиночеством, секретами и мечтами.

Поездка подходила к концу. Почти вслепую с риском застрять до весны в разыгравшейся стихии Сорокин старался довезти Дуню до трамвайной остановки; последние метров сто машина тащилась на первой скорости и с открытой дверцей, чтобы не сорваться куда-то буксующим колесом, потом окончательно встала.

— Боюсь, фрекен, что не смогу доставить непосредственно к замку... — склонился он в преувеличенном поклоне, в самом деле более озабоченный, как его охромевшая дама станет добираться домой, чем упускаемой возможностью незамедлительной развязки.

— Ничего, меня, наверное, ждут... — Дуня сдержанно поблагодарив, ступила ногой в снег.

Сорокин мужественно последовал за нею наружу.

Дикое клубящееся поле открывалось впереди, но снегопад заметно стихал с приближеньем ночи, и не то каемка миражного леса, не то катящаяся волна мглы проступала в радиусе видимости, но еще не горизонта. Во всяком случае, одинокое, накрытое сугробом трамвайное строеньице с крытой платформой и тусклым огоньком внутри казалось сейчас форпостом жизни на границе mare tenebrum[1] древних. Конечно, Сорокин ни в малой степени не отвечал за высказанные им, при всей его славе, невыполнимые бредни насчет фильма в сущности ни о чем, потому что за пределами земного быта, — и в этом смысле ему хватало данных Юлии обещаний...

— Благословляю непогоду и, каюсь, прочие обстоятельства, столкнувшие нас в этот вечер, хотя в конце концов мне ничего от вас не надо, — напоследок произнес он без выраженья и с обнаженной головой, но вдруг, Боже сохрани, опасенье быть понятым превратно заставило его перейти на шутку. — Итак, во всеобщих интересах жду ответа целых три месяца. Если потребуюсь, звоните мне на Потылиху. Там меня найдут.

— Хорошо, я подумаю... — с неожиданной серьезностью сказала Дуня.

В длинном луче фар видно было, как она уходила по снежной целине, поминутно оступаясь на больную ногу. В конце световой дорожки к ней из-под навеса подоспел ожидавший хранитель. Сорокину показалось — довольно мрачный детина в снежной гриве — скорее вследствие впечатлительности артиста, чем оптической иллюзии, так что охотничья, мехом наружу, куртка Никанора, например, представилась ему накинутой на плечи шкурой; было бы вполне уместно появление мамонта средней руки. Ослепленно пощурясь на стоявшего в тени, Дунин дружок без усилий поднял ее на руки и понес во мрак окраины, — они как-то слишком быстро пропали из поля зрения.

Обратная, по сугробам, дорога в город с неизбежной перегрузкой машины удручала счастливого обладателя, и

---

[1] Mare tenebrum — грозное море.

в ту минуту он не сознавал явной теперь невозможности продлить заманчивую беседу о самом несбыточном из страхов людских. Лишь полтора часа спустя при въезде на окраину он испытал запоздалое сожаление, что не записал ни имени странной спутницы своей, ни адреса ее и телефона.

Глава X

Прогнозы Никанора Шамина насчет еще более впечатляющих событий впереди начали оправдываться уже на следующей неделе. И первое из них — уже реальное, после предупредительного Егорова фотоснимка — воплощенье в земную действительность того странного существа, которого Дуня почему-то постеснялась представить родителям как спутника своих ночных прогулок в еще несуществующее куда-то. Причем явление его косвенно сопровождалось несколько комичным, даже оскорбительным приключением, постигшим даже самого предсказателя.

Вьюга накануне феерически преобразила с детства им знакомые места. На каждом шагу попадались причудливые, с противоречивыми фрагментами отовсюду надерганного сходства, снежные фигуры, как бы наотмашь изваянные вчерашней бурей и такие же временные, из сомкнувшихся кронами деревьев, триумфальные арки, обреченные рухнуть в ближайшую оттепель; наконец, по стихийной фортификации воздвигнутые крепости и бастионы, которые с утра завтра, под немолчный галчиный крик и пальбу снежной перестрелки станет штурмовать воинственная здешняя ребятня... Но в тот час девственная тишина висела пока над старо-федосеевской окраиной.

Сразу за кладбищенской оградой, если пересечь сортировочные пути окружной дороги да один попутный овражек с невероятно живописными бараками по склону, начиналась незастроенная местность под названием **Затылица**: какое-то не предусмотренное сметами препятствие, может быть, находившаяся там гигантская впадина, направила рост города в ее обход. Так что с одной

стороны пустырь обступала сияющая огнями панорама столицы, а с другой — простиралась неохватная глазом, так и затягивающая в себя покатость, нарочно созданная для головоломных, по спирали, лыжных спусков. Нужно было лишь остерегаться крутого, точно над речной излучиной повисшего обрыва на противоположном конце, хотя всякий раз молодых людей так и тянуло, на обратном вираже, заглянуть за край коварного и соблазнительного трамплина. Кстати, кое-какие опасности, вроде помещавшихся там песчаных карьеров и заброшенных, с торчащей арматурой фундаментов какого-то пригородного сооружения, отвращали пришлых лыжников, отдавая Затылицу в безраздельное владение мальчишек днем — вечерами же — Никанора и его подружки. Надо признать, трудно было бы найти в городской черте более удобное, по своей уединенности, местечко для приземления небесных гостей.

Пока собирались, взошла луна, но вскоре все затянулось облачной пленкой, и окрестность подернулась трепетным серебром. Оба, Никанор и Дуня, с минуту молчали на вершине холма, захваченные волшебным зрелищем перед ними, но сверх того смутной тревогой. Слегка вогнутое пространство перед ними, с ребристыми закраинами по краям, напоминало гигантскую, ветром выточенную раковину: тоскливая неловкость в лопатках возникала при виде ее, верно, от нехватки крыльев. Подтаявший за день снежок к ночи прихватило морозцем. С начала зимы не бывало легкого, с накатцем наста.

Никанор покачался взад-вперед, пробуя надежность крепленья:

— Держись ближе... — Никогда не оставлял ее там без присмотра. — Пошли!

Мгновением позже он скользнул вдогонку за Дуней...

Но тут требуется возможно полное изложение обстоятельств, чтобы передовые мыслители могли ввести иррациональный эпизод в русло здравого смысла. Прежде всего он почему-то не испытал обычного наслаждения лыжной гонки, что происходит от борьбы с упругой, стремящейся сошвырнуть или вовсе опрокинуть, сопротивляющейся силой, пока, подчиняясь мускульной воле,

она не помчит тебя по гигантским спиральным кругам ко дну синевато-мерцающей воронки. С самого старта почудилось ему, будто третий кто-то увязался за ними следом. Некоторое время все трое мчались голова в голову и, строка за строкой укладывая лыжню по скату, причем погоня зачем-то отставала порой и, судя по настигающему свисту за правым плечом, притормаживала возле — с небольшим опереженьем, явно готовя студенту какой-то замысловатый номер. Некогда стало оглянуться.

Вдруг до Никанора донесся знакомый, столь беспокоящий его, как бы от счастья захлебнувшийся Дунин смешок, — значит, была уже не одна, хоть и непонятно было, когда именно тот, позади, успел не только обогнать, но и так далеко увлечь подружку, что опознавалась лишь по длинной, ускользающей и, как твердо запомнилось, совершенно одинокой тени; впрочем, тот всегда имел обыкновение приходить к Дуне невидимкой. Почему-то при абсолютно ясном сознании, как нередко бывает с пространством в подобных случаях, все пропорции и самая перспектива легкомысленно исказилась так, что Никанору показалось, еще миг-другой и на достигнутой скорости Дуня прямо с виража легко перемахнет за черту обрыва. Больше жизни заботясь о безопасности девушки, Никанор Васильевич ринулся ей наперерез и с помощью всяких лыжных хитростей, а пуще всего за счет дополнительного постороннего давления в заднюю часть, добился разгона, вряд ли возможного при более заурядных обстоятельствах; нечего было и думать на подобной глади зацепиться за что-нибудь. На долю мгновенья он увидел прямо перед собою гулявшие по краю пропасти снежные вихорьки и сразу вымахнул в неуютное мглистое пространство. Он плавно взмыл в мглистую высоту, уже не опираясь палками о метельное пространство под собою.

В создавшихся условиях от материалиста требовались особые осмотрительность и выдержка, чтобы не приписать слишком уж дикую проделку произволу потустороннего происхождения. Самый толчок в находящуюся ниже поясницы часть туловища не сопровождался болевыми ощущеньями, однако не слишком точное приложение супернатуральной силы привело студента в быстрое вращательно-поступательное движение, сопряженное с

кратковременной утерей памяти. Когда же прошла перегрузочная одурь, обычная при запуске из катапульты, он не поддался упадочническим настроеньям, не стал препираться со все равно неуязвимым обидчиком или взывать о помощи, а подобно выдающимся исследователям мировых загадок постарался самостоятельно изучить постигший его феномен.

— Тихо-тихо, Никанор, без паники... — окликнул он сам себя и, ногою притормозив дальнейшее ввинчиванье в пустоту, принялся за освоение непривычной обстановки.

Внезапно прямо по курсу под собой Никанор Васильевич обнаружил на мерцающем снегу две оживленные фигурки, обе подавали студенту явно пригласительные знаки, из чего можно было заключить, что приключение завершалось доставкой на прежнее место. Дуня усиленно салютовала платком, а откуда-то взявшийся рядом с нею парень, несколько менее уверенно, черной шляпой.

Опознавшая студента еще издалека, Дуня расплывающимся в пространстве голоском прокричала ему, чтобы подруливал скорей, присоединялся к их компании, причем сулила необыкновенные новости. И тут загадочная сила принялась бережно приспускать студента слегка в наклонном положении, как бы придерживая его сзади за штаны и воротник. Сознавая всю комичность гнева в столь двусмысленном состоянии, Никанор Васильевич молча подчинялся своей участи.

— А мы здесь совсем замерзли и соскучились без тебя, — неузнаваемо торжественная и веселая стала попрекать Дуня дружка. — Ну, где, где ты там запропал?

— Так, захотелось немножко полетать в старофедосеевских окрестностях, — сквозь зубы отшутился тот, ощутив твердую почву под ногами. — Должен ли я просить прощенья за свое отсутствие?

Заодно он осведомился тоном оскорбленной ревности, — не помешал ли удовольствию совершаемой ими прогулки? — обиднее всего, что Дуня приняла вопрос за естественное извиненье.

— Ну, что ты, что ты, мы так рады тебе! Угадай теперь, кто стоит перед тобой? Вот я говорила, что никогда сам не догадается... — и по-свойски тормошила за рукав сто-

явшего возле незнакомца. — Это же Дымков, тот самый... помнишь?

Напрасно пыталась она столкнуть стороны на дружеское рукопожатье: одна — дичилась, упиралась, явно не понимая Дуниных намерений, другая — пятилась от соблазна совершить какой-нибудь акт в отношении господина, наиболее вероятного виновника всех Никаноровых уязвлений, вплоть до недавнего швырка в ночное небо.

— Мы уже встречались... — поворчал студент и вскользь выразил сожаление по поводу небогатой выдумки иных остряков, но опять никто не заметил пролитого яда.

Вряд ли правомерна наша догадка, что по примеру прежних проделок над Никанором насильственный полет его над ночной метельной столицей, совпавший по времени с появлением загадочного незнакомца, подстроен самим шефом, чтобы, против обидчика озлобив студента, получать через него регулярную информацию о скандальных, им же, Шатаницким, организуемых похождениях Дымкова, как будто не имел ее по своим ведомственным каналам, и таким образом в пику Господу Богу сделать невозвращенцем запутавшегося ангела, который был поименован корифеем при нашем знакомстве в институте как обыкновенный инопланетянин.

Временами луна пробивалась сквозь облачный покров, и тогда все кругом заливалось голубым плывучим серебром. Пользуясь такой вспышкой, Никанор искоса и с неприязнью взглянул на обидчика, но, кажется, тот не сознавал свою неоднократную перед ним провинность. Вопреки ожиданьям Дунин приятель выглядел довольно симпатичным, несколько тощеватым для своего роста, с блуждающей застенчивой улыбкой не освоившегося в столице новичка. Впечатление крайней провинциальности усиливалось какой-то архаической одеждой, начиная с бархатной цветной при незамятом донце, широкополой шляпы и, тоже из теткина сундука, **молескинового**, что ли, чуть не до пят и не по сезону легкого да еще нараспашку пальтишка. Благодаря исключительно длинной шее видна была бывшая крахмальная сорочка, до бахромки застиранная у ворота и с вопиющей, перекошенной на горле **бабочкой** отечественного производства — пугало с

зажиточного огорода. По-видимому, придумывая ангела, Дуня забыла о нашем климате и выпустила на декабрьскую стужу без предварительной подгонки к обстоятельствам нового существования. Новоявленный Дымков ежился и зябнул в своем легком пальтишке и походил на долговязого мастерового парня тотчас по выписке из больницы. Но именно стариковская ветошь с чужого плеча подчеркивала девственный возраст юнца миловидного до женственности, а иногда с оттенком щемящей кротости, почти на грани пугливости, чем, видимо, и объяснялась мгновеннейшая его на всякий шорох поблизости реакция с молниеносным же, как у птицы, поворотом головы, после чего следовал долгий кинжально-цепенящий взор с выражением безумного прозрения, а может быть, всего лишь неукрощенной дикости, наделенной грубым и необузданным могуществом, в свою очередь способным вызывать почтительное содрогание, как иные из земных властителей, владеющих правом собственноручного отрубания голов, словом, низменный и благоговейный ужас, если бы его жуткого ореола не смягчала примесь неутихающей тревоги, вернее, неуловимой печали в только что, еще мгновенье назад, закошенных яростью, но вот уже спокойных, несколько восточного рисунка, миндалевидных и широко расставленных глазах, нет — очах, пожалуй, ибо, несмотря на описанную телесность, небес в них отражалось покамест больше, чем земли. И оттого создавалось убеждение, что все перечисленное, слишком сбивчивое и противоречивое ни в малой доле не передает его истинного содержанья, что, наверно, подтвердит всякий, кому доводилось встречаться с настоящим ангелом. Естественно, воображением своим уплотняя ангела из того рассеянного космического вещества в земные габариты, она неминуемо должна была придать ему авторские черты своей личности, так что в сложном итоге получалось симпатичное и застенчивое подобие долговязой, чуть остроносой птицы. Чем пристальней вглядывался Никанор в так странно, со склоненной набок головой, забавного парня, тем больше — с недоверчивым сперва, но постепенно подавленным восторгом узнаванья находил в нем черты сходства с тем, на колонне. Любопытней всего, что законченного материа-

листа сбивала с толку бытовая, слишком уж легкомысленная для ангела оболочка. Можно было запутаться в уйме ее обоснований — от намеренной маскировки соглядатая до высокомерного пренебрежения аристократа к своему временному, преходящему состоянию. На деле сама же Дуня вырядила его сообразно своему вкусу и хитрости, чтоб охранить от немедленного разоблаченья. По излишней отзывчивости, как ни странно, совмещавшейся с чисто птичьей невнимательностью к людскому горю, он запросто мог стать объектом чьей-нибудь ловкой предприимчивости с уймой калейдоскопически-универсальных и небезразличных для репутации приключений, что вскоре и подтвердилось на деле.

— Я — гость из неба, Дымков, как поживаете? — вежливой фразой из разговорника произнес ангел.

— В ваших документах указано все, что нужно... И вам не надо всякий раз докладывать о своем происхождении, — строгой скороговоркой прервала его Дуня, потом просительно коснулась Никанорова рукава, — у него еще неполадки с языком, для практики поговори с ним немножко...

— Хорошо доехали? — спросил Никанор первое, что пришло на ум.

— Очень приятно. Дальняя дорога, благодарю.

— И каковы ваши начальные впечатленья?

— Ничего, пожалуйста.

Ему хотелось прибавить что-то смешное, словесно пошалить, но захлебнулся воздухом и кончил неразборчивым бульканьем, как если бы вода училась человеческой речи. Дуня пыталась сделать смысловой перевод, — кажется, ангел благодарил уважаемого студента, что если не философски, то de facto тот допустил его существованье.

— Что же... я рад, что мое признание доставило вам моральное удовлетворенье, — колюче поежился Никанор и в свою очередь высказал сомнения относительно своего противника: кто он — оптическая мнимость или просто мираж не в меру разыгравшегося воображения?

— Ничего, дело привычки, обойдется... — довольно связно на сей раз сказал ангел и прибавил в извинение Никанору, что и сам не слишком уверен в реальности глубокоуважаемого студента.

С полминуты все трое стояли в обоюдном замешательстве, и жалко было смотреть на Дунины старанья во что бы то ни стало наладить неразливную дружбу втроем.

— Что же мы стоим тут!.. Тронулись куда-нибудь, пока не закоченели окончательно, — виновато оживилась Дуня, объединяющим жестом подхватывая обоих под руки, но еле натоптанная тропка оказалась узка на всех, и через минуту отбившийся Никанор замыкал шествие с лыжами на плече.

То был первый выход ангела в неведомый ему мир, и не хотелось расставаться сразу, но идти было некуда. **Мирчудес** стоял во мгле с погасшими огнями, тем более поздно было тащиться с гостем домой без предупрежденья матери. И так как Дымкову полагались покой и отдых после утомительной дороги, то с облегчением двинулись на трамвайную остановку, откуда двадцать седьмым номером удобнее всего было, с единственной пересадкой в центре, добираться к его подмосковному местожительству.

В попутно завязавшейся беседе выяснились кое-какие сведения касательно его нынешнего устройства в столице. В качестве переведенного с далекой периферии на постоянную работу в Институт детского питания он по своему положению младшего сотрудника смог получить прописку лишь в Охапкове, где снял комнатку у одной бывшей белошвейки. Понемногу входя в земной обычай, он усиленно приглашал новых друзей навестить его на новоселье, причем с похвалой отзывался о квартирной хозяйке. Вообще, хорошо еще, что обошлось без свидетелей, потому что в таких подробностях набросал приметы своего переулка и третьего от водяной колонки одноэтажного домишка, где не бывал ни разу, что невольно возникало любопытство об источниках такого ясновидения. Кстати, пока не задумывался, с речью у него обстояло вполне сносно, Никанор сдержанно отметил его успехи.

— О, нет-нет, немножко немой. **В роте** мало слов... — сказал ангел с выражением наивного самодовольства, обычного у новичков после первого удачного круга на велосипеде, и прибавил что-то вроде **тру-ля-ля**, но с таким озабоченным видом, что можно было принять за восклицанье на одном из древних языков.

Создалось впечатление, будто словарь свой он получил вместе с телом и, пока не освоился, кое-что применял невпопад. С грехом пополам общение сторон налаживалось и, что в особенности примиряло Никанора, как убежденного материалиста, без каких-либо стеснительных, в духе Средневековья, ритуальных условностей.

— Наверно, у вас имеются тут серьезные намерения, — почтительно и не без яду спросил Никанор, — вроде, отвращать малолетних от порока или утирать вдовью слезу? Лично я мог бы предположить...

— Мы и сами не решили пока, чем он станет заниматься у нас, — быстро и тоном, исключавшим дальнейшие расспросы, вставила Дуня. — Ему надо осмотреться сперва, а уж когда попривыкнет, тут и твой совет потребуется...

Подошел гремучий, с прицепным вагоном, последний в ту ночь трамвай, но бригада удалилась в свой стеклянный фонарь, и таким образом прибавилась еще одна, обременительная на расставании минутка.

— Ну, привыкайте пока, без привычки на земле у нас нельзя... — посмеялся Никанор в смысле, что жить на ней вполне можно, если стиснуть зубы и не задумываться. На прощанье Дуня вполголоса давала Дымкову детские наставленья: не трепаться с посторонними людьми, не класть документы в наружный карман и, главное, везде платить настоящие деньги, не прибегая к своим опасным теперь способностям. Заботясь по-матерински о своем создании, она подарила ему на земное обзаведенье свой любимый сафьяновый кошелечек с мелочью на проезд. Имея в виду не принятое на земле и свойственное ангелам прямолинейное перемещение, настоятельно просила его пользоваться обычным транспортом. Тут в паузе томительного ожиданья снова пробилась луна, черные тени пролегли по засиявшему снегу, и Никанор смог наблюдать краем глаза, как якобы за упавшим кошельком нагнувшийся Дымков украдкой пытался приподнять свою тень — кажется, его смущало, что она, целиком от него зависевшая, не подчинялась ему. Но тут, наконец-то, трамвайная прислуга прошла мимо для заключительного рейса.

Поддерживая под локоть на всякий случай, Дуня повела слабо сопротивлявшегося Дымкова к подножке и со-

всем по-старушечьи все тянулась к его уху с прощальным напутствием. Когда же напоследок стала совать любимые свои, подарок и работу матери, пестрые рукавички ему в карман, у Никанора и сердце защемило от сочувствия за обузу, которую отныне брала на себя. Он отвернулся, чтоб не видеть, как она еще шажков двадцать бежала за вагоном, жестами наказывая стоявшему на задней площадке ангелу застегиваться на все пуговицы, кутать горло от простуды, поднимать при ветре воротник.

Лишь когда вагон окончательно потаял во мгле, Никанор решился подойти, бережным прикосновеньем вернуть ее к действительности.

— Уж поздно, мы устали и нам пора домой... — и напомнил, что завтра в девять Дымков обещался быть у ее ворот.

Даже не обернулась на голос, продолжала щуриться ушедшему вослед, как все дети — игрушечной ладье, выпускаемой в простор открытого непокойного моря.

Хотя многофигурный, в крайне затрудненных сумеречных условиях пилотаж обошелся для студента без всякого вреда для здоровья, тем не менее, оставшись в одиночестве, испытал он такой упадок духа, что и про ужин не вспомнил в тот вечер. Правда, полураздевшись на сон грядущий, он машинально проследовал было к подоконнику за холостяцкой едой, приготовляемой у Шаминых приблизительно дважды в неделю, и уже взялся за оставляемый ему отцом котелок с пшенной кашей, но после двух—пяти ложек всухую, подобно тоскующему призраку, воротился на койку, где его поджидала непривычная бессонница. Дошло до того, что **дважды** за ночь выходил в сени пить воду из обледенелого ушата, чтоб немножко отбиться от сомнительных мыслей.

К чести Никанора Шамина надо отмести всякие личные побуждения самолюбия или корысти. По отсутствию способных донести свидетелей совершившийся акт общения с ангелом не грозил студенту чем-либо, вроде выговора либо лишения стипендиатского повидла, так как на сравнительно небольшом отрезке времени и при несомненной своей принадлежности к потусторонней категории объявившийся Дунин приятель не проявил ни одного пока, преступного в глазах эпохи, элемента цер-

ковной мистики. При вполне оправданной его неприязни к Дымкову, еще меньше имелось причин для мужской ревности к мнимому сопернику, коего, по его физической хлипкости мог обезвредить нажимом указательного пальца. Однако характер охвативших Никанора обывательских сомнений заставляет признать, что институтская общественность рановато увидела в нем достойную смену тогдашним неукоснительно-направляющим столпам, какие подобно бесстрастным утесам возвышались над бушующей действительностью. И если совсем недавно скандальное, якобы уже насквозь могильным тлением пропахшее прошлое отцов, как выразился в одной лихой статейке Шатаницкий, вынуждало и Никанора в числе прочих юнцов с ликующим кощунством рваться куда-то вперед, напролом и подальше, то иррациональные события минувшего вечера невольно толкали студента обмозговать, куда возводит род людской уже седая, сама полуослепшая от слез и древности и все еще обольстительная мечта о золотом веке. Подобный пересмотр привычных ориентиров вел прямиком к великому брожению умов, а спасение состояло в немедленном подведении легального философского базиса под указанную чертовщину, и оттого надо считать, как нельзя более своевременным, что Никанор вспомнил о своем всеобъемлющем декане, о его постоянной готовности прийти на помощь, как ловко льстил он при каждой оказии нашей **чуткой, искательной молодежи...** И здесь, зарывшись головой в подушку, студент принялся наверстывать упущенное в первой половине ночи, причем с таким шумовым оформлением, что пробудившийся на печке родитель лишь головой покачал, хотя по его собственной похвальбе, мыши не смели показываться из подполья, пока он сам занимался сном.

Глава XI

Случилось совершенно необычное: корифей попросил своего ученика посетить его на дому. Помимо доверия, приглашение означало и какую-то несомненную нужду в услуге студента. С понятным волнением Никанор отправился в берлогу.

Самые влиятельные стихии под видом случайностей и совпадений несли в тот раз Никанора на свидание с шефом. Они с ветерком мчали его по тротуарам метельного города, придерживали на остановках необходимые трамваи, помогали без увечий и штрафов пересекать магистральные потоки, пока не прибыл на место назначения.

Ведомственное здание Шатаницкого, уходившее шахтами в пламенную глубь земли и бессчетными этажами погруженное в небо, оставалось незримым для посторонних даже при ясной погоде. Обнаружить его можно было, лишь подойдя вплотную с риском провалиться в бездонный люк к дежурному на рога. Система охранительных средств действовала надежнее комендатуры с выдачей пропусков. Все наружные входы были зашиты досками по причине круглогодичного ремонта, видимо, свои проходили непосредственно сквозь стенку. И в поисках входного отверстия смельчаку приходилось впритирку протискиваться в сводчатых воротах, закупоренных застрявшим в снегу автофургоном.

Едва пробился во двор, как тотчас для него нашлась обитая железом запасная дверь, и сразу при входе налево лифт в углу. Не успел он вступить в него, как тесная кабина сама собой, рывками пометавшись в стороны, чтобы запутать ориентировку жертвы, сперва напропалую ринулась куда-то в глубь земного шара, пока предупреждающий зной не стал ощущаться в ногах, после чего чертова коробка уже безупречно доставила студента в поднебесную высоту на должный этаж, хотя личных часов у Никанора не было, но, судя по все возраставшему нетерпению, подъем длился почти четверть часа.

То был вполне обыкновенный, перенаселенный жильцами и с коридорной системой коммунальный дом. Саднящий зрение, слепительный лампион светил неведомо откуда, и вся служивая адская живность сидела дома, раз отовсюду сочился нетерпимый до зуда в мозгу свербящий звук ее вечерней деятельности — лаяла собака, звонил телефон, неправдоподобно громко плакал сомнительный младенец, пилили лобзиком стекло, сдвигали мебель, вбивали многодюймовые гвозди и, наконец, колоратурная певица с помощью радиолы звала любовника вернуться в ее объятья. Отовсюду стекавший

звуковой мусор гулко проваливался в кромешное эхо лестничной клетки. Однако стоило Никанору добраться до апартамента с медной табличкой Шатаницкого, как шумовая суматоха сменилась мгновенно настороженной тишиной, студент, не успевший коснуться звонка, в ту же минуту различил два пристальных блеска сквозь почтовую прорезь в двери, которая беззвучно открылась, и за нею стоял улыбающийся корифей в домашней венгерке с бранденбурами, черной шапочке ученых на голове и в шлепанцах. С десяток самых причудливых масок простроилось в его лице, прежде чем Никанор опознал в нем своего учителя, приглашавшего войти в прихожую — с жестом на вешалку. И пока по длинному коридору шли в глубь квартиры, Шатаницкий впервые проговорился о своем заветном желании навестить студента на дому, точнее — в домике со ставнями в надежде на личный контакт с достопочтенным Финогеем Васильевичем, с коим дотоле имел беседу только во сне.

— Папашу моего зовут наоборот, Васильем Финогеичем, — не преминул поправить Никанор.

— Ах, какая жалость, никак не скажешь по виду... — невпопад пробормотал хозяин, с полупоклоном пропуская гостя, который не без опасливого смущенья за не по чину оказанный ему торжественный прием вступал на порог вселенского атеистического форпоста.

Каждая мелочь подтверждала институтскую репутацию квартирохозяина в качестве книжника, библиофила, анахорета и чудака с холостяцким укладом существования, вплоть до показной железной койки за ширмой в углу. Так опровергался обывательский анекдот, будто ложем для сна служит ему трехслойный магнит с титановой присадкой, специально изготовленный на секретном уральском заводе. Житейский аскетизм возмещался у него и тоже — не миражным ли — изобильным книжным богатством.

Синевато-магическое сиянье исходило в потемках от вплотную заставленных полок, декоративно заплетенных густой паутиной в проходах, — наглядное свидетельство ничьих посещений. Обширная память владельца, как раз вмещавшая все случившееся некогда, еще по ту сторону времени, не нуждалась в справках и уточне-

ньях, ибо вдохновенное безумие драгоценных фолиантов было им же нашептано в давние бессонные ночи. Мемориально-архивный характер собрания тем и объяснялся, наверно, что у обреченного на пожизненное пребыванье во мраке, в котором вязнет и солнце, имеются свято хранимые воспоминанья об утраченном предвечном свете. Впрочем, помимо первоклассных, полностью забытых ныне жемчужин потаенного знанья, надежно защищенного от vulgus profanum личиной еретического мракобесия и опиума для простаков, всяких инкунабул и адским прозреньем восстановленных палимсестов эсхатологического откровенья, среди бесценных рукописей классиков научного оккультизма, украшенных дарственными надписями Аполлония, Агриппы и не менее легендарного Элифаса Леви, находилась энциклопедическая Biblioteca rabbinica — наиболее обстоятельный свод самых ранних домыслов о происхождении вещественного мира, и, судя по зиянию во втором ряду одинаковых фолиантов, там недоставало одного. Не он ли, распахнутый посередине, красовался у корифея на самом виду? То был как раз седьмой том Biblioteca rabbinica с предысторией якобы на заре мира случившегося знаменитого небесного раскола.

Примечательно, что в ту обостренную пору изнурительных повинностей, хлебных очередей, тайных казней и подпольных козней, именно эта давно отжитая сказка уединенно находилась на рабочем столе у генерального излучателя никем пока не подозреваемых идей, составлявших истинное содержание века и сего повествования.

— Ну-с, рассказывайте, Шамин, как там у вас, на краю света в Старо-Федосееве? Побывал ли у вас причудливый незнакомец, выдающий себя за пришельца из заоблачных краев? Лично у меня есть подозренье, не он ли ради первого знакомства заставил вас полетать над нашей любимой столицей, пока воплощался на памятной для вас лыжне? Какие ваши первые впечатления от него?

Кстати, учитывая некоторые природные свойства своего декана, проницательный Никанор уже разгадал, кто на самом деле устроил ему этот каверзный полет над столицей.

— Покамест впечатления благоприятные, учитель, — сквозь зубы процедил студент, осторожно листая книгу и время от времени, по обычаю слепых, касаясь пальцем латинской строки, чтобы хоть так освоить заключенное в ней интеллектуальное лакомство, недоступное молодому поколению на немом для него языке.

— Поинтересуйтесь им поближе, он достоин в будущем кисти такого многообещающего мастера астрального портрета, судя по черновым записям, которые вы успели сделать о моей особе, хотя внешне личность его представляется довольно скромной.

— Он почему-то называет себя ангелом.

— А вы не попытались уточнить — почему? Если люди додумываются, как они врисованы в математические законы бытия, тем в большей степени это сомнение должны испытывать ангелы. Сам дьявол томится догадкою, не есть ли он вместе со всем арсеналом зла магнитным завихрением пустоты? Здесь весьма пригодилось бы утверждение виднейшего специалиста по этой части Василия Великого, что ангелы, как и демоны, страдают от мук огня. Примат боли сильнее, нежели радость бытия. Никто не принуждает вас при первой встрече прижигать его спичкой, как бы прикуривая, но, дорогой друг, во избежание атрофии надо давать работу и голове!

— Смолоду не пью и не курю, учитель, — задумчиво, словно сдвигая гору мыслей, отвечал Никанор.

— А не замечается ли у вашего Дымкова странная манера щуриться, как бы от неуменья войти, приспособиться, встроиться в нашу действительность?

— Есть немножко... Наверно, с непривычки увязать воедино уйму составляющих нас физических законов, — с видом столь же заумной учености сказал студент. — Птицы и насекомые замечают грозящую им опасность, лишь выдавшую себя непроизвольным движением...

— Браво, мой юный друг... совсем близко, даже глубоко, но снова мимо. Иногда осознать мешающее быть куда трудней, чем отыскать средство в преодолении помехи, но еще сложнее нащупать его источник. Умная собака способна различить часы в руках хозяина, гениальная подметит в них взаимозависимое движение колес, но как далеко отсюда до нашего пониманья времени, не так ли?

Здесь корифей сделал небольшую передышку, чтоб продолжить свою псевдонаучную галиматью.

— Теперь вы понимаете, Шамин, что все сущее является единым, слитным и никогда — конечным процессом, где одновременно осуществляются тысячи физических законов, всевозможных диффузий, рефракций и — чего еще там?.. Ну, скажем, мы плывем там, не замечая друг друга, сквозь встречное и встречное — сквозь нас. Если такой поток рассечь экраном бешено сопрягающихся магнитных полей, на них тотчас возникнут проекции действующих сил в виде беспокойных, мучительно нечто напоминающих символов, в которых вряд ли с первого взгляда распознаем самих себя. Крайняя у них там, в непроглядных глубинах, изреженность вещества даже в цепенящих условиях абсолютного нуля не исключает ускользающего от наших наблюдений, пускай приторможенного взаимодействия рассеянных в пространстве частиц, что позволяет говорить об особой неторопливой химии **горних миров**, способных создавать довольно грозные явления, в том числе гигантские фантомы, сотканные из того же мятущегося вещества с самыми различными характеристиками материальности — в зависимости от плотности среды и гравитационных натяжений неслыханной величины и кое-чего другого. Вполне аксиоматично, что где кончается один мир, должен начинаться очередной за ним, чтоб не получилось какой-либо запретной иррациональности... Правда, населяющие большой космос мыслящие макросущества отличаются замедленной реакцией, чем, в частности, и объясняется досадная нерасторопность небесных покровителей в отношении бед земных. Самый шаг времени у них другой, и пока соберутся на призыв страждущей малютки, обстановка успевает измениться много раз, вплоть до адреса самой планеты... Их винить нельзя, ибо по своей обширной емкости они и мысли не допускают порой о чьем-то ничтожном бытии, как ни обидно это для нашего достоинства... Но ведь и мы им платим тем же! Поэтому, когда они открывают нас, мы для них мошкара вселенская вкруг тусклого фонаря местного значенья, что поминутно врывается сюда из мглы, чтобы тотчас с воплем прощальной тоски или вздохом облегченья вернуться

в материнское лоно. Свяжите сказанное воедино, и вы поймете, чего я добиваюсь.

— Жадно внимаю вам, учитель, — с одухотворенным лицом, как бы испивая мед мудрости из уст его, отвечал Никанор.

— Таким образом, вступающему к нам с того мглистого берега и наделенному молниеносным постиженьем всех процессов, происходящих в их собственной среде, наше с вами бытие должно представляться им вьюгой обезумевшего вещества, хаосом ошибающихся противоречий и прерывистых мерцаний — на фоне таких же искрящихся странностей и гонимых императивными квантами чего-то, где втугую сфокусированы зов, воля и приказ... Но в конечном итоге, что именно вертит жернова, впрягается в парус, гонит морскую зыбь, песчаную пустыню вздымает до небес — ветер, воздух, солнце или некто, завершающий эту лестницу причин и сам не знающий себе причины? Следует допустить, что если бы ожидаемый нами пришелец **оттуда** действительно принадлежал к разряду ангелов, наделенных универсальным зрением без способности различить в вихре физических законов врисованные в них эфемерные призраки людские, то по природе своей избавленный от тяготных поисков хлеба насущного, смертельных схваток за место под солнцем, сладостных мук, связанных с продлением вида, с какой пристальностью гнева, содроганья или гадливой неприязнью щурился бы он в попытке постичь смысловое поведенье людей в корчах труда, любви или битвы, не так ли? Тогда кто он, наш завтрашний Дымков: заблудившийся турист, иномирный соглядатай (какого проницательный коллега заподозрил в моей особе) или тот, где-то в исламских сказаниях упоминаемый мифический ангел с расстоянием между очами восемьдесят тысяч дней пути? Кстати, я уже зондировал кое-где возможность вашей персональной командировки в мечту, священную цель ученых... если не забыли данное вами согласие в том беглом у меня разговоре, который я неосторожно, в целях конспирации, перевел в гротескный ключ ввиду постороннего присутствия. Не скрою — первые миссионерские шаги на чужой территории сопряжены с риском мученичества, и будем надеяться, что первые,

неизбежные в таком предприятии могилы космических первопроходцев наконец-то сольют враждующих землян в единую семью... и вообще терновый венец лучше лавров и диамантов украшает чело гения, не так ли, юноша? Простите мне возрастную чувствительность, но вот уже близится предназначенный вечер поколений... И выпуская ученика на столбовую дорогу, старик смотрит вослед ему затуманенным взором и тихонько завидует вдогонку! — изображая ностальгическую тоску, произнес корифей, украдкой взглянул на студента с одновременным вопросом: — Бреднями своими не утомил я вас?

— Наоборот, в самый раз, учитель... — поторопился успокоить его Никанор, не отрывая глаз от раскрытого фолианта.

— Помнится, мы остановились на том, что никакого небесного мятежа не было и в помине, а просто среди высшего ангельства распространились слухи о предстоящем переводе под начало неслыханного фаворита. Естественно, по чину своему, главный маршал сил небесных отправился лично познакомиться с претендентом на его место: кто таков и в чем его воинские преимущества? Встреча их произошла при пещерной нише под навесом скалы в защиту от полуденного зноя или непогоды. Только что сработанный человек лежал врастяжку на плоском камне, ничем не прикрытый, во всеоружии жизни, творчества и размножения. Причем неизвестно, сколько долгих мигов протекло до момента, когда животворящая искра благодати соскочила с Его повелевающего перста на встречно протянутую руку пробуждающегося Адама — в точности литургийный акт сей изображен на плафоне Сикстинской капеллы. Наличие рукоделья на рабочем столе и вопросительный взор незримо присутствующего Мастера так убедительно подтверждали предстоящую отставку, что воспламенившийся маршал сил небесных не удержался от встречного вопроса, ведущего к небесному расколу. То была роковая фраза, дошедшая к нам сюда в известном апокрифе Еноха: **«Как мог Ты созданных из огня подчинить созданиям из глины?».** К сожалению, упрек незаслуженной обиды звучал там слышнее тайного чаяния утраченной близости, что и было воспринято как

оскал зубовный, то есть прямая улика признания в измене. Затем послышался сейсмический гул под ногами, как если бы горы раздвигались по сторонам, образуя гигантскую дыру — бездонный мрак, куда, слипаясь на лету и врассыпную за миг единый успела рухнуть воздушная громада. Так началась наша ссылка в никем пока не заселенную глушь. Если вначале некоторые с непривычки боялись наткнуться на спрятанное впотьмах коварство, то час спустя все томились надеждой разбиться вчистую о любую впереди прорву физического для бессмертных небытия, куда изгонял Сатанаила свежий даровитый генерал. Такого рода почетный конвой сопровождал нас до переломного момента, ибо последний миллион световых лет мы уже своими силами побыстрей понеслись в отведенную нам твердь, чтобы наконец начать обратную карьеру. Кто-то, подобно матросу на мачте Колумбова корабля, искал еще далекую, но уже приближавшуюся твердь и неслышно прошептал деревянными губами: «Земля, Земля», и тотчас остальные, жадно и поневоле с ходу разбившись о нее, превратились в свою диалектически выраженную противоположность.

По бессмертию нашему ничего не хотелось, кроме вечного усыпления. Я огляделся, прежде чем сомкнуть опаленные веки. Всюду вокруг суетились оплавленные обломки спутников моих, навечно породненных общей бедою, сплющенные друг о дружку, с порванными сухожильями или стрельчатым крылом соседа пробитые насквозь. Затем наступила длительная полубеспамятная агония без ее благодетельного финиша. Долголетие библейских праотцев указывает на емкость тогдашнего времени.

Когда же спустя бессчетный срок ужасный свист бездны затих в ушах, в сознание мое пробился умиротворенный мелодичный звук. Капель из трех точных и звучных нот оглашала потемки. Нет ничего целительней для падших, чем музыка воды. Бессонная труженица милосердно бежала сквозь нас, студила, нежила и залечивала наши увечья. Мы стали нехороши собою, и сам Отец не опознал бы в нас тех гордых и светлых, какими были раньше. Отныне любой жест милости или прощения лишь оскорбил бы нашу страшную и сладкую печаль.

Мне показалась уютной доставшаяся нам дыра, которая зовется теперь Постоенской **Ямой**, близ Любляны. Раз в год я навещаю это место, чтобы, отбившись от толпы туристов, постучаться к иному из еще не проснувшихся в его полупрозрачный саркофаг...

И хотя Никанор знал истинное происхождение карстовых пещер, он счел необходимым выразить рассказчику сочувствие за все пережитое.

— На вашем месте я написал бы подробную книгу о своей биографии, — тоном наивного восхищения подстегнул Никанор, — чтобы критики не подумали, что все здесь одна лишь игра воображения.

— Да, но все воображаемое является вариантом избегнутой действительности, — с гримасой раздраженья обронил корифей. — Я лежал на спине, и сквозь толщу доломитового склона надо мною зигзагами просматривалась даль пройденного пути. Там, во тьме ночной, сияли звезды, которых не было раньше, ибо никто не нуждался в них — верный признак, что Всевышний придумал качественно новый мир для своих очередных фаворитов.

Внезапно в перекличку капель вплелся незнакомый, снаружи сочившийся звук. То было восклицание детской благодарности изобретателю Вселенной за его трогательное старание обеспечить нынешним любимцам радость существованья в ней. Судьба повелела мне стать не только очевидцем, но и участником великой перемены. Ревнивое нетерпенье повидать свою смену на новоселье помогло мне не без некоторой утраты благообразия пробиться на волю из каменной скорлупы. Не в силах встать на ноги после столь продолжительной лежки, я ползком двинулся к единственной теперь цели. И добираясь к ней сквозь скалистые фильеры горных ущелий, настолько попривык и обточился на их кремнистой щебенке, что к моменту прибытия на место действия среди бесплодных камней Междуречья довольно бойко, уже в облике заправского змия струился в высокой цветущей траве, знаменовавшей близость рая, заповедного оазиса с его первобытным комфортом. Показательно, что никто не задержал меня, когда я кое-как перебирался туда через пограничный ров и безошибочным чутьем отыскал предназначенное мне древо и, дважды охлестнувшись по

стволу, вскинулся в развилку сучьев, изготовившись к исполнению возложенной на меня обязанности. Вскоре из-за кулисы непроходных джунглей показалось все наличное, покамест, человечество: рыжий верзила об руку с супругой в первозданной наготе. Будущие хозяева знакомились со своей усадьбой. Их сопровождала приданная им в забаву фауна, похожая на глиняные простонародные игрушки, — те и другие еще со свежими отпечатками пальцев ваятеля на боках, которые покрупнее и менее просохшие — слегка дымились на солнечном припеке. Жирафы держались на заднем плане, чтобы не заслонять от своих собратьев зрелище чудесных диковинок. Все кругом вызывало удивление пополам с испугом, и не было ни одного растеньица, чтобы под листочком у него не пряталась какая-то нарядная козявка или еще помельче пестрый цветущий пустячок. Кстати, судя по единому техническому замыслу все твари были черновиками будущего человека в разных фазах работы — от пробы пера на полях мирозданья до заключительной модели с интеллектом, рассчитанным максимум на возношение хвалы создателю, избавившему ее от бремени мышления. Причем не слышались среди них ни писк и лай, ни рык или блеянье: в начальной стадии все общались пока на схожем диалекте базарных свистулек, и прав все тот же таинственный Синкелл, оспаривая мнение Иосифа Флавия, будто змий говорил с Евой на человечьем языке.

Дело происходило на полянке вблизи небольшого озерца, и пока мимоходом будущий царь природы залюбовался своим отраженьем в голубой воде, женщина вдруг направилась ко мне, видимо, привлеченная моим необычным телосложением. На ее вопрос — что поделываю тут? — я назвался местным садовником и, объяснив ей заповедную неприкосновенность охраняемой яблони во избежание запретнейших потом мечтаний, предложил ей проверить, так ли оно в действительности. Наугад сорвав ближайшее и поморщившись, передала надкушенное яблоко супругу, который проглотил оное в один прием, невзирая на кислятину...

Показательно, что рассказом этим Шатаницкий как бы отрекался от своей нашумевшей книги **Разоблаченная космистика**, где он, разоблачая мистику всех времен и

народов с гипнотизмом во главе и укрываясь от атеизма, блистательно опровергнул собственное существованье как атавистический предрассудок. По всей видимости, потребность поделиться с кем-то воспоминаньем о прошлом, хотя бы перед столь малочисленной аудиторией, и роль очевидца, даже участника библейских событий была ему дороже, нежели провинциальная репутация корифея позитивных наук. Причем то и дело сквозившая ирония над самим собою явно служила ему прикрытием неуместной для падшего ангела ностальгической печали, несмотря на постыдное, пусть жалостью диктуемое совращение юной четы праотцов, ибо какая участь навечно ожидала их в джунглях месопотамского эдема, если бы не грехопаденье! Тогда и был произнесен общеизвестный приговор проклятья, обрекавший людей на кочевое скитанье по безбрежной целине без топора, сохи и прялки и дальше в туман зловещей неизвестности, в котором сегодня просматриваются черты финала, чреватого уймой для человечества непоправимых бед.

— В раю, как всегда, полдень и отменная погода, — теперь уже скорее для себя, чем для гостя вспоминал Шатаницкий. — За его околицей нас встретили сумерки и непогода. По безрукости мне стоило немало труда разжечь костер для дрожавших спутников. Та первая, на пограничной канаве проведенная, долгая бездомная ночь породнила нас. В слезах, голее зверя озирались они на пороге бескрайнего мрака, который им предстояло населить духом своим. И мы посильно помогали им освоиться в мирозданье, потому что мыслящему нельзя селиться в большом доме, не наполнив его весь собою до краев. И оттого, что люди для нас не просто легкая зыбь вещества на пляшущей занавеске времени, мы не растлевали их, когда, не требуя мольбы и ладана, изъясняли им наивную звездную пиротехнику, рассчитанную на младенческое восхищенье дикаря... и вы знаете, какая нас ждала награда!? Пока не сменится оскоминой хмель победы, долгом летописцев почитается на всех памятных документах выкалывать глаза побежденным, которые молчат с кляпом во рту, с мечом в груди. Все годится для их очерненья, потому что прошлое выдерживает любую клевету. Чем? Безумием гнева и ненависти благочестия

диктовался бытующий в народе образ опального ангела, будто сидящий на престоле кромешной тьмы взимает с приходящих к нему дань в размере одной дохлой мыши.

Прикосновенье к огню немыслимо без ожога, и толчком к цивилизации послужило страданье. Подобно тому, как драгоценные камни вызревают в бешеном вскипанье вещества, точно так же из сгустков боли выточены наиболее долговечные трагедии, реквиемы, этапные формулы и прочие лакомства ума. Нет у нас лучшей утехи, чем под вечерок, склонясь лицом, созерцать копошенье человеческого планктона, как они там в мириады усиков, жгутиков, окровавленных рук осваивают плотную мглу... и как потом, уже бездыханные и простреленные, книжными призраками бегут сквозь века с призывом к неродившимся на штурм мироздания, чтоб разбиться о манящее зарево впереди... что почти предугадал ваш Матвей Петрович, ради которого и пригласил я вас сегодня.

Все это было до щекотки странно слушать Никанору. Как и многое другое, сказанное здесь походило на попытку Шатаницкого подправить через студента в глазах мировой общественности сложившуюся репутацию адского владыки как матерого ненавистника людей ввиду близкого, по обывательской молве, воцарения на троне антихриста.

— У меня имеются сведения, — доверительно продолжал Шатаницкий, — что теми же раздумьями о грядущем мучается и оригинальный мыслитель нашего времени, вышеупомянутый Лоскутов, почти разгадавший тайну появления людей. Его открытие в корне опровергает как теорию древних — будто органика завелась в настое гнилых опилок, так и более позднюю, столь же глубокую — о симпатическом влечении атомов и молекул объединяться в микроскопические организмы с перспективным выходом на трилобит, рыбу, обезьяну, Адама... вплоть до великого вождя, который взялся возглавить скоростной, через голову поколений, переброс человечества, и уже без интеллектуальных излишеств, следовательно, без биологического износа, то есть в жизнь бесконечную, чем достигается земное и, как показывают вкрапления всяких букашек в кусках миллио-

нолетнего янтаря, гарантированное бессмертие уже не отдельной особи, а всего вида в его стандартном насекомом существованье.

Сложившаяся у вашего Матвея Петровича нынешняя надкосмическая ситуация настолько совпадает с моими опасеньями, что возникает необходимость заблаговременно совместно обсудить очевидные отсюда роковые последствия для человечества. Вот я и пригласил вас спросить — не возьмете ли на себя... — начал он и оборвал на полуфразе.

Вдруг из-за портьерки позади у них послышались неприличные звуки: как бывает у некоторых тучных особ спросонья — сопенье, чавканье и наконец сопровождаемый стеклянным дребезгом грохот упавшего железного предмета. Это заставило хозяина привстать с вопросительным ожиданьем еще чего-то. Когда же последовало глухое чертыханье на неизвестном диалекте, корифей яростно рванулся в соседнее помещенье на шум, жестом наказав студенту оставаться на месте...

За портьерой в стекле книжных шкафов отражалась внутренность комнаты с нарочито-показным реквизитом классического астролога — внушительный бронзовый глобус ночного неба с нарисованными на нем символами созвездий, непонятной конструкции и неизвестно куда нацеленное телескопическое устройство и в золоченой раме, как оказалось, лишь магам известная, иероглифическая монада средневекового монаха Джона Ди и разная мудреная мелочь для мистической достоверности фальшака, и наконец, на диване в углу громоздилось в лиловато-лоснящемся балахоне до пят вовсе фантастическое существо, кто-то из ближайших сотрудников корифея, приглашенный сюда на расправу. На него-то и устремился хозяин. Однако причиной его раздражения был не валявшийся на полу разбившийся торшерный светильник, который страшилище, потянувшись в полудремоте, задело копытом, а упомянутый мельком дьякон Аблаев, что позволило студенту разгадать подоплеку происшествия. Мощными пассами вжимая провинившееся исчадие ада в глубь дивана, он вдруг, не прикасаясь и без повреждения мебели, проткнул его сквозь стенку наружу, и Никанор правильно расценил устроенный для него

балаган, хотя бы потому, что падение с тысячеэтажной высоты и в зимнюю стужу не сулило Минотавру простуды и увечья.

— Ложная тревога... кошка лампу уронила... — как ни в чем не бывало пояснил вернувшийся к гостю хозяин, искоса следя за выражением его лица — знает ли. — Так на чем мы остановились? Да, речь шла о вашем Матвее Петровиче, которому, намекну по секрету, история готовит поистине всемирно-историческую роль. Так вот по единству наших тревожных с ним предчувствий грозного и совсем близкого теперь кризиса мироздания в целом, я и пригласил вас спросить tete-â-tete — не возьметесь ли вы ради общевселенского блага устроить наше обоюдожелательное знакомство, поскольку и сам священник весьма интересовался моей персоной?

— Вас не смущает, что нынче по уходе из сана он лишь скромный мастеровой сапожного дела без особой философской подоплеки, — озадаченный таким напором, в чем-то усомнился Никанор.

— О, сегодня подоплека эта у каждого таится на уме. У нас найдется, чем ее к жизни пробудить... Однако обывательская молва навечно омрачила имя мое каверзным ореолом... так что, ввиду вполне возможных протокольных препятствий к нашему общению, выбор места и времени встречи предоставляется на его усмотренье. Передайте ему, что он нашел бы во мне корректного, почтительного собеседника. И разумеется, никакого сабантуя: пища мудрых не та, что в уста, а что исходит из уст оных. Как вы понимаете, при моей служебной загрузке и чтобы не торопиться, меня устроил бы выходной день, лучше всего первомайский праздник... — сказал хозяин и напрасно ждал ответа на свои бессвязные откровения, которые Никанор воспринимал как словесную пасту для заполнения пауз в разговорной речи, особенно когда беседа ведется ни о чем.

Естественно, корифей правильно истолковал иронический усмешку своего биографа:

— Теперь по старой дружбе, коллега, раскройте смысл загадочной улыбки во всю ширь лица, придающий дополнительный шарм вашему облику, — сквозь зубы прибавил профессор, уставясь в его лоб под нависшей сверху шевелюрой.

В ответ Никанор поблагодарил его кротко за недвусмысленный комплимент. По счастью, аудиенция подошла к концу. К тому часу благоговение неофита сменилось дерзким сомнением в достоверности поначалу пленившей его музейной старины с ее невероятной сохранностью, словно вся изготовлена была накануне. И объяснялось это не столько обычной эфемерностью чудес, образуемых на куда меньшем количестве координат, чем любая реальность, с той небрежной поспешностью, с какой бессмертные создают их муляжи для профанов, неспособных подметить отсутствие такого наглядного в данном случае сертификата древности как паутина времени.

Между прочим, студент без гарантии успеха обещал наставнику при ближайшей оказии разведать у Матвея Петровича о его согласии побеседовать на главную тему текущей действительности, правда, предприятие одинаково щекотливо для обеих сторон — как для верующего, пусть бывшего священника, так и для выдающегося, партийным доверием облеченного декана в смысле его политической репутации, причем напомнил общеизвестный альянс покойного наркома Луначарского и тогдашнего живоцерковного митрополита Введенского, которые, как утверждает столичная молва, сразу после своих публичных богословских диспутов в Политехнической аудитории чуть не в обнимку и на извозчике устремлялись в ресторацию для продолжения беседы уже в уютной обстановке с умеренным винопитием. Разговор закончился на лестничной площадке, и не успел Никанор уже из лифта произнести для солидности нечто остроумственное напоследок, как дверцы сомкнулись, и кабина бешено помчалась вниз со срамным гулом воды, извергаемой из туалетного бака. На сей раз, видимо, для удобства пассажира выплеснули прямо на улицу, безлюдную теперь: тем временем к сумеркам ясную погоду сменил густой, с ветерком снегопад.

Скоростной полминутный спуск обошелся без дурных последствий, если не считать гадкой тошноты и легкой одури, которая, как всегда у Никанора, уступила место принципиальным раздумьям о случившемся. В частности, зачем понадобилось Шатаницкому приглашать его в

поднебесный к себе апартамент, полный всяких трюков и бутафорских диковин с апокалиптическим быком во главе, — вряд ли с целью угостить безобидного парня экзотическим Еноховым мифом о предвечной ссоре небесного начальства возле покамест глиняного первочеловека или еще более несуразным библейским анекдотом о его же, чуть позже и в райском саду, грехопаденье при содействии супруги... И тут по совокупности изложенных обстоятельств пришел к наиболее правдоподобному выводу, что, возможно, из амбициозных соображений стремясь подправить положенный ему потусторонний, по мере привыкания заметно гаснувший ореол в глазах будущего биографа, корифей решился не только блеснуть, но и малость припугнуть беднягу своим величием в пределах его воображения. Вдруг поддавшись смутному ощущению, будто кто-то из поднебесья, с тысячного этажа, смотрит ему вдогонку, он, суеверно обернувшись, вскинул голову тому навстречу, но как ни всматривался в пестрящую метельную мглу над собою, машинально смахивая талую влагу с лица, так и не усмотрел ничего: ни огня в окне, ни самого зданья, словно сгинуло вчистую, как и следовало ожидать от обычного гипнотического наваждения.

Удобная оказия исполнить порученье выпала уже на следующий вечер после ужина под свежим впечатлением разговора, и почти в том же словесном оформлении, как было выполнено накануне.

— На днях декан нашего факультета, шеф мой, вами очень интересовался, — как бы ненароком, с недомолвкой обронил Никанор. — Ищет случая познакомиться с вами.

— Да ты очумел, видать! — вскинулся на него батюшка. — Ай не слыхал, кто он на самом деле есть?

— Что касается меня, то я, находясь при нем второй год, никаких наличных рогов или хвоста не замечал. Это все слухи обывательские, Матвей Петрович, суеверье одно.

— Так это бесовские регалии у мелкой нечисти бывают, а бывалошные министры при себе не имели полицейскую шашку, которая низшим чинам полагалась для постоянного ношения и в народе селедкой именовалась.

— Неужели вы в мыслях допускаете, чтобы советская власть доверила воспитание молодежи выходцу из преисподни?..

— Так почему не опровергает клевету такую?

— Ему лестно и, видимо, на этой основе рвется к высшему академическому званию. Да чем ее, такую репутацию, опровергнуть? Нынче категория нечистый дух — такая же редкость, как гений — понятие социально-оскорбительное для большинства. Вроде объявишь публично: извините, товарищи, я не гений. А тебе посмеются в глаза — отколь ты возомнил такое. Мы и не думали на тебя, голубчик, что ты гений. Вот и получается двойной конфуз, Матвей Петрович! Кстати, очень высоко он о вас отзывается, как о мыслителе нашего времени...

— Да зачем же я ему вдруг понадобился? — испугавшись подобного сходства, смущенно пожался поп.

— А чтоб совместно обсудить одну сверхидейку, которая в самом зародыше пока.

— Это какую еще там сверхидейку, он не приоткрыл? — глубже увязая в западне, уже вполсилы сопротивлялся батюшка.

— А ту самую, что у вас на уме и которую во избежанье огласки он подтвердит вам наедине. Намекнул только, что ввиду секретности и не откладывая в долгий ящик, учинит ваше с ним свиданье Первого мая, когда все сыскное вниманье наблюдателей будет отвлечено в праздничную сторону. Кстати, крупнейшие праведники древности не гнушались вступать в философские поединки с бесами для посрамления оных в их гадком существе. Ну и каково будет ваше решение?

— Вот уж не знаю, не знаю, щекотно как-то... — оглаживая себе колени, растерянно бормотал Матвей, и уже соглашаясь принять у себя на дому исконного, по апостолу, врага рода человеческого, то есть совершить даже и для бывшего иерея чудовищный акт, тем не менее обязательный, если толковать его в духе высшего пастырского служения. В зловещем нарастанье общественных потрясений под прикрытием пресловутой исторической необходимости явно ощущалась чья-то тайная могущественная воля.

Глава XII

Итак, Никанору Шамину еще и раньше знакомы были эти фантастические, мнимоученые при безупречно-энциклопедической точности импровизации пресловутого корифея, вероятно, тем в особенности и пленительные для мыслящей аудитории, что большинство сообщаемых там сведений относилось к разряду бесполезных, то есть необязательных ныне, а то и вовсе запрещенных знаний. Но если поначалу слушатель чуть ли не каждую фразу лектора встречал вздохом благодарного восхищения за блистательные порою фокусы ума, то уже через полчаса — россыпи пестрых фактов и словесных побрякушек, всегда с оттенком базарного фиглярства и сардоническим подергиваньем губ и глаз — это чередованье обманных ходов и логических зияний начинало действовать, как и всякая качка, погружавшая в гипнотическое оцепененье с некоторыми физиологическими позывами, обычными и при отравлении ложью. Но Шатаницкий обладал опасным даром фанатиков черпать свои доводы из наиболее вразумительных возражений противника, и лучше было молчать с ним, тем более что только непротивлением ненависти можно довести до саморазоблаченья всякую размахавшуюся шарлатанщину. Однако что-то бесконечно древнее, полузабытое людьми, хотя и таилось в основе всех вещей, все сильнее слышалось тогда Никанору в этих своеобразных мистериях, пока из адского, в меловой маске, альбиноса не проступал высокий согбенный и в самой ужасности своей чем-то благообразный старец, ищущий утехи от незаживляемых, потому что непрошенных скорбей в уродливой и беспощадной шутке. Отсюда и рождалось у студента полусочувственное любопытство к его неведомой провинности, покаранной тем самым, что во всех космогониях должно было бы выражать торжество победителей и горе побежденным: бессмертием и мудростью. А там уж не более шажка оставалось до полного оправдания Зла, чего собственно и добивался Шатаницкий... И так как всякий раз потом требовалось по-собачьи сделать содроганье кожи, чтобы отряхнуться от его нечистого очарованья, Никанор заранее изготовился к сопротивлению.

— Как видно, застигшее вас врасплох явление ангела вынуждает меня вкратце, с глазу на глаз, посвятить вас в некоторые предосудительные знания, — сказал Шатаницкий.

— Речь пойдет, милейший Шамин, о стоименном древнем океане, омывающем крохотный островок человеческого сознания с самого его выхода на солнечный свет из пучины. Умственная навигация, хотя постоянно и расширявшая свои лоции, тем не менее всегда зависела от не склонных к шутке, на охрану веры приставленных персон, чьи фантазия и одаренность не простирались дальше уставного догмата и здравого смысла, этого излюбленного компаса посредственности, тогда как конечные истины бытия, не для огласки открою вам, милейший Никанор, начертаны на языке безумия... Наше сожаление прежде всего относится к данной стране, где любая идея в еще большей степени, нежели ее сезонно-укороченное земледелие, в условиях беспощадной континентальности вынуждена бывала вести проповедь с расстегнутой кобурой для сокращения сроков. А то, пока убедишь иного упрямца, глядь и снежок во дворе, а там и до ледника недалеко: все возможно в бескрайних просторах России. Еще неизвестно — басурманской ли трехсотлетней неволей или климатической невозможностью в одно поколение достичь **гор златых** питается пресловутая, со столь жесткой изнанкой, национальная русская грустинка! Сверх того всем великим доктринам, как и мощным владыкам, свойственно посередь пира с ужасом читать огненные письмена на стене и помышлять о неизбежном дряхленье впереди, и тогда под видом отеческой заботы о потомках, как бы во имя сбережения их от заблуждений, они стремятся предписать им свой уклад жизни и тем продлить **себя** в веках посредством заблаговременного истребления всех потенциальных очагов инакомыслия. Так и здешний материализм руководится предпосылкой, что после успешной разгадки некоторых школьных тайн природы ему наперед известен ход вещей и принципиальный механизм прочих стихийных частностей, по нерадивости ученых затаившихся кое-где по щелям **от разоблаченья**. Человеку на всех стадиях его развития, хотя и в обрез, хватало наличных знаний для

объяснения всего на свете... Икающий над только что обглоданной костью косматый предок тоже полагал, что достаточно глубоко освоил окружающую действительность. Но, согласитесь, было бы до крайности противно, если бы все тайны сущего отпирались одним ключом, хранящимся в заднем кармане брюк у текущего, так сказать, мыслителя... не так ли?

Не странно ли, что мы соглашаемся допустить нечто мыслящее инакосущее лишь при условии абсолютного, вплоть до химического, подобия себе... Хотя вместо предписания неведомым мирам своих законов, было бы логичнее выводить последние из взаимодействия их собственных составляющих элементов. Признавая юридически душу во многих гадких, вполне бесполезных человеческих тварях, утверждающий свое бытие ежесекундной гибелью младших и слабейших, род людской, по вполне понятным мотивам морального удобства, отказывает в ней могучим и гордым деревьям или прекрасным, но съедобным животным, хотя бы в пределах разумной траты без истребления. Но почему же, почему, квартируя на такой до банальности ничтожной пылинке, люди не считают пылающие вселенские объекты достойными для местопребывания иной, сознательной жизни? Если обособленная капля остылого и усталого земного вещества, шлак многократных перегонок по тиглям и фильтрам, на полпути к температурному покою смогла наделить своих питомцев способностью самостоятельного движенья, чувства и обмена со средой, то легко представить возможности молодой и в бешенстве своем необузданной звезды... Тут-то и вступает в действие главная, животворящая химия свободной диссоциированной материи. Достопочтенный сэр Вильям Гершель, путешественник по ночному небу и родоначальник звездной астрономии, открыватель Урана и строитель галактической модели, проложивший штурманскую лоцию солнечной системы к созвездию Геркулеса, и прочая и прочая... видимо, по несовместной с титулами склонности к музыке даже подозревал существование жителей на солнце. И, может быть, кому-то **там** термоядерный зной всего лишь расчудесная погода, и в этот самый, тысячелетье длящийся миг где-то там, **внутри**, на раскаленных отмелях нежатся

рыже-пламенные, а то и вовсе иррациональные черные левиафаны, потому недоступные для телескопического наблюденья, что во избежанье простуды не высовываются наружу... В самом деле, что вам известно, студент Шамин, о состоянии материи перед началом и в конце ее далеко неравномерного пробега? Вы все, как дети, тешитесь вашей мнимой властью над материей, которая, притворясь послушной, правит нами по собственному произволу. Что всего обиднее, мы для нее как бы пустое место, потому что ровным счетом ничего не прибавляется при нашем появлении на свет, ничего не убавляется по уходе. Возможно, она даже не испытывает законной гордости, что в одной из ее случайнейших проекций образовался великий кормчий, который не покладая рук ведет нас от победы к победе. Нет, нет, я не совращаю вас в какой-либо возмутительный уклон или, еще хуже, в либеральную философскую секту, насчет чего неустанно предостерегает нас выдающийся соратник великого вождя по эпохе, чей юбилей собираются дружно отметить труженики мира...

— Товарищ Скуднов... — как бы вырвалось из груди Никанора Шамина.

Наставник физически ощутимо поласкал его глазами с головы до пят, также в обратном направлении:

— Рад за вас, что вы предугадали имя, которое я с благоговением хотел произнести... Еще меньше грозит вам сеанс популярной фантастики на тему о кремневосиликатных переселенцах с иных галактик, мне хотелось бы заронить в вас искорку сомнения, с которого начинается критическая зрелость ума. Словом, мы с вами займемся рассмотрением одного из допустимых вариантов бессмертной концепции о бесконечности миров... было бы банально видеть здесь указание всего лишь на обилие планет. Вероятней всего, предполагаются вселенные ядерных недр, полноправные реальности, нанизанные на сквозную и замкнутую... впрочем, не совсем замкнутую магистраль, так как единственно мыслимая бесконечность есть неограниченных размеров кольцо. И кто знает: нырнув в середку атома, не вынырнем ли мы где-нибудь в окрестностях Андромеды? Если представить себе чертеж сущего в простейшем инженерном начерта-

нье, то весьма возможно — все они, атом и туманности, окажутся равными по величине. А обманчивое впечатленье их разновеликости не есть ли явление чисто перспективное, причем с довольно крутым углом сбегания, не так ли? Попробуйте года полтора по часу в день смотреть в обратную сторону бинокля, потом расскажите мне, что получится. Если средневековые схоласты вели такого рода рассуждения об ангелах, сегодня тот же вопрос ставится о вселенных: сколько их умещается на острие иглы? Сместите запятую туда-сюда на полтора десятка знаков в привычных вам размерностях, и вы заблудитесь в лабиринте математической мистики. Вдруг окажется, к примеру, что в наблюдаемом объеме напихана уйма независимых, ни в чем меж собой не схожих, но как бы встроенных друг в дружку сфер обитания: целый сверхкоммунальный дом с бесчисленными жильцами, одновременно выполняющими одно и то же, в сущности, **единое** в смысле материального механизма, тем не менее абсолютно разное, каждое само по себе многоликое деянье. Большое благо для нас с вами, что из-за надежной изоляции мы избавлены от жуткого зрелища, как они там в данную минуту дружно скребут, пилят, точат что-то, творят себе подобных или осуществляют головокружительные подвиги... Хотя, согласитесь, до зуда завлекательно было бы заглянуть через щелку, **как и чем** обозначается с той стороны, **с изнанки**, совершающийся здесь физический акт любви или смерти?.. Кстати, не меньшей конструктивной удачей надо считать и непроницаемость междуэтажных перекрытий для нынешних фанатических реформаторов, в конечном счете и с такой убийственной решимостью стремящихся в наиболее опасной социальной энтропии через благоустроение всего живого по обязательному образцу не свыше их собственного уровня. — Но здесь, как бы устрашась сказанного, особенно на фоне происходивших тогда казней, Шатаницкий кинул на ученика оценивающий взор сомнения — можно ли, стоит ли вводить его в черту последнего и главного впереди, магического круга. — Сейчас вам предстоит услышать странные вещи, Шамин. Признаться, я с самого начала был далек от надежды, что ваш пытливый ум удовлетворится хоть одним из моих домыслов, к сожалению, питаемых скорее интуицией

поиска, чем уверенностью находки. Протяните руку, мой волосатый несравненный Дант!.. На наших глазах строка за строкой, все более краткой и емкой, вычерчивается некая треугольная схема, и, собственно, занятия величайших мудрецов сводились к поиску путей на вершину созерцаемой нами иерархической пирамиды для достижения сущности существующего над сущим существа, без чего нельзя ни истолковать, ни примирить терзающие нас противоречия. Беглый обзор философии со множеством взаимно опровергающих заключений объясняется, по-видимому, разнообразием применяемых ею средств в диапазоне от кофейной гущи до сосания пальца. Отсюда не благоразумнее ли, милый Шамин, для выяснения истины воспользоваться открывшейся вам лазейкой непосредственно в один из верхних рядов помянутой пирамиды с его своеобразным населением, известным нам под названием **ангелы.** Здесь-то и начинается несколько предосудительное для нас с вами знание, почти **чепуховина**, тем не менее имеющая свою историю, некогда составлявшую чуть ли не отдельную дисциплину богословских факультетов и лишь на соответственном этапе умственного развития, где-то между велосипедом и электрическим звонком, надежно похороненную в свалочной яме вместе со всякими флогистонами... Я сам кинул туда же не одну полновесную горсть при погребенье. С тех пор дело как будто быльем поросло, но именно такие заброшенные курганы, рудные или шлаковые отвалы нередко оказывались хранилищем кладов или ценнейших элементов, не известных древним. Все это вовсе не означает защиту отжившего старья, напротив, в нынешнюю пору напряженной политехнизации единственным способом обеспечить хотя бы временно благополучие человеческого множества будет чистка гуманитарно отвлеченных наук с их белыми, нерабочими руками. Юридически расплывчатые моральные заповеди, еще не сменившие жреческих тог и риз на современную партикулярную одежду, успешно вытесняются жесткими параграфами коммунального общежития с реалистической профилактикой преступления без расчета на суд потусторонний. Современному обществу при его нынешних катастрофических скоростях просто некогда

ждать, пока сработает охранительное реле чьей-то совести или даже небесного промысла... Конечно, мы отрицаем ангелов в церковном смысле. Однако по условиям нынешней диспозиции идей у нас нет права пренебрегать той помощью, какую они в надвигающейся схватке могли бы оказать нам хотя бы способностью проникать в любую из соприкасающихся с нами сфер. В вашей молчаливости, сопровождаемой характерным хрустом челюстей, мне слышится благородная борьба противоречивых чувств... Но, подумайте, милейший Шамин, можно ли держать нынешнее философское хозяйство на уровне самодеятельного колхозного атеизма с поношением попов за толстые животы, с ковырянием мощей? Так можно и проиграть: именно наиболее осмеянные заблуждения любят взрываться под ногами у самонадеянных хвастунов. Неминуемое, уже завтрашнее не должно застать нас врасплох, а самые грозные неопределенные предчувствия все чаще вдохновляют буржуазных лжепророков приподымать, как любят выражаться стилисты, **завесу грядущего** по части прогнозов нашей **якобы** непоправимо склеротичной, насквозь изолгавшейся цивилизации с ее **якобы** нигилистическим гуманизмом, где **якобы** на одном полюсе процветает комфорт для бесчестных и расслабленных, на другом же, хрен редьки не слаще, развивается не менее опасный для прогресса в смысле разрушительной социальной энтропии культ слабейших. Мы с вами никому не позволим застращать себя столь примитивной клеветой на исторический процесс, как раз и заключающийся в нормальном чередовании приливов и отливов, в смене уровней и состояний, как учит нас все тот же товарищ Скуднов... не так ли? Напротив, когда потребуется, **в случае чего**, мы с вами смело совершим бросок хоть в самое пекло, не щадя амуниции и не уклоняясь от ожогов. Да, с вашего позволения, я даже первым кинусь, если уступите очередь из уважения к утратившему тонус жизни, одинокому старику. Кажется, Надсон написал чудные строки — как хорошо вспыхнуть мотыльком в пламени свечи — и всё!.. Да и передовая современная поэзия неспроста, нередко в ущерб музыкальности, рифмует **пламя с подвигом**. Нет, мы не попятимся, когда труба призовет нас к делу. И, если храбрые

здешние вояки перед боем надевали чистые рубахи, чтобы на тот свет явиться в опрятном виде, отчего бы и нам с вами не воспользоваться ценным опытом, когда по ходу действия и нам придется предстать перед тем, кого впредь для удобства и предосторожности ради будем называть просто **Главным**? Мировые религии в голос требуют от смертных полной отрешенности от всего земного, лишнего на таких аудиенциях, и, судя по портретам некоторых пустынножителей, небесным протоколом допускалась явка **туда** не только босиком и во власяницах сирийско-фиваидского типа, но для лучшей прозрачности на просвет, просто **безо всего**, чтобы перед Ним ни за что не было стыдно: нагота — праздничная одежда аскетизма! Вот для высшей-то очистки мы и применим всеисцеляющее пламя в массовом масштабе... Нет, не в смысле ритуальных скаканий через всякие там иванкупальные огнища, а в натуральнейшем его жгучем приложении, потому что истинное содержание процедуры не в мысленном отрешении от греховных помыслов, нравственной грязи, или в символическом сожжении мостов назад, к блаженному и покидаемому прозябанью, а в том, чтобы физически раздеться, то есть скинуть с плененной мечты груду рыжей первородной глины, этот мешающий взмаху крыльев горб падали за спиной... Другими словами, на себе самом спалить ветхую свою, всякой нечистью населенную шкуру: **тело**. К тому же столько праведников сгорело на работе и в кострах, что и нам с вами сжечься за передовую идейку да в хорошей компании самое удовольствие, не так ли?.. Этаким факелком заместо кроткой церковной свечки, ибо не в рабском трепете молитвы, а в гордом штурмовом исступленье, так что и боли не почувствуешь. Вы, Шамин, кстати, слов-то не бойтесь: самыми страшными из них нередко обозначаются вещи наиболее скоротечные. Тут для нас с вами самое важное горелым смрадом в шесть миллиардов туш в лик ему шарахнуть... И так как небесный огонек последует, наверно, еще в предполье, сразу после нашего, во всечеловеческом составе, выхода на генеральную позицию, то дело обойдется без излишней трепки нервов, в конце-то концов — и бесполезной атаки...

Последнюю фразу Шатаницкий выпалил на такой зловещей скороговорке, что Никанор так весь и подался к нему с видом растерянного недоуменья.

— Это кого же вы атаковать собираетесь, учитель?

— То есть как это **кого**?... Его же и атаковать, **Главного**, — не на шутку осерчал было Шатаницкий. — Ведь вот память какая стала: центральное-то обстоятельство в моей лекции я и упустил вам сообщить... Да и в диалектическом разрезе самое щекотливое, пожалуй. Воспримите наступивший момент как посвящение в сокровенную и жгучую тайну. Вам на достигнутой ступени необходимо знать, что материалистическая диалектика приобретает высшее свое назначенье в духовном бытии человека, прежде всего в практике воинствующего безбожия. Практический повседневный **атеизм**, как он называет себя для прикрытия своей сущности, правильно видит свою цель в разрушении веры у малоразвитых тружеников, то есть большинства, под предлогом охраны их карманов и душ от нередкого церковного вымогательства жертвенных приношений, в особенности же их внутренних сокровищ. Между тем, подобно пчелиному меду являясь окончательным продуктом всей человеческой деятельности, именно данный товар служит единственным оправданием этого нелепейшего вертящегося мрака, где круженьем гигантских маховиков обеспечивается разбег к органической жизни, венчаемой на крайнем своем этапе человеческой мыслью. Само собою разумеется, высший атеизм, полагающий себя в вольном полете духа, не может удовлетвориться тактикой планомерного государственного кощунства со взрывчаткой для храмов и философской матерщиной в адрес недосягаемых там, вверху, ему не менее противны подлая аргументация в виде револьверного нажима.

В конце концов воинствующее невежество, подавляющее любую мысль, есть низшая степень скотства, пригодная только для хлорной ямы или клееварки.

Да он и не отрицает очевидных, покамест лишь немногим внятных иррациональных истин, подлежащих научному открытию на протяжении ближайших каких-нибудь полутора веков. И если действительно, как сказал один, вроде вас, самодеятельный мудрец, будто разум от-

крывает только то, что душа уже знает, то это будет ратификация здравым смыслом древних прозрений, сделанных при вспышке молнии... Словом, дело у них там почти на мази, и, конечно, всехитрейшее ватиканство снова обскачет своих нерадивых малообразованных сестер, восточные церкви, поднеся **Главному** на золотом блюде догмата наиболее лестный ему эпитет — **математически сущий**... Здешние-то долгогривые вряд ли первыми догадаются. Таким образом, наш интеллектуальный атеизм отвергает лишь юридический статус верховного существа как монопольного производителя света, чем и раскрывает смысл термина как небесного **бесцарствия**. Мы потому и освобождаем общество от непроизводительных трат на воск и слезы с переносом их на умственное вооружение человечества для заключительного своего деяния. Нет, Шамин, нам мало одного безверия, едва ли причиняющего **Главному** хотя бы в блошиной степени зуд, чтобы почесаться. Мы должны разрушить его сомнительную и беспринципную империю, где благополучие богатых прикрывается милосердием к бедным с периодической отдачей первых на резню последним для временного братства и равновесия. Вам надо привыкнуть к положению, что наравне с верой рабского ползучего преклонения вполне правомерна другая неистовая вера непреклонной вражды. Сестрам еще не приходилось вступать в открытое противоборство, но каждому ясно, что младшая — вера зрелости — состоит в более жестоком антагонизме с наивной и всесильной верой детства, чем самый атеизм. Всегда бывало, что как только сезонно опустошенная нива человеческой души становилась пригодной для очередного засева, старшая бесконкурентно поселялась на ней под предлогом всеобщего обновленья, движимая тем спасительным инстинктом страха и надежды, что автоматически включается на краю бездны — на выручку растерявшемуся разуму. Есть основания ожидать, что подстегнутая несчастьями все возрастающей людской численности вера эта ворвется в мир уже на протяжении ближайшего века и, уж наверное, не ограничится одним пуском огонька по старой зараженной стерне. К тому времени подоспеют средства универсального разрушения, когда будут взрываться лунный свет и лю-

бовный вздох, насущный хлеб и детская кукла. Наше с вами дело и будет заключаться в том, чтобы в суматохе всеобщего отчаянья через нагромождение бедствий подменить старшую сестру — другой... Другими словами, через ужас и отвращенье к бессильному или бесстрастному, но только **обманувшему** небу возбудить интерес к противоположному лагерю... собственно то же самое, только наоборот!

— Приблизительно то же самое, что делается сейчас с отцом Матвеем? — тихо переспросил Никанор.

Несколько мгновений Шатаницкий глядел на студента тускло-незрячим глазом:

— Видите ли, уважаемый мсье Шамин, — раздельно и сухо сказал он наконец, — как правило, в больших революциях выдающиеся дураки отличаются от умников своим долголетием... и потому в таком бешеном потоке, стремящемся к своему диалектическому перепаду, не рекомендуется поднимать одиночный парус ума. Не надо приписывать хотя бы и печальную закономерность чьим-то злонамеренным козням. Нет, нам ничего не надо, кроме утверждения некоторых назревших демократических прав, без чего отмирает мышление. И не подумайте, что в безумной резвости святотатства мы руку подымаем на того, чье имя, как видите, я даже не смею произнести, напротив, тотчас после победы, в признание его опыта, проектируется возврат его на прежнее место с единственно достойным в наше время и, что важней всего, безопасным титулом. В сущности я давно хотел посоветоваться с вами, Шамин: не много ли в этом смысле надежд возлагаем мы на так называемых активистов безбожия? Беда в том, что атеизм без высшей культуры есть вульгарнейший, с финкой за пазухой, уличный нигилизм, под конец убивающий самих подстрекателей и наставников. Практикуемый как полное безразличие к вопросам духа среди утех телесных, он дается молодежи гораздо легче веры, хотя полагалось бы наоборот, не так ли?... И потому действителен до первой огненной розги, по слухам, иногда применяемой провидением в отношении нашаливших ребят. В самом деле, зачем портить здоровье по поводу того, чего нет? Поэтому и у старших, если вдуматься, их слишком шумливое безбожие работает как гигантский тамтам под

окном у **Главного**, чтобы — раз уж ни свечи и каждения, ни молитвенный лепет не действуют, выглянул бы хоть на брань и поношенье, пускай, даже в образе испепеляющих молний и хоть бы казнью насытил это, самое древнее из всех алканий на земле. А отсюда все это до дервишества исступленное отрицание не есть ли проявление самовысшей веры, которая в случае безответственности автоматически превращается в свою вторую, уже помянутую ипостась с оттенком мести за отверженность? А ну-ка, признаемся ради самокритики, Шамин, на примере ваших соотечественников, неподкупных гордецов и апостолов знаменитой идеи, которые так усердно и вперебой льнут щекой к голенищам кавказского происхождения... А что, если **Главному** на небесах по неисповедимым его глубинам, как треплются проповедники, якобы мудрости своей да вдруг восхочется пригласить помянутых товарищей в титулярные к себе полсоветники. Все ведь так и ринутся, самые номенклатурные сломя голову, с прытью магнитных опилок к стопам его... не затем даже, что испросить назревшие наконец поправки к очевиднейшим уже несовершенствам людской природы, тем более — к законам ею управляющим, не лекарства для особо страждущих малюток или там снижения цен на продукты, а просто так, лишь бы согреть в его палящем зное закоченелые, скрюченные свои кочерыжки сердец. Вот и скажите начистоту, Шамин, не рискуем ли мы остаться без войска в решающий момент, когда вслед за разрушением капитализма наступит очередь последней цитадели угнетения во имя царства свободы для всех оскорбленных и униженных? Годятся ли они, здешние, штурмовать неприступные твердыни, защищенные безднами глубиною в мириады световых лет? Атакуя храмы, мы атакуем небо, и оттого для передовых мыслителей всегда так аксиоматичен был смысл древней нашей, начиная с Икара, тяги вверх. Да в свете намеченной задачи представляется просто преступным в скептическом ослепленье ума отрекаться от таких потенциальных союзников, как прозревшие ангелы, кстати, расквартированные где-то поблизости от резиденции **Главного**. Прикиньте на глазок, каких делишек может наворочать дивизия молодцов, подобных давешнему — из Корана, помимо

собственного оснащенная предельным, уже зреющим в лабораториях могуществом. Педантам и белоручкам от материализма подобные рассужденья покажутся блудом ума, и только один человек современности понимает, что в предстоящей драке все годится стать инструментом победы. Итак, содрогаясь от ужаса и отвращенья, смело запускайте руку в подставленный вам черный ящик... Такому закаленному бойцу, как вы, не к лицу страшиться измены и преступленья: люди оценят ваш подвиг. Обладающее необъятным историческим опытом христианство в особенности ценит блудных сынов, познавших восторг отступничества и скорбь раскаянья: сломивший спину вторично не оступится. Наше дело — планомерно устанавливать личные контакты, идти на интимное сближенье, учреждать общества дружбы с прогрессивным небом... Несмотря на свою загрузку, я бы охотно возглавил подобную организацию. Впоследствии, когда немножко втянетесь, вам самому понравятся довольно причудливые иногда, на данном поприще, забавки под видом братства и участия. Я спрашиваю вас в упор, товарищ Шамин: что вашему поколению известно о так называемых ангелах?

— Что можно знать о несуществующем, которое всегда лишь зеркало, где каждый видит самого себя? — сокрушенно откликнулся Никанор.

По всей видимости, то была цитата из разоблачительной книги самого Шатаницкого, но почему-то автор выразил скорее раздражение, чем удовольствие, не то что поморщился, но как-то позыбился весь:

— Ну, зачем же, друг мой, впадать в такой беспросветный пессимистический агностицизм! Конечно, досадная нехватка основного экспериментального материала мешает ангеловедению пробиться в семью академически признанных наук... Все же из богословских комментариев и апокрифических сказаний, из **отреченной** литературы вообще можно почерпнуть немало любопытного на нашу тему, а у Дионисия Ареопагита даже приводится обстоятельная иерархическая классификация ангелов, так сказать **табель о рангах**, к прискорбию по схоластической архаике своей непригодная для практического использования в современных условиях. Для нас-то,

убежденных материалистов, гораздо важнее, что в большинстве первоисточники утвердительно отзываются о вещественной реальности ангелов. Нас не должно смущать скудное на первый взгляд однообразие сохранившихся письменных документов: много ли рассмотришь в мире невидимом сквозь толщу монастырской стены? Тем более не пренебрегайте древними свалками памяти простонародной: сколько раз заведомые бредни оказывались золотыми россыпями для пытливого искателя! В частности, Платон из всего небесного сословия только **Главного** почитал бесплотным. В противном случае, логично рассуждал философ, чем бы испытывал **он** радость или боль и **где** умещалось бы **его** сознание? Если в раннем христианстве и возникали разногласия насчет физической природы ангелов, то начиная с Оригена, не без основания критикуемого кое за что св. Иеронимом, как и Тертуллиана, стяжавшего гневные упреки блаженного Августина, церковная теория все настоятельней склоняется к полной их материальности, которую к слову, Иоанн Фессалонийский при поддержке собратьев по епископству на Седьмом вселенском Соборе выставил признаком кровного их родства с демонами. Вас не должно смущать упоминание об этом коварном, по слухам, но куда более просвещенном племени, которого каббалистическое предание как раз и производит из семьи провинившихся ранее и поверженных ангелов. Византиец Михаил Пселл, пользовавшийся трудами бывалого грека Марка, приводит известие об одном **таком** знатном, потустороннем господине, бегло изъяснявшемся пофиникийски, а подобное свидетельство о способности к иностранным языкам позволяет надеяться, в случае особой нужды, на установление непосредственного контакта с ними для самых широких трудовых контингентов, не так ли? Между прочим, св. Иустин в доказательство телесности ангелов ссылается на их фривольные, но, видимо, достаточно успешные похождения с дочерьми человеческими, и, конечно, это очень мило со стороны сердобольных девушек, оказавших внимание и ласку пропадающим на чужбине молодцам, кстати, и недаром. По свидетельству ряда неканонических книг под общим названием **Псевдо-Еноха**, подтвержденному Иосифом

Флавием, от того стихийного, так сказать с налету, брачного сожительства даже народились исполины, ставшие родоначальниками полезных ремесел — гончарного, кузнечного, мореходного и других, этой основы малой цивилизации, поднявшей с интеллектуальных четверенек род людской, а заодно и менее насущных, но доныне процветающих искусств, например — волхвовать, слагать песни, красить брови и щеки, убивать плод в материнской утробе — видимо, по разряду бытовой медицины. Вероятно, в полюбовном угаре выболтали засекреченные сведенья своим красоткам на ушко, что также позволяет нам обогатить нашу будущую, в отношении их вербовочную тактику испытанными средствами обольщения и последующего шантажа... Климент Александрийский столь же откровенно повествует о такого рода ангельских похождениях, когда, нельзя не согласиться с Декартом, без тела никак не обойтись. Отцы инквизиторы во всем прелюбодейном спектре разработали казусы демонского сближения с людьми, и у брата Бодинуса можно найти ценнейшие в этом разрезе варианты и технологические подробности, особенно по части сверхухищренного **инкубата и суккубата**... Охотно дал бы почитать на ночку, кабы в порядке охранения юных мозгов от натуги не освободили нашу молодежь от ненавистной латыни! Вы видите теперь, до какого гадкого мракобесия упало пропитанное махровой мистикой феодальное ангеловедение лишь потому, что занятые открытием Америки, недальновидные предки передоверили церковному старичью эту ответственнейшую отрасль знаний, которая потому лишь и преследуется у нас наравне с развращением малюток. Средневековые процессуальные кодексы против ведьмовства выдают старческую зависть их авторов к ангелам, которые представляются им бравыми ребятами с феноменальными способностями... И все же смертное воображенье бессильно представить крайности ангельского грехопаденья. Дети горних миров не меньше младших братцев, ангелочков земных, падки на самые дешевые леденцы: чем вульгарнее — тем слаще. Небесная принадлежность не освобождает ничто земное от уплаты дани за бытие, подобно командировочным дипломатического ранга, они, оставшись без надзора, мгновенно

постигают вкус и науку простонародных утех. Их строго и судить нельзя: тысячелетьями, из века в век, тянуть в унисон гимны хвалений, отмерять дни тварям на лабазе времени, выдирать присохлые души из старых или пересчитывать волоски в мусорной бороде анахорета, благо ни один не должен выпасть без соизволения **Главного**... поневоле взбесишься! Тем легче представить поведение полного нерастраченных сил крылатого юнца при встрече с этаким танцующим букетом огнеглазых канашек!... Но, значит, любовная ода и покаянный псалом — из одной и той же чернильницы! И тут уместно вспомнить, как величайшие художники чуждались чрезмерных, по крайности, плотских восторгов, надо думать, губительных для всей категории существ, в деятельности своей причастных к так называемому **небесному** вдохновенью, тем более для ангелов с их относительно хрупким, хоть и супернатуральным могуществом, в особенности с непривычки, они скоро вянут и вязнут в земной, несоизмеримо плотнейшей среде, технически говоря, обрастают ракушками и теряют навигационные качества... Постигаете ли вы теперь, мой первобытный отрок, какой арсенал вербовочных средств находится в ваших руках по одной лишь прелюбодейной отрасли — от нормального альковного обольщения с последующим шантажом и до пропитки этой пахучей грязью с компрометацией в глазах начальства!

Милейший Шамин, я рассчитываю на вас. Приблизьте к себе этакого неукрощенного гиганта и обольстите как бы в поиске покровительства, чтобы, растворившись в нем, всосавшись в кровь его и мысли, вдохновить затем на какое-нибудь экстраординарное прометейство, разумеется, украдкой для своего алиби и уведомив о том противную сторону. Узнайте карты тылов противника, схемы его коммуникаций, сведенья о численности и диспозиции небесных гарнизонов.

— Боюсь, дорогой учитель, что вы переоцениваете мои возможности. Какой из меня, в самом деле, обольститель? Держать вас в курсе всех приключений какого-либо пришельца у нас, в старо-федосеевском захолустье, по мере того как буду узнавать о них сам, я могу, а от прочего увольте.

— Что ж, любезный Шамин, вы понимаете, какою картой играете и во что, — с оттенком какой-то даже грусти произнес корифей, и с этих слов и началось уже явное охлажденье между чертом и младенцем.

Глава XIII

Хотя документы у ангела Дымкова выглядели вполне исправно, с первых же его шагов стало ясно, что при его скудных знаниях о мире, куда вступил, он может подобно метеору запросто сгореть в непривычно уплотненной бытовой среде. Из боязни разоблачения, грозившего уймой бедствий, Дуня настрого запретила ему пользоваться своим почти абсолютным могуществом. И оттого все хлопоты по дымковскому жизнеустройству легли на одни ее плечи; и то, отправляясь в Охапково, попросить у его квартирной хозяйки снисходительного внимания к двоюродному брату, утратившему душевное равновесие в затянувшейся заполярной командировке, всякий раз с удивлением — как легко давалась ей ложь!.. — то на скамейке близ катка, сама ни слова не разумея, с отчаяньем поясняла, как могла, великое открытие вождя под названием **второй экономический закон** Сталина, — хотя в сущности его никто не понимал толком, название его могло послужить для Дымкова уликой иного, подозрительного подданства. Из-за навалившихся забот Дуне пришлось пренебрегать учебными занятиями, чего еле терпимой дочке лишенца никак не полагалось. Когда в конце первой же недели истощились скудные сбережения от завтраков и трамвайных поездок, окончательно выявилась непосильность материнской опеки над взрослым, временами своенравным существом, как-то не умещавшимся в Дунином сознании. Она просто робела при нем, потому что с переходом ангела в зримую фазу им все чаще говорить бывало не о чем, выручало лишь присутствие Никанора, занявшего при подружке место советника, равноправного собеседника и, конечно, банкира.

К чести его, при вполне оправданной неприязни, он никогда не унизился до мести своему обидчику — все более осуществимой по мере сгорания последнего

в земной атмосфере; чем беззащитней делался тот, тем убедительней в глазах Никанора выглядело дымковское ангельство.

Впрочем, пока имелось что осматривать в столице, ничто не грозило скорой разлукой, ослабление истончившихся связей Дуня ощутила при посещении зоопарка, предпоследнего объекта в ее списке. Искоса следила за Дымковым, как с видом недоверчивого содроганья и молча обходил он запущенные, наследие прошлого века, приземистые вонючие казематы, покрашенные ходовым в те годы колером сургучного цвета. Озябшие, чахоточные звери вразвалку лежали на полу клеток или размашистым шагом мерили их из угла в угол, но все, все они там, почти как люди, в ожидании чуда, строго и печально смотрели куда-то сквозь стены и железные прутья, сквозь глазеющих посетителей и сугробы чужой страны, греясь воспоминаньями о знойной родине. Теперь все немножко пугало Дуню в пришельце издалека, даже проявленная им симпатия к носорогу — за мрачную его серьезность, оригинальную конструкцию лица и чрезмерный запас прочности — было опасение, чтоб не выпустил узника на волю. Кроме шуток, время от времени Дымков украдкой и недоверчиво оглядывал себя, словно сравнивал **с ними** и убеждался в родственном и, значит, уже необратимом сходстве с младшими собратьями человека, одетыми в шерстяные и чешуйчатые мешки применительно к способу существования. Вечером, в отчетной беседе с Дуней, Никанор приписал ангелу собственное свое удивленье — сколько проб и стадий прошла созревающая мысль, чтобы прозреть однажды, увлажненным взором окинуть окрестность и снова закрыть глаза.

В планетарий на другой день отправились уже втроем.

По ходу лекции, посвященной большому космосу, Никанор неоднократно давал соседу на ухо пояснительные справки, также некоторые из собственных гипотез и, казалось, тот вполне утвердительно кивал в ответ. Когда выходили по окончании, беглый обмен мнениями по поводу только что увиденного показал, что Дымков так и не усвоил ничего. Вчерашняя метель почти прекратилась, лишь последние снежинки роились вкруг фонарей; пользуясь установившейся теплынью, дворники по всей

улице принялись за расчистку, скрежет дружно сгребаемого снова заглушал движение машин.

— Ну, чего же вы замолкли, Дымков? — незначащим тоном осведомился Никанор. — Значит, не похоже, не понравилось?

— Напротив, очень понравилось, только непохоже, — ответил тот и неопределенно махнул рукой.

— Вот вы и объясните нам тогда... как **оно** обстоит на самом деле? — Интонация вопроса заставляла предположить, что и Никанор рассчитывает получить взамен преподанных кое-какие сведения об окружающем нас мире в простейшем его чертеже, что Дымков и попытался сделать, хотя и несколько туманно по нехватке школьного образования.

Оказалось, неожиданно разнообразная осведомленность ангела Дымкова насчет мироустройства объяснялась тем, что по служебной надобности ему удалось побывать далеко за пределами нашего воображения. Однако мельком набросанная им модель сущего не только пугала своим элементарным невежеством, но обидно смахивала на заведомую мистификацию и даже нечто похуже. Среди прочих несуразностей особо выделялось, например, будто в большом космосе нет ничего относительно большого или малого, причем все аккуратно встроено друг в дружку, другими словами, нанизано на общую окружность, а масштабная величина определяется якобы иною здесь перспективой удаленья. Отсюда подтверждалось, что в случае безграничного погружения в недра атома можно через анфиладу вселенных выйти на точку старта. В свою очередь при такой организации пространства не одно кольцо миров, а множество их, взаимно и во всех направлениях пересекающихся, образуют некую, скорее силовую, нежели материальную, пористой структуры, вроде мыльной пены, и еще никому не известной формы сущность. В довершение явной ахинеи Дымков сказал, будто так же обстоит и со временем, ибо, помимо здешнего, сейчас имеется не только микровремя, в более мелких дозировках которого разместились целые эры, эпохи и периоды с империями, династиями, цивилизациями вовсе никому пока не ведомых жителей, при помощи сходных с нашими телодвижений осущест-

вляющих свою великую историю, но и макро — где в одной из секундных долек угнездилась отведенная нам вечность. Все это время Никанора не покидало тягучее, томительное недоумение — как, пусть даже у ангела, после случайной, видимо, командировки в запредельность могла возникнуть при внешней стройности столь сложная и оттого похожая на добротно сработанную легенду схемка мирозданья?

— Ну, раз вам посчастливилось побывать на окраине нашего родного мирозданья, то как хотя бы оно выглядит снаружи: твердое или синее, жгучее на ощупь или волокнистое, с пупырышками или продолговатое?.. — с иронической ухмылкой он перечислил ангелу наугад самые дразнящие варианты и, ввиду наступившего молчания, поспешил смягчить свою выходку. — Вам-то самому по крайней мере понятно сказанное?

— Не совсем... Нам, ангелам, тоже невнятно — к чему эта безумная по сложности махина сущего, — по-детски кротко признался он, — но прежде давайте я наглядно нарисую вам, как чередуются основные их этапы каждый раз с переключением от плюса к минусу и наоборот... причем завершающая бесчисленный ряд предыдущих состояний нынешняя фаза бытия длительностью в каких-то полтора десятка миллиардов лет почитается у вас за единственную, потому что в ней получает осмысление и приговор человек во всех его мыслимых вариантах, тогда как имеются циклы высшего порядка, где после стольких огорчений с людьми будут проведены поиски более надежного и равновесного божественного статуса. И кто знает, кому достанется честь сменить людей как не оправдавших себя фаворитов?

Все это было произнесено Дымковым гораздо проще, прозрачней и умней, потому что доставалось ему, видимо, без всяких усилий ума, по природе его ангельства, он даже присоветовал друзьям не увлекаться опасной темой, чтобы не свихнуться с рассудка.

Тут же во дворе, в двух шагах от улицы, припав на колено, он наглядно и почти по Лоренцу, пальцем по свежевыпавшему снежку, изобразил постадийную, как на киноленте, эволюцию вселенной в виде серии почти одинаковых равнобедренных треугольников, незаметно для глаза сплющиваемых за счет убывающей медианы,

вплоть до ее исчезновения. И тогда вся ушедшая вразгон громадина, взорвавшаяся на критическом нуле, совершит молниеносный перекувырк в обратный знак, чтобы, постепенно замедляясь и возвращаясь в прежний статус, мчаться по орбите в новом качестве своего зеркального отраженья. И если с достаточного расстоянья для кого-то сверху, как и отсюда снизу, подобные вспышки в одной и той же точке сольются в равномерное мерцанье, и так как с приближением к финалу время будет убыстряться, а материя соответственно будет утрачивать свою прежнюю реальность, то сведущее лицо по разности показателей смогло бы установить — сколько уже пройдено объектом и много ли ему осталось до очередного переплава.

Простодушные откровения такого рода воочию показывали, что ангел Дымков, по-видимому, и не догадывался — насколько велик километраж уравнения, способного наметить математические координаты его нынешнего адреса в мирозданье. Сверх своей формулировки мироустройства он прибавил сюда и собственные, еще более невнятные соображения о времени и пространстве. Так что околдованные несуразицей дымковских речений с запозданием заметили, как за спиной у них образовалась кучка любопытствующих зевак, в одном из них явно узнавалась сыскная личность, которая, выставив ухо поверх воротника, пыталась уловить потаенный смысл лекции.

То был первый предметный урок, знакомящий ангела с порядками страны, куда он прибыл. Как чуть позже ввела его в курс Дуня, лишь состоявшееся тогда чудесное событие районного масштаба отвлекло внимание сыщика от подозрительных молодых людей, которые в непосредственной близости от резиденции высшего начальства на подсобном чертеже явно обсуждали подкоп под его особняк. Лишь теперь побледневшие старофедосеевцы вспомнили, что через улицу наискосок за высоким забором обитает самый лютый, единственно из соратников неподвластный произволу вождя и потому всесильный временщик тех лет, видимо, обладающий ключом к какой-то сокровеннейшей его и даже в помысле убийственной тайне.

Таких улик вполне хватило бы на преследование по высшему разряду. В ту минуту движение транспорта по

Садовой магистрали было остановлено, — из ворот усадьбы вымахнул личный бронированный лимузин в сопровождении служебного эскорта и вопреки правилам свернул налево, вразрез и против встречного потока помчался во исполнение некоего всемирно-исторического акта. Пока длилось уличное оцепененье, совсем было обреченная наша троица успела затеряться в толчее, что едва ли удалось им без самовольной помощи ангела. У Дуни чуть ноги не отнялись от чьего-то вкрадчивого прикосновенья к рукаву, с чего в те годы начиналась смерть. Дымков впервые после прибытия явственно расслышал шелестящий бег большого кнута над головой, поэтому было естественно заинтересоваться причиной такого всеобщего перепуга, как только оказались в пустынном переулке. Уплотненная буквально в несколько строк, без нотки порицанья, версия Никанора показывает, как иные партийные современники, нередко в канун собственной казни, воспринимали историко-административную подоплеку тогдашнего ужаса: некоторые сами поступали бы также, кабы воли хватило да кровь **не своя** текла. Свидетельские показания и признания подсудимых выдавали почти поголовное участие населения в заговоре против великого вождя, понимавшего, впрочем, что расстрел вряд ли ускорил бы социальные преобразования в России: он как раз приступал к ним по третьему заходу. И в том состояло педагогическое значение системы, что непрестанное созерцание смерти кругом привело к сознанию своей вины перед священной идеей с подсудностью военно-полевому трибуналу, что облегчало исполнителям зачисление в штрафной батальон целого народа, с переплясом совершавшего переход через мертвую пустыню в землю обетованную.

Как раз подоспевший уличный выезд чудовища надоумил Никанора объяснить пришельцу всю тогдашнюю ничтожность рядовой личности в стране, что должно было повлиять на сговорчивость Дымкова в его завтрашней знаменательной беседе с одним обходительным незнакомцем, с ходу определившим специфику предстоящих занятий ангела в его земной действительности. Ввиду того, что внешне благоприятный поворот в дальнейшей биографии Дымкова повлек за собою ряд

скандальных эпизодов, позволяющих усомниться в его ангельстве, возникает необходимость задержаться здесь для выяснения его истинной сущности. По роду прежней деятельности ангела ему, несомненно, доводилось не раз побывать на окраинах вселенной, и потому разумнее всего сравнить изложенные им тогда, возле планетария, показания о ее устройстве с фактическими сведениями, как оно обстоит на самом деле.

Очевидное тут расхождение с учебниками не коренится ли в том, что студент не догадался сразу закрепить на клочке бумаги услышанное от Дымкова, отчего по дороге домой половина улетучилась из памяти, а сохранившаяся успела подернуться налетом отсебятины? Головоломные открытия, которыми сопровождалось приподнятие завесы, излагаются дальше в порядке относительной легкости их опроверженья.

Крайнее ничтожество, за каких-нибудь полгода постигшее ангела, заставляет всерьез призадуматься о нем в смысле его иррациональной достоверности.

По отсутствию классических примет ангельства, вроде летательных конечностей на спине, выяснению его личности может помочь лишь анализ его сущности изнутри. Существу супернатуральному полагается особо проникновенное знание вещей, ускользающих от нашего смертного пониманья, равно как умственный ранг мыслящей особи лучше всего распознается по ее суждениям о наиболее темных при кажущейся общедоступности тайнах неба и бытия.

Таким оселком представляется инженерная схема мироздания, рассказанная мне студентом второго курса Никанором Шаминым непосредственно со слов самого ангела Дымкова, настолько путанная, даже нахальная местами, что распубликование ее в полном виде могло бы бросить тень на книгопечатание. Но как мыслителя средней руки меня подкупила завлекательная с виду простота излагаемой теории — без головоломной цифири и лексических барьеров, охраняющих алтари наук от посягательства черни. Когда-то, платя дань исканьям юношеского возраста, я шибко интересовался всякими неприступными тайнами, в частности, вместе со сверстниками вопрошал небеса насчет святой универсальной

правды, пока не выяснился шанс получить ответ на интеллектуальном уровне поставленного вопроса. И если в школьные годы составлял родословную античных богов и их земного потомства для уяснения логики древних, то позже, на пороге громадной жгучей новизны, в пору крушения империй, аксиом, нравственных заповедей, вероучений, старинной космогонии в том числе, я средствами домашней самодеятельности стремился постичь вселенскую архитектуру с целью уточнить свой адрес во времени и пространстве. В земных печалях та лишь и предоставлена нам крохотная утеха, чтобы, на необъятной карте сущего найдя исчезающе-малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своей болью обитаю я».

Для начала Никанор решительно осудил надменную спесь некоторых наук, чья ограниченность, по его словам, проступает в упорном самообольщенье, будто оперируют они с абсолютной истиной. Меж тем последняя, в силу содержащегося в ней понятия окончательности рассчитанная на весь наш маршрут от колыбели до могилы, не может раскрываться ранее прибытия к месту назначения, откуда мир как бы с гималайских высот просматривается взад и вперед, без границ и горизонтов. Студент даже сделал предположение, что ничтожная, в общем-то, дистанция — от разума муравейного до нашего — вообще несоизмерима с расстоянием до истины. Однако при очевидных изъянах Никанорова предисловия некоторые соображения о характере научного процесса показались мне достойными вниманья.

Нельзя было не согласиться, например, что сознание наше — мощностью в обрез на обеспечение насущных нужд по продлению вида, не рассчитано на полный охват мироздания за явной ненадобностью. Во все века людям хватало наличных сведений для объяснения всего на свете. По той же причине боги, как правило, беседуют с людьми их же языком, на умственном уровне эпохи. Любое мировоззрение строится на какой-нибудь дюжине констант из множества нам неизвестных. Отсюда выявление новых или оказавшихся ложными всегда доставляло понятные неудобства состоящим при истине должностным лицам, в чем они и черпали моральное право на сожжение еретиков... Всплески же большой обзорной

мысли легко возникают среди ночи во исполнение детской потребности окинуть глазом свое местопребывание и, удостоверясь в чем-то, снова нырнуть в блаженное небытие. И никогда не успеваем мы разглядеть толком ни самих себя, ни очертания колыбели, где дремлем. Таким образом, разновременные домыслы о ней — суть лишь собственные возрастные наши отражения в бездонном зеркале вечности.

Неудивительно поэтому, что мирная вчерашняя Вселенная, где благовоспитанные фламмарионовы шарики, арифметично курсировавшие по школьным орбитам, в начале нашего века вдруг сорвались и бешено понеслись куда-то, — кто знает, сколько еще раз предстанет эта Вселенная перед потомками в совсем немыслимой перспективе? Здесь Никанор оговорился, что изложенные им сведения также нельзя считать исчерпывающими, ибо кому дано **ухватить** сущее в его окончательном облике? Если Евклиду нынешнее знание показалось бы бормотанием пифии на треножнике, то какой критерий, кроме пророческого прозрения, позволит нам заглянуть на такие же двадцать пять веков вперед? Всегда бывало, что уже разгаданное лишь частностью в потоке иных реальностей, качественно непохожих на прежние, но тоже транзитных — в направлении к сущностям высшей емкости, пока те, одновременно обогащаясь и упрощаясь по логике диалектических превращений, не станут погружаться в дымку уже недоступного им порядка. Человеческое любопытство с его отстающей аппаратурой узнавания и в прошлом нередко вступало на рубежи, где исследование сменялось умозрением с последующим переходом в поэтическое восхищение, чтобы завершиться благоговейным созерцанием...

По дерзости подобного вступленья с заявкой на право беспардонного вольнодумства во имя пока непознанного следовало предположить на очереди еще одно студентово изобретенье, тоже нулевой научной значимости из-за полной неосуществимости поверочного эксперимента. Ожиданья сбылись, мне предстояло ознакомиться с дымковской версией мироустройства. И если дотоле созданье принципиального образа Большой Вселенной затруднялось недосягаемостью ее для целостного охвата,

то здесь она была усмотрена вся, извне сущего, с некоей сверхкрылатой высоты. По Никанору, для достижения инженерной конструкции предмета в масштабе метагалактики лучше всего по-детски, без догматических предубеждений вникнуть в первичный иероглиф замысла. Самые сложные явления легче постигаются в их детском рисунке. В обратном же направлении производимое исследование потому и обречено на бесконечную длительность, пограничную с непознаваемостью, что до своей обзорной вышки разум добирается по шатким, друг на дружку составленным лестницам уравнений и гипотез с единственным щупом в виде звездного луча. А много ли океана углядишь через прокол диаметром в геометрическую точку? Словом, налицо был тот случай, когда большой науке вряд ли следует из престижной щепетильности отказаться от сотрудничества с **бывалым** лицом даже сомнительного происхождения, чтобы и впредь не таскаться на улитках по беспредельностям космоса.

— Иногда крупица истины служит катализатором системности в запутанном хаосе незнания! — наставительно сказал студент и намекнул, что дымковским ключом вся тайна распутывается в логическую нитку, как бабушкин клубок.

Машина мира выглядела символическим кружком из двух внутри близнецов-головастиков, как у древних китайцев обозначалась структура неразрывного и равноправного единства противоположностей — света и тьмы, зимы и лета, плюса и минуса в данном случае. Соприкасаясь по разделявшей их синусоиде, они сообщались лишь через мощные протоки, стихийно возникавшие каждый раз, когда отбывшие свой век огненные гиганты, с захватом звездной мелочи из окрестностей и закручиваясь на лету, исчезали из нашей видимости, проваливаясь куда-то, но не просто в глубь себя, а в смежную половину на переплав в свою диалектическую ипостась. Иначе, успокоил меня Никанор во избежанье пессимизма, застрявшие в собственных ямах-ловушках светила небесные навсегда остались бы в них, и тогда отведенный нам на жительство прелестный уголок превратился бы в свалку промороженного утиля. На полном разгоне прорываясь в свое иррациональное состояние

сквозь знаменитое табу предельной скорости, материя в тот **мнимый** момент (как бы протестуя против столь невежественного обращения с нею) радиоревом раздираемого Самсоном льва оглашает безмолвие космоса. Кстати, при переходе через нуль подобная метаморфоза должна уложиться в некое абсолютное мгновение, куда запросто вместятся тысячи людских поколений, целые геологические эпохи, что позволяет судить о мимолетности нашего эфемерного существования на шкале космического времени... Значительно расширила мой кругозор ценная студентова догадка насчет звездных могил, которые в действительности не имеют дна, так что слепительные ядра, наблюдаемые посередке разных возрастом и порою все еще вращающихся галактик, суть не что иное, как яростные выплески плазмы по ту сторону синусоиды. Но отрадней всего было узнать про наш любимый Млечный Путь, который не сгинет в неведомых просторах **антимира**, а, напротив, по миновании обязательных фаз эволюции снова станет оазисом прогресса и цивилизации, правда, с сомнительным по части этики и физиологии комфортом в том зеркальном его отображении, которое предстоит нашей Вселенной.

На беду мою, изложение дымковской теории велось так беспорядочно, с частыми пробелами и перескоками с одного на другое, что никак не удавалось мне свести сообщаемые сведения в стройную законченную систему. Будто бы, например, со школьной скамьи известные нам физические законы далеко не обязательны для всех этажей мироздания. Как видно, научно немыслимые бездны с диковинками светимостью чуть ли не в миллион солнц простираются во все стороны. Поэтому, ступенчато спустившись в одну из них и нигде не возвращаясь вспять, можно прямиком сквозь круговую анфиладу вселенных выбраться наружу в прежней точке пространства и времени, от которой еще недавно наука и религия каждая своим кодом вели отчет бытия. Парадоксальная заумь нашей мысленной прогулки объясняется тем, что кольцевой маршрут ее является силовой орбитой атома высшего ранга, повергающего разум в смирение. Словом, в основе сущего лежит циклическая повторность, подтверждающая указание, что все зримое на свете обязано

своим бытием мелкоэлектрическим кубарикам, которые даже ночью крутятся в нас самих, но мы привыкли и не замечаем. И как бы в подражание им целые галактики, невзирая на свою громоздкость, тоже пребывают в непрестанном коловращении. Так что при внешней сложности вся механика Вселенной сводится к заурядному меж двух полярных крайностей качанию маятника, четким пульсом коего гарантируется упругое постоянство, то есть **вещная** прочность машины, а фазовым его состоянием мерится поэтапно-разный возраст никогда не умирающей Вселенной. Тут по невозможности описать процесс во всей его протяженности лектор прибегнул к опыту чисто житейской практики: ежели левое плечо некого единства поднимается, то, по закону коромысла, столько же его с правой стороны опускается. В особенности, говорят, это заметно на примере всякого слишком быстро летящего предмета, когда самая даже ничтожная на старте масса его с приближением к максимальной скорости безгранично возрастает за счет чего-то полностью исчезающего на финише, ибо ничего не может взяться ниоткуда. Нет сомнения, речь явно идет о **времени**, за ненадобностью **перестающем быть** на окраине бытия, по авторитетному свидетельству ангела из Апокалипсиса. Не значит ли это, что именно **оно** явилось той самой доматериальной, сверхъемкой сущностью, из которой излилось все?

В частности, **время** в рассказе у Никанора подразумевалось отнюдь не циферблатное, каким пользуются при отсчете пульса либо для варки яиц, а то абсолютное время античной теологии, обозначаемое именем Хрона, от семени которого произошли стихии, боги, звезды, зародыши всякой живности земноводной. Недаром в равноправной триаде сущего: пространство — время — материя (где, заумно разъяснил студент, первое неправомерно без чего-то в нем размещенного, чья длительность определяется посредством второго и каким образом обе ипостаси являлись бы производными от третьей, кабы сами не обеспечивали ее бытие) — именно оно значилось на первом месте — **посреди**. Однако, начисто исчезающее в перевальной точке, время само должно было подвергнуться немыслимому для реальности сжатию в

математическую точку праматеринской субстанции, которой предстояло из стадии первозданного бешенства выродиться в обыкновенную звездную плазму, чтобы, остывая дальше, вступить в пору плодоношения высших чудес — музыки, мышления и, скажем, моря, для чего, наверное, и было **все** затеяно. Невыполнимая задача вместить обширную небесную движимость в некий взрывающийся шар нулевого диаметра задолго до нас толкала людей на признание надмирной персональной воли. По Никанору же, **заблуждение** разрешается простой заменой одноразового вселенского цикла вечным круженим с постоянной многомиллиардной орбитой. При этом сверхтитаническое взрывное происшествие, почитаемое одними за акт божественного миротворения и принятое другими в качестве отсчетной точки для исчисления возраста Вселенной, на деле только рядовая искра энергетического переключения в смежно-полярный потенциал. А хрестоматийный библейский сказ с привлечением малоизвестных подробностей по Еноху, как оказалось впоследствии, представлялся моему просветителю всего лишь пригодной схемой для наглядного осмысления истории людей.

На ощупь и оступаясь, словно в дремучем Дантовом лесу, покорно тащился я за своим поводырем. Манящие огоньки наважденья, мелькавшие за стволами сказочного обхвата, воочию убеждали в близости желанного клада, который без терпенья не дается никому. Однако колдовская одурь понемногу уступила место робкому сомненью — не дурачит ли меня этот с очевидными задатками провинциальный увалень, из которого его шеф, признанный мастер философского носовожденья, растит пророка какой-то еще неведомой миру, в качестве панацеи ото всех бед, сумасбродной идеи?.. Осведомленный по **Книге судеб** о фантастической будущности своего питомца корифей совершал сие с обязательной при изготовленье адской машинки предосторожностью — самому не взорваться на ней, — чем и объяснялся, видимо, их странный симбиоз. И вообще, с виду достаточно **безумная**, как нынче требуется от научных сенсаций, а на деле ребячий пустячок, дымковская концепция в передаче рассказчика все больше, по мере углубленья в тему,

приобретала отпечаток его подпольной личности, способной завести доверчивого простака в опасный тупик.

Теперь, невзирая на мое стесненное состоянье, студент принялся взламывать общеизвестный тезис иллюзорного, якобы спектрального смещения, обусловленного будто бы не ускорением взрывных разлетающихся брызг и осколков, а меняющимся соотношением возрастающей массы за счет убывающего времени. Другими словами, наблюдаемый эффект **красного смещения** диктуется не пробегом удвоенной, учетверенной дистанции за раз навсегда эталонированный срок, а напротив — один и тот же неизменный отрезок пути преодолевается за укороченную единицу длительности. То есть движение повсюду остается равномерным, но пройденное расстояние исчисляется за меньшее время, стремительно сокращающееся с приближением к финалу. Означенный парадокс уподоблялся у Никанора нередкому в рыночном обиходе усыханию гирек, когда ради маскировки растущей дороговизны снижаются вес и объем товара с прежней ценой на этикетке. Отвергая гипотезу **разбегания** галактик, он в особенности горячо осудил допускаемое кое-где сосуществование разноименных, зачастую перенаселенных живностью миров, которые подобно баржам со взрывчаткой свободно плавают в одном и том же фазовом поле.

— Сердце кровью обливается при мысли о возможных последствиях такого допущения, — с полной серьезностью сказал он, глядя куда-то **вглубь** и как бы созерцая уже разразившийся катаклизм.

— Понимаю... но что же в такой степени волнует вас, милый Никанор Васильевич? — не сдержался я, тронутый его заботой об участи многочисленных жителей, обрекаемых неправильной гипотезой на верную однажды гибель.

Несмотря на те боевые годы, когда все было возможно, ни разу не доводилось мне не только наблюдать, но и слышать о только что столкнувшихся галактиках. И, чтобы вернуть беднягу в русло гражданского оптимизма, я указал ему на огромную, по счастью, протяженность Млечного Пути, так что в случае малейшего соприкосновенья космических объектов местные начальники,

оповещенные о грозящей опасности, успеют без паники наличными средствами уладить дело.

— Ах, вовсе не то, тут вещи поважнее! — отмахнулся он, имея в виду неизбежность жертв в такого рода событиях, и вдруг оказалось, что отнюдь не судьба материнства-младенчества и заслуженных пенсионеров тревожила его, а именно долгая и безаварийная среди стольких сцилл и харибд навигация нашего звездного корабля, немыслимая без верховного лоцмана, нарицаемого у **них** Демиургом мироздания. — А ведь вера в **него** и есть тот опаснейший **опиум** для трудящихся, как метко обозначена она в современной Библии человечества, не так ли?

Он испытующе уставился в меня и, почудилось, даже подмигнул мне как будущему сообщнику в каком-то неблаговидном предприятье. По условиям места и года разговор велся полунамеками ввиду возможных наших разногласий по коренному вопросу — чем именно, помимо паспорта в кармане, отличается обыкновенный кусок мяса от человека? Угадывая коварный финт ходом коня и чтобы не получалось что-либо нежелательное, я воздержался от прямого ответа.

К чести лектора, он охотно соглашался, что покамест дымковская модель мироздания годится разве только для умственной гимнастики и сравнительно с нею концепция Козьмы Индикоплова о Вселенной на трех китах может показаться кое-кому венцом математической смекалки. Однако благообразная и чопорная старина всегда, поворчав немного, почтительно сторонилась перед юной, непричесанной и напористой новизной. Отбиваясь от странного соблазна поддаться ей, я пытался сокрушить навеки главную ересь всей конструкции по Дымкову на манер того, как знаменитые праведники поступали со всякими исчадьями преисподней. Крестом служила известная мне понаслышке и счастливо подвернувшаяся в памяти парольная пропись при входе в святилище современной астрофизики сродни знаменитому Дантову заклятью на воротах ада. То была железная формула о запретности пресловутой **абсолютной скорости** для всего на свете, кроме фотонов да мысли человеческой.

Мою, неуклюжую пусть, вылазку в защиту здравого смысла Шамин воспринял почему-то как личное оскорбленье.

— А не приходило вам в голову, **могучий** ньютонианец, — обрушился он на меня, захлебнувшись словами, — отчего и только ли по нехватке инструмента некоторые мудрецы, особенно с привязными бородами, так яростно отвергают незримую **суть** айсбергов, сокрытую в пучине бытия? Или зачем виднейший из них задавался вопросом, мог ли **Бог** создавать мир иначе? Или ради чего мир стал задумчиво оглядываться на отвалы мыслительного шлака и утиля за спиной?.. Равным образом пассажиру в ракете на той почти роковой скорости с километром девяток после запятой свойственно противиться дальнейшему разгону из страха по инерции при малейшей задержке безгранично разбухшей массы непременно разбиться о самого себя, без чего Ахиллес никогда не догонит свою черепаху. Не бойтесь возможного просчета: лобастые потомки уточнят, утрясут наши с вами неувязки на своих совершенных арифмометрах, приспособят тайну к пониманию малышей. У вас зерно завтрашних открытий о Вселенной, держите крепче, чтоб не склюнул сквозь пальцы какой-нибудь проворный петушок!

...И тогда все сказанное раньше оказалось лишь предлогом для еще более абсурдных обобщений, масштабность коих достигалась посредством необузданного детского воображенья, у кого имелось, разумеется. К примеру, в корне отрицая божественность миротворенья, давность которого даже наукой исчисляется не свыше каких-нибудь двух-трех десятков миллиардолетий, дымковская теория низводила это сверхтитаническое происшествие в разряд проходного эпизода, энергетического **щелчка**, а истинный возраст сущего расширялся до полной непостижимости.

Во исполненья заветных чаяний человечества Никанор высказал твердую уверенность, что теперь уж скоро какой-нибудь отчаянный, Колумбова склада, Прометей сумеет ввернуть крюк в зияющую твердь небес и, на разведку подтянувшись ввысь, начертит для будущих смельчаков план тамошней мнимой пустоты с заветною, в окружении непролетных бездн, **световою горой** посреди,

и на отвесной высоте с подножья, если голову закинуть побольней, станет видна та желанная мечта **всех** изгнанников, Адамовых потомков в том числе, — неприступная цитадель...

— ...уразумели наконец **чья**? — тоном искусителя справился он и опять щурким из-под нависшего века глазком подмигнул мне в знак особого расположенья.

Разговор приобрел чрезмерную фамильярность касательно вещей, вообще-то всуе неприкасаемых.

— ...и даже уразумел, совместно с кем предполагается освоенье этой целины, — на всякий случай поотстранился я от неположенных смертным знаний. — Все балуете меня всякими хитростями, Никанор Васильевич! К прочим в придачу еще одна: загадочный подкоп под резиденцию всевышнего. Не вижу смысла, зачем мне она?

— А его сразу-то и не увидишь, тут глубже надо копать! — посмеялся он на мою догадливость. — Дело в том, что последнее время мыслители с хозяйственным уклоном стали задумываться, к чему атеизм?.. И ежели для него не имеется особых, непубликуемых причин, то стоит ли тратить столько бумаги, усилий и просто государственных **средств** на опровержение чего-то заведомо несуществующего? Вся суть якобы в том, что, вдохновляемый техническими успехами, все резвей становится заложенный в человеческой природе **ген** овладения миром.

Высказанное сопровождалось обещанием будущего светоча Никанора показать мне чуть позже, как печальные и с виду вполне беспочвенные фантазии выглядят в натуральную величину.

— Хотите отправить меня туда, в **дальнюю** разведку? — с тайной надеждой на отсрочку пытался отшутиться я.

— А что же, в походе на розыск земли обетованной нет должности почетней, чем соглядатай грядущего, — сказал он и рикошетом, по недосказанному поводу, резко отозвался о вопиющей беспечности современников в отношении своей репутации у потомков, от которых будет зависеть судьба великих идей. — Судя по почерку, именно у вас получился бы вразумительный, в патмосском жанре репортаж об ожидающих нас бедах, если своевременно не принять мер самозащиты. Правда, ни

подобающей шедеврам вечности, ни оваций читательских посулить автору не смогу... ничего, кроме крупнокалиберного разноса вроде того, что привел вас однажды к нам на Старо-Федосеевский погост. Не исключено, впрочем, что фатальная ситуация разразится досрочно, и тогда возвращаться оттуда станет незачем да и некуда, пожалуй...

— Если так **скоро**, то кому нужен будет подвиг мой... разве только уцелевшим?

— Не уцелевшим, а еще живым! — поправил мою догадку на глазах у меня вдруг повзрослевший молодой человек. — Книга ваша была бы им как прощальный с птичьего полета и за мгновение до черного ветра человеческий взор на миражные в тихом летнем закатце, уже обреченные города Земли. А заплутавшему путнику на исходе души воспоминание о **бывшем** стократ дороже глотка утренней росы в пустыне. Не сопротивляйтесь же, **коллега**... — И выполняя обещание, преподнес мне парутройку весьма впечатляющих эпизодов, наугад взятых из коллекции Дуниных видений и тотчас органично вписавшихся в сюжетную канву моего повествованья.

— Похоже, преуспевающий госстипендиат Никанор Шамин сам верит в реальность этих галлюцинаций? — осудил я преступный в наше время пессимизм в столь масштабном развороте, да еще с инфернальной подсветкой.

В доказательство своей правоты Никанор выдвинул несомненную аксиому, что наше восприятье вещей и событий целиком определяется не только умственным кругозором или психическим настроем наблюдателя, но и состояньем действительности, которая в момент ужаса и поиска норы самоспасенья может представиться ему в самом первобытном аспекте. Благодаря успехам просвещенья, мы даже солнышко разжаловали в захолустную звезду со ссылкой на окраину системы, но кто знает, не вознесет ли его когда-нибудь обратно в ранг сурового и милосердного божества потрясенное сознанье наше? Генеральная перестройка человечества, помимо прочих причин обусловленная все возрастающей теснотою множества, лишь началась на планете и вряд ли обойдется без крупных социально-сейсмических подвижек, которым исступленное людское отчаянье неминуемо придаст

эсхатологическое толкованье. Как бы ни обернулось дело, **все равно** послезавтрашний мир будет решительно не похож на позавчерашний. Отсюда, подобно тому как положенная на **ладонь** Вселенная упрощает постижение мироздания по Дымкову, такую же, пусть условную философскую обзорность приобретает и будущность по Никанору на меркаторской сетке апокрифа.

В качестве компаса для ориентировки в той безбрежной неизвестности собеседник предложил не менее вольнодумную касательно прогресса концепцию, правда, с благоприятной концовкой... Впрочем, вот приблизительная логика его рассуждений. С райских времен люди, как дети, в особенности тянулись к запретным дарам природы, и неспроста народный эпос поручил самой отборной сказочной нечисти охранять последние — не для утайки их от тех, ради кого создавались, а в защиту самих людей от обычных последствий ребячьего баловства со спичками. И почему-то с выходом наук на магистраль самых благодетельных с виду, но обнаруживающих вдруг обоюдоострую двоякость открытий рогатая охрана все чаще стала оставлять без присмотра не только запасенные на черный день склады ширпотреба, но и пульты управления сокровенными механизмами жизни и смерти. И так как нравственная зрелость ныне действующего поколения значительно отстает от уровня его технической оснащенности, то не мудрено, если кое-какие не опробованные на себе находки уважаемых кладоискателей по прошествии времени окажутся пакетом мин замедленного действия, так сказать, сувениром доброго дедушки на рождественскую елку внучатам.

Внезапная подмена ужасной, зато мыслительной версии **мирокрушенья** другою, уже планетарного масштаба, устрашала в смысле пока, но, значит, было **подумано**, если Никанор свернул с главного на колею смежного варианта, и, к стыду моему, поддавшись наваждению момента, я ощутил жуткий холодок чьего-то незримого присутствия у себя за спиной. В свете этой единственно вероятной догадки меня буквально обожгло воспоминанье о моем сверхудачном визите в деканат корифея всех наук. Непрошенная откровенность его подопечного насчет секретов преисподнего ведомства смахивала на по-

священье завербованного в некую вредную авантюру. Иначе, как и в случае моего отказа от сотрудничества, разглашенье хозяйских замыслов грозило серьезными последствиями для нас обоих. Словом, игра зашла в ту опасную крайность, когда следовало выяснить, на кого работает мой собеседник.

К утру наше ночное ощущенье действительности настолько сроднилось, что мы без труда понимали друг друга.

— Не опасайтесь того, что сейчас у вас на уме, — прочел он мои мысли. — Есть основания полагать, что распространенное мнение об **их** неземных возможностях шибко преувеличено.

— В данном случае, — вполголоса, доверительным тоном посредника заговорил Никанор, — стремясь заранее во исполнение надежд снискать симпатии у трудящихся, подразумеваемый господин жаждет любой оказии предстать перед нами в более современном, нежели у Еноха, атеистическом облике вожака, основоположника борьбы с небесной тиранией...

— Ну и пусть предстает: если выдержит! — оборонялся я от соблазна заглянуть на **тот** берег через приоткрывшуюся щель.

— ... простите, я недосказал! — перебил тот. — Только что вы правильно истолковали успех своего визита в контору корифея. Ваше участие сводится всего лишь к публикации новой схемы небесного раскола, которая будет сообщена вам по ходу дальнейших встреч. Все происходит на основе добровольности, без малейшего принуждения, даже напротив! Раскрытая в ключе наших с вами предпосылок лоскутовская эпопея вывела бы читателя на простор закосмических обобщений и при достаточно искусной мотивировке сработала бы в плане избавления его от болезненных разочарований.

— Хорошо, — мысленно поскрежетав зубами, согласился я выслушать соблазнительное для автора предложенье. — Пожалуйста, если не секрет, расшифруйте ваш намек!

— Хотелось бы по возможности срочно и наглядно предупредить род людской о генеральной яме на его столбовой дороге к так называемым **звездам**, — кратчай-

ше сформулировал он, предоставляя остальное моей догадке.

— Тогда в каком аспекте... точнее, которая из обрисованных вами ям... та предвечная, или нынешняя глобальная, или обе сразу имеются в виду?

— В том именно, как она выявляется нам сегодня, — отвечал неистощимый путаник мой и в теплых словах, несколько туманно пожелал человечеству успешного сопротивления любым козням зла.

В итоге получалось, что хотя по миновании бурь и ям ждет людей единственно спасительная эра без сорных профессий и потребностей, также без порочных мечтаний, некогда служивших дрожжевой закваской при вызревании великих творений духа, — пусть даже эра вовсе беспамятная в плане большой истории, которая всегда писалась черными и красными литерами горя народного, эра некоторого измельчания, обусловленного необходимостью разместить любое стихийно возрастающее множество в некоем постоянном объеме, с обязательной интеллектуальной и габаритной подгонкой особей, чтобы места и пищи хватило на всех, — все же не следует торопиться с возвращением назад, под крыло матери природы...

— Впрочем, — утешительно добавил Никанор Шамин, — океану не придется делать мучительный выбор, стоит ли ему перемещаться в незнакомое геологически приуготованное лоно...

Похоже, дело сводилось к желанной наконец-то замене низменного, доныне правившего цивилизацией стимула личной корысти благодетельным инстинктом единой для всех судьбы и выгоды — с правом каждого на посильное ему духовное обогащение, разумеется. Равное для всех регламентированное счастье было, по Никанору, достойнее человеческого звания, нежели прежняя беспощадная, из-за угла умственного превосходства охота на ближнего. Правда, это было связано с той неминуемой перестройкой порядком ниже, какою обеспечивается в природе биологическое бессмертие вида, уходящего в свою безбрежную, навеки беззакатную утопическую даль... Короче, здесь особо сказалось генетическое, во имя жизни, приспособление к грядущему бытию, с по-

мощью которого эволюция гарантирует благополучие потомков, взращенных на горькой и жгучей золе отпылавших поколений.

Чтобы вернуть чересчур смышленого юнца в русло благоразумия, я напомнил ему построже, что в суровые исторические времена безобидный прогноз плохой погоды может кому-то под горячую руку показаться клеветой на светлую будущность человечества.

— Вот и жаль, что в повседневной загрузке наши люди не имеют времени интересоваться последствиями совершаемых ошибок, — мальчишески поворчал он и вдруг, смутясь моего пристального молчанья, согласился нехотя, что мы и в самом деле малость отклонились **не туда** от нашей первоначальной темы.

Впрочем, ввиду зловещего облачка, появившегося на современном горизонте, ничто не может снизить важность затронутого вопроса. По всем признакам человечество вступило на переломный порог своего исторического бытия. Коль скоро весь зримый мир пропущен за минувшие века через мысль и руки наши, он является твореньем человека, начертанным на мерцающем экране еще не доследованных стихий, и генетическое уничтоженье наше полностью совпало бы с церковным концом света. В **случае чего** мы угаснем вместе с нашим удивительным шедевром. Иначе допущенье дальнейшего существованья чудовищной вселенской машины, продолжающей свою работу уже ни для кого, способного охватить ее разумом, означало бы признанье других иррациональных реальностей за пределами нашего сознанья.

Не исключено, однако, подобного рода рассуждения покажутся скептикам слишком вольной импровизацией на щекотливую тему. Бывают такие прочные оптимисты — уж ворон бедняге глаза клюет, а он и не чует. Дьявол слишком хитер, чтобы оставлять следы на месте преступления.

Знаменитые пожары прошлого возникали от обыкновенной людской спички, которая сгорала в первую очередь, заодно с поджигателем. Наиболее подходящим предлогом к такому развороту событий, не теперь, так в следующий раз, могло бы послужить подоспевшее, на вполне логическом перепутье противостояние полярных

социальных систем. Все станет возможно в запале, когда элита богачей, встревоженная близостью грядущих перемен, рискнет на отчаянную вылазку с применением адских, высшей убойности новинок, вроде: поджечь океан у берегов противника, либо защитный купол озоносферы, обрушить рентгеновскую бездну на его территорию, словом, собственной головой швырнуть в ненавистную мишень. Легко представить недолговременное счастье знати, отсидевшейся в подземных норах от необратимых последствий катастрофы. Уцелевшие от боли и безумия, они будут сдыхать от крыс, смрада и кровавой рвоты при виде повсюду разлагающейся человечины. Ибо даже для прежней могущественной цивилизации было бы непосильно в пределах санитарной срочности предать земле многомиллионный, по первому заходу укос смерти. Кабы мы, люди, догадались заблаговременно, сложив всю свою поганую взрывчатку промеж надежных горных хребтов, шарахнуть ее разом к чертовой бабушке, то, конечно, малость закачался бы на орбите шар земной. Однако находящиеся на достаточной глубине в шахтных укрытиях ученые-наблюдатели разгадали бы наконец, что не от потопа или голода померли несчастные динозавры, а от чрезмерных для живой твари сердечных переживаний. И присяжные скептики сквозь землю напрямки, в пламенном зените над собою опознали бы личность истинного вдохновителя назревающей самоубийственной эйфории.

...Тем временем совсем рассвело. Сквозь пыльное окошко, затянутое паутинкой с прошлогодней мушиной шелухой, пробившийся лучик высветил в дальнем углу тряпичную, от прежних жильцов, зацелованную матрешку с раскинутыми руками. Потянуло скорей наружу из нежилой тесноты с рваными обоями на стенах и обвисшей с потолка электропроводкой. Выключив свет, мы спустились с заднего аблаевского крыльца отдохнуть под сиренью возле домика со ставнями. В утренней падымке радужно искрилась сизая от росы трава. Без единой соринки тишина располагала к молчанью о предмете состоявшегося ночного бденья, — вселенная! Теперь можно было сравнить дымковский портрет с оригиналом.

Ни промышленный дым из окрестных труб, ни тучка, ни даже птица на пролете — ничто покамест не засоряло зеленовато-порозовевшую над головою синь. Любое мечтанье свободно вписывалось в девственно чистое, без ничьих следов пространство, будто ничего там не бывало прежде. Издревле населяемая виденьями пророков и поэтов небесная пустыня вновь была готова принять еще более сложные караваны призраков, что из края в край пройдут по ней транзитом после нас. И тогда по сравнению с ними модель мироздания по Дымкову, ныне предаваемая огласке в качестве следственного материала к распознанью последнего, покажется лишь примером наивного верхоглядства.

Впрочем, что касается меня лично, то я с самого начала не сомневался в дымковском ангельстве.

Глава XIV

Дружба Дуни с ангелом продолжалась. Он пытался, исследуя степень ее проницательности во вселенной, гнать ее дальше, дальше и дальше, и оказалось, что там пустота. Заблужденье превращается в догмат, догмат в постулат. Когда он толкнул ее чуть дальше, она бессильно заплакала. И хотя он знал, что и бездна вся кишмя кишит левиафанами вперемешку с барракудами и там на сучьях дубов, или на волнах, или на валунах сидят лысые с продолговатыми от ума черепами старцы, которые, как и мы здесь, пытаются разгадать себя — кто они, откуда и зачем, но вся эта перенаселенная жизнью явь — в таком разреженном состоянии, что для нас кажется прозрачной. При очередной встрече с Дымковым Дуня подняла щепетильный вопрос о характере дальнейшей дымковской деятельности. Для начала она справилась, пойдет ли он завтра на работу, но оказалось, что у Дымкова документы оформлены на годичный отпуск.

— Но тогда, по нашим законам вам надо переходить на инвалидность, — горячо и строго, заговорила Дуня. — У нас каждый должен что-нибудь делать. Вот вы уже столько времени здесь, а еще не подумали чем заняться.., а это нехорошо!

— Что именно нехорошо? — нахмурился Дымков.

— Ну всякое безделье нехорошо... особенно на фоне всеобщего строительства. Да и не станете же вы весь год по музеям ходить! Застукают где-нибудь при облаве, вам же стыдно будет ссылаться, что вы ангел, вам можно. Вот мы лишенцы, все одно что вне закона... с нами что угодно делай и не взыщут, но отец все равно шьет обувь для трудящихся, чтобы оправдать свой хлеб. Ведь вы же есть-то будете?

— Мне можно только изюм, — простосердечно сказал Дымков.

— Все равно, не **оттуда** же вы будете привозить ваш изюм! Давайте лучше присядем на минутку... — и сама сдвинула со скамьи, в нише ворот, высокий отяжелевший снег. — Скажите мне, что вы умеете?

— Я могу все.

— Нет, я не в том смысле спросила... и вы не должны тратить себя по пустякам: **это** может кончиться плохо. Я спросила, что вы **руками** умеете. Конечно, надо попробовать сперва, но только по чистой совести вам легкую работу никак нельзя.

Ненадолго разговор принял шутливое направление... По своим рабочим параметрам ангел весьма пригодился бы в каком-нибудь трудоемком производстве, горнорудном, например, где он мог бы, не спускаясь в шахту, выдавать на-гора годовую норму круглосуточно, хотя в таком случае выгоднее возложить на ангела целиком все промышленное снабжение, но тогда как привязать к столь малочисленному коллективу имеющийся профсоюзный, учетно-планировочный и всякий другой **аппарат**.

После некоторых блужданий на ощупь они воротились к проверенной практике **добрых** дел посредством сверхъестественного вмешательства, употребляемого от случая к случаю во избежание нездоровых страстей и вообще развращенья трудящихся: тут самое главное — **чтобы недосыта**. Опыт всемирных религий показывает, что, обязуясь утирать повседневно проистекающие слезы, ни одна не задавалась целью прижизненно осушать их раз и навсегда, ибо неумеренной щедростью легко не только обесценить счастье, но и нарваться на мятеж против Всевышнего вследствие неумеренных аппетитов.

Словом, бесплатные благодеяния, порешила Дуня, надлежит совершать не иначе как под контролем пожилого, то есть практически сведущего руководителя, помимо разума обладающего даром долготерпения, даже небрезгливости к своим клиентам. По условиям подразумевающейся секретности не виделось кругом лучшей кандидатуры, чем старо-федосеевского батюшки. На прощанье условились безотлагательно продолжить беседу завтра же днем в присутствии о. Матвея.

В тот же вечер, когда старик по обычаю поднялся в светелку покрестить на ночь любимицу, Дуня попросила у него разрешения зайти к нему как-нибудь со своим знакомым ангелом для переговоров первостепенной важности. Порывистое обращение, слегка увлажненный взгляд, выдававший предельную душевную разрыхленность, наконец жаркие слова предстательства за все громадное человечество — все свидетельствовало в глазах растерявшегося отца о новой фазе Дунина недуга.

Придерживая за виски ее головку, Матвей долго, испытующе вглядывался в лицо дочки.

— Как, ты сказала, как его прозывают, ангела твоего?

— Просто Дымков... Но ты не смейся, это его здешняя фамилия. И совсем его не стесняйся, когда придет: он и сам стеснительный... но добрый очень.

— О чем же приспела ему охота потолковать со мною, Дымкову твоему?... Я и сам не шибко ученый, из пастушат. Признавайся, небось, добрые дела творить задумали!

— Вот именно, мы хотим делать людям **внезапное** счастье. Пусть понемножку, чтоб без зависти и обиды соседской, только непременно внезапное и сверх всякой положенной нормы.

— Сама по себе затея похвальная, — говорил о. Матвей, сокрушенно опуская взор. — Но ведь если дело **доброе** — значит, справедливое, а справедливое — то, значит, поровну, а коли поровну — враз они привыкнут, а стоит попривыкнуть — вновь за бунт да богохульство примутся...

Он осекся на полуфразе: в нынешнем Дунином состоянии самое худшее было перечить ей, трудностями пугать, охлаждать разочарованием, возвращать к действительно-

сти. Но тут, кряхтя и задыхаясь, Прасковья Андреевна в мезонинчик поднялась к мужу на выручку — узнать о чем шепчутся.

— Вот, Параша, — упредительно и глазами умоляя не волноваться, оповестил ее о. Матвей, — Дуняшка-то наша совместно с ангелом своим задумала благодеяниями людскими заняться, во всемирном масштабе!

— Неплохо, кабы во всемирном-то... глядишь, и родителям чего-нибудь достанется: не обделит? — ко всему готовая тотчас подхватила мать. — Главное обдумать **как и чем**. Скажем, вещевым довольствием через раздаточные пункты, так ведь ежели уцененные товары в ход пустить, никаких средств не хватит!

— Это верно, — поддержал ее о. Матвей, — самые что ни есть златые горы гималайские по ветру в миг развеешь.

— А для нас это не имеет никакого значения, — простодушно сказала Дуня, — на то он и ангел, чтобы брать все это **ниоткуда** и в любом количестве.

— Ну, тогда совсем другое дело... — поспешно кивнул о. Матвей и, тем самым давая дочке свое согласие, поведал матушке о предстоящем визите. — Вот мы вчетвером и обмозгуем ваше дельце.

Наклонившись к лежавшей на спине, он поцеловал дочку в пугающе чистый и прохладный лоб за жар сердца, за ее безвинное страдание; матушка же, со всех сторон подтыкая одеяло, высказала шутливую догадку, что последнее время ангелы не кажут к нам носа из опасения, что посадят в банку для обучения студентов. Однако, спустившись вниз, старики молча переглянулись и, не дерзая роптать на Господа, каждый по-своему вознес ему скорбную и благодатную хвалу, что, хоть и затяжной, душевный недуг любимицы протекает вполне терпимо, без буйных выходок и нередкой в подобных случаях неопрятности.

Собственно для осуществления Дуниных планов требовалось прибегнуть к чуду, и для о. Матвея оно заключалось не в чем-то материальном за счет неба, то есть **дарма** приобретаемом, а прежде всего в самом крохотном, пускай, нарушении цинической логики бытия. Еще в ребячьем возрасте приобрел он мечтательную,

позднее на выборе профессии сказавшуюся привычку — бездумным взором блуждать по небу в чаянии каких-то необыкновенностей, чем неоднократно навлекал на себя неудовольствие, даже побои старшего пастуха; в зрелые годы страстная потребность эта подзаглохла, чтобы с новой силой воротиться к старости. О. Матвей приучил себя к мысли, что всякое чудо представляет собою насильственное нарушение бесконечно стройного, почти кристаллического распорядка в мироздании, так что излечение иного, даже не слишком застарелого ревматизма, например, пришлось бы оплатить поломкой целой галактики, хотя бы и столь отдаленной, что вроде и не жалко. Он примирился на том, что если и нельзя творить чудеса, то можно возместить себе это способностью повсюду видеть их.

Однако, чем дольше в ту ночь лежал он с открытыми глазами, чем больше вслушивался в, казалось бы, надежно умерщвленное, так почему-то и не произнесенное слово, тем сильнее убеждался в его спасительной своевременности для мира, после столь долгого исторического бездорожья, наконец-то вступающего в равновесное, на базе здравого смысла построенное царство. Он и прежде опасался, что с катастрофической быстротой происходящая убавка сего загадочного стимулятора, **чуда**, из духовного рациона людей неминуемо повлечет не только духовное истощение человечества, и по нехватке медицинского образования не взялся бы доказывать в проповедях, что всего лишь двукратный в год нетерпеливой надеждой дарованный праздник, **разрядка радостью**, мог бы ослабить роковое пламя из суеверия не называемого вслух недуга, все сильней раздуваемое ветерком благодетельного прогресса. «На что прочные русские мужички, тем же огоньком занялись, а вот уж помаленьку и незрелая молодежь загорается!» И оттого что даже верующему чудо представляется явлением исключительным, при полном-то социализме, когда все образуется по велению не сомнительного, божеского, а проверенного людского разума, то и не станет никаких в этом смысле нежелательных случайностей — ни пропаж, ни находок, также всякого другого обогащения посредством даров, неправедного наследования либо преступлений, ни пре-

зренного уродства, ни зазнавшейся красоты, ни войн и революций, ни печали и воздыхания, а одна **жизнь бесконечная**... После некоторых событий в семье всемерно сторонившийся политики священник Лоскутов и сам ужаснулся бы, кабы смог понять, своему открытию социальной энтропии.

Он еще и потому не поверил своей Дунюшке, что, не мысля категорию ангелов кроме как в церковном толковании, он по нынешним временам счел бы неприличным появление одного из них прямо сквозь стенку или буфет с посудой, безразлично — в хитоне или радужном сверкании, наводящем панику на домашних, канарейку в том числе. Вообще после некоторых принципиальных перестроек, происшедших в его сознании, о. Матвей счел бы кощунственным самое допущение, чтобы крылатый, отменного здоровья, пусть даже **вечный** юнец позволил себе сиять и красоваться перед нищим и немощным коленопреклоненным стариком. Совсем другое дело, кабы тот догадался переступить порог смиренного старо-федосеевского жилища в партикулярном облике, убеждая в достоверности своей доводами рассудка, а не трепетом парализующего ошеломления. В том и состоял канонический, с отчаянием впоследствии осознанный грех о. Матвея, что, распространяя **демократический** принцип общения на всю категорию **сил невидимых**, он наравне с Дымковым давал право посещения и его прямому антиподу.

Вдруг вспомнились неоднократные, за последние полгода, фото- и радиопредуведомления о чьем-то чрезвычайном визите и новые тревоги окончательно спугнули непрочный стариковский сон.

— Ай тоже не спишь? — заворочалась рядом Прасковья Андреевна.

— Да вот, не выходит у меня из ума Дунюшкин ангел: что за личность такая? Описать нас с тобой, на что жизнь тратим — не поверит никто.

— И я о том же: вдруг и впрямь приведет с ветра невесть кого. А он, глядишь, беглец клейменый окажется!

— Нам теперь, Параша, никак нельзя промахиваться, головой заплатишь... А и что делать-то? В пачпорт к нему вроде не заглянешь, неловко...

— Да я по нонешним временам с Господа Бога моего документ стребую! Я мать, он меня не осудит... — чуть не в голос прокричала, чтоб услышал, и вздохнула.

По свойственному всем гонимым опасению — вдруг услышат и добавят! — она не посмела в тот раз признаться вслух, что **любое** согласилась бы в дом пустить — рай и ад, кабы посулили исполнить одно ее заветное желаньице: напоследок дней свидеться с ненаглядным одним и, несмотря на все пролитые ночами слезы, так и не оплаканным существом... С утра начатый разговор не возобновлялся, но как ни крепилась в продолженье дня старо-федосеевская попадья, чуть посмеркалось — вдруг принялась за приборку в доме, отослала Егора в кино, сготовила наспех дежурную у них селедочку с отварной картошкой, все выглядывала в окно. Не менее того волновался и о. Матвей по мере приближения назначенного часа, к верстаку присаживался время убить, но игла не шла, только руки исколол. Дуня отправилась было с ведрами на водоразборную колонку, чтобы встретить гостя еще в дороге, но странно для столь раннего часа, хоть бы кошка пересекла улицу! Ангел Дымков не появился ни завтра, ни через неделю, даже открытки не прислал, и Дуня с присущей тихим девушкам безгневной болью придумала какое-то оправдание его небрежности, как попозже простила и самую измену — лишь бы не запутался в какой-нибудь сатанинской западне. Месяца через два Дуня услышала о головокружительной карьере Дымкова — имя его в неожиданном качестве взошло на московском горизонте.

Случилось так, что Дымков по Дунину настоянью согласился хотя бы для виду и выяснения обстановки показаться в институте, где был оформлен по документам. Он отправился туда в середине дня с расчетом к вечеру попасть в Старо-Федосеево на консультацию по добрым делам. Сразу опознавшая Дымкова гардеробщица приветливо подивилась его несезонному загару, а девушка за пропускным столом справилась тоном шутливой ревности, не окрутила ли его за минувший месяц какая-нибудь абхазская красотка. Несвойственное научному учреждению оживление наблюдалось в институте. Все сновало кругом, вороха ребячьей одежды лежали на столах и по-

доконниках, а сверху доносился хор писклявых голосов и шестеро лягушат с бантами в косичках глазели сквозь лестничную балюстраду на пристроившийся в углу вестибюля походный буфет, где, оттянув серебряные усы на резинке, дед Мороз срочно впихивал в себя бутерброд с кетовой икрою. Очевидно, после долгого небесного благочиния у Дымкова успело развиться болезненное пристрастие ко всяким зрелищам, порою с опасным уклоном в ротозейство. Едва научившемуся результативно обобщать игру безличного вещества, буквально все у нас нравилось ему не меньше, чем ребенку волшебная смена фигур в калейдоскопе: людской уклад с его бессмысленной взаимно-гасящей суетой представлялся ему самым выдающимся чудом творения. Поэтому, поднявшись наверх, Дымков не пошел к себе в прошлогоднюю пристройку полуэтажом выше, а с вытянутой от любознательности гусиной шеей проследовал прямиком в актовый зал, откуда волнами исходила душная трепетная жара от пылающих, в отмену комендантского распорядка, настоящих свечей и вкусно пахло подпаленной хвоей. Историки будущего выяснят точнее связи Института детского питания с гражданской войной в Испании тридцать шестого года, но только случилось так, что Дымков попал на новогоднюю елку для испанских сироток из подшефного приюта, как раз в антракте праздничного концерта.

Все это чем-то походило на богослужение, да оно и было им. Взявшись за руки, вперемежку с затихшими от удивления малютками, видные научные работники и обслуживающий персонал в карнавальных масках, иные с привязанными бородами, с песенкой двигались в хороводе вокруг разряженной, под самый потолок елки. Отпечаток неизгладимого восторга лежал на лицах ребят, но еще примечательней было, что взрослым дядям и тетям не столько хотелось залечить детскую скорбь, как самим забыть что-то неотвязно шествующее по пятам — даже здесь, даже здесь.

Под елочную церемонию отведена была добрая треть зала, остальные же две, включая тесную галерку позади, занимали ряды стульев с низенькой эстрадой в конце. Через полминутки кончился антракт, и по команде Деда Мороза детвора хлынула на передние места. Чтобы не

перешагивать маленьких, с пряниками и подарками разместившихся прямо на ковре, пришлось отправиться в обход, через боковую служебную дверь; пока пробирался на скамьи для взрослых, сидевший на чьих-то коленях балованного вида мальчик запросил себе апельсин, как у более проворных впереди, завладевших даже двумя, и чтобы унять шум и слезы, Дымков машинальным жестом благотворителя протянул ему еще более спелый и красивый, взявшийся у него прямо из ладони. Заодно, сожалея о пропущенном, он осведомился у доставшегося ему соседа справа, возможно, из отработавших артистов, бритого обрюзглого старика в куртке с кожаными плечами, много ли уже прошло, и тот объяснил, потеснясь, что из всей программы пока выступил только эквилибрист на колесе Семенов, который в позапрошлом году сломал ногу в Казани, акын политической сатиры из Киргизии и еще виртуоз на этом самом — «ну, чем делают дрова».

— Вы, что, из цирка, филармонии?... Не припомню вашего лица.

— Нет, я приезжий... — сказал Дымков.

— Понимаю, самодеятельность... Я сразу увидел, что **аматёр**, потому что сам занимаюсь тем же делом, — по-свойски признался старик и некоторое время затем сосредоточенно глядел в чей-то жирный затылок перед собою, пока снова не повернулся. — У меня к вам небольшое дельце... Если вас не затруднит, то не сможете ли вы сделать и мне один апельсин для больной внучки?

В ту минуту Дымков отчетливо знал, что тот отродясь никакой внучки и не имел, но ему уже мешала жить на земле эта гадкая, по счастью быстро отмиравшая способность.

— О, у меня много, пожалуйста! — сразу откликнулся он, однако из бессознательной предосторожности достал ему обещанное уже из кармана.

— Хочется порадовать одинокого ребенка, — сказал старик, со всех сторон оглядев полученное. — Но тише, тише... мы срываем детям удовольствие!

На них зашикали с обеих сторон — молодая женщина в чем-то тугом, шелестящем и черном до полу пела про храброго зайку, отстоявшего от прожорливой четы медведей посеянные им для зайчат четыре грядки сахарного

горошка. В паузах музыкального сопровождения ноздри ее чуть раздувались в напрасном ожидании успеха, которого не было, как если бы выступала в яслях для грудных, и видимо, по несоответствию песенки и надменной, без толку пропадающей красоты исполнительницы.

— Несчастная... — внезапно обронил Дымков, — и сама не знает, какая она несчастная! — Когда же ушла, награжденная недружными хлопками, спросил не без удивленья, кто же она — такая несчастная.

Сосед смерил его взором презрения со лба по крайней мере до колен, насколько позволяла теснота:

— Если вы не врете, что приезжий, то вы приезжий с луны. Плюс к тому же красавица перед вами Юлия **Казаринова**, звезда будущего кино... Но вы в самом деле приезжий?

Заодно, смягчась раскаянным видом Дымкова, он обратил его внимание на очередной номер, якобы подготовленный в студии под его личным руководством... Несмешной повар в колпаке стал готовить обед, но в корзинке оказалась всякая несъедобная живность: змея, ворона, ящерица и под конец такой драчливый, не влезавший в кастрюлю петух, что его тут же пришлось разменять на десяток яиц, из которых, едва залили водой, вывелись мыши, не очень белые по причинам частых, на каникулах, сеансов; дети сочувственным молчанием проводили неудачника. В намерении повеселить скучающую аудиторию Дымков и совершил свой неосмотрительный, сверх программы, даже роковой для него поступок.

Эпизод произошел во время выступления некоего Хималаева, покровителя местной самодеятельности и чего-то вроде кандидата соответственных наук, который во имя международной солидарности откалывал на подмостках танец журавля, прищелкивая подошвами и картонным, на бамбуковой основе, клювом. К самому концу, когда исполнитель сделал пару потешных **па** из русской полько-венгерки, прямо сквозь занавеску просунулась внушительная голова с кривым, близ самого носа расположенным рогом, встреченная общим оживлением зала, — мутный зрак в складчатой глазнице и убедительное утробное воркотание выдавали исключительное мастерство артиста. Большинством это было

понято как вступительный трюк обещанного в программе номера **трансформации**, состоящий в мгновенном преображении под разных знаменитых деятелей: по-видимому, применительно к юной аудитории предстояла звериная галерея. Уже в следующее мгновение восторженное ликованье детворы сменилось криками ужаса среди взрослых, когда, поднимая сорванный занавес, на эстраду поднялось неуклюжее, в полуброне, чудовище и оглядело зал, шумно втягивая воздух.

Замечено было, что, проходя мимо, загадочный зверь подмигнул ребятам, которые стоя проводили его дружными рукоплесканиями в артистическую, где он тотчас же, по миновании надобности, исчез.

По невозможности приемлемого материалистического истолкования случай на детской елке, как и некоторые подобные ему впоследствии, не попал в газеты, а с администрации была взята расписка о неразглашении, но собранные на неделе, по свежим описаниям очевидцев, приметы зверя позволили отнести его к семейству непарнокопытных. По уточнению одной на вечере оказавшейся учительницы-биологички, чуть позже негласно допрошенной специальной авторитетной комиссией, как-то слишком быстро прибывшей для расследования чьей-то неуместной на детском празднике шалости, виновником переполоха был половозрелый, по счастью карликового размера экземпляр индийского носорога, **полупанцирный бадак**. Некоторые отклонения от классического типа, вроде не свойственной виду вертикальной полосатости, отнесенные за счет подавленного психофизического состояния свидетелей, объяснялись неточным дымковским воспроизведением виденного накануне в зоопарке, а именно косвенным наплывом впечатлений от смежных обитателей, что говорит о далеко не фотографической памяти даже у ангелов.

С нескрываемым неудовольствием животное обнюхало аккомпаниатора, который, вместо того чтобы исполнять зарисовки, в причудливой позе лежал близ своего инструмента, затем под ужасный треск проминаемых досок спустилось в зал, причем якобы подмигнуло совсем не испугавшимся детишкам и по образовавшемуся среди зрителей коридору тяжело проследовало в противопо-

ложную дверь в буфет, где свободный персонал занимался исследованием колбасно-водочных изделий; и, едва ступив на порог, сильно поредевший атмосферический феномен бесследно исчез. Лишь довольно стойкий, совсем не инфернально-серный, а всего тухловатый, пополам еще с чем-то таким, запах в течение трех дней напоминал о происшествии.

Сразу весь зал загалдел и поднялся, как потревоженный муравейник, и вспомнив Дунин наказ нигде не применять свои способности, ангел уже не посмел уйти невидимкой.

— Вы видите того товарища в углу с напоминательным выражением лица. Он смотрит в нашу сторону. Срочно спускайтесь в раздевалку, здесь будет нехорошо... — вполголоса приказал Дымкову давешний старик и слегка подтолкнул его, растерявшегося, в служебный проход. — Ждите меня у входа...

Когда выяснилось, что пострадавших нет, он, как ведущий программы, громко призвал всех поблагодарить неизвестного шутника за несколько рискованный, хотя и **оригинальный иллюзион**, потом по его жесту бывалого трибуна детишки тоненько провозгласили троекратное **ура** за то, чтобы вечно не затухал факел освободительной борьбы против колониализма. Сам же, едва музыка покрыла его слова, отправился на поиск исчезнувшего соседа. Непостижимым чутьем угадывая оптимальный вариант, он вместо вестибюля двинулся в глубь институтского коридора и вдруг, как и иные кончиками пальцев берут муху в полете, толкнул отошедшую дверь предпоследнего кабинета... По ту сторону улицы сияли транспаранты вечернего кино, — в потемках дымковский силуэт четко рисовался на дешевой до полу шторе, а по включении света под нею обнаружились и грязные мужские башмаки. Хотя охотник понимал, что игра велась с огнем, он опять не пошел прямо к тайнику, а принялся заглядывать за шкафы, даже в корзины под столами с целью довести жертву до расслабляющего волю сердцебиения. И значит, неизбежные перемены уже наступали в ангеле, если вполне человеческое заслонило более грозные и действительные средства сопротивления.

Для охотника выгоднее было, чтобы все созрело без понужденья.

— Куда же он тут спрятался от жалкого старика, хитрый шалунишка? — притворно горевал он, присаживаясь на стул посреди, спиной к находившемуся за шторой, и тот хоть и понимал, что уже открыт, вовсе теперь нельзя стало выходить самому, чтобы не признаваться в стыдном и беспричинном мальчишестве. — Или мы так и будем сидеть до утра, когда придет комендант с кобурой у пояса и возьмет нас двоих за жабры?

— Ну, хорошо, положим, я здесь... Что надо от меня? — вполглаза выглянув из укрытия, вызывающе спросил Дымков: именно виноватая развязность его и означала сдачу.

Старик встретил его укоризненной улыбкой:

— Ах, вот он где, разбойник... Ну, идите же сюда. Скажите, вас мама никогда не учила, что надо говорить при виде старших? Так вот, зарубите себе: мне от вас ничего не надо, кроме немножко побранить плюс к тому, чтобы вы со мною ничего не боялись: я **там** все устроил, но не ручаюсь во второй раз. В общем тогда получилось неплохо, если бы что-нибудь помельче, но о многом мы должны еще поговорить.

— Но у меня нет времени... — стал упираться Дымков. — Мне пора уходить, меня давно ждут...

Новая неприятная черточка появилась в лице старика:

— Вы все еще не знаете, что ждет тех, кто вас ждет, если узнают, чего вы натворили... но не в этом дело. Весь вопрос — где? — И в самом деле, **такого** рода переговоры лучше было вести при запертых дверях, но квартира старика помещалась далеко и не было надежды поймать такси на исходе рабочего дня, а надо было без промедленья закрепить достигнутое **качество** игры.

— Дело в том, что я еще не обедал: то министерство, то студийные экзамены плюс к тому художественный совет... но вот я решил: мы пойдем пить кофе!

Старик протянул руку и магическим жестом, словно склюнул, ухватился за пуговицу на дымковском пиджаке, отчего тотчас странное оцепененье охватило его владельца. То был испытанный, в коммерческой практике на юго-западе старой России зародившийся способ воле-

вого порабощенья клиента, и заключается он в попеременном кручении обреченной пуговицы в обе стороны с попутным потягиванием на себя, что последовательно вызывает у неподготовленной жертвы сложную гамму ощущений от тревоги до уныния с переходом в безнадежную меланхолию и, наконец, завершается вспышкой исступленного и бессильного бешенства, в которой и сгорает сопротивление, мешавшее заключенью выгодной сделки. Единственная защита состоит в ответном отвинчиванье того же самого у противника, о чем Дымков по земной своей неопытности не знал.

— Я же сказал вам, что и без того опаздываю... — подавленно бормотал Дымков, сверху вниз косясь на чужие, проворные пальцы, шарившие, казалось ему, в самом животе. — Мне уже пора ехать...

— Вам никуда не надо ехать, чтоб не поехать в ту сторону, куда добровольно никто ехать не собирается, — безжалостно заговорил ужасный старик. — Плюс к тому мой вам отеческий совет — сделав что-нибудь нехорошо, зачем стараться, чтобы было еще хуже?.. Но не в этом дело. Вам безумно повезло, что попали на человека, который везде ищет выручить молодое дарование из беды. Моя фамилия Бамбалски, польский игрек на конце, потому что наполовину итальянец!... Вижу — вам это ничего не говорит. Вот еще одна веская улика для следователя, что вы подозрительно издалека. Но друзья зовут меня просто **старик Дюрсо**... тоже нет? Теперь я вижу, что вы действительно приезжий. Нельзя выдавать себя на каждом шагу: я уже стар и не всегда сбоку у вас, чтобы выручить, будет находиться Бамбалски. Наверно, раздевались внизу?... Тогда пошли. Только не бегите: у меня одна нога профессионально короче другой, но плюс к тому плохое сердце.

Глава XV

Испытывая прочность плененья, старик Дюрсо не только пропустил вперед затихшего Дымкова, но и дал ему выйти наружу без себя, сам же некоторое время наблюдал за ним из-за дальней колонны, как тот прогуливается

взад-вперед в своем летнем пальтишке, удерживаемый на месте прочной паутинкой деликатности. Погода сменилась морозцем, сжигающий сквозняк гулял в колоннаде и приходилось ежиться, колотить друг о дружку стынущие ноги, потому что одежка почти не грела старика. То был сохранившийся от последней ссылки, на каком-то бывшем меху, однако незаменимый по количеству секретных кармашков, укороченного типа **полпердончик** в ироническом просторечии друзей; хотя после недавней встряски личная его жизнь налаживалась понемногу, старик Дюрсо не расставался с ним, чтобы не разнеживаться на случай повторения кое-каких эпохальных невзгод. Слезящимися на ветру глазами взирал он на нового знакомца, величайшую находку жизни, внушавшую ему смутные и радужные надежды, которые еще утром оставалось возлагать на другую, более решительную избавительницу от земных несчастий, и теперь самообладание покидало его от страха, что опять все рассыплется прахом от первого же прикосновенья. Часом позже, уже в кафе, когда удалось подзакрепить их странные, бездоговорные отношения, старик Дюрсо долгой отлучкой на телефон предпринял вторичную дымковскую проверку: совсем было погасшая, буквально из пепла возродившаяся мечта отыграться за все былые пораженья требовала особой уверенности в инструменте реванша. И конечно, в тот кратковременный период, пока неба в нем было больше, чем тела, Дымкову ничего не стоило мановением бровей смахнуть любое препятствие с пути, и непротивление натиску смешного астматического старика объяснялось отнюдь не бессилием или напротив боязнью за свое почти безграничное могущество, которому негде было размахнуться в земной тесноте, а только категорическим Дуниным запретом — ни при каких условиях не раскрывать людям своего инкогнито, чтобы самим себе во зло не применили этой тайны, как уже получилось со всеми прочими в прошлом.

— Хэлло, вот и я, — сказал старик Дюрсо, появляясь как из-под земли, — еле нашел свою доху. Пять минут ходьбы, и мы на месте. Через переулок было бы короче, но перегорожено стройкой, а знакомый прораб в отпуску. И вообще считайте, что вы родились под счастливой

звездой. Мне удалось для вас отложить одно важное денежное дело, чтобы выделить весь вечер на наш разговор. По глазам вижу, вы тоже не успели закусить, а голодный циркач совсем никуда не годится. Я потому так твердо говорю, что вижу ваше будущее, которое у нас в руках. Внимание, тут под снегом починка мостовой, чтоб не хромать, как Бамбалски. Теперь еще проходной двор, и мы дома в том смысле, что директор кафе мой знакомый, где всегда можно иметь в кредит горячее безопасное питание. Даже представить себе не можете, как я вам завидую, что мне в ваши годы не попался руководитель такого профиля, как я... и тогда, может быть, старик Дюрсо обошелся бы без сломанной ноги. Я не жалуюсь, потому что арена есть такое место, где падают, но у меня другое, у меня лошадь, что в сущности то же самое. Мне не нужно, чтоб вы плакали над моей судьбой, и вообще ничего не надо, потому что, во-первых, взаймы у вас нет, а во-вторых, я от незнакомых принципиально не беру. Не обижайтесь, но мы живем в такое время, когда можно легко попасть в историю, то есть превратиться в белый порошок. Деньги меня абсолютно не интересуют, все равно на них ничего не купишь, а что касается из-под полы, то у меня опыт, и я лучше подожду. Но если мне действительно от вас что-то хочется, то чтобы вы благодарили меня всю жизнь. Но не в этом дело! В жизни у старика Дюрсо, кроме постоянной койки, осталась одна мечта: это чтобы каждое представление сидеть на **местах**, глядеть на манеж, плюс к тому нюхать застарелый спирт конского пота. Наконец, гремит галоп и выбегает молодое дарование в юбочке, влажная рябая кожа от волненья, цыпленок... Но теперь у нее никого нет на свете, кроме меня, и я шепчу ей глазами: «...кураж, дочка»... Но опять же не в этом дело! Если только не в подвале с железным окном, то я не боюсь смерть. Мне не нужна роскошная кровать и вокруг с нетерпением ждут похоронить заграничные родственники. Я хочу упасть лицом на манеж в те вонючие опилки, потом вздох и все!.. Но вы не глядите, что старик Дюрсо плачет, как только начинается об этом. Он не виноват, что родился под хрип шарманки, когда шло второе отделение. Интересно, я был тогда совсем ребенок, но иногда мне до боли слышится эта ме-

лодия... не Вивальди, не Бах, но что-то еще сильнее! — И не давая спутнику передышки на раздумье, он фальшиво напел ему несколько тактов. — Цирк моя стихия, и я его верное дитя... только нелюбимое.

Всхлипывающие нотки в голосе заставили Дымкова беспокойно покоситься в его сторону, но, значит, переживание происходило где-то глубже: ни слезинки не виднелось на поверхности.

— Цирк, я еще не слыхал такого слова, — неуверенно поинтересовался Дымков, и в самом деле, эта столичная достопримечательность выпала из списка общеобразовательных Дуниных мероприятий, потому что по случаю школьных каникул всю неделю нельзя было попасть туда без особого знакомства. — Что такое цирк?

— Терпение, не торопитесь, всему свой срок, тем более, что мы уже у цели. Осторожно, здесь плохие ступеньки вниз, особенно для хромых и близоруких. И немножко запах при входе, но я нарочно не веду вас в большой ресторан, где дорого и долго. Делового человека подкупает в таких скромных столовых, что можно на ходу, плюс к тому исключительное семейное тепло. И в раздевалке настоящий рогожский старовер, исключительный по бороде... вот он сам! Привет тебе, Иван Иванов... — дружественно кивнул он, и видно было, что этим условным обозначением он оберегает свою память от засорения. — Тише, ты же мне вывернешь руку. Нет, я еще не забыл: непременно устрою конкурс по бородам, и ты у меня получишь первую премию. Нас двое, но можно вместе на один гвоздь. Как внук, сыпь еще не прошла? Что делать, в этом возрасте все дети любят корь. Совсем забыл, мы же не виделись полгода. Нет, лучше без номерка, я их теряю... Минутку, я загляну сюда, здесь ли директор. — Мимоходом он постучал перстом в угловую, до потолка застекленную конторку, где виднелась утонувшая в кресле и газетой заслонившаяся от мира массивная фигура. — Ты еще здесь, несимпатичный Давтян?.. Тебя еще не посадили за твою вредительскую ноголомную лестницу, старый саботажник? Не порть себе глаза, а лучше взгляни и зачти мне авансом, что я привел к тебе первому показать будущую знаменитость.

Хозяин даже не шевельнулся и в обмен на приятельскую любезность выказал умеренное, с оттенком разо-

чарования, удивление, что тот еще не погиб где-нибудь под забором. Давтян оторвался от газетного листа, когда гость по самые плечи просунулся к нему в служебное окошко.

— В самом деле, где ты пропадал раз-два-три-пять-семь, — посчитал он по пальцам, — целых восемь месяцев?

В ответ старик Дюрсо принялся описывать с красочным юмором бродяги свое последнее горестное приключение, правда, сохранившее его от очередной высылки в местность с суровым климатом. Случилось оно в разгар кампании по очистке столицы от социально-вредных элементов и началось якобы с того, что, проснувшись среди ночи, старик обнаружил свою каморку в наклонном положении над пропастью. Держась за стенку, чтоб не вывалиться, он стал бегать на кухню за водой и успел целых четыре ведра вылить на пол для проверки действительной покатости, когда же поднял голову, то соседние жильцы в одном белье глядели на него с порога недоверчивым взором.

— Ну и что? — спросил Давтян.

— Так знаешь, на что пустились эти подонки, чтобы присвоить жилплощадь беззащитного старика? Они сообща надевают на него смирительный мешок и по зимнему холоду тащат на просмотр Ганнушкину... Ты еще ничего не слышал про этого старика?... И не надо! Знаешь, довольно уютно и мягкая мебель, но не с кем поговорить. Пришлось два месяца убеждать, чтоб отпустили на поруки...

Поразительно, что рассказ старика Дюрсо нисколько не тронул очерствелого директора. Он только осведомился, все еще поверх газеты и в третьем лице, что нужно от Давтяна этому несусветному босяку, на что последовал встречный вопрос, найдется ли в его вертепе уголок для приличных людей потолковать наедине.

Гостям отвели тесноватую, зато с мягкой мебелью каморку, из стенного шкафа при царизме переоборудованную в чудесную бонбоньерку для привала особо непритязательных избранников. Золоченым шнуром перехваченная портьерка отделяла ее от общего зала, интеллигентные львы и пальмы красовались на пятнистых непросохших

обоях, и если пренебречь кисловатым запахом клейстера, трудно было подобрать более конспиративный уголок для секретного сговора или кратковременного блаженства. Услужающая девица ловко перевернула скатерть свежей изнанкой наружу и без напоминанья, кроме всего прочего и заодно с бутылкой, принесла фужеры для шампанского, как выяснилось позже — неизменное, даже накануне очередной бури и в период крайнего упадка, пристрастие клиента, надо полагать, для поддержания фамильного престижа. Образовавшуюся паузу старик Дюрсо посвятил глазомерному исследованию сидевшей перед ним загадочной личности. Сравнительно с современниками его столичного окружения, прежде всего по анекдотической уступчивости, малый если и не принадлежал к разряду низших тварей, во всяком случае являл собою существо неполноценное, даже несмотря на феноменально-магический дар и подкупающую склонность беспричинно заливаться краской смущения. Если бы не тот раздражающий, время от времени, поверяющий взгляд поверх головы, заставлявший старика терять самообладание, оглаживать лысое темя. Начиная с одежды и манеры держаться, весь внешний облик незнакомца выдавал в нем захолустную провинциальность, несколько облегчавшую начальное освоение находки, но тем труднее представлялось дальнейшее управление ею из-за нередкой у простаков душевной неиспорченности, исключавшей коммерческую сделку в обоюдных интересах.

В нынешнем его, особо плачевном положении, знаменитому в Москве неудачнику было бы грешно упускать из своей орбиты залетевший в нее дар небес, и пока не подыщется малому практическое примененье, надлежало срочным образом выяснить деловые и природные параметры последнего. С этой-то целью, не спуская с жертвы глаз, старик Дюрсо и принялся фантазировать на одну давно занимавшую его темку. Причем в рассуждениях его, в самом размахе необузданного новаторства, попутно с действием напитка, различались кое-какие прискорбные возрастные явления. С помощью очередной завиральной идейки, как и некоторых прежних, он снова пытался хотя бы устно, если не в печати, создать себе репутацию непримиримого циркового теоретика, чтобы не-

множко притормозить свое явственно теперь обозначившееся паденье. Цирк действительно был любимым, даже наследственным делом комического старика Дюрсо, по моде тех лет он рассматривал его в перспективе развития на ближайшие полтора-два столетия. Речь шла о подведении под него новой социально-философской базы с превращением его в масштабную феерию непрерывного действия, чтобы представление длилось не час-другой, а по месяцу и полугоду для ошалевших от заседаний и житейской гонки, стесненья и трепета, причем не в спертом помещении, а на вольном воздухе, для чего полагалось бы оборудовать целый комбинат необыкновенностей в климатически здоровой местности и подальше от очагов цивилизации — со всякими аттракционами, каруселями и тайнами вразрез здравому смыслу... Словом, целый город с самыми запутанными улицами без часов и календарей, да так и назвать бы его **город снов**, где прибывающих прямо у заставы встречали бы милые, смешные и недалекие люди из среды самых отдохнувших, всякие незлобивые силачи в трико, лукавые волшебники, очаровательные феи и просто бескорыстные чудаки и вели их на представление **жизни**. В перерывах все лежат на лужайках, участвуют в бесполезных состязаниях, вроде доказательства очевидных нонсенсов в стиле Рабле, едят даровые шоколадные бомбошки и пирожки с повидлом, время от времени испуская глубокие, расправляющие грудную клетку вздохи надежды, а при желании пускаются и в еще более сумасбродные, при условии безвредности для соседей, похождения, потому что истинное счастье всегда глупое, без всяких мыслей, за которые будет возлагаться штраф по возрастающей шкале в случае рецидива, однако не полный рай, хотя и не совсем хлев, а лишь посезонное, вроде лета и зимы, абсолютное выключенье из прогресса и даже плюс к тому чуточку регресса только без перегиба, чтоб не получилось нехорошо. Причем для такой программы потребуется гораздо меньше миллиардов, чем на одну современную войну или, не менее того, обстоятельную революцию, ибо все равно, едва отгремит последнее сражение, расстреляют подвернувшихся под руку, поставят монументы и опубликуют успокоительные хартии о том, как трудящиеся начинают копить денежку

и священное недовольство на что-нибудь уже похлеще. И пока бывшие, вышедшие в тираж, солдаты, дружно и дисциплинированно, как положено героям, согнивают в своих братских уединениях, дипломаты и генералы уже выпивают и закусывают в теплой дружественной обстановке, составляя блицпланы и союзы в оправдание своих окладов и ассигнований. Таким образом, со стороны взглянуть, прогресс в самом разгаре, и все находятся при исполнении служебного долга, а на повестку получается сплошной кошмар плюс к тому дороговизна, а в заключение — всеобщий **пшик**. У старика Дюрсо много врагов на свете, но самому злейшему не пожелаю, чтобы хоть внуки его дожили посмотреть тот заключительный пшик!

Универсальные и, как легко заметить, местами не до конца продуманные планы свои старик Дюрсо излагал во всепланетном масштабе и с запросом, но охотно пошел бы на значительные сокращения при малейшем согласии с противной стороны. Однако, невзирая на вкрадчивое красноречие в сочетании с угрожающими интонациями, ему так и не удалось достучаться в сердце собеседника.

— Слушайте же, — возмутился он наконец, — вы мне буквально действуете на нервы. Я далеко не силач каждую минуту тащить вас к себе за рукав. Я говорю, все говорю... но отзовитесь же оттуда хоть немножко, чтоб не получилось, будто я треплюсь мимо и мимо, как пономарь.

— Поймите же, у меня срочное совещание, — отбивался Дымков. — И право же, ужасно тороплюсь...

Тот призывающим взором обвел львов на стенах, и лишь плечами пожал в ответ, как бы призывая их в свидетели:

— Чудак, он думает, что если безумный старик подарил ему целый вечер, значит, ему некуда больше торопиться, но не в этом дело. Тогда я хочу вас спросить — **в чем**?

— У меня важное дело... — почти запекшимися губами простонал Дымков, еле сдерживая волю, вопреки Дуниным запретам, единым дуновением, смахнуть препятствие со своего пути.

Была также сделана слабая попытка подняться с места, в ту же минуту, рискуя остатком дней, старик Дюрсо

надвинулся на него вместе со стулом и мужественно взялся за самую на его пиджаке ненадежную пуговицу и без того еле державшуюся на нитке.

— Ну, хорошо, хорошо, — сказал он тоном уступки и снисхождения, — я же не отказываюсь выслушать, что у вас там за совещание... и, больше того, вы можете ничего не скрывать мне как педагогу. Не стесняйтесь, у меня есть для вас время, какие у вас там дела на очереди?

И опять настолько глубинным оказалось мистическое воздействие на психику через пуговицу, что мгновением позже от наложения пальцев угнетавшая Дымкова картинка томящегося в ожидании лоскутовского семейства сразу отодвинулась куда-то в безгласную даль.

— Мы намечали обсудить... — виновато замялся Дымков, — программу добрых дел.

Преклонив главу на бочок, с миной долготерпения старик некоторое время вникал в накиданную с Дуней накануне программу неотложных благодеяний для страждущего человечества, потом мановением пальца остановил на полуфразе.

— Довольно, мне не надо много слов, кое-что я уже ухватил... и не подумайте, будто я против. Это совсем не плохая, свежая мысль, чтобы всем было хорошо... кроме того, если находятся, которые собирают негодные почтовые марки, то чем хуже добрые дела... виноват, вы, наверное, имеете в виду **всеобщее счастье**? Одно время, после революции, когда началась большая перековка, меня тоже потянуло делать что-нибудь полезное для человечества, но вопрос встал — из каких средств? Скажите, как старому другу, это вы собираетесь на казенный или, наоборот, за свой собственный счет? Если тем заняться по должности, можно нажить крупные неприятности, потому что прибавочное счастье к зарплате — те же деньги, что означает сверхсметный перерасход с нарушением финансовой политики плюс к тому не только начальство, самые обездоленные будут коситься, сколько у вас самого прилипло сюда, — усмехнулся старик Дюрсо и показал на ладонь. — Как правило, для чиновника порыв сердца нередко приводит к судебной скамье... но, как мудрец, на базе пережитого опыта не советую творить добро из личных сбережений. Во-первых, сразу подозрение — **от-**

куда, а во-вторых — **кому**?.. Протянутые ладони у всех одинаковые, а сквозь слезы состраданья не видно — чья, и таким образом неосторожный грош становится уликой содействия кому не надо, и вот уже собрался военный трибунал... Конечно, надо глядеть на вещи шире, в государственном разрезе... но, видите, если верить провозвестникам, и я с ними согласен, что небесного счастья нет, но зато земное вполне вещественно, значит, в рамках товарного индекса подлежит распределению в централизованном порядке, и тут встает проблема не только планового, но и целенаправленного счастья. Я спрашиваю вас с ихней точки зрения, можно ли позволить, чтобы на фоне классовой борьбы, когда вокруг лежит кровавая роса великой перестройки, какое-то подмоченное лицо, скажем, никому не нужный поп, и вдруг выигрывает по лотерее ценный предмет, который мог бы стать для иного старательного труженика не только орудием поощрения, и тот в очередной пятилетке превзошел самого себя, но и оптимистического поднятия жизненного тонуса, когда люди вдвое ценят каждый глоток воздуха, чем имели его просто так при экономическом хаосе отжившего капитализма. Иначе для чего революция и что на **это** скажут беззаветные мученики, отдавшие, чтоб все было в ажуре насчет высшей целесообразности... но не в этом дело. Хотя я не политик, но все равно открою по дружбе, выскажу немножко свое сомнение. Вполголоса говоря, если вьючных лошадей на таком крутом подъеме досыта перекормить, то, вы думаете, **они** вам скажут мерси? Скорее наоборот... И не подумайте, что я отговариваю, напротив, только интересуюсь помочь. — И вдруг тоном беглого покровительственного любопытства пригласил молчаливого собеседника поделиться наконец соображениями, откуда теперь уже вдвоем, так сказать в четыре руки, станут они пополнять свои благотворительные фонды. — При нынешних контингентах человечества, учитывая пробуждение колониальных стран, потребуется почти неисчерпаемый источник, то я как будущий соратник должен быть в курсе или нет, что у вас имеется на виду?

— Видите ли... — слегка замялся Дымков, памятуя Дунины наставления накануне, — мне запрещено раз-

глашать посторонним до поры, по крайней мере, наш секрет.

— Во-первых, я уже не посторонний, но плюс к тому мне интересен ваш секрет скорее с юридической стороны, чем для себя. Лично у меня все есть, мне ничего не надо...

— Ладно, я скажу, — доверчиво улыбнулся Дымков. — Здесь имеется в виду просто-напросто чудо.

Как ни хотелось — в подозрении злого розыгрыша, было не только глупо дважды переспрашивать у несомненного обладателя названного дара, но и опасно на случай чужих ушей:

— Порядок, молчу, все понятно... — поспешил Дюрсо с пояснительным жестом, словно затыкал бутылку, чтобы не испарялись зря таинственные чары.

Вслед за тем, наугад и для разведки несколько произнесенных им фраз должны были показать, что автор их тоже, наравне с прочим человечеством, ощущает нехватку данного витамина в житейском пайке, хотя, казалось бы, весьма прозаическая внешность старика полностью исключала голодание по духовной части. Отсутствующей Дуне было явно не под силу состязаться со сверхсатанинским красноречием старика Дюрсо, каким пользуются в подворотнях для приманчивости предлагаемых ценностей. Впрочем, по своим еще нерастраченным возможностям Дымков без труда распознал бы шарлатанскую уловку, если бы тот хоть чуточку не верил в действительность своих гуманистических соображений. Полуприметная таблетка, которую старик между делом жадно слизнул с ладони, убеждала в непритворстве его волнения, и хорошо еще, что Дымков догадался посдвинуть посуду с прилегающей части стола: временами жестикулирующий старик походил на тысячерукое индийское божество.

И вот приблизительное содержание той умопомрачительной тирады. «Чтобы продлить людей в их гонке к счастью, давайте им хоть изредка сверх нормированной зарплаты, без обвеса и фальсификации, маленькую дольку иррациональной радости, пусть лишь недолговременное озаренье скрытого ее наличья в мире... Ладно, даже ничего не надо, только не отнимайте у них самого права на гипотетическое допущение, что однажды, тысячу лет

спустя, откроется математическая, в долях процента, вероятность какого-то слепительного чуда...»

В передаче этого эпизода сам рассказчик Никанор назвал описываемую вспышку воплем стихийного идеалиста, раздеваемого под мостом эпохой до исподнего в тихий морозный вечерок. Но вряд ли столь законченный скептик с оттенком цинизма мог самостоятельно додуматься до таких жизнеопасных ныне утверждений, будто душа живет не обладанием добытого, а подсознательным влечением к чему-то заведомо непостижимому. Или — что движущей силой человеческого прогресса является не развитие усложняющихся производственных отношений или ненасытная тяга разума ко все новой информации, а будто бы влечение к некоей первородной тайне, одинаково содержащейся в недрах материи или неизвестности неоткрытых материков. Вообще трудно воспроизвести текстуально его трагикомическую импровизацию, составленную не из чередующихся логических звеньев, а скорее набора экстатических восклицаний, эстрадных ужимок и астматического свиста, отчего сама идея воспринималась как единое лексическое пятно с таким уморительным синтаксисом, что нельзя было удержаться от смеха. Но хотя наиболее забавный, одновременно — криминальный абзац прозвучал чересчур громко, даже небезопасно для тех лет, более располагавших к шепоту, то почему же, почему ни одна харя не улыбнулась тогда — ни среди застывшего за портьеркой услужающего персонала, ни за ближайшими столиками в кафе.

Допущенная им неосторожность невольно наводит на мысль, что вдохновенная вспышка старика Дюрсо не обошлась без чьей-то властной подсказки, верно — во исполнение коварнейшего плана завлечь неоглядевшегося ангела в довольно дурацкую авантюру. Если же в согласии с передовой наукой отвергнуть участие нечистой силы в их беседе, значит, и впрямь давняя, всем людям свойственная горечь какого-то неосуществленного мечтания плакалась теперь голосом неудачника, к тому же с довольно неприглядной биографией. В тогдашних обстоятельствах дымковское появление само по себе являлось для него величайшим чудом, и пренебречь хотя бы и сомнительной находкой значило жестоко обидеть фортуну,

на закате дней улыбнувшуюся ему из-под сгустившихся житейских тучек. Во всяком случае, до выяснения обстоятельств и следовало, не выдавая незнакомцу своего почти подавленного восхищенья, принимать всего лишь за ремесленную категорию его таинственное ремесло.

Старик Дюрсо забавно пожал плечами:

— Я не знаю, просто анекдот... После всего вписанного мне в досье на Лубянке я еще оказываюсь философ-гуманист вдобавок, что при астме совсем ни к чему... но не в этом дело. Вы думаете — я не понял давеча, с апельсином, что вы абсолютный гений своего жанра? Не хочу омрачать вам праздник юной жизни, но я увидел плюс к тому, что нездешний и если руку помощи не протянуть, данный товарищ не успеет даже чихнуть, как уже покойник. Теперь скажите, что должен на моем месте делать человек на берегу, если он спешит на важное свидание, как вдруг кто-то тонет у него на глазах... не имея представления, что по существу без пересадки идет на дно? Поневоле вы мне становитесь хуже, чем родной... все еще непонятно? Хорошо, я вам раскрою пошире! — Старик Дюрсо неторопливо извлек из кармана и с лукавым прискорбием издалека показал Дымкову его неосторожный давешний дар. — Вы узнаете эту загадочную штучку? Этот апельсин просто бомба в смысле разнести в пыль тот новый фундамент, который они закладывают уже двадцать первый год. Похвально отозваться на звук больного ребенка, но зачем призывать нечто похуже на себя? Вы просто не в курсе дела, но я немножко обрисую обстановку, и вы поймете. У нас все живое имеет при себе бывшую входную дырочку, через которую вылез в мир... выходная пошире, но подробности потом! Меня не интересует — кто, откуда и как, но скажите, если симпатичный молодой гражданин в матросской тельняшке, с прыщами цветущей юности на лбу спросит на ту же тему плюс к тому пристукнет костяшками об стол, то вы не сумеете ему показать на вашем апельсине тот обязательный паспорт бытия под названием **пупок**... Тут волокиты не бывает, вы меня поняли?

Несмотря на мой вкус, я как-то не раскрылся пока как режиссер, но скажу начистоту, мне вообще не понравился весь номер с носорогом в смысле оформления. Хотя

я не против юмора в наших зрелищных предприятиях, но каждый юмор не должен иметь потом тяжелую психическую депрессию. Вы, надеюсь, заметили, как ваша шутка отразилась на аккомпаниаторе, когда на него полезло оскаленное чудовище с рогом на носу? На беднягу страшно было глядеть!... Но не в этом дело. Кроме химической чистки брюк, мог легко получиться перерасход на похороны. И даже не в том дело, что могла невинно пострадать полдюжина испанских сироток, а в том, что вы нахально опровергаете весь материализм, начиная с Демокрита, если не дальше, замахиваетесь... знаете на кого? А за такую вылазку праведники с железными анкетами найдут подходящий способ расшатать вам здоровье. Вот я вам достану на днях почитать **Анти-Дюринг**, то вы ужаснетесь, чего натворили без меня. Если за подстроить железнодорожное крушение человеку надолго делают нехорошо, то что полагается за сокрушение идей? Другое дело, если под рукой имеется компаньон, быстро прикинуть в уме, подвести под ваши действия правильную философскую базу. Я надеюсь, теперь вы поняли, зачем вам требуется опытный наставник с большим жизненным охватом, как я, у которого вообще масса неиспользованных замыслов. Например, я тоже, как и вы, давно хочу подарить человечеству один полумедицинский совет, имеющий серьезное государственное значение, но мне не надо памятник в виде бутылки с надписью **Абрау-Дюрсо**, чтобы потом смеялись, лучше возьмите просто так меня самого в придачу. Плюс к тому мое лекарство не от болезни, а от смерти, которая, если мне не изменяет чутье, караулит нас вон за тем углом... но здесь надо коснуться немножко издалека. Несмотря, что я никогда не касаюсь политики, но, конечно, такое лучше обсудить в закрытом месте, но я живу в одиноком беспорядке, почти как Диоген, и пока доедешь до моей несчастной бочки, то основная мысль пройдет. Главное, не ловите меня, будто я вовлекаю вас в подпольную аферу или церковный дурман... я сам глубоко неверующий человек и согласен с передовым воззрением, что жизнь является одной химической перегонкой вещества под влиянием солнечной энергии, так сказать, из одной пустоты в другую. Но если вы уже обратили внимание на шум от всяких там сплe-

тающихся законов из-за всякой мелкой ерунды, просто какие-то колеса машины, то скажите мне, как мудрец мудрецу: какой товар окончательный вырабатывается на этой печальной фабрике и что с нее имеет сам фабрикант? Если там делается человеческий вздох и, положим, он накапливается в жилах как старая болячка, вроде накипь, отчего получается склероз души, то зачем?... Но даже и не в этом дело. Меня больше мучит вопрос, можно ли действительно хоть немножко подправить в застарелом организме природы плюс к тому с такими зубами, как у ней. У вас не хватит пальцев, включая ноги, пересчитать, сколько разных деятелей она перекусила пополам, когда хотели залезть внутрь даже для маленькой переделки. И я не виню, ей просто неприятно в животе, когда что-то делают обыкновенной отверткой. Делается не по себе, когда смотришь на глобус, если его оставить в прежнем капитализме, но страшно подумать, с другой стороны, если провести мероприятие как намечено, до основания, то что останется затем? И довольно странная манера: как только чуть один придумает к лучшему, другой сразу делает ему вразрез; и потом внучата в полном составе крушат бомбами взаимную работу... Я далеко не Маркс, хоть и проходил в лагере неполный практический университет политграмоты без отрыва от тачки, не буду настаивать, что свежая мысль, но почему-то невольно хочется закричать на весь мир: слушайте, а стоит ли менять весь мотор на полной скорости в неизвестной горной местности, а может быть, достаточно наполовину? Я понимаю, если такие идеи выразить художественным голосом, можно сесть куда следует на добавочный срок, но лично меня уже не пугают шаги социализма, и вообще никто не возражает, что все люди станут однажды, как боги, дураки в том числе, но у вас нет опасения, что получится нежелательный перегиб в балансе. В науках тоже бывают достижения ума, что умнее не достигать для здравоохранения и высшего гуманизма. Я хочу спросить, лично вам не жутко, что тогда из богов, на сытных хлебах расплодясь, как мухи, может получиться затруднение в смысле дальнейшего развития? Давайте подходить к будущему как взрослые деловые люди. И вообще, надо ли закрывать ум на замок, когда уже достаточный про-

гресс, чтоб не получилось в обратном стиле? Приходит новый грандиозный пророк и без разрешения милиции открывает что-нибудь еще лучше, с риском, что возможно и вдвое наоборот. Я понимаю, непременно во избежание вреда придется с ним поступить построже, например, расстрелять до поднятия шума, как придумал один иудейский царь, римская марионетка... но здесь меня интересует чисто технически, как его угадать — пока не родился, потому что будет затруднительно взять его на мушку за чертой времени, когда по окончании сеанса мы с вами очистим зал, уступить место которым еще теснятся за дверью. Я просто слышу в нашей обстановке, как потомки напирают сзади, неприлично ломятся, барабанят в дверь ногами, спать не дают: делается ничего не жаль. И вот уже получается — нет товара дешевле жизни, чтобы заткнуть щели, отбиться от будущего. Сегодня иду на затычку я, завтра ваша очередь, а затем гуртом остальные. Теперь пусть на минутку старик Дюрсо будет генералиссимус, думаете я бы стал иначе? Старый мир далеко еще не пылает, как ему предписано, но раз это обреченный Содом и надо всем уходить в суровую праведную землю, то я бы тоже запретил потомкам оглядываться на покидаемые приманки и сладости... но будто родились заново и ничего не было позади. Поверьте, уж я-то по себе знаю, чего только нет у **них** в мозгах, так и шныряют глазами по углам, лишь бы уклониться от наступающего материализма. На днях звоню одному видному полусоратнику поговорить с мадам, наши семьи с детства встречались по Киеву, так мне... теперь дайте сюда поближе ваше ухо! Так мне, представьте, выжившая из ума приживалка, верный пес, сдуру отвечает прямо в телефон, что никого нет дома, поехали на дачу ценности прятать. У нас в цирке это называется табло, в смысле — скандальная картинка. Недаром сажают не за действие, берут за мысль, пока не успели завербоваться к золотому тельцу на рога... потому, что для умного человека лучше потерять только душу, чем заодно тело и капитал. Но здесь начинается историческая необходимость и надо немножко объяснить, если вы не в курсе как приезжий, а сперва дайте маленькую передышку закусить, я еще не обедал. Каждому свое, у Давтяна сосиски с капустой. Советую и вам, пока совсем не остыло...

— Я не хочу, — сказал Дымков, с отвращением глядя на благоухающие сосиски на тарелке.

— Вегетарианец?

— Нет, я вообще мало ем...

По очевидной привычке обедать на бегу, старик Дюрсо чуть не залпом поглотил свою порцию, дымковскую заодно, залил обе чашкой кофе вперемежку с шампанским, правда, в количестве нескольких глотков для поддержания престижа и артистической клички. Порозовевший лоб заблестел в испарине, а на висках набухли опасные жилки и, вопреки логике, менее неряшливой стала речь.

— Мне далеко неинтересно **откуда**, — продолжал он, утираясь бумажной салфеткой, — но скажу вам по дружбе, вы к нам попали не совсем удачно, когда, ухватив друг дружку за **шкирку**, как любит выражаться нынешний руководитель наших цирков, мы осуществляем нынче всесоюзную пропаганду за всеобщий оптимизм против недоступной усталости, когда человечество перебирается на квартиру попросторнее, если верить поэтам. Такие переезды случались и раньше, но у прежних пророков не было столько пастырей, когда сквозь пыль от множества ног не видна до конца наступающая шеренга, не говоря про топографические прочие обстоятельства. Тогда что? Я не требую сразу ответ, хотя знаю, что вы скажете, но все равно не перебивайте, лучше я назову сам. Не подумайте, что смеюсь: да, мобилизация внутренних ресурсов, но не в том смысле, что вы думаете, а как раз наоборот. Есть только одно такое слово, оно как крыло — лететь и не упасть, упасть и не разбиться, разбиться и не умереть. И здесь я не виноват, что от старости у меня развилась дурная привычка говорить красиво... Есть слова, которые нельзя говорить просто так: алмазы кладут на черный бархат, чтобы видеть игру, королям предшествует свита, гроза любит одеваться в молчанье, но тут требуется целое море тишины... но не в этом дело! Данное слово соединяет нас как пароль, мне не надо повторять, вы уже назвали его...

Похоже было, неисправимый скептик, он медлил, может быть, трусил произнести вслух, особенно в присутствии Дымкова, самое пленительное когда-то, но вот уже полностью развенчанное и вылущенное слово, по-

тому что только оно и могло скрасить черные деньки старика Дюрсо. Самое понятие чуда, вырождавшееся на глазах, хоть и употреблялось порой в речевом обиходе, но главным образом применительно к успехам науки и техники, кухонной утвари и стиральным порошкам. Но, значит, великая тоска по нему еще витала в воздухе эпохи, если тезис о насущной, живительной необходимости какой-то сверхнадежды так властно возникал на противоположных, казалось бы, флангах тогдашнего общества. Чудо нужно людям как хлеб и воздух, они чахнут без чуда, порой оно нужнее хлеба, но это опасная вещь для постоянного хранения при себе... Чудо — это когда не знаешь, как это сделано.

— Мы еще застанем посмотреть, что станет с человеком после отмены чуда. Конечно, видно и теперь, но еще не совсем. Орешки будут потом. Все одно, как если поржавеют все трубы и станет вытекать наружу. Пить, красть, ненавидеть плюс к тому вошь...

По его словам получалось, что из человека вместе с социальными рудиментами прошлого выпотрошили надежду на чудо, право на тайну. А без тайны и чуда не может жить человек. Впрочем, муравьи ходят вовсе голые, не испытывая при этом нравственного ущемления. Человек должен иметь абсолютное право на чудо и тайну.

Вдруг в приступе какого-то насильственного вдохновенья, едва не стоившего ему жизни, размахнувшийся оратор выдал одну за другой две очередные и по отдельности одинаково недоступные для восприятия **словесные мочалки**, при стереоскопическом совмещении образовавшие почти стройную формулу — что лишь безоговорочная вера в чудо, хотя бы в земном его начертанье, способна доставить герою бесчувственность к обязательной боли, в преодоленье которой и заключается подвиг. Самое слово было употреблено как последнее средство продлить человеческий полет перед окончательным уже приземлением; подразумевалось нравственное оскудение и кое-какие логически связанные с ним перемены. По строгим отзывам, правда, главным образом пожилых лиц, стремительное техническое обогащенье, временно избавляющее род людской от неизбежных завтра потрясений взрывающегося множества, ни в малой доле

не возмещает ему попутно утрачиваемых качеств и добродетелей: не стоит приводить полнее их воркотню, обидную для современного прогресса. Вреднейшая их теория, легко опровергаемая хотя бы рекордами спортивных олимпиад, например, прыгунов и штангистов, вообще настолько противоречит всему облику старика Дюрсо, что остается предположить, как уже случалось на нашей памяти, присутствие незримого подсказчика. Последняя догадка подтверждается и подозрительным сходством помянутой ахинеи с, позднее и в частной беседе, высказанным мнением одного современного корифея, что и без того полуконтрабандный сегодня орган, так называемый **дух человеческий**, в недалеком будущем окончательно выболеет под натиском разоблачительного реализма и улетучится восвояси, в голубые небеса, чем, однако, не следовало огорчаться, так как вместе с улетающей пустышкой сгинет навечно и пресловутая печаль земли. По личному вдохновению Дюрсо прибавил, что поелику религия и магия, сводные сестры и соперницы, всегда питались из одного источника, то с отмиранием первой вторая успешно заменит ее у поверженных алтарей и, в силу указанной потребности, выйди теперь площадной фокусник к благоговейно затихшей толпе, она и его вместе со жреческой мантией наделила бы ореолом мессианства... Похоже было, что, кроме высших философских побуждений, старик искушал Дымкова и соблазнительной легкостью карьеры.

— И даже не в этом дело! — подавляя в своей жертве возможные колебания, сделал он очередной ход конем. — Как сказал — вы знаете кто, — каждый своим путем борется за благо человечества... я тоже. И тут все настолько очевидно, что вопрос ставится не **зачем** и **как**, только **где**? Мне приходят на ум только две площадки развернуть ваше дарование: первое — **церковь**, но там вы имеете удобный шанс погореть в тот белый порошок со второго сеанса... Не знаю насчет вас, меня лично так не может устроить. Зато вам открыта прямая дорога в **цирк**, куда специально платят высокую цену посмотреть аттракцион насчет законов равновесия или вообще что-нибудь против здравого смысла, это два. Насколько я уловил сначала, вас тоже интересует большой гонорар, и здесь нельзя не согласиться,

чтобы не кинуть тень на святое дело, как иногда среди духовенства, где ничего не достанешь по доступной цене, не важно — молитва или приношение... но ведь совсем бесплатно может еще хуже вызвать подозрение. К сожалению, когда деньги и здоровье кончаются немножко раньше жизни, это создает громадное неудобство и плюс к тому мы с вами не ангелы, чтобы не кушать...

— Но я как раз ангел... — из чисто провинциальной честности тихо вставил Дымков.

Несколько мгновений, остановленный в разбеге мысли, Дюрсо взирал на него озабоченным взором, прикидывая разные предположенья, но они все настолько осложняли обстановку, что лучше было пренебречь его признаньем до поры.

— Понятно, — царственно отмахнулся Дюрсо, — но не в этом дело! Если бы даже я знал секрет делать из-под полы драгоценные камни или в том же роде, я родному сыну не посоветую раздражать государственный аппетит... Чтобы овладеть небом, надо расстрелять чудо на подступах к нему. Вы тоже хотите стать мишенью? Нет, не в смысле Колымы или еще подальше. Но, скажите, вам очень не терпится превратиться в золотопромывочную базу на дому, пускай, со всеми удобствами, но в три смены и без выходных? Имейте в виду, я сразу учел весь диапазон вашего жанра, еще когда вы случайно нагнулись поднять вилку, и она сама с полдороги пошла к вам в руку... думаете, я не заметил? Как честный человек, я вам вполне сочувствую и сам хотел бы для удобства при моем животе, но что подумает про вас какой-нибудь заслуженный комендант с железной анкетой, целиком посвятивший себя искоренению идеализма на земном шаре!.. Так вот, если вы не можете удержаться на почве нервов, чтобы не скрутить какую-нибудь штучку, то на манеже вы получаете лояльную оборудованную точку делать любой иллюзион под носом у самого товарища Скуднова и без риска в трибунал. Потому что в цирке чем невероятней, тем шире овация и ангажемент... разумеется, если гарантируется одна ловкость рук без никакого Бога. Под шумок сойдет немножко мистики, пожалуйста, чтоб не слишком дразнить гусей при исполнении служебных обязанностей. Здесь не бойтесь, я буду всегда под рукой,

чтоб подвести правильную философскую базу. Идеология плюс вопросы юридического оформления — это я охотно беру на себя. Главное с чудом, чтобы всегда не досыта во избежание привычки плюс к тому сойти с ума, а ровно на один вздох, сделать публике маленькую надежду и снять... Как запасной выход в кино, когда сбоку виден немножко красный фонарь на случай пожара. Даже не надо портить здание, если нельзя, пусть маляр нарисует вроде двери, и полный порядок. Но хуже нет будить напрасных ожиданий, когда просыпаются все болячки: это же люди! У вас не будет отбоя, может получиться Ходынка с массой смертных случаев. Им протяните руку, они выдернут ее вместе с плечом. Натуральное чудо и в гомеопатической дозе страшный яд для повреждения всей цивилизации в целом. Помните у Пушкина: ангел летел и тихо пел, а дайте ему погромче, так они нахлынут к вам прямо из-за границы, в них проснется зверь... не поручусь и за ветеранов Гражданской войны, неоднократно проверенных через отдел кадров. Напротив, бывает такое время, что надо не только чудо или ценность, даже ум подделывать немножко наоборот, чтобы не вызвать раздражение. Умная камбала гримируется под песок. И не надо падать духом. Чудо, как вино, можно разводить водой: золото, когда в нем втрое меди, все равно считается золото. И в этом разрезе у меня уже кое-что складывается в голове, всякие **репризы** и **антре** посмешнее, причем в оркестре пустим посерьезнее... нам не нужен Вагнер, но и не галоп, а лучше всего скромная, как на эшафоте, барабанная дробь, — у меня задумано, чтобы сразу мурашки по коже. Словом, я беру на себя сделать вам сенсацию всех времен и народов. Не могу сказать наперед, начиная с какой гастроли, но в короткий срок наши с вами автографы будут иметь хождение наравне с кредитными билетами... На сегодня достаточно, остальное доскажу вам завтра! — Он залпом допил кофе и тусклым вопросительным взором справился у Дымкова, как тому понравился его длинный беспардонный трёп.

Нельзя было отказать в стихийной логике изложенному плану, который, в общем, сводился к установлению целительного контакта с истосковавшимся человечеством; благодеяние предназначалось как для зрителей

с оплаченными билетами, также и контрамарочников. Требовалось вначале безобидным цирковым трюком, с перехлестом в заведомо невозможное, затеплить им свечу надежды в житейской мгле, а дальше душевное пламя само расползется по закоченелым душам и коммунальным квартирам наподобие тех освященных огоньков, что в пригоршнях когда-то, после вербной вечерни, разносили по домам бородатые предки москвичей. Стремясь понаглядней передать живописный и варварский обычай туземцев, Дюрсо с помощью обычной зажигалки, перед носом у Дымкова изобразил целое шествие трепетно, на просвет, розовеющих фонариков, и оба хода, вправо и влево, тот скошенным завороженным взором проследил за движением волшебной штучки в пальцах искусителя. Неизвестно, насколько дошли до его сознанья изложенные гуманистические доводы, но дымковское внимание куда больше привлекала эта, волшебный огонь производящая, вещица, как, впрочем, за минуту перед тем забавляло, заставляло в рот к Дюрсо заглядывать кастаньетное прищелкиванье вставных челюстей.

Характерно, что, предлагая ангелу Дымкову свое сотрудничество в качестве администратора, Бамбалски сам не верил в чудо как средство изменять логику действительности. Считая чудо исключительной привилегией Творца, в бытии коего сомневался, полагал он, что повторное вмешательство Его в свое собственное творение с целью частичной поправки обнаруженного недосмотра, уступки ли под напором чьей-то настоятельной молитвы в обоих случаях повлекло разрушение системы в целом и самоубийство Бога через отмену самого себя.

В тот вечер старик собрался было навестить одну популярную в свое время воздушную полетчицу, одинокую и глухую ныне пенсионерку, — помолчать, поделиться сплетнями о нынешних выскочках вроде каверзного Преснякова, поглядеться в невозвратное зеркало прошлого... словом, подсластить горечь скопившихся обид, когда старуха, испуская облака табачного смрада, с перханием и слезой непременно помянет славу и благолепие, кнут и ласку незабвенного Джузеппе Паскуальевича, а заодно передать полуприятельнице давней молодости завалявшуюся у него давно обещанную зажигалку.

Правильно оценив дымковский интерес к загадочной штучке, Дюрсо устроил показательное чирканье перед самым его носом, и когда из-под магического колесика рождалась искра, тот вздрагивал и потом, откинувшись к стенке с улыбкой привыканья смотрел на пламя.

— Что у вас там... — неуверенно показал он, — тоже чудо?

— Да, но не совсем... просто машинка зажигать печку, трубку, костер... вам нравится? Берите, теперь это ваше.

Он не преминул подарком закрепить намечавшееся сближенье, хотя благодарное дымковское оживленье и нельзя было считать начатком дружбы. Близилась пора расставаться по меньшей мере на сутки, а предполагаемый компаньон не выразил пока согласие на участие в операции по спасению человечества. И, чтобы не оставлять ненадежного парня наедине с укорами совести по поводу обманутых старофедосеевцев, старик с ходу переключился было на программу их дальнейших, отныне уже совместных действий, но после того нечеловеческого монолога силы то и дело покидали его, и всякий раз, как останавливался слизнуть очередную крупинку чего-то, в полной красе представала перед ним фантастическая конструкция задуманной **липы**; впрочем, увлеченный освоением пленительной безделушки, Дымков вряд ли вникал в расползавшуюся стариковскую речь.

Некоторые, с миросозерцанием связанные сомнения насчет природы наблюдаемого феномена мешали выбрать окончательную тактику в отношении его носителя.

— Кстати, из-за плохого слуха немножко не дослышал вашу фамилию... простите, как вы сказали, Дымков? О, проклятый склероз: ведь я же собирался спросить про адрес... — поправился он на тот случай, если бы Дымкову еще до завтрашней встречи понадобилась его помощь.

Все это время тот с детским упорством чиркал зажигалкой, не мог наглядеться досыта на укоротившийся, погрязневший огонек, пока перестала рождаться искра, а следом остановилось и колесико.

— Больше не горит... — пожаловался Дымков вместо ответа, и достойное юного Гаутамы невинное огорчение, прозвучавшее в последующем вопросе, отлично рисует его девственное состояние на старте, откуда впослед-

ствии стал он набираться ума и житейского опыта. — Это он умер?

Старик Дюрсо покровительственно протянул руку:

— Дайте мне сюда, я его вылечу.

— Но завтра вы вернете? — противился тот, пока старик не успокоил его доверительным признанием, что он и сам до некоторой степени волшебник.

— Правда, не совсем полный, — тотчас оговорился он. — Но я не виноват, у меня сложилась тяжелая жизнь. Когда в больнице, где я лежал с прокушенной ногой, то немножко занимался черной магией. Волшебник Элифас Леви, не слышали?... **Энхиридион** папы Льва, Клавикул царя Соломона... все это я прочел взад-вперед. Отсюда меня не устраивают черные ящики с двойным днищем для лилипутов плюс к тому складные лиловые букеты или другая манипуляция для детей, когда стыдно выходить на поклон. Оскорбительно для подлинного цирка, если джентльмен в крахмальном гарнитуре делает на манеже яичницу в цилиндре под чечетку или балаганный куплет... И сам Калиостро интересует меня меньше, как Аполлоний Тианский или этот толстяк Агриппа, но с моей подмоченной анкетой этого нельзя, чтоб не получилась классовая вылазка... Все было и все прошло, но кое-что осталось... показать? — И безо всякого труда извлек из подбородка своего визави целлулоидный шарик, кстати, не слишком чистый от частого употребления.

Тогда и Дымков, очевидно, в качестве визитной карточки лукаво потянулся к собственному его носу, от приливного воздействия, что ли, принявшего потешную форму оранжевой капли, которая вслед за тем с пробочным чмоканьем и в виде настоящего апельсина отделилась ему в ладонь. Размен фортелями произошел на глазах у официантки Луши, заглянувшей к ним намекнуть насчет позднего времени. И, значит, ее рассмешило зрелище двух магов, попеременно развлекающих друг дружку.

— Ишь, чем со скуки занялись, фокусники несчастные, — фыркнула она в салфетку.

Сам по себе акт творения обошелся без личного ущемления достоинства, но почему-то произвел удручающее впечатление на старика Дюрсо.

— Так, понятно... и, знаете, мне даже нравится, что все это у вас без всякой аппаратуры! — подавленно протянул он, обследуя апельсин, оказавшийся покрупнее прежнего и уже без идеологических изъянов по приметам; и некоторое время головной мозг его работал с астрономической скоростью. — Но, скажите, просто с научной целью, сколько вы можете выставить такого товара в одну партию... ящик, пакет, вагон?

— Не пробовал, но... сколько нужно вам? — спросил тот с улыбкой готовности, и странно, ничего не случилось пока, но самое пространство вокруг ощутимо продавилось, напряглось в предвиденьи вторгающегося изобилья.

Трудно сказать, что именно удержало старика Дюрсо от немедленной, на месте, пробы дымковского искусства: Лушино присутствие, опасность уличных завалов или грозящие директору неприятности после обнаружения таких, явно **левых** запасов в его хозяйстве.

— Нет, лучше не будем трогать, пусть пока останется **там**... — решил он после краткого раздумья, философски оценив преимущества подобного хранения всех без исключения скоропортящихся благ. — Но баста на сегодня: шалман закрывается и честным людям пора байбай. Возьмите этот апельсин, Луша, в награду за светлое миросозерцание и детский неиспорченный ум... но не в этом дело. Сколько с меня? — справился он, довольно неосторожным движением извлекая бумажник.

Ввиду общеизвестного бедственного состояния старика Дюрсо обычно застольные счета оплачивались друзьями, и нынешним, хотя бы умеренным расточительством он выдавал чрезвычайность состоявшегося совещанья.

После долгой погони за ускользающей жизнью, когда с поручня соскальзывала рука, перед самым закатом посчастливилось вдруг вскочить на подножку. Правда, было еще рановато, пожалуй, праздновать победу, но, значит, еще труднее было сдержать разыгравшееся воображение. Вдруг помолодевший, он дарил малознакомым ласкательные взоры, сорил по пустякам ценные хохмы и, наверное, по-боярски одарил бы Ивана Ивановича в гардеробной, если бы по дороге туда не поохладился в рас-

сердившей его стычке с директором. Тот перехватил его у конторки и, затащив к себе, учинил форменный разнос. Все равно было поздно отправляться в Старо-Федосеево и, видимо, та же нерастраченная небесная деликатность помешала Дымкову, оставленному за дверью, воспользоваться моментом для бегства.

— Меня вызывали по делу, так что я застал только конец твоей поганой лекции, старый кутила, но тридцать человек сидели в зале развесив уши и не ушел никто... а что тебе известно про них, обормоту и трепачу? Тебе что, недостает пули в брюхе или снова захотелось на побывку в безумный дом?.. И мне наплевать на твои переживанья, но ведь потом они приедут вынимать душу из меня! В целом свете один Давтян пригрел тебя, когда отвернулась даже родная дочь, и ты в благодарность задумал посадить его, несчастный лишенец? Вот я скажу Юлии, чтоб она сажала тебя на цепь...

Последовал не менее вразумительный ответ:

— Пометь у себя в башке для будущего мемуара, глупый человек, что сегодня тебя навестил величайший иллюзионист всех времен и народов. И не забудь сказать своему Давтяну, что еще не просохнут вонючие обои в его вертепе, как он уже встанет в очередь к моему окошечку и если не умрет от ожиданья, то всегда будет иметь у старика Дюрсо лимит на два места в ложе бельэтажа плюс к тому контрамарку на откидное место в десятом ряду. Старик Дюрсо помнит, как в трудную минуту имел у него постоянный кредит закусить из вчерашнего и стоя на проходе в туалет. Теперь кланяйся маме и покойной ночи, лысый безобразный ребенок! — не без жалости сказал он напоследок и простился издали жестом царственного благоволения.

Необычное для столь безнадежного босяка дерзкое красноречие прозвучало в заключительной тираде. Нет, помимо развязности дельца, вырвавшегося из полосы гадких неудач, что-то еще молодое и тревожное содержалось в ней, может быть, призывная труба никогда не улыбавшейся ему фортуны. И, возможно, в расчете на ее слепую щедрость директорская глыба с треском, подобно каменному командору, поднялась из кресла проводить знатных гостей до порога. С непокрытой головой

бедный Давтян глядел им вослед, пока не поглотил обоих туман оттепельной ночи.

Силы окончательно покидали старика Дюрсо, лишь теперь стало видно, во что обошелся ему изнурительный монолог, а к тому несколько глотков запретного напитка. Он едва стоял на ногах, тем не менее из престижной необходимости вызвался лично проводить будущего компаньона домой. Подловленная на перекрестке частная машина обошлась недешево в оба конца, и только безоговорочная вера в успех фирмы заставляла беднягу повторно вкладывать остатки наличного капитала в далеко не освоенное предприятие.

Из адресных соображений, чтоб не утекло досрочно, старик Дюрсо довез свое сокровище до самой его охапковской калитки, где условились завтра отправиться отсюда куда-нибудь поглуше для пробного выяснения ангельского репертуара.

— Я вижу, вы не любитель поболтать, как я сам, — сказал он на прощанье. — Это хорошо: теперь такое время, надо беречь, даже чего нельзя украсть. В следующий раз я объясню вам подробнее.

Беря на себя юридические тяготы будущего содружества, старик проявлял законный интерес к личности Дымкова. Но как ни вглядывался снизу вверх в страдальчески запавшие глазницы, ничего не прочел там, кроме озабоченности все возрастающим обилием стеснительных мелочей. По счастью, вдоволь натерпевшись невзгод и унижений, он научился не вникать в изнанку быстротекущих житейских радостей.

Глава XVI

Если не считать незамужней Юлии, сей жалкий, молью траченный господин замыкал собою главную российскую ветвь всемирно-известного древа **Бамбалски**. Под корень подрубленное в революцию семнадцатого года, оно целиком ушло в могучее боковое ветвление за границей. В устных преданиях вымирающих ветеранов еще хранились ценнейшие для истории отечественного цирка, но уже тускнеющие воспоминанья об основате-

лях этой печально-кратковременной династии, однако сам Дюрсо, когда требовалось фамильным хвастовством подсластить горечь упадка, никогда не смел произносить публично ни имени отца, которого страшился и посмертно, ни своего легендарного деда, перед памятью которого благоговел. Знаменитая фирма началась как раз с его бродячего, на колесах, зрелищного заведенья, выдержанного в духе площадных острот и оплеух, фантастической экзотики, незамысловатого надувательства и прочих терпких приправ балаганной классики, столь лакомой нынешним гурманам и тем всегда любезною простонародью, что и под мишурной пудрой неизменно угадывались пот и голодная смекалка труженика — в обмен на медный грош и черствый хлеб.

Репертуар труппы, в пору высшего расцвета не превышающей семи-восьми единиц, составлялся из лучших аттракционов мирового цирка в диапазоне от богатейших конных ристалищ и пантомим с участием всяких мировых деятелей до особо жуткого кабинета китайских привидений, оборудованного в спальном фургоне после частичного удаления коек. Несмотря на естественные сезонные затуханья, самоокупаемость предприятия последовательно достигалась исключительной дешевизной содержания, возрастными и прочими изъянами артистов, отеческим долготерпением хозяина и, наконец, житейской закалкой коллектива. Наиболее безответным значился выступавший под кличкой **Самсон в цепях** глухонемой гладиатор, он же конюх Иван Иванов, на груди которого ударами кувалды расшибались предварительно в костре обработанные камни, и лишь в запойную пору позволяла себе пошуметь миловидная и разнесчастная трепушка, исполнявшая в первом отделении номер **женщина-паук**, а во втором же — **говорящий бюст** швейцарской девушки Терезы, еще в грудном возрасте утратившей туловище по недосмотру родителей. Все они с благодарной кротостью понимали, каких усилий стоит главному обеспечить корм и кровлю для такой оравы, включая тварей бессловесных. Кстати, в числе последних, помимо положенных по штату лошадей и ученых собак, входила также проживавшая в продольном баке с керосиновым подогревом крупнейшая змея на све-

те под названием **пифон**, в жару и при сырой погоде, в силу теплового расширения достигавшая якобы целых двенадцати северо-американских футов. Смертельными кольцами обвивая укротительницу, она же **мадам**, и в такт походке поматывая головой на ее гигантском бюсте, тропическое чудовище проделывало всякие несвойственные ему эволюции — не только безгневно, но даже с юмором. Коронным аттракционом основателя фирмы был неповторимый, собственного изобретения номер с медведем без каких-либо замысловатых фортелей дрессировки. Пошатываясь, оба **подшофе**, на арену выбредали сам хозяин, бородатый старик в котелке, и об руку с таким же рослым зверем, который доступными ему средствами выражал удовольствие от сообщаемой ему на ухо интимной истории. По-приятельски, в обнимку они совершали круговую прогулку, причем непонятным оставалось, который из них главнее. Штопку, стирку и кормежку на всю ораву осуществляла хромоногая хозяйкина сестра, а билеты продавал в окошечке младший в труппе, десятилетний отпрыск, совмещавший кассирскую должность с исполнением музыкальных антре на шарманке. Утвердить род **Бамбалски** на земле и выпало на долю того худосочного, с гнетущим взором из-под приспущенных век, рыжеватого мальчика Оськи, которого двадцать лет спустя, после таинственного брака с итальянской наследницей из тех же кругов, цирковые **шпрехшталмейстеры** почтительно объявляли на выходе как Джузеппе Паскуальевича.

К огорчению автора, сообщенный ему Никанором Шаминым наисекретнейший, казалось бы, материал о делах небесных значительно превышает земные, видно из четвертых рук ему доставшиеся сведения о возвышении **великого** Джузеппе. Из трех отцовских фургонов с пропахшей аммиаком рухлядью и пяти — приданое жены, второй по счету, Бамбалски сделал несколько процветающих цирков по обе стороны Вислы и Дуная и мог бы завершить карьеру баронством в любой из стран своего летучего обитания, если бы европейскому признанию не предпочел почему-то личное почетное гражданство российской империи. К слову, никто из самых яростных завистников, вслух, по крайней мере, не смел приписы-

вать блистательный успех конкурента лишь выгодной женитьбе, но в первую очередь его врожденному, **абсолютному** чувству циркового священнодейства, впрочем, наравне с беспощадной требовательностью к участникам своих представлений, нередко переходившей впрямую, бичом по сердцу, жестокость к самой толпе. Все становилось сенсацией под его рукой, вроде неожиданных голубей в цилиндре манипулятора, и молва отвергнутых шипела, будто в работу к нему нанимаются головорезы да потенциальные самоубийцы, соблазненные двойной оплатой. И правда, в западной прессе отмечалось с похвалой, что Джузеппе приблизил современный цирк к его мужественному прообразу circenses[1] варварской древности, где столь потребное для общественного здоровья щемящее содроганье ужаса служило обязательной приправой к удовольствию. У него на манеже вместо прежних низких наемников и обреченных рабов выступали точные в движениях добровольцы, с улыбкой и без трусливых **страховок** принимавшие риск гибели. Секрет его успеха, что разгадал от века таившуюся в человечестве потребность созерцания чужой, миновавшей его беды. Джузеппе видел расцвет этого искусства в том, чтобы под видом преодоления роковых пределов дразнить смерть и, безоружной рукой загнав в угол, куражиться над нею, пока зритель сам не запросит пощады своим нервам. Являясь признанным арбитром во всех отраслях цирка, он до глубокой старости не бросал дрессуру лошадей, сам руководил конным котильоном и кадрилью на неоседланной лошади — прообраз рейнского колеса, и когда, бывало, на уходе чуть ли не мановением бровей поднимал на прощальное debout[2] восьмерку орловских, в масть подобранных рысаков, берейторы и конюхи пальцами пощелкивали от удивленья.

Кроме богатства и почти библейского долголетия, Господь наградил этого, к себе и близким безжалостного человека, обильным, под стать песку морскому, таким же деятельным потомством, которое с расчетливым прицелом, еще при жизни, раскидал по белу свету, чтоб немедленно забыть о нем. Он, как равнинный

[1] Зрелища *(лат.)*.

[2] Вверх *(фр.)*.

дуб, не помнил всех своих желудей, кроме младшего, в кого вложил все свои династические надежды и кому по чрезмерной склонности к шипучему крымскому напитку суждена была кличка **старика Дюрсо**. Все моральные и вещественные накопления отца предназначались ему одному, утехе гаснущих очей, в том числе непоминаемые в завещаньях сокровища вечного ремесла в сочетанье с тигровой хваткой. Полвека спустя ставшие фирменной маркой портреты сухощавого, без возраста, джентльмена с цилиндром на отлете и шамберьером в крохотном, с орешек, железном кулачке можно было встретить весьма во многих отраслевых предприятиях этого любимейшего из простонародных зрелищ, от дирекций заокеанских варьете, студий и мюзик-холлов вплоть до пуговиц и фирменных медальонов на брезенте бродячих цирков где-то в трущобах Центральной Азии.

Самое беглое сопоставление дат опровергает версию последыша в роду Бамбалски, будто родился в дедовском балагане во время представления на одной из провинциальных ярмарок бывшего Царства Польского. Все больше свыкаясь к старости с утешительным вымыслом, он любил в подходящей компании поделиться скитальческой романтикой бездомного детства, например, про иной сумеречный вечерок с уютным шумом дождя по протекавшей кровле, и даже однажды вспомнил с разбегу, как младенческий при появлении на свет крик его провиденциально слился с хрипом дедовской шарманки. Из почтения к фамилии никто не пытался уличить рассказчика во лжи, ибо знали, что случилось это чуть ли не во дворцовых условиях, при содействии заморского видного акушера. Все осталось позади. Не поверилось бы, что в ранней юности этот подержанный, брюхатый старик несколько раз выступал с группой пони на манеже у отца, несмотря на столь неправдоподобные подробности, как празднично-слепящая мгла арены, вступительные такты галопа в оркестре, тугая подстилка опилок под подошвой и, наконец, он сам на выходном поклоне — резвый и розовый мальчик в казакине и рейтузах небесного цвета. В первом же сезоне юный кумир уважаемой публики, как значилось в афишах, неудачно сорвался в вольтиже с малорослой киргизской лошадки, — тою временной хро-

мотой и прервалась плачевная карьера будущего Дюрсо. Только несчастье, и то — по настоянию горячо любящей матери позволило ему поступить в среднюю школу, где, видимо, для лучшего усвоения предметов, он просиживал по два года в каждом классе, пока нетерпеливый отец не вернул его из предпоследнего к себе в **дело**.

В те годы, стремясь возродить былое величие конного цирка, Джузеппе вводил громоздкие гала-представления на манер старинного **табло**. То было незабываемое зрелище, где, косясь на повелителя с длинным бичом, движутся две встречные карусели, а по барьеру в обратных направленьях мчится сплошное, голова в хвост, подрагивающее от ужаса кольцо четвероногих более мелкой породы. Уже во вторую зиму после возвращенья на манеж начинающему берейтору, в обгон более достойных, была предоставлена честь участия в отцовском триумфе. Новое несчастье произошло накануне премьеры и в конце репетиции, когда молодой человек ставил a genoux[1] четверку взмокших лошадей. Крайняя, когда-то работавшая с пумой и еще не отвыкшая ждать на спину ее пружинистый когтистый прыжок, в ответ на прикосновенье хлыста к подколенке извернулась и сквозь ботфорт прокусила все ту же ногу будущему Дюрсо, ближе к бедру на этот раз. Необходимость залечивать скорее психическое потрясенье, чем непоправимое увечье, вдохновила обезумевшую мать, вырвав любимца из-под деспотической опеки мужа, сразу из больницы отправить его к родне за границу, где и провел он около одиннадцати лет, чем впоследствии затруднил себе прохождение через отделы кадров. Туманные анкетные сведения не совпадали с показаниями очевидцев. По-видимому, досуг от медицинских процедур он поровну делил между чтением странных книг и практическим ознакомлением с развлекательными заведеньями, пока помышлявший о преемнике Джузеппе не поставил условием наследования немедленный переезд **мальчика** к себе на родину. Дней у него оставалось в обрез, а хотелось прижизненно в любой отрасли обеспечить будущему владельцу огромного дела престиж у циркачей, без чего считал невозможным дальнейшее

[1] На колени *(фр.)*.

процветание фирмы. После трехмесячных переговоров с матерью наступил долгожданный день свиданья, когда железный Джузеппе уже не по фотографиям, а поближе разглядел наследника. Включая неизлечимые недуги, ничто так не старит, как разбитая надежда. Погасшим взором созерцал отец стоявшего перед ним поношенного господина с франтовским котелком в руке, его сверхмодную, en cloche[1], клетчатую жакетку, с каким-то мефистофельским извивом башмаки. Мальчику шел тогда тридцать четвертый год. Скрепя сердце, старик повел радость своих тускнеющих очей показать сюрприз — выписанную от Гагенбека к его прибытию вполне готовую группу молодых львов, почти котят, еще без гривы. Среди друзей однажды, разойдясь, Дюрсо не без юмора описал свои сложные переживания при знакомстве с беспечно игравшими хищниками — тоскливое ожидание повторной боли в истерзанной ноге и нестерпимую щекотку в затылке от иронического отцовского взора, направленного ему в преждевременную плешь. Позже, в одном неприятном разговоре, на вопрос о происхождении хромоты, как-то само собой округлилось, будто на гастролях год спустя старший львенок ударом окрепшей лапы, так сказать, по третьему заходу, **раздел** ему до кости все ту же злосчастную ногу, тем самым знаменуя наступление мужской зрелости. Очень возможно, ради снискания жалости и послабления придуманная **байка** будущего Дюрсо, как и прочие в той вынужденной и, кстати, на целую неделю затянувшейся беседе, возымела бы решающий успех у его собеседника по ту сторону стола, кабы лежавший на нем наган не напоминал об исторической серьезности момента. По горькой иронии судьбы, вследствие судебной волокиты с разделом имущества покойного Джузеппе, младший из наследников вступил в права владения лишь летом семнадцатого года, в самый канун общеизвестных российских событий, значительно омрачавших ему фосфорический праздник жизни.

Завистливая сплетня утверждала, будто оставшиеся до революции месяцы, в предчувствии дальнейшего и в возмещение упущенного, хромоногий глава фирмы

[1] Колоколом *(фр.)*.

проездил по набережным крымо-кавказских курортов в причудливых фаэтонах или кавалькадами в компании со смешливыми дамами, поминутно без особой надобности приподымая цветной котелок и провожаемый яростью сторонившихся солдатских вдов... Тем скучнее было однажды, пробудившись от толчка рано поутру на казенной койке, в небритом виде и натощак очутиться лицом к лицу с незнакомым товарищем в морском бушлате. Правда, несмотря на свою должность, поначалу он показался довольно симпатичным со своей подкупающекурносой внешностью и простонародным почтением к искусству цирка, да его и звали чуть ли не **Иван Иванов**, хотя, несомненный самородок своего дела, и выпускал местами молодые ястребиные коготки.

Уже тот допрос, бывший едва ли не дебютом его следовательской деятельности, позволял предсказать ему блестящую будущность на избранном поприще. Так, посреди задушевного разговора о превратностях цирковой карьеры и вслед за рассказом о возмужавшем львенке, чекист слегка усомнился в необходимости для такого богача самому работать на манеже.

— Видите ли, уважаемый гражданин, у нас несколько другое дело плюс к тому и нельзя иначе, — независимо и с заалевшими ушами указал чекисту сидевший перед ним в ночном неглиже небритый упитанный господин. — Как правило, все знаменитые цирковые предприниматели, отец в том числе, стихийно выходили из числа великих тружеников и циркачей. — И в обличение невежды перечислил ряд всемирно известных фирм.

— Очень, очень интересно... — с простодушной любознательностью внимал тот. — Но все же, все же каков был приблизительно, если не секрет, средний годовой доход у папаши, когда вас покусал тот противный лев?

Такой дружественный гуманизм прозвучал в голосе морячка, что будущий старик Дюрсо непроизвольно попался в расставленную сеть коварства.

— Право, не скажу, потому что не знаю, да если бы и знал — не помню.

— Значит, так глубоко прокусил, что и память начисто отшибло? — дивился тот, предоставляя жертве время попрочней запутаться во лжи.

— Не в этом дело... — волновался Дюрсо, — а просто меня не допускали до финансов. До самой его смерти я был всего лишь трудящимся в труппе отца!

В доказательство последовали убедительные даты: лев кусал в одиннадцатом, Джузеппе умер в тринадцатом. Незадачливый наследник завел длинную повесть о своей, в общем-то, незавидно сложившейся жизни, целую **одиссею**, щедро пересыпанную искорками грустного юмора, чтобы не скучал собеседник. Особенно удалась ему история забавных ухаживаний за одной итальянской красавицей-жонглеркой, вознагражденных вполне счастливой женитьбой, кабы рождение дочки не пришлось оплатить преждевременной утратой юной супруги. Чудесный матросик только причмокивал да головой качал на житейскую экзотику незнакомой среды.

На протяжении очередной неполной недели самородку, по привычке добывать ценности из богачей, как вытряхивают монеты из копилки, удалось единственно сменой интонаций, без применения средств классовой борьбы, вытряхнуть из подневольного человека целиком и в трех тайничках размещенное достояние, считая по полторы штуки в три дня. Внезапное разорение и попутные переживания могли бы роковым образом сказаться на цветущем здоровье Дюрсо, если бы не чудом уцелевший четвертый — с некоторыми семейно-династическими реликвиями, да сердечное участие одной, в полусреднем возрасте, миловидной дамы, взятой в дом к осиротевшему ребенку, совсем туго пришлось бы вдовцу без женского пригрева и средств к существованью. К сожалению, кому-то не понравился подпольный, хотя бы и на хлеб насущный, сбыт помянутых фамильных безделушек на черном рынке, и около пяти лет Дюрсо подвергался холодной перековке в неблагоприятном климате, а по окончании срока не застал на пепелище ни девочки, переселившейся к могущественной заграничной родне, ни дамы сердца, вместе с порученным ей на сохранение фамильным, четвертым по счету, еле початым кладом. Бесправное положение лишенца плюс к тому атлетическое телосложение соперника, выступавшего в жанре **античный силовой акт**, удержали неудачника от напрасных телодвижений, нежелательных на краю пропасти.

Конечно, пережитое тяжело сказалось на его психике, и влиятельные друзья правильно сделали, поместив на время в соответственную лечебницу, пока не утихла очередная кампания по искоренению последышей проклятого капитализма. В ту пору один на всем свете милосердный самаритянин Давтян привечал раздавленного Дюрсо миской дарового борща, и тот не пренебрегал ею: репутация образцовой нищеты надежно хранила его от соседской зависти, корыстного приятельства и классовой ненависти, бушевавшей во дворе. Но если прежние удары судьбы давали ему основания зачислять себе в предки Иова, Агасфера и деревянной пилой перепиленного пророка Елисея, то теперь, когда на случай обыска, все повычеркнули его из телефонных книжек, даже родная дочь с ее врожденной брезгливостью к бедности, в его родословную включились и Лир с гоголевским Поприщиным. Впрочем, Дюрсо и сам воздерживался от нескромных визитов: было бы крайним свинством притащиться на обед в приличное академическое семейство и вторично спятить, скажем, за пломбиром.

Зато бесстрашно бывал всюду, где не требуется приглашенья — в общежитиях у молодежи поделиться преданьями баснословной старины, посидеть у больничной койки угасающей цирковой звезды, чтобы через неделю проводить ее к месту окончательного пребывания... Навестил раз одну неблагополучную квартиру со следами разгрома после ночного обыска. Риск сурового возмездия за подобную дерзость, если бы даже польстился кто-нибудь вышибить дух из беспомощного старика, вполне окупался приобретаемой репутацией неподкупной совести цирка и хранителя его традиций. В таком качестве он изредка допускался на собрания и выступал в кулуарах в защиту все более разрушаемой цирковой экзотики, которая заодно с балаганной мишурой и старомодным ритуалом доставляет **кураж** и творческую сытость циркачу, приятельский шлепок по плечу служил ему сладостным признанием все еще длящейся принадлежности к таинственному культу цирка. В свою очередь, отсюда проистекали подразумевающиеся права, вроде доступа на свободные директорские места с причитающейся долей аплодисментов, когда коверные вовлекали его в свои

потешные пантомимы... и стоявшая на выходе **униформа** отлично понимала, что за Дюрсо такой изображает возмущение в переднем ряду. Со временем, по мере отмирания прихотей и привязанностей, он так свыкся с последним своим прибежищем, что в цирк ежевечерне отправлялся как в должность, причем богемная кличка, освобождавшая старика от необходимости произносить на посмешище невежд свое титулом звучавшее династическое имя, сходила за экзотический псевдоним.

Глава XVII

Из-за нахлынувших дел всю ближайшую неделю Дымков так и не собрался к Дуне, а потом как-то не подвертывалось повода вспомнить о ней... В следующий раз она увидела его в неожиданной компании на речном вокзале в Химках, случайно, если не знать коварных, естественных со стороны его антипода, предпринятых действий. Повторялось обычное в природе явление, когда отслоившаяся от материнского лона несмышленая особь пускается в самостоятельные миграции по свету на страх и риск независимого существованья. Как и у художника, опустошенное ликование роженицы сменяется тоскою творческого одиночества, а дальше, по мере поступления слухов о головокружительной и неприличной для ангела карьере, тревожное родительское любопытство к судьбе своего детища последовательно проходило у Дуни все положенные стадии — от досады и обиды до боли и прямого раздражения. Был даже момент, когда из негодованья, затмившего естественную жалость к его обвисшим крыльям, она усиленно и напрасно старалась вычеркнуть Дымкова из себя, как смахивают мел пройденного урока, вернее — испустить его как вздох, с чего и наступает всякое выздоровленье.

К тому и сводились расчеты старика Дюрсо, чтобы захлестнуть добычу в водоворот событий. Невольно смущает легкость, с какой ему при его хворостях удалось приручить могучее и поначалу жизнеопасное существо таким старомодным доводом по нынешним временам, будто земные обязанности прибывающих ангелов состоят в на-

вевании публике заведомо беспочвенных грез и миражей, да еще столь сомнительным способом, как цирковой аттракцион. Однако исключительный успех мероприятия вряд ли объясняется только оперативностью старшего компаньона или ребячьей падкостью младшего на дешевые приманки вроде лести, лакомств и подарочных зажигалок, которые, конечно, сам Дымков мог фабриковать быстрее и лучшего качества. Вообще подлежат особому уточнению причинные связи описываемых событий, которые, если сверху глядеть, концентрично располагаются вокруг таинственного первомайского свиданья, видимо, ради нейтральности состоявшегося на уединенной квартирке кладбищенского батюшки. Пристальному мыслителю сразу бросится в глаза наивная, в условиях тогдашнего политического сыска, почти детская конспирация важнейшего мероприятия, не соответствующая ни космическим целям последнего, ни могуществу представленных сторон... но здесь нельзя без пояснения. В то время как умственные науки склонны считать мир пылающим отголоском некоей универсально-запредельной вспышки чего-то, устарелое богословие видит в нем одновременно приз и арену предвечной битвы Добра со Злом. Что касается Никанора Шамина, то, занимая золотую середину, он помянутый старо-федосеевский эпизод примирительно толковал как чисто деловую, возможно, далеко не первую у них встречу тех же самых, первично-полярных, однако материально-сущих начал и колебался лишь насчет истинной цели: был то разведочный маневр — не затевает ли противник очередной каверзы, или чисто дипломатический зондаж на предмет, скажем, примиренья в отдаленном будущем. Во всяком случае, такая логика способна совместить в едином чертеже весь хаос наблюдаемых явлений, столь совершенных в математическом плане, сколь противоречивых и бессмысленных в моральном.

Если же центром старо-федосеевской эпопеи полагать ту кратковременную беседу у Дуни в мезонинчике, где участники сошлись под личиной случайных лоскутовских гостей, то, значит, ангелу Дымкову безразлично было, в каком качестве ему пребывать до назначенной даты: быстро образовалось довольно странное, при очевидной разности возрастов и характеров, чуть ли не

через месяц уже на всю столицу прошумевшее сценическое содружество **палестрино**, — название было выбрано без всякой связи с музыкой, только по благородному звучанию. Слишком скоростное освоение даже и теперь малоизученной и весьма грозной силы, какой являлся ангел на том отрезке повествования, далось старику Дюрсо единственно средствами разумной дрессировочной тактики, состоявшей в постижении низшей психики приручаемой твари. Тогдашняя житейская практика показала, что нет надежней способа обеспечить себе прочное хозяйское старшинство над самой дикой и соответственно могуществу ленивой стихией, как поставив ее в постоянную от себя зависимость путем немедленного утоления едва возникающих у нее потребностей или капризов. Еще лучше держать ее в ярме неотложных заданий мнимой важности, во избежанье бунта не оставляя ее ни на минуту наедине с раздумьями или воспоминаньями о прежних привязанностях. После ряда умело подавленных дымковских попыток вырваться на часок в Старо-Федосеево наиболее сдерживающим для него аргументом оказался периодически внушаемый страх выдать себя, вернее — свое сомнительное происхождение, любым своевольным поступком и косвенным образом поставить под удар старо-федосеевских друзей, участвовавших в его утайке от властей, Дуню прежде всего.

Из предосторожности, чтобы не оставлять без присмотра, старший компаньон с утра пораньше заехал за младшим в Охапково; накануне было условлено устроить маленькую пробу дымковских дарований для выяснения, как пошутил он, производственной мощности создаваемой фирмы. Из воспитательных соображений старик Дюрсо жестким условием своего окончательного согласия на руководство ставил благоприятный исход испытаний. «Нет-нет, не уговаривайте, Дымков, это слишком трепка нервов, чтобы в моем возрасте покупать кота в мешке!» Разумеется, сеанс можно было устроить и в домашней обстановке, однако на данной стадии лучше было прятать находку от свидетелей, прежде всего от завистливых соседей, из которых в первую очередь вербуются доносчики. Кстати, у Дюрсо имелся на примете укромный уголок в Подмосковье, запавший в память по-

сле одного интимного пикника вдвоем, однако старика потянуло вдруг на лоно природы, в глушь и снег не запоздалое сожаление по поводу иссякших радостей бытия, ни даже возможное в его упадке суеверное побуждение совместить воспоминание о них со вступлением на возрождающий рубеж. Но последнее требовало кое-каких расходов на обзаведенье, и вот представлялся удачный повод заодно, в сопровожденье спутника, навестить опушку приятно-памятной дубравы, где неделю спустя после пейзанских утех молодой Дюрсо в пророческом предвиденье перемен закопал шестой, так сказать, страховочный, на случай мирового катаклизма, самый неприкосновенный тайничок.

Коляской до места было бы часа полтора, автобусом теперь оказалось совсем близко. С остановки самодельная карта двадцатилетней давности повела компаньонов по шоссе до перекрестка с проселком, откуда было рукой подать до нужного сворота в лесную глубинку. С утра потеплело, опознавательные ориентиры в виде мостков и церквушек с железнодорожным переездом посреди оставались без перемен, было вольготно и весело шагать в синюю даль по накатанному, остекленевшему насту. В очередном, на всю дорогу затянувшемся монологе старик Дюрсо сообщил, что за ночь он обдумал вчерне намеченное дело на ближайшее трехлетие, и если сегодня дымковская проба ему понравится, он охотно примет на свои плечи всю хворобу и бессонницу за них обоих; подразумевались неизбежные хлопоты с арендой помещения, включая свет и афиши, также всякие вазы с тритонами и другой, по ходу представления, научный инвентарь, плюс к тому подмазать где надо или поговорить в инстанциях, наконец, идеологическая подготовка зрителя, чтобы не получился опиум для народа.

— На данном участке фронта я ручаюсь за полный порядок, вам останется голая техника. Двадцать минут на манеже, после чего имеете на выбор спать или шалить, как молодой Бог, в пределах моей видимости, чтоб не склевала шустрая птичка... Что касается добрых дел — только в мелких купюрах, чтобы не производить подозрение как прохвост, заговорщик или идеалист, но пускай дополнительная реклама, что чудак и джентльмен. Я этого не

касаюсь, но если правда, что вы ангел, то вам неудобно, словно стрекулист, делать в переносном смысле чечетку при крахмальном гарнитуре плюс цилиндр на отлете. Здесь, я предвижу, мне достанется нелегкая половина, и я согласен немножко больше... но не в этом дело. Не подумайте, что я рвусь иметь пай в большом аттракционе, а просто не могу позволить, чтобы в сутолоке жизни рассосалось такое дарование, как вы, если оно по молодости не имеет представления, с кем имеет дело в собственном лице. Берегите себя от всего на свете — от потных рук и пристального вниманья, грязной дружбы и лишней щедрости, но плюс к тому не оставляйте на виду: может нанюхать большая кошка, наступить ногой большой начальник. Это странный предмет: невесомый, он легко режет сталь и может развалиться от неосторожного прикосновенья. Поверьте старику... тот, у кого никогда его не бывало, лучше других понимает, что такое **талант**!

— А что такое талант? — как эхо переспросил Дымков.

— Вот, на каждый вопрос умного собеседника можно ответить только как Пилат. Наука еще не знает, болезнь это, или дар, или ярмо... Я тоже, но постараюсь. Так называется частное производство ценностей, мимо плана и казны, причем в свою пользу... получается неравновесие. Выдайте всем одинаковый паек, черствая корка плюс кружка воды, и один жует свою тюремную мурцовку **по гроб жизни**, как любит сказать директор цирка, а другой немножко пощурится на те же засохлые дырки в тесте через лупу воображения, которое ему досталось без всяких затрат на оборудование, и вот немного спустя в книжных витринах появился какой-нибудь грот любви, то же самое пещера **Лейхтвейса**, наконец, ценное море Айвазовского, после чего на вторую корку намазывается дефицитное масло, а первую глотают всухую, просто так. Но если у меня орава двенадцать ртов плюс на днях приезжает из провинции дядя с тромбофлебитом, и, если хоть для проформы, не сытости ради, надо в каждый сунуть по куску, и за это погибать круглый день на дымном производстве... Если даже кто понимает, что перед ним талант, и сам имеет немножко на этом деле, но, эгоизм природы, каждому хочется больше... и даже не в этом

дело! Если у фабриканта отбирают производственное средство на какой-то паршивый драп-велюр с бумажной основой или вообще, то какой резон оставлять в частных руках выпуск товаров, имеющих хождение наравне с иностранной валютой или переходом в чистейший динамит? Лучший выход прикрепить талант на золотую цепь, как тот знаменитый кот исполнял свои функции вокруг надежного дуба. Но нельзя наложить лапу нормальным декретом... тогда золотая курочка вовсе перестанет петь... и даже неизвестно — кто поведет страну вперед из той пещеры? Но где гарантия, что будет хорошо? И вообще: сколько тех и других зарыто на всяких перекопах, но та еще не успела сделать вздох облегчения, как снова странные фигуры мелькают там и здесь в бобровых шапках плюс к тому заседают для украшения президиума наравне с выдающимися героями стройки и промышленности. Но, мало того, что сыт один, уже отложено кое-что на будущую неутешную вдову с подрастающими малютками для поддержания на культурном уровне, откуда образуется прежняя накипь в жилах человечества, и завтра снова работа неизвестным солдатам выскребать каленым железом. И так небольшой семейный капитализм вокруг могилки ценного творца выстраивается... Это пока еще только талант, а что если вдруг перед нами гений? У нас такое слово можно только для древних покойников, чтобы не вызвать в тружениках опасное брожение от обиды. Скажите, вы возьметесь разъяснить на большом собрании, почему при одинаковом анатомическом устройстве, даже с меньшим запасом физической мощности, один кушает свежий номенклатурный судак, то другому сойдет тюлька прошлогоднего засола? Но я еще не сказал про нравственное раздраженье в нижеоплачиваемых категориях населения, где уже разбужен аппетит к светлой жизни в разрезе жилплощади и многоразового калорийного питания. Чувствуете немножко в ногах, как шатается вся доктрина? Дайте сюда ухо, я вам скажу: гений, вот где проходит будущая трещина мира! Правда, природа иногда гримирует своих любимцев под заурядность, как все, но графа Толстого вы не сможете спрятать от масс в мужицкий тулуп и валенки. И если недавно буржуя сравнительно с небольшой процентной

ошибкой узнавали по толстому животу, как я, то сейчас у нас шикарно навострились узнавать врага по глазам... О, этот холодный, задумчивый огонек в зрачке. Чаще опускайте веки, товарищ Дымков: сегодня еще ничего, но послезавтра я вам не дам гарантии, что сразу сто тысяч рук потянутся туда погасить, восстановить поруганную справедливость распределенья. Но не бойтесь, я буду при вас ангел-хранитель: не надо меня благодарить... и баста! Кстати, мы уже пришли, — заключил Дюрсо и вдруг растерянно огляделся, — но почему-то здесь не та местность? Неужели мы заблудились?

Мускульное ощущенье подсказывало близость цели — окружающие приметы, несмотря на зимний пейзаж, тоже совпадали с записанными ориентирами. Как и много лет назад, железная дорога проходила там параллельно магистрали: слева, сквозь изреженную полосу снегозащитных елей краснел кирпичный домик путевого обходчика и почти в створе за ним виднелась знакомая колокольня ближайшего селенья, только без креста и купола теперь. Справа деревенский поселок взбирался на шоссейную насыпь, откуда открывался вид на столь тщательно вырубленную пустыню, с пнями да неубранными отвалами хвороста, что трудно было найти подходящее укрытие для задуманного опыта. Хотя ни деревца не сохранилось от былых лесных угодий, внезапно из небесной полыньи проглянувшее солнце осенило эту унылую сизую беспредельность воспоминаньями об одной чудесной, давней, при несхожих обстоятельствах состоявшейся прогулке. Дымков помог оскользнувшемуся старику сойти по обледенелому спуску.

Дальше не попадалось остерегающих признаков жилья. Вдобавок, за очередной грядкой высоко наметенного сугроба, в овражке объявилась нечаянная березовая рощица, видно, забившаяся сюда от разгульного топора; торчавшие поверху макушки издали казались лозняком. Полутраншейного вида тропка вела в глубь оазиса, ветерок сбоку сдувал в лицо колкую снежную пыль. Место вполне подходило для показа чудес умеренного профиля. Нашлась утоптанная площадка, служившая привалом для охотников, в глубоко протаянной лунке чернели головешки костра.

— Здесь довольно уютно плюс к тому же не ветрено, — еле переведя дыхание, заметил Дюрсо, устраиваясь на ближайшем пеньке, как на нашесте, и приглашая партнера приступить к делу.

— Чего бы вы хотели? — спросил тот с болезненной улыбкой, не предвещавшей добра.

— Неважно... начнем что-нибудь в камерном стиле. У нас уйма времени до обеда!

Было крайней неосторожностью с его стороны предоставлять выбор неопытному любителю, которому, видимо, не хотелось ударить в грязь лицом. Без предупреждения, хотя в сравнительно безопасном расстоянии Дымков буквально из-под ног у себя вызвал гигантский, кратковременный по счастью, факел ослепительного огня, урчавший наподобие адской форсунки. Слишком сильное впечатление, способное сразить профессионального солдата, попросту опрокинуло назад, пятками вверх, беззащитного старика, не подававшего признаков жизни. Как выяснилось позже, несмотря на погожий денек, исключительная по высоте и яркости вспышка была замечена из довольно отдаленных постов наружного наблюдения. Партнеры успели покинуть свой полигон до прибытия аварийно-пожарных команд и высших лиц специального назначения, причем в условиях крайней спешки и гололеда ввиду частых оттепелей старик Дюрсо проявил неожиданную резвость.

— Если вам не понравилось, могу что-нибудь другое... — на бегу заглядывая ему в лицо, виновато спрашивал Дымков.

Они перевели дух лишь на остановке загородного автобуса. Не без опаски старик Дюрсо проследил длинную вереницу служебных машин, промчавшихся мимо к месту происшествия: переполох легко объяснялся загадочным происхождением подмосковного протуберанца, приписанного к тогдашней политической обстановке, и сказал:

— Теперь я не спрашиваю, как вы делаете, будто перебиваю ваш секрет, но между нами, могут сверху официально спросить... Вы что, самородок? Это давно у вас?

— Всегда. Я же говорил вам, я ангел... — с подкупающей ясностью признался Дымков и в подтвержденье нечто блеснуло во взоре, как вечерняя звезда.

— Я помню; если вы заметили, я немножко глухой после гриппа. Скажите мне на другое ухо, пожалуйста.

После повторения он сперва подавленно молчал, по-иному и уже в памяти созерцая колдовское пламя из оплавленной земляной горловины, которой, кстати, не осталось и в помине: налицо был гипноз открытия. Потом взглянул на Дымкова с мысленным вопросом, в каком именно разрезе следует понимать слово **ангел**. И тот немедля кивком подтвердил, что в том самом, единственном.

— Не бойтесь, почти никто не знает... Вам неприятно это?

— Напротив, я не привык осуждать, у каждого своя работа, — с холодком пожал плечами Дюрсо, к которому тем временем воротился благодетельный скепсис: — Когда надо, сам я широко смотрю на вещи! — и еще раз посоветовал забыть все лишнее на земле, чтобы не нарваться однажды на чье-нибудь служебное любопытство, например, откуда достал себе вполне готовое, оборудованное тело?

В целях дальнейших воспитательных предостережений, предложил заехать к себе в жилище одинокого мудреца, которое по скромности назвал Диогеновой бочкой. Скоро прозаическая действительность вообще заслонила фантастические переживания утреннего приключенья, и сказалось благотворное влияние удачи на стариковские настроенья. При запоздалом в тот день, скромном завтраке у Дюрсо, гадливо отстраняясь от всего мясного, гость охотно, под предлогом ознакомления с бытом согласился на глоток разбавленного вина, и, судя по застенчивому румянцу грехопадения, ему понравилась искристая кислинка... Кстати, бочка старика оказалась уютной двухкомнатной квартирой со всеми удобствами. Там и был накидан вчерне план кое-каких предварительных действий, где Дюрсо обнаружил размах и предвидение прирожденного импресарио. Между прочим, послушное согласие Дымкова на любые варианты, нехорошо истолкованное Никанором как признак легкомыслия, неблагодарности к старым друзьям, почти умственной неполноценности, с равным правом может служить доказательством, правда, в самом зачатке, житейской со-

образительности. В самом деле, феерически пестрая программа старика Дюрсо сулила командировочному ангелу возможность без скуки скоротать более чем трехмесячное ожидание той таинственной встречи, ради которой и прибыл в наши Палестины: легко представить круг печальных развлечений, какими располагало для него старо-федосеевское гостеприимство. Послушное молчание клиента плюс отсутствие сторонних наблюдателей и вдохновляли маэстро на самую необузданную импровизацию. В ней были представлены дух захватывающие картинки последовательного завоеванья земного шара, которое выглядело как непрерывный триумфальный вояж по столицам мира, совершаемый исключительно в воздушных лайнерах первого класса, хотя имеется своя прелесть и в пароходах каботажного плаванья, с продолжительными стоянками в мелких портах, где жители также хотели бы лично прикоснуться к чуду. Ввиду того, что с заграничным признанием в кармане всегда легче бывало прославиться в России, особенно теперь, свое победное шествие они начнут, скажем, с Амстердама, где у старика Дюрсо имелись влиятельные родственные связи, и посрамив виднейшие светила современных тайных наук, по слухам притаившиеся там подобно жабам в земной расщелине, в ореоле сенсации смело двигаться на **Париж**, чтобы, неделю продержав местную балованную публику на сплошных, с несчастными случаями, кассовых аншлагах, безмолвно исчезнуть в Лиссабон. На кроткий дымковский вопрос, зачем ему в Лиссабон, было отвечено замогильным шепотом, что уж тогда-то проживающий инкогнито в пригороде величайший волшебник некто N, доводящийся шурином старику Дюрсо, председатель всемирного метапсихического конгресса, не откажется самолично навести на юного коллегу лоск высшей чернокнижной полировки, дальше чего, по адской иерархии и мастерству, если не считать Вельзевула, остается только он сам. Как всегда публика откуда-то узнает о состоявшемся посвящении знатного гостя в ранг вселенского мага экстра-категории, и начинается свистопляска всемирного признания. Корзинами поступают умоляющие телеграммы хоть на пару гастролей, его избирают туда-сюда, ему со скрипом зубов аплодируют

смущенные позитивные науки, а корреспонденты добиваются для широких читателей интервью насчет смысла жизни и кто его любимый композитор, но Дымков с загадочной улыбкой сфинкса отсылает их толпу к своему шефу пресс-бюро. Не исключено, что и апостолическое величество попытается в частной аудиенции выяснить у таинственного незнакомца кое-какие секретцы по небесной части... Но однажды героя на четверке лошадей провозят сквозь дворцовые ворота мимо стражи в меховых шапках, что в особенности ценно по теплому тамошнему климату, и вот вдовствующая супруга местного монарха венчает великого Палестрино за оказанные услуги почетной шпагой для ношения через плечо на самой красивой ленте, какую когда-либо производила шелкоткацкая промышленность. В апофеозе славы патриот устремляется к себе на родину, где уже оценили его самоотверженность, что не сбежал, не соблазнился на чужбине достигнутым уровнем жизни, также несмотря на другие обстоятельства. Его везут в пуленепробиваемой машине и на пути следования машут флажками, цветы и бумажки бросают с этажей, а газеты, даже фабричные многотиражки выходят с его портретами. И вот он едет рапортовать о своих достиженьях в самый верх, где за беседой его угостит чаем, возможно, сам товарищ Скуднов... а здесь гарантия, что его не арестуют в том же году. Как бывшего лишенца, старика Дюрсо туда, конечно, не пустят, если сам Дымков не вспомнит, кто выводил его на дорогу общественного служения.

— Почему же вы так дурно думаете обо мне? Я непременно возьму и вас с собою... — с мягким упреком сказал Дымков.

Все это время он с грустной улыбкой поглядывал поверх компаньона, словно поверял чем-то искренность смешных картинок высшей славы в представлении Дюрсо. И хотя ничего такого не было покамест, что могло бы насторожить ангела в отношении планов Дюрсо, последний счел необходимым тотчас оправдаться:

— Конечно, я не пророк предсказать будущее и не надо брать всерьез игру воображения, но мудрецы учат нас так, чтобы осталось воспоминание под конец, если не деньги. Одна старая полетчица сказала из собствен-

ного опыта, когда артист падает из купола на манеж, то он успевает за короткий момент провернуть в голове целую жизнь. Отсюда вытекает, надо накопить сперва, чтобы иметь, что провертывать, плюс к тому интересно и побольше, потому что, с одной стороны, вы понимаете, как-то не хочется спешить в такую минуту, но с другой — зачем портить себе последнее настроение? Если не будете мне мешать, я вам обеспечу запас богатых впечатлений на три таких сеанса... но не в этом дело! Насчет ангела тоже будем считать, что вы шутник-любитель, как я. Меня вообще не касается, чем вы работаете — гипноз, как у Оливадо, или просто манипуляция с ширмой, как все: через неделю, максимум две, вы у меня будете стоять на афише уже иллюзионист-оператор первого класса. Но если публика всегда хватает артиста за фалды, чтобы поймать, разоблачить, наступить ногой на чудо, чтобы не поверить в обман, то здесь у вас другая крайность; не выдать себя в обратную сторону, как я предупреждал. Лучше дайтесь им немножко, будто вы нормальный жулик, не хуже остальных. Нет, я не заставлю вас делать аттракцион с аппаратурой, ящики с зеркалами плюс лиловые букеты, после чего стыдно выходить на поклон. У нас при выступленьях будет торчать на сцене фальшивый ассистент, будто что-то помогает, но с этой целью нужен солидный, на постоянном окладе, непьющий человек. У моей Юлии завалялся без дела отрез китайской полупарчи как раз на камзол плюс чалма размером с детский зонтик, будет очень хорошо, как бывают помощники у больших факиров...

— Но мне не нужно, не нужно никаких помощников! — неожиданно взбунтовался Дымков.

— Он никому не будет мешать, только стоять в своем халате с золоченой искоркой для отвода глаз, но плюс к тому по совместительству может работать на отдел справок... Не стану обнадеживать, но у меня есть на примете верный человек... И, что в особенности ценно, почти ничего не слышит. Здесь не надо смущаться: мне же не вредит моя хромота!...

— Я просто не хочу, понимаете? Не хочу... — уже почти кричал Дымков, с отчаяньем сопротивленья ударяя ладонью по столу, и надо дивиться его выдержке, что

удержался от естественных в его положении, необдуманных поступков.

— Хорошо, договорились, я снимаю свое предложенье, если вы ответственность берете на себя.

Стремясь приучить будущего партнера к дисциплине, Дюрсо все чаще, на пробу, заговаривал с ним в тоне хозяина, пока не допустил непростительный перегиб. По-видимому, с непривычки к затянувшейся, несколько односторонней беседе тому представилось, что отныне неутомимый Дюрсо уже вдвоем станет бубнить возле него что-то день и ночь. Однако случившаяся вспышка стала полезной как показатель пределов дымковской кротости, также и для выяснения наилучшего способа укрощения подобных бунтов в дальнейшем. Теперь разумнее всего было дать Дымкову отдых, и так как у Дюрсо после стольких треволнений тоже не хватало сил провожать его домой, он решился на риск отпустить его одного, подчеркнув на прощанье степень оказанного доверия.

Лишь в прихожей было замечено, — сам же Дымков и обнаружил на себе тот, незнакомый, откуда-то взявшийся головной убор. Видимо, прежнюю его потешную шляпенку унесло в зимние просторы шквалом давешнего пламени, а уже на обратном бегу, защищаясь от жестокой поземки в открытом поле, он усилием воли и сработал себе тот фантастический картуз по образцу той спортивной каскетки, какую они оба, как припомнил Бамбалски, видели на одном встречном лыжнике. Появление грошовой вещи из ничего повергло Дюрсо в неприятные, впрочем, в чисто житейские раздумья, ибо даже десятикратный, буквально на глазах, акт творения более ценных предметов не поколебал бы его устойчивого, скептического мировоззренья. Но данный случай произошел вопреки строжайшему запрету пользоваться своим опасным даром для личных надобностей, и в следующий раз мог машинально совершиться в присутствии секретных заинтересованных лиц, отчего старик испытывал тревожный холодок, как от груза взрывчатки за спиною. Но главная-то, неподозреваемая пока угроза заключалась в том, что ангел понемножку, пока без ущерба для своего могущества, начинал чувствовать власть тела над собою: он зябнул.

Глава XVIII

Задуманное покоренье мира открылось пробным турне **группы Бамба** по Средней Азии, где у Дюрсо оставался, хоть и поредевший, круг друзей и знакомых. Компаньоны поэтому отбывали в дорогу без положенных путевок и налегке: весь инвентарь площадной магии вроде яиц, цветных букетов и живых кур неисправимый оптимист Дюрсо рассчитывал достать на месте. Кроме обиходных вещей, в чемоданах помещался запас контрабандно изготовленных, **левых** афиш, впрочем, так и не появившихся в расклейке из-за дважды поминавшегося там **чуда** в прямом его значении. Самое существенное Дюрсо вез в голове — стратегический план овладения туземным плацдармом для дальнейшего, с ходу, захвата попутных территорий; дальность расстояния обеспечивала разбег к генеральному штурму столицы.

Однако рекордный для великих антреприз успех в совхозных клубах и санаториях областного значения превзошел все ожидания старика Дюрсо. Удивительно то, что кое-где в глубинке потрясенная публика обходилась без положенных аплодисментов, а в одном месте на другой день после показа прорвавшаяся в административную каморку толпа местных молокан убеждала испуганного иллюзиониста открыться народу в присущем его рангу небесном облике. Судя по намекам Дюрсо в его подробных, на болтливость рассчитанных письмах столичным друзьям, даже получалось, что, как не раз бывало в старину, непонятное слово **Бамба** едва не стало религиозным девизом новой политически опасной секты, угрожавшей официальному атеизму. С переездом в соседний район и чтобы пресечь нездоровый энтузиазм зрителей, старик Дюрсо ввел в репертуар старинный трюк, когда из мужской буржуазной шляпы под названием **цилиндр** извлекается нормальная яичница на троих с полдюжиной пива, а также раскладной ломберный столик, за которым оное и прикончили находящиеся в зале передовики рыболовецкой бригады под завистливое улюлюканье остальных тружеников моря. В анонимном тогда же доносе куда следует безобидный фокус был обрисован как беспримерная оргия с растратой профсоюзных

средств, и дирекции не миновать бы прокуратуры, кабы не показания свидетелей, что угощение состоялось без нарушения социалистической законности, недосыта и даже стоя. В том же райкоме последовало как бы в шутку, но вполне всерьез, соблазнительное предложение артистам от персоны, глубокомысленно сосавшей карандаш, — не возьмутся ли тем же способом и по частному соглашению вытянуть из годового прорыва тамошний трубопрокатный завод? С одной стороны, патриотическое согласие Дюрсо, помимо премиальных, сулило ему почетную грамоту, снимавшую с него родимое пятно капитализма, зато в случае идеологического разоблачения обоих могли запросто переключить на дорожное строительство в необжитых районах за полярным кругом, что и заставило коллектив Бамба отказать искусителю. Перечисленные эпизоды дают представление о легенде, в образе которой докатились до Москвы южные аплодисменты.

Во всяком случае, здесь наглядно предстают преимущества Дюрсо как руководителя добрых дел сравнительно с о. Матвеем и его дочкой, не обладавшими ни его политическим чутьем, ни житейским опытом: в случае лоскутовского варианта катастрофа наступила бы еще раньше. По характеру своему и темпераменту старофедосеевский батюшка принадлежал к нетерпеливой породе русских, от века стремившихся полакомиться незрелым яблочком, чтобы по сто лет кривиться от оскомины. И если великие истины небесные, при выходе на простор проявляли порой столь разрушительные мощности, легко представить производительность вполне земной, осуществляемой обыкновенным чудом. Предвидя грозящую отсюда опасность, Дюрсо к концу гастрольной поездки, чувствуя упадок сил, все чаще напоминал ангелу об осторожности в его сиротской деятельности после своего ухода из жизни. Как ни странно, умный старик имел в виду скоростное преображение планеты на высшую ступень благоденствия, что неминуемо повлекло бы непредсказуемые перекосы бытия.

Последний урок дан был Дымкову на другой день после инцидента в районном Доме рыбака, за неделю до отъезда в Москву и перед самым выходом на сцену.

— Оттого что, как педагог, я не терплю повторяться, — сухо и отрывисто говорил старик, набрасывая на Дымкова окончательные живописные штрихи, — то я лучше достану вам блокнот для записи черным карандашом, но плюс к тому я просто устал от вас как человек. Положа руку на сердце, зачем вам трогать незнакомые кнопки в машине, если запрещено высовываться на ходу движения из трамвайного окна?.. Или вам еще не понятно, чего мы коснулись через тот несчастный ломберный столик, решаясь пятью хлебами накормить зрительный зал? Хотя по независящим причинам я уже не могу вас познакомить кое с кем, которые вступали в разногласие с научным марксизмом... Но не в этом дело! Даже согласен допустить, у вас имеется серьезный аппарат самозащиты, но молния небесная тоже сердитая вещь... И плохо, когда мальчик с неполным техническим образованием загоняет ее в специальный медный завиток, чтобы крутила вытяжной вентилятор в пивной или еще похуже. Но идите же, любимец публики, второй звонок и опять запаздываем...

Ни битковые кассовые сборы, ни открывшаяся вкруг загадочного ансамбля корреспондентская суетня, ни телеграфная пристрелка прогорающих филармоний — ничто не смогло успокоить старика Дюрсо. Не рассеяло его тревожных предчувствий экстренное от дочери, дотоле не баловавшей письмами падшего отца, взволнованное сообщение о циркулирующих в артистической среде слухах насчет какого-то милостиво-угрожающего запроса из секретариата товарища Скуднова непосредственно вострепетавшему цирковому начальству, когда же наконец предполагается порадовать и столицу выступлениями виртуоза-волшебника, прозябающего ныне где-то на задворках среднеазиатских республик?..

Вследствие общедоступных билетных цен на любые зрелища блистательный успех почти двухмесячного триумфа выражался скорее в моральных достижениях, нежели финансовых, и еще — в частичном подавлении гадкого самочувствия социальной неполноценности. Натерпевшись от мелких властей, он все чаще теперь в жалком опьяненье надежд, навеянных дымковским могуществом, и помимо воли рисовал себе картинки реван-

ша, одна другой безумнее, к примеру — как за утренним кофе в своем апартаменте слушает он божественный храп у себя за ширмой, где на оттоманке, после ночного сабантуя отсыпается некто, самый ужасный всех эпох и народов... Но самое мучительное заключалось в догадке, что волею ангела, в котором уже не сомневался, в достигнутой стадии, это кощунственно-фамильярное пожелание становилось осуществимо.

Возвращение из турне партнеров никак не походило на их полуворовской, крадучись, отъезд. Всю дорогу поездные официанты вагона-ресторана с нетронутой пищей под салфеткой, не щадя профсоюзного достоинства, взад-вперед носились к ним в купе, откуда в придачу к кофейным и цитрусовым ароматам валились клубы сигарного смрада, который при врожденном отвращении старика к табаку служил показным фимиамом высшего процветания. Сколь преображает человека удача! Сидя против зеркала, Дюрсо с удовольствием поглядывал на сидевшего наискосок тучного и лысого, тоже интересовавшегося им надменного господина с отвислой губой, в золотых очках и слепительно-тугой сорочке; сбоку покачивался на вешалке добротный пиджак уже без маскировочной бахромки на обшлагах. Вызывающее поведенье Дюрсо диктовалось трезвой, даже заниженной оценкой возглавляемого им теперь мирового аттракциона, что позволяло ему слегка выделяться среди трудящихся с правом на мелкие прихоти, безобидное вольнодумство, а там, глядишь, и обычный в антрепренерских кругах перстень на пальце для снискания почтения у подчиненных и клиентуры. Поистине судьба посылала ему на закате последний шанс оправдать свое существование в глазах современников, правительства, покойного Джузеппе, высокомерной дочки, его величества Цирка, но прежде всего — самого себя.

Сторонних наблюдателей несколько сбивал с толку ехавший с царственным стариком, ни в чем ему не пара, долговязый спутник в помятой одежде, с подзапущенным пушком на подбородке. Закинув назад затылок, далеким от коммерции взором плененной птицы следил за танцующими снаружи нитками проводов, то и дело убегающих за верхнюю кромку окна, чтобы снова и снова

спуститься в неприютную вечереющую мглу. Дюрсо не любил таких выключений, когда Дымкову при малейшей внешней помехе ничего не стоило вырваться из-под его опеки, из действительности вообще — где нет телефона и вход посторонним воспрещен. Старик начинал сознавать свою **лишность**.

Ввиду того, что честолюбивым замыслам Дюрсо грозило вероятное при нынешней славе на московском горизонте возникновение какой-нибудь вздорной, оборотистой красотки, оставшиеся до столичного перрона полчаса наставник потратил на описание классических несчастий любви. Коварные средства, применяемые девицами для уловления холостяков, Дюрсо подкрепил примерами из персональной практики. Проявленное ангелом неведение по дамской части в сочетании с покамест поверхностной любознательностью к предмету позволяет приблизительно датировать и смутные пока проблески влечения, приобретенные вместе со смертной оболочкой.

— Не буду вас пугать, мой мальчик, но вы обратили внимание, эти седые волосы у меня за ухом? Тогда спросите меня — откуда и почему?

— Но почему?

— Так устроено. Майское утро, и улица после поливки, и бежит такая звонкая штучка на высоких каблуках, и все мужчины задумчиво смотрят вслед, несмотря на сложное международное напряжение.

— Отчего?

— Я ждал этот вопрос. Природе нужно продолжение вида плюс к тому при виде подрастающего потомства получается моральное удовлетворение от многолетней родительской деятельности. Любое утешение, даже дети, хорошо под старость, чтоб не умереть одиноким.

— А зачем?

— У меня нет от вас секретов, но вы затронули наболевший вопрос. И если как философ заинтересовались на эту тему, то нас привозят сюда без спросу в черном мешке и в нем же увозят куда-то... плюс к тому, когда хорошенько натолкают в бока, как делал со мной малознакомый матрос в девятнадцатом году, плюс к тому болит сухожилие на ноге, то невольно тянет отдохнуть под каменное

одеяло, то сверх того хочется еще чего-то немножко, чтобы случилось впереди.

Сквозь косые комковатые хлопья снега с вагоном наперегонки бежали в окне, подскакивая на пригорках, отставали в глубокой лощине и опять настигали босоногие березовые перелески: зима прочно держалась в Подмосковье. Перед самым прибытием из-за тучи выглянула пролинованная лучами мартовская синева, и замелькали участившиеся безлюдные полустанки в окружении неказистых дачонок, потекла приземистая просыпавшаяся окраина, прогретая обманчивым зимним теплом. И вдруг поезд вступил в гулкие, паровозной гарью пропитанные сумерки вокзала, и почти тотчас на смену дорожной скуки и ожидания столичной новизны пришло чрезвычайное событие, которое вымело из дымковской памяти недавние предостереженья и несколько встревожило старика Дюрсо, поотвыкшего от родственного вниманья, пока не увидел в нем доброе предзнаменованье.

На дебаркадере путешественников встречала в окружении большой свиты молодая нарядная дама, резко выделявшаяся из бежавшего по сторонам потока пассажиров дальнего следования. Весь ее внешний облик, начиная от пышной шубы редчайшего вздыбленного меха до меховой же шляпки, носил отпечаток несвойственной эпохе дороговизны, руками опытного модельера низведенный в элегантную скромность, и даже сама тень ее от случайной фары, скользнувшая по стене, была исполнена той же праздничной необычности. Толпа бессознательно расступалась перед ее строгой нахмуренной красой, а один отшатнувшийся скитско-поморского обличья мужичок с лубяной котомкой на горбу, такая же архаическая здесь диковина, как прежняя лошадь или русский самовар, проводил ее перепуганным взором, тем самым отдавая дань породившему ее аду.

По дороге к выходу Дюрсо выяснил причину появления дочери в такую рань: до шедшего сзади с чемоданами Дымкова снова донеслась произнесенная фамилия ненавистного Преснякова. В подтверждение слухов за последнюю неделю чем-то панически обеспокоенный чиновник дважды справлялся у ней по телефону о сроках

возвращения отца, что сулило последнему долгожданную возможность расплатиться с гонителем по заслугам. За истекшее время Юлия ни разу не взглянула на шагавшего рядом с носильщиком Дымкова, она принимала его как низшее, не ее круга существо из служебного персонала в ансамбле. Когда уже на площади Дюрсо обернулся было представить дочери своего партнера, назвав его в полушутку чародеем наших дней, та не отозвалась, не простилась, спускаясь по ступенькам к ожидавшему ее такси.

— Это дочь моя, Юлия... помните, выступала на испанской елке? — смущенно бормотал Дюрсо своему спутнику, который улыбкой провожал отъезжавшую машину. — Она немножко не в духе, не обращайте внимание. Знаете, как трудно пробиться сегодня начинающему художнику?.. Должна сниматься в большом фильме, и уже все на мази, но опять затяжка со сценарием. Сто инстанций, и везде требуется понравиться, кто хочет за счет автора оправдать свой паек. Это же комедия масок, когда везде фигурируют одни и те же лица. А вы знаете, как называется стандартная роба, чтобы годилась на всех? Ведь это и есть саван...

Из предосторожности, чтобы не перехватил ужасный Пресняков, три последующих дня старик держал Дымкова у себя на квартире, откуда велись телефонные хлопоты и происходили таинственные свиданья. Сквозь щель в портьере избранные посетители допускались взглянуть украдкой на сенсацию века, как она там, полулежа на тахте и донельзя причудливо переплетаясь в коленках, в прежнем увлеченье чиркает и чиркает безотлучной игрушкой, причем посторонние шорохи и шевеленья занимали Дымкова не больше мышиной возни. Однако, когда желтоватый отсвет вспышки заливал ему лицо, в нем читалось мучительное недоуменье. Привыкшему в большой вселенной к довольно громоздким механизмам для добывания огня, умещавшийся в ладони никелированный пустячок представлялся ему поистине мистической загадкой. Стремясь удержать при себе подозрительно молчаливого и в чем-то ненадежного партнера, Дюрсо придумал трудовое нотариальное соглашение, причем Дымков с почтительной приглядкой косился на

лиловую печать, утверждавшую его зависимость от старшего компаньона.

Пробное, вроде пристрелки перед штурмом столичных площадок, выступление иллюзиониста Бамба состоялось сверх программы на заключительном концерте районной самодеятельности в местном, из древней церквушки переделанном, Дворце санитарного просвещения. Свисавшие из купола кумачовые полотнища с призывами к **изживанию** всех видов чесотки и коросты, религиозных в особенности, стоявший в рядах карболовый запах и наконец завершившая антракт свалка в пивной очереди у буфетной стойки как нельзя лучше оттеняли реалистичность показанного затем номера.

В строгом согласии с замыслом руководителя Дымков вышел в черносатиновой, символами Зодиака расшитой мантии, из-под которой виднелись недоставшие до ботинок штаны и носки варварской расцветки. Позднее Дюрсо удалил из аттракциона псевдомагическую мишуру, оставив ему постоянный рисунок обыкновенности, придав исполнителю сохранявшуюся уже до самого конца комическую маску провинциала, озадаченного своим талантом чудотворения.

Первое успешное выступление дебютантов Бамба состоялось в подмосковном совхозном Доме культуры с предварительной рассылкой экзотично-безграмотных, щербатым шрифтом отпечатанных приглашений падким на вольнодумные пряности и наиболее разговорчивым гуманитарным деятелям, в конечном итоге создающим общественное мнение столицы. Заранее подпущенный слушок о феноменальных способностях иллюзиониста, урезаемых наблюдательными органами, вызвал наплыв безбилетной публики, что при ограниченной вместимости зала вызвало желательную, с милицейским вмешательством давку при входе, а помятые бока подтвердили общественный интерес к зрелищу. Умелая тактика Дюрсо сказалась и в подборе самой программы, наглядно составленной из затрепанных трюков базарного чародейства вроде голубей, вылетающих из ведра, откуда только что текла нормальная вода, или обнаруженного в рукаве голосистого петуха (который недели две спустя однажды по озорству Дымкова и недосмотру руководителя имел

неосторожность превратиться в небольшого страуса). Вопиющая банальность номеров вызывала в публике многозначительную переглядку, сменившуюся во втором отделении овацией сочувствия к артисту, поставленному в рамки социалистического реализма. О возрастающей популярности Бамба можно судить по тому, что на повторное, через два дня, представление неожиданно из своей находящейся поблизости загородной резиденции прибыл с семейством и секретарем полупредседатель чего-то труднопроизносимого и, так сказать, правая рука видного товарища, выполняющего кураторские обязанности по одной почти первостепенной отрасли и в данном качестве обладающего правом внеочередного доклада помощнику секретаря личной канцелярии теневого сотрудника из ближайшего окружения подразумеваемого верховного лица, первейшего не только в нашем полушарии, но и в отношении всех прочих веков, меридианов и континентов. За отсутствием правительственной ложи и для лучшего обозрения почетным посетителям, благо инкогнито, были поставлены стулья прямо на эстраде, чуть сбоку, так что гости оказались на положении невольных арбитров, причем все, особенно малолетние внучки, дружно смеялись на порхающих по залу голубей и хлопали не только младшему Бамба, но и главному, выступающему с научным предисловием, чтобы чуть сгладить впечатление мистики. К ужасу администрации, вдохновленный успехом Дымков показал девочкам кое-какие штучки в своем любимом пиротехническом жанре; по счастью, языки огня сразу по достижении деревянных стропил превращались в барашков маловероятной породы, бездымно растворявшихся в воздухе. Несмотря на свою суровость, глава семьи в общем и целом одобрил программу, однако отечески предостерег как от опасных формалистических увлечений, ослабляющих просветительно-воспитательную сторону искусства, также и от не менее чреватых последствиями нарушений правил пожарной охраны. Видимо, в тот же вечер и состоялся его взволнованный по телефону доклад шефу о своих впечатлениях, потому что уже через пару дней на внеочередной сеанс **Психотехнических опытов Бамба**, как значились теперь их выступления на по-прежнему

скромных, но уже типографских афишах, без всякого оповещения прикатил тот самый теневой кандидат в соратники т. Скуднов.

Все представление с начала до конца он посмотрел из-за кулис, однако охранительное оцепление запасных выходов было своевременно замечено в зале, только традиционная скромность высокого гостя, его чисто народная приветливость смягчили возникшее было напряжение, даже ободрили струхнувший было служебный персонал и артистов, чье патриотическое воодушевление незамедлительно пролилось на зрителей...

Кстати, сам Скуднов оказался горячим поклонником искусства, а для Дюрсо с уязвимой биографией было небесполезно заручиться его покровительством, на случай возможных все от того же подонка Преснякова клеветнических обвинений в мистике. С этой целью, после сеанса и сквозь охрану прорвавшись к влиятельному гостю, старик предпринял попытку с помощью научных иностранных слов обосновать коренное преимущество **нашей** социалистической магии: если в капиталистическом лагере возникновение кур и голубей производится предварительным помещением их в скрытом контейнере, то есть прямым обманом трудящихся, то артисты Бамба обходятся лишь приемами иллюзионного мастерства или посредством **манипуляции ничем**, что достигается проще и дешевле. Неподкупный соратник не торопился высказать свои суждения раньше срока и по окончании вечера за дружественным чайком в директорском кабинете никаких ожидаемых наставлений не давал, напротив, сам осторожно расспрашивал кое о чем, в частности, интересовался домашним бытом факиров, на что получил исчерпывающие ответы. Тронутый расположением влиятельного современника, старик Дюрсо с ходу подарил Скуднову оригинальную мысль об учреждении ежегодных, по образцу европейских, карнавалов атеизма с заключительным в конце сожжением обрядной утвари, не только иконостасов или церковных книг, но и картонных, с пиротехнической начинкой, фигур и масок людского суеверия вроде домовых, леших, оборотней, русалок, Мефистофелей, золотых тельцов и прочей нечистой силы всех мастей.

— Но шествие должны возглавлять живые, желательно настоящие, специально мобилизуемые на этот день, истинные приспешники ниспровергнутого мракобесия — всякие там архимандриты, ксендзы, шаманы, аббаты, иеромонахи, наши местные иереи, митрополиты, проповедники... — в режиссерском запале захлебнулся он.

Товарищ Скуднов сдержанно похвалил богатую идею, хотя и сомневался в ее осуществимости.

Газетные перестраховщики, обученные молчанию горьким опытом позади, до самого конца так и не поместили на своих страницах ни строчки о бурно начавшейся сенсации. Покамест аттракцион Бамба все еще кочевал по эстрадам московских клубов, распределение билетов велось через отделы кадров с заполнением специальных анкет и чуть ли не взятием подписки о неразглашении. Всякая клевета носит причинное клеймо своего происхождения. Однако сущая правда, что дипломатический корпус в конце месяца получал билетные лимиты через Министерство иностранных дел.

Стремительному дымковскому восхождению в зенит, кроме его неоспоримых достоинств и общественной потребности в какой-то встряске, помогло и всегдашнее пристрастие толпы к новым талантам, точнее — полубессознательная страсть к чрезмерным рукоплесканиям поощрять их на свержение маститых вчерашних фаворитов. Громоздкое падение кумиров, всегда служившее ей лакомейшим противоядием от житейской скуки, примиряло ее с собственным ничтожеством. С самого начала угадывалось вдобавок, только трепаться избегали вслух, что тот чудной, чуть ли не в опорках выступающий парень при желании мог бы доставить житейскую неприятность кое-кому рангом покрупнее. С первого раза, когда весть о нем в сотню восторженных глоток распространилась по столице, и началось смутное, очагами пока, движение сокровенных дум, грозившее при дальнейшем попустительстве властей и философского сыска перерасти в повальную эпидемию опасной беспредметной надежды с переходом в национальное безумие, с каких всегда зарождались стихийные религиозные бури.

Каждый вечер у неказистого барачного строеньица, где помещался клуб, выстраивались, помимо отече-

ственных марок, заграничные машины с посольскими флажками, а наряды конной милиции теснили прочь напиравших, уже не только местных паломников, быстро превращавшихся в низкую чернь.

Тогда-то на одном авторитетном совещании где-то и было оглашено ворчливое недоумение в адрес бывшего директора цирка, ныне уже заправляющего республиканским искусством Преснякова. Кто персонально или по чьему-то злостному наущению вынуждает артистов популярного жанра скитаться по столичным задворкам? Тотчас озабоченный Пресняков спустил команду по инстанциям, и надлежащие механизмы пришли в движение.

Артистическая среда с замиранием сердца следила за всплесками на поверхности от совершаемых в глубине мощных соударений хвостами. В силу святости, наложенной на ансамбль посещением Скуднова, старик Дюрсо брал единственно измором. Сославшись на отсутствие штатов для канцелярской переписки и даже за недосугом, он оставлял без ответа вызовы прибыть для личных переговоров и одновременно переключился на бесплатное обслуживание инвалидных домов и сиротских интернатов. Не помогла и подсылка к Дымкову красноречиво-юридического змия, который не был допущен на порог.

Директивный гром над повинными головами грянул в виде гневного телефонного звонка: доколе будет длиться почти двухнедельный саботаж распоряжения о переводе подразумеваемого волшебника оригинального жанра в стационарный режим? Когда же посрамленный начальник сам отправился в свою Каноссу к скандальному старику, то, как рассказывала кулуарная сплетня, торжествующий Дюрсо, несмотря на полуденный час, принял гостя в халате и будто потребовал от посетителя удостоверяющего документа.

— Ладно, сдаюсь, не ломайся, победитель! — с кинжалом в сердце маялся тот, действительно поутративший сходство с самим собой от душевного перекоса.

— Помнится, тот потолще был, — пояснил хозяин и, что совсем маловероятно, по внезапному нездоровью удалился в подсобное помещение, предоставив посетителю слушать музыку низвергающейся воды. Не исклю-

чено, что чересчур резкое издевательство разгневанного импресарио над номенклатурным чиновником обошлось без последствий потому лишь, что престижные шансы ангела успели не без участия самого Дюрсо возрасти в надлежащей инстанции, где уже вызревали кое-какие соображения об использовании заведомого чуда в эпохальных целях.

Вознесенный из пучины прямо на верхнюю палубу, Дюрсо почти растерялся от нахлынувших на него приглашений и приятных обязанностей: почетных президиумов и не частых, но умных зрительских посланий с благодарностью за надежды, навеянные внесенной свистопляской подпольных догадок вкруг парольного слова **Бамба**, ставшего в значении желанного чуда. Отсюда появившийся белый халат Дюрсо, его вступительная минут на восемь брехня перед сеансом, состоявшая из иностранных слов в сочетании с затрудненным синтаксисом, которые придавали мнимо философскую маскировку аттракциону с его откровенно убогой начинкой.

Документальное повествование требует хотя бы частичного воспроизведения нашумевшей лекции, походившей на собрание типографских погрешностей. Первая половина ее, достаточная для знакомства с научными воззрениями лектора, приводится в сокращенном и синтаксически подправленном виде:

— Граждане и дамы, ученые коллеги плюс к тому гости издалека! Коллектив Бамба благодарит вас, что нашли время посетить эвентуальную сенсацию века. Она находится в пограничной области позитивной реальности, хотя и не всегда, но вы не потеряете на этом деле. Интересующиеся зрители могут полистать энциклопедию на букву М, под названием магнетизм, а также мои личные заметки из практики дореволюционного периода, коли посчастливится найти у букинистов. Иногда несколько строк, но дело не в длине. Многих с глубокого детства волновала проблема передвигать предметы без прикосновения пальцев. В наши дни достигнутого образования это большая редкость, если не считать бывшего директора цирка, сумевшего в короткий срок незримо переместить часть казенной мебели, два персидских ковра, также четыре грузовика строительных досок себе на дачу,

но не будем отнимать хлеб у прокурора, к сожалению, не все открыто в мире, как хотелось бы, несмотря на то, что передовики ума научно стараются вырвать ключи у природы, не покладая рук. Некоторые всю жизнь топчут чудо у себя под ногами, чтоб открыть напоследок дней. Так или иначе после долгих поисков удалось отыскать выдающийся психотрон, который будет минуту-другую спустя. Плюс к тому я выступаю здесь скорее как медицинский друг артиста, немножко аматер-переводчик.

Трудно поверить с одного раза, примириться с действительностью, что увидите перед собою, однако придется, — продолжал Дюрсо, обращаясь в обе стороны, — потому что, если посмотреть всерьез, здесь действует господин факт, то есть обыкновенный материализм, который много раз случался в истории позади, но мы вынимаем из сундука, перешиваем и носим с другими пуговицами. Еще индийские йоги замечали, если усиленно глядеть на протянутую руку, то со временем получается кожно-гальваническое раздражение, багровый пузырь с отеком. Можно проверить на себе, но не слишком, чтоб не получился хронический дерматоз, и напротив, столбик градусника остается без движения, тоже самое вольтметр. Объясняется совсем просто, что действуют тут не устаревшие инфракрасные лучи, а какие-то двигательно динамические, верней всего, митогенетические, настолько малоизученные, что не ухватишь невооруженной рукой. В конце концов мы действуем исключительно на ганглионарную систему, не затрагивая психику. Если взять под микроскопом вибрации психожелезистых клеток независимо умственного или пищеварительного профиля, то получается ясность всего механизма. Как вы уже догадались, тут все дело глубже, чем кажется, но потребуется еще доказать обратную связь. Если подходить без марксизма, но кто подкован заранее, тому понятно, — все зависит от молекулярного натяжения в телах. Главное, что здесь нет ничего мистического, а напротив, каждый может иметь свой феномен в домашних условиях, конечно, не сразу, если есть время и желание. Я не настаиваю сказать, что каждый сможет то же самое, как вы увидите сейчас, но почему не попробовать если не в научной обстановке, то для гостей, где имеется достаточный потолок для летания. Великий наш пред-

шественник открыл, что душа не более как временный импульс молекулярного химического происхождения. Хотя, безусловно, имеется вещь внутри нас, которая всегда тревожила умы насчет того, что еще может находиться там, где уже нет ничего. Недаром некоторые изобретают разные чудеса в личных интересах, с чем мы должны бороться, пока не кончится. Но не надо забывать, что все на свете копится для перехода в иное качество, когда осмысливается полная чаша. Вообразите поверхность конуса и по спирали вверх бегущего человека, то что получится, когда, как в анекдоте том, чтобы спрыгнуть, не может быть и речи, потому что некуда? Без преувеличения сказать, надо иметь стальные нервы выдержать такое переживание. Невольно можно оказаться в тупике, и только у кого передовое воззрение — это не грозит. Заметьте, что к магнитному полю Земли это не имеет никакого касания, но прибавьте сюда принцип неопределенности, и вы сразу уловите, в чем таится подвох. По полученным сведениям, японский профессор Мирулава с острова Тудор в настоящее время вычисляет амплитуду мозгового генератора, чтобы получить врачебно-промышленный эффект. Пожелаем ему успеха от лица собравшихся, но, повторяю, имея голову на собственных плечах, каждый может выполнить по той же программе у себя на дому при условии полного напряжения сознательно-волевого комплекса. Здесь неплохо слегка помечтать про завтрашний день, но не слишком далеко, чтобы не разочароваться. Даже ребенок может подсчитать, сколько получится пользы, если объединенные народы научатся излучать свой избыток на коллективную турбину, чтобы иметь в неограниченном количестве пищу, дешевый ток и всякий ширпотреб. Тогда мы взойдем на сияющую вершину, куда глядели великие классики утопизма. Еще немало можно сказать в пользу прогресса, чтоб не оставалось недоумения, но я согласен — есть опасность, что тем временем перестанет ходить трамвай. Итак, прошу тишины, чтоб всем было видно происходящее перед вами, — заключил лектор, водворяя порядок на вдруг зашумевшей от нетерпения галерке.

Коронный номер под названием **урок плаванья** занимал все второе отделение и состоял из веселой панто-

мимы с привлечением двух подставных лиц. Прежде чем спохватился заохавший владелец, сложенное им было на барьере демисезонное пальто вскочило и резво выбежало на середину манежа, откуда уморительно обоими рукавами поманило к себе другое, тоже из-за духоты брошенное на поручень кресла пальтишко **мальчикового** размера, как значилось в либретто авторского сценария. Сделав бросок вперед и с полуминутной оглядкой, старшее плавно, крупными саженками поднималось по кругу, младшее следовало за ним беспорядочным собачьим брассом, стараясь по-детски повторять показанные ему фигуры высшего пилотажа. Время от времени оба резко проваливались в воздухе, тогда у публики замирало сердце по отсутствию у них спасательных приспособлений. Наподобие крылатых скатов морских, пронесшись над еле пригнувшимся оркестром, наставник со своим учеником достигали купола, где отдыхали на трапеции, причем первый, в предвидении шалостей, второго предусмотрительно обнимал за плечо. Номер поражал художественной обработкой подробностей, и когда на крутом нырке из бокового кармана у главного выпадало яблоко, также сыпалась денежная мелочь, он настолько осмысленно, выгребая одной левой, охлопывал себя справа для выяснения, цело ли остальное, что невольно напрашивалась параллель с человеческим телом, тоже совершающим иногда разумные действия при отсутствии головы.

Примечательно, что вся эта непотребная клоунада, начиная с комического конферанса старика Дюрсо, проходила при благоговейном молчании зрителей.

Нарочито простонародный сценарий аттракциона под названием «Бамба-2», шарлатанская вступительная лекция, где сам старик Дюрсо ловко дискутировал о чем-то, в сущности ни о чем, со светилами несуществующих наук, и наконец трудность с получением пропусков на закрытые сеансы лишь умножали скандальный успех крупнейшей зрелищной сенсации того полугодия, потому и лакомой для столичной публики, что правильно понимала неизбежность балаганной упаковки как надежного прикрытия чуда от цензурного запрета, пока судьба не погасила его в самом расцвете подпольной славы.

Бесплатное приложение к аттракциону состояло в полдюжине старомодных расхожих балаганных фокусов и трюков, хотя и осуществляемых не ловкостью рук, а той неведомой силой, на которой строится все второе отделение. Несомненно, можно было придумать сюжет тоньше и лучше, чем получилось, но объяснялось это не отсутствием режиссерского вкуса, а сознательным стремлением Дюрсо снизить эстетическую сторону спектакля, свести номер на уровень ловкого фокуса и тем самым ограничить возможности Дымкова, который из благодарности за энтузиазм восхищенному зрителю допускал иногда **на бис** идеологически криминальные дерзости. Однажды, например, при показе обязательных голубей как бы нечаянно выскользнула из рук бывалая фаянсовая ваза, где их помещалась целая стая, и маэстро виноватым мановением руки к неудовольствию штатных блюстителей здравомыслия, неизменно присутствовавших в зале с целью философской правоверности и чьей обязанностью было следить за буквальным выполнением магических процедур по сценарию с визой Главного репертуарного комитета, срастил воедино разлетевшиеся осколки, чтобы через мгновение вылить оттуда же полведра оставшейся там воды. Напрасно администрация категорически запрещала приносить с собою фотоаппараты будто бы из опасения, что снимок выявит иллюзионную подоплеку сенсации. Распускаемая очевидцами молва о такого рода досадных случайностях создавала спекуляцию контрамарками у входа и повышала престиж аттракциона. Кстати, чрезвычайной отмены спектакля не случалось ни разу, потому что детское изумление наблюдателей, превозмогавшее служебное рвение, заставляло их всегда досмотреть чудо до конца. Не исключено, однако, что поведение расшалившегося артиста объяснялось не только его щедростью к аплодирующему залу, но повторным присутствием в первых рядах молодой, выделявшейся своей вызывающей скромной нарядностью, с биноклем в руке, несмотря на близость подмостков, странной дамы, которая тем именно, что единственная в толпе не проявляла восторга, и вдохновляла его на скандальные вольности сверх программы.

В ту пору мир и сам Дымков еще не знали, что это и есть восходящая звезда экрана Казаринова, для которой,

судя по уверениям восторженного хроникера, уже готовился выдающийся сценарий фильма, какому суждено стать поворотным этапом в истории мирового кинематографа. К слову, вторично Дымков увидел ее на том представлении, когда разбитая ваза предстала в своей прежней аляповатой целости.

Еще в машине по дороге домой старик не преминул сделать столь суровый очередной разнос компаньону за недопустимое и чреватое последствиями поведение на сцене в отношении грошового реквизита.

— Я не виноват. Когда все захлопали и закричали, черепки стали сами слипаться на полу, я им не велел, — с опущенным взором, потому что впервые в жизни, сам не зная зачем, стал оправдываться растерявшийся Дымков. — Там в третьем ряду была дама, встречавшая нас на вокзале. Она так пристально все время глядела на меня в бинокль, и когда все поднялись, провожая нас, она одна осталась сидеть... вы не заметили?

— Еще бы... — кисло усмехнулся старик и замолк.

Он оттого лишь и опознал Юлию, что она единственная в зале не сделала ни хлопка, и, возможно, только она одна во всей Москве почему-то не просила у отца контрамарки на его сенсацию.

Следовало ждать совсем скорого теперь ее визита, но лишь дня три спустя у дочки отыскался приличный повод сломить гордыню и прежде всего побороть суеверное опасение отцовских несчастий. Будто мимоходом Юлия занесла ему ту индийскую, еще мамину, парчу, которой он перед отъездом в Азию интересовался по телефону.

— Если, конечно, не миновала необходимость... — вместо приветствия улыбнулась она.

— Спасибо, брось куда-нибудь сверток, раздевайся и входи.

Была одна существенная причина, почему в разговорах с дочерью он обходился без малейшего повреждения синтаксиса.

— Боялась дома не застать. Представляю, сколько у тебя хлопот, если билет на твоего фокусника надо заказывать через министра. Не пугайся, я ненадолго: у меня своих не меньше.

Скинув кое-как на подзеркальник свой громадный, черный, бесценный мех, она красила губы и заодно через зеркало знакомилась с помещеньем.

— Начались, наконец, долгожданные съемки? — иронически спросил отец.

— Не хочу портить тебе настроенье, Бамбалски... но если снова не подведут, со дня на день должны приступить к пробам. — Ее раздраженье объяснялось все более в ней самой крепнущим убежденьем, что эти проклятые съемки не начнутся никогда. — Ну, я очень рада, что после стольких невзгод ты совсем мило устроился. О, и даже садик под окном!

— Я живу здесь четвертый год, дочка.

— Вполне уместное напоминание, но что делать, Бамбалски: эта нескончаемая текучка всяких страхов и бесполезной беготни. — Что-то заставило ее обернуться. — У тебя кислое лицо, папа, словно я притащилась за своей долей наследства.

— Видишь ли, я знаю, зачем ты пришла.

— Такая проницательность?

— Просто неудачники с одного взгляда понимают друг друга. Ты всегда боялась боли, нищеты, даже жалости к кому-нибудь.., но все равно ждал, потому что я больше не заразный. Ты пришла за игрушкой, но... остерегись, Юлия!

— Не беспокойся, не уведу... он не моего романа и у меня достаточно своих **сопровождающих обезьян**.

— Не в том дело! Но тут чего-то не надо трогать, чтоб не получилась лавина... Словом, это опасный малый, хотя не в том смысле, что однажды тебя придется собирать по кускам со всего города.

Она поморщилась.

— Фу, говорили, что мама тоже жаловалась на твой тяжеловатый юмор. Думаю, ничего не случится, если я немножко поглажу твое чудовище, даже кусочек отщипну на пробу. Что он у тебя там делает... ест, спит? — кивнула она на соседнюю комнату.

— Вообще-то он живет за городом... — заколебался Дюрсо в решительный момент, — но сейчас он действительно у меня. Такой спрос отовсюду, в том числе ино-

странцев... ему примеряют фрак на тот случай — если пригласят в посольство. Хорошо, я покажу его тебе.

Теперь понятны стали шорохи за полупритворенной дверью, отрывистая речь вполголоса и в одном месте как бы шелест рассыпанных по полу булавок. Почти тотчас на смену Дюрсо, побежавшему проводить портного, вихляво и размашисто появился сам Дымков.

Он был какой-то серый и мятый, словно провалялся без дела все утро, совсем обыденный в огромном неуклюжем свитере, и значит, к тому времени уже поосвободился от своего дара предвиденья, тягостного в земной обстановке, потому что, помимо испуганного изумления в лице, сделал непроизвольное, лишь голым свойственное движенье, диктуемое чувством наготы.

— А я уже видел вас... — словно для лучшей приглядки клоня голову набок, кивнул Дымков.

— Как и я вас, целых два раза.

— А я вас три! — похвалился он.

— Верно во сне? — в ожидании поэтической тривиальности нахмурилась Юлия.

Тот по-детски потряс головой:

— Нет, очень давно. Так близко сидели, а с биноклем... У вас плохое зрение?

— Напротив, хорошее, но я не терплю никаких тайн... вообще всякой психологии. К сожалению, мне так и не удалось понять... как это вы делаете.

— Я вам охотно объясню потом, но... вам понравилось?

— Правду сказать, не очень.

— Ни капельки? — огорчился он. — Почему?

Юлия огляделась в поисках отца, но, судя по запахам и звукам с кухни, тот готовил угощение для гостей.

— Вас, кажется... Дымков? Это хорошо, потому что коротко и легко сходит с языка. Так вот... о вас столько сегодня и, главное, из-под полы, треплются по Москве, что... хотя у меня наступает хлопотливая пора, я решила потратить вечер на утоление женского любопытства. И не то что разочарована, Дымков, но все у вас там несколько пресновато, стабильно, **не для белого человека**, как сказал кто-то из моей свиты... не помню про что. Настоящий цирк не существует без стремительной дина-

мики, без какого-то ножевого смертельного риска, иррационального потрясенья... даже не знаю без чего! И это вульгарное пальто... узнаю почерк папаши...

— Поверьте, мне самому очень жаль, что вам не понравилось, — безнадежно сказал Дымков, имея в виду, словно от него требовали нечто, недостижимое даже при его возможностях.

Тогда Юлия поспешила смягчить приговор покровительственной поддержкой.

— Но вы не падайте духом, Дымков: не так плохо и вполне терпимо. — И вот уже заметно было, как благодетельно воздействует на всякого неудачника властное и дружественное, своевременно пролитое тепло. — Вот я познакомлю вас с моим приятелем... он вообще универсальный талант, сочиняет все и вся на свете — цирковые репризы, резолюции для собраний, баптистские гимны, хохмы эстрадным светилам, даже однажды любовное письмо. Советую сходить в детский театр на его композицию из быта русских богатырей... можно обсмеяться, если знать подоплеку дела. Правда, он отошел от мелочи, теперь видный кинорежиссер, но я подскажу ему, он вам поможет. — Она решительно поднялась. — Словом, при следующей встрече вы посвятите меня во все ваши штучки...

Кажется, ему не хотелось отпускать ее:

— Можно и сейчас, если хотите!

— Нет, я и без того опаздываю в одно место, и, кроме того, может замерзнуть внизу бедный многосемейный таксист.

Дверь с кухни открылась, и комната наполнилась горячим благоуханием кофе.

— Ты уже уходишь? — расставляя на столе чашки, вдогонку дочери удивился Дюрсо.

Несколько пустячных, ни о чем брошенных в прихожей фраз Юлии показывали, что она почти забыла об истинной цели своего прихода, и только мерцающий, из-под шляпы скользнувший по Дымкову взор выдавал ее досаду маленького разочарования первого знакомства.

— Вы непременно мне объясните механизм ваших проделок... — Она удалилась так же шумно, с ветерком, как входила, и, когда за дверью затихли поэтажные стуки

лифта, Дымков испытал еще незнакомое ему чувство — будто чего-то убавилось внутри, хотя ничего не унесла с собою.

Таким образом, постепенно умножался спектр его житейских ощущений: в придачу к легчайшему пока чувству голода или потребности в чужом восхищении, чем единственно возмещается артистическая трата себя, возникало смутное предчувствие каких-то хлопотливых и неизвестно чем вознаграждаемых обязанностей впереди, и даже сопровождалось сновиденьями, впрочем, вполне благопристойными — вроде ловли мотыльков на покатом ромашковом лугу, причем — с частыми замираньями сердца от догадки, что кто-то прячется в смежном овражке. Вместе с прежними наблюденьями все это приводит к выводу, что врастание ангела Дымкова в отпущенное ему тело происходило вполне планомерно, со свойственными всему живому превращеньями из невинных малюток в гнусных старцев — в силу вытеснения земною сущностью прежнего небесного естества. Немудрено, что, когда тело переполняется ею до краев, вытесняемая душа подобно пузырьку воздуха отрывается и улетает, предоставляя противнику торжествовать свою победу.

Глава XIX

Ввиду крайне скудных сведений о краях потусторонних можно лишь гадать насчет дымковской принадлежности к тому или иному ведомству неба. Столько раз проявленное им непростительное легкомыслие начисто исключает причастность его не только, скажем, к управлению космическими стихиями, но и куда менее сложным занятием придворных льстецов, где, если и обходятся без ума, требуется известная изобретательность в разнообразии приемов. Местонахождение Дымкова на колонне, а также характер размещенных внутри ее, то и дело меняющихся пейзажей, дают основание предположить что-то вроде маячной службы на бескрайнем океане времени, в чьей поверхности, как выяснилось позже, одинаково, подобно плывучим облакам, отражаются прошлое и будущее. И, наконец, самое наличие таинственной двери

да еще связка ключей в руке позволяют приписать ему заведование запасным выходом к нам **оттуда** и наоборот. Оставление доверенного поста без присмотра, как и допуск туда посторонних в лице Дуни, показывает, что и у них **там**, со скуки, что ли, случаются акты преступного пренебрежения своими охранительными обязанностями... Менее всего Дымков был бы пригоден для дипломатии.

Однако ряд неуловимых подробностей указывает на особую, довольно высокую, хотя и не выясненную цель его прибытия на землю, вряд ли только разведывательную, так как происхождения своего он и не скрывал: чаще всего ему просто не верили. Тогда как можно было посылать с ответственной миссией настолько неискушенное существо, что сразу оступился в сети, расставленные ему с явным умыслом поймать, извалять во всяком непотребстве и, тем самым отрезав ему обратный путь к отступлению, применить невозвращенца впоследствии для своих коварных надобностей? Еще трудней задним числом установить характер возложенного на Дымкова, заведомо непосильного ему поручения, почему и надо искать поблизости дополнительное, тщательно законспирированное лицо, осуществлявшее как наблюдение за ходом командировочных дел, так и повседневную связь с небесной метрополией. Однако и собственная его роль в **той** большой игре, наравне с прочими, старофедосеевскими ее участниками, настолько темна и временами бессмысленна, что невольно все они представляются порой живыми зубцами гигантских сопрягающихся шестерен какого-то жесточайшего и, в свою очередь, далеко еще не главного оборжавевшего механизма, провиденциальные очертания которого растворяются в сумраке нашего неведения.

Надо забраться повыше, чтобы с птичьего, вернее, даже ангельского полета постичь назначение и логику помянутой машины, чем всегда, без особого успеха, и занималась человеческая мысль; некоторые, попроще, полагают нашу боль естественной вследствие истирания ее на износ работающих частей. Как бы то ни было, после аблаевской гибели и временного затишья местные маховики и колеса снова со ржавым скрежетом приш-

ли в движенье, осуществляя, по объяснению Никанора, энтропический перелом чего-то в ту первичную пыль, с которой якобы все и началось. Так подступила новая полоса лоскутовских несчастий, в свою очередь, открывшаяся внезапным ухудшением погоды.

Еще утром того дня, оторвавшись от каторжного верстака, выбегал о. Матвей наружу дыхнуть **однова** и никак насладиться не мог зрелищем пробуждающейся природы. Галдели на новосельях еще до Благовещенья прилетевшие грачи, а березы при каждом ветерке со скрипом потягивались после зимней спячки, и, хотя из глубин кладбища еще тянуло мертвым ознобом, по всей поляне за палисадниками сверкали озерца натаявшего снега и дымилась на припеках старая раскормленная кладбищенская земля. Уж продрог, просырел весь, а все стоял на крыльце, прикрывая ладонью заслезившиеся на солнце глаза, позабыв про лежавшее на нем задание почти государственной ответственности. То был заказ участкового милиционера, который не то чтобы оказывал преступное покровительство старо-федосеевским лишенцам, а вот уже третий год как по перегрузке делами не проявлял на них служебного рвения. Самое обращение такого человека, как Иван Герасимович, к кустарю-одиночке, да еще при наличии спецснабжения, представлялось о. Матвею проявлением желанного тепла, участия и доверия, почти окошком из темницы в мир, поэтому не хватило совести назначить за работу истинную цену. Меж тем, вчерне готовое изделие, из сырья заказчика сшитые сапоги даже в полуотделке выглядели вершиной обувного мастерства, достичь которой батюшке помогло нередкое среди верующих состояние чисто религиозной благодарности могущественному начальнику за оказанное благодеяние, состоящее единственно в непричинении горя. Егор обещался по возвращении из школы навести на них последний глянец, но и теперь они могли бы служить украшением любого жилища среднего достатка, кабы приступившая к предпраздничной уборке Прасковья Андреевна не потребовала от мужа расчистки его рабочего, всякой подсобной снастью загроможденного угла.

После обеда батюшка и отправился в обход заказчиков, хотя обычно это поручалось Егору, которого в тот

день вызвали в школу на субботник по сбору металлолома. В силу обострившихся гонений о. Матвей последнее время избегал без острой нужды показываться на людях, хотя самая кратковременная, в пробежку, вылазка доставляла ему больше сведений о нынешнем мире, нежели прочтение газет. Для таких походов старо-федосеевский батюшка облачался в особо неприглядную кацавейку и повышенной емкости шапку с целью сокрытия долгих волос, чтобы видом своим не наводить подростков, особливо при подружках, на грех поношения, слишком соблазнительный по причине его ненаказуемости... Сразу по выходе на крыльцо обнаружилось, что недавнего вешнего умиления не осталось и в помине.

Колючая снежная крупка порывами стегала притихшую природу, попрятавшую куда пришлось и воробьиные забавы, и водяные зеркальца, и совсем было набухшие древесные почки. Поеживаясь от пронизывающей поземки, бежали, как и в будни, всевозможные труженики и их иждивенцы всяк себе на уме и, казалось бы, в разные стороны, но все одной семьи по какой-то сиротливой помраченности во взорах. Лишь по миновании мигавшего огоньками Мирчудеса и не доходя районной сберкассы, попалось о. Матвею благоприятное исключение. На приступках торговой точки с вывеской **зоомагазин** продавалась разная мелкая и бесполезная живность, и в окне соответственно была выставлена снасть для ее ловли, домашнего содержания и ухода. По оживлению у входа кто-то даже высказал вслух догадку, что ввиду усиленных международных расходов выкинули к празднику какое-то импортное баловство. Решаясь и на себя потратить копеечку времени, о. Матвей поднялся туда вместе с другими во утоление любопытства.

Немолчный птичий галдеж переполнял душное помещение, и, хотя ничего соблазнительного не виднелось на прилавках, почему-то все там годилось для плодотворных размышлений: райские рыбки резвились в волшебном зеленом плену, свидетельствуя о выгодах отсутствия разума, и, по соседству с ними, озябшие ужи свисали на обглоданных сучках, внушая людям законную гордость по поводу конструктивного преимущества. Все теснились почему-то в правом дальнем углу с абсолютно го-

лыми полками и при почти трамвайной уплотненности не бранились, не пропихивались вперед, а стояли смирно, слегка в испарине от спертой духоты, поглощенные какой-то происходившей там чрезвычайностью. И едва о. Матвей легонько втиснулся в толпу, его сразу, несмотря что поп, да еще с таким горбом, вряд ли из почтения к одной седине пропустили к самому прилавку.

— Чего нонче дают-то? — по-свойски осведомился о.Матвей, и никто ему не ответил. Поначалу да сослепу взору его представилось как бы копошенье солнечных бликов на песочке, просеянных сквозь июльские ветви, — они оказались цыплятами, когда достал очки. На листе фанеры толклись, дремали, покачивались живые желтые шарики, и одни пытались склюнуть что-то, только что приснившееся в скорлупке, другие же раздирающим писком вопрошали кого-то о том же самом, о чем и люди иногда по достижении известного возраста. Чернявая девчонка в халате продавца машинально и красными, с облезлым маникюром, пальцами сгоняла на середку подобравшихся на край пропасти.

Никто не приценялся, не спрашивал о породе или как обходиться с ними для получения исправных петухов и наседок, — все зачарованно молчали. Какая-то древняя тяга удерживала этих людей, заставляла забыть про должностное поручение, про дефицитный продукт, который тем временем могли расхватать. Наряду с бравыми и хорошо одетыми жителями виднелись победнее, даже совсем погнувшиеся от жизни, но и помоложе кое-кто, и так как никто не думал о себе, все они выглядели, как изваяла их судьба посредством своих железных инструментов. То была коллекция классических, словно из медицинского атласа выхваченных масок — душевных пороков и неизлечимых недугов, непроявившихся страстей, которые однажды, титаническим смерчем вырвавшись наружу, еще раз сожгли бы мир, если бы не самообуглились раньше, в самих себе, по отсутствию удачи, питания и социальных витаминов. Казалось бы, совсем чужих и ни в чем не схожих, сейчас этих людей роднила одинаково у всех светившаяся во взорах угрюмая нежность, трепетный отсвет в наклоненных лицах, как бывало от пасхальных свечей, и прежде всего смущенное, не-

доверчивое прозрение самих себя, где в потаенной глубине, вопреки всему на свете, еще жила искра святости и бродила среди пепла несбывшихся надежд.

Вдруг открылось о. Матвею, что и его тоже, как прочих, ужасно тянет в руку взять, согреть дыханием и заодно самому погреться об этот комочек неповинной ровно ничего не стоящей жизни. Судя по непроизвольному шевелению пальцев, больше всех не терпелось стоявшему рядом пожилому вроде подполковнику в бывалой шинели и, конечно, из внимания к приближавшейся тогда большой войне, заикнись он только, его уважили бы в обход циркулярного запрещения тискать товар без надобности, но ясно было, что из благородных побуждений тот ни в коем случае не воспользуется своим преимуществом, ибо о том же мечтали и прочие, а меж ними один отрок с такими кроткими очами, когда в народе говорят — не жилец на белом свете. Но продавщица сама, по личной симпатии протянула военному подержать наиболее боевого, шумливого сорванца с темным хохолком на темени, так неожиданно и сердечно протянула, что при очевидной армейской закалке избранник не устоял перед соблазном и в ущерб своему воинскому званию даже краской залился. Никто кругом не осудил военного за согласие, не позавидовал счастливцу, обреченный отрок в том числе. И так тепло стало на душе старофедосеевского батюшки при виде преображающей улыбки, которая подобно круговой чарке обошла уста всех, что невольно нарисовалось в воображении, как сбившиеся в кучку силы небесные, один через плечо другого, любуются сверху на происходящее в зоомагазине преображение граждан.

До вечера, пока не ударило бедой, о. Матвей ходил вяло, говорил тихо, расплескать боялся праздничное настроение. «Ведь не обилию курятины радовались, тогда чему же?» — размышлял он, приходя к выводу, что не в хваленой красоте дело либо телесной сытости, а все лучшие людские порывы, религии и утопии вспоены именно из этого дивного родника: тайность обожествленной материи. И коли все непосильней становится править жизнью даже христианству, где парением духа бессмертного малость облегчается груз существования, то как же придется маяться бедному коммунизму по отсечении

крыльев веры! Сочувствие его объяснялось нередким в те годы среди церковников поиском какого-нибудь примиренья с современностью. Впрочем, о. Матвей и сам понимал, что любой ее агитатор легко рассеет его потешные тревоги указанием на общеизвестные успехи воздухоплавания, преодолевающего тягу земную на основе моторостроения все возрастающей подъемной мощности. Пока обходил заказчиков, погодка вовсе потускнела, и в силу возраста стариковская радость поразветрилась, так что на обратном пути, поближе к сумеркам, от всего праздника только и оставалось благостное утомление, как в прежние годы бывало после вербной всенощной. Тем временем подступил и вечер — не самый страшный, пожалуй, зато и самый долгий в домике со ставнями.

В такие минуты, естественно, возникает потребность к задушевной беседе: отогреть замерзшую птичку, проявить милость к падшему, если без особого расхода или чрезмерного напряжения сил, а тут и случай подоспел. Сразу по вступлении в ворота обители о. Матвей усмотрел в глубине рощи пробиравшуюся меж ветвей искру, крайне его насторожившую, хоть пожаров на кладбищах и не бывает; следом пропорхнула другая, пошустрей. Даже глаза себе усиленно протер для верности, когда же потаяли цветные круги в поле зрения, то дополнительно к прежним уликам уже не без гнева, батюшка учуял носом распространявшуюся гарь, и как бы сгущение воздуха чуть затмило сквозившую меж деревьями зорьку. Исхождение дыма из суховеровской усыпальницы указывало на затянувшееся там пребывание странника Афинагора, впервые и то косвенно напомнившего о себе за всю зиму. Еще утром подобное открытие повлекло бы немедленно его изгнание, так как отныне, по миновании снегов, столичные сыщики, повсюду рыскающие за врагами коммунизма, запросто могли застукать сокрывающееся здесь без прописки подозрительное лицо — с болезненными для старофедосеевцев последствиями. «Уж и весна на дворе, а он все тут!» Однако извинительное для хозяина и родителя негодование сразу погасло: старец представился о. Матвею лежащим на обледенелом, без подстилки, гранитном ложе, в немощах возраста и бедственного одиночества.

Неслышно пробравшись на кухню, чтобы матушку не пугать, а пуще — не бередить одну незажившую материнскую рану, батюшка наскреб отовсюду всякой всячинки съестной пригорушки три, где среди третьевошной еды попадалось и совсем свежее, а бродяжке все впору!.. Скорой рукой, пока матушка с погреба не вернулась, поклал в порожнюю консервную банку, годную и котелком послужить в дальнейших странствиях, сверху же квашеной капусткой прикрыл и, увенчав сооружение горбушкой хлеба, вынес под полой... Жаль еще, леденцов в бумажке не прихватил — подсластить злосчастному старику созревшее в нем в дороге отказ-приказаньице, чтобы враз по выздоровлении исчезал бы отселе с глаз долой. «Христа ради, покинь нас сирых: без тебя трижды на дню с жизнью прощаемся. Зимку дотерпишь кое-как, вон звери-то не помирают, а летом везде тебе шалашик. Конец, конец нашей милости!» И вдруг разум опалило догадкой, что совсем близко теперь — развеется и лоскутовское гнездо по ветру русской смуты, и кабы не тянули постылые начальники со сносом Старо-Федосеева, поторопились бы, вот бы и попутчик о. Матвею в предстоящих странствиях по родной земле.

С оглядкой сообщничества о. Матвей протиснулся в решетчатую калитку, нажал плечом пристывшую к наледи дверь и в нерешительности замер на пороге: ничего было не слыхать, кроме бульканья. Однако блаженное, хоть и с придухом перегретого железа, почти банное тепло вместо ожидаемого чада, равно как и обшитые фанерой стены, заставляли забыть недавнее назначение каменного каземата. Глухая при входе занавеска преграждала путь, образуя род прихожей — повернуться разок, но в просвет справа, где-то вдалеке, виднелась ископаемого образца печурка с докрасна накаленным выводным коленом, и такой же пропащий чайник весело клокотал на ней, бренчал крышкой, чуть не приплясывал, что в особенности не понравилось о. Матвею. Окликнувший его голос — кто там без спросу ломится? — показался знакомым, однако легкомысленный склад речи как-то оскорбительно не вязался с обликом замерзающего старца.

— О-о, никак сам игумен пожаловал... салют, салют! — приветствовал тот же голос заглянувшего сбоку

о. Матвея. — Заходи, чайком побалуемся... только прихлопни там потуже, застудишь ты мой вигвам!

Правда, на первый взгляд складывалось впечатление уютной, но крайней скудости. «Вот как надоть жить, — невольно подумал о. Матвей, — не тратя души на приобретение обременительной ветоши, чтоб не жалко было покидать, в известном смысле, съезжая с квартиры». Дивясь хитрости нищих, о. Матвей ревнивым взором обежал помещение, при очевидной тесноте обладавшее всеми удобствами пещерной цивилизации: странно, что столько умещалось там, в пространстве чуть поболе ладони. На продолговатом, под клеенчатой скатеркой, опрятном столике, ничем не напоминавшем чем он был раньше, красовалась постная, по христианскому сезону, однако в достаточном ассортименте всяческая снедь, даже лакомые груздочки в плошке, что для бродяги было, пожалуй, и не по чину. И вообще далеко не вся там утварь с мебелью была свалочного происхождения. Так у стенки, например, с необъяснимой точкой предчувствия батюшка обнаружил словно дразнивший своим сходством красный диванчик, выглядевший родным братом лоскутовскому **канапе**; еще прижизненное подношение одного безвременно погибшего благодетеля, оно много лет служило украшением домика со ставнями, пока под плюшевой обивкой Прасковья Андреевна к ужасу своему не обнаружила затаившихся там клопов. А несколько в сторонке... Все это время, во избежание какого-то сомнительного открытия о. Матвей избегал глядеть на постояльца, маячившего в поле зрения, но тут укорительно взглянул в упор. В левом углу, оказалось, устроена была низкая постель, надо полагать, на бросовом же войлоке с подбивкой из палого древесного листа, но прикрытая вполне добротным одеяльцем... и на ней в позе **неглиже**, с книжкой в откинутой руке, возлежал сам отшельник под сенью хорошо известной о. Матвею керосиновой лампицы, каким-то способом изъятой из его собственного чулана, в добротной, самому Матвею впору меховой безрукавке, придававшей ему вид скорее вольнодумца, нежели бегствующего иерея из разоренной русской фиваиды. Но в особенности смущало Лоскутова свисавшее у того с носа, на черном шнурочке и как-то неуместное

в склепе адвокатское пенсне, то и дело повергавшее батюшку в сомнение насчет реальности происходившего. Тем не менее то был несомненный Афинагор, помолодевший от бездельного оседлого житья, а землистый оттенок на округлившихся щеках можно было принять и за санаторный загар. Однако если возмутительная, на голове, шерстями расшитая магометанская тюбетейка, прямой вызов приютившей его православной обители, хотя бы предохраняла от головной боли, то чем, чем мог прельстить духовное лицо заграничный сочинитель Франсоис Виллон, чью фамилию осведомленный в латинских литерах о. Матвей изловчился прочесть на корешке книги?

Занятно, что некоторые несообразности таинственно устранялись по ходу Матвеева недоумения, — так, едва подметил отсутствие в Афинагоровом хозяйстве бадейки с водой, последняя тотчас обнаружилась в темном углу с добавлением ковшика. Единственное, способное в дебри завести, объяснение заключалось в том, что застигнутый врасплох Афинагор по небрежности или рассеянности накинул на себя первопопавшуюся личину, нимало не сообразуясь со своей прежней внешностью. Покамест вступление выглядело до щекотки неправдоподобно, но так как в предшествующие годы о. Матвей попривык и не к таким приключениям, а до ночи особых занятий не предвиделось, тут ему до жути интересно стало — что из всего этого получится?

— Уж я тебя, братец, оттаивать собирался, в живых застать не чаял... — все еще с руками за спиной заговорил он, — ты видать славно прижился у меня... эку благодать вкруг себя развел, чесаный да гладкий лежишь, ровно конь после купания.

В ответ, как бы принимая тональность беседы, тот сравнил себя скорее с полевым увядшим цветком, который расправляет лепестки, будучи поставлен в воду, и теперь о. Матвей уже не воспринял шутку как неуместную вольность речи.

— Что ж, милость божия, дрова казенные... А ты полагал, я тут салатом из саранчи питаюсь? — посмеялся Афинагор. — Садись, низковаты потолки в твоих каютах, не зашибиться бы, а я тебе чайку с ромцем плесну.

Не стесняйся, присунь в сторонку банку свою собачью, завтра пташек за твое здоровье порадую...

— Что ж, торопиться вроде некуда... — протянул о. Матвей, смущенный благоденствием бродяги.

Стало неловко не присесть на подвернувшийся за спиной чурбачок — просто из признательности, что избавил от стыда за досадное и жалкое приношение. И неизвестно, как тот обернуться успел, а уже протягивал обещанную, до краев налитую кружку:

— Бери-ка, игумен, погрейся со стужи.

И опять не было повода отказываться от дарового угощенья.

— Ну, воздай тебе Господь. — Приняв в обе ладони, он схлебнул на пробу обжигающий глоток, и собеседник, словно в зеркале, сделал то же самое с тем же плебейским всхлипом. — Ничего, с ромом-то, духовито, получается по погодке напиток.

— Пускай руки сперва потешатся. Верно, от ремесла чего-то затекать, стынуть стали да и в груди, опасаюсь, не завелось ли: теснит по утрам. Чужие каблуки сказываются... — И поспешно поправился во избежание иного толкования: — нет, не в **том** смысле! С прижатием-то их обрезать сподручнее.

— А может, от переживания? — подсказал мнимый Афинагор. — С Россией-то что творится...

Тут и поговорить бы, не было темы чувствительней у о. Матвея, даже в горле запершило, но свежи были частые наставления Прасковьи Андреевны во имя уцелевших деток не вдаваться в доверчивость с незнаемыми людьми.

— Не, не слыхал, до нас мало чего доходит. Эва, раку из-под коряги много ли видать? Иной раз рука глазастая близ норки под пиво тебя пошарит, а то случается, мертвое тело, чужое да исклеванное мимо проплывет. Уж старый стал, потерянный: когда и ткнут, мне не больно... абы копеечку на прожитие зашибить. — Все же, как ни вилял, ни осторожничал, а потребность в новостях с воли оказалась сильней благоразумия. — А чего с ней деется-то?

В ответ Афинагор лишь подмигнул разок сквозь непотребные свои очки:

— Уж будто и не слыхал, притворщик? Великое огнище полыхает, вот что. Который годок самоистребляется

помаленьку. Видать, не терпится ей обратиться в пепелок... с целью поставленного ей предназначения.

— Да что же за цель безумная, вред себе такой причинять? — все тянул о. Матвей в полном убеждении, что его ловят на шальное словцо.

— С точки зрения горящего полена костер представляется величайшим безумием, а ты выше гляди.

— Ну, и выше... кто же он, согревающийся у нашего костра?

Кажется, начинал сердиться о. Матвеев собеседник:

— Полно ломаться, поп... видать, и впрямь за сыщика меня принимаешь. А тебя и словить — велик ли с тебя навар? Ты без философии лучше оглянись: в мире-то!

— А чего, чего в мире? — искусно и вполне уместно загорячился о. Матвей. — Сладкая чума бушует в мире, вот что. Под молитву чуть не раздемшись пляшут, на алтарях норовят сблудовать да еще при детишках, чтоб погрешнее. Грязи и в доме накопилося, **некуда** стало людям жить. А ее, нонешнюю, никаким мылом не возьмешь: ни язвой моровой, ни увещеванием Господним, ни огненным гоморрским дождичком: токмо правдою... Вот Россия и кажет на собственном примере — как оно осуществляется.

— Это верно, правда до костей моет, и погребать не останется, — согласился Афинагор. — Вот я тебе про это дело знатную байку расскажу. Давай-ка, я тебе еще кружечку нацежу...

Матушкин запрет **не трепаться** с кем попало вовсе не возбранял слушание чужого **трепа**. Однако построенная в стиле древнего сказания с современной словесной инкрустацией Афинагорова байка сразу заставила о. Матвея насторожиться, в пору бежать — кабы не интерес, чем окончится. Повесть свою рассказчик приписывал одной прозорливой нищенке, ветхая да сохлая была, комар с налету повалит, возраст ее, возможно, исчислялся веками в обе стороны, иначе как могла она провидеть подобные вещи задолго до начатия больших казней в России.

—...Будто бы, едва занялось над миром черное зарево, — приступил Афинагор, — поинтересовался Господь, что за шум происходит на земле. Оказалось, что люди, уповая на долготерпение его, напирают снизу, державу

за глотку берут, с кистенями на него замахиваются, помышляют о вторжении в сокровенные его сущности, для которых пока не имеют даже словесного обозначения. Тут же Господь выразил пожелание повидаться с начальством, ведающим тишиной земною и благоденствием. Срочно доставили к нему на небеса, какие под руку подвернулись, мыслителей по указанной отрасли: как на подбор бритые и бравые, в габардиновых пальто до пят, в одинаковых с непромятым донцем шляпах набекрень или в нахлобучку по самые брови.

«Кто же вы такие, какое ваше занятие? — вопрошает Господь. — Что-то у вас, ребятушки, с прогрессом шибко не ладится».

«А мы те самые безумцы, которые... — хором отвечают все шестеро, хрипатые, — потому и навеваем человечеству сон золотой».

«Так уж достаточно навеяно, не пора ли перестать?..»

«Да вот люди толпятся, — объясняют предстоящие, — кровь из носа, требуют правду из темницы на волю выпустить. А мы ее не в темнице и содержим, а в храме подземном».

«Интересно, кого же вы, голубчики, и от кого охраняете? Людей от правды или самое правду от людей?»

«Толпа уже не люди, так что охраняем от взаимного прикосновения во избежание обиды».

Задумался Господь, головой покачал.

«Ах-ах, чего восхотели, по правде соскучилися. Ей, чистюле, и в огне-то из-за дыма и копоти не любо, а в смертном ихнем теле какое ей житово! — со вздохом потужил Господь. — Вот и раскопают себе, сердешные, сверхубойную заумность, хворь зубастую — на нее управы нет! У русских частенько хорошие мысля приходят опосля. Однако что с ими поделаешь, раз не терпится. Да она и сама, поди, по людям соскучилась, болезная: все впотьмах да взаперти!.. Сымайте с нее сбрую, пускай во взаимности натешатся досыта!» — рукой махнул Господь и отвернулся, чтоб не видеть.

Сутки утекло, пока тысячу замков да засовов отомкнули. На двенадцати цепях выводят узницу из подземелья в железных обручах для защиты от самой себя, чтобы, глядишь, не поранилась в порыве самокритики. Святая,

нагая, бесстыжая, прекрасная, глаз не оторвать, без кровинушки в лице, она дрожмя дрожит, бьется от нетерпения, пламенеющим оком зыркает по рядам в поисках добычи полакомей, где чуть лжинкой пахнет...

И хотя ничего пока не случилося, а уж кущи лесные маненько пожухли, осыпались, а пташки райские, какие помельче, уголечками наземь пали, ангелята со страхом попрятались за трон Господний.

Люди, как заприметили долгожданную кралю, в ладоши плещут, головные уборы вверх кидают, которые порезвее в дагестанской лезгинке прошлись на радостях.

А правда глазами рыщет — «которые там с пятнышком». Тотчас подшагнула к ним желанная-то, и не успели ближайшие картузов надеть, с голодухи, видать, вмиг целую шеренгу передовых марксистов слизнула дочиста. Как начала она их лущить, по сей день лютует: даже кого огненно куснет разок, тот, глядишь, затлел на всю жизнь, по земле в корчах катается, обугливается, самостоятельно дозревая до стерильного состояния. Втайне у каждого на уме — лжицы бы глоток хлебнуть для лучшего притворства, чтобы не сразу удалось прочесть происходящее у него в середке: артисты стали! И чуть сумленьем повеет, враз в кружок становятся и, в загривки взаимно вцепившись, начинают друг дружку убеждать, чтоб на полусчастье не останавливаться, а добиваться полной победы не покладая рук. А до чего так докатится, про то ни одному пророку знать не дадено!

Темный румянец почти припадочного вдохновения злой Афинагоровой сказки разлился по слегка запухшим щекам о. Матвея, тем самым выдавая его криминальное и безусловное авторство, потому что давно узнал в услышанном свои собственные интонации. Все последние годы он, как вся страна, вперемежку со страхами ждал апофеоза древней мечты о правде, чей приход всякий раз тормозился жуткими вспышками ее ненасытной памятливости, презрением к телесной немощи людской породы, неспособной обеспечить подвиг во имя великой цели, все разраставшейся, вплоть до вселенского масштаба. Отсюда возникали о. Матвеевы не совсем христианские опасения — можно ли (в смысле прочности) строить общественную инженерию на основе утопической догмы о

братстве без учета биологического неравенства особей, большой кровью подписывая исторические документы грядущего человеческого блага?

Ни с кем из домашних, даже с матушкой в иную тоскливую ночь бессонную, не делился он горьким сказаньицем своим, так откуда же досталась она бродяге? Вспомнилось, что при первом знакомстве забредший на кладбище бродяжка духовного происхождения сообщал отцу Матвею вещи давно тому известные. Сумма смутительных сведений становилась чистейшим наваждением, забавой над бедным, запуганным попом в развязной позе лежавшего перед ним двойника.

— На погосте дрова дармовые, ишь печку-то как распалил! — хозяйственно попрекнул, ледяными пальцами охлаждая распылавшиеся щеки. — Развезло меня с твоего зелья. Жаркое у тебя и дорогое, видать, винишко... Отколе раздобылся таким?

— Да, вишь, милостивец влиятельный завелся у меня невзначай. Прислал бедному отшельнику душу отвести на новоселье. В одну пламенную российскую непогодку на Вятчине встренулись мы с ним, да вот и породнились на всю жизнь.

— Откуда же он нынешний адресок-то твой в таком захолустье проведал? — встревожился о. Матвей, помышляя о неизбежной каре за непрописанного жильца.

— Беспокоишься, что без прописки у тебя поселился, милый Матвей, ибо тут, как бы выразиться половчей... действует нормальное, неподвластное милиции чудо, — легко читая опасения батюшки, насмешливо успокоил тот.

— При каких же таких злосчастных обстоятельствах довелось вам взаимно ознакомиться? — уже настороженно добивался у подозрительного пришельца приютивший его хозяин, пытаясь дознаться истины. — Значит, прочно у вас склеилось, что доселе помнит, балует помаленьку?

— Что тебе сказать? Познакомились мы с ним в глухих, родных дебрях, на славной речке Кожме при весьма занимательных обстоятельствах... — И дальше потекла плавная речь уже без малейшего церковнославянского акцента.

Глава XX

Рассказ Афинагора странным образом и поэпизодно совпадал с нижнекоженскими событиями, очевидцем которых и до некоторой степени участником оказался служивший в том районе приходским священником сам Лоскутов Матвей. Получалось, что оба присутствовали при разрушении одного старинного храма, публично взорванного с целью выяснить готовность русского крестьянства к ожидающим его дальнейшим преобразованиям. Мероприятие решено было провести без лишней огласки, где поглуше, в престольный праздник, одновременно с открытием годичной ярмарки, куда отовсюду, стар и млад, стекалось окрестное население. На сей раз привычные в ярмарочном обиходе слепцы с церковным распевом, от которых скоро вовсе ничего не останется потомкам, кроме песни ветра глухонемой в печной трубе, затейные балаганы, блины и пьяная бражка сменились полезными агитпавильонами, промтоварными ларьками и шанежками казенного производства.

Накануне, ввиду исключительной важности пробного мероприятия, местные авторы дружно говорили об исторической вредности христианства как духовного опиума, не сводя глаз с председателя делегации, который вдумчиво следил за точностью партийных формулировок.

Согласно описаниям прежних губернских краеведов наравне со знаменитой медовухой, староверческим укладом жизни и двухъярусной, крепостной прочности избяной архитектуры местных деревень славился там уединенный, на высоком берегу, нижнекожемский монастырек, откуда раскрывался вид на серебрящиеся до горизонта речные петли и бескрайнюю северную даль, в ту пору еще не разбуженную говором топоров, гулом ворвавшейся железной дороги.

Мельком упомянутый в летописи скромный основатель обители, преуспевший в аскетическом подвиге и заступничестве зырянской бедноты от приказных ярыжек, почивал в нарядной гробнице здешнего собора и, гласила народная молва — до самой нынешней беды ни разу не покидал своей духовной паствы. Еще в начале прошлого века из тех же краев происходивший тезка свя-

тителя, видный петербургский иерарх, по случаю какой-то династической даты исхлопотал у государя своему земляку внушительный колокол, чей басистый рокот в пасхальную ночь катился бывало по пустынным увалам вплоть до самого ледовитого моря. Озорной литейного дела искусник изобразил на кайме под звенящим ребром пышную цареву охоту. Вослед за ускользающим единорогом мчались всадники в стрелецких колпаках и чалмах басурманских, остромордые псы, вспугнутые пташки и вихрем погони сорванный лист древесный над ними, а вдогонку во всю мощь дули щекастые аквилоны архаической метеорологии... Казалось, истории непосильно было придумать более звонкой и мирской карусели.

Незадолго до памятных событий, когда повсеместно на Руси корчевали медные языки православия, скользнувшая громада пробила свод и по дороге отшибла карниз обвалившейся затем звонницы, останки которой пошли на починку износившегося в разруху тракта. Но и немые, силуэтно возникавшие на небе обительские стены с островерхими башенками на углах и уцелевший собор за ними продолжали радовать взоры по суше и воде проезжавших мимо, а здешние старожилы в тихий вечерок слышали, как в развороченной казенной гортани полощется ветер, скулит по утраченной игрушке.

По хитрой ли инженерной механике воздушных потоков или по тайной воле святителя встречный, с присвистом и в любую погоду врывавшийся через черный башенный проход сквозняк наотмашь сбивал головные уборы посетителей, не обнажавших башки при вступлении на территорию обители, будь то модная шляпка на барыньке, с красным околышком дворянская фуражка, местного богатея на высокой тулье картуз, и с подскоком катил их по скату до самой реки. Вошедшему во двор через приземистые, даже в летний зной прохладные и грузовиками обшмыганные ворота открывалась картина крайнего обительского запустения.

Кельи, проржавевшая кровля, усердием подвига построенный каменный святой колодец в глубине, трапезная с пробоиной в стене с правой стороны, где впоследствии искали монастырскую казну. Внешним поводом к сносу обители как раз и был помянутый раскоп, где по

ночам якобы собирались ветхие старушки и, сомкнувшись в кружок для укрытия горящих восковых свечей, шепотом пели криминальные кафизмы в честь царя небесного, ибо усердием сельских активистов церковь к тому времени была приведена в категорическую непригодность для богослужения. Вообще все в обители, покинутое Богом и тронутое разрухой, само просилось назад в материнскую почву, откуда поднято было неистовым вдохновением веры. Лучше остального сохранился стоявший на подъеме в гору из ворот осужденный потомками главный собор.

Поутру, пока не развеяло, тучки застлали небо, в предвестье положенной июльской грозы с грохотом по облачным колдобинам проехал на своей колеснице пророк Илья, и пробный обильный дождичек смочил иссохшую почву. Снова проглянувшее солнышко как бы выхватило приговоренного из окружающей пасмури, благодаря чему зданье приобрело выгодный аспект для прощального с ним обозрения, чем жалостнее краса, тем милее она сердцу. То был четырехстолпный, на высоком подклете, со щелеватыми окнами-бойницами под узорчатыми кокошниками, допетровского строения храм в честь Спаса Всемилостивого. Белокаменный и даже перед гибелью блистающий суровой красотой русской древности, он как бы в похоронном до пят посконном балахоне до щемления в сердце напоминал ратного, былинной славы и бессрочной службы богатыря, а теперь базарного слепца, зияющего мраками разбитых глазниц, присужденного к плахе за чрезмерное долгожитие... На его синем со звездами исполинском куполе еще сиял позолоченный крест, когда-то ответным лучиком встречавший утреннюю зорьку, чтобы вечером проводить солнышко за горизонт, а теперь, после неудачной попытки сбить его оттуда, набекрень покосившийся, словно во хмелю от ритуальной перед казнью чарки водки, он придавал видимость трагической обреченности почтенному старцу, который послушно отдавался на волю кровных своих, сменяющих веру внучат.

С утра парило к грозе и пряной торфяной гарью припахивало издалека. Народ съезжался со всей округи, как на прежнюю ярмарку. Всем было щекотно посмотреть по-

казательное единоборство новой власти со Всевышним. Оставив подводы и стреноженных коней на лугу под горою, мужики семьями усеяли земляной вал вокруг. И оттого, что новизна застала Россию врасплох, и любая затея обходилась пока без ощутимых последствий, все, тогда предпринимаемое на глазок, казалось проще и прочнее, дешевле и доступнее. Тем не менее была учтена и здесь необходимость предохранительных мер, так что шпуры под взрывчатку в опорных узлах собора бурились изнутри здания, чтобы энергия взрыва не вырвалась наружу, поэтому многочисленные зрители со своими пестрыми узелками разместились и на утоптанной монастырской земле, равным образом на кровле прилегающих строений и могли в сравнительной близости и без опаски наблюдать историческое событие. А глазастая ребятня, как ей и положено, целыми гроздьями набилась в кроны вековых осокорей. В отличие от старорежимных гульбищ не слыхать было ни бубенца поддужного либо пьяной частухи под гармошку, ни ржанья лошадей: стояла исполненная обычного в таких случаях шепотливого безмолвия народного тишина.

Мужики уже толпились вокруг временного помоста, где должно было разместиться изобильное множество приглашенных деятелей, в том числе прибывшая из столицы наблюдательная комиссия во главе с румяным руководителем всероссийского практического атеизма.

— Вот и старшие припожаловали дедушку в путь-дорожку снарядить, — вслух и со вздохом обмолвилась молодуха, шаря себе собеседника пронзительно голубыми глазами, — эк чего придумали, экзамент Богу учиняют, выманить хотят на посмех в свое кружало! Так и дался он им, баловникам!

Отсюда, из-за жидковатого, на рогульках веревочного ограждения, виднее всего была обращенная к зрителям стена собора с полусохранившимся изображением библейского пророка в огненной колеснице, отбывающего на небеса. Ниже картина сменялась причудливым хаосом свежих полукружий, зигзагов и пунктирных брызг явно не дождевого происхождения. Загадку красноречиво поясняла зеленоватая непросыхающая лужица, выползавшая из-за ближней алтарной апсиды. В укром-

ной нише за нею наспех, по неотложной надобности задерживались всякие ремонтники, кооператоры и другие посетители административных служб, размещенных в строениях упраздненной обители. Которые помоложе, по обычаю мух всюду оставлять памятку пребывания, утверждали здесь свою личность, соревнуясь с предшественниками в художестве росчерка. Никто из властей не догадался тачкой-двумя песку скрасить вопиющую мерзость осквернения. При отбытии на прощание инкогнито возглавлявший операцию товарищ из центра даже пожурил местное начальство за недосмотр и за скандальное в связи с ним происшествие, едва не воспламенившее пороховое смирение темной крестьянской среды.

Дело затянулось из-за длинных речей, где в унисон и беспощадно осуждалось православие как тысячелетний пережиток прошлого, затемняющий пробудившееся сознание трудящихся.

Меж тем, пора было начинать, чтобы управиться до грозы. На кумачовой трибуне под жгучим солнышком давно плечом к плечу томилась собравшаяся общественность, шефы, ветераны, школьники в красных галстуках. В толпе, жаждущей чуда, вплотную прижатой к дощатому борту, находился свободно и, кстати — не в рясе, настоятель соседнего прихода М. Лоскутов, так что подрывная машинка оказалась на уровне его головы и в ногах у крупного тогдашнего райисполкомовского работника, коему была доверена честь с помощью оной привести экзекуцию в исполнение.

В нередких потом раздумьях о судьбе нынешней цивилизации отец Матвей датировал ее той предысходной фазой старости, когда отчаянье конца, по его догадкам, уступает место литургическому прозрению с отказом от вчерашних святынь ради некой безгреховной радости.

Все началось с того, что в предвестии обычной на Ильин день большой грозы, отдаленный, на сей раз в особенности гулкий раскат грома отвлек внимание присутствующих, никому в точности не запомнилось, откуда взялась и как оказалась за чертой оцепления под запоганенной фреской та худощавая, степенного облика и в спелых годах женщина с котомкой и бабьими за спиной башмаками, по всему пришлая издалека поклониться

обреченной святыньке, однако не из странниц или бродяжка беспамятная, которых к тому времени вывели на Руси. Бесстрашно опустившись в самую, еще не просохшую под травкой мокрядь, с приклоненной головой стояла она на коленях, словно на себя одну принимала великий грех сограждан, безучастно следящих за ходом событий, она не плакала, не молилась, лишь прощалась со своим добрым старым Богом, с буднями и праздниками отжитой истории. В сущности, единственная ее вина была в том, что она делала это без учета самой сути порохового момента — слишком медлительно, истово и до жути значительно. Вдруг наступила оглушительная тишина, как призыв к бунту, с которого могло начаться стихийное и страшное пробуждение нации.

Две статные своевременно подоспевшие аккуратные бабоньки в беретиках и одинаковых гимнастерках дружно поставили женщину на ноги и, приговаривая: «Пойдем, болезная, пойдем, отдохни с дороги, голубушка, пойдем, накормим, напоим тебя, отмолить ты свое успеешь, Он всегда на своем месте, Он Господь Бог. Сегодня в баньке попаришься, а завтра, глядишь, в поезд посадим и покатишь тихохонько к своим старичкам-наставничкам Зосиме и Савватию под крыло», — бережно повели вниз к воротам неизвестную. Она покорно шла и приветливо, кивками налево и направо прощалась с людьми и как бы даже улыбалась тому, что с ней будет. По пятнам на юбке видно было, что она промокла до колен. Некоторые вставали на стенки, чтобы лучше видеть. Все было недвижно, кроме одной фигуры на помосте с немой морзянкой жестов. Мимолетная вслед за тем, уже без свидетелей, однако не меньшей значимости повторная заминка несколько поотсрочила успешное выполнение программы.

Из окрестных жителей, собравшихся не без тайной надежды полюбоваться Божьей расправой над участниками святотатства, по разгону предыдущего эпизода, больше всех волновался Лоскутов Матвей. Приближавшаяся гроза подсказывала ему совсем другой вариант концовки, нежели знаменитое библейское сказание о свирепом, нестерпевшем глумления Елисее. Небесное вмешательство мнилось батюшке подобием внезапной молнийной вспышки, смирившей ярость гонителя, в данном

случае, в лице вышеупомянутого представителя власти. Прообразом для ожидаемого в нем душевного переворота послужил один, еще на семинарской скамье пленивший юношу, евангельский эпизод. Душная беззвездная сирийская ночь, бешеная скачка по пути в Дамаск, и впереди отряда в струящемся от ветра плаще римский центурион, некто Савл, пылающий вдохновением к убийству неверных, торопится завершить задание по истреблению собравшихся там презренных назареев, пока на всем скаку не вразумил его кроткий, из облака, вопрос гонимого Иисуса. Чем чернее грех, тем плодоноснее покаяние.

Именно этот эпизод заставлял священника вглядываться в стоявшего на возвышении над ним чиновника — в ожиданье, что вот-вот в решающую минуту из руки его выпадет наземь звенящий нож и произойдет обращение нового Савла с точно такой же мученической концовкой, как у его великого предшественника. Обычно душевный перелом у большинства образцовых, канонизированных впоследствии отступников, как правило, наступал после какого-то титанического грехопаденья, когда со дна пучины видней становятся светила небесные, сокрытые от нас на дневном свету, и для данной цели как нельзя лучше подходил свирепый удар, наносимый жемчужине северного зодчества. Однако что-то заставило намеченного о. Матвеем избранника в праведники медлить с исполненьем приговора, и, читая на его лице душевное смятение, поп мысленно и страстно торопил его совершить теперь уже казалось неизбежный шаг преображенья провинциального исполкомщика в светоча церковного возрождения.

То был русый и рослый детина, чистокровной северной породы, в комиссарской кожаной куртке и в надежных, по тамошнему бездорожью, дегтем пахнущих сапогах, опаленный огнем Гражданской войны и уже намеченный возглавить местный облисполком. По ремеслу он был отважным сплавщиком леса, обладавшим даром проводить по бурной, ранней воде от истоков Камы до Астрахани гигантские плоты **беляны**, нигде на поворотах не вымахнув их на пойму, не мазанув боковиной по яру, не пустив на молевую россыпь сплоченную древесину. Именно такие качества требовались от лиц, брав-

шихся вести Россию к своей исторической цели — вдобавок к репутации **всенародного** человека, доступного в беде с обладанием масштабно-хозяйственной сметкой. Словом, все здесь, кроме упущенного из виду кондового староверческого происхождения, служило **румяному** достаточной рекомендацией для выдвижения избранника на высшую административную орбиту, причем предстоящий акт был кадровой проверкой на послушность, означавшую пригодность кандидата для еще более серьезных свершений впереди. Считалось, что недостающие новичку государственную мудрость и опыт он наверстает в рабочем порядке классовым чутьем.

Неожиданно за счет новоприбывших напиравшая сзади толпа лавинно двинулась вперед, так что о. Матвей оказался в непосредственной близости, рукой дотянуться, от намеченного им в герои комиссара. И когда последний уже наклонился к стоявшему у него в ногах ящику с аппаратурой, то священник, с целью поддержать в неофите недостающее мужество при шествии его на подвиг и заодно воздать поклонение завтрашнему апостолу всея Руси, и совершил тот нелепый, вполне патологический поступок.

Ухватясь за его правую руку, уже лежавшую на рычаге адского механизма, о. Матвей смешно тащил ее к своим навстречу вытянутым губам, и тайной осталось, по какой сверхсокровенной логике, судя по гефсиманской тоске во взоре, несостоявшийся страдалец правильно разгадал намерение попа, продиктованное не вылазкой классового врага — пресечь злодейство или хотя бы укусить руку святотатца, а направить его волю на стезю иную. А тот не давался, противился, силился стряхнуть его окостеневшие пальцы. И значит, в ходе начавшейся краткой борьбы, по счастью, никем в толпе не замеченной, исполкомщику удалось рвануть на себя зловредную рукоятку — тотчас на другом конце провода сработали подрывные заряды.

Слегка дрогнула местность, глубинный гул прокатился в земле, и обильно изовсюду взлетели воробьи. Правда, все обошлось аккуратно, управились до грозы, и ни один камешек наружу не вывалился, только известковые облачка вырвались из оконных бойниц и поплыли

в небеса. Явное разочарованье зрителей показывало воспитательную пользу эксперимента. Однако из-за лишней предосторожности не была достигнута и практическая цель мероприятия. По задумке властей предполагалось уронить здание покучнее, внутрь себя, на деле же, в силу скипевшейся за пять веков извести и по трещинам послойно кое-где соскользнувшей кладки храм лишь покривился слегка и замертво завалился как бы на одно колено, а просевшая кровля повисла на уцелевших столбах, свесив главу на бочок, как и положено казненным. Призрачная известковая дымка сорвалась с его поверхности и неторопливо поплыла над луговым пространством куда-то за синий лесок на горизонте. «Дух испустил...» — внятно сказал в толпе длиннолицый старик в старинном, с высокой тульей картузе и, обнажив лысину, покрестился за упокой новопреставленного. В потемневшем небе громыхнуло разок-другой, заглушая прощальную музыку, и стало накрапывать слегка. Мужики молча расходились по домам и подводам без оглядки на содеянное, не удивляясь больше ничему и, может быть, в предвиденье дальнейшего.

Близ полночи несостоявшийся неофит, успевший выяснить личность и местожительство священника, постучался к нему в одинокое на селе освещенное окошко. Их знакомство произошло при весьма забавных совпаденьях, словно по чьему-то и без их участия составленному сценарию. Будто в ожидании гостя, дверь была чуть приоткрыта и неслучайно оказавшаяся в сенях попадья безопросно впустила незнакомца в избу. Еще с порога, держась за притолоку, посетитель взглянул на хозяина с особой пристальностью; переглядка, из глаз в глаза, послужила парольным согласием для предстоящего общения. В деревянных мисках на столе красовалась употребляемая на закуску домашняя снедь и бутылка первача, без чего для разбега не обходились на Руси генеральные встречи такого рода с рассуждением о самом главном — родине в том числе. Беседа велась молча, без единого криминального вздоха. Пили поровну и при достаточной градусности напитка не хмелели, созерцая нечто громадное за пределами века, что лишь немногими угадывалось впереди. Но, значит, кому-то довелось в ту ночь мимоходом

заглянуть на преступное их пиршество поверх оконной занавески, потому что через добрых семнадцать лет по доносному свидетельству расшифровался смысл того подпольного и единственного свиданья, чтобы потом получить мировую огласку.

Разошлись на рассвете без сговора и даже без рукопожатья, но как раз те, не затухавшие в памяти обоих и вслух не произнесенные слова вдохновляли каждого из них на неукоснительное исполненье своих обязанностей, в конечном итоге работавших на раскрытие таинственной миссии России в ее отдаленном апофеозе. И может быть, именно железной рукой творившие волю **вождя** его соратники ускоряли ее всемирное вызреванье.

В общем, избранник оправдал надежды краснощекого начальника. И если даже не существовало должности советника при непогрешимом властелине, то следовало учредить ее, хотя бы затем, чтобы смягчить пришлый, чужой акцент мышленья, осознать недозволенные ошибки, оживить схоластическую лексику доктрины. Подобный человек — неиссякаемый кладезь фольклорных присловий и ходовых побасок — нужен был ему и для проникновения в тайники туземного характера при проведении столь рискованных операций на человеческой душе под надежной анестезией агитпропа и цепенящего страха.

По своему происхождению из низов оба они, священник и комиссар, одинаково ощущали роднившую их, саднящую боль, порожденную исторической трещиной на национальном монолите с отменой древнего племенного родства, подобно матице в избе, крепившего русскую государственность.

Следователь, который впоследствии занимался этим дельцем, усмотрел в их ночной встрече, страшно сказать, как бы благословляющий постриг — идти в мир для совершения одинаково величественной двухвариантной русской судьбы. Раскрывшаяся в дальнейшем их преступная связь состояла в тайных периодических присылках пары-другой бутылок безгрешного, применительно к сану церковного винца кагора с приложением одной градусами покрепче на случай простудного недуга от поднявшегося ввысь комиссара совратившему его попу. По характеру первого же подношения без сопро-

водительной записки, прибывшего к нему на новоселье, о. Матвей сразу опознал личность анонимного дарителя, за служебным продвижением которого следил по газетам с ревнивым чувством дальнего родственника. Так постепенно разъяснилось, что неправдоподобный в церковной практике перевод захолустного священника в столицу, поначалу приписанный ходатайству старенького архиерея, заночевавшего под гостеприимным лоскутовским кровом при объезде своей епархии, в действительности явился следствием совсем иного покровительства и доказательством неправомерно возросшего влияния гражданской власти на дела духовные.

— Какая же ему фамилия, благодетелю твоему, разыскавшему тебя в нашей яме? — отвергая так и просившееся на язык одно мучительное подозренье, с опущенным взором спросил батюшка.

— Ладно, хитри у меня... уж будто не расчухал! — в открытую усмехнулся оборотень. — Тот же самый и есть, что у тебя... Скуднов Тимофей... А что?

Еще и раньше поражало батюшку чрезмерное сближенье подробностей, вроде того, например, что там и здесь румяный столичный руководитель увозил с собою в чемоданчике вынутые из-под спуда кости преподобного для научного обследованья с последующим помещением в музейной витрине для верующих, а наступившая потом разборка руин на мощение износившегося местного тракта длилась три года, несмотря на энтузиазм школьников и активистов. Когда же объяснилось вдобавок и сходство фамилий благодетелей, то есть зеркальное совпадение лично им испытанной яви с приключением сомнительного собеседника, то о. Матвею стало вовсе не по себе: а не сидит ли он в пустом склепе, разговаривая сам с собою?

— А помнишь, как вкрадчиво в бывалошное время звучали у нас там вечерние колокола? — врастяжку, чуть не вплотную приникнув к лицу отца Матвея, спросил помолодевший старец, словно длинную мучительную иглу вставил под самое сердце.

— Знаешь, браток, что-то жарко мне, засиделся у тебя, пора домой. Ну я побегу, пожалуй!.. Тебе хорошо тут бездельничать, а меня на всю ночь работа ждет, — в смятении заторопился он восвояси, осененный подтвер-

дившейся догадкой, что в Афинагоре скрывается некто совсем не тот, кем прикидывался.

Суховеровскую гробницу о. Матвей покидал с трезвым пониманием неизбежности подобных наваждений, ибо по тем временам, учитывая феерическую логику прошлого, разумнее было для здоровья мириться с настоящим в предвидении еще более причудливых диковинок в будущем. Теперь же батюшка не удивился ни своеобразному пещерному уюту Афинагорова убежища, ни напугавшей его прозорливости.

Глава XXI

Лишь переступив порог наружу, ощутил о.Матвей непривычную дотоле тяжесть в теле и, видать, по причине положенного старикам весеннего расслабления, шаткость походки, а пока сидел у Афинагора, мокрый ветер поднялся и сеял из-за борта, глыбами воздуха швырялся над рощей, и та отзывалась натужным скрипом снастей. Похоже, сам просился в море мрака истомившийся у причала старо-федосеевский корабль...

К сумеркам поутихло, но ничего не осталось от давешнего, с цыплятами, пасхального озаренья, и такая вдруг открылась неодолимая, призывающая **тяга** туда, в безграничный черный простор впереди, что в пору хоть сейчас в дорогу, однако подступившая действительность, в частности — бегущая навстречу фигурка, пересекшая длинный туманный луч из освещенного окна, напомнила ему о земных делах и обязанностях.

В самой близи от дома впотьмах окликнул отца запыхавшийся Егор. Оказалось, двое городских с полчаса дожидаются батюшку на скамейке под сиренью.

— Панихиду просят отслужить. Прогнать неловко, да и деньги не валяются, — деловито шепнул Егор, которому помесячные, из собственного заработка, взносы на общий стол давали право на артельное товарищество с родителями. — Обыскались тебя по всему кладбищу, с ног сбились.

— Суровый ты стал у меня, сынок, никакой поблажки старику не даешь, — отшутился о. Матвей и пожурил

несмышленого, что на крыльцо от непогоды не пригласил, не отложил их просьбу до утра.

— Что за срочность у них такая на ночь глядя?

— Знать, покойнички тревожат, со временем не считаются, — со знанием дела усмехнулся мальчик.

— И то правда твоя, сынок, — подтвердил отец, имея в виду, по рассказам прихожан, достоверные случаи, когда мертвые в печальных сновидениях стучатся в сердца живых за милостыней и молитвой.

— Гражданин притащился с женой, совсем молоденькая и плачет, нервная, вроде Дуни нашей. Шибко с ними не задерживайся... у матери самовар на столе, а мы с Дуней еще в **Мирчудес** на последний сеанс наладились, может, и Никанор присоединится, если успеет. Пока поговори с ними, а я за **прибором** слетаю... — К постоянному неудовольствию отца так именовал он парусиновый, в духе времени, маскировочный портфельчик, где у батюшки хранился походный инвентарь в случае вызова прихожан к себе на дом.

Егор потому боялся в кино опоздать, что мастер на все руки, он при малых требах прислуживал отцу не хуже пребывавшего в длительных загулах Финогеича. Меж тем, заслышав голоса, просители сами поспешили навстречу приближавшемуся священнику, — тут стороны и ознакомились в косом свете, падавшем из окна. Мужчину выше средних лет в стеганой ватной куртке и в козловых, не по сезону, сапогах сопровождала совсем юная и, насколько удалось рассмотреть под приспущенным на лоб старушечьим платком, даже миловидная, тем не менее сутулившаяся от неведомого душевного стеснения, впрочем, нередкого в ту пору и у молодежи, скорее дочка по возрасту, нежели жена, что вскоре и подтвердилось. Успевшие продрогнуть от пронизывающей сырости, они вперебой, мятыми и неточными словами изложили батюшке свою неотложную надобность.

— Ай для вас дня нету? — тронутый настоятельностью их безо времени необычной просьбой. — На ночь глядя о мертвых вспомнили...

— Извините, батюшка, так уж обстоятельства нашей жизни повернулись вдруг, — надорванной скороговоркой попыталась молоденькая объяснить свое родство с

кем-то, лежащим здесь под могильной плитой, но сбилась, оборвалась на полуслове, по-детски безутешно зажавши рот ладошкой, и так как в намеке девушки сквозила какая-то запретная чрезвычайность, жест отчаяния показался о. Матвею убедительным оправданием спешки, хотя от усталости и подумал, что по неограниченному запасу вечности усопшие могли бы и подождать.

— Понимаю, не спрашиваю ни о чем, поелику молитва о мертвых не возбраняется ни в какое время суток, — согласился священник исполнить просьбу как исключение отнюдь не из корысти и ввиду уединенного места без боязни нарушить обязательное запрещение властей совершать богослужение на открытом воздухе. — И вы, милая девушка, не убивайтесь понапрасну по невозвратному, уповайте на нечто светлое впереди, еще неосуществившееся, — сказал о. Матвей и с утешной лаской коснулся ее вздрагивающего плечика, даже нашел уместным извиниться перед клиентами, что заставил ждать на непогоде.

— Уж это скорей климат виноват, что осень у нас долгая, а время трудное, и еще не пришлось бы карточки на продовольствие вводить, — примирительно оживился мужчина, готовя нечто в кармане, предполагаемую трешницу.

— Не ропщите до поры, — для поддержания приветливых отношений возразил о. Матвей. — Не знаменательно ли, на ваш взгляд, любезный, что именно переживаемое ухудшение с пищевыми продуктами научает нас, беспечных граждан, почаще вспоминать про нужды земледелия...

— Давайте покороче, папаша, а то у нас билеты пропадут! — шепотом сбоку взмолился возвратившийся Егор, причем все у него, весь припас оказался на ходу, вплоть до кадила, раздутого, видимо, на самоварных угольках.

И в самом деле, после короткого знакомства пора было приступать к исполнению обряда.

— Ладно, ведите, где он там, ваш покойник? — поторопил Егор, мимоходом скользнув взором по циферблату под рукавом.

Панихиду требовалось заказчикам отслужить на самой могиле, находившейся где-то поблизости. Все вчет-

вером по щебневой тропинке они двинулись в указанном направлении до немощеного поворота, где местами идти приходилось уже гуськом. Шествие замыкал о. Матвей, на ходу облачившись в епитрахиль, а сбоку для лучшего обслуживания клиентов, чтоб не порваться о железный прут изгороди, оперативно подсвечивал дорогу электрическим фонариком мальчик Егор. После недолгих поисков шедшая впереди девушка молча, трагическим жестом указала на старинный под сиренником чугунного литья крест могильный. И не успел Егор в два-три маха размести палый лист, как девчушка с прорвавшимся стоном рухнула на обнажившуюся и мохом заплывшую плиту. И особенно умилила священника душевность порыва, с каким она, вся трепеща, к явному неудовольствию родителя, обняла безличный камень, подобно голубице, накрывающей своих птенцов воскрыльями материнских объятий. Судя по двум скрещенным пушкам с артиллерийским ядром, следовало предположить захоронение забытого вояки не позже Севастопольской страды, возможно, прадеда чувствительной юницы. Так убедительно шло до поры, что не раз тянуло о. Матвея склониться к бедняжке с увещанием, чтоб не убивалась по давно усопшем, познавшем радость умиротворенья...

Когда же на предпоследней строфе заупокойного гимна порыв ветра подхватил и в загробную даль понес взводистый, как оно по ритуалу положено, дребезжащий возглас священника, ко всему в придачу мерно зазвучали капли ночного дождя. Сразу выяснилось, что вымокнуть в честь возлюбленного предка не входило в намерение заказчиков, причем девушка поспешно распустила невесть откуда взявшийся зонтик, а проявивший нервное беспокойство родитель ее вмешался в ход затянувшегося обряда:

— Ну, здесь мы, пожалуй, прервем немножко наше занятие, батюшка, с расчетом перебраться куда-нибудь под кровлю, — пояснил он, прикосновеньем к плечу возвращая попа к жгучей действительности. — Извините, что ввиду наблюдавшихся уклонений от уплаты недоимок вынужден был прибегнуть к не совсем привлекательному приему для выяснения платежных обстоятельств вашей деятельности. Очень приятно было познакомиться,

я — ваш налоговый инспектор Гаврилов, а это в данном случае моя ассистентка, дочка Катя.

— Не ожидал, не ожидал... очень приятно... — невпопад, с дрожью замешательства отвечал о. Матвей, наугад передавая сыну еще чадившую кадильницу, и на повторный вопрос чиновника, найдется ли укромный уголок поблизости, где он смог бы разложить служебные бумаги, пригласил отправиться к себе на квартиру по отсутствию иного закрытого помещения, кроме неосвященного храма. — Пожалуйте за мною... кстати, тут у нас тропочка покороче имеется!

Лишь теперь преодолев ошеломление обмана, осознал о. Матвей размер постигшей его катастрофы. Налоговое обложение духовенства служило тогда наиболее частым и действенным, хотя и далеко не главным средством борьбы с Церковью, а незадолго перед тем был объявлен решительный месячник всеобщего похода против злостных недоимщиков.

Возвращались молча, уже в обратном порядке, и снова Егор из фирменной учтивости в отношении клиентов сбоку подсвечивал им дорогу. Налетевшая было шквальная буря, разродившаяся мелкой изморосью, оборвалась еще раньше, чем выбралась сквозь сиреневую заросль к себе на открытую поляну, и каждый порыв ветра стряхивал на идущих обильную капель с намокших ветвей... Плачевные соображенья о последствиях случившейся беды помешали о. Матвею своевременно вникнуть в происходивший у него за спиною диалог ночных гостей. Ластясь к отцу и, видимо, желая сломить долгое родительское сопротивление, любимая дочка шепотом добивалась у него ответа — отпустит ли он ее **теперь**, после столь удачно сыгранного этюда наживки, в драмстудию при знаменитом театре во исполненье девичьей мечты, как она выразилась, вдохновлять пробуждающихся сверстников на подвиг жизни? Здесь, прервав будущую актрису кивком на священника впереди и в очередном намерении смягчить ситуацию, Гаврилов попытался посвятить свою жертву в собственные переживания.

— Лишь на склоне лет, после похорон отца, — сказал он, — по-новому раскрылось ему мистическое очарование заупокойной службы, где мелодия погребального на-

пева органично сочетается с надеждой на потустороннее возрождение. «Видите ли, я тоже немножко верующий... с оговорками, разумеется!» Своим криминальным, по тем временам, признанием Гаврилов как бы вверял себя благородству священника в расчете на сочувственное понимание допущенной им непривлекательной процедурки. О. Матвей лишь сокрушенно покачал головой в ответ и, хотя до дому оставалось всего полминутки ходу, тут же послал Егора упредить мать о ночных гостях.

Таким образом, попадья успела смириться с судьбой, которую втайне предвидела, и еще на пороге с поклоном готовности встретила входящую беду, сразу опознанную по разбухшему у незнакомца казенному портфелю, на обратном пути подобранному им у крыльца. Все четверо молча вошли в столовую и стояли где кому пришлось в ожидании чьего-то хода начавшейся игры.

При виде накрытого к ужину стола чиновник извинился за нарушенную трапезу, однако на тот случай, если вдруг потребуется быстрый уход, раздеться отказался наотрез и даже, отвергая нередкую в те годы попытку подкупа, заранее предуведомил хозяев насчет полной напрасности надежд на малейшую поблажку. В свою очередь, матушка краем свисавшей клеенки прикрыла сдвинутую посуду, высвобождая **фину** уголок для служебной писанины. Некоторое время гость рассеянно щурился на торчавшую из-под клеенчатой скатерти рукоять большого хлебного ножа, как бы колеблясь — стоит ли ему перед столь щекотливой операцией чересчур раскрываться завтрашнему врагу, но, значит, искушение чуточку обелиться в глазах разоряемого семейства пересилило здравый смысл.

Одновременно Гаврилов профессиональным взором примеривался к имуществу хозяев. Взятая **чохом** здешняя ветошь не имела нужной аукционной стоимости, хотя в глазах нынешних уже полувладельцев даже вчерашние нехватки представлялись верхом благоденствия. Почти не тронутый молью ковер на стене, юбилейное подношение прихожан, удивительно гармонировал гаммой красок с висевшей наискосок, старинными шерстями вышитой ценной картиной на религиозный сюжет известного **Рембрандта**. Самого батюшку несколько

смущала обнажившаяся теперь буржуазная роскошь его жилья, вроде позолоченного диванчика, выше упомянутого канапе, что надменно красовалось между парных, с пружинным вздохом мягких кресел, в которые, если обновить обивку под гипюрными подголовниками, было бы не зазорно самого Скуднова усадить, кабы снизошел к ним по старой памяти, или бесстыдно разросшейся пальмы, хотя бы и выращенной из вполне дозволенной финиковой косточки, и наконец — зажженная в углу субботняя лампада, свидетельствующая о нетрудовой социальной принадлежности жильцов... Перечисленные излишества имели своим источником преступную деятельность нигде не зарегистрированной артели.

По совокупности упомянутых социальных улик фининспектору никак не грозила опасность чрезмерного перегиба, напротив — всякое превышение налоговой ставки в конкретном варианте послужило бы для начальства свидетельством его преданности святому делу и непримиримого классового чутья. К тому как раз и стремился Гаврилов, которому вязала руки беспомощная кротость недоимщиков.

По давеча снятой с ворот и уже в портфеле уличающей табличке легко было установить членский состав подпольной артели **Лоскутов и К°**, предметно выяснить персональную специальность каждого из них. Судя по запаху, за ситцевой занавеской в углу при входе обретались заказы сапожного характера, а стоило руку протянуть — и под дырявой простыней объявились сразу две кофты модной вязки, — верхнюю, только что законченную, кстати, Дуне предстояло утром отвезти к одной видной московской барыне.

— Все понятно, — с облегчением догадался он, взглянув на виновато опущенные руки хозяйки. — Это, по-видимому, уже ваше производство?

— Когда и доведется невзначай связать жакеточку, то исключительно каждый раз из сырья заказчика... — невпопад пыталась оправдаться Прасковья Андреевна.

На ее уловку фининспектор только плечами пожал:

— Ясно, не из своего же, поскольку на кладбищах стада не пасутся. Тут уже дело следователя выяснить происхождение сырья. Наш интерес не простирается дальше

себестоимости, розничной цены и количества выпускаемых штук по плану. — Щадя старуху, он не помянул про обязательную в таких случаях надбавку на предприимчивость кустаря, который, работая без перекуров, непременно урвет кусочек времени у сна и домашнего досуга для умножения подлежащих учету прибылей.

Несколько иначе обстояло дело у младшего в артели оперативного отпрыска, мрачно молчавшего поодаль, мастера на все руки по части фото-радио-паяльно-часового производства и других настолько не поддающихся учету специальностей, что разумнее было исчислять обложение на глазок по совокупности валового дохода всей фирмы в целом.

Самое начало разразившейся бури Дуня мирно продремала у себя в светелке, как она любила, **начерно** перед ужином, и характерно, что негромкие, время от времени, голоса внизу, а как раз зловещая тишина пробудила ее. В отвлекающих условиях момента Дуня спустилась никем не замеченная и пристроилась за пальмой у окна.

Теперь, после беглого ознакомления с обстановкой, можно было приступить к предварительной, в облегчение совести, беседе начистоту.

Такую, не показанную в служебном разговоре, исповедь Гаврилова надо рассматривать как вполне искренний непроизвольный крик чувствительной души, в котором застрявший на нижней ступеньке служебной лестницы полуверующий чиновник выкладывался до срамной наготы. От священника, обязанного по должности своей вникнуть в его житейские обстоятельства, надеялся он получить моральную поддержку подвернувшихся лишенцев в смысле согласия примириться с ожидающей их участью. Гаврилову было выгодно услышать от кого-нибудь из них словцо против Советской власти, что позволяло его заветной мечте разыграться во всю ширь воображения, естественно, отсутствие ответной признательности повергало фининспектора в озлобление, снимавшее укоры совести.

Не гонясь за точностью юридических формул и вникая лишь в самую суть, чиновник попутно подчеркнул, что начавшаяся рационализация всемирной жизни является, с бухгалтерской точки зрения, дееспасительным

мероприятием по размещению все возрастающих людских контингентов на прежней жилплощади с более плотной утряской за счет габаритов отдельной особи в наличные возможности цивилизации. Причем инстинкт биологического антагонизма будет гнать разъяренные массы против ненавистной элиты, даже когда та убавится до единицы, и было бы разумно, чтобы в этой схватке, когда промедление и милосердие становятся преступлением, меньшинство заблаговременно и бескровно покинуло свое место на планете во исполнение исторического процесса.

— Не примите сказанное за осуждение, но как представитель налоговой инспекции с удовлетворением отмечаю в мысленном блокноте очевидные приметы вашего преизбытка, каковым не грешно было бы и поделиться с государством, — с дрожью волнения в голосе приступил Гаврилов, обводя взором лоскутовские апартаменты, чуть задержавшись на самодельной клетке с сутулой птичкой близ окна.

— Ой, никак вы на канарейку нашу намекаете? — улыбнулась матушка, почуяв в шутке просвет на облегчение. — Пичужка-то вся в наперсток, такой нахлебник и нищего не разорит!

— К тому же, в старинных казематах, в биографиях описывается, иные узники паучков себе заводили, чтобы скоротать время заключения, — тихо и значительно обмолвился мальчик Егор с опущенными глазами.

По тону и направленности своей замечание крайне не понравилось фининспектору, но он простил отроку двусмысленный намек в присутствии должностного лица, чтобы в случае повторения проучить по совокупности.

— Вы живете в полной природе, как на затерянном волшебном острове: ни тебе грохот текущей жизни, ни гарь бензиновая, — наставительно сказал Гаврилов. — Имеется большая разница, молодой человек, и не желаю вам лично испытать на собственной практике. В темнице дело не сопряжено с материальными затратами, там зверь заводится сам по себе и на подножном корму. Суть вопроса не в сравнительной дешевизне прокормления канарейки, а в самовольной прихоти ее содержателя, отсутствующей у трудового населения и, как правило, воз-

никающей не раньше удовлетворения нужд насущных. Вот верный показатель достаточной спелости нивы для прихода жнецов! Я давно имею обыкновение, прежде чем к недоимщику постучаться, в освещенное окно к нему заглянуть, из ночи и снаружи все главное и стократ сокрытое становится виднее. Спящая в клетке канарейка служит юридическим показателем нравственного благополучия: нищему не до птичек. Если всего всем поровну, то и спрятанное в карманах души на стол выкладывай, ибо отныне каждый входит в означенный мир за своей законной долей счастья, обеспеченного всем достоянием накопленного в веках гуманизма. Сегодня новорожденный товарищ в загробный кредит не поверит. Уже с пеленок и чистоганом ему вынь да положь причитающийся паек, за которым ежедневно протягиваются мильёны рук... не пустых, заметьте! Зрячему благоразумнее добровольно уравняться с полузрячим, за отсутствием другого способа — выгоднее глаза лишиться, нежели всего агрегата в целом, где он помещается. Видите, куда привела нас желтая пичужка. Сие только пометки на полях, главное впереди... — И глазами победительно обвел подневольную аудиторию, покорно внимавшую ему.

— Тогда я хотел бы получить официальную справку, — нетвердо и с пылающими ушами заявил Егор, — скажите, школьники также подлежат обложению налогом?

Хотя враждебность волчонка послышалась в вопросе, но в намерение фининспектора не входило причинять клиентам лишнюю боль сверх положенного.

— В наших инструкциях возраст налогоплательщика не имеет существенного значения... — терпеливо пояснил Гаврилов и вдруг с чувством приятного утомления открыл, какое счастье диктовать чрезвычайные законы на благо послушной современности. — Все решается фактом и размером постороннего приработка. Исходя из общей вашей принадлежности к одной производственной группе, можно сомневаться лишь — взыскивать ли налог раздельно с каждого из вас, для чего, естественно, потребуется доказать по отдельности, что, проживая под одной кровлей и невзирая на узы родства, вы не пользуетесь общим столом, что опровергается, так сказать, наличием находящихся перед нами продуктов совместного

питания... — и он строго посмотрел на вместительную плошку с овощным, сообразно месяцу, постным крошевом, — или же...

— Простите, что именно скрывается под союзом **или**? — чуть подался вперед батюшка с надеждой на что-то.

— Ну, в последнем варианте сумма прогрессирующего обложения значительно возрастает и общая платежная ответственность ложится на директора артели! — уклончиво, с жестом непричастности объяснял он и вдруг захлебнулся словами, до жестокости обозленный настойчивым ожиданием от него чрезвычайных милостей, которые сам рассчитывал приобрести неукоснительным исполнением службы. — Мы с вами взрослые люди и понимаем, о чем речь. В большом плане и нищета не должна надеяться на снисхожденье. На вашем месте, с вашим расчетом на посмертное воздаяние... да будь у меня мильён за пазухой, я бы весь, до последней копейки раздал. Приятно быть нищим в царстве небесном, на полном иждивении у всевышнего. Извините за откровенность, но в погоне за счастьем земным без помощи локтей из толпы не вырвешься.

— Ничего, ничего, — успокоительно кивал Матвей, — один брандмайор тоже на исповеди у меня так выразился, что, мол, на пожар мчавшись, как иную букашку не задавить.

Примечательно, что мирная интонация батюшки смягчила фининспекторову вспышку.

— Кстати, желательно выяснить, затаившаяся в своем уголке юная скромница и, видимо, наследница тоже возглавляет какую-нибудь самостоятельную отрасль в фирме вашей? — и пытливым глазком приласкал он и без того обмиравшую со страху Дуняшку.

— Она у нас на счетовода учится, отличница... — прискорбным голосом пояснила попадья.

Но здесь поучающий Гаврилов машинально оглянулся на давно не подававшую признаков собственную дочку и заметно с лица осунулся, едва сообразил творившееся у него за спиной. Нисколько не таясь от хозяев, завтрашняя артистка с таким откровенным вожделением вертела в руках, на себя прикидывала злосчастный шедевр матушкина вязанья, словно намекала хозяевам на благоприятный для обеих сторон исход дела. С досадным

запозданьем сконфуженный ее манерами родитель таким бессловесным взором образумил любимицу, что едва на ставшая уликой служебного преступления соблазнительная кофта сама собой вернулась на прежнее место из ее дрогнувших рук. Вообще было крайне опрометчиво со стороны Гаврилова, вместо того чтобы отпустить домой помощницу после впервые на публике сыгранной роли, пускаться в программное изъяснение своих социально-безграничных прав на ближнего — сверх приданных ему государством на взыскание недоимок, еще неприличней при ее несомненном, потому что **доказанном** артистическом чутье. Тут же, невзирая на глухое место и поздний час, отец незамедлительно выпроводил дочку домой, после чего началась бунтовская и до последней срамоты откровенная исповедь пресловутого мелкого винтика, по его собственному определению.

— Не об одном лишь социальном неравенстве идет речь, гражданин священник! Ежели ваша Церковь с распятием во главе да и позднейшие адвокаты голытьбы в многосторонней деятельности своей воевали во имя мое, всякий раз не доводя дело до конца, то позвольте и мне в этом последнейшем бою высказаться о главной цели, поставленной в повестку дня. Знаменитые библиотеки, умнейшие храмы воздвигнуты во имя великого братства людского, но вот нам надоела лирическая бормотня всяких пылающих сердец о несбыточном братстве двуногих. Мы разгадали вкрадчивые симфонии на евангельских гуслях, отступное — на усыпление бедняков и оправдание богачей. Битва продолжается уже не за сравнительную калорийность пищи или прочие классовые привилегии, а против подлейшего из всех видов превосходства одних над другими. Первый заход завершен: после двадцативековой неудачной попытки накормить пятью хлебами обездоленную паству она сама кровью добыла себе право на жизнь и хлеб вровень с самыми зубатыми и большелобыми, чтобы с разбегу двинуться дальше. Древняя заповедь сбылась — алчущие насытились, плачущие утешились, кроткие вышли из подвалов и трущоб, чтобы никогда не возвращаться. Мы еще пожмуриваемся с непривычки, но нам нравится солнечный свет, благоприятный дождик и глядеть, как шаловливый ветерок

играет кудряшками берез, облаков и красавиц. Мне так и не выдан пока положенный по реестру социалистический паек, и я прошу поторопиться потому, что время мое на исходе. Признаться, столько всякого довольства рисуется впереди, что, когда полностью перекантуемся на новоселье, непременно попрошусь у коменданта пожить еще недельку в старой моей дыре. Вчерашнего раба тянет повесить над кроватью обтрепанную об его спину плеть, созерцание коей множит ему радость освобождения. Однако Гаврилову мало одного лишь барахла и шоколадно-механических утех, которыми они собираются оплатить мечту несчастных. Не обольщайтесь ложным толкованием в свою пользу, гражданин священник: не веруя ни во что, я желаю получить причитающийся мне эквивалент в самой земной валюте... Кстати, в жизни или на экране не попадался ли вам кинорежиссер такой, Евгений Сорокин?

— Да ведь в кино ходить нам не положено, — вспугнутая вопросом, засуетилась Прасковья Андреевна, — совсем отбились от текущей жизни... Кто таков?

После такого разбега распахнувшемуся фининспектору, значит, не щекотно было раздеваться на людях, которых наполовину уже как бы и нет.

— Довелось мне с ним ознакомиться в бытность мою бухгалтером в ихних кинопалестинах, как раз на гонорарных ведомостях, сидел при самом, так сказать, выходном окошечке из рога изобилия. Деятель этот уже тогда пролетариат воспевал с поминутным упоминанием кого следует, имея за сие годовой доход приблизительно в мой двадцатилетний прожиточный да еще кое-что из сумм, ускользающих от финансового обложения. И чего греха таить, будучи помоложе, то и вздумалось мне в осатанелую минуту поинтересоваться внутренним укладом счастливца. Это теперь, на выходе в классики, он себе машину завел, не угонишься, а в ту пору, пешком-то, полторы недели из личного отпуска я на ознакомление потратил, следом в след за ним ходил. Верите ли, зимние ночи на каменных лестницах караулил впрогон — лишь узнать: чем он там на **хазе** вдохновляется для своих прогрессивных шедевров... Много темной всячинки усмотрел в глубинах артистической души! И заметьте, откуда

бы домой ни возвращался, чуть не каждый раз нечто привлекательное с собой приносит: картину старорежимного мастера, отрез на пальто, арбуз, исторический подсвечник. Я же неизменно тащу к ребятишкам кожаную, с цифровой писаниной казенную требуху, которую супруга дальше порога не допускает во избежание заразы. И вот одним снятся недосягаемые красавицы либо вид на заграничные горы, также другие лирические мечтания, мне же, чуть глаза смежатся, начинает крутиться все тот же унизительный сюжет, будто стою за дефицитным ширпотребом: детские ботики или что-нибудь жене в подарок и вообще сюрпризного товарца, которого нет-нет да и, как говорится, выкинут нашему брату в продажу, и так до изнеможения. Но не роптал, и даже нравились мне мои душевные лохмотья: сегодня чем пугало рванее, космы по ветру, тем неприступнее оно для эпохальных подозрений, и даже привычка скверная завелась — при выдаче монет иному артисту так подмигнешь, дескать, дожирай свои ананасы с рябчиками, милорд советский, что тот побледнеет от догадки, о чем речь. Пылая от злого геростратного сознания, что не мои, мысленно брожу в дворцах и храмах, музеях и обсерваториях, и вдруг на нетопырьих крыльях взлетаю из трущобы и начинаю крушить тысячелетние клады чужого вдохновения, пока со скрежетом отчаяния не открыл, что поздно, и на излете жизнь, и на упомянутом пугале пестрые птички гнезда не вьют, и старшая дочка подросла, в отца тоже бездарная, и нечего зубами из нержавейки на соседей лязгать. И вот я устаю бунтовать, да и надоело мне вписывать свою фамилию в куполах знаменитых развалин и на крутых горных скалах, чтобы мир мимоходом устрашился героизму Гаврилова, свисавшего с ведерком краски над бездной бытия. Не в излишнем барахле, как у лобастых, нуждаюсь я, не в посмертных почестях, воздаваемых неизвестному солдату, а желаю получить сполна свое, принадлежащее мне, с процентами за весь период пользования биркой моей, и не в перечислении загробного аккредитива на небесах, а сейчас, здесь, немедленно, при публичной коронации под гром артиллерийского салюта и фанфарной музыки, на людной площади, где все они, увенчанные лаврами и в университетских мантиях, прославленные

человеколюбцы провозгласят в веках честь и поклонение неизвестному Гаврилову, скорее на бесталанности, чем обездоленности которого зарабатывали хорошо отоваренный куш и бронзовые мемориалы на перекрестках с оживленным транспортным движением. Так что не интронизация Гаврилову требуется, а предметное возмещение его тысячелетних несбывшихся чаяний, хотя уже и вряд ли найдется в мире сомнительная возможность полностью возместить упущенное. Меж тем, я тоже хотел бы принять личное участие в руководстве прогрессом, писать симфонии, лечить рак, добывать умственный огонь людям... Дело, очевидно, в моей ущербной конструкции. Вы мне скажете в ответ, что сгорать надо, так ведь и я не прочь, пускай ворон клюет у меня печенку, когда заблагорассудится, но он мою не хочет, брезгует, тварь помоечная, ему Прометееву подавай. Однако я в претензии не к Советской власти или к начальству и к ближнему, а лишь на совсем иной, коренной источник моих бедствий. Нет, не юродивый и не припадочный я, а просто вопиющий в пустыне, истец к истории, у которого отняли никогда мне и не принадлежавшее. И пока покровительство закона на моей стороне, я вправе провернуть грешные делишки в укор тому, кому обязан своим ничтожеством.

Видимо, в качестве канонического представителя той самой евангельской духовной нищеты неудачник Гаврилов из осторожности безлично замахивался лишь на судьбу, до такой степени обделившую его благами дарований и ума, что ярость становилась источником вдохновения. По существу же, во избежание опасного кощунства в доме священника, жаловался даже не на халатность небесной канцелярии, а кому-то на кого-то повыше. И может быть, именно это обстоятельство надоумило его избрать мишенью Лоскутова как доверенное лицо Всевышнего на земле.

— В вашем присутствии вопрошаю у небес — является ли Гаврилов действительно венцом творения или в качестве второстепенной детали общественного организма — **пятки** — ему до конца дней положено пребывать в кромешных потемках сапога?.. Но, как видите, нет мне ответа.

Напуганный его скороговоркой, о. Матвей все же нашел в себе мужество указать чиновнику основной пункт его заблуждений — не слишком тактично в замешательстве.

— Не будучи осведомлен о деятельности означенного Сорокина, тем не менее хотел бы подчеркнуть общеизвестное преимущество яблони перед горькой осиной. Вполне равноправные под солнцем, они в обиходе людском почитаются в зависимости от приносимой ими пользы.

— Не кажется ли вам, что своим социально-возмутительным сравнением покушаетесь на самую священную у нас из провозглашаемых истин?

— Напротив, образом яблони стремился только подчеркнуть присущую иным и отсутствующую у прочих способность плодоношения, в просторечии именуемую **талантом**.

Казалось, Гаврилов только и ждал этой искры, чтобы взорваться.

— Пардон, недослышал... кажется, вы упомянули про талант, святой отец? — так и подался он в исступлении к обидчику, что заставило старофедосеевцев приготовиться к худшему. — Скажите, а вы сами не испытывали потребность вникнуть в морально-юридическое содержание сего хитрейшего, потому что неотъемлемого, из всех источников собственности, этой неиссякаемой чековой книжки, золотой россыпи единоличного владельца... тем самым разоблачить неравенство в самом оскорбительном для большинства, изначальном его проявлении? Нехорошо выглядят проповедники смирения в стане нищих, за которых обычно вступаются глубокомысленные экономисты в надежде поправить дело в революционной дележке с раздачей по пайкам накопленных знаний и сокровищ. Потому что самые ограбленные природой как раз **нищие духом**, и хотя в утешение им ваши евангелия сулят царство небесное, постараемся растянуть подольше на земле этот спуск в могилу. Если талант есть боль полета над бездной, то, может быть, Гаврилову вчетверо больней, ввиду отсутствия бездны под ногами. Вдобавок, помимо тоски о несодеянных подвигах, Гаврилова гложут бытовые клопы, тараканы и крысы, но он-то и есть

та живая, соединительная ткань, по которой вышиваются узоры и розы прогресса. Когда-нибудь ради высшей справедливости и возникает бунт против обожествленного Прометея — расковать его, снять со скалы, отменить, настрого запретив ему дальнейшее страдание, возвысившее его над коленопреклоненной толпой!

К великому устрашению лоскутовского семейства, жаркая толчея смутных, угрозой и желчью приправленных обвинений против явного теперь адресата вылилась в ультимативную программу абсолютного равенства, вплоть до того, что раз зубная боль, то пусть заодно корчатся и другие. Были предъявлены законные права на те высшие, не внятные ему и, возможно, даже неутоляемые порывы феноменальных натур, полагающих счастье иной раз в мучительном розыске заведомо бесполезных сокровищ. Похоже, что в разгоне чувств и по невозможности подравнять всех на высший образец Гаврилов требовал от духовной элиты, чтобы во имя собственной сохранности она сама, прилагая все силы для подавления в себе запросов и потребностей, не помышляемых и не доступных для верховного большинства, благоразумно стремилась не только к спасительному эталону посредственности, но и добровольно отрекалась от авторства своих, безымянных отныне, открытий, поскольку производимые ею ценности не могут принадлежать лишь физическому их создателю, но всякому коллективу, питающему их соками своей среды, в чем и должно состоять творческое единство человечества. Ибо личный труд особи уже оплачивается сознанием, что ей предоставляется радость прочесть очередную тайну мироздания, ее руке поручено придать окончательную вещность шедевру, давно и незримо созревавшему в сердце народном... И пусть еще благодарит, сукин сын, за дозволенные ему взлеты ума, сопряженные со смертельным риском срыва, обусловленным высотой паденья. Неспроста революции так подозрительны к любимцам муз и мыслей. И так как всякая победа добывается бесчисленными пробами и промахами популяции, то полученный выигрыш становится общим приобретением вида в целом...

Монолог неожиданно завершился провозглашением здравицы передовой науке, разогнавшей мистический

туман избранничества над человеком, вернув сынов Божьих на положенный им нашест.

Перечисленные идеи были выражены несколько проще, зато хлестче — на том митинговом фальцете, который порою кристаллизуется в программном тезисе. Если Гаврилова так дразнило слово **талант**, то следовало ожидать — при упоминании **гениальности** он захлебнется словами невпопад, вместо того оратор вытер губы несвежим платком и, выдержав паузу, чинно продолжил декларацию.

— Словом, — перешел Гаврилов на доступную для пониманья речь, — до предстоящей нам болезненной бухгалтерской процедуры хотелось бы мне, батюшка, обсудить ситуацию начистоту — не для единодушного согласия или там сотрудничества, а чтобы не осталось у вас от меня горького осадка. Лично против вас ничего не имею и, даже напротив, выросши в религиозной семье, рассчитываю на ответную симпатию... Вникнуть в нравственные мотивы моего поведенья вам попросту повелевает христианская мораль, если только она не профессиональное пустословие. Евангельские заветы давно вступили в острую борьбу с учением социализма, который берется воплотить мечту тружеников о зажиточной жизни здесь, на земле, без обязательного переселения в мир иной, где, как вы удачно выразились давеча в молитве, нет ни печали, ни воздыханий, ни потребности вообще. Давайте мужественно взглянем в лицо правде, которая, с одной стороны, сулит полное избавление от житейских, материальных в том числе, невзгод, с другой же — за дальнейшей ненадобностью обрекает на отмиранье религию, порожденную людским отчаянием. Кстати, как вы заметили, вторая половина генерального плана по обращению вчерашнего наследия в утиль выполняется успешнее, нежели основная — вследствие кое-каких технических неполадок, отсюда получается досадный временами перекос жизни, хотя сие не избавляет духовное сословие от исполнения заповеди Христовой всегда и во всем, если только не в ущерб себе, жертвовать собой во благо ближнего. В таком аспекте возникает каверзный вопрос: имеет ли христианин нравственное право воспротивиться, если сей **ближний** его, тоже семейный гражданин, из-

влечет из его беды некоторую толику пользы, чтобы не пропадало, как говорится, кошке под хвост? Не наша с вами вина, что во все эпохи двери истины и счастья отпирались разными ключами, не так ли? Однако если под влиянием жизни я стал нынче по-евангельски кроткий человек, то и не надо думать, что и мозгов у него полторы чайной ложки, сколько необходимо твари для полной благонадежности. И раз с загробным царством покончено, то принимайте меня на полное пайковое довольствие с правом на исторический подсвечник и прочие к нему причиндалы, включая умственный аплодисмент за муки сердца, в котором таится ничем не исцеляемая обида — потому что я тоже живу и хочу. Иначе мало ли что может от руки моей свершиться в ближайший выходной вечерок... вроде, например, нагадить в телефонной будке с попутным обращением аппарата в технически-необратимую негодность. Нет, не злоба привела сюда нас с дочкой, а стремление примирить вас с неизбежностью. Сколько соображаю скорбным умишком, глубокоуважаемый поп, нынче в мире творится всемирный экзамен вселенской мечты о золотом веке, и коли осрамимся, провалимся, то что останется ему, райскими виденьями отравленному, от мечты раздетому человеку, который станет хуже всякого зверя из бездны, если вовремя той евгенической операции не пресечь? Ему плохо станет, преподобный отец, несдобровать и умам ведущим, которые века гнали его на штурм вершин небесных.

— Все зависит, кого в поводыри выбирать... — вдруг решился возразить о. Матвей, как ни дергала его матушка за рукав, чтоб пуще не сердил разорителя своего, — земными-то средствами экие высоты рази одолеешь? Люди-то не во звере, а во Христе родня...

— Тут особого ума не потребуется понять обступившую нас безысходность, поскольку в сложившейся классовой борьбе уповать вам на пощаду не приходится... и, значит, вам, приговоренным, теперь должно быть все равно, лишь бы скорее! Причем я охотно разделяю ваше горе, но войдите и в мое положение. Вот, глядите, до пенсии еще далеко, а ранний снежок на висках, и астма, и никакой перспективы догнать сослуживцев, вымахнувших в большую служебную знать, да тут уже старшая доч-

ка на выданье, а в **коммуналке** где я их положу? Мог ли я отказаться от редкой удачи выявить целое промышленное предприятие, по небрежности моего предшественника столько лет ускользавшее от налогообложенья? Вы в самом деле думаете, что мне, отцу многосемейному, безнравственно в студеную зимнюю ночь мимоходом погреться со своими малютками у ваших затухающих головешек? Повторяю, не надейтесь на поблажки, ибо за потачку лишенцам с нашего брата взыскивают порой даже по высшей мерке, а лучше обратитесь в главную инстанцию с жалобой, причем можете не щадить меня, ваш истошный крик только повысит мое классовое рвение в глазах начальства...

— Однако же, **пардон-пардон**... — коснеющим языком и вятским прононсом, машинально оглаживая шею, осведомился о. Матвей, — следует ли нам понимать речь вашу как местную анестезию перед **отрублением** или уже как дружественное напутствие непосредственно перед плахой?

— А ведь уже поздно, милые граждане, пора и совесть знать... — зловеще мирным тоном, на самом кротком регистре ярости возгласил чиновник, — я вам трапезу нарушил, и самого с ужином ждут... Зато уж **деловой** частью не задержу!.. Ввиду истечения сроков для подачи декларации о годичном заработке поторопитесь с внесением платежного аванса, как положено по закону — в размере не меньше трети от предполагаемой, не малой в данном случае, суммы обложения. Так что, согласно инструкции, обязан предупредить, придется мне при исчислении налога исходить не только из совокупности наличных трех **доказанных** источников дохода, то есть чохом со всей семьи как единой артели, с процентной накидкой за счет обычно скрываемых, хотя по духу закона с целью стимуляции производства полагалось бы взимать даже и с неполученных прибылей, не реализованных от своего ремесла единственно по нерадивости налогоплательщика. Надо примириться, граждане, что классовая борьба начинается с беспорядочного утоления социальной нетерпеливости, невзирая на любые посторонние последствия...

Он, поочередно поглядывая то в потолок, то на окружающие предметы, прикидывал быстрым карандашиком

начерно, семь пишем — два в уме, на бумажке всякие коэффициенты и привходящие обстоятельства, и получилось в итоге, что при взносе надо исходить из общего обложения в пределах ста семнадцати тысяч. Любопытно, что названные деньги, по тем временам и для Сорокина весьма немалые, а для Лоскутовых — громадностью своею способные разрыв сердца причинить, теперь в памяти Дуниной, как бы звуковым начертанием цифр, возродили одну вьюжную ночь в начале зимы, симпатичный синий автомобильчик знаменитого кинодеятеля и ту поистине волшебную поездку с ним через весь город в Старо-Федосеево, когда он, подчиняясь чьей-то подсказке, предложил незнакомой спутнице, втемную, не глядя, купить у нее дымковскую тайну, и таким образом странное совпадение двух сумм становилось для Дуни наставлением к действию. «Продать, продать...» — закричала душа, лишь бы отделаться от гадких гавриловских прикосновений, когда же ее сознание вернулось к действительности, худший вариант концовки уже произошел. Дуня услышала глухой заключительный удар с дребезжанием падающей железки и сразу затем раздирающую тишину.

Так случилось, что все сидели — где кого застигнул разыгравшийся скандал, кроме самого оратора да еще Егора, весь разговор простоявшего в каталептической неподвижности, с опущенной головой и руками вдоль тела. На старенькой, проносившейся клеенке в поле его зрения оказалась початая буханка черного хлеба и тяжелый кухонный нож, которым глава семьи после краткой трапезной молитвы самолично, по крестьянскому обряду, разрезал ломтями, каждому вручая как причастие. Вряд ли мальчишка видел то, на что глядел, и назначение предмета осознал лишь в последний момент. Он не мог больше выдержать тягучую, вполне негодяйскую декларацию. На прощанье фининспектор предостерег своих клиентов **не мухлевать**, Боже сохрани, не прятать что-либо из имущества, в скором времени подлежащего недоимочной описи. Как только с пожеланием покойной ночи остающимся Гаврилов двинулся к выходу, тут и последовал недостававший ему для решимости волевой толчок — тем в особенности удачный, что без повреж-

дения организма. Все случилось так внезапно, что домашние поняли роковую необратимость происшествия, лишь когда просвистевший мимо гавриловского затылка нож со стонущим дребезгом закачался в дверной филенке. Заслуживало удивленья, как мальчишка, пусть даже в невменяемом состоянии, мог промазать с расстояния восьми—десяти шагов по вполне достаточной, казалось бы, мишени. Не менее примечательно выглядела и выдержка героического теперь фининспектора, как он, весь зеленовато побледневший, невозмутимо коснувшись щеки, обожженной холодком полета, посмотрел себе на пальцы в напрасной надежде обнаружить на них кровь, как медленно затем, высвободив из дерева застрявшее в ней злодейское железо, прятал его, отныне драгоценный талисман его волшебных превращений, в свой, приставленный к ножке **канапе** рыжий портфелишко, причем не сводил улыбчивого взгляда с помертвевшего террориста, как бы приглашая его отнимать убийственную улику, что по меньшей степени вдвое возвысило бы смертельность его служебного подвига в рапорте по начальству... и все качал головой, как бы не веря в свою, по дешевке доставшуюся ему удачу. Не гнев или торжество читались в его осунувшемся лице, а скорее благородная прокурорская печаль об участи обреченных за их преступное родство с юным врагом народа. Самым успокоительным доводом для совести служило неоспоримое обстоятельство, что состоявшееся покушение на жизнь безоружного чиновника при исполнении служебных обязанностей являлось типичной, наиболее караемой в те годы **классовой вылазкой**, таким образом, подпадало под юрисдикцию закона о вооруженных актах сопротивления, что было на руку Гаврилову, потому что радикально избавляло его от свидетелей, в минуту душевного упадка допущенных им к себе в **середку**, ибо уже на данном этапе, помимо общественной заботы с санаторным лечением от нравственной травмы, помимо прикрепления к высшему распределителю номенклатурных благ в поощрение проявленного энтузиазма, самый авторитет его подлежал государственной охране от посягательств подполья. В свою очередь, чисто обывательская жалость к поверженным, не оценившим его чистосердечного

порыва, уступила место соображениям всемирного блага. Он уже видел себя завтрашнего, усилиями газетных льстецов возведенного в светочи гражданских добродетелей, из коих главная — неподкупность в сочетании с неусыпным искоренением зла в подданных. Если бы сейчас, содрогаясь от спазматических рыданий, покаявшийся отрок, скажем, припал к его коленям, то он, Гаврилов, не отринул его, а наклонившись, разъяснил ребенку, что не имеет к нему претензий в качестве **приватного** лица, но, как представитель власти, не сможет простить ему опрометчивый поступок, способный вызвать подражанье среди неустойчивой молодежи. Мог бы хлопнуть дверью и сразу уйти, однако великодушно медлил с уходом, заодно давая срок и родителям осознать серьезность происшествия. Но те взамен должного на их месте внушения своему щенку, желательно с телесным воздаянием, причем и сам Гаврилов посильно помог бы им, тянули, молчали, словно не узнавали сейчас Егора, хотя и меньше других детей любимого в семье за его постоянную замкнутость, послушного и неслышного, без друзей среди сверстников, от которых в школе немало поношений хлебнул за свое происхождение, зато коротал досуг в своем уголке над всякими гаечками да катушками, извлекая из них детскую копейку в подмогу отцу. И оттого, что не бывает всходов без посева, родители охотней приписали бы родовой Ненилиной болезни этот не в меру ранний бунт с безумным броском грудью на подставленное острие.

Но пора было кончать и без того затянувшийся рабочий день. Собираясь в обратный путь без ложного стыда за свой обношенный вид, лучшее доказательство добродетелей при восхождении на общественный небосклон, Гаврилов поочередно приветливо-скорбной усмешкой одарил остающихся хозяев, повергая в содроганье каждого по отдельности.

— Нет-нет, не затрудняйтесь напрасными хлопотами, не пытайтесь меня прослезить... — сказал он завтрашним голосом. И впервые применил наконец-то где-то прочтенное изреченье, чей-то программный манифест при вступлении на цезарское место. — Сердце политика глухо к частному горю людскому, его заботит лишь конеч-

ное, **итоговое** благо... Кроме того, имейте в виду, что подача жалобы на должностное лицо не приостанавливает уплаты аванса!

Некоторое время по его уходе Лоскутовы находились в полной прострации, как бывает после оглашенья приговора. Наступившее в домике со ставнями безмолвие странным образом распространилось на всю прилежащую окрестность — во всяком случае всем навечно запомнился просочившийся к ним в закрытое помещенье с окружной железной дороги паровозный вскрик, зловещее напоминанье о скором теперь изгнанье из Старо-Федосеева. Такая прощальная тоска прозвучала в нем, что все вдруг и невесть зачем ринулись наружу за человеком, уносившим в портфеле их судьбу — матушка на больных ногах резвее прочих.

К ночи ветер стихнул, тучи порассеялись, новорожденный месяц зябко сиял в облачной люльке, знаменуя перемену погоды. В прояснившейся мгле никто не виднелся на тропинке впереди, но еще слышен был с крыльца скрежет гальки под шагами Гаврилова. Такая стылая и чуткая, словно перед заморозком, установилась тишина, что и шепот, несмотря на расстоянье, должен был достигнуть ушей Бога. И тут Прасковья Андреевна на исходе сил прокричала уходившему вдогонку, причем лишь последняя фраза запомнилась Дуне, чтобы через ее дружка достичь моей записной тетрадки:

— Пей, пей взахлебку наше горе, не поперхнися! Не попустит, не попустит Господь разбоя твоего на своих сироток... Торопися, уж при пороге твоем стоит!.. — и тут родня подхватила под руки обезумевшую хозяйку.

Вконец утратившие всякую волю к сопротивлению, они не сразу вернулись домой, когда холод погнал их в просыревшие комнаты из-за настежь распахнутых дверей...

Дуня побежала к себе в светелку и бросилась на постель, стремясь сжаться в ничто, в недосягаемую для попаданья мишень.

По счастью, на скандале не присутствовал Никанор, иначе при его атлетических возможностях могло произойти нечто, осложнившее судьбу Лоскутовых и личную будущность госстипендиата.

Глава XXII

Не смея высказать вслух свое мнение о произошедшем, Никанор праздно топтался в потемках сеней позади. Не тогда ли и зародилась несколько позже высказанная им мысль, что в преддверии величайших перемен, усыпленные обольщениями цивилизации и слишком оторвавшиеся от природы люди по присущей им беззаботности даже не пытались заблаговременно приучать себя к бездомной непогоде, которая уже готовилась ворваться в их обжитые стены! По праву ближайшего друга семьи Никанор Шамин присутствовал и на семейном совете, состоявшемся в ту же ночь. К сожалению, невзирая на острую нехватку времени, собрание прошло не совсем в деловой обстановке. Никто не вспомнил про ужин, спать разошлись только на рассвете по принятии некоторых срочных решений.

Словно перед чьим-то дальним отъездом, по русскому обычаю, все сидели в бездельном молчанье поодаль от стола и поглядывали украдкой на совсем поникшего главу семьи, как он неверными пальцами оглаживает попеременно то крест нагрудный, то бороду, временами же потерянным взором обводил комнату, похоже в поисках местечка прилечь.

— Чего же мы расселися, молчим ровно при покойнике! — пошевелилась наконец Прасковья Андреевна. — Что делать-то станем?.. Поговори с нами, поп.

Прощальную речь о. Матвей начал горьким фальцетным смешком над чем-то, что разбитое вдребезги валялось теперь под ногами:

— Так-то, милые, кровные мои, докатилося и до нас, видать, приспели и наши сроки. Однажды просыпается душа на стук ночной, опрометью в сени кидается, там стоит безликий гонец, ничего в нем не прочесть, неизвестно чего и брать, а уж пора с ним отправляться. И вдруг рассеивается мираж лихорадочных видений, чего люди намечтали за двадцать-то веков, горьким туманцем претворяется земная сласть, тают на глазах гордые башни со всякими там флагами да астролябиями передовой-то науки и, на поверку, сидит человек по-прежнему на голых песках заправской пустыни, под небом глухим. И поздно,

и страшно, уму невмещаемо, и злые волцы рыщут округ вертограда твоего... и поневоле ропот на Бога шевелится в сердце: пошто не вступился, не изгнал, не наказал маленечко, чтоб металися в жгучей истоме, чревом о каменье скреблись от ненасытного зуда, в бездонные пропастя низвергалися бы, крича от ужаса и не разбиваясь. А не надо, милые, прочь от себя гоните такие мысли! Как пастырю при обширном стаде управиться без кнута да боли?.. Не она ли вознесла на вершину тот род людской? На конфетке далеко не укатишь, без ней и обойтись легко... значит, не сладость нужна, а необходимость. Видали, как извивается червь порубленный, обоими концами хлещется, тоже поди клянет лопату божественного земледельца... а про то ему невдомек, каково всевышнему-то с нами, за каждым углядеть да потрафить, да грудью, вдобавок, заслонить от врага ночного, коего и назвать страшимся, чтобы в домы своя ненароком не впустить...

Сомнительное красноречие о. Матвея, обусловленное стремлением подвести приемлемую философскую базу под совсем надвинувшийся исторический момент, сравнимый разве только с отрубанием головы, не подтверждает распространенного мнения, будто эшафотная высота несколько расширяет кругозор возведенного на нее мыслителя. Напротив, срочные и безысходные обстоятельства понуждали его прорубаться к истине напрямки, в ущерб точности и невзирая на лица, вернее **лики**, включая и **Того**, кто сейчас бесстрастно взирал на священника из своего угла, освещенного сияньем предпраздничной лампады. Вряд ли ему следовало отнимать у о. Матвея наиболее законное право в его смертный час, тем более что задуманная процедура вовсе не предполагала пересмотр первенства в давно решенной дилемме — победитель — побежденный. По ходу Матвеевой мысли требовалось функционально, к Добру или Злу, отнести боль земную, то есть нелицеприятно, в тайниках разума и на долю мгновенья сопоставить вровень две извечно враждующие стихии — небо и ад, а для пущей объективности и вообще поподробнее, чем в рамках семинарского курса, даже персонально ознакомиться с самим хозяином Зла, который при всей своей занятости, надо думать, тоже

не отказался бы, пускай через посредство полномочного резидента, дабы не повредить рассудок собеседника, потолковать с православным батюшкой о кое-каких проистекающих проблемах. Кстати, догадками своими о происхождении горя на земле о. Матвей никогда с супругой своей наяву не делился, другое дело — доверительные соображения, обоюдно сообщаемые ими в совместных сновидениях. Да и то лишь на ушко высказал ей батюшка однажды сокровеннейшее и, значит, кем следует тотчас подслушанное помышленьице — пускай вполглазика, через малую дверную щелочку взглянуть бы на пресловутого Господнего соперника: что за ферт такой и в чем его превосходящее качество, что подобные сверхэпохальные гадости дозволяются ему свыше? Перепуганная матушка даже руками на него тогда замахала, долго ли нечистого проныру и в дом пустить, но, видно, и ей запала в душу крупица недозволенного интереса, так что последующие чрезвычайные события исподволь, подсознательно пока, но уже в равной степени готовили обоих к роковой встрече, коварные следствия которой трудно было заблаговременно предусмотреть.

Наверно, о. Матвей и сам понимал малую свою, в создавшейся крайности, пригодность к роли наставника и вожака, однако никто не посмел прервать его, когда он под предлогом защиты Всевышнего косвенно обвинил его в прямой потачке торжествующему Злу, и только Прасковья Андреевна поторопилась отвести в сторону неуместный при детях разговор.

— Уж ты бы поближе к делу-то, отец! — надтреснуто, словно на исходе души, взмолилась она и образно намекнула в том горьком смысле, что казенные-то бумаги и ночью рыщут, не ведая устали и сна. — Опять же птенчики наставленья твоего ждут, а ты каркаешь им невесть что, ровно с ума свихнулся...

Давние трещинки на благостной старо-федосеевской тишине обнаружились как раз в самом начале заседанья, когда его прервало хрипучее вступление Финогеича, который с похмелья нуждался в общении с людьми.

— Тут в самый раз свихнешься... я нонешних-то знаю, ребята доскональные, до последнего гвоздя вылущат. Абы всю хоромину со злости не спалили!

В сущности ничего обидного не было сказано, и, конечно, при отсутствии отклика он через полминутки и сам удалился бы восвояси, если бы не вмешательство Егора, в тоне которого явственно слышались нотки неприязни и ожесточения, вскоре затем развернувшиеся в показательный семейный скандал.

— Не отвлекайте нас, Финогеич, пожалуйста... — не подымая глаз, совсем тихо попросил он и сорвавшимся голосом обидно прибавил насчет полезности горизонтального отдохновения после принятия алкоголя. — И не мешай отцу, мама, пусть выскажется.

— Слышал его **резолюцию**, Матвеюшко? — с торжествующим смешком возгласил Финогеич, уже тогда подметивший признаки существеннейших перемен, заключенные в дозволении подростка обессилевшему отцу. — Вот уж и оперился твой птенец, на вылет, вдогонку старшему стремится...

Неизвестно пока, к чему относился тот глупый, в перебранке оброненный намек, но несколько дыханий затем, словно черный ветерок подул, собравшиеся перемолчали с опущенными очами. В следующую минуту Никанор уже отводил под руку, на свою половину, сразу покорившегося ему родителя.

— Смешная ты у меня, Парашенька! — будто ничего и не было, оживился по их уходе Матвей. — Сколько годков тебя знаю, а все та же милая, малость сварливая, потешная моя. Поди, думаешь на меня — бесчувственный, колодка сапожная вместо сердца, а мне, веришь ли, стократ горше собственных переживанья ваши. Вот и собрался давеча одно тайное мое лекарство от печали вам преподнесть... проверенное, давно пользую его от вас украдкой. И, значит, помогает, коли живой перед вами сижу. В том оно и состоит, чтобы с бережка пучины за ее закраины посмелее заглянуть. Оно и жутковато, ибо и мыслью-то долгонько туда достигать, зато уж как представишь, какая тишина утешительная там, на донышке, враз оно и полегчает, вся земная горесть останется позади. Тут главное примириться с самым страшным, перед чем все остальное мелочь. А подороже-то ничего и не припас я вам на черный день, весь тут, не томите меня понужденьем надежды, не отягчайте моей доли.

Принимаю попреки ваши за скуку и одиночество ваше без друзей, без просвета к избавленью. Чего греха таить, ино и вздохнешь среди ночи: локотка-то не укусишь, да еще задним числом! Сразу как суматоха началась, вакансию мне предлагали на спирто-водочном заводе, брался один разнорабочим меня устроить... да и позже в трамвайном парке мог устроиться, а виноделы и вагоновожатые наравне с прочими входят в царствие небесное!.. В одном не винюся, кровные мои, что счастья ради вашего от сирого Бога моего не отступился: стыдно было вместе со всеми покидать, да еще не за царство-боярство, а всего-навсего за пряник годишный с прогорклым повидлом... Опять же, эва, дьякон-то! А грех свой перед вами понимая, оттого и не поинтересовался никогда, много ли претерпели за отца своего: спросить боязно было! — И вдруг с пронзительной лаской во взоре, как бывает перед отбытием без возвращенья, поочередно вгляделся в сидевших перед ним. — Ну, признавайтеся, напоследок, махонькие человечки, немало поди хлебнули со мною горюшка?

Первая в очереди справа, от лестницы в светёлку, оказалась Дуня:

— Кроме того случая, пожалуй... — простосердечно начала она, и по двум мокрым дорожкам, проступившим на щеках, все догадались про того парня в шароварах, что забавы ради прутиком гонял о. Матвея по кладбищу, — больше-то ничего и не было. Меня все жалеют почему-то, с учительницей однажды, например. Она у нас с **задумкой** была, нащурится вдруг и не докличешься, как со мною. Когда каменный уголь проходили, то сказала про кусочек на столе, что и мы все после всемирной катастрофы однажды сплавимся в черный глянцевитый пласт, пригодный потомкам для отопления или приготовления пищи. «Таким образом, дети, поглощенное нами солнечное тепло не пропадет, а снова выделится в виде полезных, больших и малых калорий». Одна девочка, самая злая в классе, спросила у ней про рабочий класс, войдет ли и он туда же? «Непременно...» — в лицо ей сказала Марья Гавриловна. «И лишенцы в ту же кучу?» — и блестящими глазами покосилась на меня. Все так и замерли, а учителка поманила меня пальцем: «Подойди,

дай я поцелую тебя, **неприкасаемая** моя». Ну, тут ее вскоре и перевели от нас куда-то.

— А ты, младшенький, герой подпольного труда... Признавайся, не бывало у тебя охоты побранить родителей, что не через ту дверь, как хотелось бы, на свет Божий вас выпустили? — спросил он, как бы прося прощение за доставшуюся детям долю — хлеб и воду лишенцев.

Почему-то Егор счел необходимым встать для ответа:

— Лично со мною таких переживаний не случалось, — и даже головой тряхнул, потому что воли в обрез хватило побороть в себе невыносимую жалость к отцу. — Разве только во снах бывает... иногда...

— Договаривай, вали дерево, раз подрубленное. Сон все одно что окошко потайное в душу, — словно документа для предъявления в самовысшую инстанцию добивался о. Матвей и кинул мельком странный взгляд в верхний угол, где иконы, всем ли слышно. — Хоть иносказательно намекни, про остальное сами догадаемся...

Но тут, вспомнив о непосредственной цели семейного совета, сама хозяйка решила вмешаться в опасный и неуместный разговор.

— Так я хочу сказать, деточки, пришел конец стариковской нашей опеки, больше на родителей не надейтеся, а ступайте в жизнь собственной дорогой, кому какая глянется, не без добрых людей на свете... — расслабленно, руками кругом поводя, проговорила Прасковья Андреевна, будто прощалась со всем, что оставалось позади, и тут дыхание в ней замкнулось, силы оставили ее.

Всеобщее молчание было ей ответом, причем крайне знаменательно, с опущенной головой и потирая руки по комсомольству своему красноречиво безмолвствовал и Никанор.

— Стоп, не торопися, Параша... — остановил Матвей жену, — смелее откройся нам, Егорушка. Во что метил, умница наша? — и вдруг по молчанию сына догадавшись о чем-то, жестом наугад защитился от так и не высказанной тайны, — понял, понял приговор свой... точка, точка мне!

Здесь-то и пригодилось монументальное спокойствие Никанора Шамина:

— А ну, без паники давайте, духовенство и прочие граждане, — сказал он и осведомился, не хотят ли оные

гостей погрознее заодно на семейный шумок приманить. Заодно тоном приказания Никанор Васильевич предложил всем передохнуть часок, чтобы потом, с окрепшими силами продолжить семейное совещание: разошлись без сопротивленья. Впрочем, не сразу заметили, что младшие Лоскутовы на время исчезли куда-то, и Дуня вскоре вернулась с огорченным лицом и при обсуждении всяких планов вела себя до крайности странно, в частности старалась соскрести с запястья незримые следы чего-то, затем косилась украдкой — не осталось ли? Егор же затратил тот перерыв на вдруг подступившую надобность выплакаться. В промокшей насквозь куртчонке, под ледяным дождем метался он, пока при виде возникшего из тьмы вертикального строеньица, отхожего места — выгребной ямы с неотопляемым дощатым коробом над нею — почему-то не надоумился собственной вечной погибелью искупить вину перед семейством. По отцовским понятиям, наложить на себя руки было куда меньшим грехом, чем то, что пришло ему на ум. Над вонючей сортирной дырой бесчувственными губами звал он дьявола, чтобы любой ценой выкупить у него спасенье семьи и совершить обычную в таких случаях сделку. По шероховатому холодку в спине почудилось, что покупатель уже стоит за спиной, но, к чести последнего, тот так и не соблазнился приобрести почти неношеный товар и заодно будущность великого деятеля фактически за бесценок по тем деньгам — то ли из нравственных соображений гнушаясь воспользоваться отчаянием юнца, то ли из сомнительной годности места для заключения сделки. Надо отдать должное и противной стороне, удержавшейся наказать негодника если не огнем небесным, то хотя бы воспалением легких за его предосудительный поступок. Ни в одной из его биографий не упоминалось впоследствии, как, склонясь над зиявшей смрадом дырой, последний раз в жизни обливался он горючими слезами, которые вдруг кончились сами собою, и навсегда.

Вереницей огорчений того памятного вечера, включая и оплаченное и отмененное посещение Мирчудеса, и началось перерождение неустойчивого мальчишеского характера в сторону непреклонного, а в некотором смысле и опаснейшего мужества, какое бывает у побежденных

как из примиренья с возможной гибелью, так и из презрения к своему прежнему ничтожеству.

Все были уже в сборе, когда Егор твердой волевой походкой вернулся в дом, и, показательно, никого не удивил им на проходе к своему месту, без определенного адреса и, следовательно, ко всем в равной мере относившийся строгий вопрос — почему не начинают?

— Тебя дожидались, Егорушка, — тотчас пояснила Прасковья Андреевна, и в смиренном тоне ее сквозило если не полное покамест признание его старшинства в делах семейных, то намеренье опереться на него в скором будущем.

— Милые мои детки, не ропщите на Бога, что приходит конец нашему счастью, — заговорила она, — как-нибудь дохлебаем до конца, что на донышке осталось.

Заседание семейного совета началось обсуждением платежных возможностей лоскутовской артели. Сначала прикинули на глазок — сколько выйдет **на бочку**, если вплоть до постельного белья спустить все на толкучке по экстренной цене, но, к немалому конфузу студента, предположенной выручки едва хватало на частичную оплату аванса. Правда, вслух при нем остерегались поминать спущенный на проволочке в подполье, за плинтус, неприкосновенный золотой фонд в составе пары обручальных колец, да еще поднятый дедом на нижегородской ярмарке женский художественной работы перстенек с диким камнем **аламандитом**, помогающим от лихорадки, да предназначенная Дуне в приданое дутая браслетка porte-bonheur, еще александровская монетка-полуимпериал... Да и поминать не стоило, потому что за **черный** сбыт перечисленного можно было и вовсе жизни лишиться...

Зашедший на шум Финогеич намекнул было, что самое теперь разлюбезное дело идти спать, а неделечку спустя всучить фининспектору натуральную благодарность, не в денежном исчислении по невозможности купить и как бы при стесненных обстоятельствах — продать Гаврилову за бесценок интересующую тысячную вещь. Разведку Финогеич брал на себя, потолкаться в ихней канцелярии для выяснения нужд, долгов и склонностей, но прежде всего — **пользуется** ли вообще.

— Служилому человеку трудно денежку в зажатый кулак вложить, зато обратно башенным краном не вытянешь!

Матушка лишь головой покачала, дескать, совсем ополоумел могильщик:

— И неповинные-то трясемся сутки сплошь — не открыли бы про нас чего и самим неведомо. Придумал, по своей воле экую тайность, хуже кандалов на себя воскладать. Махонький червячок, а всю душу источит...

— А **наилучше всего**, — продолжала она, — если продажи имущества не миновать, то и Бог с ним, дрожать опротивело, только без казенных рук да не продешевить, и надо поискать в адресном бюре старого дружка, в случае не помер, не пришлет ли добросовестного спекулянта на фамильное добро, такое, как канапе или родовая кунья ротонда, стоградусным морозом не прошибешь, но нынешним барыням и не снилось. И с поклоном вручив Гаврилову сколько есть, пускай даже карманы прошарит.

По очевидной безнадежности других попыток ко спасению, помаячила слегка мыслишка — немедля, сквозь охрану и секретарские рогатки прорваться к Скуднову за пощадой, и не то чтобы Матвей опасался по пустякам тревожить покой сановника на основе их сомнительной, даже анекдотической близости, а просто обострившимся предвиденьем будущего решил сберечь свой единственный, последний шанс до какого-то еще более грозного в веренице эпохальных бедствий.

Нависшая над семьей катастрофа давала и детям равноправие голоса, и так как Дуня решительно отказалась от слова, то отец с приниженной лаской пригласил Егора высказаться на **затронутую тему**:

— Уважь нас чем-нибудь окромя брани, железный наш... Приоткрой тайну молчания твоего! — И по тону застарелой неприязни видно стало, что нелюбимым у родителей мальчик стал задолго до нынешних событий, когда кто-то третий безраздельно, возможно с захватом и Дуниной доли, завладел их привязанностью. И теперь даже по уходе из дому деспотически царил в домике со ставнями, занимал место за вечерним столом с признаками своего незримого обитания и заслонял собою весь прочий мир в глазах стариков.

— Этим я хочу сказать, — как-то наотмашь хлестко пояснил Егор выражение, не свойственное местному словарю, — что все мы тут в одну масть и в одинаковой степени **ни в чем не повинны** поровну: двойной клепки наша цель! — и подкрепил свою мысль в качестве оправдательного довода, что брошенный в мучителя нож вряд ли отягчит давно решенную участь старо-федосеевского батюшки.

Трудно представить, что творилось у мальчишки на душе после совершившегося перелома. Бурный процесс формирования личности сказывался прежде всего в строе тугой, пружинно-закрученной речи — при почти спокойном лице и до угасания кротком голосе, в особенности же когда, сославшись на позднее время, призвал **товарищей по судьбе**, самого себя в первую очередь, воздерживаться в дальнейшем от истерик и прочей **петуховины**. Недоверчивое изумление домашних перед таким преображением худощавого, в общем-то, непосильного паренька вскоре уступило место почтительному и настороженному вниманию, как только после причудливо построенного вступленья ребенок перешел к изложенью практической части почти бесчеловечного плана, продиктованного всей совокупностью обстоятельств. Застилаемый старшими детьми от ласки родительской, он рос в тени написанного ему на роду, рано осознал пользу закалки: спал на коротком с покатой крышкой сундуке, босиком среди ночи выходил на снег, всякий раз грозя телу своему жестоко наказать за непослушанье, — приучал себя уметь все. Уже в те годы в нем просматривался волевой, плотный и мужественный хозяин, усвоивший от предыдущего поколения навык и способ отменять мифы прошлого. В качестве условия Егор ставил на повестку дня признание абсолютной невозможности выкрутиться из беды без чьих-то чрезвычайных жертв, причем бесстрастным взором обвел присутствующих, в каждом поселяя минутный холодок беспредметного пока ужаса.

Он начал с того, что в условиях бесплодности сопротивления все живое в природе идет иногда на добровольную утрату весьма значительной части для сохранности большего... И вдруг всем стало ясно, что речь идет о ком-

то из членов семьи, кто по логике целесообразности принял бы на себя одного убойную силу удара. Вдобавок такая гибель — ради спасения ближних — избавила бы его самого от зрелища их последовательных падений, созерцания коих любящему сердцу горше смерти. И тогда все невольно, заколдованными глазами и как бы издали уже, посмотрели на о. Матвея, который выдал нонешнее смятение свое неожиданно громким, виновато-фальшивым смешком.

План благоразумного мальчика Егора Лоскутова сводился к срочному, якобы без ведома семьи, бесследному исчезновению теперь уже подразумеваемого главного юридического ответчика за артель в полном составе, как грозился Гаврилов, также к ряду отвлекающих затем маневров для предотвращения карательного разгрома. Наиболее правдоподобной, в духе времени, представлялась версия, что оказавшийся низким прожигателем жизни отец подателей заявления бежал с места постоянной милицейской прописки, бросив семью без средств к существованию.

— Надо надеяться, — не без робости, на пробу, с белыми дрожащими губами пошутил Егор, — тамошние старцы-отшельники не откажут в приюте погоревшему коллеге, а у Бога найдется совести довести впавшего в ничтожество служителя своего до их безопасной землянки...

Дня же через три, как только будет обеспечена географическая Матвеева недоступность, в инстанции поступит коллективное, за подписью покинутых и ограбленных старофедосеевцев, половчей составленное письмецо. Поистине Соломоновой мудростью было бы исполнено послание вождю, написанное детским почерком, о взыскании со сбежавшего родителя, изувера и распутника, алиментов за все истекшее полугодие, хотя бы и проведенное таковым без заработка ввиду почти беспробудного пьянства. Для пущей доказательности полезно будет добавить, будто заодно с похищенными сбережениями семьи пройдоха захватил в дорогу имеющее научную ценность церковное оборудование. Вообще-то неплохо было бы пошибче подчернить личность постыдного иерея, приписав ему не только многократные случаи, под

пьяную руку, изгнания плачущих ребятишек на стужу в одних рубашонках, но и вовсе несовместимые с его духовным званием приключения вроде, скажем, предосудительных занятий с двумя одновременно беспаспортными девками-канашками, причем повторным произнесением означенного слова, полукощунственного в домике со ставнями, при лампадах, да еще в присутствии сестренки, автор тем самым настаивал на оставлении его в предлагаемом черновике доноса как выразительную интонацию предельного ожесточения доведенных до отчаяния поповских сироток.

— Жаль, что поздно, а кабы знать заране, то стоило бы разок показаться на публике в подпитии, — обронил он, имея в виду, что народ поймет и простит, а в большой драке все сгодится впрок для охранения беззащитной святыни. — Весь тот раздел надо будет скрепить показанием официального лица, например, в качестве коменданта, Финогеича, тоже к ужасу своему не раз наблюдавшего преступное, в той бесстыжей компании, распитие рижского пивца прямо в алтаре, а однажды прямо перед самим богослужением, что особенно ценно для разложения верующих...

По расчетам мальчика, удостоверявшие подлинность документа грамматические ошибки, подозрительно кое-где расплывшиеся кляксы, также перечень наиболее злодейских поступков в ребяческом, по возможности комическом изложении должны были не только смягчить сердце признанного друга детей всех времен, народов и континентов, но и подкупить здравый смысл политика. Наиболее преданные турецким султанам янычарские кадры тоже рекрутировались не из своего населения, а из пришлого и презренного, отрекшегося от родины сброда. При очевидном зверстве то был бы самый верный, потому что наикратчайший выход из уже пылающего здания, если бы удалось быстро убедить в том же отшатнувшихся с ужасом стариков, а Прасковья Андреевна даже рот себе концом шали заткнула, чтоб не кричать.

— По нехватке времени... — шелестяще и по-взрослому жестко заговорил Егор, с этой минуты на себя одного возлагая ответственность за исход дела, и даже глаза его странно раскосились по необходимости обозревать во

всю ширь поле боя, — по нехватке времени на коленях умоляю вас, папаша, выслушать мои доводы без родительского проклятия, потому что если вникнуть в глубину возможных последствий, то ведь для вас нет выше счастья, чем благополучие оплакивающей вас родни, — он оборвался на полуфразе.

И тогда батюшка сказал ему:

— Что ж ты замолк? Зарубил дерево — руби до конца.

Выяснилось, что смысл задуманного хода заключался не в напрасной попытке отбиться от погони, а напротив — единственно разумным ходом, извернувшись в воздухе цельной стороной, снискать милость распалившихся начальников. В воображении его часто рисовался заоблачный, на горном Алтае, уголочек понеприступнее, чтоб и на карте не числился — ни туда железной дороги, ни автобуса, а лишь вьется меж диких скал чуть нахоженная тропочка в один козий следок. И при себе только харчей корзиночка на первое время, до людей! Нищета на ходьбу легкая, а где покруче — ветерок попутный подвезет... — То была давняя его тяга — с семьей раствориться в неизвестном направленьице, зародившаяся после газетной заметки об утаившихся в сибирской тайге отшельниках, обнаруженных с дозорного самолета и потому возвращенных в законное русло прогресса... Так глубоко запала, что иной раз наяву слышал, как все они там на закатце, взявшись за руки, тянут в унисон **свете тихий**, самую задушевную из православных стихир...

План Егора поражал своим многоступенчатым расчетом и, применительно к данному казусу, мог служить образчиком доносной технологии, потому что с участием самых ходовых клавиш газетно-циркулярной пропаганды, разве только кроме политико-шпионажных мотивов, за которые пришлось бы расплачиваться семье в полном составе. Чрезмерно сгущенная живопись в обрисовке беглеца не могла смутить даже интеллектуального адресата, тем более толкнуть на проверку криминальных подробностей, сомнение в их правдивости означало бы, мало сказать, жалость, но и прямую принадлежность к лагерю врага. Плотность их укладки диктовалась как раз стремлением Егора потрясти семейный совет и тем самым быстрее, ради сбереженья драгоценного времени, убедить

домашних в безотказности предлагаемой операции. Было уже за полночь, а вступительный заход надлежало предпринять во всяком случае до начала занятий в учреждениях, чтобы известием о побеге налогоплательщика по возможности предотвратить рождение грозной бумаги, убийственное шествие которой могло бы приостановить затем разве только высшее, всуе не упоминаемое лицо... Кстати, все для той же лучшей доходчивости жестокий доклад свой Егор делал стоя, когда же по окончании его сел, втянув в плечи стриженую, с мальчишеской челкой голову и возвратясь в защитное обличье ребенка, то вследствие исключительной силы впечатленья никто не пожалел его самого за жестокость, причиненную себе, а как он втайне ждал всеобщего сочувствия! Затем, по свидетельским показаниям Никанора Шамина, воцарилась тишина, в сравнении с которой якобы безмолвие пустыни показалось бы штормовым, баллов на десяток, прибоем.

Вполне естественно, первым полагалось откликнуться самому Матвею, от суждения которого зависело принятие плана, ибо в конечном итоге никто не собирался беспомощного старика из дому выгонять в промен на барахло и обжитые стены.

— Смотри, Параша, как бойко нас с тобою описал... ведь чего и не было, поверишь, — с подергиванием лица заговорил о. Матвей, — местами просто Фукидид какой-то. Он у нас непременный писатель будет! Псевдоним похлеще избери, да атеизму подпускай погуще. Слезу исторгнешь, кто послабже попадется. За сердце берет, как он ихнюю середку предугадал! — и даже языком пощелкал восхищенно, как бы благословляя ребенка своего на применяемый во спасение семьи подвиг негодяйства. — Панорама-то неохватная, братцы, панорама мысли какая... — в насильственном оживлении тормошился и восклицал он и то жестом приглашал и жену восхититься, какую детку зубатую вырастили невзначай, то изображал как бы салют сыну, который из пещеры львиной пролагал себе выход ко спасению, то наконец, как в присяге, воздевал руку над головой, знаменуя свою готовность на любой срам и яму. — Да я и сам, братцы, хоть в землю закопаюсь сейчас... Мне абы, повторяю, от Бога моего не

отвергаться, а то что я без него — долгополый да в эком ровно капоте дамском, на улице стыдно показаться, ровно ряженый. А краски-то можно и погуще подпустить, ты меня не жалей... вот только нос не красный у меня, хе-хе, да ведь пьяницы-то и вовсе без носов попадаются! Давай-давай, вкалывай, меньшенький...

В таких поворотах судьбы поневоле приходится мириться с чьими-то неудобствами, как и со своими, но тут такие, слишком гефсиманские нотки прозвучали в Матвеевой тираде, как бы хватание, со льдины, за ускользающий в половодье бережок, что Егору никак нельзя стало пропустить их мимо ушей:

— Очень прошу вникнуть в мои слова, папаша... — мягко и настойчиво собрался было он добавить к сказанному нечто более важное, в чем ему помешал Никанор, но тут необходимо вкратце очертить обстановку окончательного возвышения Егора.

После давешних волнений из-за любимой, чуть ли не за члена семейства почитаемой канарейки, Дуня к себе наверх не ушла, но и в разговоре участия не принимала, напротив, резко отказалась высказываться и по второму разу, даже головой затрясла, словно оторванная от собственных, уже, видно, налаживавшихся у ней поисков выхода, вследствие которых, видимо, не ухватила во всем объеме замысел братца, иначе давно убежала бы сама. Однако при внешнем спокойствии все в ней слишком уж напряглось, ежеминутно способное бурно выхлестнуться наружу, и тогда весьма понадобился бы Никанор справиться с ней и в объятиях унести в светелку. Во всяком случае все более неуместным становилось пребывание его при секретнейшем да еще антигосударственном сговоре лишенцев как-никак, с другой же стороны, неприличным выглядел и нейтралитет при виде таких конвульсий, — по необходимости высказать точку зрения, ради соблюдения достоинства в Дуниных же глазах, он и поворчал самую малость, и то вполголоса, насчет преувеличения трудностей, которые в сумме становятся клеветой на эпоху.

Похоже, Егор ревниво ждал от него такого замечанья, потому что тотчас, в одно дыханье предложил отцу воспользоваться присутствием трезвого и объективного на-

блюдателя, особенно с его богатыми связями в партийно-профсоюзных кругах, для получения от него иных, маломальски удовлетворительных решений самозащиты.

Державшая руку Никанора в своей Дуня ощутила, как он вздрогнул от неожиданности.

— Как марксист, обязанный диалектически подходить к действительности... — забормотал было он в попытке отмежеваться, но сбился, стал ссылаться на взаимные противоречия церковной этики и революционной практики, также перекрывающего их второго экономического закона и проявил столько ребячьей растерянности, что Дуня одобрительно потискала его вдруг вспотевшие, заметавшиеся пальцы.

В их маленьком мире то было последнее сопротивление. По складу речи и скорбно-прищуренному взгляду куда-то за его пределы, мальчик показался матери выше ростом, сутуловатым, даже старообразным слегка. Голос его западал, вовсе пропадал порою от волнения минуты... но прежде чем сказать главное, на разлуку с отцом, Матвеев преемник по свойству ли загнанных в тупик или ради престижа еще не утвердившейся власти не преминул куснуть побольней неосторожно приблизившуюся руку:

— От лица семьи благодарю, верный друг, за строго научный подход к нашему несчастью, — и блеснул глазами в адрес Никанора Шамина, — и будем надеяться, что, несмотря на помянутый второй закон там, вверху, не проведают **стороной** о наших тут подпольных махинациях!.. Итак, мне нужно от тебя, отец, немножко внимания и справедливости. В иных условиях на произнесенье каждого моего слова, которые я должен сказать, потребовалась бы неделя... Я краток потому, что у нас нет времени даже на вздохи. При паденье глупый кричит, умный пытается упасть ловчей, чтобы меньше разбиться. Моя вина в том, что раньше всех сообразил, где тут выход... и в классе тоже самые трудные задачки всегда решаю первым... Ну, просто, как конструктор, чутьем предвижу эту, ну, взаимную магнитность шестерен, так сказать, слагающих полезное движение. Я сразу откажусь от своей схемы, если явятся другие, но ты же видишь, время идет, а они молчат, мысленно плачут, ненавидят меня и молчат,

потому что никто не гонит тебя, а по своей воле покидаешь нас, хоть и по моей подсказке, потому что скоро будет светать, а я всех хитрее и хуже среди вас. Ведь ты больше жизни любишь их, не правда?.. Тогда скажи начистоту, **хватит** тебя глядеть на разные там превращения твоей любимицы Дуньки?.. Сможешь принять от нас ту единственную выручку, которую мы все здесь можем немедленно тебе предложить?

Смысл сказанного был тот, что никто не толкал старого кормчего за борт, но для спасения корабля у него не оставалось иного выхода, кроме как самому ступить за край, в разыгравшуюся пучину. Главным мотивом жертвы было сохранение кровли — не столько для него самого, скажем, на случай его прощенья, даже не для малолеток с беспомощной вдовой-старухой, как все для того же, переполнявшего собою здешние сны и мысли, чтобы в день чуда мог погреть промерзшие кости у готового очага... Впрочем, еще не поздно было, махнув рукою, отдаться на милость штормовой волны, и вот, в стремленье облегчить отцовский выбор, как ни двусмысленно выглядело оно сейчас в сущности своей, Егор мужественно присел сбоку и, поглаживая лежавшие на коленях исколотые мастеровые Матвеевы руки, попытался в возможной полноте обрисовать ему поэтапные трудности замышляемого подвига — не то закалял волю старику, не то по внезапному веленью совести помогал ему отказаться от его собственного теперь намеренья.

— Не будем закрывать глаза, — сказал он с величайшей любовью, — что дело может обойтись тебе еще дороже, хотя не дешевле и для нас.

Если не рассчитывать на чье-то сверхъестественное вмешательство, о. Матвей обрекал себя на могильное молчание — без весточки домой и тем более тайных навещаний семьи, чтобы по штампу на почтовой марке или промелькнувшей в воротах тени не застукали на государственном обмане.

Заранее можно предположить, что по силе неминуемого появления их скандального послания в столичной печати — для оповещенья всемирного человечества о падении христианской веры, наверно, и в глухомани заалтайской найдется доверчивый грамотей, который с мол-

чаливым вызовом бросит газетку на стол перед беглецом, когда тот запустит свою воровскую ложку в миску братских щей... и, возможно, до прихода милиции о. Матвей уже не успеет вскинуть за плечи походную котомку, после чего жизнь покончится и начнется образцовое житие, где он до гроба, без сроков давности и в поминутном страхе разоблаченья станет таскать при себе громыхающую килу легенды.

Судя по некоторым, опущенным здесь краскам, начитанный в литературе Егор с пользой применил к современности всегда дорогие юношеству образы благородных и многострадальных каторжников, чем хоть в малой степени примирил с собой домашних.

Разговор велся вполголоса, но все равно, все равно — сравнимое разве только с исповедью перед эшафотом, зрелище получалось нестерпимое, временами просто раздирающее, и весьма показательно, поистине диктаторскую речь Егора ни разу теперь не перебил никто по явному бессилию придумать нечто более путное взамен... да уж и некогда становилось сомневаться! И, подчиняясь неумолимой логике решенья, тотчас затормошился, пришел в деятельное самодвиженье о. Матвей:

— Вот спасибо-то, премного тобою доволен, сыночек, за поддержку твою... И подай тебе Господь чего подобного по отцовству твоему не хлебнуть, спаси Господь... Тогда, чем время терять, лучше в дорогу собираться. Нонче денька прибавилось, легше из дому уходить, впотьмах-то не хотелось бы. Ну-ка, подмогни мне, сыночек... — Впрочем, поднявшись самостоятельно, он сделал было к двери шаткий шажок, другой вслед за ним, словно по палубе и впрямь смертельно накренившегося корабля, но тотчас отказался от своего намерения. — Ой, с чего-то ослабел я, братцы мои... Ишь радуга-то желтая закрутилась! Отойдет сейчас, прилечь бы мне на минутку...

С расставленными ладонями, в поисках опоры, он опустился на краешек подставленной табуретки, а мигом откуда-то взявшийся Финогеич, сноровисто прихватив с подмышек, повлек было его на стоявшее поблизости канапе, но о. Матвей воспротивился, выразив желание устроиться чуть ли не на полу, но вместо того слабым заискивающим голосом осведомился вдруг у полноправ-

ного теперь распорядителя здешней жизни, не повредит ли делу, не сорвется ли великая операция, кабы отложить ее ровно на сутки — силенок подкопить, туды-сюды, в баньку напоследок наведаться, чтобы послезавтра уже безотлагательно **смыться** из Старо-Федосеева.

— Теперь успех дела зависит от оперативности покидающего дом погорельца, то есть от быстроты твоих сборов, — значительно пожал плечами Егор, как бы намекая, что в создавшихся обстоятельствах и ввиду бессонной теперь гавриловской ярости любое промедленье губительно отразилось бы на успехе плана, целиком рассчитанного на опережение всех ходов противника...

Но здесь кто-то вспомнил про завтрашнее воскресенье, а в нерабочий день казенные бумаги тоже дремлют в своих портфелях. В сущности, за весь вечер то была единственная, правда, подсознательная радость — оттого ли, что уже повитого, оплаканного покойника, лишний срок постоявшего на дому, не так жалко отпускать в могилу. Вроде повеселевшим тоном, по праву бывшего хозяина о. Матвей отдал прощальное распоряженье отправляться по постелям. И опять всех несколько подивило каталептическое Дунино спокойствие, — к себе в светелку поднималась она без всхлипываний, лишь с закушенной губкой да, задерживаясь на иных ступеньках, вся сосредоточенная на каком-то, громадной важности решении, где надежда полностью превозмогала отчаянье. Мать ушла чуть раньше.

Дольше всех с отцом оставался Егор, — вполоборота к нему, с осунувшимся старообразным лицом покачивался он, закрыв глаза и в трепетном ожиданье, что вот-вот произнесут его имя. Не его вина, что судьба вела его к мудрости житейской наикратчайшим путем, минуя фазы человеческого созревания. Так и не состоялась желанная, разгрузочная беседа.

— Ладно, отдыхать ступай, маленький змий мой... утомился поди? — приласкал его издали о. Матвей. — Ничего, все когда-нибудь минуется: и скорбь наша, и самый мир сей, остающийся однажды далеко позади...

Мальчик уходил медленно, но опять отец так и не остановил его. Когда же скрылся за дверью, то оказалось вдруг, если мимолетный упадок сил имел место в действи-

тельности, то мольба об отсрочке была всего лишь стариковской хитростью, чему имелись давние причины.

В ту же ночь по исходе семейного совета, когда молодежь разошлась спать, старшие Лоскутовы решили не откладывать в долгий ящик и привести в исполнение главный пункт в плане — бегство недоимщика.

Снаряженье в дальнее скитанье началось сразу, едва затихли шорохи кругом. «Чего их будить: обрекая взрослых на бессонницу, горе самой усталостью своею лишь крепит юный сон!» В отыскавшийся среди пыльной завали в чулане лубяной еще вятских времен кузовок доверху насовали всякую первостепенную необходимость приблизительно в Афинагоровом комплекте, необременительно для пожилого путника, но с придачей горстки конфеток — хозяйкину девочку на глазах у матери ублажить, чтоб прочь с постоя не гнали. Весь их последний разговор, состоявший из суетливого взаимного наставленьица, велся мысленно, вслух же только и было спрошено — не возьмет ли масла постного четвертинку — глотком подкрепиться в дороге, но одновременно с отказом — «не без крошек люди едят, эва, собаки-то бегают»; велено было не забыть неотложную сапожную снасть с мотком дратвы для первого обзаведенья на месте прибытия. Они помолчали минутку, в которую уложилась вся их совместно прожитая жизнь: и тот палисадничек с деревенскими мальвами, через плетень коего поначалу, взорами покамест, схлестнулись они навечно, и лужайка на кроткой северной речке, где белыми ночами гуляли, небось, сплетя запотевшие пальцы, — и самый миг священный, когда в розовое ушко Парашеньке своей вшепнул магическое словцо — таинственная дверь, откуда на свет вылезают пташки, цветы, разные пчелки и прочая радость бытия...

Для снискания жалости и покровительства, особливо у верующих старушек, решено было уходить в старенькой рясе, выношенной до сходства с крестьянским рядном, и вообще брать на себя что похуже, потому что все едино как в землю, чтоб не жалко; опять же поновее могло еще сгодиться на случай возвращения кое-кого в неминуемых отрепьях. Сверху же надеть — шибко кстати пришелся сохранившийся в сундуке как раз про черный

день и на любую непогоду годный, в меру укороченный еще тестев армячок, в семейном просторечии именуемый **полпердончик**, одночасьем на ярмарку скатать, а к нему узковерхий, на манер зимней скуфьи, меховой колпачок, применявшийся покойным иереем для согреванья зябнувшей лысины. Космы обрезать Матвей не дался, стриженому да ряженому пуще от сыщиков не отбиться! В предвиденье надвигающейся зимы матушка настоятельно, помимо всего прочего, обрядила супруга в темные, от прошлых времен, валенцы в кожаных обсоюзках собственной же его работы, что в совокупности с остальным снаряжением придавало страннику крайне экзотическую внешность на фоне почти летнего, кабы не знобящий ветерок по временам, розового утра. Когда обряжался, старуха обнаружила, что веревкой опоясался поверх фуфайки в три охвата. «Ты чего, чего, — испугалась, — ай погубить себя удумал?» — «Ах, мать, — отмахнулся путник, — отколе знать, какая снасть стребуется в дороге!» Попадья все пыталась обвязать его для тепла шалью, на старушечий манер, крест-накрест с узлом не спине, чтоб не развязывать до самого Алтая, еле отбился. Полная светлынь стояла в окнах, когда, окончательно управившись, по русскому обычаю присели **посидеть** в дорогу. Оглушенные внезапностью покамест неосознанного горя, они, похоже, улыбались в молчаливой беседе, что вот, чего опасались, пришла пора досматривать самое неправдоподобное, пожалуй, из своих совместных сновидений. Во избежание лишнего шума прощаться вышли на крыльцо, но здесь приличней отвернуться на минутку от спазма заключительных объятий, столь же запретных для созерцания, как стариковская нагота.

— Ну, всему приходит своя кончина, мать, — сказал о. Матвей и, чего давно у них не случалось, приласкал старуху за подбородок.

— Чудно... куда только не простирается человек, а самонужнейшее — посошок-то дубовенький, так за всю жизнь и не успевает припасти...

— Плетни-то еще не перевелись на Руси, — сквозь слезы посмеялась та, — еще подберешь в дороге!

Они двинулись к воротам. Стояла утренняя рань, непогашенный покачивался фонарь на столбе. Солнце еще

не всходило, но громадное при почти безоблачном небе розовое озарение за птицефабрикой сулило добрую погодку на выходной день. Уж приступал к работе веселый дворник: предмайский ветер верховой отряхивал с кладбищенской рощи тяжкую вчерашнюю капель, выдувал рябые озерки с тракта во весь континентальный мах, сгонял к горизонту застоявшиеся облачка — сор ночи и зимы. Шустрые воробьишки так и вертелись у него под метлой, дразнили подметалу, а он, обернувшись к хвастунам, задирал им на голову пернатую одежку, перстом добирался до просвечивающего тельца, а те с разлету кидались в ближнюю воду, целые радуги брызг подымая встречь. В иное время не было о. Матвею отрадней зрелища, глаз бы не сводил, заслонясь ладошкой от восходившего солнца, а тут ровно ослеп, захваченный вопросительными раздумьями о покидаемых, и чем дальше, тем страшнее было вслух признаться в них.

Сколько раз ранним зимним вечерком наблюдал он близ кафе да у кино одиноких крашеных девчат Дунина возраста, как, пожимаясь от поземки, форсят они в сквозных чулочках, ножки кажут с тревожной приглядкой по сторонам — то ли подстерегают **купца**, то ли милиции остерегаются: с некоторых пор за такое поведенье, порочащее новый светлый мир в глазах иностранцев, всех гулящих девок с наголо обритыми башками вывозят в стоверстную даль Подмосковья, откуда и возвращаются те вприпрыжку, простирая руки к дяденькам в теплых кабинах попутных машин. Безработица, слава богу, кончилась на Руси, но чистки **элементов** оставались, а голод да беда по-прежнему стыда не знают! Единственно оберегало Дунюшку — как ни румянь, ни подкрашивай, все одно некрасивая, разве что молоденькая, лакомая на особый вкус, и в складках могущественной цивилизации уж непременно отыщутся нуждающиеся в обслуживании клиенты с причудами и равновесными изъянами. Господин грез никогда не гнушался тощеньким, с цыплячьим тельцем: больше съешь!

В обоих толстых столбах кладбищенских ворот имелось по глубокой нише с ветхой скамеечкой внутри. Оттого, что на склоне лет расставанье не дается сразу, старики без сговора втиснулись и туда на полминутку.

— Ну-ка, посидим напоследок... И ни о чем в жизни не попросила ты у меня. Уж как тебе хотелося разочек по морю прокатиться, а я недогадкой прикидывался. Поп при своем приходе ровно пес на цепи... Вышла бы за косого заместо меня, глядишь, пировала теперь в лимонной роще у моря синего на бережку! — и стыдясь поздней неуместной ревности перед разлукой навечно, виновато опустил глаза. — Он и в семинарии до дамского полу сластена был. Помнишь, как он на тебя поглядывал?

— Еще бы: вовек не отмоешься, — откликнулась старуха. — Бывало взглянет — ровно до пят облизал всю.

— Чего задумалась?

— Ровно скворцы согласные сидим, уселися.

— Истинно что твои скворцы... И насчет Скуднова ты не жалей, таких людей нельзя без дела тормошить. Времена только развиваются, не ровен час чего и похуже приспичит: как кубышка, пусть лежит до поры. Меня не жалей, без полынки и сенца не бывает. Истинно сказано: вся прах, вся пепел, вся персть. Оно, может, еще и не сгонят вас, если письмо посодействует... а коли обойдется, то и часу в десятом, как дети улягутся, выходи ко мне на крыльцо посидеть... мысленно буду ждать тебя на приступочке.

— В дождь и стужу на руках приползу! — клятвенно кивала старуха.

— За хозяйством само собой приглядывай да парнишку сразу-то в хомут не впрягай, надорвется без одышки, еще мальчик. Слезьми упрашивай, на колени стань, сбереги от описи Вадимовы сапоги... Как ты ему с пустыми-то руками в очи глянешь? И еще: не вздумай попрекать, буде воротится твой любимец, а то навек утратишь. А пуще о Дунюшке разум кровью обливается: такая за нас с тобой сердечко свое в омут житейский кинет. Помнишь, как Сонечка у Достоевского, вместе читали, синим огоньком сгорала без единого попреку! Телом своим прегради ей скользкую дорожку... особливо ежели обернется, что Егора по родству загребут. На худой конец сама умертвися, прикинься, будто угорела, деток от себя облегчи. А Бога не бойся, он свой, войдет в твое положение, простит. На коленки встану, Христом тебя заклинаю, Парашенька, дочку не допускай в лахудры-то,

вроде как у пьяницы того, помнишь, в книжке читали? А нашей-то вдвое горше придется. Непременно найдется иной, больших денег не пожалеет, чтоб доверху ее, по самые глазыньки хмельные скверной своей накачать, да по щекам ее потом, поповну-то... за Бога, за Россию, все по щекам, пока пальцы у него не занемеют!..

— Господи, чего ты бормочешь, поп... — крестилась со страху Прасковья Андреевна. — Я и сама еще в силах, чужое постирать могу, если сидя... да и Никашка не допустит, сам убьется и любого за нее зарубит: жалеет он ее...

— Вот и хорошо!.. А то ведь и товару-то в Дуньке на грош, а найдутся на русской-то погорельщине поповной полакомиться, тут девичья слеза приправа к удовольствию, слаще нет. Прости, расшумелся, жалко...

Уж и фонарь погас, одиночные людские фигуры появлялись вдалеке, пора было уходить, а все не получалось. Безветренное, до рези синее небо окраины было такое чистое — ни птицы, ни облачка, ни копотинки в нем, даже возникло сожаление, что за недосугом, видно, так никогда и не насладились досыта рассветной тишиной, потом маневровый гудок с окружной дороги напомнил старикам, что пора и расставаться.

Уходя, Матвей заплакал и махнул рукой торопливо.

— Теперь я полностью укомплектованный бродяга, ни один грабитель не польстится, — подымаясь, пошутил о. Матвей. — А знаешь, Параша, всего повидали, а ведь мы с тобою неплохо пожили, а? Я тебя не обижал.

— Уж чего там, было разок... — с давней девичьей усмешкой подмигнула та и, вдруг сморщась, припала к Матвеевой руке, он же, видно, по профессиональной привычке, покрыл ее темя ладонью.

Гул и дымы помаленьку засоряли пророзовевшую небесную тишину. Можно было там и посуше выбрать, но о. Матвей зачем-то двинулся по самой мокряди, приучая себя к невзгодам странника. Он не оборачивался, чтоб зарубцевать скорей... Когда же оранжевый короб на горбу и острожная мурмолка над ним бесповоротно скрылись за выступом кладбищенской ограды, Прасковья Андреевна вдовьим жестом оправила головной платок и воротилась в дом топить печь.

С начатками грамоты из закапанной воском Минеи привилась о. Матвею ранняя склонность к одиночеству и размышленьям. От дьячка, пастуха и бондаря, первых наставников детства, чаще всего доставалось пареньку за неприличное, по крестьянскому обиходу, пристрастие ко всяким очевидным бесполезностям. Больше сластей нравилось ему созерцать праздничное чудо радуги или, оцепенев на лужке, слушать полуденное молчание травы, и даже после женитьбы нередко тянуло о.Матвея побродить босичком по пламенеющим в закате холмам и отмелям. С годами ребячья тяга к несбыточным путешествиям даже усилилась чаяньем иных стран волшебных, никак не сходных со скудной действительностью, а вера в существованье самой совершенной из них определила выбор его профессии. Одно время казалось, что тут оно, рядком, когда же выяснилось истинное расстояние до царства Божьего, стали манить о. Матвея здешние, столбовые, с неизвестностью впереди, дороги человечества. По слухам, именно в стремлении к недостижимому и заключается блаженство мудрых.

Из всех зрительных образов детства глубже всего запали в Матвееву память прежние русские странники, как легкой машистой походкой идут они сквозь житейскую толчею, степенные и опрятные, от всего отрешенные старики, пропахшие берестой и полынкой. Не гнетут их забота и хворость, не горбит имущество стоимостью в медный грош. Солнышком да росами выбеленный азям на плечах, да холстинка на отход души в полупустой котомке и как будто нездешняя, **не наша** пыль на их лаптях — в каком из простых сердец не будили они вздоха благородной зависти?.. Так идут они с вешнего половодья по первый снежок, вникая в происходящие по сторонам великие тайности, именно обыденностью своею сокрытые в природе от постороннего глаза. И все попутное, благое и темное, мнится их бесстрастному глазу игрою одушевленных стихий — гроза и роща под ветром, пожар или ярмарка, — от зорьки до зорьки шагают, благовейным помыслом нацелясь на никому незримые дивные обители с пылающими куполами и башнями розового кирпича, пока не призовут на ночлег сладчайший дымок из попутного селенья, звон вечернего молока о

подойник. На каждом дворе стол им и пристанище в обмен на нехитрую, за полночь, повесть о всякой заведомо наивной всячине, тем и драгоценной для души, что вовсе не попадается в сутолоке жизни. Непременно надо для здоровья нации, чтобы кто-то детскими очами, просто так, безотрывно глядел в небо.

С годами старо-федосеевского батюшку стало привлекать странничество как избавление от непосильных под старость житейских обязательств. Близилась пора, когда главное вроде сделано и новое поздно начинать, да и незачем. Уже временами такая осенняя прозрачность наступала в душе, на тыщу верст видать во все стороны и не жаль былых излишеств младости, а только радуешься невесть чему. Как зверя инстинкт общности уводит умирать во мрак и глушь лесные, чтобы падалью своей не омрачать праздник жизни, так и Матвея с некоторых пор потянуло в **пустыню** православного отшельничества с ее классическими приманками, как беседы мудрых с самим собою или сладчайшая печаль уединенья, пресловутое лакомство праведников с последующим счастьем раствориться безбольно в шелесте листвы, щебете птиц, бормотанье ручейка... Мечталось, никому не сказавши однажды, пораньше и налегке выйти из дому в направлении непомышляемой, за горизонтом обыденности, тем в особенности милой страны, что вовсе нет ее на свете. И так брести месяц и год в летний зной и по вешней распутице, также по знобящей прохладке первого заморозка, чтобы инейная травка хрустела под стопой, всякий день до полного устатка. Как привянут ноги, то, сухариком подкрепясь у безвестного родника, забираться на ночлег в придорожный стожок поукромней, но и оттуда, пока не смежатся очи, все блуждать мысленным взором по засеянному звездами своду небесному с той жуткой воронкой в зените, куда втягиваются великие и помельче тропки жителей земных.

Между прочим, в намеренья Матвеевы входило посетить заодно прикрытые за вредность, на износ времени пущенные монастырьки, а также отведенные под государственную надобность по наличию надежных крепостных стен, препятствующих утечке узников на волю и потому без допуска паломников, чтоб издаля, сквозь

колючую проволоку поклониться почивающим там святителям русским, коих из-за перегрузки кадров не успели вывезти пока в музеи на показ заграничных туристов и просвещенье отечественной публики, а пуще всего, в утоленье пастырской тоски, выведать в окрестных селеньях, не отрыгнуло ли хоть росточек срубленное под корень древо веры народной. В подобные минуты самозабвенья, с прижатым к груди чужим сапогом, сколь часто мнилось ему — нет ничего веселей, как шагать бездумно встречь жизни во всех ее ипостасях — будь то хмельная свадебная поездуха с алыми лентами на дугах либо запряженные клячей скорбные дроги покойника, помимо родни провожаемого на погост еще не изведавшим хомута любопытствующим жеребеночком на обочине, а равным образом покосные возы с голосистыми девицами поверх духовитого сенца или, скажем, гремучий почтовый тарантас, набитый путниками, принявшими на себя пыльную дорожную страду, но иногда и гонимые на край света колодники, кандальным звоном да унылой песней оглашающие знаменитый каторжный тракт... Надо сказать, мненье отца Матвея о том порожистом потоке человеческого вещества как наглядном примере равновесного благоустроенья Господня не изменилось, даже когда сам оказался в нем. Все же наивные чаянья насчет приключений странничества весьма порассеялись вскоре по выходе в путь. Не подозревал, в частности, что за время долголетнего сиденья на сапожной кадушке самое слово это, вышедшее из обихода, приобрело юридическое значенье наказуемого бродяжничества. Видимо, лишь предназначенность старо-федосеевского батюшки для генеральных событий впереди сберегла его от возможных последствий бегства.

Началось с того, что, когда в тревожном опустошении, не смея оглянуться на свою старуху у ворот, торопился исчезнуть из ее поля видимости, вдруг надоумился ознакомиться на прощанье со спящей пока столицей, как-никак городом великих иерархов, которую в сутолоке времени толком так и не повидал. Когда же в отмену маршрута повернул в сторону пустой окраины, едва отшатнувшегося, обдав вонью и матерщиной, обогнал его порожний грузовик. Рукавом отирая с губ солоноватую

грязь вчерашней непогоды, незадачливый скиталец озабоченно взирал вослед истинно демонскому коробу на колесах, где с лязгом бултыхались, видать, души человеческие в его железной требухе.

Тем более жалко было уходить, что после деньков ненастья погода быстро разгуливалась. Пока обнимался напоследок со своей будущей вдовой, в небо без единой облачинки, торопясь наверстать упущенное, по-хозяйски выкатилось солнышко. Враз заверещали воробьи, где-то пошли трамваи, и, остановившись обмахнуть испарину с лица, раньше времени ощутил тяжесть котомки со всякой снастью для скитанья по таежным урочищам. Не решаясь своим походным видом привлекать к себе внимание властей на оживившихся площадях, бродил он по переулкам глухим, впитывая впечатления для последующего экономного расходованья где-то наедине с самим собой. С особой приглядкой обходил он обреченные церковки уже без осеняющих крестов на дырявых куполах, читал хлипкие бумажки-объявленьица на стенах для познания сокровенной частной жизни современников, в нерешимости постоял у рынка, опасаясь со своим грузом застрять в людской толчее... И самое странное, что никто из прохожих не обращал внимание на вполне экзотическую фигуру уходящего из жизни попа.

Сразу по выходе в мир старо-федосеевский батюшка испытал лишь болезненное облегченье, будто стянули через голову постылый и привычный, видать, к коже присохший хомут. Еще кровоточило внутри, зато не нужно было изнуряться за верстаком, гадать о сроках неминуемого когда-нибудь лишенья кровли и койки, но вдруг, на пороге полной воли, охватил приступ жаркого малодушия.

Собственно, ни воспетое народом озеро Байкальское, ни привлекательная для туризма гора Эльбрус с видами на окружающую местность никогда не манили о. Матвея, а прославленные монастыри, издавна служившие благовестными маяками православного странничества, к тому времени по надежности стен и уединенности расположения полностью были приспособлены под пересыльные базы и точки долговременного заключения с одновременным обращеньем колокольной меди на нужды обра-

зовавшейся промышленности, также пробуждающихся континентов. Сгоряча придуманная алтайская братия не имела определенного адреса, а по отсутствию конечного пункта следования в проездном документе путник подлежал срочному пресечению по уголовной статье за бродяжничество. И так как спешить было некуда, то представлялось разумнее вместо вокзала побродить сперва, проверить на людях свое новое обличье, притерпеться к нагрузке за спиной. Подобная прогулка без целевого назначения приобрела для о. Матвея тот особый жгучий интерес, какой испытывают путешественники в незнакомой стране, начисто отрешенные от тамошних обязанностей и скорбей. И чуть вступил в людскую, постепенно возраставшую толчею, тотчас его понесла с собою на базар или в учрежденье торопившаяся толпа, причем в озабоченной спешке никто вовсе не примечал потешного старика с его экзотической, из прошлого века нагрузкой, что внушало уверенность в успехе предприятия. Для пущей незаметности от милиции шел он по теневой стороне улиц, полупустых в эту пору, и, чтобы скорее приспособиться к нынешнему положению своему, с каким-то остреньким любопытством присматривался к окружающей, уже чужой действительности, пытаясь увидеть ее новыми глазами, **оттуда**, как она представляется усопшим. Он шел, словно сквозняком несло куда-то, и нечем стало зацепиться за ускользающую почву при порезанных корнях. Почти вслепую шел вопреки милицейским свисткам, шоферской брани, надсадному визгу тормозов, — полностью вверяясь облегающей нас отовсюду и сквозь нас самих протекающей реке вещества... но вот почему-то она отошла чуть в сторону от приостановленного сознанья, что заставляло с удивлением, близким к испугу и очень **схоже**, прислушиваться к происходившей внутри себя новизне, правда, еще без присущего заправдашним мертвецам нетерпенья поскорее зарыться в последнюю недосягаемую инстанцию для некоторых окончательных превращений... Словом, пока бродил в старо-федосеевской окрестности, миновал всю анфиладу предварительных состояний, не удержавшихся в памяти единственно по отсутствию ее у усопших. Не испытывал и потребности вернуться и, во утоление то-

скливого и недоброго любопытства припасть к ночным окошкам живущих, даже войти и **побыть** украдкой без права вмешаться, коснуться, заявить о себе. И уже совсем далеко было до той завершающей фазы, когда от истаявшей личности остается невещественно-прозрачная, суетливая молекула из тех, что нередко во множестве снуют в поле нашего утомленного зрения и которые по невежеству своему о.Матвей принимал за начатки жизни, жаждущие пробиться **извне** в голубой шар бытия.

Подтверждается на Матвеевом примере не меньшая, чем при вступленье в мир, длительность исхода из него — за счет постепенного, вслед за общеизвестным моментом, ослабленья привязанности земной: по поверью старины здесь и лежит причина **их** настойчивых, близ оставленного жилья, кружений с расширяющимся радиусом в девять, сорок и триста дней, отмечаемых поминальным обрядом. Первые часы о. Матвей тоже провел у себя в районе — в безотчетной надежде, что позовут, догонят, вернут назад. Сквозь душевное оцепенение вновь проступала действительность, воспринимаемая с изнанки, что ли, — по независимости от стеснительных благ цивилизации заведомая неприглядность оборачивалась привлекательной стороной. Меж тем, по нехватке рабочих рук и могло уцелеть в столичных пределах подобное захолустье с кособокой одноэтажной рухлядью, среди топольков, изглоданных фабричными чахотками: такое нередко при сносе поквартально пускали огоньком, чтобы не тратиться на вывоз трухи да ржавчины. В кривых и тесных переулках то и дело открывались изгнаннику незнакомые тупички с непременно подтекающей водопроводной колонкой либо обезглавленной церковкой вдали, один другого живописнее своею суровой обжитой пригонкой к вековому укладу прошлого. Словом, шел не торопясь, тем самым давая догнать себя кому-то, шел и мысленно благословлял **юдоль земную** с ее бесхитростными гнилушками, которые казались о. Матвею, по его тогдашнему настроенью, куда теплее и человечнее безличных высотных новостроек, что с трех концов надвигались сюда в сопровожденье медлительных, из тяжкого промышленного дыма изваянных чудовищ... Зато в просвете на восток, во всю ширь расковырянной мостовщиками улицы простиралась дев-

ственной красоты топь, полная чистейшей апрельской сини — без плывучей соринки в ней, без единого рубчатого следка у глинистых закраин. Видать, и самосвалы остерегались ее из опаски ухнуть в глубь небес аж до самой Андромеды!.. Терпкой свежестью воли так и дохнуло на о. Матвея, причем он и лужу заодно благословил, отведя ей законное место в логике мирозданья, а невольный вздох его: «река моя, госпожа моя, жизнь» — тотчас поглотила расплывчатая музыка весны, где, нанизанные на низкий виолончельный звук неизвестного происхождения, гармонично сочетались и немолчный, на древесных новосельях галдеж грачиный, и ранняя гармошка — поплотней использовать выходной — и откуда-то прямо из-под ног причудливое соло петуха, и отдаленный гул пробудившегося города за спиной... Но, как ни напрягал слуха, нет, никто не бежал за ним с экстренным уведомленьем, что все разъяснилось в наилучшей степени, и дома к утреннему чаю заждались, и снова слышался уху благословенный маятник часов, значит, вступало в силу лишь для мертвых отменяемое время, и слава богу, наконец-то, разгрузившись от заплечной ноши, можно будет подремать часок до обеда после бессонной ночи накануне... Невзирая на очевидную теперь безнадежность возврата домой, все не хватало духу отправиться и на вокзал: хотя поезда ходят в обе стороны, какая-то последняя бесповоротность содержалась для о. Матвея в самой мысли о дороге. Тем не менее народу на улицах заметно прибавилось, здравый смысл повелевал скорее убираться из Старо-Федосеева, от нежелательных встреч.

Солнце пригревало на припеке, и при пустых воскресных трамваях не стоило тащиться по жаре, однако решил отправиться туда пешком и не растравлять себя поминутной оглядкой. Меж тем, местность становилась богаче, попадались дома каменные и четырехэтажные подчас, и, что в особенности удобно, представлялась возможность безо всякой спешки, присев на тычке, невозбранно понаблюдать людское оживленье, как они тут управляются без о. Матвея, полностью отключившегося от жизни. Несмотря на день всеобщего отдыха, совпадение, что ли, граждане занимались исключительно деятельностью, направленной к дальнейшему устроению

жизни, и, казалось бы, при таком их стремлении откуда взяться людскому горю? Единственную причину его о. Матвей видел не в социальном неустройстве, как трактовали некто Карл Маркс и его последователи, а исключительно во вредных токах, возникающих от усиленного людского взаимодвиженья, чего в помине не было бы, кабы для своевременного отведения их в почву почаще ходили босыми ногами по земле, как и полагалось бы путникам на их быстролетном проходе из одной тьмы в другую. Впрочем, изобретение старо-федосеевского батюшки человечество отнюдь не должно понимать как полную отмену обуви, чтобы не нажить суставный ревматизм, изобретателя же вместе с семейством не оставить без пропитанья. По дороге к его главным приключениям случай неоднократно, лицом к лицу, сводил о. Матвея с тружениками за исполнением различных нужд народных. Так в верхнем этаже длиннейшего, вроде казармы, прокопченного строения две хозяйки одновременно мыли зимние рамы, и солнечные зайчики скакали по фасадам неосвещенной стороны, а в нижнем, посреди, шибко плешивый мужчина в непозволительно-щекотных усиках чинил пишущую машинку, тогда как в следующих шести по ходу Матвеева движенья, несмотря на выходной, пожилые усталые мастерицы кроили и тачали соломенное полотно, на замусленных болванках обшивали лентами дамские шляпки, чтобы к сезону умножить девичью прелесть в глазах избранников; впрочем, роскошное зрелище в полуподвале, как раз под артельным помещением, воочию убеждало в готовности последних и без понуканья выполнить непреложный закон природы. С откинутой головой глядевшая на свой клочок неба подружка виновато улыбнулась заглянувшему к ним старику, которому ничего не оставалось, кроме как благословить человеческую, ко счастью целеустремленную пару.

Глава XXIII

«А ведь знаешь, Матвейка, хорошо, хорошо на свете жить...» — неожиданно открыл он сам себе, но подразумевалось условие — если поминутно о каждой мелочи

не обмирать. Наугад шел, заглядывая в попутные дворы, где юные энтузиасты природы, по примеру старших с их кровопролитными войнами, увлеченно занимались подсадкой деревьев взамен ими же загубленных в минувшем году; также потолкался у рынка, но, как ни хотелось заглянуть на задворки русской жизни, откуда сразу же все видать, внутрь зайти не посмел из-за постылого горба своего. И вдруг оказался прямо перед воротами детского парка. Видно было сквозь ограду, в просвете меж деревьями, наспех воздвигнутые карликовые сооружения причудливой архитектуры: к совсем близкому теперь первомайскому празднику здесь открывался прижившийся в те годы и у нас **мир сказок**. И уже заманчивая, как бы со свежевымытого небосвода, **пробная** музыка реяла над головой. Уверясь, что входных билетов не спрашивали, равно как документов на право жительства, о. Матвей заодно с прочими переступил запретительную, да еще упавшую с одного конца жердинку. Целей не было, кроме познавательной — насчет устройства нынешнего **детского рая**, но оказалось, слава богу, что ребяток ничего такое не коснулося. Пока сверхурочные плотники завершали затейливый объект **кащеевы хоромы**, маляры по соседству наводили колер замшелой ветхости на образцово-показательную **ведьмину избушку** с чародейно-полетным инвентарем вокруг. И в том прежде всего сказывалось волшебство места, что люди там сразу утрачивали житейские различия, а плутоватая улыбка, как всегда — при созерцании свежепокрашенного чуда с изнанки, придавала им такое внешнее сходство, что косвенно в памяти Матвеевой возникло видение пасхально озаренных цыплят, отделенных от нынешнего дня горными хребтами событий. Большинство гуляющих составляли родители, и оттого, что заправдашняя сказка тут пока не началась, ребят тянуло в соседний сектор парка, где уже кружилось, бренчало, содрогалось звонкое веселое кольцо. То была старинная русская карусель, заблаговременно пущенная скорей в обкатку, нежели для выполнения порайонно-финансового плана.

Милой святой неправдой веяло от почтенной увеселительной игрушки на скрипучих кривых стойках и болтах грубой кузнечной работы, от несбыточного нищего

роскошества из потрескавшихся зеркал, цветной фольги и стеклярусных фестонов по верхнему ярусу. И немудрено, что сбившиеся в кучки дети, мальчишки и их временные приятельницы, драчуны и тихие, длинные и покороче — вместо того, чтобы обруч гонять по обсохшим дорожкам или совершать сообразные возрасту набеги, завороженно взирали на пролетавшее мимо звенящее кольцо. Запряженная в царскую коляску, неслась во весь опор огневой масти тройка, и, несмотря, что задумчивые, не отставала от них пара слонов, свежепокрашенных в масть морской волны, а уже за ними, распластавшись — под седла для самых маленьких, крался расписной конопатый лев, и наконец, Боже, следом промчалось мимо о. Матвея то самое, навек пленившее его воображение, помесь чего-то с чем-то, деревянное существо неустановленной породы с озорной ухмылкой на круглой роже, словно выпимши, с чурбачком под культяпкой, которой раньше не было: на обоих плачевно сказались протекшие годы. Дело объяснялось простым совпадением, все карусельные звери родня по резчику, отчего чудище, хотя бы и при исполненье обязанностей, так и не признало того очарованного паренька свыше полувековой давности в смешном старике с котомкой. И о. Матвей сознавал это, но все равно не по себе стало от встречи, потому что заодно с ворвавшимся в слух треньканьем ярмарки под мерное уханье какого-то тарабарского бубна над самым ухом, явственно ощутил руку покойной матери на плече, увидел и себя — босого десятилетнего сиротку с первыми в жизни только что купленными сапожками за спиной да еще с сафьянным отворотцем. Причем самое мелкостное, неприметное вблизи, различалось из полувекового отдаленья, например — очень ветрено было, и у паренька капельки пота проступали по рубахе. Так жарко стало от волненья — тестев азям распустил, отчего стала видна подтянутая бечевкой ряса, устроился на штабеле досок поблизости в смутной надежде доглядеть что-то в драгоценном виденье детства. Но тут машина с затяжным хрипом остановилась, и появившийся из зеркальной середки страшный карусельный мужик, ни на кого не глядя, объявил затихшим в очереди ребятишкам обеденный перерыв.

Чуть тревожно было о. Матвею без привычных обязанностей, дух захватывало, как на спуске с горы. Близился час, когда Прасковья Андреевна вносила ему в рабочий чулан что-нибудь из вчерашней еды. И уже подумывал, стоит ли в людном месте, у милиции на виду, доставать из котомки тряпицу с походной снедью, даже искал взглядом, где присесть, когда заметил на себе пристальный взор рослого чернявого мужика с проседью в куцом пиджаке провинциального шитва и в таких же несусветных кирзовых сапогах. Неизвестно, что заставило его пальцем поманить к себе вполне маскарадного старичка в теплом не по сезону картузе и с длинной палкой, способной вызвать подозрение уличных властей... вряд ли жалость или потребность в компаньоне для выпивки, скорее нередкое в те шумные годы, даже в толпе нестерпимое, как в пустыне, одиночество. Во всяком случае возраст и внешность лучше всякой анкеты удостоверяли его безвредность для чересчур задушевной беседы.

Вскинув на гвоздок снаружи извещенье **закрыто на обед**, он сперва пропустил гостя в свою контору, она же директорский кабинет и машинное отделение, куда после пролез и сам, согнувшись в три погибели, чтоб не порушить служебное помещенье. Ибо то была фанерная закутка с откидной холщовой занавеской вместо двери, тут же находился и ящик с заводной музыкой. И едва заслонил картонкой кассовое окошечко от настырной детворы, враз на дощатом коробе мотора объявилась опрятная краюшка хлеба, к нему в вощеной бумажке копченый рыбец с пучком зеленого лука, но в особенности придавала уют едва початая поллитровка **утешительной**. Батюшка отстранился было обеими руками, но зависимое положенье обязывало принять гостеприимство в полном объеме.

За отсутствием посуды отпили в очередь из горлышка и потом, морщась с непривычки, о. Матвей деликатно выбрал себе ломоток копченья от хвоста, поскромней.

— Сразу-то не заедай, пущай пожжет немножко... — заметив его неопытность, наставительно молвил благодетель.

— Спаси тебя Господь, добрый человек... Ух ты какая! — похвалил принятое о. Матвей и уважительно дер-

жа бутылку в вытянутой руке, ознакомился с надписью на ярлыке.

— Далеко ли путешествуешь? — издалека приступил к утолению жажды хозяин.

— А вишь, по-апостольски, куда очи поведут. Посошок страннику и компас, и защита, и сердешный друг!

— Вот и кинь его от греха под кусток, пока не застукали вас обоих по бродяжной статье... нонче вашего брата не одобряют!

Они повторили удовольствие и помолчали в полном согласии с текущей действительностью. Теснота располагала к доверию, и так как сближение между отверженными лучше всего достигается через обоюдный обмен злоключеньями, то о. Матвей, приноравливаясь к роли отныне безродного странника — отчего чуть поразветрилось на душе, посвятил мужика в свои прискорбные поповские обстоятельства, — кроме той родительской тайны, что с недавних пор горбила обоих стариков.

— Но все равно ты меня не бойся, что поп... — поспешил он упредить, подметив настороженное внимание во взоре собеседника. — Только во мне и осталося, что на бывшем погосте проживал. Птенцов-то кормить надо, вот и стал я тайный, пока не спугнули, сапожник. Знаешь, когда война либо большое переустройство вроде нашего, тут народишко горстью меряют: в мешке кажного зернышка не рассмотришь. Народ занятой, иной не нашего происхождения... да и кому охота по правде-то в жизнь твою исподнюю вникать. Раз ты поп, тебе и пуля в лоб!.. А сам-то я не духовного звания, и родитель мой помер от непосильного труда. Только и запомнился, как на работе поранившись домой ране сроку ввалился, на лавке сидел, пока мать тряпицу на повязку рвала... какой-то чужой, рукастый да суставчатый, омутища под глазами, опилки в бороде. Кабы фабричный был, верно, оказали бы и мне снисхожденья, а он у меня пильщик на раме был. Занятие не сахар... Шесть метров, по нонешнему счету, бревно на козлах: младший на себя пилу подымает, старший вниз отвесно на себя ведет, в ней полпуда без малого. Вот и считай, если по два сантиметра на кажный ход, то на весь-то продольный рез должен ты триста раз-

ков этак-то махануть с темна и до темна. Должность тяжелая...

— Да уж чего тяжеле! — согласился директор увеселительного предприятия, по-братски разливая остаток волшебной отравы. — Честно сказать, в роду у нас не пилили, но доводилося видать на стороне. **Туда** и работник требовался сухой, ростом подлиньше, безжалобный, одно слово **русский** мужик. Помнится, у них вроде и поту не бывало. Он у тебя с чего помер-то?

— А вишь, в русско-японскую воздухом ему в грудь шибануло да недельку спустя по возвращении изба сгорела... Ну, и надорвался от крестьянской заботки. Ладил новую поставить, вот и соорудил себе домовину в три неструганых досочки без окон. — Он допил угощение и с усмешкой подивился, как под его воздействием пережитое убывает в безразличную даль. — Дальше ничего такого не случалося... добрые люди подсобили сиротке на ноги стать, потом свои детки народилися... даже пофартило в столицу перебраться, только не ко счастию!

— Вот и меня тоже ишь куда крутануло... По совместительству стал в одном лице директор, он же мотор, если сломается, — прикинув сказанное в уме, отозвался хозяин. — Ребятишкам политику не растолкуешь, знать ничего не хотят, рты разиют, кулачками ко мне стучатся: вот и кручу! — свысока посмеялся чему-то чернявый мужик.

В свою очередь новоявленный приятель, откликаясь на мудрую мысль странника о необходимости приспособления организмов к стихиям великих эпох, осуществляемых кровью живых во благо еще не родившихся, очень четко, будто по печатному читал, поведал батюшке собственную **бедографию**, как он, будучи исправным русским мужиком со смекалкой, но без склонности к обогащению, последовательно возвышаясь через промежуточные **должности**, достигнул председательства в своей епархии, единственно здравым смыслом возвел до опасного процветания. Ибо сперва настоятельно посоветовали **сверху** помочь нерадивому смежному колхозу по части невыполненных зернопоставок, после чего два года сряду, в порядке встречного плана, вывозили свой достаток вовсе в неизвестные закрома, к весне без семян оставалися.

— Уже я председателем сделался, как вдруг выделился у нас в селе один мухлявый с виду мужичонка, но пробивной, с соображением. Сам нищее всех, а на сходках самый передовой на земном шаре за святое дело крикун. «Бей в набат, родимые, — взывает бывало и вроде слезу утирает, — подымай мир трудовой на всемирное банкирство. Они нас пушками норовили зашибить, а мы их своей мозолистой копеечкой задавим. Выгребай, братцы, дочиста дедовские сундуки, на всеобщую цель. Отметьте, ко вчерашней кобылке, сданной мною по собственному почину, публично прилагаю ейный хомут со всей запрягательной снастью и горько сожалею, что боле нет ничего!» И всем неловко попрекнуть, дескать, хомутина твоя сплошь в мышееди нах, а лошаденка — сущая **шкапа** с полувытекшими скорбными очами — своим-то ходом до живодерки бы не дошла, кабы на казенный паек ее не спровадил!.. Однако в том понятии, что другого такого случая горе народное в яму закопать, когда война всех докрасна раскалила, при жизни не дождешься, я и сам туда же духом устремился. Да и как брату в беде не помочь — нынче ближнему, завтра дальнему, потом и вовсе заморскому, а там, глядишь, несметные народы с ладошкой выстроились... иного фамилию натощак не выговоришь. И как пустились мы с ним наперегонки, то и стал я своих жалеть, отставать помаленьку, по ночам в мысли впадать бессонные. С одной стороны, беду всемирную единой нацией все равно не прокормишь, значит, проиграем мы Россию у зеленого стола! А с другой, раскрылась главная суть напарника моего — в том, что чужого не жалко, абы в должность выдвинуться, где с процентом наверстаю упущенное, и никто глазом зыркнуть не посмеет под страхом усекновенья. Не успел на селе начальную грамотку с медалью получить, как уже из района на меня покрикивает — подстегни своих бездельников!

Мы по-евангельски против власти не шумим, и раз тебе Расея свыше в прокормленье вручена, то и живи в полное свое удовольствие, пей-гуляй, сколь здоровье позволяет, но и народишку обыкновенно дых давай, хомутину натуго не затягивай... да иному мало винишка да казенных-то харчей! Он из тебя Бога с кровью вынает, а ты ему за то умиленьице, задушевное со слезой да

приплясом подай. Отродясь льном да рожью кормилися, опять же коровка при каждом дворе, а тут за нее в каторгу, взамен повелено кроликов разводить да еще кукурузу злосчастную на наших-то болотах. Разрешили овец держать под условием ежегодной сдачи в полторы овчины с кажной головы, значит, полсвоей в придачу. Вконец мужика от земли отлучили: бежать бы, да некуда! Замечаю, пропадает отзывчивость на чужое горе у людей, каменеют сердца, притупляется чувствительность и на свою собственную беду. И примечаю я, стали мужики ко мне приглядываться, дескать, кто таков, ласково на ушко журчит, железными коготками по шерсти гладит, аж мурашки жуткие бегут. Словно бы чужак собственному народу становлюся: подхожу — замолкают, да и сам в очи им взглянуть не смею... но тут пофартило мне. В неплодоносный год обложили нас по два мешка яблок с кажного древа, то я и вырубил свои угодья на дровишки от греха! Да еще задержка срочной дани случилася, не помнится кому, то ли африканским жителям под гнетом капитализма, то ли в честь всемирного **прогресса** вообще. По совокупности делов дамши мне разок по шее для наглядности, посадили на мое место свеженького. Заодно в тот же год наследник наш пропал на Халкинголе, а вслед за сестрицей скапустилась и старушка моя. Остался я ни при чем со своим неотступным вопросом наедине. На что замахивались мы, братцы мои, и во что на поверку обернулось? На словах, вроде бы ни печали, ни воздыханья, одна жизнь бесконечная, да получается на мотив, как в церкви поют. А ведь по другому-то разочку, кумекаю, да на нашу житуху насмотревшись, не порешатся народы новую суматоху учинять. Заколотил я досочками сиротскую свою недвижность и отправился с посошком, на твой манер, дознаваться — как и в чем совершилась у нас несостоятельность? Ночей не спал, все ходил да нюхал, где тут **собака зарытая**? Где я только не приставал, там и сям, на маргариновом заводе сторожем продремал полгода, везде покоя от мыслей нет.

— Сказывай тогда, докопался ли, где **зарытая собака** находится?

— Зато знаю, где копать надо, — отвечал другой, наливая себе остатки. — Затвердили из букваря, дескать, не

боги горшки обжигают, после чего искоренили ихнего брата сверху донизу. И вроде всякому открылась зеленая улица прямиком хоть во всевышние, но стало проясняться с кровью пополам, что качественные горшки **творить** дано богам гончарной отрасли, да и саму глину месить тоже своя божественность требуется. Открыл некий светоч ума, что вовсе без обжига производство посуды дешевле обходится... А раз имущество по всей земле будет всеобщее, значит, вовсе бесхозяйское, то есть полностью ничье, то и должно погибнуть без присмотру. У прежнего-то хозяина, почитай, в кажном пальце, в суставе кажном имелся хозяйский глаз: соринку не упустит, без которой тысяча не получается. Я к тому, что прежний-то хозяин мошну как **килу** на груди носил, бедой да болью к самому горлу подвязана, и чуть не **смикитил** вовремя, глянь, уже нищая сума на шее мотается: гуляй по миру, купец, закаляй здоровье! В бывалошное время сдохнет корова, веху объемшись, так ведь бабы землю с горя грызли, на всею волость голосили, по кормилице убивалися, в районе у нас позапрошлую зиму осьмиэтажный универмаг со всею начинкой дотла выгорел, так веришь ли, поп...

Дальше последовал рассказ, как наехала комиссия из семи начальников, сплошь в ладных бекешках и с портфелями, покачала головой, а убедившись в **натуральности** происшествия, зашла для составления отчетной бумаги, также по причине морозной погоды в соседнюю ресторацию, откуда через часок-другой, заметно порозовевшая, отбыла в обратном направлении без пролития единой слезинки. Здесь, заслышав подозрительные шорохи по фанерной стенке снаружи, рассказчик благоразумно воздержался от показа обнаруженной им **собаки**, хотя были всего лишь утратившие терпенье малыши. Собеседники поднялись одновременно, о. Матвей не без усилия преодолевая круговую неустойчивость.

Самому себе отвечая на ту главную, непрестанно угнетавшую его мысль о приблизившейся развязке, батюшка коснеющим языком и совсем уж непонятно распространился насчет единственного теперь шанса на спасенье человечества в том плане, что **поелику** сердце детское есть наиболее достойное Бога, опять же **обжитое** его жилище, то в решительный миг перед отменой

мирозданья, может быть, и устрашится вернуться в свое царственное ледяное одиночество, в котором пребывал до изобретения людей.

— Смотри, и выпил-то пустяк, а сила какая! — вздохнул о. Матвей и признался виновато, что хоть и окосел малость, зато душе просторней стало, как Ионе по выходе из чрева китова. Развезло его не столько от вина, как от нахлынувших переживаний.

— Надоть тогда закрепить, чтобы обратно не развязалося, — посмеялся его открытию чернявый мужик и протянул о. Матвею чудесную склянку пополнить достигнутое.

Тот и сам понимал, что лишнее, но, ввиду предстоящего, хотелось запастись солнышком на черную ночку впереди. После чего долго кружил перстами над лакомой снедью, не решаясь без дозволения.

— И солона твоя рыбка, а хороша... аккурат для нашего брата в гоненье. Главное, ее много не съешь, а там испил водицы и опять вроде досыта... — утрудившимся языком хвалил он, не сводя глаз с хозяина. — Не разоряю я тебя?

В ответ карусельный директор поближе придвинул ему бумажку с копченым рыбцом:

— Ничего, ты ешь-закусывай, твоя дорожка дальняя. Тут земляк знакомый оказался, по снабженью полярного ледоходства работает, а при хлебном-то деле как не спроворить по оказии! — и головою смятенно покрутил, что от своего же добра ровно крысы подпольные пользуемся — кто чего утащит. — Ешь, поп, это твое, бог даст, еще втихую украдем! Хлебушко воровать не зазорно.

Через входное отверстие взглянув на часы в конце аллеи, хозяин допил плескавшееся на донышке, чтоб не маячило, и стал сворачивать остатки истинной, по Матвееву замечанию, Валтасаровой трапезы. Так хорошо сиделось обоим, словно на горе с окрестным обозрением, вся житейская тщета где-то внизу, под ногами. Нетерпеливая детвора засматривала снаружи к ним в укрытие, а чего-то главного пока не обсудили.

— Россиюшка-то наша славно полыхнула... костерок всех времен и народов! — для затравки похвастался о. Матвей, но щемящая нотка прорвалась сквозь блажен-

ное пьяное безразличие. — Глянько-сь, в полмира зарево и, считай, двадцать годов соседушки налюбоваться не могут на корчи наши, хоть и обмирают со страху, заслоняться не поспевают от искры! Иная державка помельче в пятилетку прогорела бы... чайника не скипятишь: уж и пепелок простыл, одни пуговицы казенные светятся. А нашенской гореть да гореть... не утихнет наша с тобою боль, пока вся середка вчистую не вытлеет — прочим в острастку, чтобы правдой-то впредь не баловалися.

— Это не скажи, поп... — охотно поддержал собеседник и, прибирая бутылку, допил плескавшееся на донышке, чтоб не раздражало. — Оно больно, правда твоя, а только огонь жгет, пока не разгорелося, а уж как займется, то ровно с милашкой в обнимку, собственное добро спасать забудешь. Если малость поотрешиться, чтобы не жалко стало, тут я тебе ни с каким **кином** не сравню. Русский человек не зря, чуть где дымком запахло, издали взглянуть торопится...

— Ну, тому и за границей любители огня найдутся, — тотчас проявил свою осведомленность о. Матвей. — Эва, римский-то император даже столицу свою с семи концов запалил для научного сравненья, а если мир-то целый огоньком пустить, наверно, обомрешь от красоты!

— Так ведь те сбегутся барыш подсчитать от чужой, скажем, **нашей**, беды либо из боязни — абы сторонкой обошла, на худой конец из научного интересу, а наш брат-русак бескорыстно, главным образом ради удивления...

— То есть в каком же примерно смысле?

— А в том — какими, дескать, окольными путями, кровцой да кривцой, земные жители добиваются всеобщей равности людской, а прямиком-то, через огонек, выходит куда попроще. Купецкая усадьба по соседству враз на второго Спаса, в полдень, при полном безветрии горела... Зимнего керосинцу бочек в полсотни запас попался, так, веришь ли, засмотришься — как он лихо внутренность небесную вылизывал, черный-то язычок. Скотина породистая в дыму мычала, сундуки с пожитками потрескивали, тоже утварь хозяйственная... ну самое, что ни есть чужое, богатейское да ненавистное, а мужички наши, комбед в полном составе, **одолители-то**, кроткие и безмолвные кругом стояли, руки по швам, словно

у обедни, без злобы и злорадства... Кажному интересно посмотреть, как перст Божий с неправдой управляется, справедливость свою творит посредством обыкновенной спички. Отсюда толчок мозгам — науку житейскую за морем ищем, а она завсегда под рукой, в кармане у нас оказывается...

— Золотая, насквозь жгучая твоя речь... и впрямь, видать, слезами умудряемся! — коснеющим языком лепетал бывший старо-федосеевский батюшка, самозабвенно языком прищелкивал, в ладоши всплескивал от восхищенья. — А наука-то ихняя с толку сбилася от людского множества, как сию прорву достатком поровну оделить, ежели иной раз и покойников-то, прости Господи, полностью не ук-уком-плектуешь... — поперхнулся он на слове и сам на себя с укором головой покачал. — Секрет открою, нонче без протекции иной раз и за гробом-то в очереди натомишься! Не там спасенья ищем. Христос-то во избавленье нужды да горюшка ко всеобщей нищете призывал, а мы чего нагромоздили? Нищему оттого пожар не страшен, что, кому окромя сумы да цепей терять нечего, тому и тужить не приходится. Кабы мы пораньше от былых роскошеств отрешились да попривыкли малость своими средствами обходиться... и при лучинке деды жили!.. то давно и наступило бы царство Божие, где не то что денежкой запасаться про черный день, а и карман иметь зазорно. Высшее без обоюдной-то вражды всемирное братство — это когда делить не останется, окромя головешек. Теперь спроси меня, добрый человек, почему в самом деле нет натуре людской зрелища леденистее погорающих сокровищ, особливо храмов, когда из огня не выхватишь да еще с запретом прикосновенья под страхом смерти?.. Спроси, и я отвечу. Всякий храм лишняя обуза, его для прилику подмести хоть разок в неделю, да и самому с немытым ликом Богу на глаза показаться негоже, лишний расход на мыло... а там еще попа прокормить, милостыньку обронить на паперти, денежку добыть на ладан. Думаешь, от боли кричу? Это я пламечко желанное призываю, чтоб сократилась мука ожидания. Эва, велика ль моя котомка, попадья в дорогу снарядила, и то плечико режет... каково же людишкам всею-то нагрузку на себе тащить, сколь ее за сто веков напридумано. Чуть чего оста-

вил без внимания, тотчас и взорвется за спиной. Ой, какие же древние мы с тобой, люди!.. Башка-то планы на тысячу лет вперед составляет и руки бессонные мастерит, художество разное позаковыристее — от старости заслониться, да ножки стали не те, заплетаются, потому что все в гору да в гору. Неспроста умнейшие народы, чуть солдатушки подросли, починают из пушек друг по дружке палить — не оттого ли, что самим-то вроде совестно рушить священное родительское достоянье, так они его чужими руками, по взаимному одолженью. Думаешь, безумные?.. Нет. Люди всегда дети были, до конца не понимали, чего творят. В том весь секрет, что лишь пепелком святынь излечивается наша от непосильных мечтаний да обязанностей, будь то пресловутая к ближнему жалость либо почитание старооте́ческих могил, подать ли оброчная, а то и вовсе расточительная любовь к отечеству, что иным спать не дает. А коли лишнее бремя скинуть, то, невзирая на годы, налегке-то, хоть вприсядку по родной погорельщине прогуливайся...

— С чего же оно так получается? — неторопливо воззрился карусельный директор.

— И вишь, открылось мне в одну особливо ночь бессонную, что кажный камешек на горе мечтает скатиться вниз, в положенную ему ямку... Все равно как яблонька сортовая всю жизнь норовит скинуть чужое ярмо, так и притомившийся род людской нет-нет, да и возжаждет воротиться назад к природе.

Он осекся, ибо по контексту идеи, сомнительной для бывшего священника, подразумевалось бегство с метельных и ветреных вершин нынешнего бытия в исходную долину детства, где по отсутствию мышленья социальная несправедливость выглядит неизбежностью естественного отбора, и некому попрекнуть Всевышнего за обычную в животном мире несправедливость в отношении малюток. Тут бы и вовсе остановиться о. Матвею, но, видимо, встреча разбередила в нем старую печаль о чем-то несбывшемся, а подсознательная потребность в сочувствии, если не жалости, а также прозорливое молчанье собеседника вдохновили старо-федосеевского батюшку отвести душу напоследок, поелику такой оказии уже не предвиделось впоследствии.

— Ладно, давай показывай, что за камень на сердце у тебя спрятан, — легонько подтолкнул тот.

— Далеконько доставать, а ишь, верно угадал мою занозу, — благодарно кивнул о. Матвей. — Ведь неспроста я даве взглядом к тебе прицепился. Еще давно, дитенком в престольный праздник на Зосимовой у нас ярмарке уж как мамку свою за подол тянул на каруселька, вроде твоей, покататься... даже не обернулась. Небось, у дяди твоего за три-то копейки миску щей наваристых давали с шанежкой в придачу. Вятскому пильщику доставалось четыре полных реза вертикальной пилой в бревне промахнуть за три-то медных денежки... Так до околицы и пятился я в безмолвном рыдании с оглядкой на чудо, пока не затмилось слезой да пылью тележной.

Так, смеясь и всхлипывая по совокупности переживаний, поведал он своему исповеднику, как утешила его дома покойная мать, дескать — велика ли утеха коловращенье вкруг пестрого столба, пускай под музыку, зато с риском вывалиться прочь, а то и простудиться на ветру вдобавок. Выворачиваясь до исподнего, признавался он заодно, что, лишь ставши отцом семейства, **по-человечески**, простил он Богу своему детскую обиду, однако с годами, особливо когда не спится, доселе мнятся ему скрип и лязг незатейливого волшебства.

— Ну, значит, по воле Божьей сбывается твое мечтанье, — сочувственно усмехнулся чернявый хозяин. — Кабы намекнул пораньше, давно бы я тебя вне очереди, по знакомству провернул...

— А мне дарма не надо, при деньгах я, что положено заплатить могу, — трезвея от непостижимого сердцебиенья упредил о. Матвей. — Лишь бы тебя самого не подвести.

— Ладно, плати сполна раз лишние завелись... найдется в казне место и на твой пятак! — снова посмеялся волшебник и обернулся сказать горстке особо нетерпеливых малышей, просочившихся к ним в укрытие, чтобы выстраивались у кассы пока. — И подымайся, а то мне ихние мамаши бунт устроят... ай, прошла охота?

Все еще колеблясь, тот с недоверчивой виноватой тоской взирал на искусителя:

— И охота бы!.. а вроде неловко старому сычу с ребятней-то, вдруг опознают? — с ноги на ногу пере-

минался оробевший о. Матвей. — Да и тебя самого запросто спросить могут — ты кого, каторжный, позавчера на **госмашине** катал? Уж не серчай, что самую сокровенность свою утаил... ведь окромя того, что лишенец, еще и беглец я вдобавок. Может, меня уж по всем железным дорогам патрулями ловят, баграми в речках шарят, а я, вишь, под крылом у тебя пригрелся...

— Ладно, для карусели вид на жительство не требуется, а у кажного на лбу не написано, кто таков... — замыкаясь в свою прежнюю черноту, терял терпение хозяин. — Пошли, что ли, а то пора и мне **промфинплан** мой выполнять.

Глаза разбегались от обилия, один краше другого, ребячьих соблазнов. На тесном, шатком под стопою кругу размещались на любой вкус транспортные средства — от компанейских экипажей до разнообразной, уже оседланной живности для одиночного катания. Если слоны по солидности пребывали в неподвижности, то лихие кони уже мчались во весь опор, подвешенные в воздухе на железных штырях... Матвею приглянулась двухместная, фараонова типа и с золотыми ободьями колесница — не потому, что нарядней прочих, а просто сиденье рядом пришлось в самый раз под котомку, чтоб не украли во время удовольствия. К тому же, в запряжке находился симпатичный, размалеванный в полоску продолговатый зверь, и он с такой плутовской ухмылкой косился на батюшку, дескать — узнает ли? И тот обрадовался ему, как родне, посланцу оттуда, куда собирался теперь. С таким и потолковать было о чем, кабы время, которого не было.

Маленькие пассажиры с нетерпеньем ожидали отправки, и толпившиеся вокруг бабушки и няньки с вопросительным негодованьем взирали на долгогривого забавника, как хлопотливо, словно на год езды устраиваясь, полы под себя подтыкал, но тому, уже вне мира находившемуся, все стало нипочем. Одна пристальная и, видимо, опознавшая о. Матвея, не иначе как бывшая его прихожанка и вовсе осудительно головой качала, сокрушаясь об ушедшей старине. И тот, несмотря на водочку, подметил ее укор:

— А ты не гневися, старушечка... — пока еще на раскачке, мимо проезжая, кивнул ей с ходу о. Матвей. — И **это** тоже от Бога!

Какие-то ходовые железки звякнули под ногами, троечные колокольцы взвились над головой, заиграла волшебная музыка, путешествие началось. В стремленье потрафить седоку, весь врастяжку так и стлался по земле Матвеев конь, унося его назад, в пряничную страну детства. Мысленно отсчитывая знакомые полустанки жизни, мчался туда о. Матвей с закрытыми глазами... Трезвящий ветер бил в лицо, сгоняя прочь обычные при быстрой езде слезинки. И уже немало отмахали, но странно, с приближеньем мечты все острей ощущалось оставшееся расстояние до цели. Мучительное кружение на собственной оси немножко напоминало читанную где-то пытку колесованьем, но тут, по счастью, заказной порцион удовольствия кончился. Оборвалась музыка на полутакте и лязгнули тормозные железки. Когда же заждавшиеся детишки бросились на пустые места, подошедший директор толканул в плечо вроде задремавшего о. Матвея. Хотя встречный ветер движенья прекратился, еще слезились Матвеевы глаза... К тому времени по многим приметам инкогнито его было полностью раскрыто. Крестясь украдкой, он так искательно и виновато улыбался во все стороны, словно прощенья испрашивал у непосредственных свидетелей всего, чего тут накуролесил.

Безотчетная Матвеева тревога нарастала, как если бы кто-то из укрытия безотрывно следил за каждым его шагом, и, конечно, неусыпно бодрствующий фининспектор мог бы сейчас одним видом своим сразить наповал застигнутого недоимщика на месте развлеченья. К счастью, насколько позволял судить двукратный круговой обзор, нигде не видать было рваной гавриловской шапки, но все равно надлежало заранее уходить от греха.

— Ну, подай тебе Господь за сочувствие твое, вдоволь накатался, аж сердце защемило, — с приглядкой по сторонам говорил о. Матвей, делая вид, будто налаживается в дорогу. — Ничего тут, никакой **неаккуратности** не примечал?

И сразу — словно и не пито было меж ними по взаимному участию:

— А мне примечать и нечего... чего мне примечать? Я при своей работе нахожуся, — с внезапным холодком отвечал карусельный благодетель, и о. Матвею вчуже стало жутко дня грядущего, если при своем телесном здравии, по повадке битых так насторожился тот. — А чего случилось-то?

— Да нет, вроде прошло, — успокоил о. Матвей. — Из интересу спросил, чего делать надо, если что.

— А делать тебе, браток, ничего более не приходится, окроме как идти да идти в неизвестном направленье... — рассудил он, наспех помогая вскинуть ношу, и пошел продавать билеты уже шумевшим у кассы родителям.

В спешке и при суровом молчании толпы спускаясь в действительность с помоста, о. Матвей оскользнулся на ступеньке и верно загремел бы со своим грузом, кабы не чья-то протянутая сбоку своевременная рука. Так выяснилось вдобавок, что батюшка малость **выпимши**, в чем не было ничего удивительного. Случалось в ту пору, похожие на лишенных берлоги медведей-шатунов по осени, нетрезвые архимандриты попадались на улицах — в рясе и с выжиданием подачки в еще не угасшем взоре — на дальнейшее самозабвенье. Примечательно, если в прежнем русском быту, особливо на крестьянской свадебке, хоть и не заурядное зрелище находящегося в подпитии попа вызывало только приступ зубоскальства, теперь, на фоне национальной погорелыцины, публичное появление хмельного священника становилось событием эпохальной значимости. При виде его толпа кололась надвое, причем меньшая часть уже не решалась выразить вслух свое злорадство в присутствии тех, кто помимо бессильного сострадания к падшему испытывал чувство личного униженья... Не потому, впрочем, что последних теперь подразумевалось заведомое большинство, а просто начинали сознавать, что послезавтра, глядишь, их самих подобно деревьям с вырванными из почвы корнями в ту же сторону понесет разбушевавшаяся река. Кольцо безмолвно расступилось, давая выход старо-федосеевскому батюшке, который, даже не простясь с напарником по злоключениям, заторопился исчезнуть прежде, чем подоспевшая власть наведет надлежащий порядок.

Глава XXIV

Меж тем, погода заметно ухудшилась, серой занавеской подернулся свод небесный. Уже ни дребезг музыкальный, ни гомон малышей не достигали уходящего о. Матвея, и когда в конце аллеи оглянулся в заморосившую пустоту позади, то пережил щекотное, ко всей жизни в целом приложимое сомнение — не мираж ли все там случившееся, самая карусель в том числе? «Подумать только, какой глупой ребячьей мечтой томился долгие годы!» Обычное по исполнению застарелых желаний наступило душевное опустошение. Никаких новых не было, кроме как в укромном уголке, под навесом от непогоды, прилечь на часок.

И пока закоулками о.Матвей пробирался на окраину, его постигло событие, смехотворное для передовых мыслителей, однако знаменовавшее перелом в духовных неладах Матвея Лоскутова с его собственной верой. Открылось на миг единый, что все вокруг человека сплошь устлано чудесами, которых ему всегда недоставало и которые, подобно сокровищам в музейных витринах, терпеливо дожидаются зрителя, незримые до поры, пока он сам изнутри себя не прольет на них свой свет, чтобы засверкали многоцветной гранью. Так и случилось теперь, что в случайном совпадении перечисленных обстоятельств и впервые за всю практику своего церковного служенья усмотрел он желанное, пусть не всякому очевидное чудо — как Господь деликатно, без повреждения прочего миропорядка попридержал уже нависавшую громаду зимней стихии, когда снежной крупкой сыпануло из щели по голым древесным веткам, чтобы на лишние полсутки обеспечить удовольствие милой ребятне и заодно потешить его самого напоследок жизни путешествием в детство. Отсюда последовал прямой вывод, что в поисках истины не следует слишком доверяться мудрости, всегда замешенной на печали, а вечную жажду утолять из того наивного родничка, где в любую погоду бьется жилка неистощимой радости. Словом, приближаясь к месту очередного приключенья, он испытывал безотчетную и странную в его безвыходном положенье надежду на благополучный исход как во всемирной, так и в личной своей будущности.

Минуту спустя никто и не взглянул в сторону потешного старика, влажным взором созерцавшего безоблачное удовольствие смены.

Полное спокойствие установилось в душе: нигде не болело, ничего не хотелось, а доведется упасть, то кабы в мягкую трясинку, можно и не подыматься. Тоже после первого заморозка бывают схожие, со знобящей прохладцей, милые да ясные деньки: все сезонное исполнено, и новое поздно начинать, да, слава богу, и не надо... Совсем было бы хорошо, кабы наступившая прозрачность не омрачилась воспоминаньем про Аблаева, как стояли возле с голодным мальчиком, и о. Матвей из боязни попреков за транжирство прикинулся недогадливым, отказал... И тут его согнал с места новый приступ необъяснимой тревоги: чей-то нацелившийся сверлящий взор следил за мельчайшим движеньем души. Пока мелким шажком утекал от него меж древесными стволами, чувство погони то ослабевало, то пропадало вовсе и потом кто-то легонько коснулся сзади его плеча: настигли. Верно, потому не лишился рассудка, что еще более занятные приключения поджидали впереди. Обернувшись, о. Матвей застал вплотную над собою, на голову выше себя, еще моложавого молодца, но уже развалину, в беспоясной, распущенной шинели. При недвижной, как в параличе, левой половине лица другая выглядела почти нормально, если бы не набухшая желтизна кожи и тусклый взор, как после сотни бессонных ночей, к тому же был в форменной фуражке и побрит без единого пореза, но только в бреду мог возникнуть образ ужаснее его. Он находился в беде крайнего душевного нездоровья, — может быть, от испепеляюще-обострившейся мысли, что нередко совпадает по симптомам и следствиям, от внезапной утраты ее. Батюшке со страху представилось даже, что и сломался-то на каких-то наисекретнейших поручениях эпохи... Скажем, будучи приставлен заведовать всеми лишенцами в России, не сумел решить на практике главную, теоретически давно решенную задачу — куда в исторически лимитированный срок девать их фантастическое множество из-под солнца воссиявшей правды? Но, значит, и после поломки не переставал интересоваться обреченной разновидностью человекоподобных, по-

тому что с видом недоверчивого любопытства протянул руку к Матвеевой бороде, даже намотал колечко на палец... Прижатый к тыльной стенке уединенного каменного строения, оледеневший пленник его попеременно метнулся в обе стороны, но тот, казалось, обступал его отовсюду и вдруг спросил в упор, куда и зачем, что именно закапывать ездил давеча на детской тройке.

— А куды ж на нем уедешь, на одном то колесе... дальше детства не укотишь! — сбалагурил было о. Матвей, стараясь туда-сюда увернуться от падавшего ему в лицо неопрятного дыханья.

Сбивчиво, с нарушением пунктуации местами, однако не логики, тот продолжал допытываться, что именно, давно подлежавшее сдаче в социалистический утиль, ездил он давеча прятать от революции. Подобный допрос, да еще в неподходящем месте, мог показаться приметой помешательства, если бы не содержавшееся там философское зерно, и о. Матвей догадывался — что здесь имеется в виду. Вторичная его попытка отшутиться вызвала у следователя нетерпеливое содроганье губ, — было жизнеопасно сейчас мешать его сосредоточенному, истинно гамлетическому раздумью — с той существенной разницей от принца датского, что здесь ставился вопрос не столько о себе, как о всем человечестве вместе с собою: годится ли и вообще достойно ли оно в нынешнем своем виде для воплощения всеисчерпывающей идеи?.. Или же, подняв на воздух со всей его мещанской начинкой, надлежало отправить как брак в переплав природы для полученья когда-нибудь лучшего варианта?.. Нет, по сравненью с о. Матвеем, который с непривычки уже почитал себя умершим, этому сорвавшемуся с орбиты человеку всего какой-нибудь шажок оставался до краешка, откуда поди уже видать, как от дыханья бездны травка полощется на гривке, и ничто, пожалуй, не выдавало с такой наглядностью его необратимую крайность, как обвисшая на обветшалой нитке пуговица шинели. В той последней стадии речь шла скорее — **кому быть**, чем быть ли вообще? Ибо, по бессилию своему спихнуть всю громаду за борт бытия, ничего ему не оставалось, кроме как произнести приговор над самим собою. Пользуясь мелкой заминкой, откуда только резвость взя-

лась в ногах, о. Матвей выскользнул у мертвеца под мышкой, однако пока невесомо, как по воздуху, бежал к выходу, ожидаемого выстрела так и не последовало... Кстати, пригодился приобретаемый из бродяжного опыта навык примечать по ходу следования спасительные лазейки и ниши вкруг себя. Когда же оглянулся через ремонтный пролом в ограде, мучитель его в прежней позе еще внимал собеседнику, не замечая его исчезновенья.

— Ну, желаю тебе, бывший человек, скорого успеха в твоем долгоискательстве, — мысленно покивал ему о. Матвей, с поразительной сноровкой на сей раз, несмотря на возраст, горб и усталость, проникая на свободу через каменную дырку.

Правда, сил еще хватило улицы на полторы, потом с нескольких концов враз прихватила жестокая стариковская немочь. Прошло немало времени, прежде чем поутихли внутри испуг и сердцебиенье. После передышки в укромном уголке за дворовой помойкой у проходных ворот, батюшка на подвернувшемся автобусе доехал до конечной остановки. Почти впритык к ней отыскался закрытый павильон трамвайной линии с уцелевшими скамейками внутри, весьма подходящими приткнуться на часок отдохновенья, но такие сквозняки через пробоины в сплошном стекле гуляли там, шевелили бумажный сор на полу, что немудрено было бы проснуться на том свете. В утешенье виднелась вблизи огороженная площадка важного строительства, судя по высоте забора, кстати, разобранного в одном месте для временного прохода грузового транспорта: не успели зашить по случаю наступавшего выходного дня. В пролом виднелись уцелевшие от поквартального сноса и, очевидно, пустовавшие теперь строеньица. С подобающей оглядкой, не без риска напороться на собак, то и дело взмахивая руками на скользких ломтях колесами нарезанной глины, о. Матвей вошел поискать немедленного пристанища — приученное поваляться часок после обеда тело Матвеево грозилось замертво рухнуться прямо в колею под ногами. Поначалу приглянулась утешная такая хибарочка, при ней обреченная сиренька с уже набухшими было почками, но, как легко было убедиться еще с крыльца, укрытое от посторонних взоров местечко давно было облюбовано

здешними тружениками для всякого рода неотложных посещений: нечего было и думать добраться до середины. Зато по соседству оказались штабелями сложенные под навесом продолговатые ящики с неведомым грузом, причем лежали исключительно плотно, без щелей, вдобавок укрытые каменной стенкой с предполагаемого изголовья. По Господнему произволению, как раз на уровне плеча отыскалась там подходящая, словно в сотах, ячейка для лежачего пребывания в ней невзыскательной особы среднего роста. Кстати, водоразборная колонка, от прежних жителей, виднелась поблизости, так что лучшего-то, также в смысле закалки на свежем воздухе, и желать было бы совестно... Подкрепясь из наличного провианта, о. Матвей обновил свою нору и, после некоторой притирки расположась на новоселье согласно предоставленным габаритам, не без горечи возблагодарил создателя за ниспосылаемое здоровье, потребное вынести до конца радость земного существования. «Абы и далее не хуже, да продлится милость твоя во веки веков!»

Чуть смежив глаза, попытался через память побывать дома, поочередно обошел домик со ставнями, даже заглянул через порог в захиревшую аблаевскую квартирку, но, конечно, не смог представить истинной тамошней действительности — ни Дуни, как она все утро разыскивала зачем-то режиссера Сорокина по безответным телефонам кинофабрики, или Никанора, вопреки своим материалистическим убеждениям собравшегося обратиться к ангелу Дымкову за помощью, ни Егора, в последний миг отступившего от своей доносной затеи, а тем более виновника всех старо-федосеевских зол, фининспектора Гаврилова, находившегося в тягостном служебном замешательстве. Подобный ход вещей представлялся маловероятным, но еще сутки назад и сам о. Матвей счел бы верхом неправдоподобия, чтобы даже поставленный в исключительные обстоятельства немолодой православный священник не только преступил на страстной седмице свято-отеческие запреты в отношении непоказанной пищи, но еще при седых-то волосах уступил мальчишескому соблазну покататься на колесе.

Но как ни старался сладостными воспоминаньями изгнать из памяти последнее приключенье, память упорно

возвращалась к нападавшему на него фантому... Всякий населяет свою окрестность родственными ему видениями, — вот и о. Матвей весьма долгое время почитал доносившиеся в Старо-Федосеево и описанные ранее стон и скрежет зубовный отголосками некой предвечной, в канун после последнейших времен обострившейся битвы на запредельных плацдармах неба. С годами, особенно после тяжкого семейного потрясения позапрошлой осенью, понял и он, что не призраки сражаются кругом, а только люди, но и тогда, по неспособности постичь умом бушевавшую в России политическую доктрину, он стремился упростить ее до наглядности детского рисунка. Все же, несмотря на ее вполне земное содержание, апокалиптический багрец почудился о. Матвею на плечах давешнего человека с ненадежной пуговкой, по всем статьям принадлежавшего к тому исторически-отчаявшемуся поколению, что в отмену прежних, окольных и одиночных путей к блаженству взяло на себя грех и подвиг проложить кратчайшую, уже для всех обязательную магистраль прямиком в золотой век. Изыскательские партии еще раньше врубились в толщу человечества, как в рудный или угольный пласт, и первые метры трассы дались сравнительно легко, — позже появился липкий смрадный плывун, углубившиеся в туннель смельчаки стали увязать в наползавшей на них человечине. Не всех выбывших из строя успевали удалять из обихода, иные непримиримые, сраженные наповал и с дырой во всю душу, еще бродили среди живых, ища разрядиться обо что-нибудь до нуля... Для начинающего бродяги было сверхудачей выйти без повреждения из подобной встречи, — именно еще длившийся спазм кромешного страха, усиленный сознанием полной беззащитности, возвращал ему полуутраченное ощущение жизни.

Устроившись на спине, о.Матвей увлажнившимся взором обвел свое пристанище. Разумеется, дома было бы посуше и теплей, но для временного привала на пути к блаженству и такое, при отсутствии посторонних помех, выглядело сущей находкой. Как голод считается лучшей приправой к трапезе, так же полдневное хождение по мытарствам в сочетании с бессонной ночью накануне весьма располагали к отдохновенью. Оно и

неплохо было б соломкой либо стружками подоткнуться кругом вместо одеяльца, но всю квартиру в скитанье с собой не заберешь! Опять же проглянувшее на исходе дня косое солнышко так славно пригревало пятки старофедосеевскому батюшке, что вскорости, всплакнуть не успевши, провалился в мертвое забытье.

Обошлось без снов, но причудилось в конце, будто умер и за ненадобностью стаскивают с покойника сапоги. У закоченевшего тела не было малейшей воли к сопротивлению. Лишь когда принялись за второй, через силу приподнялся на локте взглянуть, кто с ним помещается в могильной тесноте. Чья-то тень заслоняла входной просвет с желтой зорькой на закраине позднего неба. Она лучше возвращала к действительности, нежели матерный приказ выгружаться на расправу, оставленный без отклика по неповиновенью языка. Начальная мысль о грабителе сменилась догадкой о здешнем хозяине: при обходе наткнулся на самовольного постояльца. Предположенье подтвердилось, как только в несколько приемов удалось выбраться из норы.

Нередко и при других заболеваниях сон перемежается с прослойками яви, и тоже при попытке разграничить их смертельно болит голова. Застукавший Матвея страж походил на ожившую чернильную кляксу в своем выворотном тулупе и с берданом ископаемого образца: больше не виднелось следов на свежевыпавшем снегу. Насколько позволяла судить белесая мгла кругом, поимщик был того же преклонного возраста, что и добыча.

— Ладно, отдай обувку-то, шатун, куда тебе непарный! Чуть ногу из сустава не выкрутил...

— Думаю, не помер ли, — прикладом ружьишка придвинул валявшуюся вещь владельцу. — Получай свое имущество.

— Старикам о сию пору спать положено. А ты колобродишь впотьмах, людей покоя лишаешь, креста на тебе нет.

— Хорошо вам, бродягам: ровно птица укрылся рукавом и дома. А тут выслуги до пенсии не хватает, да учти, старуха безногая на руках. Спасибо, разрешил Павел Степаныч докараулить годок... Чего там у тебя, ай не налезает?

— Беда, совсем руки отказали, — не справляясь с размотавшейся оберткой, все топтался Матвей на одной ноге, пока не надоумил тот присесть на свою шкатунку. — Ладно, разул ты меня, изгнал из рая... дальше что, дремучее ты диво лесное?

Возможно, дело промеж них так и закончилось бы обоюдным стариковским ворчаньем, кабы по неопытности не задел невзначай достоинство вооруженной до зубов власти.

— Я тебе, такой-то матери своей сын, не диво лесное, а власть приставленная... не видел, куда лез? Складены ящики, значит, складское помещение, вход посторонним запрещен! Да еще вопрос — откуда ты тут под покровом ночки темной взялся?.. За что и должен я тебя предоставить по назначению.

При всем комизме положения у Матвея и ноги отнялись, едва сообразил возможные последствия милицейского протокола помимо крушения всеалтайских планов вообще.

— Слышь-ка, начальник неусыпный, не торопился бы, ночь-то велика. Ты лучше достань очки, спичку на меня потрать... Похож я на мазурика? Мне и мысленного такого груза не поднять. На таких казенную бумагу изводить — весь капитализм по миру пустишь в одночасье! — все пытался о. Матвей смягчить ему сердце. — А не-то, давай, я тебе сразу открою весь мой секрет...

— Нечего там, выгребай вперед, а я за тобой в кильватере... и барахло твое сам понесу, — в предвидении возможного бегства было о. Матвею в ответ.

Когда же последний вызвался хоть ружье ему донести, тот, взваливая ношу на плечо, лишь усмехнулся зловеще на тотчас разгаданное намерение злоумышленника.

Не иначе как длился гадкий давешний сон, что очнулся в могиле, — в те годы самые **такие** сновидения открывались именно внезапным пробуждением среди ночи, и потом тоже сопровождаемая смертной тоской ломота во всем теле, пока не представится случай нырнуть от нее в непробудное безбольное забытье... Иначе зачем надо тащиться долгим кружным путем до спасительного красного фонарика впереди, куда прямиком не более трех минут ходу. Вряд ли только из-за начавшихся

там и сям работ приходилось, как бывает в бреду, перебираться через навалы запорошенных, дребезжащих при скатывании труб или по вязкой глине обходить дырку в земле, котлованом прикинувшийся вулканический кратер. Но главной приметой сна было, конечно, то несусветное обстоятельство, что два обоюдно-безвредных русских старика, коим почивать бы на жарко натопленной лежанке, во исполнение неких заветов бодрствуют в некоем безлюдном пространстве, причем один гонит другого на заведомый в сущности расстрел, тыча сзади в больную почку, верно, незаряженным берданом.

— Я и так иду, чего же ты меня штукой своей пинаешь? — на ходу увещал перетрусивший о. Матвей сопевшего за спиной гонителя. — Ведь железная, стуканешь пошибче, я у тебя и помер... куда ты меня без лопаты денешь? Подумают, барыша с сообщником не поделили. Запросто могут и старушку к делу пристебнуть: в тюрьмето и безногая лежать сгодится! А уж должности сразу решат за оставление поста без присмотра. Пока мы тут с тобой, кто-то поди шурует в твоем хозяйстве за милую душу... — И опять уговаривал конвоира покончить дело по старинке: — Ну, куды ты меня, дохлого, тащишь на ночь глядя? — безнадежно скулил батюшка, впотьмах и по щиколку увязая в строительной грязище. — Ай не видишь, поп я, бывший поп. Накажи, раз провинился: возьми рублик отступного либо по шее разок стукани и отпусти с миром. Дай мне своей смертью помереть!

— Никак не возможно, отец, — сурово отвечало должностное лицо, тыча берданкой в спину своей добычи. — По службе обязан я **предоставить** тебя для узнания, кто ты есть в **самделе**.

Так вел он Матвея к его судьбе на единственный во мраке огонечек впереди.

Временами наплывала знобящая одурь и мерещилось, будто спускался по уже заснеженным ступенькам в еще более безотрадную глубинку. И вдруг оказалось, что уже пришли на место.

Комендатура помещалась в невзрачном, подсобного типа строеньице. Три, четыре ли нетоптанных, снегом подернутых ступеньки вели на крыльцо комендантского барака. Наружного фонаря хватило разглядеть неот-

ложную пожарную утварь в сенцах. И хотя лишь сон, реальная, махоркой уютно прокуренная теплынь порадовала прозябшее Матвеево тело, а пронзительная, на длинном из-под потолка шнуре, после промозглой тьмы жмуриться заставлявшая лампешка представилась арестованному дивным благодеяньем. Спрятанная в жестяном самодельном конусе, она кидала отвесное сиянье на грубый, нечисто выскобленный от пятен и с карандашным огрызком посреди квадратный стол. По своей неприкрашенной каторжной наготе был он в явном родстве с иной, отмененной ныне казенной мебелью вроде плахи или кобылы для битья, тоже предназначенной для вскрытия особо запутанных дел, и, наверно, стоило положить сюда, в кружок мятого света самое темное из них, как сразу, без крови и рассеченья, проступала из него вся правда, сущая правда, ничто, кроме правды... Прочее по сторонам тонуло во мраке.

— Есть кто дома? — окликнул пустую дежурку конвоир.

Из смежной комнаты доносился телефонный разговор начальника.

Помимо служебной табуретки, присесть было негде, — заднюю скамью по стене сплошь занимали оплечные и в полном составе, исключая главного, портреты тогдашних вождей, и о. Матвей испытал понятную неловкость от встречи лицом к лицу с товарищем Скудновым, но, к чести последнего, тот продолжал вглядываться в туман истории, не примечая старинного знакомца в столь бедственных обстоятельствах... и мысли не возникало, потеснив их малость, пристроиться на краешке. Поставив вооружение в угол, конвоир принялся скручивать цигарку длительного курения, тогда как опустившийся на колено арестант совал бесчувственные руки чуть не в самый жар топившейся печки. Грел, бездумно наблюдая суетливую деятельность огня, как скакал он вкруг свежеподвинутого поленца, лизал да покусывал, но вот с шипеньем высасывал из торца пламенную сласть с приправой вкусного, синеватого дымца.

Пришлось обождать, пока начальник не закончил телефонный разговор, содержанье которого отчетливо было слышно. Беседа велась с воротившимся из разлуки

приятелем, видать, не менее петушистым пареньком, и о. Матвей не без сожаления следил, как слово за слово, верно, под влиянием плохой погоды, рушилась неокрепшая дружба.

— Сижу, смены дожидаюсь, — начиналось с полуфразы. — Главный помчался в общежитие пьянку унимать. Нет, в общем-то, ребята тихие, разве в получку малость порежутся, не без того. На днях схоронил Лизоньку, она мне заместо сестренки была, дочка моего старшего брата Петра. Помнишь, на именины в веночке васильковом ворвалась? Уже в седьмой класс теперь переходила бы... Именно звонкая была, до всего ей дело, и птичек в стужу не забудет. Старуха у меня из колеи выбилась, психовать стала, в богомолье пустилась. Подружки ее возраста соберутся, плачут втихомолку, молятся дребезжащими голосами... А там у нас некому подслушивать: на отлете живем, акацией кругом заросло... То есть как это? Мне незачем их разгонять... — Он посмеялся с раскатцем отчуждения, и потом дружба явственно на спад пошла. — Как, как? А я и не потакаю ей, напротив, охраняю ее законные права... Я же один у ней остался. Нет, дай теперь мне сказать. Если братьям покойным памятник за геройство поставлен, так ведь это она их вырастила... Не остри, дурак: не памятник, а человека. Вот в том и беда, что пока матери солдат рожают, они в чести, награды выдают, по медали за взвод, когда же с костылем в церковь плетутся по убитым сыночкам душу отвести, то подлей и звания нет... Брось, брось, я и на паперти-то ни разу не бывал... А школу сам помнишь: царь, Бог, городовой, вошь сыпнотифозная... все под одну метлу... А ты меня не доводи до бунта, я и не стану бунтовать... Чего, чего? Видать, в люди рвешься?.. Не торопился бы, за меня пока много не дадут, не продешеви... Ладно, знатно потолковали с приездом. Бывай здоров, так-то! — и могло служить подтверждением какого-то не в меру затянувшегося сна, что, как и в гостях у Афинагора, снова высказывались вслух собственные его, Матвеевы, мысли.

В низковатом прохладном помещенье, куда вошли, слабенько скулило радио, дремала на бочок озябшая пальма, голая лампочка расточительно зияла в потолке. Все там — засургученный печатью фанерный шкаф

с бывшими государственными делами, протертая задами бывалая скамья, облупленная на стенке телефонная коробка под раскуривающим трубку усачом и, наконец, того же служебного стажа стол с прожогами от погашенных папирос, чернильными узорами и прочими уликами непробудной скуки... Все было насквозь пропитано сезонной сыростью и тошной окурочной вонью. Тем непривычнее было в подобной обстановке, заодно с праздностью и легкомыслием не располагавшей и к обыкновенной человечности, встретить годков двадцати двух опрятного паренька.

По первому впечатлению он был суров, тщедушен, даже с желтовато-восковым румянцем бессолнечного существованья, и, похоже, так грузно вдавился в сиденье, что над головой виднелось столько же красной бархатной обивки бывшего кресла: он был горбат вдобавок.

Неизвестно, какую должность занимал он в трамвайной системе, и надо думать, отсутствующее комендантское начальство, выбывшее куда-то по неотложной надобности, поручило молодому человеку подежурить у телефона часок-другой, но, возможно, и третий — ввиду сравнительно редких там чрезвычайных происшествий. Смена тянулась длинная и скучная, и тем показался ему интересным приведенный под конвоем бродячий старичок, что именно апостольский посошок его не внушал доверия. Хоть и не облеченному полномочиями, пареньку полагалось все же начерно уточнить личность задержанного. В читанных книжках сыщицкого жанра рекомендовалось угощать последнего папироской для поощрения к пущей разговорчивости, но, к сожалению, сам молодой человек к куреву пристраститься не успел, да и в ящике стола, как на грех, не завалялось ни табачинки, так что поневоле приходилось прием ласки заменить неподкупной строгостью.

Посредством нахмуренных бровей и паузы молчания юный начальник изобразил арестанту всю серьезность его положения, но беглому батюшке, по его тогдашнему физическому состоянию, достаточно было и непосредственных переживаний. Расследованье началось обычным напоминаньем о пользе чистосердечного признанья, но, похоже, преступник не искал смягчения

своей участи. Для сокрытия истинной причины бегства, во избежанье фискальной погони за недоимщиком еще раньше положил он в сердце своем бесследно затеряться в природе, похоронить себя заживо. В скитанье он отправился без документов, оставляемых в надежном прикопе дома на случай маловероятного воскресения. Он еще не знал, что издревле народным обычаем узаконенная на Руси категория **Божьих людей**, бродяг **незнаемых**, давно была выведена новой властью из общественной практики, и причисленье себя к ней означало почти самоубийство. Свою сиротскую беспаспортность батюшка объяснил состоявшимся у него на вокзале, где провел прошлую ночь, хищеньем из внутреннего кармана вместе с **бумагами** всего наличного достояния, кроме зашитой на черный день **малости** под мышкой в рукаве. Как доказательство был начальнику предъявлен сделанный с изнанки, с минимальным повреждением подкладки и, наверно, вдовьими слезами щедро орошенный разрез. Тот лишь задумчиво помалкивал, словно дремал, если со стороны глядеть — **липовые** уловки, с одной стороны, уравновешивались в начавшемся поединке притворным простодушием другой.

— То ли с устатку **дрых** на меня навалился, то ли понюхать дали сонному, а только, веришь ли, и щекотки не почуял, как за пазухой копошилися... — руками развел батюшка, применяя ту самую священную ложь, что **во спасение**. — Видать, крепенек был состав, раз всею память начисто отшибло, сам про себя не помню — кто таков!

— Ай жалость какая! Однако насчет памяти не тужи, папаша, мы **ее** тебе живо воротим! — оживая, бархатно посулил собеседник и как бы пошевелил незримый, подразумеваемый при вопросах инструмент власти на столе. — Неужто так уж вчистую из башки вымело, будто ничего и не было позади?

— Куды!.. — руками всплеснул о. Матвей, — полная чаша была, да человек-то жаден, все большего хотелося. А как останешься беспачпортным бобылем, без дома да родни, так и проклянешь былое-то свое роптаньице...

— Ну, и как же намерен ты управляться без **пачпорта**, который является не чем иным, как подтверждением

твоего существованья на белом свете! Нет удостоверенья личности, значит, и личность как бы улетучивается. Выходит вроде покойника: видимость налицо, а сущности предъявить не может!

Из всей его тирады лишь заключительная, сыскного лукавства исполненная фраза и пробилась в сознание батюшки сквозь пелену безразличия. И, сдаваясь на милость властителя, о. Матвей согласился с поклоном, что действительно для всеобщей пользы, включая собственную, лучше было бы находиться ему в умерших.

Ввиду сложившихся обстоятельств ничто не мешало славному пареньку попробовать свои силы на одном и давно облюбованном поприще. Несколько своевольная игра во взрослого, **проба пера**, тем более позволительная в отношении антисоциальной персоны, законом не охраняемой, что и вполне безобидной покамест. По неопаленной младости своей, возможно, и не стал бы ради шалости манежить старика, кабы раньше заметил его недомоганье, но из такого места все равно не полагалось отпускать сомнительных странников без выясненья личности. Меж тем непонятная, порывами, головокружительная одурь то и дело вынуждала о. Матвея подпираться пальцами в край стола. Даже поискал было глазами табуретку кругом, но единственная для отдыхающих шоферов, обок с урной для окурков дощатая скамья помещалась в отдаленье, у самой входной двери за балюстрадой и в просьбе о дозволенье присесть могло скрываться намерение к побегу. И так как неминуемый по ходу допроса обыск впереди все равно выявил бы улики криминальной профессии, о.Матвей поспешил свалить на состоявшуюся кражу отсутствие у него обязательного в те годы для попов **финотдельского** патента на занятие религиозным промыслом, якобы просроченного вдобавок! По присущей преступникам увертке, добровольным признанием меньшей провинности батюшка хотел отвратить нависшее над ним, в силу ночной поимки, подозренье покрупнее. И верно, тотчас последовал приказ предъявить все наличное при себе имущество.

Нащурясь, со смешанным чувством жалости и недоверия следил **шатун**, как дрожащими руками разоряет тот по-женски неповторимо плотную укладку. К убогой до-

рожной мелочи из карманов прибавилось проштопанное бельишко из котомки, шерстяное тряпье ноги обернуть на случай сибирской стужи, клубок дратвы с воткнутой сапожной иглой, еще мешочек черники от желудочного расстройства, и вовсе не показуемая на людях вещица стариковской домашности. Лишь достоверная бедность служила тогда паролем политической благонадежности, но показная здесь, не иначе как на обман контрольных органов рассчитанная скудость пожитков обострила бдительную приглядку юноши. Наконец пришлось о. Матвею выложить со дна и главную свою снасть по снискании милости и приюта у православных — большой водосвятный крест в опрятной холстине, но тут же прикрыл его краем лоскута, не потому что при виде его исполняющий комендантские обязанности выказал стеснительное беспокойство, а просто негоже было видеть глазу обок с резиновым изделием да еще под яркой настольной лампой священный предмет веры христианской.

Давно утративший свое начальное смысловое значенье, крест становился в стране дразнящим символом враждебной старины. Усердно изгоняемый из быта, он еще удерживался кое-где — не только на маковках уцелевших от гонения церквей, но и дома у паренька, в потаенном углу за плотной занавеской, где старенькая мать, чтобы не навлечь опалу на любимое и последнее чадо, прятала свои святыньки от его чересчур глазастых, забегавших иной раз приятелей. Еще мальцом, сколько раз, бывало, засыпал он в своей постельке под нестройное унисонное пеньице, что доносилось к нему из смежного чулана, служившего моленной для соседних старушек. Несколько позже из их подслушанных бесед узнал он и о древнем пророке, казненном двадцать веков назад. Утром в классе мальчик не преминул справиться у своей учительницы насчет особо запомнившегося ему непривычно-эшафотным звучанием слова **Голгофа**, но растерявшаяся девица, сама лишь мельком слышавшая о наличии такого местечка не то в Галии, не то в Галиции, обещалась на следующем уроке утолить любознательность ученика. И значит, обращаясь за разъяснением к своим коллегам в учительской, не сознавала всей криминальности вопроса, повергшего в административный ро-

зыск чиновников местного **наробраза** и, по слухам, коекого повыше — каким путем **зараза** могла просочиться в наглухо герметизированную систему просвещенья? Уже во втором поколенье после революции русские детки не ведали, отчего одновременно с неприступным тыном на земляном валу и торговой пристанью, если на речке, хоть малой часовенкой зачинались преславные впоследствии городища их предков?.. С годами расплывчатый облик галилейского проповедника несколько пополнился в представленье юноши сведениями о характере его проповеди, но к тому времени молодежь достаточно повзрослела, чтоб не раздражать старших неуместными вопросами — **почему**, например, так страстно преследовалось на святой Руси старинное нравоученье, раньше прочих осудившее наиболее социальные пороки с неправедным богатством во главе?

По совокупности обстоятельств арестованный подлежал срочному препровожденью в подразумеваемую инстанцию для дальнейшего обезвреживанья, но вместо того, чтобы вызвонить по телефону **черного ворона**, чересчур резвый молодой человек совершил должностной проступок с довольно чувствительными для него, на старте жизни, последствиями в случае обнаруженья. Причиной тому была врожденная познавательная пытливость по части бытовой, чаще всего стыдной механики людского поведенья. Если в детстве брезгливое вниманье отрока привлекали гадкие тайности уличной ребятни, с возрастом его интерес распространился на явления общественного характера, скажем, ухищренья грузчиков в местной торговой сети на предмет совместной выпивки, также хитроумные порой пакости даже не особенно завистливых соседей, бескорыстно совершаемые единственно ради ущемления ближнего. Приветливо улыбавшийся в сторонке отрок не внушал потребности остерегаться, к тому же находками своими ни с кем не делился. Мальчику нравилось исподволь следить, как стежок за стежком, по причудливой логике наживы, мести или каторжного баловства плетется канва еще неизвестного ему криминала. Уже на нынешнем этапе презирал он полюбившиеся ему одно время книжки сыщицких приключений с их общедоступной развязкой. В разбеге стре-

мительного продвижения по службе и с высоты аналитического бесстрастия, нередко почитаемого за нравственную чистоту, он настолько навострился проникать в исподнюю глыбь своих клиентов, что, усматривая там еще не осознанные побужденья, творчески конструировал на их основе потенциальные и высшей сложности злодейства, пресекаемые затем во имя революции железной рукой. Благодаря одаренности и оснащенный большим опытом жизни, он и сделал несколько запоздалое открытие иных, тоже движущих историю и лишь в мозгу творящихся подвигов и падений, но уже теперь задолго до рокового вывода тяготился иногда полнотой своих знаний о земном человеке. На целом свете лишь одна воистину святая душа, под той же кровлей доживавшая свой век престарелая мать, не вписывалась в его беспощадную схему, невзирая на предосудительную склонность к суеверным пережиткам старины.

Из опаски занести микроб старины на священное новоселье весь унаследованный инвентарь цивилизации, как всегда бывало и раньше, процеживался сквозь мозолистые пальцы абсолютно ничем не подкупных избранников, бравшихся на ощупь отличить надобность от вредоносного роскошества. Согласно программной строфе гимна все, неподдающееся приспособленью к новизне, в первую очередь люди и книги, обрекалось мечу и пламени. Сознание революционной непогрешимости избавляло их от укоров совести, как и от должностных оплошностей, ибо ошибки толковались лишь в плане послабленья противнику. Нехватка обязательных знаний, хотя бы о соразмерности вины и возмездия, с избытком возмещалась непримиримой классовой ненавистью. И так как тысячелетьями сложившийся житейский уклад объяснялся теперь исключительно материально-производственными отношениями общественных прослоек, чем значительно упрощалось рациональное человеческое хозяйство, то поставленные на страже завоеваний, они расценивали еще **захламлявшие** искусство остаточные от прошлого века, бредни о какой-то трагической изнанке личности как подрывную беспартийную ересь на задворках экономики. Не похожий на многих сверстников и наставников своих на новом поприще,

юноша рано стал мучиться догадкой о глубинной подоплеке вещей и поступков... Он тогда не предвидел, что в пору отрезвления после великой апокалиптической грозы, неизбежной, по прогнозам вещих старушек из мамашина окруженья, та же неукротимая поисковая увлеченность приведет его к системе прямо полярных заблуждений, которыми напоследок якобы повеселит людей новый и страшный проповедник с закрытым, как у Моканны, лицом. Но в тот штурмовой период его незаурядный розыскной дар работал как раз в нужном направленье. И в то время как раньше одаренному выходцу из низов, чтобы выбиться **в люди**, приходилось головой прошибать межэтажно-сословные перекрытия, ныне, по удалении их, и не гениям удавалось чуть не за пятилетку достичь вершины всевластия. Если же прибавить сюда обязательные для предположенной профессии анкетные обстоятельства молодого человека, вроде безупречного трудового происхожденья, гарантирующего преданность народному благу, бессобытийного типа оптимизм в сочетанье с весьма приятной внешностью, неомраченной гамлетическими раздумьями, природную брезгливость ко всякого рода подпольным соблазнам и, наконец, все возраставшую в стране в связи с разворотом классовой борьбы нужду в работниках **специального** профиля, то представлялась очевидной ожидавшая его быстрая карьера в соответственном ведомстве, куда вскоре и забросил его очередной **молодежный** набор. Таким образом, по избытку свободного времени, будущему следователю выпадала оказия провести пробное, со скуки, занятие на материале подозрительного попа, не исключалось, что в лице последнего не иначе как сама фортуна посылает своему избраннику крупную ночную дичь на разживу. Пора было приступать к охоте.

По-видимому, юноша испытывал незнакомое, щекотное удовлетворенье власти над живым человеком. Интересно стало заглянуть в замкнутую, чужую, такую загадочную жизнь — подобно тому, как дети взламывают ноготком бутончик полевого цветка — узнать, что у него там, в середке? Непроизвольный румянец выдавал мальчишеское волнение следователя от своей первой **такой** удачи. Шутка ли, мановением руки побороть сопротив-

ленье преступника. Кстати, можно было не сомневаться теперь и в его непременных злодейских намерениях, едва выяснилась уличающая профессия бродяги. Простая житейская логика уличала в нем лютого врага, ибо после стольких моральных и правовых утеснений, причиненных ему новым строем, он никак не мог стать его сторонником, даже нейтральным доброжелателем. Вслед за тем обнаружилось досадное противоречие, потому что в казенных ящиках, едва не ставших объектом покушения, находилось оборудование санузлов для воздвигаемого там стоквартирного жилого дома. У молодого человека достало юмора представить себе крадущегося по ночному проулку престарелого батюшку с похищенной клозетной снастью на плече. И тогда вместо отправки старика в более умелые руки, где из него исторгли бы эпохальные признанья, из того же подсознательного почтения к покойным братьям, за честную справедливость павшим в Гражданской войне, юноша решился на серьезнейший должностной проступок, обставив его рядом маленьких хитростей. Объявив поимщику устную благодарность за спасение ценного имущества, он отпустил его к дальнейшему отправлению службы, и тот покинул место с разворотом через левое плечо и в рассуждении, что подвигом своим не меньше как на пятерку умножил ожидаемый пенсион.

Оставалось отпустить с миром и второго старика, но судьба впервые сводила юношу с живым попом, а после похорон Лизоньки его постигло запретное, хуже болезни, любознайство к исчезающей категории отверженных граждан, почему-то подлежащих первоочередному удалению со стройплощадок коммунизма. Какая-то тщательно скрываемая причина таилась в том рвении, с каким утвердившаяся власть стремилась прежде всего веру вышибить из простонародья, — видно, смертельно боялась ее, если не давала ей ни слова, ни места на той общественной трибуне, с которой ежедневно прямой наводкой расстреливала ее сама. Этот вдобавок никак не походил на пьяную да пузатую церковную братию, что почти четверть века не сходила с площадного плаката, да и руки его с порезами от смоленой дратвы, как можно было убедиться, были куда черней его собственных,

давно отмывшихся от дедовских мозолей да копоти. Да и другое многое в старике не вязалось с обликом прожигателей жизни, как рисовали их в школах юному поколенью. Могли притворством оказаться, применительно к данному случаю, приниженное смирение повадок и сутулой фигуры, но не подделать явственно читаемый в лице, независимо от подневольного состояния той минуты, скорбный отпечаток какой-то древней и тайной борьбы — даже здесь, даже сейчас.

Казалось бы, беспомощность старца гарантировала его социальную безвредность, но ведь и порох образуется из химически невинных веществ, так что под личиной внешнего смирения, физической немощи и нищеты запросто, как в бархатном чехле, мог таиться нож классовой ненависти. Малому ребенку было ясно, что священник, в поздний час задержанный на временном складе находившегося поблизости трамвайного депо, не стал бы забредать туда без умысла. Пускай содержание котомки не давало повода предположить хищение вагонных запчастей с целью, скажем, спекуляции на черном рынке. Отсутствием подрывной техники для повреждения городского транспорта вовсе не отвергалась политическая диверсия, нацеленная в нечто за пределами юношеского кругозора, причем инструментом мог служить безобидный с виду крест, обнаружение коего в иных обстоятельствах не зря приравнивалось к хранению взрывчатки. Меж тем, близился час смены, а все не прояснялась логика разоблачаемой махинации, не подвертывалось Соломоново решение. И чтобы выкроить время на оперативное раздумье, полный отныне хозяин Матвеевой судьбы повелел ему рассказать свою биографию.

— Давай, расскажи теперь о себе... Начерно пока, без утайки, обо всем помалости, — указал он, справившись с положением стрелок на стенных часах. — Да смотри у меня, не придуривайся!

С непривычки слегка содрогаясь от впервые им произносимой формулы обвиненья, словно каждый ее параграф сопряжен был с нажатием курка, начальник уточнил заданье. Помимо сведений о связях с международной буржуазией и перечня обслуживаемых заграничных разведок, предстоящая Матвеева исповедь должна была

осветить как отраслевую специфику оказанных услуг, так и порядок их оплаты в валютных сребрениках — помесячную или же аккордно, со взрыва. Самой преамбулой заранее исключалось помилованье, равно как некогда даже беглое, в высоком трибунале, упоминанье дьявола вело на костер, — лишь добровольным признаньем пусть в несодеянном злоумышлении желательно в стадии до замысла, мог подследственный ускорить милосердную концовку. Отсюда любые доводы самооправданья лишь отягчали его участь как покушение притормозить и без того перегруженную машину эпохального судопроизводства.

На беду свою бывший батюшка начал с раздражающей ссылки на лишения в детстве и трудовое благочестие родителей, поелику еще держалось в памяти, чуть было не коснулся юридически-смехотворного эпизода с каруселью. Больше того, при обрисовке единственного известного ему капиталиста весьма преувеличил задушевные качества покойного нэпмана Трушина, церковного старосты к тому же, хотя, невзирая на свое бедственное состоянье, должен был заметить, в какой степени иностранное наименованье полученных от него даров, в частности **пьексы** и **канапе**, насторожило начинающего практиканта. Наконец, в лихорадочном запале вовсе неуместной откровенности то ли из доверия пристально голубому взору следователя, то ли напропалую кидаясь в приуготованную яму, батюшка принялся расхваливать другого своего покровителя и нищелюбца, какого-то там вятского архиерея. Не менее примечательно, что и молодой человек оставил без вниманья столь серьезное, казалось бы, даже самоубийственное признанье, указавшее на явный непорядок в здоровье старика, — не потому, впрочем, что в отмену юношеской брезгливости к мертвечине не обзавелся пока обязательным для анатомов и следователей навыком копаться в отжитой, кровоточащей ветоши человеческой, а просто все это время безотрывно косился на лежавший чуть сбоку, под лампой, ритуальный предмет из Матвеевой котомки.

Крест доводилось ему видеть и раньше на куполах храмов кое-где, мельком в темном киоте у матери, но лишь теперь представлялась возможность ознакомиться во всех его впечатляющих подробностях. Воспитанный

в пореволюционной школе, свободной от многих, под предлогом напрасности отвергнутых, только головную боль доставляющих раздумий, молодой человек ровным счетом ничего не знал о темной невежественной вере своих отцов. И так как еще школьный навык видеть в любой церковной утвари коварное средство для уловления трудящихся мешал ему придвинуть его поближе, словно в самом прикосновенье уже заключалась непрощаемая измена, причем толком не уточнялось **кому**, молодой человек издали, острием карандаша и как бы между прочим поскинул покрывающий распятие лоскуток. Представшая ему такая беззащитная в кружке света нагота обвисшего на гвоздях человеческого тела магически привлекала его неискушенное вниманье. Тусклое металлическое сияньице, исходившее оттуда сквозь постершуюся позолоту, странным образом вытеснило непреклонный авторитет комендатуры и, куда ни отвести взор, оно оставалось в поле зрения. Какой-то утраченный для молодого поколенья и, впредь до завершения некой, вовсе им не понятной **общелюдской** эпопеи таился здесь пароль, и если действительно крест служил прадедам знаменьем при одолении орды, то в чем тогда заключалась его магическая сила?

— Так-так, очень хорошо... — искоса взглянув на часы, тянул следователь. — Подумай, может, еще чего прибавишь?

— А прибавить боле нечего, весь тут, — повинную голову опустивши, предался на его волю о. Матвей.

Видимо, паренька занимало что-то посерьезней биографии пленника.

— Ну, допустим, допустим... — бормотал он и вдруг, слегка отстранясь почему-то, издали кивнул на распятье: — Кто это у тебя **там**?

— Как кто? — даже растерялся батюшка. — Сын Божий!

— Кто они? За что его так? — сурово и тоном несомненного старшинства спросил начальник.

— Он сын Божий... добровольно принял крестное страдание, дабы смертию своею вывести человеков из **геенны** огненной, — простодушно отвечал пленник, пояснив непонятное слово пылающей бездной, довер-

ху набитой грешниками. У о. Матвея малость от сердца отлегло: вопрос был из числа тех наивных недоумений, какими опровергают религию начинающие безбожники, а благочестивых бабушек допекают возлюбленные внуки с голубыми доверчивыми глазами. Несмотря на физическую немощь минуты, даже несколько высокомерная горечь отразилась у него на лице, дескать: «...весьма похвально ваше расположенье, пытливый юноша, узнать о Боге своем нечто другое, кроме матерной брани, доставляемой юношеству нонешним просвещением!» — Видите ли, уважаемый голубчик, на то и дана от него человекам свободная воля выбирать себе Добро или Зло по своему усмотрению!

Тогда пришел черед посмеяться Матвееву собеседнику:

— Ну, положим, папаша, кто же по своей воле изберет себе Зло!

— А как их разделишь-то, голубчик? В химии, пишут, всякое вещество с прибавком, а по пословице-то и зла чистого не бывает. Вон и мы рвемся новый мир из одних праведников построить, окромя них, и дурак в большом количестве нарождается... куды их? Иной хуже злодея наворочает, а ему и по суду скидку оказывают. Самое слово **Бог** черными буквами обозначается на белом листе!

Нетерпение отразилось в глазах молодого человека:

— Но если **он** только Добро, откуда Зло берется?

— Тело-то ведь оно из земли сготовлено, с водою пополам, а где грязца, там и грех. Самая его сласть!

— Значит, лучше по-твоему, уходить из жизни, как только началась?

— А как от него откажешься-то? И старенькое будет, а все глаз не оторвешь...

— От тела, что ли?

— Не от тела, голубчик, а от солнышка! — со вздохом сказал о. Матвей.

Опять с непривычки к подобным дискуссиям у его противника не хватало сноровки выбраться из лабиринта.

— Но все равно, все равно весьма сомнительный подарок: свободная воля выбрать Зло. Похуже ловушки всякой заряженный пистолет малышу подсунуть, чтобы потом его же за выстрел к стенке ставить. А если мы ему

вдобавок дети родные, то и совсем некрасиво получается. По-моему, детишек в подобные игры вовлекать... знаете, как по Уголовному кодексу называется? — Что-то внушило ему, однако, смягчить немножко резкость сужденья. — Конечно, может, все иначе было задумано, но ведь на поверку что-то нечисто выходит: многолетняя деятельность с человеческими жертвами... не так ли?

Чуть искоса, полувраждебно, он снова вгляделся в распятие на столе и нерешительно умолк, словно удивленный несоответствием своего приговора с непосильной его разумению исторической преемственностью обсуждаемого предмета... Кое-как, через горе матери осознал серьезность святыни, но роль ее как инструмента в человеческой культуре уж не понимал. Потом он заговорил снова и, видимо, из внезапного уважения к сединам собеседника, мальчишеским баском соглашался даже насчет исключительно трудной должности Бога в смысле поддержания порядка в столь обширном и, главное, хуже железнодорожного, бесконечно раскиданном хозяйстве, что, однако, по его словам, никак не оправдывает самомалейшей халатности. «Нет, в самом деле, если всерьез, почему у него так все не ладится?!» Исходя из предположения, что в пригвожденном теле Христа должен средоточиться центральный момент его биографии, молодой человек возымел вдруг неотложную нужду узнать, что послужило тогда причиной такой жестокой казни?.. Постановка вопроса и та наивная искренность, с какой он пытался открыть житейским ключиком громадный оборжавевший замок, выдавали меру его порядочности, но и глубину разделившей его с о. Матвеем пропасти.

— Тогда обрисуй мне кратенько, **в двух словах**, за что же его так?

Похвальная пытливость паренька, предоставлявшая батюшке роль просветителя неверных, счастливым образом смягчала обстановку допроса.

Примечательно, что из опасенья **единого от малых сих** ввесть в соблазн утешительной своей ересью, ставшей его вероисповеданьем, о. Матвей ограничился кратчайшим изложением древнего догмата как высшей истины без земных доказательств, лишающих ее тайны и святости.

— А за то, миленький... — огладив бороду, собрался он было улыбнуться постучавшемуся во врата веры неофиту и осекся на едва не содеянной богословской оплошности в истолкованье основного догмата. — Не **за что**, спроси, а **почему**? Вишь ли, сынок, так случилося в отдаленнейшие времена, долго сказывать, один непрощаемый грех прародительский пал на весь род людской и его потомство, на наши с тобой головушки в том числе... И кабы не случилося — о чем спрашиваешь-то — и таскать бы по сие время нам с тобой, как бы выразиться половчей, гнев проклятьица Божьего!

Он помедлил в ожиданье редкого здесь сообразно переживаемой эпохе возраженья от паренька — по какой юридической логике силы небесные шьют ему, не только сном и духом непричастному, но и неродившемуся, темное **дельце**, которое батюшка даже изложить ему стесняется... Но, значит, у того посерьезней названного созревало недоуменье.

— Понятно... дальше что? — взглядом подтолкнул о. Матвея паренек.

— Тогда милосердный Господь и послал на землю сына единородного, чтобы крестным подвигом своим... Ну, как бы тебе попроще объяснить? — В затуманенном сознанье всплыла было собственная его версия Христова сошествия, озарившая его в памятную ночь перед аблаевским отреченьем, но побоялся пуще запутать собеседника ссылкой на досадную промашку Бога своего. — Затем и посылал сынка, чтобы страданьем своим **выкупить** из вечного ада душеньки человеческие, снять с них ту, как тень смертная, неотступную килу!

В ту минуту батюшка больше всего опасался непременного в подобной дискуссии вопросца — легче ли стало жить людишкам по снятии той канонической килы? Чтобы заполнить тягостную паузу, принялся было в духе привычной проповеди толковать целевую святость голгофского акта со списаньем последующих земных неурядиц за счет самого человека, который повседневно, в угоду **мамону**, изгубляя природу вкруг себя, извратил и свою божественную суть, и данные спасителем заветы... Но юный **товарищ** и не собирался опровергать веру Матвееву тогдашними средствами практического атеиз-

ма, вроде молодежных выходок, обращавших православные богослуженья, особенно под престольные праздники, в сеансы безнаказанного кощунства.

Напротив, в строгом тоне обращенья его, исключавшем насмешку или отрицанье, звучало вполне законное стремленье потомка, народившегося после всемирной перетряски, свежим и собственным глазом вникнуть в основной догмат христианства, с которого во времени стала сползать его мистическая позолота:

— Постой, папаша, тут что-то не ладится у тебя... — на первой же фразе перебил он поднятой ладонью. — Старушка моя, маманя, пыталась втолковать мне про это самое, да запуталась под конец и рукой махнула. А мне сейчас полная ясность нужна... Не зря говорят, горбатого могила исправит! Не у отца же родного да еще по такой цене пришлось ему нашу грешную шатию выкупать... Значит, и над ними некто повыше был, не так ли?.. Удалось выяснить — **кто**? С другой стороны, спрашивается, зачем Божьему сыну смерть принимать, не проще ли было саму **гиену** навечно погасить, раз он Бог?

Вопросы превышали богословскую осведомленность о. Матвея. Все же батюшка постарался внести ясность в логику Божества:

— А вовсе-то, сынок, как ее, проклятущую, отменишь? Без острастки, раз навсегда прощенные, мы пуще прежнего во грех да разбой кинемся. Опять же род людской чем остановишь? Окромя тех, что давно сотлели, отбывши круг земной, все новенькие напирают, теснятся у врат жизни, во мраке ожидания... на худший жребий готовые за сласть побыть под солнышком. Оно правда, у пекла очередей не бывает, желающим всегда найдется уголок... да в том наша беда, что горим там не сгорая. Видать, от стенанья ихнего да скрежета зубовного переполнилось отцовской скорбью сердце Господне... и надоумился сам к ним сойти, так сказать, собственноручно вызволить племя Адамово из пасти адовой!

— Верно, затем сам за ними отправился, чтобы на всех **его** хватило... значит, и на меня в том числе? — раздумчиво высказал свою догадку горбун, почти соглашаясь принять на себя кровинку голгофского подвига, кабы разъяснили юридическую формулировку прощеного

преступленья, участия в коем не принимал. — А с другой стороны и нельзя было авансом все им списывать, чего бы ни натворили в будущем... но тогда пришлось бы **ему** еще не раз, по мере накопленья, **персонально** туда спускаться, что вроде не к лицу Богу-то, а?

Ничего не оставалось о. Матвею, как, минуя богословские головоломки, трудные неискушенному слушателю, впрямую истолковать Голгофу — назревшей необходимостью спасти души человеческие, отбывшие земную путевку наравне с ожидающими за дверью бытия, — чем повергнул молодого человека в еще большее недоуменье.

— Опять не понимаю, если выкуп... то у кого? — стал он дознаваться без особого, впрочем, успеха. — Хорошо, зайдем с другой стороны... От чего их надо спасать, от боли?

До конца не догадавшись предложить стул старику, он вместе с тем проявил странное благородство, не назвав так и отмененное ныне понятие **ада**, из подсознательного отвращенья к легкой победе не пожелал воспользоваться уязвимостью слова, способного вызвать поток иронической торжествующей газетчины.

— Есть и пострашнее боли, голубчик, — уклонился и о. Матвей.

— Что же тогда?

— Мало ли там... ужас бесконечного паденья, например, — смутно намекнул он из собственных домыслов.

— Непонятно.

— Понять, значит, проверить — правда ли, чего тебе душа нашептала. А предмет высшего знанья проверке не подлежит, только вере.

— Это что же за предмет такой?

Непривычная оторопь нашла на о. Матвея.

Сколько раз доводилось говорить о том же в проповедях, но там их было много, а здесь один. Какие большие глаза у человека, когда он ищет: нельзя солгать им.

— А видишь ли, — замялся он, — предмет этот зовется истиной.

— Тогда... что есть истина?

Верно, и двадцать веков назад наступила точно такая же пауза, в течение которой правитель вглядывался в окропленное кровью чело узника. Из всех евангельских

эпизодов, если не считать иррационального искушения в пустыне, о. Матвея за его верстаком чаще прочих привлекал этот знаменитый диалог, — всегда пытался дописать его собственным соображеньем. Вряд ли побои и пытка могли угасить во взоре Иисуса тот покорительный, даже чернью зримый отсвет его второго небесного естества. Иначе что заставило надменного солдата с его римским презреньем к иудеям различить **человека** в самом жалком из них? Самая интонация вопроса дает основание полагать, что и скептический разум не прочь заглянуть за черту логической видимости, вопреки всегдашнему его опасенью остаться в дураках. Конечно, утверждая приговор, Пилат следовал установившемуся методу древних казнью испытывать святость пророков, которые на поверку сплошь оказывались обманщики. И лишь на сей раз, конечно, у прибывшего с рапортом центуриона стражи прежде всего осведомлялся — висит ли, зовет ли, и что показала проба копьем?

Но в том высокомерном пилатовском допросе юного, еще не мыслящего христианства о. Матвею слышались, по крайней мере, токи желанья не только постичь, но и защититься от новизны, потому что помимо кровавой общественной ломки грозит утратой кое-каких привлекательных преимуществ, содержащихся в незнанье истины. Но здесь — как могло даже поседевшее от мудрости, на излете находящееся христианство раскрыть самое главное свое слово стерильному, беспамятному на прошлое существу, которое перестало ощущать присутствие постоянного чуда вокруг себя, которое из отвращения к дыханью могил высшую комсомольскую доблесть полагает в скорейшем **смытии** с себя позорного пятна дедовской веры, которое, наконец, бессмертную душу человеческую принимает за порцию воздуха вроде как в плавательном рыбьем пузыре, что в детстве, бывало, так потешно лопался от прокола или под каблуком, а после кончины нашей, естественно, по закону физического вытесненья серебряным шариком взвивается в теперь уже полностью разоблаченную высь? Немудрено, если бы сын Божий отважился вторично навестить земных деток своих, то на основе достигнутого гуманизма они тотчас присудили бы его если не к высшей мере, то

к общественному порицанью — **за плохую работу** по совокупности скопившихся несчастий.

— Итак, сейчас я тебе все разъясню... погоди, а то мысли разбегаются! — топчась на месте, бормотал о. Матвей.

«Истина, истина...» — без выражения произнес он кому-то там внутри, и эхо раскатилось по гулкой пустоте, мелкой осколочной болью отразясь в лобных пазухах. На пролете произнесенное слово даже приоткрылось было, но совсем в ином полуосознанном начертании, что оно есть личного пользования достояние, — **мед** бытия, но **яд** — как только обязательный кодекс норм, параграфов и эталонов, назначенный обеспечить человечеству безнаказанное размноженье с постепенным разменом в стадо, стаю, кулигу, рой, самовзрывающееся бактериальное множество, наконец, становящееся первозданным веществом в апофеозе... И опять сказал тоном дозволения, что раз побыла одна, пусть поцарствует и другая... но разве две их? «Даже три!» И все загрохало вокруг, заплескало в ладоши и по спиралям понеслось куда-то на колдовских скоростях. «Ах, зря ты, дурак, таблеток от головной боли из шкафика не захватил, понадеялся на скорую бродяжью закалку».

Детски-невинное с виду недоуменье заставило о. Матвея ожидать других вопросов в том же духе, похлеще. Частный Матвеев допрос превращался в дознанье о самих истоках Церкви Христовой. При этом так оборачивалось дело, что он становится ответчиком за все случившееся в ней с тех пор по совокупности. По ходу разговора батюшке предстояло посвятить несведущего юношу и в прочие опорные тезисы религии своей, в которые и сам-то верил вслепую, по преемственности церковного предания. Просветителю Иннокентию куда легче было доказывать своим алеутам величие небесного монарха его рожденьем от Девы, воскресением из объятий трехдневной смерти или еще более, на уровне их развития, доходчивыми аргументами, вроде хождения пешком по морю и претворения воды в хмельной свадебный напиток. Вся эта благолепная мишура чисто земного поклонения не **в духе**, а **в теле** становилась приемлемой лишь в категории поэтического образа, и уж никакому

Тертуллиану было бы не отбиться нынче от коварных сомнений, все чаще последнее время, за сапожным верстаком, нападавших на старо-федосеевского батюшку. «Не приспел ли срок и обветшалому христианству уходить на покой в обитель детских снов, совместно с разумом, под руки с обеих сторон, возводивших к славе род людской по ступеням безотчетного ужаса, созерцательного благоговенья и послезавтрашней логической достоверности?» Невольно оживало в памяти еще с семинарских времен запавшее туда упоминанье одного заезжего ученого богослова о **неких** несторианах древности, что уже в те времена при изображенье распятия обходились без обязательных гвоздей и сукровицы, на чем доселе настаивает иезуитский агитпроп... Сказанное отнюдь не означало крушенья веры Матвеевой, а лишь болезненное ожиданье неведомого, Христу на смену грядущего пророка, который привнесет в мир несколько иное толкованье добра и света, зато в корне отменяющее: поблажку знатным и применение молитвы (бескорыстного общенья с небом) как универсальной и, чем в особенности тяготился в качестве совестливого батюшка, безуспешной панацеи от низменной печали вроде грыжи, старости или безденежья. В нищете воспитанный, он по примеру евангельского эпизода и в тайне от самого себя мирился не только с железными, на сей раз, бичами для изгнанья торговой нечисти из созидаемого ныне **всемирного** храма, но и с неизбежным сносом запустелых кое-где церковных строений, тем более что и юное христианство не щадило античных алтарей. «О, лишь бы во всеобщую пользу!» Однако, возлагая на себя унылое бремя соглашательства, лишь бы сквозь бурю донести свет истины до потомков, он затруднялся поведать ее уже ближайшему из них. Нет, не боязнь ввести молодого человека во грех осмеянья, а лишь нехватка должных слов в современном обиходе повергала о.Матвея в мучительную немоту, даже содрогнулся при мысли: аргументы какого ужаса потребуются однажды истине, чтобы напрямки, сквозь рогатки разума пробиться в сердце человеческое. Тотчас бредовое воображенье высветило из тьмы все тот же силуэтный, на фоне зарева, абрис всадника, который сверху, зарывшись головою в небо, взирает на бездумно резвящийся мир через рубеж столетья.

Хуже всего было, что мальчишка с голубоватым железцем во взгляде не торопил с ответом, не ловил на противоречиях, не давал повода пострашать загробным возмездием за неверие. Напротив, не ограничивая во времени, даже отвел глаза в сторонку, чтобы не смущать вниманьем суетливо виноватые стариковские руки. Да кабы еще в застенке происходило дело: плеть — дыба — клещи раскаленные на виду, чтобы ореолом мученичества, не совершая измены, заслониться от самого себя, а то... Душевный упадок совпал с приступом несомненной теперь простуды, и пока в задышке смятенья искал открытым ртом воздуха, которого и не было нигде, то почудилось даже, что и усатый вождь, раскуривавший свою трубку на стенке, тоже прислушивается к наступившему знаменательному молчанью.

— Еще минуточку, сейчас я тебе все изъясню... опять в висках заломило! — Но вот уж и некогда, да, пожалуй, и неловко стало в крайний момент перед расставаньем навсегда посвящать отбывающего паренька в причудливые переживания отдаленнейших предков, чьих и костей-то не сохранилось в помине.

Ненадолго Матвея постигло нестерпимое, тоской одиночества окрашенное чувство покидаемого, наверно, всем знакомое — при отходе даже чужих поездов от перрона. В сущности ничего не происходило, однако нездоровье подобно лупе расширяло скрытный смысл центрального, может быть, неподдающегося словам события современности; ближе всего было сравнить его с запуском ракеты дальнего действия, как оно лишь дважды, вряд ли чаще, случалось в прошлом человечества. Кстати, давешний, над головой промчавшийся грохот тоже чем-то напоминал рев запущенных моторов... Нет, вовсе не Матвею с его кораблем мертвых предстояло отходить в море вечности от старо-федосеевского причала, а этот молодой человек в тысячекратном качестве отправлялся в щемящую сердце даль, оплавляя всяческую жизнь под собою, включая ликующих провожатых. Это как в школе: надо стереть с доски, чтобы написать заново! Благодаря искусной обработке двух предшествующих веков, пилот насколько был раскрепощен от обременительных, порою заразных пережитков старины, что по

некоторым своим параметрам был не то чтобы мальчик, не младенец даже, а — чтобы не обидеть праотца грядущих поколений, еще моложе. Все у него было впереди, и потому ничего не брал с собою, кроме насущных, на первое время, коммунальных чертежей да качественно новых, в себе самом, иероглифов наследственности, благоприобретенной титаническим подвигом предков. Но хотя социальная и прочая инженерия полета рассчитана лучшими инженерами мечты и все предполагалось в наилучшем виде, сроки и конечный пункт прибытия оставались неизвестны — как, впрочем, и в позапрошлый раз, при отправленьи с палеозойского космодрома. Равным образом и остальной экипаж ракеты не подозревал ни всемирной важности или смертельной опасности предстоящего броска, ни даже какая толкательная сила выносит их в бескрайний, даже днем черный простор неба. Лишенные возможности оглянуться, они вообще не видят, чего и сколько сгорает у них позади. Меж тем, горючим служила сумма великой цивилизации, ее материальные и духовные накопления, сладостная память о былых огорченьях и находках. Самый Бог вчерашний сгорал в плазменной, все живое оплавлявшей струе, чтобы не однажды, надо полагать, в еще более загадочных ипостасях встречать путников на очередных кругах и перекрестках... Дальнейший разговор в комендатуре и должен был прерваться из-за столь быстро возраставшего расстоянья, что неслышны становились голоса... В поиске решенья Матвеевой участи горбун попеременно щурился то на сводчатый, испещренный всякими трубами потолок, тотчас за которым мнилось небо, или на искусительно молчавший справа, буквально под рукою телефонный аппарат, то на уловленного бродягу, подозреваемого в хищенье государственного достоянья. Теперь перед батюшкой во всем своем неподкупно-увечном величии как олицетворенье высшей справедливости находился скорее прокурор по делам надмирного порядка, нежели со скуки любопытствующий калека. Испытующим взором Пилата глядел он на обвисшую с креста фигурку, устами верующих процелованную до исподнего металла и кротко сиявшую под казенной лампой советской комендатуры. Казалось, ждал от казненного любого чудесного

свидетельства его божественности... и такая ультимативная жестокость искрилась из-под низко опущенных век в глубине запавшей глазницы, что священник через силу и машинально накинул на распятье краешек полотенца, на котором покоилось.

Сказывались несчастные часы отдохновенья в сомнительном трамвайном пристанище на сквозняке. Простудная муть временами застилала сознанье, жаркая немочь клонила к земле.

Меж тем, пора было отвечать на не заданные вслух вопросы — откуда взялась боль на земле, почему горя и радости роздано людям не поровну? Ведь, казалось бы, так легко было объяснить доброту Христову даже мальчишке, если бы не горбун! Да и как было изложить калеке, не вкусившему запретных сладостей бытия, самую трудную из богословских тонкостей: роковое отличие обычного житейского нарушения заповеди от первородной, изгнанием из рая наказанной греховности Адамовой. К слову, сомневаясь не в подвиге Христовом, а лишь в логичности его, батюшка в проповедях своих и пытался истолковать пастве сошествие его в ад ради спасенья наследственно обреченных гневным напутствием Господним, отчего догмат, ставший объединительным паролем верных, превращался в заурядный миф библейской древности. И тут, в кратком проблеске после очередного приступа недомоганья, о. Матвей виноватым взором изнутри увидел хозяина своей судьбы во всем его суровом прокурорском обличье.

Перед ним, откинувшись к спинке кресла, сидел как бы придавленный сверху, без возраста парнишка, точнее, молоденький старичок в бедном ватнике на тесемках, подбородок втесную прижат к выпяченной груди, так что с зияющими глазницами лицо приходилось на уровне плеч, а чуть склоненная набок голова лежала на образовавшейся площадке, как отрубленная. Помнилось, нигде не имелось указания, что необратимое уродство будет у Бога сопричислено к подвижничеству высшей категории. Тут, по человечности считая всех, не сознающих своего полноценного бытия, себя с тогдашними горестями в том числе, неоплатными должниками калечной братии, о. Матвей содрогнулся при мысли, что и с него, вчистую

обделенного, причитается нечто небесам за счастье существованья. И едва пожалел своего беспощадного судию, тотчас в их отношениях наметился решительный перелом в сторону если не сближенья, то хотя бы временного взаимопониманья. В частности, уже проявив преступный интерес к запретной доктрине распятого, теперь совершал вопиющее потворство задержанному, в смысле промедления с передачей в специнстанцию на предмет выяснения его причастности к мировому империализму. Такого рода должностные вольности, кабы раскрылись, должны были жестоко сказаться на скромном пенсионе полунищей железнодорожной вдовы и проживающего на ее пайке и. о. коменданта, не говоря уже о судьбе штатного лица, доверившего постеречь важный, пускай на нулевом уровне стройки, объект сомнительному работнику без классового чутья и профессиональной закалки.

Оказалось также, доставляемое уродством непрестанное умиранье, обрекающее одних на бунт и отрицанье, других толкает на пристальное изучение постигшей их несправедливости: по мере угасания солнца жизнь стремится приспособиться к наступающей тьме. Очевидно, беглое и личное ознакомленье с загробной приманкой Матвеева ремесла, догмой о посмертном возмещении **необратимых** земных печалей, ненадолго подтвердило в его глазах сложившуюся у обездоленных репутацию христианства как древней исторически наиболее устойчивой нравственной системы мирозданья, созданной людьми для сносного пребывания в ней. Дальнейшим событиям предшествовал совсем откровенный диалог, где фамильярное обращение со священником диктовалось лишь человеческим равенством противников, а не мнимым старшинством младшего из них.

— Ты не дрожи, не бойся меня, что как на троне сижу... я не страшный: я очень бедный! — ненадолго и весь напоказ приоткрылся полновластный владыка Матвеевой судьбы. — Это неверно, будто нашего брата, горбачей да карликов, по злобе ихней при воротах на привязи заместо псов можно держать, почему здесь и посажен. Мы смирные... Но горб и есть постоянная цепь моя: из окна поверх занавески в жизнь гляжу. Не подумай, что ропщу... вон у верблюда их целых два, а помалкивает, чтобы

третий не нажить. Жаба не потому в подполье прячется, что срамной наготы стыдится, но куда щекотней, когда в бане, например, люди глядеть на тебя брезгуют. Зато от страха свободен: никого на свете не боязно. Вот предам тебя на растерзанье или на волю отпущу и, в случае чего, ни о чем тужить не стану. Мне в жизни моей терять нечего!

— Не зарекайся раньше сроку: всегда найдется что-нибудь для потери, пока жив человек, — своеобычно, надеждой на будущее попытался образумить его священник. — Ты еще не старик, а душа и вовсе возраста не имеет, смерти не подвержена... и что ни случится на свете, всегда бывает продолженье. Так что, досыта нахлебавшись горечи земной, зачем тебе, дружок, не пригубив, отрекаться сладости небесной?

— Вот и было бы интересно выяснить заранее, в чем она, хваленая тамошняя сладость, — с заблестевшими глазами оживился следователь. — Уж я маманю мою тормошил намедни как скорую кандидатку — на что это похоже — рай? Видать, вроде хорошего санатория: кино бесплатное через день, мороженое до отвалу, птички заграничные круглосуточно в пальмах верещат... В общем-то постный, пресный харч и ни малейшего намека, что время от времени, кому за выслугу лет, кому за причудливое телосложенье, вроде моего, возьмут да и подкинут в праздничный паек чего-нибудь с сольцой, скоромненькое, в смысле **земное**, скажем, разок-другой нарушить благочестие, травку райскую помять... ну, и прочее, кто чем при жизни разговеться не успел. Старушка моя лишь молчала да головой качала, но обещаньице известить по прибытии на место не дала!

— А не смейся: никто тебе, дружок, и не возьмется обрисовать в подробностях царство небесное. Лишь известно в точности: каждому будет всего по заслугам и вдоволь, сколько уместится в нем — свинца, меду, смолы горючей... размером хоть в шар земной, коли подымешь. Одно достоверней всего, что горбатых душ не бывает...

— ... да их, конечно, и не допустят **туда**! — с вызовом досказал горбун.

Затем последовала не по-детски сложная и, видимо, в часы бессонниц детально продуманная декларация

своего безвыходного жребия. Невоспроизводимая в тех же интонациях, она сводилась к тому, что, как и в раю, при **светлом будущем** всяческая некрасота подвергнется жестокому искорененью наравне с наиболее заразными, способными сеять рознь и зависть, причудами прошлого, в особенности же **мировая скорбь** — надрывный скулеж о запредельном, оскорбительный и вредный для наконец-то достигнутой людьми универсальной гармонии. Правом на паспорт станут обладать лишь избранники с приметами счастья налицо или притворщики с напускным румянцем — после очередной чистки от захламляющей общество бракованной человечины... Крутой поворот темы и нездоровья не помешали батюшке прибегнуть к обычному в таких случаях наставленью не докучать божеству, как и начальству, бестактными вопросами в силу сущей неисповедимости их замыслов. Но в заключенье, как бы от имени всей вечной братии, горбун просил ему порекомендовать — у кого, если придется, искать им защиты и покровительства, в чем слышалась ультимативная решимость **в случае чего** обратиться за справедливостью к самому владыке преисподней. Произнесенная почти смиренно и навскрик по существу просьба тем более смутила батюшку, что после собственной его, недавней, в надежде на джентльменство дьявола, попытки выяснить кое-что из первоисточника, он с ужасом теперь ждал неминуемых последствий.

— Не ты, не ты... это боль твоя в тебе скрежещет! — бормотал он, ладонями заслоняясь от чего-то худшего, готового сорваться с закушенных уст. — Попридержи язык в присутствии Бога, не отягчай участи своей...

Выяснилось, по счастью, речь шла не о самовольном, хотя в укор небесам, бегстве из опостылевшей жизни, а всего лишь о смешных и наивных притязаньях одного такого, вчистую обездоленного на стыдные телесные радости — теперь уже с полным переносом из потустороннего в земной регистр.

— Согласен, никаких подвигов за мной не значится, да ведь я лишку и не требую, — с опущенным взором и без прежнего полемического азарта, осторожно заговорил горбун, словно разувшись шел по огню. — Но что касается личной **некрасоты** моей, то и на иконах дю-

жие да краснощекие редко попадаются: сплошь в чем-нибудь убогие. Меня поставь рядом, и я в их компании за святенького сойду. Потому давеча так нескладно и заикнулся насчет поганого лакомства, что, когда святости невпроворот, невольно на греховинку потягивает, а в покойники как-то не хочется раньше сроку поступать. И нет надежды, что по чьему-то высшему повеленью, даже если подвиг совершу, скостят мне полгорба. Вот и снится порой один и тот же, под черным небом моим, лужок зеленый со скатом вниз и глазу необъятно. Досыта набегаться не могу: такая легкость в теле, какой и в детстве не знавал... хотя, правда, я смолоду горбатенький. Проснусь, бочком шевельнуся — нет, кила моя безотлучно при мне, не болячка, ногтем не сковырнешь!.. И враз безумие накатывает. Вчера среди ночи в спящую маманю вцепился: «...помолись ему, пока живая, — руку ей тиская, на ухо шепчу, — по знакомству выпроси у него, чтоб мне годок передышки дал!» (На худой конец я бы, глядишь, в полгодика управился, а там хана всему...) До бесчувствия перепугал бедняжку, а старухе цены нет. Оба сына с **гражданки** не вернулись, мужа на сцепке придавило. Вроде бы и чужая, а ближе матери родной, которая меня, **неисправного**, на крылечко к ней подкинула. На шнурочек к скобке привязала, чтоб не заблудился... в ту пору я уже на ножках стоял. — И стыдясь откровенности, признался виновато, что с утра мается, чем поступок загладить: с пустыми руками робеет в дом войти.

— Не падай духом, Господь видит тебя, он же и вразумит! — по-свойски утешил его о. Матвей. — Не горюй о несостоявшемся... куда легче в мечтании утратить, чем и не владел пока, нежели когда кровное от сердца отрывается. Некогда в древней стране Уц жил один зажиточный праведник с большим семейством. И поспорил Господь с сатаной по навету последнего — оттого, дескать, и ропщет твой Иов, что полная чаша кругом, сынки при деле, на здоровьишко не жалуется. Доверено было нечистому жестокой напастью испытать старика, раздеть дотла, до костей в случае необходимости. По прошествии времени поступают к нему печальные известия: стада твои разграблены, прислуга мечами посечена, внучата в развалинах погребены, а вскорости и сам, нагой, сидел на куче на-

возной, черепком соскребая струпья с ног своих. Жена сбоку зудит — «почто терпишь, похули Бога маленько и умри», приятели советами пуще мух допекают, солнышко в темя пиявит... Но устоял, не взбунтовался против Всевышнего. И в награжденье все отобранное с избытком возвратилося хозяину: скота и прочего достояния вдвое, родня в прежнем составе, зато бытия сверх сроку добавлено сто сорок лет. Богу хвала, нам урок в подражанье...

— Видать, жилистый старец был и понимал, как **Ему** потрафить, чтоб хуже не обернулося, — сказал горбун с кивком одобренья наивной сказке. — Нам с тобой, отец, не угнаться за ним, пожалуй. Ладно и то, что на том свете горбы отменяются. Не лжет пословица, будто хоть и с запозданием могила исправляет нашего брата в смысле наружности. А раз **некрасота** моя поправимая, тогда совсем другое дело! — иронически заключил он и, наотрез тряхнув головой в знак непримиренья, как бы простил Богу себя и прочие недоделки по совокупности выявленных дознанием обстоятельств.

В наступившей паузе мучительное и, наверно, лишь крайним изнеможеньем объяснимое расщепленье личности постигло о. Матвея. Будто в наступившую тишину бесследно схлынуло, погасло, растворилось все постороннее кругом, потом желтые кольца и пятна поплыли в глазах, и где-то на горизонте подсознанья вновь обозначилась безобидная с виду, емкая по своей тайне даже не мысль или хотя бы промельк ее, а просто мерцающая звездочка, в смысл которой вникнуть не смел, потому что догадывался. По разбегу многолетних предчувствий знал, что на коленях Божества возросший разум однажды неотвратимо выпорхнет к солнцу из отчего гнезда, чего пуще смерти страшились деды. Черным холодком веяло из голубой бездны, куда на собственных крыльях возносился возмужавший птенец... И опять с поднявшимся сердцебиеньем, как не раз случалось с ним в раздумьях за верстаком, испытал ревнивую потребность взглянуть глазком из могильной щелочки на жуткие прелести, в придачу к достигнутому поджидающие в заданном направленье род людской. Именно в таком преувеличенном толкованье, на грани бреда и яви, представлялся

тогда о. Матвею смысл его ночного приключенья, знаменующий истинную суть текущего века, и предсказанный Священным преданьем поворотный акт всемирной истории о переходе вселенского хозяйства из **небесных**, отвергаемых эпохой рук в такие же, незримые простакам, **земные**, вчерне уже состоялся.

Однако мимолетная улыбка, впервые за истекший час просветлившая аскетическую мглу в лице недавнего следователя и принятая батюшкой за самонадеянное согласие принять на свои плечи всю ответственность за жизнь на земле, в действительности означала лишь двойную внезапную находку горбатого мальчика: заодно с недоуменьями о нравственной гармонии мирозданья разрешилась, видимо, и участь подозрительного попа.

С переходом с допроса на обычную беседу заметно, на градус-другой, потеплели их отношенья. Прояснилось вдобавок, что звали горбуна Алексеем, как и тезку его, **Божьего** человека из любимого русского сказанья, что расположило батюшку в сторону большего доверия. И так как в глазах паренька любая, запретная в те годы принадлежность к Церкви роднила задержанного попа с обожаемой и, вероятно, шибко религиозной **маманей**, то и разговор у них принял дружественный оттенок.

— С котомкой-то, отец, никак в путешествие собрался? — судя по скользнувшей нотке надежды, не без тайного расчета справился горбун Алеша, на что батюшка туманно, с одной стороны, якобы под давлением семейных разногласий, с другой же — будучи целиком отчислен от жизни, повинился в намеренье завершить дни в уединенье от мирской суеты. Тем легче далась ему спасительная полуправда, что еще в отрочестве, начитавшись староверческих книжек из чердачного ларя у своего опекуна и благодетеля, возымел жгучее влеченье к странничеству по святым обителям, не затихавшее вплоть до обрученья с возлюбленной Парашей, когда полученье прихода после тестя и рожденье первенца обрекли его на оседлое существованье.

— Вот в дебрь **алтайскую**, где поглуше, устремляюся... пособил Господь! — с благодарностью создателю отвечал о. Матвей на Алешин вопрос — далеко ли направился? — причем самое слово вырвалось непроизвольно,

не для сокрытия следов, а как издавна дивное и утешное пристанище всякого рода русских беглецов.

И тогда последовал вовсе неожиданный поворот судьбы.

— Ну, по пути в такую даль не страшно и опоздать на денек-другой, — снова оглянувшись на часы за спиною, стеснительно сказал горбун Алеша, не рискуя напрямки обратиться к батюшке за одолженьем. — Время наше позднее и непогода на дворе, а того гляди сменщик мой вернется: жену в роддом повез... считай, пофартило тебе, отец. Службист: застукал бы нас с тобою по ночной поре, а мало ли что причудится у кого курок на взводе? Вот и охота мне забрать тебя домой от греха, благо, весь нужный инструмент при себе под рукою. Выспишься в тепле, справишь свое дело, а там мы с маманей без задержки отпустим тебя по курсу назначения. Видишь ли, поспела у ней такая срочная надобность, никак отказать нельзя. Получается, зря потрошил я тебя, отец, давай уложиться подсоблю... — и окончательно спустясь со своих начальственных высот в текущую действительность, наспех и поплотней посовал Матвеевы пожитки в заплечную его суму, правда, без учета их порядковой святости.

По мнению Алеши, до прихода смены батюшке было разумней дождаться его на скамейке в скверике по соседству, в довершенье преступного самовластья сам же и вывел неизобличенного злодея наружу через безлюдную проходную. Осталось смутное ощущенье в спине, что Скуднов вполне благоприятно проводил глазами. Место выдалось подходящее хоть и для ночевки — нависавшая над скамейкой глухая стена и кустарник по бокам неплохо укрывали от поднявшегося к полночи мокрового ветра. Очень тянуло прилечь, но еще хватало разуменья, что нельзя. Ожидание затянулось на добрых полчаса, так что, пока клевал носом на чистом воздухе успел побывать дома, где как раз, невзирая на неурочный час, происходила опись, **огосударствление** заарестованного лоскутовского имущества. В качестве понятых присутствовали упоминавшийся выше шорник, безумная, присмиревшая здесь Ненила, которую он видел впервые в жизни, и еще какой-то молодцеватый ферт до ломоты в висках неузнаваемый. О. Матвей подоспел к моменту,

когда очень не похожий на себя Гаврилов припечатывал фамильное канапе. Интересно, что, вполне сознавая свое местоположение на скамейке в скверике, о. Матвей тем не менее отчетливо видел, как пылающий сургуч даже с характерным потрескиваньем стекает с краснодеревного изголовника на бесценную обивку. Оставалось только зажмуриться, чтоб не умереть с горя. Уже беспамятное забытье клонило прилечь в мягкую тьму перед собою, когда его принялся тормошить, возвращая к жизни из смертного оцепенения, второй, на протяжении суток, покровитель....

Расплывчато вспоминалось потом, как долго и молча тащились совсем безлюдными и настолько покатыми в обе стороны улицами, что поминутно приходилось хвататься за подвернувшиеся фонари да водостоки. Где-то в конце мирозданья истинно бесовский месяц выглянул из летящих мглистых облаков, высветил поселок, куда шли. Предпоследний в левом порядке одноэтажный флигелек поприветливей смежных — без громыхающего пса на цепи, под уютным, истинно **мамврийским** осокорем и приветливым, на всю местность единственным огоньком в окошке — как раз и принадлежал Алешиной матушке, взалкавшей Бога гостеприимной вдове.

— Не прибьет нас с тобою, полуношников, скалкой старушка твоя? — робея на пороге, из последних сил осведомился о. Матвей.

— Хорошо бы, а то совсем на корню засохла. Лизонька у нас погибла, вот вторую неделю, очей не смыкая, все смотрит внучке вослед. Большую помощь окажешь, если беседку с мамашей проведешь в давешнем духе, **потуманнее**.

— Обузой бы не стать заместо подмоги, чтоб вреда не получилося... — жался перед дверью о. Матвей, чтобы не пугать хозяев покойником в доме, а самому не лишиться крова в ужасную ночь.

Имелось в виду, что теперь не хватило бы сил и панихидку отслужить, но тот не понял намека.

— Какой же нам от тебя вред! Соседи не заходят с утра, а как с работы вернусь, сам же тебя и на вокзал после обеда доставлю. Только мы с тобой и виделись...

Глава XXV

С самого начала везло о. Матвею на людей: словно за руку вели сквозь беду. Как и в домике со ставнями, сытной пригаринкой веяло от деревянных, обжитым теплом пропитавшихся стен; цветные блики лампад, нарядно распространявшиеся по оклеенному бумагой потолку, усиливали целительное сходство.

Лишь по дороге домой выяснилось, что бесценная старушка горбуна четвертые сутки с постели не поднимается, при смерти лежит.

И здесь, на исходе души из тела, старухе потребовалась маленькая уверенность, что случившееся позади, осиротевшие ее утраты самых близких сердцу лишь временная разлука до встречи, достоверность которой могло подтвердить лишь авторитетное лицо, простой батюшка старого закала. И горбун считал долгом совести своей возместить старухе оказанную ему щедрую материнскую ласку, скрасившую убогое его детство.

Кстати, в глазах последней настолько неправдоподобно выглядел рассказ сына об отысканье живого священника желательных параметров, что имела все основанья заподозрить в лице Алешина спутника одного из тех небесных посланцев, что имеют обыкновенье именно в образе немощного странника являться к верующим среди ночи, без свидетелей. Да и самого о. Матвея, несмотря на близкое к беспамятству состоянье, крайне взволновало — откуда у бедной и с одра смерти уже не подымавшейся женщины нашлись силы самолично встретить в сенях и затем предаться деятельным хлопотам по устройству дорогого гостя. Гипотеза сведущих лиц: якобы таинственные явления проистекают всего лишь из еще не открытых нами обстоятельств, — помогает правильно истолковать и такое, в частности, чудо-творенье — как посчастливилось хозяевам утаить от неусыпных соседей недельное пребывание беглого лишенца.

Вскорости самовар шумел на столе посреди небогатого, зато щедрого у запасливых старушек угощенья, и сама она, странно помолодевшая в предвиденье близкого чего-то, почитаньем своим поминутно уличала ба-

тюшку в его потусторонней принадлежности. Тот, сокрушаясь о своем вынужденном самозванстве, тем не менее по отсутствию иного места для ночевки принимал эту простецкую дань веры и благочестия. Впрочем, жаркий сумбур в голове и ломота под лопаткой уже клонили старика на бок, когда в добавленье ко всему женщина стала стелить ему коечку сына, который во углубление своего отступничества от великой доктрины даже не пытался разъяснить матери ее заблужденье.

— Я сам, пусти, я сам... — за руки хватаясь, вполсилы отбивался о. Матвей. — Половичком прикрыли бы меня в уголку, мне и хватит!

Несколько суток затем продолжалось бредовое бегство в том же, что и наяву, направленье. Настигающие голоса гнали его по сумеречной равнине без неба и дорог, пока не проваливался в спасительную яму забытья. В передышках просветленья неизменно заставал вблизи свою милосердную самаритянку. Светясь изнутри, поила ниспосланного ей постояльца обжигающим отваром малины с какой-то райской травкой пополам. Лишь одержимость подвига да ожиданье наставленьица помогали ей держаться на ногах.

Подобно основателям всемирных религий о. Матвей тоже, хотя и с меньшими успехами, пробовал смастерить из наличных богословских символов некое универсальное уравнение, куда вписалась бы подноготная суть всего на свете. Сооружения его с легкостью карточных домиков рушились при легчайшем дуновенье разума: галлюцинаторное, давеча, раздвоенье истины служит тому примером... Впрочем, здесь он исходил из церковного предания о так называемых **последних временах** с воцареньем тысячеликого Антихриста. Было предсказано также и постепенное, логически неуязвимое и почти ускользающее от внимания созревание человечества к перемене духовного подданства в обмен на обольстительные дары науки, техники и комфорта. Особо чувствительных наблюдателей, вроде о.Матвея, и впрямь смущало странное совпаденье некоторых черт современности с опознавательными вехами грозного **преддверия**, вроде всеобщего упадка веры, кровопролитных войн, нарожденья лжепророков, раннего оскопления душ наряду с ослепле-

ньем возгордившихся умов, возрастающего могущества, направленного к самоистреблению, и многого другого — вплоть до пугающего портретного сходства нового владыки, скажем, в лице всегубительного Армиллия, кое с кем из деятелей эпохи.

Рясофорному вятскому мужику не под силу было одолеть сей наиболее грозный мистический диамант во всех его темных гранях, — для постижения Господней логики поневоле приходилось переводить его **на язык родных осин**. Казалось бы, как порешился Он, когда-то бичом изгнавший осквернителей из храма, ныне беспрекословно отдавать на разор и посмешище свои запустелые алтари? Значит, приспело ему время отстраниться от опеки, оставить людей наедине с собою, чтобы без принудительного напоминанья колокольного избрали себе завершающую цель бытия, как и средство к ее достиженью. В системе Матвеевых образов, как оно следует из сто пятьдесят первого псалма, пришел срок великой смены, и вот Христос покидает земное царство, уступая его во временное владенье антиподу своему. Иначе как смог бы он, в смысле совести, вечной мукой карать окаянных деток за преступленья, содеянные при его всевидящих очах, под двусмысленный шепот евхаристии? Пожалуй, даже малость запоздал с уходом, ибо по всем показателям в обрез оставалось сроку до второго пришествия, когда осуществится итоговый эпилог христианской эры... Словом, по о. Матвею, хотя бы из чисто престижных соображений инициатива расставанья должна была принадлежать Христу, на поверку же все получалось наоборот, о чем свидетельствовало постигшее о.Матвея на одре болезни крайне знаменательное, почти пророческое виденье, пожалуй, даже не уступающее описанным на острове Патмосе.

Перед тем как провалиться в очередное свое бездонное безмолвие, душа о. Матвея зажмурилась и потом громадная пустота стала кидать ее из стороны в сторону, так что сердце едва не порвалось от качки, и неизвестно в точности, сколько протекло времени от закрытия глаз, когда же приоткрылись, то почему-то застала себя на втором сверху ярусе кладбищенской колокольни, но уже без следов былого запустенья. Убрали сорную березовую

поросль кругом, пополам с повителью, успели починить пролом в балюстраде, образованный при сверженье колоколов в начале революции. В памяти Матвеевой еще кровоточило воспоминанье, как ужасно медленно падали они, отшибая карнизы и водостоки, чтобы с жалобным стоном расколоться о старинные надгробья внизу... Как живо помнил он и самое это место! Не здесь ли где-то, как раз над лестничным проемом, пытливый Егор, исследуя действительность на предмет сокрытых кладов, обнаружил в заделанной нише летописную тетрадку с историей старо-федосеевской обители? Но уж совсем непонятно, откуда взялась здесь тоже, видимо, подновленная ради такого случая фреска Вознесения Христова, да и не в том суть...

В силу особого светопреломительного эффекта, что ли, вся земная обширность открывалась сейчас о. Матвею для обозрения как бы в развернутой меркаторской проекции — видная даже с изнанки земного шара. Однако не восторгом надмирного летания, как в годы молодости, а гнетущей тоской неизгладимой, еще непонятной вины был пропитан тот ранний дрожкий час. Не совсем и расцвело пока, а уже все собравшееся внизу несметное человечество было на ногах, — и теперь должна начаться одна лютая историческая чрезвычайность, чтобы полностью управиться к вечерку. Во избежание помехи убраны были там не только кладбищенская роща с птицефабрикой, но и пригородные московские строения вдалеке, и как легко просматривались за чертой горизонта также другие мировые столицы, могущие встретиться у него на пути. Чуть приглядевшись уже, можно было подметить начавшееся медлительное шествие. Обтекая Матвееву колонну, людская масса монолитно удалялась в сторону небосклона. Подвижные трещинки разбивали равномерно ускоряющуюся лавину на отряды помельче, как то: институты, научные корпорации, парламенты, профсоюзы, секты и политические партии, объединенные на базе алчности, напрасного любознайства, безумия или других сомнительных вдохновений, чтобы с помощью конференций, забастовок, лекций, экзекуций, махинаций, также международных конгрессов и симпозиумов наилучшим способом осуществлять сделки, восстания, открытия,

монополистический грабеж и аферы помельче, тем не менее благоговейно сохраняемые в памяти потомков под видом великих достижений, священных ошибок, переходных эволюций или подлежащих уточненью исторических предначертаний, совершаемых во имя благоденствия, равновесия, экономической справедливости или братства с ограниченными правами во имя величайшей доктрины и других не разоблаченных пока ухищрений прогресса. Вся эта бесчисленная громада при внешней стабильности находилась в плавно-ускоряющемся движении в ожидающую ее историческую закономерность.

Самое движенье ее протекало без малейшего перерыва положенной ей деятельности: так что больничный персонал на ходу исполнял срочную операцию с экстирпацией чего следует, а кабинет министров в деловом темпе обсуждал обострившееся пограничное тренье, а ведомственные ансамбли песни и пляски с должностным оптимизмом репетировали вприсядку номер высшего танцевального пилотажа, а ортодоксы с приставными бородами глубокомысленно приспособляли единство противоположностей к генеральному моменту наступающего перехода количества в качество. Меж тем как хорошо оборудованные враждующие войсковые соединения, не теряя драгоценного времени, уже вступали над головами ихними во взаимную перестрелку по неписаному джентльменскому соглашению — «вы кройте наших, а мы будем ваших»... Никто не стоял без дела в этой реке прогресса, но все двигалось в светлое будущее, как на параде, неся над головой атрибуты своей специальности. И если руководящие кадры имели при себе не мешающие руковождению предметы полегче — портфели, скрижали, знамена, зонты или что-либо из дирижерского оборудования, то производящие на тысячах воздетых рук держали фанерные, а порой и заправдашние эпохально-индустриальные сооружения, как то: блюминги и слябинги, нацеленные в глубь космоса дальнобойные телескопы или пускай еще недостроенные, но уже обреченные на потопленье или сбитие — корабли морские и воздушные, или, например, вертикальные, ростом в километр и без единой заклепки цельнотянутые из нержавейки сейфы с валютным экстрактом из

экономически препарированных душ человеческих и, наконец, почти всепланетного значения промышленные предприятия, беспрерывным потоком выпускающие могущественный инвентарь цивилизации, скажем автоматических перфораторов, для пробития какой-нибудь неотложной дыры во всю толщу земного шара, а то и посолиднее, если потребуется для счастья населения или, например, неохватные нормальным взором, на бесшумных винтах, перпендикулярно-пневматические струбцины, рассчитанные на рекордное ущемленье любых, не только космических тел, но и всего лишь подразумеваемых по своей ничтожности, чисто умозрительных штучек с последующим их ужатием в нулевое ничто. Большинство из перечисленного было самошагающее, за исключением высших указательно-вдохновительных и карательно-запретительных механизмов, которые в силу хрупкости и по своему рангу изнеженных владык двигались на тесно сплоченных площадках из трепещущих спин людских. О. Матвею сверху не видать было ихних, в ноги себе устремленных лиц — одухотворенных или озлобленных, или безучастных от изнуренья, или вообще настолько стершихся от посменного воздействия животным страхом утраты чего-то, бытовым огорчением, раболепной надеждой или сознанием ничтожества своего в беспредельном множестве, что уже нельзя было выяснить степень добровольности, истинное политико-моральное настроение, равно как остаточный запас прочности, хотя взаимно подбадривали друг дружку на ходу всякого рода восклицаньями, литаниями, инструктивными докладами, национальными гимнами или героическими ораториями на библейские темы, также хоровым исполненьем оперно-погребальных песнопений и просто интимных пьесок вольного содержанья, играемых на литаврах, паровозах или длинных сверкающих огнем инструментах пушечного типа — лишь бы заглушить неизбежные при столь монументальной подвижке чавканье разминаемой почвы и скрежет шагающего множества, также очагами кое-где и в международном масштабе возникающую матерную брань, но прежде всего собственную их смертельную задышку громкостью в сто тысяч ревущих ниагар, аустерлицев, кракатау, океанских прибоев. Примечательно,

что для самого о. Матвея описанное здесь необузданное шумовое оформление шествия тонуло, бесследно тонуло, растворялось, пропадало в еще более емком безмолвии так же, как непроглядные пыль и дым, взвихренные столь гигантским перемещеньем грузов, не застилали запечатленные на облаках апокалиптические видения, образы или просто картинки светлого будущего, а также и сугубо материальные объекты, как, например, радиовещательные комплексы с уймой радиально же центроустремленных студий с высотной посреди, на всю галактику, уникальной башней вавилонского профиля для передачи в самую вечность злободневных новостей, самодеятельных концертов, вечерних университетов, политучебы. Всего там не перечислить, но ласкали взор и манили к себе многоквартальные, атоллового типа небоскребы под фирменным девизом **все для человека**, где последний, благодаря рациональной системе поэтапно смонтированных промежуточно-фазовых учреждений, начиная с родильных, школьно-молитвенных и пищеблоков до спортивных зал, мастерских самообслуживания и, наконец, особо торжественных туалетно-погребальных секторов, оборудованных на предельной игре воображения, проходил житейский путь, не покидая своей ячейки, не подвергаясь случайностям погоды или уличного движения. Передового мечтателя особо привлекало наличие у каждого жителя окошка для любования стихиями с последующим отражением в стихах дозволенных размеров. Кстати, в таких комбинатах с уплотненно-замкнутым циклом земного счастья искусно решалась задача многомиллиардного перенаселения, сосуществования и равновесного размещения... но, разумеется, так и сновали меж них спасительные противоречия, гнилостные твари специального назначения, мощные испепелительные агрегаты, призванные обеспечивать прогрессу дефицитное пространство для творчества, буйной размножительной деятельности и процветания: приходится насильственно стирать с доски вчерашнее для написания там завтрашнего.

Несмотря на явные кое в чем иронические излишества, мощная поступь человечества должна была, казалось бы, располагать стороннего зрителя к бодрой уве-

ренности в завтрашнем дне. Лишь восприимчивостью натуры и вообще нездоровьем следовало истолковать повышенное беспокойство о. Матвея при виде, например, шагавших на дальнем фланге, опять же под заграничную музыку, молодых людей в пестрых футболках и с альпенштоками. Скалолазы, что ли? Как если бы наблюдал шествие брейгелевских скелетов! Правда, зрелище простиралось не только во всю ширь пейзажа, но и в глубь времени — тоже как бы в меркаторской развертке. За грядой розовых непроспавшихся тучек легко угадывался мглистый вечер с последующим чередованьем тьмы и света, но так было устроено, что и после тысячекратных повторений суточной смены вполне удовлетворительно просматривалась какая-то роковая, может быть, предпоследняя, перед чем-то, наша ночь, — сквозь нее просвечивало пустынное, уже чистое утро. Видно было, как передовые эшелоны человечества вступали в сизую неблагополучную дымку грядущего и дальше в тонкую, вовсе непроглядную синь, что образуется от сгущенья пространства. К сожалению, если бы даже запомнилось, старо-федосеевский батюшка не располагал словарем для обозначения качественной новизны происходивших там процессов с их безумными последствиями, которые в подробностях и совсем вблизи якобы наблюдала его дочка.

Не тревогой за судьбу незнакомцев, которых и племени-то издали различить не мог, окрашена была та минута, скорее нарастающим беспокойством по поводу чьего-то несомненного за спиною присутствия, хотя кому бы находиться там, кроме нарисованного на загадочной фреске. Еще не успел преодолеть в себе сладостную жуть открытия, чтоб обернуться, как уже увидел краем глаза. Сразу за его плечом, на сквозном дощатом настиле, видимо, сошедший с фрески **Вознесение**, стоял Христос. Он был босой, в линялом своем, в чем возносился, не по климату легком хитоне, тогда как на о. Матвее имелось старенькое, на ватине, Вадимово пальтецо внакидку. Вытянув шею, он старался заглянуть поверх балюстрады на гигантское переселение народов... И что мог ответить старо-федосеевский батюшка на его беглый вопросительный взор? К затруднениям, не меньшим, чем с гор-

буном Алешей и его давешними недоуменьями, примешивался жгучий стыд за род людской, за коих профессиональным предстателем числился доныне. В самом деле, раз уж подступали предписанные сроки расставанья, то для соблюдения небесного престижа Христу полагалось бы первее покидать своих, умственного совершеннолетия достигших питомцев... но нет, они сами всем табором уходили от обременительной Христовой опеки в некую обетованную даль. И вот с горячечным нетерпением о. Матвей торопил их поскорее сматываться из поля зрения, пока тот, рядом, не разгадал смысл великого исхода, неблагодарное **их** поведенье.

Следовательно, ни всеведенья Божественного, ровно ничего не оставалось в нем от прежнего пророка и сына Божьего, так как в силу чрезмерной щедрости вчистую роздал себя людям. По глубочайшему Матвееву убеждению, все лучшее, нажитое ими за вот истекающий исторический период, приобретено было через него одного, в том числе и нынешняя мечта о всемирном братстве, если только шествие на вершину не задержится на промежуточной ступеньке блаженства, наиболее соблазнительного для черни и рабов. И значит, нынешний его подвиг выше голгофского, когда лишь человек умирал в нем, чтобы из местного божества стать вселенским! Но здесь до спазма в солнечном сплетенье постигает о. Матвей очередное открытие: «...настолько растворился в самой идее человеческой, что после неизбежного, по Писанию, сокрушения храмов вряд ли и в музеях-то уцелеет о бок с веселыми, в мраморе танцующими, виноградной лозой увитыми противниками своими, однажды сошедшими с престола в благодатные сумерки мифа». Ибо не пора ли, крикнет кто-то, предать погребенью обвисшее на гвоздях, с прозеленью смерти в его ужасной наготе некрасивое тело, двадцать веков провисевшее перед **нами**, прокричат **они** в сто тысяч голосов, как напоминанье о должке, мистический укор и вымогательство злата и душевных калорий под сомнительные райские векселя? И о.Матвею, с одной стороны, хочется утешить продрогшее, до жалкости непрактичное, бесконечно одинокое теперь существо, чтобы не огорчался из-за окрылившихся птенчиков, все равно однажды отлетающих на волю

из стеснительного родительского гнезда... Но мешает ему плебейская потребность всемерно продлить в себе гадкое и сладостное удовлетворенье по поводу наконец-то достигнутого равенства с падшим государем, на собственном хребте изведавшем — почем тут у нас, внизу, фунт лиха земного. Впрочем, без вражды или мстительного чувства за, пускай по недосмотру ниспосланные о. Матвею горести, хотя чего ему стоило в бытность его хозяином вселенной проявить немножко вниманьишка служителю своему в его многократных бедах? Тем не менее о. Матвей готов без мелочных попреков предоставить временный приют с полным пансионом бывшему Богу своему: все одно без дела пустует в домике со ставнями такой уютный да покойный чуланчик с запором изнутри, с подводкой освещения — почитать на сон грядущий. И самая грешная мысль: «...а что пролитым деготком припахивает, так по народной примете слабогрудым от него только здоровье!»... Пряча во взоре нестерпимый восторг совершаемого благодеянья, о. Матвей прихватывает постояльца под локоток в намеренье отвести на местожительство. Но здесь опять не обойтись без оговорки. В действительности никакой колокольни не было и в помине и, как, наверно, догадались прогрессивные мыслители, виденье Матвеево, а также связанные с ним рассужденья проистекали единственно из его нездоровья, но самый характер их позволяет заключить, насколько указанная публика увязла в тине мистики, невзирая на разоблачительные сочинения с проясняющей книгой Шатаницкого во главе!.. По счастью, из создавшегося тупика о. Матвей снова проваливается в свою жаркую мглу и летит, летит, суматошно хватаясь по сторонам, чтобы по прошествии несчитанного времени самому очнуться на койке у чужих людей.

Это был единый по содержанию, три ночи кряду длившийся сон, и странно, что, несмотря на свое беспамятство, о. Матвей ждал его продолженья, и так не досмотрел до конца.

Бедная проходная комната, и никого не слышно кругом. Лишь, благовествуя о жизни, капля по капле стучит вода. Вечер в окне — пробившиеся сквозь фикус оранжевые пятна гаснут на сбившемся одеяле. Неуверенным

прикосновеньем больной благодарит солнышко на обоях, что навестило мимоходом. С фото в самодельной фанерной рамочке над комодом глядит немолодая чета: женщина склонила голову к суровому крепышу в знатных усах. В своей милосердной самаритянке, что минуту спустя принесет питье, о. Матвей узнает неутешную вдову. Знакомство происходит без единого слова. «Что и в оправданье себе сказать, не знаю...» — взглядом кланяется о. Матвей. «Мало ли всякого горюшка приключается в пути!» — следует улыбчато в ответ.

Ослабевшие пальцы еле держат кружку с малиновым отваром, но тем отрадней крохотный просвет к выздоровленью. Слеза бежит при мысли о доставленных заботах: «...и доктора не призовешь без страхового-то листка, да и сама бумажка на существованье далеко»! Численник в простенке указывает на длительность оказанного Матвею гостеприимства. Пожалуй, меньше-то чем за трое суток и не пропустить было бы целое человечество со всем его скарбом через истончившийся, кровоточащий мостик сознанья... И все еще тянутся завершающие арьергард. И в передышках каждый раз Матвею становится совестно за род людской, что после двадцативековой работы Христос остается один...

— Не чаял в живых остаться, старушка ты моя родная, эва, чистый да прибранный лежу, ровно барин какой. Горше всего, что и отплатить бродяге нечем...

— А нам твоего и не надо. Мы и так за все благодарные!

Помимо старинного народного поверья, что иной высокий гость скрывается под рубищем постучавшегося странника, она и впрямь признательна была за свалившуюся ей на руки обузу, малость поотвлекшую ее от созерцания ранней могилы. Она была так простодушна, что представлялось бессовестным — монетой профессионального утешения воздавать ей за оказанную милость. Как ни вертелось на языке подоспевшее было к месту красивое сравнение, что бессонным, истинно евангельским трудом своим, словно рублик новенький внесла в небесную сберкассу, постеснялся произнести ей в лицо.

— Ведь я не в смысле деньжат, добрая старушка, — настаивал о. Матвей. — Может, обувка в доме скопилась

неисправная... так ты не гляди, что больной: на иглу рука у меня ловкая да проворная.

— Уж полеживай, раз на ногах не стоишь. И обувка у нас, слава Богу, пока в целости! — и все хлопотала вкруг чужого старика, заварной малиной поила, одеяло лоскутное подтыкала со всех сторон, чтоб не зябнул.

В довершенье первого знакомства о. Матвей приоткрыл ей немножко про себя, хотя и в не полном объеме, объяснив свое скитание якобы приспевшей под старость непременной потребностью повидать перед смертным часом любимого сынка, проживающего на холодных отрогах гор сибирских... Только и было разговора между ними, а тремя часами позже заглянувшие перед ужином хозяева, к немалому удивлению своему, обнаружили жильца в полном дорожном снаряженье, на ногах. Прихватываясь для верности за стенку, он обматывал себя по поясу пеньковой веревкой, которую наравне с топором и заплечной сумою почитал немаловажной страховочной снастью российского существования. Собравшись уйти втихомолку и чтоб благодетелей не беспокоить, он и постель успел сложить, и раскладушку в уголок пристроить.

Горбун Алексей долго взирал на жалкое зрелище, невольно служившее к познанию действительности, потом мать с прискорбием обиды осведомилась, далеко ли собрался, на ночь глядя, знаменитый ходок и путешественник. Оставалось изъясниться начистоту:

— Спасибо, добрые люди, вовек не забуду. Кабы не вы, то и лежать мне нонче в прохладном помещении с небольшим полешком в головах. И вы себя не попрекайте... а раз прибило волною ночной мертвое тело, вы толканите его легонько, оно и поплыло своим путем. Понежилось на бережку, пора и честь знать!

— Видать, совесть заела, что нищих разорил дотла?

— А не в том дело, мать, — учительно сказал о. Матвей. — Вот мнится мне с утра, будто стучатся за мною... а не видать, кто за дверью-то стоит: может, вовсе и не человек с ружьем. Не ровен час — помру, куда вы, милые, покойника денете? Без снежка и на салазках не отвезешь, получаются лишние хлопоты.

— Так ведь упадешь через двадцать шагов, поп глупый.

— Тоже неплохо. Отлежуся, как дворники не заметут, и опять с Богом в дорогу. Бродяжке спешить некуда... — И еще раз с церемонным поклоном попросился отпустить его **домой**, не уточняя значение последнего слова.

Так убедительно звучали Матвеевы доводы, что скрепя сердце хозяева согласились на его уход с условием отложить до **завтрева**. В самом деле о. Матвею оставалось досмотреть великий исход человечества, и чуть смежил веки, пришла в движенье необозримая равнина, но уже без подробностей и свидетелей. Утром горбун Алеша ездил на вокзал выправить билет батюшке, а после обеда состоялась, наконец, беседа наставника с благодетельницей. Неизвестно, чего он по старинке нашептал ей в уголке, но только блеск жизни появился у ней в глазах, будто и впрямь повидалась с любимой внучкой...

К отъезду все было пересказано, расставались молча: не родные. Ради особой конспирации беглец позволил проводить себя лишь до такси, по его же настоянью вышли через заднюю скрытную калитку, где благодарная хозяйка вручила отбывающему попу узелок провианта, принятый с ритуальным поклоном — как когда-то поминальную кутью. Держась за что-то и, видно, сослепу, старуха все кланялась ему вдогонку, благодарная за душевное облегченье на расставанье с жизнью, которую без боли и сожаленья покинула три дня спустя.

В предвиденье неминуемых дорожных осложнений, по привычке русских, путешественник отправился на вокзал в одиночку двумя часами раньше расписания.

— Куда ехать-то? — обернувшись через плечо, спросил таксист.

— Голубь мой, куда я нонче направляюся, — ответил ему о. Матвей, — оттуда возврата нет, — и в ту минуту это была сущая правда, так как отправлялся он в свое скитание с твердым намерением сгинуть, бесследно раствориться в алтайских дебрях.

Глава XXVI

И вот уже двое суток о. Матвей ехал в поезде. Покачиваясь на верхней вагонной полке, было так славно и почти бесскорбно, как умершему, смотреть струящиеся

внизу за окном паровозные искры, убегающие назад российские пространства, но всех дорог мира не хватило бы укачать его печаль. По ходу поезда, шедшего без остановок, уже пройдены были все фазы расставанья с прошлым — вплоть до момента, когда еще теплится мысль, но уже исчезает осязанье, и наконец затухающая надежда остается наедине со страхом — выйти наружу, где тебя охватит озноб потусторонней новизны. Все больней натягивалась соединительная нить с домом и семьей, не рвалась наотрез.

Усыпляюще прыгали в окне нитки телеграфных проводов, и первые два дня никакие посторонние впечатления не достигали его сознания. Лишь на третьи сутки стал различать своих попутчиков, прислушиваться к их беседам за откидным столиком. Однажды привлекла его вниманье чинная беседа и тема, близкая ему по судьбе и полузапретной специальности. На чей-то скрипучий вопрос — далече ли **стопы наладил**? — такой же стариковский голос отвечал, что вот, супругу схоронивши, направляется от горестных воспоминаний, с головой зарыться в глушь алтайскую, буде уцелел хоть клочок человечьей целины.

— Мне, вишь, от матери дар достался неприступные болезни маненько врачевать, за которые доктора не берутся, так что мой кусок хлеба завсегда при мне.

— То-то гляжу даве, надежно ты подковался, в самый раз по неприступным горам травку целебную собирать!

Тоже и о. Матвею еще днем, когда на станцию за кипятком выбегал, бросились в глаза подвязанные к котомке сапоги с несусветными подошвами чуть не в ладонь толщиной.

— Не скажи, — пояснил их, видимо, владелец, — нонешняя подметка неноская. Прежнюю-то, слыхать, во спирту томили, а теперь его самим забыться не хватает... Все обман да химия, да пришитая борода в ход пошли!

— Правда твоя, вещь стала ненадежная, на короткий срок жизни. Раньше-то в Расее избу ли, снасть ли домашнюю какую и внучатам ладили на бессрочную службу, а теперь абы на себя хватило! — И оттого, что сумерки, как и одиночество, располагают людей ко взаимному дове-

рию, вдруг поведал собеседнику щекотливый пустячок, от чего в иное время и воздержался бы, пожалуй. — При дележке-то России, как почали разные расклевывать ее тысячелетнее добро, у кого клюв подлиньше, тем жирней досталося: золотые потиры церковные для причастия, перстни великокняжеские прямиком с теплого еще пальца, тоже буржуйские шубы енотовые. Нашему же Гавриле только и пришлось на долю при разгроме соседнего именьица малоношенные генеральские штаны — **галифе**, красные — что твое пламя. Единственно и сказали-то ему, чтобы вровень всем в ответе быть — «Возьми и ты себе чего-нибудь, не с пустыми же руками домой идти!» Сам бы не посягнул на покойницкое-то. Не то чтобы тихий, а завсегда на гульбу опаздывал, когда уж прочие, отвалимшись, за песней сидели-качалися: сыты-пьяны и нос в табаке... Всю Гражданку, рук не покладая, в них и провоевал, при такой амуниции в тылу сидеть зазорно. Под конец вдохновился было полностью на генерала укомплектоваться на манер знаменитого, тоже с четырьмя Георгиями земляка, да кончилась на беду! С разбегу, видать, будучи передового убежденья за всемирную справедливость, он у нас на селе и в колхозы загонял — где лаской, а где и смазкой во всю пятерню. Опять же как ему перечить в таких-то штанах! Тут заодно и переименовали нас в честь товарища Бела Куна для поддержания духа вроде. Не успели отгулять, повсеместно объявили **гидру** вылавливать, которая осталася от царского режиму. А поелику никак штанов не хватит кажному в середку заглянуть — какого он колеру изнутри, то и придумали заместо розыска по разверстке брать вроде продналога. С вашего, положим, селения **Бела Кун** выдать столько-то штук классового врага — кого на трудовые работы, кого на умерщвленье... И случись, как на грех, по нашему району недобор получился против того, сколько по науке исчислено. И как мы стояли все на весенней лужаечке, то и глянулся приезжему наш Гаврилов в красных-то штанах, его и назначил главносопровождающим на тот свет... заедино с остальными горемышными и в теплушку грузили... А знамо дело, не сласть житуха лагерная, на лесном повале с темна и до темна, да стужа, по деткам тоска, да все впроголодь. Оно, может,

и обошлось бы, кабы не передовое-то убежденье, а то с двух концов жгет. Мне на пересыльном один из тех краев встрелся, евошний сосед по нарам, про Гаврилу сказывал — быстро извелся, слинял вчистую, а штанам его все нипочем. По первому же году напала хворь таежная, чирьем покрылся, паек сократили. Ну, за ненадобностью и сменял свое сокровище лагерному барыге за полбуханки хлеба да сахару не четыре ли куска, а тот по цене чуть не вдвое уступил одному тамошнему уркану, которого в них же и застрелили через недельку за глупое словцо. Месяца два потом конвойный ими щеголял, пока не загнулся от сыпняка... Но, поди, и сейчас на ком-нибудь пламенеют. Подумать только, ткань какая в старое время без износу выпускалася, скольких хозяев пережила!

— Так ведь заграничная, поди? — усомнился было собеседник.

— Зачем же!.. И у нас, в Расее, кое-что ценное создавалося.

Лишь тут, поддавшись искушению надежды, и выдал свое присутствие о. Матвей, ибо во многих тогда судьба неведомого Гаврилы вызвала бы горячий отголосок.

— Извиняюсь, — свесившись вниз во тьму, спросил батюшка, — Гаврила ваш воротился ли домой из неволи-то?

Собеседники смолкли, застигнутые врасплох.

— Дальше судьба его теряется в неизвестности... — после паузы глухо отозвался рассказчик, и можно было догадаться, что и для него самого совсем иная начинка содержалась в повести о генеральских штанах.

Хотя в дальней дороге в числе попутчиков всегда найдутся занятные рассказчики о пережитых приключениях тогдашней жизни, так что и при собственных житейских обстоятельствах о. Матвея не скучно было бы ему добираться в обетованную алтайскую глушь, чтобы безвестно похорониться там, но неотступно преследовали его воспоминания обо всем, что навечно оставалось позади. И вдруг по прошествии трех суток паденья в никуда, повинуясь безотчетной потребности последний раз взглянуть на покинутое гнездо, почти в невменяемом состоянии, внезапно вышел на ближайшей станции, чтобы с таким же поездом дальнего следованья вернуться на прощальную минутку к окошку домика со ставнями.

Глава XXVII

Вдохновленный событиями и покушением на него со стороны классового врага в лице отрока Егора, фининспектор Гаврилов возвращался домой, мысленно восходя в самый зенит открывавшейся теперь перед ним карьеры.

По выходе из кладбищенских ворот два голоса громко заспорили в самой гавриловской середке, так что пришлось остановиться прямо посреди мостовой; ни души не виднелось кругом. Не замечая ледяной влаги на лице, глядел в моросящее небо и не без досады слушал их несвоевременные прения, пока укоры совести не уступили доводам самосохраненья, неписаному закону великих кораблекрушений: пробираясь к шлюпке по обломкам, позволительно ступить на утопающего, все равно идущего ко дну. Нет, пора, пора было всерьез приниматься за давно задуманное предприятие, которое в наиболее скромной словесной упаковке выразилось бы как **штурм мира**.

Правда, определенных планов еще не имелось у фининспектора Гаврилова, — ничего, кроме необузданных мечтаний, которыми неловко было делиться даже с женой. Но не было, наверно, ни армий, ни соратников и у его знаменитейших предшественников, всяких полководцев и законодателей, когда трубный сигнал судьбы впервые призвал их к величию из ничтожества. Примеры виднейших современников, взять того же Скуднова с его стремительным восхожденьем, вдохновляли и рядовых граждан с повышенной смекалкой на самые дерзновенные попытки, а Гражданская война в украинских степях, где провел юность Гаврилов, — точнее, феерически-спектральная расцветка провеявших там знамен, наглядно показывала, что сходные по судьбе люди тем охотнее объединяются вкруг любого из них, чем неосуществимее были начертаны на нем слова. На первых шагах надпись сгодится и прежняя — до очередной эпохальной поправки, ибо страждущее человечество обожает, чтобы его от чего-нибудь освобождали... Что касается до самой арены возвышенья, то по нехватке образования и талантов Гаврилову больше всего подходила политика, где как раз только и требуются энтузиазм да воля. После удачного

выступления в домике со ставнями, естественно, хотелось без дальнейших помех продлить в себе предчувствие желанных перемен, не уточняя их наперед, чтоб не ослабить сладостную внезапность сюрприза... Он отправился домой пешком, несмотря на обещанье вернуться пораньше, дальность расстояния, атмосферные осадки, жестокое нравственное утомленье, так как, по слухам, ничто так не изнашивает великих, как созерцанье грядущего.

У себя на службе и в своей среде Гаврилов являлся признанным эталоном той посредственной чиновничьей серединки, где ведущими добродетелями считается безответная исполнительность с оттенком кроткого восторга при получении директив, неслышная приспособляемость к сменам ведомственного климата, но прежде всего гарантированная непричастность к излишествам ума или опасных дарований, которые при непомерных территориях страны, ускользающих от единого административного охвата, да еще подхваченные, к случаю, раздольным континентальным сквознячком, могут угрожать устоям государства. От века служилое сословие в России для укрепления его в духе постоянной, даже ожесточенной готовности к казенному делу, содержалось на умеренном, без жиринки, пайке того скромного благополучия, что с легкой руки вышедших оттуда бунтарей прозвано у нас **мещанским счастьем**. Под воздействием идей века и при участии передовых искусств стало и там пробуждаться самосознанье в эпохальном значенье взрывающегося большинства. На свою беду фининспектор Гаврилов обладал, правда, лишь в зачатке, всеми качествами, необходимыми избраннику судьбы, прежде всего воображеньем для углубленного созерцанья своих обид.

Помимо почти экстатического должностного старания были пущены Гавриловым в ход самые испытанные тайные средства скорейшего возвышения. Кроме того, что до полуночи, а то и дольше просиживал за служебным столом, составляя всякие полезные акты, сметы и ведомости, также просто резолюции, он являлся бессменным членом месткома, многолетним отличником по изучению передового марксизма, активистом любых общественных начинаний — от субботников до массовых походов за культуру, но в первую очередь ударником

по взиманию недоимок, причем и сам писал в стенгазете удачные статейки о значении учетного планирования и планового учета, да еще сверх того, нередко с риском возбудить ненависть к себе со стороны сослуживцев вплоть до покушения, своим взносом открывал добровольные сборы в пользу угнетенных ветеранов земного шара, на что также, помимо досуга и здоровья, тратились собственные средства... Отмечалось также, что на заседаниях не расстается с клеенчатой тетрадкой, куда, не рассчитывая на память, и всякий раз с благодарным удивлением в лице заносит удачные выражения не только ведомственных руководителей или начальников промежуточных учреждений в расчете на скорое их продвижение в общефинансовый зенит, чтобы на досуге вникнуть в заключенные там мысли. Не стоит упоминать о частых, порою ювелирной отделки гавриловских услугах проживавшему поблизости собственному начальнику, лично товарищу Бородаеву, совершаемых с таким глубоким тактом и человеческим достоинством, что принимать их было до щекотки упоительно. Учитывая столь разнообразный массаж административных небес, было бы законно ожидать целый дождик ответных благодеяний. Однако при составлении списков на повышенье, орденок или прибавку жилплощади чиновничья фортуна упорно обходила незадачливого служаку, если не считать трех подряд и потому даже досадных значков передовика финансовой дисциплины, из коих один — явно бракованный, всегда осуществлял худший вариант предположений. Под конец беднягу стала раздражать блудливо-поощрительная улыбка начальников, не менее оскорбительная, как если бы ладонь возлагали на лысеющее гавриловское темя, не подозревая, кстати, что гладят тигра. Что касается означенного Бородаева, например, тот перечисленные выше извивающиеся добродетели подчиненного вообще приписывал своему личному обаянию в беспартийном секторе, воспитательным качествам своего руководства, за что также мучительно дожидался награждения сверху.

Несмотря на образцовый же атеизм, тоже благосклонно отмеченный отделом кадров, во всех неудачах своих Гаврилов в конечном счете винил только небо и, возможно, яростным отрицанием Божества, хотя и без

хулы, подсознательно стремился наказать его за обидное к себе пренебреженье, — чем, видимо, и объяснялся выбор места для той полуистерической исповеди; из поповских-то стен острое словцо скорей дойдет до адресата, чтобы надоумить его на исправление содеянных ошибок. Кстати, по самой природе являясь счетным работником, Гаврилов и мышление свое об окружающих предметах сводил к цифровым характеристикам, как у других оно происходит посредством красок, философских категорий или резвых телодвижений под камаринскую. Исходя из опасного для рассудка допущения, что всему на свете соответствует некое конечное число в секундах, верстах, копейках, штуках и пудах, он еще в детстве брался за опасные для рассудка промеры мира в разных направлениях, в частности, пытался прикинуть, например, сколько соли съедено человечеством за отчетно-исторический период от Спартака до Скуднова, причем — в переводе на годичный дебит озера Баскунчак. С годами не слабевшее маниякальное влечение сказалось с особой силой в потребности подсчитать хоть приблизительно общую сумму урона, понесенного им из-за постоянных недодач — как бы на случай предъявления иска **кому** следует. Но такое предприятие требовало специальной бухгалтерии, ибо самая маленькая неудача в силу неоднократного повторения со всем циклом разочарований и обманутых надежд становилась фактом не меньшего, смешанного с болью нравственного унижения, чем когда бьют веслом по пальцам цепляющегося за борт. Отсюда к любой первичной оценке лавинно прирастал хвост психологических нулей, и потому, из-за физической невозможности подсчитать потенциальный объем всего нам недоданного — в силу безграничности людских желаний! — лучше было применять отрицательный подсчет по глубине наиболее памятных огорчений. Равным образом калькуляция затруднялась и невозможностью оценивать понесенный ущерб в рублях — вследствие спорной стоимости благ в зависимости от натуры потребителя, поэтому у фининспектора Гаврилова как-то сама собою сложилась своя, для собственного пользования, система исчисления несостоявшейся радости — по ее потенциальной емкости,

где единицей измерения, **один раз**, служило количество удовольствия, получаемого от приобретенья одного же **исторического подсвечника**: кроме ценностного понятия сюда вплетался коэффициент морально-правового ущемления. Поистине можно было с ума сойти в этих дебрях уязвленной личности, — описанные симптомы достаточно передают уже необратимый ничем душевный вывих Гаврилова, а мыслители получают простор для прогнозов — какие именно фантастические дела мог бы, в случае успеха, натворить в мире сей, на таком бешеном вращении сорвавшийся с нарезки **мелкий винтик**.

В годы, проведенные им на берегу золотоносного кинопотока, он вдоволь нагляделся на различные виды изобилия, проплывавшие мимо в одни и те же адреса, так что под конец, ко времени перехода в райфинотдел, наравне с профессиональной изжогой нажил острую, буквально до корчей, неприязнь ко всей категории лиц, виновных в преступном обладании талантом. Неоднократно, выглядывая из своего окошечка при выписке кассовых ордеров, убеждался он как в полной заурядности большинства из них, так и в пригодности для совершения над ними некоторых административно-финансовых эволюций, которым уже подверглись остальные области народнохозяйственной жизни. Вдобавок, явственно различая меж ними очевидных, с черной биржи перекочевавших дельцов, к тому времени изрядно засорявших искусство, он и прочих считал ловкими, лишь до поры неразоблаченными мошенниками. Как и его эпоха, Гаврилов исходил из положения, что гениальность, как и добродетель, сама по себе является вознагражденьем за приносимую ими общественную пользу, и потому все, от рождения обделенные свыше, имеют право даже на повышенную долю при распределении благ, чем хоть частично возместилась бы их вынужденная неполноценность: только так, по его убежденью, и могли практически осуществиться столь напыщенные, в своей гуманитарной документации, заветы всемогущего равенства и братства. Вдобавок, избранники являются всего лишь выпаденьем из статистического ряда за счет своих соседей, а если и родятся сами по себе, то питаются опытом и накопленьями предыдущих поколений, и, следовательно, сами находятся перед

современниками в долгу, вследствие неоплатности его становясь как бы их законным достоянием. Некоторые юридические нормы взаимоотношений гения с обществом Гаврилов черпал из мира энтомологии, этого единственного прообраза земного бытия в согласии со здравым смыслом, где труженики позволяют своим коровкам бездельничать на солнышке за каплю сомнительной сладости, без которой, на худой конец, могут легко обойтись. В минуту ожесточенья однажды, как-то сам собою, написался у него меткий, правда, недошлифованный, фельетон, где в несколько гипертрофированной манере сопоставлял трудовую, за всю его страдальческую жизнь, зарплату с потенциальным, даже по существующим разовым ставкам, гонорарам покойного певца Шаляпина, если бы пел, конечно, не ленясь и в полную трудовую нагрузку, пускай даже не во вредном цеху. С годами снедавшая его ненависть превращалась в горький сарказм презренья к так называемым самородкам, которые, на свою беду, и в самом деле редко попадаются без общественно-посторонних примесей.

— Эх, вручили бы мне высший кнутик на годок-другой, я бы их всех быстрехонько на живую руку отрегулировал... — не раз в полушутку и с кротким мерцающим взором говаривал он в присутствии рассеянных начальников, теребя в руках черновые наброски — насколько можно было бы удешевить весь процесс культуры с последующим обращением сэкономленных средств на тяжелую индустрию либо на помощь все тем же малоразвитым странам. — Да и вообще, только мигните, а уж мы найдем куда деньги девать... и, главное, без риску. Ибо истинная тля не может без сиропцу: закройте у ней ту самую выходную точку, и ей баста.

Разумеется, для проведенья подобной реформы пришлось бы самому Гаврилову создать необходимые условия, и, если шибко попросить, он согласился бы выдвинуться для народного блага хоть в пожизненные вожди — вплоть до профсоюза, чтобы на базе более чем двадцатилетнего бухгалтерского опыта производить неуклонное, чуть где возникнут, пресечение беспорядков, также путешествовать по всем странам для налаживанья международных связей в теплой дружественной обстановке и со-

обща давать текущие директивы по всеобщему счастью, ничего не получая от народонаселения, кроме простых овощей, популярности и немножко памятных подарков, а сомневающимся тотчас секим-башка. Тут главное — зацепиться бы, а уж дальше он показал бы свое трудолюбие, доныне пропадавшее без употребленья. К несчастью, по незнанью иностранных языков масштаб предполагаемой карьеры ограничивался пределами своей финансовой епархии... впрочем, история приводит примеры, когда иная проходная волна выносила вовсе случайных, вовсе без финансового образованья граждан на вершину всевластия.

Размечтавшись разок, он прикинул на счетах свои шансы на выдвиженье и ужаснулся количеству соперников, всю четверть века обгонявших его, заставляя глотать пыль своей славы. Горе было в том, что никакая кровопролитная война не помогла бы ему избавиться от них, тем более эпидемия, землетрясенье или другой, вовсе лишенный избирательного действия катаклизм. Для того чтобы пробиться сквозь плотный заслон ненавистных, в ту же сторону склоненных спин, нужно было иметь **руку** на тогдашнем Олимпе. Отсюда проистекала тактика действий: примерным восхваленьем намеченного временщика привлечь к себе его благосклонность и самому кулаками соответственных свершений пробиваться **к руке** навстречу, когда она, длинная и неуязвимая для бешенства людского, протянется поверх голов вытащить его из ничтожества. Способ был так прост и соблазнителен, что фининспектор еще раньше приотвернул бы сей вернейший **крантик** славы, чтобы нацедить себе на текущее процветанье, если бы, по некоторым косвенным обстоятельствам, не опасался шумом струи привлечь к себе общественное вниманье. Надо полагать, однако, что уходившие зазря лучшие годы жизни с той же скоростью текли и для тех, кто постарше... словом, ярость прорвала наконец оболочку терпенья.

Логика действий складывалась так. Надо было поначалу лихой кавалерийской рубкой какого-нибудь все равно обреченного объекта, старо-федосеевского в данном случае, довести его до отчаянного вопля в виде жалобы на фининспекторский перегиб, откуда надзирающие

инстанции узнали бы о безвестном дотоле чиновнике с неукротимо-классовым подходом. Заслуга воина всегда мерилась воплем и корчами врага, наиболее убедительными уху и глазу военачальника. При тогдашней вражде к религии любое чиновничье усердие, даже с превышением власти, отмечалось похвалой и, некоторый срок спустя, служебным поощрением. Приходилось как бы наступить на птичье гнездо и выслушать неизбежный при этом хруст всяких там косточек, скорлупок и былинок. Что касается совести, досадного атавистического страха души утратить нечто, с чего якобы и началось, то в конце концов всякий вправе защищаться от замахнувшегося врага. Как раз в паузе томительной нерешительности и просвистел над ухом у Гаврилова косарь лоскутовского мальчишки. Не ужас гибели или радость сохраненной жизни испытал он в первое мгновенье, лишь облегчительную благодарность кому-то за приоткрывшийся ему доступ в высоту... даже попытался продлить в памяти тот благословенный, скользнувший по виску железный ветерок, который почудился ему взмахом приближающегося крыла. «Ага, проклятый ворон, коршун, орел или кто там, наконец-то заприметил фининспектора на его скифской скале и вот, не без гурманского отвращенья, пристраивается сбоку клевать гадкую гавриловскую требуху... ничего, попривыкнешь!» Даже ощутил себя ненадолго в ряду своих великих предтеч, вроде Марата или Джордано Бруно, но только ему пофартило в смысле абсолютной бескровности, хотя в принципе Гаврилов не отказывался от положенной порции боли, лишь бы не выбила его в самом начале из ритма обновленной жизнедеятельности. Вражеская вылазка удваивала его шансы на скорейшее восхождение и, конечно, в случае судебного следствия, духовный сан не позволил бы старо-федосеевскому попу отрицать факт покушения на госдеятеля при исполнении служебных обязанностей. И вот уже в теле сама по себе являлась свойственная великим трибунам тигровая осанка с характерным почернением зрачков от сознания безграничной власти.

Как у многих других политиков, программа государственных действий выявлялась у него по мере укрепления власти. Больше всего хотелось ему добраться до

гениев, чтобы навести в их среде образцовый порядок, — однако не только приструнить кого следует, но и влить в искусство новое содержание, вытравляя из умов и музеев безнравственные примеры для юношества, то есть железной рукой подавляя всякие наркотики, алкоголизм и азартные игры с религией во главе, чтобы высвободить человечеству дополнительное время для спорта, причем лучше было бы временно придержать истеченье так называемых шедевров без предварительной фильтровки — с последующим низведеньем их из **башен слоновой кости** в нормально-производственный регламент. Конечно, и до Гаврилова немало было сделано для загрузки вдохновений передовыми идеями, приходилось даже частично разгружать, но требовалось чем-то и ему утвердить себя в сознании и памяти граждан... Разумеется, искусствами предполагалось заниматься на досуге, главные же силы посвятить исключительно делам государственным.

К чести Гаврилова, его нисколько не пугал объем ожидавших его титанических задач. Напротив, к ним-то и несла его таинственная волна предопределенья, и он заранее соглашался вести граждан куда надо, перемалывая трудности и переламывая враждебные хребты, так как вполне могло оказаться, что он-то и есть главный Робеспьер всех времен и народов, призванный совершить генеральное преобразованье над человечеством, обновить, почистить от заразы прошлого, подкрепить прогрессивными идеями зашатавшийся прогресс, также ряд других исторических предначертаний. В душе-то он давно догадывался, что по достиженью вершины работа сильно облегчается, можно и в послеобеденном состоянии отличить Добро от Зла, а правых от виновных, понуждать **их** на подвиги, раздавая небольшие награды, чтобы не избаловались, и многое другое в том же духе, причем на худой конец, если ухо востро держать, никто и не посмеет уличить в ошибке. Опыт окружающей действительности наглядно подсказывал, что высокое искусство государственного кораблевождения не ограничивается одним знанием мореходных наук, а изредка, особенно перед штормом, капитану надлежит прихватить быдло за волосы, так ему в очи заглянуть, чтобы испытало жгучую щекотку отделенья головы от туловища.

В общем складывалось неплохо — даже сожалел немножко, что нож младенца не обагрил его виски, потому что в глазах народа пролитая кровь освящает единодержавца шибче всякого миропомазанья... Да еще смущала несолидная на госпоприще фамилия, которая, мнилось ему, пригодна была только для деятеля потребительской кооперации.

В памяти невольно возникал покойный дядя Филипп, который ловким добавлением одной лишь буквы «и» — **Гавриилов** добился впечатляющей фонетической значимости, с каким-то даже музыкально-гуманистическим оттенком. По сравненью с бесцветной личностью отца то была фигура неимоверно колоритная, в известной мере загадочная и, видимо, в своей области большой человек, да и физически настолько крупный, что при появлении осанистым силуэтом своим застилал собою не только дверной проем вплоть до самой притолоки, но и всю квартиру наполнял собою, вытесняя все прочее — до спазма в груди, астматического полузадыханья. Воспоминание отличалось такой натуральностью, словно живой мимо проследовал сейчас в долгополом, под баптистского проповедника, пальто и в черной, до бровей надвинутой шляпе. И оно было так сильно, что и по прошествии стольких лет взрослый фининспектор Гаврилов испытал род нервного потрясения при виде — пусть воображаемых, раскинутых ему навстречу объятий, при звуке баритонального в глубь души невольно западающего голоса.

— Где, где он там скрывается?.. А ну сдавайся, маленький негодяй! Давно держу тебя под наблюденьем, выходи-ка на расправу... — еще в прихожей начинал дядя Филипп гудеть, вселяя во всех домочадцев тревожное замешательство праздника пополам с несчастьем; в силу чрезвычайной занятости он навещал брата сравнительно редко, но всегда с подарками.

И где бы ни заставало его дядино посещение, племянник сразу и подчиненно отправлялся ему навстречу со сложным чувством непостижимого нравственного содрогания и корыстной надежды, как иные поддаются на зов судьбы.

Причем свое обозренье дяди мальчик всякий раз начинал не со щедрых его рук или загадочных вздутий на

карманах, а с угрожающе-красных и влажных губ, обладавших каким-то патологическим присосом. Глаз с них не сводя, мальчик с замираньем сердца ждал ритуального дядина поцелуя, делившегося на три обособленные стадии и всегда после задумчивого, чуть вкось, изучительного взгляда. Сперва происходило наложение кольцеобразно сложенных губ с небольшой притиркой для лучшей герметичности, после чего следовало всасывание всего попавшего в площадь соприкосновения, и хотя, казалось бы, нос-то оставался вне зоны покрытия, но и он из-за сплюснутого состояния ненадолго выходил из строя, причем жертва поочередно испытывала всю гамму переживаний от утопленья до задыханья в удавке. Сюда прибавить, дядя Филипп имел обыкновение придерживать ладонью голову мальчика с затылка, нередко — с большим пальцем на миндалине, чем значительно усиливалась безнадежность минуты, зато и — ликующая радость высвобождения. Процедура кончалась звучным, как при снятии медицинских банок, хлюпающим **чмоком** с последующим толчком в плечо, отпуском на волю.

Подлое ощущенье в шее быстро застилалось не менее гадким нетерпеньем награды. Мальчика рано приучили к пониманию, что, какой бы ни постигнул тебя насильственный акт, не все еще потеряно в случае хоть чуточку сохранившейся жизни.

«Доброе утро, дядечка Филипп»... — привычно шептал племянник, ища взглядом дядины руки: почему-то визиты старшего **Гавриилова** происходили чаще всего в начале дня.

«Ну, здравствуй, здравствуй и ты, — поощрительно гудел гость, с локтями поднимая руки. — Уж ладно, обыщи скорее своего дядю... пошарь, пошарь у него в тайничках, нет ли там чего интересненького в тайничке!»

К тому времени мальчик уже разбирался в шахматах и всякое прочее вообще, тем не менее некоторое время по полученью подарка должен был высидеть верхом на жестком, как шпала, дядином колене. Визит завершался тягостной беседой за собранным наспех чайным столом.

Старший у них в семье Гавриилов, к немалой зависти младшего брата, на среднее обучение коего не хватило средств, получил высшее, но тоже слегка незаконченное

образование, однако благодаря природной одаренности, вернее — незаменимости своих дарований занимал постоянное и прочное место в чем-то **императорском** — не то санкт-петербургском университете, не то в состоявшем под тем же высочайшим попечительством русском **археологическом** обществе... Во всяком случае должность солидную и, видимо, хлебную, кроме того связанную с учащейся молодежью, а так как студенты сплошь скандалисты либо бунтовщики, то при дядиной несклонности распространяться о своих с ними подпольных делишках, очевидно, по свержению богачей, облик его в мальчишеском представлении рано окрасился революционной романтикой, какою благодаря газетам были овеяны тогда всякие бомбисты, атаманы экспроприаторов, метальщики снарядов под коляски сановников и вообще мятежники с двойными, а то и больше, запасными биографиями. По-видимому, археология не была главным его призванием, потому что лишь однажды и как-то отвлеченно распространился он о поэзии, заключенной в поиске недостающих звеньев, в выстукиванье пустот, о сладости тайного пребывания в ни о чем не подозревающей тайне, о волнующем скрежете углубляющейся лопаты, также об искусстве наживки на особо ценную рыбу и терпеливого сидения над лункой во льду, откуда выяснилось, что он вдобавок и любитель-рыболов. Случалось ему иногда выезжать в научные командировки и за границу, откуда неизменно привозил любимцу лакомые сласти и дорогие пустяки, вызывавшие подавленное восхищенье в скромной семье околоточного надзирателя. Но раз уж сорвалась досадная оговорка, то служба отца в полиции была так мимолетна, всего около полутора лет — до перехода в почтовое ведомство с одновременной переменой местожительства, так что нынешний фининспектор считал себя вправе не засорять служебные анкеты досадными мелочами. Притом, крайне страдавший от обидного школьного прозвища — **селедкино отродье,** а **селедкой** называлась старинная, чинам полиции положенная шашка, мальчик Гаврилов искренне ненавидел отцовскую работу и мстил, жестоко мстил ему откровенной, даже несколько показной преданностью дяде, невзирая на все его деспотические, всякий раз

оплачиваемые повадки. Из таинственных родительских перешептываний, нередко в присутствии играющих детей и с упоминанием крупных революционных деятелей, видимо, дядиных сообщников, нетрудно было вывести правильное умозаключение о сугубой дядиной причастности к обострившейся тогда в России революционной борьбе. Отсюда понятно становилось, почему сравнительно нечастые, обычно внезапные навещанья старшего брата производили в семье младшего такой странный переполох. Мелкая полицейская сошка, папа Гаврилов просто тяготился подобным родством, грозившим ему не только взысканием по службе. Детская логика и возрасту присущее воображение подсказывали мальчику, что, даже зная **кое-что** о таинственном Филиппе, слабохарактерный отец не решался, не смел ни прогнать его из дому, ни тем более арестовать его на месте как разрушителя империи. С годами пугливая, несколько корыстная приязнь прикормленного волчонка к этой действительно незаурядной, в своем роде, фигуре своего века, даже несмотря на ее деспотические повадки, становилась для гимназиста Гаврилова единственным просветом в его душных семейных буднях. В самом воздухе ощущалось приближение революции, и раза два, вместе с родителями провожая гостя в прихожей, юноша едва удержался от мольбы взять его с собою в тот непогодный, штормящий океан. Кстати сказать, и Гавриилов, видимо, убежденный холостяк, без семьи и личных увлечений, даже коллекционерских, кроме нумизматического, пожалуй, вполне естественно по роду его гробокопательских занятий, он всю свою неизрасходованную нежность, причем с довольно расточительными затратами, перенес на племянника. Похоже было, что усилия завоевать неискушенную ребячью душу диктовались не только потребностью завести себе приятеля, способного из одной благодарности понять, вникнуть, разделить его томительное для революционера, тоже весьма маловероятное одиночество. Какой-то сложный процесс распада, что ли, происходил в те годы в этом железном человеке, каким он всегда считался в своем кругу, однако все в том же, для мальчишки, романтическом плане. Если даже участившееся в годы первой войны смятение в дядиных глазах было навеяно

не предчувствием нависшего ареста с логической цепью в виде непременной **Владимирки**, петропавловского равелина, даже декабристского эшафота, а всего лишь нередким в то время разочарованием в революции, — все равно оба варианта свидетельствовали о титаническом диапазоне этой незаурядной личности. Во всяком случае, всякие там загадочные недосказы—паузы внезапного выключения из разговора, несколько потные рукопожатия и прочие психологические штучки явно служили подготовкой к назревавшему доверительному разговору, целой исповеди ночной, впрочем, как и следовало ожидать, несостоявшейся. Взамен ее, в один из последних дядиных визитов, перед самым исчезновеньем, в обладанье гимназиста Гаврилова перешла пресловутая коллекция монет, плод всей его собирательской жизни и, в известном смысле, цена чужих. Напугавшая родителей необузданная щедрость подарка заставляла предположить решимость дарителя к некоторым поступкам необратимого порядка.

Из конспиративной деликатности племянник обходился без нескромных вопросов: восторженное воображение само читало в недомолвках и фигурах умолчания суровую и скрытную биографию русского подпольщика. Сложенная из отовсюду натасканных эпизодов, она выглядела не хуже нынешних киносценариев на ту же тему, где так старательно затемнена человеческая изнанка. Примечательно, Гаврилов-отец, видимо, из боязни за пылкого мальчишку, чтоб не замарался о революцию, всегда мешал дяде с племянником оставаться наедине, под любым предлогом отсылая последнего из дому вон, на каток либо в лавочку, но с некоторых пор и сам он — Гаврилов-сын, стал по возможности избегать соприкосновения со своим покровителем, несмотря на все его щедроты, подсознательно усматривая в них какой-то, с дальним прицелом, неоплатный подкуп... Словом, начальные подозрения возникли у гимназиста задолго до раскрытия грустного семейного секрета. Оно произошло в два приема, и вступленьем к нему послужил туманный намек из подслушанной ссоры родителей, где мать в запальчивости попрекнула мужа: «...уж мой-то брат, хоть и забулдыга, да по крайней мере собственную свою жизнь

загубляет, а то ведь чужие... Щенков безусых поставляет на убой». Расшифрованная в привычном ключе фраза не значила ничего. «Предводитель атакующего отряда, революционного тем более, естественно, наравне с собою, подвергает риску и подчиненных ему людей... а как же иначе, без павших в бою!» Вторая половинка тайны объявилась с двухмесячным промежутком, вскоре после выпускных экзаменов в один чудесный перволетний денек и, между прочим, сразу после получения аттестата зрелости. У Гаврилова-отца в ту пору, в предчувствии надвигающейся катастрофы режима, уже объявился сведший его вскоре в могилу недуг — закопаться от мнимых пока преследователей в безвестную тинку жизни. Жили в собственном домике на окраине подмосковного городка, и в ста шагах от крыльца простиралась до самой речки невдалеке такая духовитая, из молодой листвы, сквозная вся березовая роща. Перед уборкой в сундук от моли на солнышке снаружи проветривалась зимняя одежда, для лучшего присмотра сени стояли настежь открытые. Вернувшись с поезда, юноша собирался в стишках и нараспев возгласить родителям шутливую декларацию о высвобожденье наконец-то из-под их тиранической опеки, успел и шинель снять, но пока ноги вытирал, то да се, услышал их полупригашенный разговор, ту как раз его часть, что по несомненным признакам, без обозначенья фамилии, касалась старшего **Гавриилова** и **его работы**. Мать была совсем простая женщина, но с какой царственной гадливостью поинтересовалась она у мужа, обязаны ли **они**, подразумевалось — агенты охранки, присутствовать при казни поставляемых ими лиц и что делают при **этом**, другими словами — помогают ли? После виляющей какой-то собачьей паузы тот отвечал уклончиво, что не всех же непременно казнят. И сразу, в сокрушительный миг единый прояснились всякие темные непонятности или, напротив, романтические пробелы в поведении **дядечки**, прежде всего — его скользкие афоризмы вроде — «подвиг и преступленье равноправные рычаги истории» или «правда с кривдой, что сестры евангельские, и пока одна вздыхает да глаза закатывает, труженица в чаду на кухне хлопочет». Получала единственно правильное толкование и престранная, при

отличном зрении, якобы — племянника посмешить, привычка водружать на нос старомодное пенсне, равно как и загадка со вставной буквой «и» — все равно что в воровском рту зуб золотой для снискания почтенности да и самая походка его, как осторожно, словно босой, словно наколоться о невидимое боялся, ставил он ступню, прежде чем перенести на нее тяжесть тела. Но еще раньше — первейшая против него улика — страшный его поцелуй в классическом стиле первого на земле христопродавца, который ввел братское лобзанье в ритуал предательства и по праву считается шефом — покровителем профессии.

Остаток торжественного дня юноша провел в непролазной чаще лесной, хотя поначалу-то предполагал завершить там остаток жизни. Было еще далеко до грибов и земляники да и для черемухи рановато, так что некому было наблюдать, как обезумевший гимназист в слезах и навскрик бился, гнусно сквернословил и катался по молодой, необсохшей травке, вскакивал пружинно, чтобы снова броситься оземь с разбегу, попеременно спиной и брюхом терся о проплешинки глины на лужайке, о набухшие по весне кротовьи норки, словно пламя на себе гасил либо проклятье Господнее стереть с себя пытался. Притом как бы раздвоился на срок, и если один извивался в пьяном исступленье, словно порубленный лопатою червяк, другой, напротив, нога за ногу и к стволу прислонясь, за собою же наблюдал с усмешкой, удерживал от излишеств отчаянья, в частности, от повреждения диплома, потому что без документа об окончании средней школы, как и без метрического свидетельства, чиновнику просто **хана** в новом, освобожденном мире, где с особым рвением фильтровать почнут — не из дворян ли. И если первый стенал, проклиная в себе плебейскую жажду жизни, мешавшую совершить роскошный акт, единственно достойный выход из положения, тем более что, по такому масштабу огорчения, и ножик наточенный носил на прочном поясном ремне, на который тоже вполне можно было положиться, да и сучков надежных вокруг было предостаточно, — тот, **другой**, иронически посматривал на свои же искусные корчи как на способ имитации безысходного горя сохранить самоуважение к собственной своей особе, совсем не лишнее в случае

большой карьеры; правда, действовала там и еще одна потаенная пружинка... Что касается парадного мундирчика, приведенного в окончательную негодность, то и указанное обстоятельство было у Гаврилова учтено: уж теперь-то мамаша не заставит его донашивать старье до дыр, так что и перед девицами зазорно показаться.

«Ладно, кончай представленье, сматывай свою рогожку, великий артист, а то без ужина останешься...» — подмигнул один Гаврилов другому, подняться помог и напомнил не забыть скатанную в рулончик, тоже с портретом государя императора, казенную бумагу, пролежавшую в безопасности на пеньке поодаль.

Домой вернулся без опоздания, к месту надоумившись притвориться, будто в подпитии; хотя мать и поворчала на сына, что **изгваздался**, как свинья, однако приятельская пирушка по столь уважительному поводу, как совершеннолетие, не требовала дополнительного объяснения. Таким образом, кроме небольшого насморка не оставалось к утру и следов от истерики накануне, — подводя баланс, можно было лишь порадоваться сумме приобретения, доставшегося по дешевке. По существу шалость накануне была первой такой серьезной и удачной пробой своих нравственных сил на житейском поприще. Пускай немножко болела голова, зато не ощущалось потребности ни срочно разносить в клочья устои мира сего, ни тем более расставаться с вещественными знаками своей многолетней близости с подлейшим из представителей. В сущности, рассчитанный на единственного зрителя весь тот лесной спектакль имел целью сохранить за собою моральное право на коллекцию монет, выкупить ее у самого себя, уравнять ее на весах мальчишеской совести — «Чем бы ни был испачкан орех, да в нем ядрышко пользы!..» Правда, первые недели две имелось у юноши гордое намеренье при очередном дядином визите швырнуть ему в лицо целиком гадкое его сокровище, для чего пришлось бы предварительно ссыпать воедино содержимое картонных ячеек, и под конец победили соображенья здравого смысла: с одной стороны, раскатившееся по щелям вряд ли соберешь потом, с другой же — спуталась бы их хронологическая подборка по датам, следовательно, и по ценности. По счастью, дядя запропал куда-то без единой

весточки на целый год, а после революции и вовсе сгинул вместе с прочими обломками падшего режима.

Признаться, дядю с племянником сближало и сходство характеров, а в потенции и биографий, кабы подвернулся обобщающий момент. Оба обладали врожденной наклонностью завязывать болезненные, со вкручиваньем волосков, узлы на коже всяких живых организмов, оба рано постигли науку фаворитизма — невзначай встать на живот ближнего, даже товарища, чтобы слегка подняться во мнении школьной администрации. Да и начиналось с одинаковых упражнений — выдать одному самим же подсказанный отзыв о нем другого, подстрекнуть простака на дерзкую выходку со своевременным предупрежденьем заинтересованного лица, намекнуть среди компании на секретнейший грешок кого-либо из присутствующих, а затем с печальным и высокомерным любопытством наблюдать сокращенье лицевых мускулов у жертвы, также изменение в окраске кожного пигмента. Призвание у обоих выражалось в потребности гнаться, окружать и валить какую-нибудь живность, и все лишь — чтобы минуточку подержать в зубах загнанное насмерть, заглянуть ему в глаза, прикоснуться в момент агонии. Притом никогда за ним не числилось никакого зла, напротив — полная изготовка налево и направо наносить одно добро, для чего постоянно имел шоколадку в кармане... Словом, так нигде и не освещенная в достаточной мере деятельность Филиппа Гавриилова давала ему достаточные основания заблаговременно и добровольно удалиться из жизни. Впервые начинающий осведомитель применил на практике свой незаурядный дар еще в студенческую пору под руководством начальника санкт-петербургского охранного отделения полковника Пирамидова, поднявшего было свое учреждение на всеевропейскую высоту и осиротившего русскую политическую полицию внезапной кончиной в 1901 году; период до знаменитого московского восстания ознаменовался упадком тайного розыска в России. Отставка опытнейшего Рачковского, возглавлявшего заграничную агентуру, приход в департамент полиции не в меру щепетильного Лопухина да еще из судебного, то есть **правового** ведомства, убийство двух подряд министров внутренних

дел — вот вехи жесточайших для режима потрясений. Подпольная Россия резко поделилась на три взаимновраждебных течения, и если одно пыталось террором и взрывчаткой вынудить к уступкам правящий класс, а другое рассчитывало на мирную эволюцию системы и строя, — третье закладывало снаряды долговременного действия в наиболее ответственные узлы царского государства; молодой Гавриилов посвятил свое черное вдохновенье первому из них, ибо считалось наиболее радикальным и опасным для царизма. Как и во всех трех, там действовали образованные, бойкие и летучие молодые люди, в придачу к бесстрашной жертвенной решимости вооруженные боевой тактикой предшествующего поколенья **народовольцев**. Их выслеживали и ловили пожилые, полуграмотные и многосемейные служаки в пудовых смазных сапогах с неотлучными **селедками** на боку. Стал известен состоявший в те годы на приеме в Царском, в ожиданье высочайшего выхода, да и то с оглядкой, разговор двух высших жандармских чинов об одном талантливейшем и анонимном осведомителе, чьей фамилии не знали даже они и без чьих услуг, по их мнению, революционные события развивались бы еще быстрее. Подобные инструменты содержатся в бархате, чем и объясняется исключительное, к восходящему светилу, благоволенье сперва всесильного Сипягина, а по уничтожении последнего — личная близость его преемника, Плеве. Никому в мире не известно, что в маске боевика-максималиста именно Филипп Гавриилов трижды, путем тончайших махинаций, отвращал покушение на своего шефа и покровителя, однако не уберег в четвертый раз; достоверность указанных и ряда последующих подробностей целиком лежит на совести Никанора Шамина. По ходу рассказа он с безоговорочной и смешной уверенностью и на основании каких-то ему одному известных фактов высказал ряд вовсе фантастических суждений о Гавриилове, вряд ли годных, даже и ныне небезопасных для повторения вслух, если бы косвенно не раскрывали происхожденье шаминской осведомленности насчет самовысших деятелей, неупоминаемых **вотще** без восхвалительных эпитетов, а уж тут было бы грешно пренебречь сведениями, позволяющими вплотную рас-

смотреть несостоявшиеся варианты истории. В итоге у Никанора получалось, например, что общественное лицо Гавриилова не совсем совпадало с его профессией, гаже которой во мнении народном считаются лишь две... нет, пожалуй, одна, да и та под сомнением. Словом, будто бы без гаврииловского противодействия империя и революция в одно десятилетие расстреляли бы друг дружку под дудку небезызвестного Азефа, что, в свою очередь, возвело бы его на престол Государства Российского в качестве избавителя от затянувшейся смуты, благотворителя и мессии. Надо надеяться, знатоки дела и заинтересованные лица не преминут подтвердить всю нелепость таких предположений.

Подобно только что названному соратнику на том же поприще, тоже любителю лобызать обреченных клиентов, Гавриилов начинал свою карьеру прямо с высшей провокатуры, по возможности ограждаемый как от филерской слежки, **гороховых пальто**, так и от писания регулярных, из своего сектора, политических обзоров, где анонимного автора могли бы уличить если не стиль и почерк, то совпадающие даты и обстоятельства и прежде всего — степень приложенного ума. Лишь с оговоркой можно причислить его и к категории **штучников**, оплачиваемых из особых секретных фондов с выданной головы, так как свои **премиальные** получал независимо от улова, наедине и без расписок в агентурных ведомостях, имеющих свойство прочнее железа сохраняться в архивах. Сверх того, как и Азеф, он почти безотчетно распоряжался партийной кассой, но в отличие от двойника и соперника своего не гнался за житейской сластью, не **шиковал**, проявлял больше предвидения и таким образом счастливо утаил от пореволюционной гласности не только свою полицейскую кличку, но и внутрипартийный псевдоним, благодаря чему после крушения империи настолько ловко просочился сквозь пальцы самого Бурцева, как и анкетные сита чрезвычайки, что позволило вообще усомниться в его реальности — фантома и невидимки. Меж тем, по туманному шаминскому утверждению, личность эта, пускай со сложенными руками стоявшая у колыбели многих событий, не только ездила в Париж, Женеву и еще куда-то для участия в чем-то, но

и отбывала нечто по сто второй статье и якобы принимала участие в одном знаменитом побеге. Естественно, власть и охраняла его как око, тайное око государево: данные позволяют думать, что о его существовании не подозревал сам всесильный Зубатов. Наверно, его спасла от опознания та оперативная быстрота, с какой нетерпеливые победители поспешили избавиться от политических противников. Однако, по мнению Никанора, немалую роль сыграло и посланное куда надо, незадолго перед окончательным эсеровским разгромом, впрочем, без недопустимой в таких случаях ошибки промедленья, покаянное письмецо, где чуть ли не на шестидесяти убористых страницах, наряду с беспощадным анализом собственных заблуждений, также осужденьем своей преступной партии, он якобы оказал новому режиму ряд кое-каких деликатных услуг, в силу навыка не стоивших ему чрезмерного морального угрызения. Надо полагать, благодаря тому своевременному шагу ему и посчастливилось не оказаться в списке подсудимых по знаменитому процессу двадцатых годов... Все это в совокупности дает основания называть Филиппа Гавриилова величайшим, покамест, провокатором века, потому что и после двадцатилетних розысков лишь он один из всей колоды, пускай посмертно, остался неразоблаченным. Но здесь приспел момент утолить законное недоуменье некоторых мыслителей, каким образом рядовой студент Шамин, казалось бы, проживавший вдали от нашей передовой общественной сплетни, сумел проникнуть в такие, ускользнувшие от опытных исторических гробокопателей политические тайности — вроде письменного покаяния лица к тому же не слишком достоверного? Или откуда ему, обитателю пустынного старо-федосеевского погоста, стали известны сокровеннейшие подробности гаврииловской биографии, протекавшей в другом городе и задолго до его рождения — такие, например, как никогда дотоле не практиковавшееся в России вручение хотя бы и важнейшему для империи сыщику Владимира четвертой степени из собственных столыпинских рук или, чуть позже и за мимоходную услугу испанскому двору награждение орденом Изабеллы Католической, — имя, известное Никанорову поколенью лишь применительно к мускат-

ному сорту винограда... Явно, подобные сведения мог он почерпнуть лишь из источника — мало сказать осведомленного, но и супернатурального, не иначе как от своего сомнительного наставника, профессора Шатаницкого с его универсальной памятью и, конечно, адской картотекой на весь, в обе стороны, род людской.

...По мере приближенья к дому тягостные воспоминания оставались позади. Хотя кошками на лестничной клетке воняло по-прежнему, а лифт не работал, как обычно, можно было и потерпеть до восхожденья: ничто не ослабляло в нем решимости послужить человечеству. В самом благостном настроенье поднимался он на свой этаж, где в запущенной, барской когда-то, коммунальной квартире занимал две смежные комнатки, с угловым балконом. Из-за обилия жильцов надо было звонить четыре раза с пунктиром посередке. Дверь открыла жена и не сразу впустила, а приложив палец к губам, сама вышла к мужу на площадку. Крайняя озабоченность читалась в ее лице, и хотя еще слова не было сказано, фининспектор машинально, свободной рукой, уже шарил стенку поблизости. Многое могло случиться в тот год массовых арестов, высылок и казней... Впрочем, в случае засады жену не выпустили бы к нему в прихожую.

— Нет, не пугайся, ничего страшного не произошло. Катюша к подружке побежала, дети тоже в порядке, но... там тебя старик какой-то дожидается, часа два назад приехал.

— Кто таков? — неверными губами спросил фининспектор.

В предвидении худшего он так и сел бы на что-нибудь, если бы нашлось на площадке.

— Назвался, будто твой дядя Филипп, но я не помню, чтобы ты поминал о нем хоть раз. И, знаешь, я боюсь таких людей, как с ветра. Что-то мне не нравится в нем. Но у тебя зубы стучат, может быть, капли сердечные выпьешь?.. Я принесу.

— Ничего, пройдет, — отстраняя ее портфелем, чтоб войти, сказал Гаврилов. — Где он там?

— Но ради бога, ради бога... — словно догадавшись о чем-то, умоляющей скороговоркой лепетала жена, — ради бога помни о детях, виду не показывай, что ты его

испугался... И только не серди его ничем. Я уже намекнула ему вскользь, что на первомайские праздники, на все три дня, мы обычно вместе с ребятами уезжаем за город к моей родне. — И вдруг откуда-то чайная чашка с водой взялась в ее руке. — Выпей же, у тебя больное сердце, сделай хоть глоток!

— А он, он что ответил тебе на это?

Жена уныло качнула головой:

— Сказал, что с удовольствием покараулит нам квартиру. Хуже всего, что ведь он с багажом прикатил... Выпей же, наконец!

Появленье Гаврилова влекло за собой целую лавину тем более неотвратимых бедствий, что налицо имелся реальный повод. И все же трудно было допустить, что такая крупная добыча ускользнула от повсюду расставленных мелкоячеистых сетей.

— Пусти, — и в спешке, поскорей удостовериться, даже расплескал протянутое ему лекарство. — Покажи мне его сперва...

В дверной просвет, через плечо жены, видна была часть сравнительно просторной комнаты, постеленные к ночи кроватки детей, стол с ужином под бумажной салфеткой и, если чуть сбоку заглянуть, в низком под торшерной лампой, священном кресле, где после трудового дня, в халате и за газетой, глава семьи разряжал нервную систему на сон грядущий, сидел в профиль к племяннику он самый, разве только по лености властей не расстрелянный родственник. Водрузив на ногу пятилетнего гавриловского парнишку, он покачивал его вверх-вниз, в то время как его сестренка тоже с убитым видом дожидалась своей очереди, словно казни, вертикально держа в руке нераспечатанный, в бахромчатой обертке, длинный леденец, нестерпимо напоминавший горящую свечу; видать, шоколадка нынче стала дяде не по карману. Нет, то был не призрак... Чистенький, отовсюду подштопанный, он хоть и полинял и обветшал, поопустился, однако не слишком для чрезмерных надежд на скорую кончину. Напротив, проседь в отпущенной бороде и по-прежнему черной гриве вместе с толстовской блузой до колен придавали ему патриархальную декоративность заблудившегося в эпохах народовольца, а такие и по выходе на

волю из самого подземного каземата все живут и живут, к изумлению хилых потомков. Только и выдавал дядино призванье хоть и прикрытый усами, не по возрасту красный рот.

Несколько мгновений фининспектор боролся с позывом ворваться и, выхватив ребенка, тут же и чем попало совершить над старцем запоздалый суд Божий, — даже веки приспустил, чтобы лучше представить ряд последующих, под ногами у себя дядиных превращений. И значит, так сильно было охватившее его волнение расправы, что тот, не оборачиваясь, распознал племянника за порогом.

— Наконец-то, вот и сам он, будущий финансовый министр... — возгласил он, сталкивая младенца на пол и довольно бодро подымаясь из кресла. — Ну, где ты там?.. Иди скорей, обними своего престарелого дядьку!

Не поднимая глаз на гостя, будто расстроен чем-то, фининспектор раздевался в темноте за одежным шкафом и панически пытался сообразить тактику поведенья, но прежде всего — смягчит ли войлочная прокладка бороды неминуемую мерзость лобзанья, уместно ли отбиться под предлогом насморка и лихорадки? И чувствовал спиной, что и воскресший дядя не устает простирать к нему руки, пустые на сей раз, хотя и не было уверенности, что в крайний момент не извлечет из рукава подношение в цене коробка спичек, по достатку. Оскорбительней всего, что, и выйдя в тираж, не утратил власти над взрослым, многосемейным чиновником, скрюченным пальцем подманивал его в родственные объятья, а тот упирался изо всех сил, и вот уже затяжка приобрела спортивный интерес, кто из двоих окажется сверху в конце поединка... Когда после основательной прочистки носа и прокашливанья фининспектор взглянул на дядю украдкой поверх платка, тот стоял в позе выжидательного раздумья — с одной особенностью в лице, заставившей его тоскливо содрогнуться. Странность заключалась в непроизвольном, время от времени, разбеганье глаз... Нет, не просто типовая раскосость или природное косоглазие, а нечто совсем другое, наводящее на догадки и, видимо, благоприобретаемое при известных занятиях, как свинцовая бледность типографщика или красноватые, с шелушеньем от воды, руки хирурга. Помянутая черта, присущая некото-

рым **не гласным** профессиям и связанная с постоянным риском, замечалась у Гавриилова и раньше, но к старости роковым образом усилилась вследствие круглосуточной необходимости прислушиваться к возможной погоне, двоить внимание, оглядывать предмет со всех сторон, каждым глазом в отдельности и с выходом из горизонтали. Словом, перед фининспектором находился матерый, с большим стажем предательства, ко всему изготовленный негодяй, с которым хоть и следовало выдерживать характер, но и шальным движением не доводить до рокового броска.

— А, кого мы видим?.. Дядюшка пропащий объявился! — тоном радостного узнаванья приветствовал он, отправляясь на скорбную процедуру. — Уж я затревожился: завалился куда-то на тыщу лет... ни весточки не шлет, ни адреса.

И с таким детским неведеньем взглянул в нащуренные, чуточку остекленевшие, голубовато-выпуклые дядины глаза, такой проникновенной лаской наполнил произнесенные слова, что жена перестала улыбаться, а крошки вопросительно покосились на отца, который с запозданием уловил, что малость переложил патоки. Тем более должно было насторожить загнанного волка с его обостренным чутьем погони родственное радушие, пожалуй, несколько неумеренное после длительной разлуки и помешавшее ему должным образом обмусолить племянника.

— Не старь, не старь меня при дамах, мошенник... — тотчас парировал гость, возможно, включая в их число и маячившую за дверью соседку. — Надеялся, небось, что дядька на больничной койке зачах, а он еще свежий; всю зиму на лыжах хожу. Если помнишь, я ведь всегда воздержанно жил. На моем примере легко можно убедиться, как важно к старости сохранить неизношенный организм, чтобы во всеоружии встретить кое-какие невзгоды нашей прекрасной величественной эпохи. Ну-ка, поближе, дай и мне на тебя наглядеться! А вот ты, дружок, как раз постарел, оттенок лица подозрительный. Кислое, серое, и глаза провалились... Непременно врачу покажись! — многоречиво распространился он и вдруг растопыренными пальцами сделал егозу в живот икнув-

шему племяннику. — А то, может, дела партийные не в порядке? Смотри у меня, в нашем роду все были работяги, аккуратисты... страсть не люблю!

— Он у нас беспартийный, дядя Филипп, — страдальческим голосом сказала жена.

— Вот и напрасно, братец ты мой... Как бы труба всеобщая призывает нас к исполнению... ну! этого самого. Ты держись, планы выполняй. У нас в роду все строгие были. Все не чьи-нибудь, а из роду Гаврииловых. Смотри, как славно загудело кругом, огоньком занялось, так и горит, так и полыхает. Молодежь желает принять мир в преображенном виде из наших слабеющих рук. А без того разве мы западную шатию перегоним? Да ни в жисть!

— Прихварывает он у нас, ему нельзя много нагрузки. У него иногда правый глаз распухает от мелких цифр... Хочу сказать, ему нельзя большую нагрузку: устает... — чуть не по слогам повторила жена, заметив усилие в стариковском взоре. — Товарищи обещались в праздник на охоту захватить.

— Хорошее дело, хвалю, — сказал дядя, — и я бы с тобой не прочь. В молодости отчаянный стрелок был... хотя нет, еще подстрелишь. А на что охотиться-то?

— Уж там найдется что-нибудь... — с какой-то странной удалью махнул фининспектор и обрисовал в своих словах прелесть просыпающихся в эту пору болот.

Тот все кивал, очень довольный, что прерванное на столько лет общенье между ними снова налаживается.

— Так вот, дружок, стыдно распускаться в такое время, когда такие вещи. Гимнастика, холодные обтирания... Ну, разумеется, и воздержание в известном смысле. В ссылках да тюремных отсидках наш брат только тем и спасался... Да еще морошка, не оцененный доселе северный ананас: о нем специально в манускрипте поминаю. Я и сам нет-нет да к чему-нибудь руку и приложу: собираю материалы прошлого, у пионеров шефствую, вечера воспоминаний в клубах провожу. Не все же нам, заслуженному старичью, по поликлиникам слоняться да в праздничных президиумах заседать. Но сверх того пишу толстый труд в историческом разрезе, где подвожу итоги многолетних наблюдений. По некоторым отзывам интересно получается, хотя ученого звания не сподоблен,

да и сам не добиваюсь. Профессора-то нынче сам знаешь кто, чужих к пирогу не подпускают. А пора бы их анкетки с лупой полистать, что за народ там подобрался! Но главнее всего унынью, ущербному настроенью не поддаваться. Настанет срок, и великий вихрь сметет всякое сопротивление со своего пути, как сказал... ну, как его? — и обеими руками изобразил уйму волос на голове. — Да что же мы, братец, стоя-то разговариваем, будто незнакомые. Пора и сесть...

— Постойте-ка... — поежился племянник. — Как же вы так, не списавшись, в такое путешествие пускаетесь? А я вдруг помер, либо в командировку уехал долгосрочную.

— Так я не к тебе и ехал, чудак какой! — резонно парировал тот. — У совхозной бухгалтерши нашей кузен цирюльником работает, в закрытой парикмахерской... Феклистов фамилия. Славная, славная такая женщина, она же и надоумила: смело поезжай... хоть и не родня тебе, но для хорошего человека найдет место коечку поставить. Вот, говорит, и станете вечерами, два хрыча холостых, козла гонять!

— А, вон оно что... — фальшивым тоном примирился племянник и вдруг подмигнул гостю на перевязанный тесьмою чемоданишко под столом и тощую постель в брезентовых ремнях. — Что-то не сходится у вас, дядечка: ехали в одно место, а вещицы в другое привезли?

То была первая, перед схваткой, проба сил, но, видимо, старик заблаговременно изготовился к атакам.

— Ай, — сокрушенно почмокал дядя, — небось, в финансовые министры метишь, а сущего пустяка сообразить не можешь. Я к Феклистову с поезда еще в обед прикатил да за целый час так и не достучался... ведь нонче вашего брата чуть не до зорьки на службе держат! А ключи, соседи объяснили, он с собой берет: вот из-за манускрипта и побоялся у чужих людей багаж оставлять. Пока домоуправленье искал, пока что, темнеть стало на дворе. Вот и вздумалось, чем на приступочке в ожиданье сидеть, лучше любимца своего навестить. В преклонном-то возрасте, знаешь, слаще нет, как руки о внучишек погреть: зябнут. Не осуди, мальчик, стариковской слабости моей...

— Напротив, мы очень рады... — смутился фининспектор, приметив у того вполне правдоподобную слезу, и полунамеком справился у жены, покормила ли дорогого гостя с дороги.

— О, такая милая у тебя хозяйка, — тотчас прочел тот их мимические переговоры, — на две недели сыт. И так мы с нею душевно потолковали обо всем...

— Ну, очень, очень хорошо, — снова поднялся племянник, которому не сиделось на стуле. — Тогда давайте сделаем так... Вот жена знаки подает, что детей пора укладывать. А с другой стороны, и перед Феклистовым неловко: верно, заждался, спать не ложится! Вы одевайтесь пока...

— Не заблудиться бы мне в ночном-то городе. Я ведь совсем провинциал стал...

— А я и не отпущу одного: провожу вас до места и вещицы нести помогу. В дороге и побеседуем не спеша, а по возвращенью из деревни, в свободный денек, я вам все новинки столичные покажу. — Сам уже одетый, он глазами велел жене приниматься за малышей, уныло взиравших из угла на суматоху родителей. — Он далеко отсюда квартирует, Феклистов ваш?

— Вот уж и не скажу, совсем бестолковый стал... Ведь где-то и адресок был записан. Куда же я его задевал, бумажный такой, треугольный лоскуток? — затужил гость, и потом начался неторопливый, по всем швам и карманам поиск заведомо не существующей записки, — под столом пошарил, заглянул в кулачки осоловевших малышей, которые зачарованно созерцали сложные, явно на измор рассчитанные дядины манипуляции. — Что же делать-то будем? Убивай наповал меня, племянник: ведь где-то посеял я ее!

— Мне вас убивать незачем, — с неестественной зубовной лаской сказал племянник. — Да и Бог с ней, с бумажкой: дело поправимое... если улицу помните, район или хотя бы номер почтового отделения?

— В том-то и беда моя, дружок, совсем дырявая память стала. Не то Варсонофьевская, не то Вонифатьевская... нет, не то. Одно твердо помнится, на трамвае ехать две ли, три ли остановки, потом сразу направо длиная улица с башней. Зато самый дом ровно живой перед глазами

стоит: тоже многоэтажный, вроде твоего, и не то аптека наискосок, не то булочная... — И уже совсем нахально посмотрел в глаза: хватит или еще добавить.

— Конечно, для большого города таких указаний маловато, — из последних сил сопротивлялся племянник, — но все равно, вы не огорчайтесь, дядюшка. Я те края наперечет знаю, так что мне примет ваших вполне достаточно... — и сам уже одетый, в шапке, пальтишко дядино в руках держал, чтобы одевался поскорее, но тот, сидя вполоборота, притворялся, будто не замечает ни его усилий, ни его утопающих надежд. — Решайтесь, пока трамваи ходить не перестали...

— Нет-нет, и не уговаривай... не могу же я тебя после рабочего дня тащить с собою в такую даль. А Феклистов ничего, подождет, подождет, да и ляжет. Я ему обрисую потом, что племянник на ночь глядя не отпустил... еще наиграемся мы с ним в козла!

Так они играли в прятки — один аукался и откликался другой, но чуть его хватали за рукав, неизменно утекал сквозь пальцы. Минутой позже хозяин умирающим голосом справился у своего мучителя, известны ли ему по крайней мере возраст означенного Феклистова, место рожденья и работы, ведомство на худой конец и еще какие-то сведения, видимо, для розысков мифического цирюльника через адресное бюро. Характер вопросов тем более означал полную гавриловскую сдачу на милость победителя, что ввиду нерабочего завтрашнего дня последний получал две обеспеченные ночевки, а там, если хозяева и не стерпятся с адским посланцем, он и сам успеет пустить корешки. Теперь Гавриилову для закрепления успеха оставалось еще разок ударить по гвоздю, чтобы вогнать по самую шляпку.

— Нет, мальчик мой, у меня неувязок не бывает, — заскрипел дядя, пока племянник относил на прежнее место его пальто, — я свои узелки накрепко завязываю. Но если ты чем-нибудь недоволен, то не стесняйся, прямо скажи... мне для тебя ничего не жалко. Могу и к соседям твоим пойти, попроситься — не разрешат ли в прихожей на ночку устроиться: не прогонят же старика в такую холодину, не звери же!

Произнесенный значительно окрепшим голосом попрек прозвучал как грозное предупрежденье, после чего

все задвигалось само собою. Не дожидаясь согласия мужа, хозяйка заметалась по комнате мимо отшатнувшихся детей, и вот уже оказалось вдруг, что ровно ничего не стоит лишнего человечка от непогоды приютить. Всего лишь по одной подушке у каждого, кроме малюток, пришлось изъять взаймы, простыни же как раз вышли из стирки накануне, а там и тюфячок отыскался, не успели на помойку выкинуть.

— Где же мне положить вас, дядюшка?.. Уж извините за нашу тесноту. Муж и я, мы оба очень стараемся, но все как-то не получается у нас... Ах, вот, придумала: вы ляжете с ним на кровать, а я себе на полу, поближе к детям, постелю. Мне даже удобней поближе к двери, пораньше на рынок за картошкой идти, чтоб никого не будить... — на пронзительно-услужливой нотке все говорила, говорила она и вдруг с ходу обрушилась на застывшего мужа поодаль: — Да делай же и ты хоть что-нибудь, ровно паралитик какой стоит! — шепотом прорыдала она.

Видимо, ее хлопоты тронули сердце гостя.

— Вы зря так хлопочете, голубушка, — приветливо сказал Гавриилов, касаясь сзади ее плеча. — Мне много-то и не надо. Там у себя я тоже по маленькой живу с одной старушкой... не в том, конечно, смысле живу! — пошутил он с безобидным юморком. — Вы меня суньте в ту смежную комнатушку, меня и не слыхать... сам же и прибирать стану по утрам. А пока все на службе, я и за малютками пригляжу... чтобы спичками не баловались. Я в жизни никакой черновой работы не гнушался!.. Что, что она хочет сказать? — спросил он у хозяина про его жену.

— Я говорю, дочка у нас там взрослая живет. В актрисы стремится, все роли разучивает... — на пределе страдальческой кротости сказала жена.

— Это ничего, можно и занавеской разгородиться. Так что она меня никак не стеснит... надеюсь, как и я ее! — несколько обидчиво поправился он. — Но можно, можно и с тобой: я спокойный во сне... Кроме того, если Бог даст, я целые дни буду в публичной библиотеке просиживать... чтобы, как говорится, свет в окнах не застилать. Не помню, говорил я тебе, что в настоящее время пишу внушительный труд, манускрипт, в котором затрагиваю разные области нашей жизни. Непременно тебе

почитаю, мне интересно твое мнение. Одна часть у меня уже написана, на сто восемьдесят писчих листов и еще одна неполная страничка. Вот уже полгода, сам знаешь где, на высшей проверке находится. Я буквально все туда вложил и даже больше... ну и вообще.

— Давайте ложиться, дядюшка, а то детки наши умрут.., — жалостно и сквозь зубы прервал фининспектор.

Вдруг с беззвучным вздохом признался кому-то, что если не сызмальства, то задолго до раскрытия семейного секретца, хоть и с закрытыми глазами, однако безошибочно, через кожу, угадывал нечистую, высшего полицейского пошиба, дядину изнанку, но подавлял в себе тошноту и отвращение — с запасцем порой, романтическим ореолом увенчивая нечто позорное, подозреваемое за, несомненно, содержащийся там смертельный риск, даже старался подойти к явлению с обратной стороны, так сказать, идейную базу под это подводил, чтобы не лишиться маленьких радостей бытия. Но, значит, сговор с совестью не всегда проходит безнаказанно, и вот, поднявши взор к потолку, за которым, поверх трех-четырех балочных перекрытий, предполагалось небо, фининспектор испустил глухой, как бы полувопросительный вздох — не хватит ли? Он еще не знал, что у них там имеются кары худшего калибра, потому и не умел пока уместить в единую логическую цепь все события истекших суток.

Перед тем как залезть к племяннику на его высокую кровать, дядя в носках пошел к двери и рванул ее на себя, — прямо за нею оказалась квартирная соседка. Она тотчас притворилась, будто шарит что-то по полу.

— Не посветить вам, милая дамочка? — спросил Филипп Гавриилов.

И столько разнообразных неприятностей сулило его не в меру ласковое обращение, усиленное внезапностью накрытия, что та, хоть сама кусала свои жертвы наповал с каким-то подвздошным стенанием, как от пинка ногою, отпрянула во мрак коммунального коридора.

Обмениваясь молчаливыми вздохами в полутьме, ночь свою старшие Гавриловы провели без сна. Лежа на спине, оба вслушивались в противный дядин посвист, словно дул поверх стеклянной пробирки, оба не сводили

глаз со светового ромба на потолке — от уличного фонаря, пока не поблекнул в сизой мгле рассвета. Но если хозяйка у себя внизу, меж детских кроваток, напрасно пыталась подобрать толковое объясненье — кто таков, в чем его власть над мужем, зачем прикатил, а главное — надолго ли, то и сам ее супруг, находившийся с дядей под одним одеялом, мучительно изыскивал скоростной способ избавиться от небезопасного родственника. Некоторые выглядели вполне удовлетворительно, иные даже, вплоть до кратковременного ощущенья, будто лежит рядом с готовым покойником. Но все заслоняла пока жгучая, как в детстве, обида, как если бы среди разыгравшегося мечтанья просунулась сквозь стенку по локоть неизвестная рука и стала проделывать различные вариации на тему **кукиш**.

Логика гаврииловского визита к племяннику складывалась так. Наверно, за годы вынужденного молчальничества, почти небытия, вдоволь натерпелся страхов разоблачения, пока сознание былых прегрешений и подозрительно затянувшаяся тишина не заставили старца высунуться из подпольной норы на предмет разведки, так сказать, усиками, скорее — глазами пошевелить, а отсутствие шарящих рук поблизости уже вдохновило его на дальнейшую вылазку в мир с целью включения себя в кругооборот природы; конечно, в любые его расчеты и маршруты в качестве опорного пункта, погреться и переспать, включалось обжитое гнездо бывшего любимца. Однако, несмотря на внешние признаки цветущего здоровья, годы брали свое, — по недержанью речи и непроизвольному трясенью головы в поисках утраченного словца, особенно по кокетливому бахвальству нетрудно было догадаться и о прочих, нежелательных в общежитии спутниках почтенного возраста, когда люди выживают из ума. Не этот ли подозрительный душок распада и приманил издалека подобострастную любознательность соседки. Старец уставал прятаться, исподнее лицо все чаще проступало сквозь маску — такому ничего не стоило однажды раскрыться перед чужими людьми во всем бесстыдном негодяйстве ускользнувшего от петли шпика. В сущности он до такой степени походил на пакет взрывчатки с торчащим наружу запальным шнуром,

ужасно соблазнительным для прикосновенья тлеющей папироской, что было бы безумием держать его у себя под крылом, рядом с детьми. И наконец представлялось несомненным, что дядя вдвое обнаглеет после провалившейся уловки с первомайским отъездом за город и, как все **они**, еще крепче вцепится в живое мясо после попытки стряхнуть с хребта.

Плачевные соображения насчет возможных для советского чиновника последствий, если бы подобного постояльца обнаружили у него под крылом, сами собой переключились на поиск единственного способа решить проблему в целом. Совесть фининспектора была чиста: если бы дядя догадался исчезнуть самостоятельно, то и племяннику не пришлось бы прибегать к принудительным мерам. Ввиду отсутствия приличных гор в Подмосковье, где дядя мог запросто свалиться в пропасть на прогулке, представлялось наиболее перспективным пригласить его на воскресную рыбалку в тихий уголок природы и за ушицей, у костерка, подсунуть ему пирожок с крысидом. При сравнительной легкости дядина погребения, камень к ноге, труднее было обезвредить квартирных соседей, свидетелей его прибытия. Несколько правдоподобнее выглядело падение с балкона, куда престарелый провинциал вышел бы полюбоваться столичной панорамой в ночном сиянии, чтобы от нередкого в его годы головокружения, с незначительной помощью извне, опрокинуться через край в шестиэтажную бездну. Поздний час мероприятия позволил бы избежать свидетелей в противоположных окнах, но возникал вопрос — примет ли разбуженный среди ночи старик приглашенье племянника выйти к нему наружу, под предлогом подышать свежим воздухом. Конечно, лучше было заранее, еще во сне, привести жертву в нерассуждающее состояние, но все равно, если бы даже удалось избегнуть лишней суеты и брызг на обоях, то как объяснить проснувшимся на шум детям необычную деятельность родителей?.. Но и это устранялось благодаря кое-каким уловкам. Характерно, зародившийся в мозгу образ достигнул такой галлюцинаторской резкости, что фининспектор почти услышал, как нечто тяжко шмякнулось внизу, на мостовой... но, конечно, звука было недостаточно разбудить самый объ-

ект гавриловских раздумий, безмятежно сопевший едва в полуметре с обращенным в его сторону лицом. И значит, напряженье творческой мысли с непроизвольным время от времени мускульным сжатием, причем ногти впивались в мякоть ладони, само по себе порождало мощные магнетические токи. Слегка скосивший глаза племянник некоторое время наблюдал за своим напарником по кровати, как шевелятся у него от дыхания волосинки усов, и вдруг обнаружил, что и тот сквозь тонкую щелочку глаза следит за ним из-за выступа подушки.

— Тебе чего, не спится? — шепотом спросил старший.

— Так, душно немного...

— Выйди на балкон... да смотри, сам-то не сорвись! — знаменательно намекнул дядя и повернулся спиной.

Проявленная дядей проницательность достаточно объясняла, почему розыскные органы доселе не обнаружили затаившегося шпиона. Мысль сама по себе перекинулась к панике, вызванной в известных кругах событиями семнадцатого года... Проще говоря, почему Филипп Гавриилов не прикончил себя сразу после крушенья режима, хотя порывом самоубийцы разумней всего было истолковать его решимость расстаться с нумизматическим сокровищем. Лишь под самое утро фининспектор забылся тяжким безотрадным сном, и ему причудилось, что тот, подразумеваемый господин, все же застрелился вполне своевременно, но, зная его прежние проделки, власти не верят и мертвецу и вот прислали племяннику розыскную фотографию для авторитетного распознания — кто на ней валяется, не подставное ли лицо. Там, на ослепительно-глазурованной бумаге изображен он сам, Филипп Гавриилов, виском в черной луже, на неестественно вывернутой руке, как и минуты не пролежать живому, довольно утешительная во лбу лохматая дырка, но если чуть под углом взглянуть, то легко просматривается сбоку, что притворщик подмигивает родне в смысле **молчок, не выдавайте**. После чего фининспектор мучительно мечется по каким-то сараям и подвалам в поисках местечка прикопать улику, а то подумают, что сообщник, но везде мешают, пока не приходит блаженное забытье.

Пробужденье начинается с потребности обнять жену. Он привычно закидывает туда руку, ногу потом, — его будит пустое место. Уже поздно и ясный день в окне. Дети бесшумно играют у себя в углу, как перед уходом на рынок наказала мать. Недолгая тревога — где жена, сменяется более основательной — где же дядя, а унылая надежда — горьким разочарованьем при виде подлого чемодана под столом. Было бы ужасно, если бы оставленным без присмотра старцем овладела соседка: зазвала на чаишко и теперь выматывает себе на ус семейные секреты. Просочившееся из коридора гуденье голосов заставляет фининспектора выглянуть через узкую, на полглаза, дверную щель. Затем он испускает слабый стон при виде картинки, составившей наихудшее из возможных предположений.

Посреди обступивших его жильцов дядя Гавриилов делится вслух героическими эпизодами мнимой своей биографии. По случаю выходного дня все мужское население было в сборе, а ввиду экстренности случая некоторые явились даже в ночном облаченье, другие же, создавалось впечатление, вовсе без ничего под пальто внакидку. И хотя, как повсюду в коммунальных домах, именно в утренний час-пик, из-за очереди у неотложных помещений, затевалось наибольшее количество склоки распрей с последующим судебным разбирательством — никакой враждебной толчеи не наблюдалось сейчас у заветных дверей, напротив, исключительный дух взаимотерпимости, вернее, общность добычи, объединял их разномастное сборище. Видимо, им доставляло глубокое удовлетворенье наблюдать зрелище крайнего человеческого разрушенья, одинаково постигающего царей и горы, звезды и жаб ночных. Почему-то с удлинившимися носами, в предвкушенье скорого теперь разоблачительного пиршества и по-птичьи нацелившись, внимали безудержной стариковской брехне.

Собственно, он один сидел там, Филипп Гавриилов, если не считать как раз соседкина мужа, тоже первейшего на весь квартал пройдоху и законника, нескрывавшего, что регулярно тратит полпенсии на почтовые марки для доносов. Однако, по неписаному от всех полномочию, приладившись на мусорный короб, носом в нос и коле-

нями в колени, кивал, причмокивал, попеременными звуками восхищения и недоверия подстрекал рассказчика к бахвальству, причем сам весьма осведомленный в хронике дореволюционных событий, ловко впутывал последнего в роковые обмолвки и неточности: разматывал старца **на шпульку**... Нет, никто не тянул за язык, не тряс Филиппа Гавриилова за загривок — сама по себе так и сыпалась у него из всех щелей полудостоверная историческая труха. И кто знает, что именно толкало его на азартное фанфаронство — затянувшееся ли ожидание возмездия, ставшее уже нестерпимым на фоне тогдашних арестов и расправ, или же обидное прозябанье в безвестности, абсолютное небытие заставляло его громким писком заявлять о своем существованье. Но только слушатели, внимавшие старческой брехне, мелкими вопросиками клевали поочередно и без того источенное страхом существо, после чего блестящими от удовольствия глазами заглядывали в проделанные дырки. А один, в спешке, прячась за спинами других, послюнявленным чернильным карандашом, заносил для памяти прямо на ладони наиболее знаменательные оговорки.

В туфлях на босу ногу пристроившийся сзади племянник стал невольным свидетелем, как в явном алкании гибели и с отчаянным, наизнанку, филерским вдохновением родственник его кокетливо извивался, принимал позы, дразнил судьбу и, окончательно завязнув в собственных противоречиях, старался с помощью не менее рискованных психологических курбетов выкарабкаться из сгущавшегося кругом него недоброго молчанья.

— Нет, дорогие мои, ничего я здесь не путаю: у меня воспоминаний на семь толстых папок хватит да еще столько же в уме останется, — жарко горел Гавриилов. — Поработали мы над тобой, Расеюшка, много нам крови ты стоила. Люди какие... Желябов, Каляев... и третий какой-то, который тоже кого-то из них угрохал. Иной вечер так и лезет из всех щелей памяти: то Столыпина застреленного мимо несут, а то горит петербургская охранка... и все какая-то стрельба и лица кругом неразборчивые. Это нынче всех нас волной пораскидало, обломки крушения, немало пострадавшие от проклятого царизма... одни бесследно утопли, других нонче в такую высь вознесло, что

в газетах только крупным шрифтом поминаются с непременным приложением портрета. Но я-то всю их хохлатую публику, можно сказать, своими руками перетрогал: бундисты всякие, максималисты тоже, которые, бывало, по двести семьдесят девятой статье свода военных постановлений...

Тут кто-то бегающим голоском поинтересовался было, что по названной статье **ихнему брату** полагалось, однако соседкин муж тотчас многообещающим взглядом отстранил его не только от участия, но как бы и от жизни самой, после чего, в задний ряд перейдя, тот до конца представления и звука не проронил.

— Не обращайте внимания: ему всегда много знать хочется, видно, сведения для **кого-то** собирает! — щелкнул он беднягу в назиданье и поощрительно погладил вздрогнувшее гаврииловское колено. — Но представляю себе кипучие будни революционной борьбы, когда все чем-нибудь заняты. Одни нелегальщину в подвалах печатают, другие динамитцем на губернатора запасаются...

— Было дело и с динамитом, — сказал польщенно Гавриилов и губы облизал. — Самому доводилось привозить из-за границы...

— А что, небось, заграничный-то похлеще брал? — вставил кто-то сбоку. — Если по другим продуктам судить, наверно, и сравненья нет...

— А вот считайте... — принялся Гавриилов, — на князя Сергея, по нынешнему счету, всего полтора кило потребовалось привозного-то, да еще колесо от коляски вон куда закинулось, еле нашли. А на Плеве почитай втрое потребовалось отечественного производства... Зато как махануло из желтого облачка это самое, черное с багрецом... — и не досказав, пожевал что-то не без удовольствия. — Гадалки не послушался, на вороных ездил.

— Всего, милые, понемножку хлебнуть досталось, — так и полыхнул дядя как от подкинутого поленца. — Ведь я, правду-то сказать, всю эту бражку, нынешних главарей лично знавал, за ручку держался: Богучарский, Луначарский да еще этот, как его... ну, здоровый такой, скандалист в пенсне, волосы русы и бородка клинышком... Ну, еще которого недавно как японского шпиона замели! Я эту Розалию вон с этих времен помню: большая

труженица. Вокруг бывало наши ребята из студентов, стеной стоят, любители пошуметь, попить, в форменных тужурках, бравые... одна средь них сухонькая, черненькая, старательная. На нее глядя, признаться, и сам я царизма невзлюбил... душа, бывало, радуется глядеть, как они славно Россиюшку — **тюрьму народов** в гроб заколачивали. Один зубильцем при фундаменте орудует, другой колом либо жердиной по грудям достать хлопочет, третий черным медком ее с серебряной ложечки поит... поит и в глаз смотрит, много ли в дурехе жизни осталось. В лунную ночку выйдешь по малой нужде на дачное-то крылечко: легкий туманец стелется, а в нем вроде перепел с хрипцом кричит, хруп да хруп... А то не птица, то неусыпный Максим с покойным Чернышевским на пару обоюдной пилой ее попиливают. Наглядемшись-то, невольно и тебя потянет со своим скромным лобзиком принять участие. Ой, клево работали, великаны и то в полтора века еле управились... а почему? Видите ли, милые мои, Россия отродясь на деревянных сваях покоилась... уж больно толста была, мать честная. Судите сами, Батый с Наполеоном зубы поломали. Наше поколенье было — сплошь ударники, и конечно, далеко не все нынче награждены за расшатывание враждебного царизма, — не преминул со вздохом пожаловаться Гавриилов, — но поколение наше и за то еще должно Бога благодарить, что не всех постигла суровая доля. Недаром покойный Пирамидов любил наставлять присных своих да подопечных, которые наперво допилятся, что всех их враз с макушкой захлестнет, обломками завалит наподобие небезызвестного в Библии Самсона. Не дожил полковничек повидать, как сбывается его пророчество... В девятьсот первом помер, как раз в эту пору по весне. И ведь тридцать восемь годков протекло, а равно вчера... Еще и голос чей-то в ушах дребезжит. Нет, умнейший был господин, хотя и негодяй первейший, но обаятельный, ничего не скажешь, обаятельный!

Тут зачем-то все переглянулись со значением, после чего коллективно покосились на побледневшего фининспектора, который к тому времени, мысленно конечно, весь так и заливался слезами, хотя всего события в полном объеме еще не осознал.

— Фининспектор-то наш, тихоня, а? — скрипуче, для затравки, начал болезненного вида жилец, проживавший дверью наискосок и, несмотря на поздний возраст, лишь начинавший свое восхождение в **люди** по спинам других. — Все на сиротство жаловался, дескать, голову негде приклонить, ни души близкой на свете не осталося, а у него, глянь, какие тузы козырные в ладони спрятаны: очко! Да по такому случаю ему бы всеквартирный сабантуй объявить, а он, вишь, ровно воды в рот набрал, помалкивает: экономит. Нет, уж тут, братец, поллитром не отделаешься...

Сожаление свое он выразил в таком дружелюбном тоне, что Филипп Гавриилов и голову в плечи втянул — всего лишь из опасливой догадки, что ввел племянника в непредвиденные расходы.

— И в самом деле, нехорошо у вас получилось, товарищ Гаврилов, — как бы с душевной мягкостью, но в самые очи попрекнул фининспектора соседкин муж. — Столько сезонов за перегородкой друг у дружки прожили, душа в душу, а такого человека, ветерана с заслугами, от нас утаили... И не стыдно? Хоть бы карточку показал, похвастался по соседству, — да за такую скромность знаете что полагается? — и поласкав виновного вдумчивой приглядкой поверх очков, распустил свое сборище завтракать, пока не простыло, с условием попозже и в том же составе продолжить вечер воспоминаний. И тотчас же в очереди выстроились у подразумеваемых дверей.

В предвидение кое-каких, ставших буквально неотложными мероприятий фининспектор за чаем ничем, кроме молчания, не выдал своего неудовольствия, но, понимая свою провинность, тот сам болтал без умолку, льстил хозяйке, пытался задобрить не по-детски хмурых малюток, из кожи лез, упирался распахнувшейся пучиной.

— Ты знаешь, — оправдываясь, все теребил он племянника за рукав, — это я им нарочно показал, что и у тебя родня не лыком шита. Самое главное сегодня — умело обрисовать, насколько глубокое нравственное удовлетворенье испытываешь по случаю поваленной России... Сейчас это очень, очень ценится. Не скрою, конечно, и самому хочется под старость покрасоваться

в лучах истории... да и жалко, если такие вещи без внимания пропадут. Постой, говорил я тебе, что за писанину засел, где показываю тогдашнюю обстановку, разные спорные случаи, также и личные переживанья. Один манускрипт у меня уже готов, да вот пропихнуть не удается. Допускаю, память стала не та — на числа, адреса, всякие там мелочи: не мальчик, да и не упомнишь всего. На худой конец освежите, поправьте в современном духе, пускай даже внесут что-нибудь насчет всемирно освободительных заслуг... ну сам понимаешь, чьих! На все согласен, и даже гонорар пополам, так нет же. Оттого, что какая-то у них цифирь казенная не сходится, они вообще отказывают мне в историческом существовании, просто мистика какая-то. Подлейший Азеф для них неоспоримый факт, а тебя вовсе не было на свете, даже обидно. И в том моя беда, что некому подтвердить, что не фантом, не призрак я, потому, что все свидетели давно померли... Не могу же я их повесткой вызвать из могилы! Какой-то дотошный Феклистов в Главархиве объявился, ничему не верит, воду мутит, копытом бьет... У тебя случайно в Главархиве никаких связей нет?

— Позвольте, сколько я помню, вы же и приехали к Феклистову, — не выдержал наконец племянник. — Вот и съездили бы к нему в больницу!

— Нет, то другой Феклистов... однофамильцы, — сбился дядя, и с видом крайнего уныния принялся по штучке собирать крошки со стола.

Весь тот день прошел в лихорадочных поисках спасенья, но для плодотворного раздумья на самоважнейшую теперь тему требовались время и уединенье. Рассчитывая кое-что изобрести в дороге, фининспектор пригласил гостя полюбоваться на успехи сельского хозяйства, совершенные за два десятилетия его политического небытия. Постоянная выставка достижений, где наряду с высшими сортами конопли и хлопка были представлены высокопродуктивные домашние животные, размещалась на обширной территории, так что целью поездки было замотать старика по многочисленным павильонам до полной его непригодности для использованья соседкиным мужем в своих коварных интересах; кроме того, теплилась детская надежда, что зазевавшегося провинциала

по возможности с необратимым исходом саданет рогом особо племенной бык. К сожалению, ничего такого не случилось, тем более отравления в местном буфетике, где обедали стоя — даже при всей гавриловской готовности соразмерно пострадать и самому. После утреннего спектакля перетрусивший дядя беспрекословно подчинялся распоряжениям племянника и к концу похода еле держался на ногах, да еще из-за счастливой трамвайной аварии частично возвращались пешком. Домой удалось вернуться затемно и почти сразу после ужина, проведенного в подавленном молчанье, старик стал проявлять странное беспокойство: видимо, его снова тянуло показаться враждебной толпе, даже прочесть в ее глазах насмешку и презренье, лишь бы не угрозу своей безопасности... словом, убедиться в ее **незнании**, без чего нечего было ему и думать о покое.

— Как хотите, милейший дядюшка, а трепаться я вас **туда** не пущу, — сквозь зубы пошутил Гаврилов, заметив его блудливые поглядывания на прикрытую дверь в коридор, откуда доносились шорохи приготовлений. — В вашем возрасте надо пораньше бай-бай ложиться, да и мне после утренних переживаний хотелось бы до службы выспаться... — и, не дожидаясь согласия, погасил свет.

Ни одного намека насчет нежелательности гостя не было пока высказано вслух, но, значит, такая тревога излучалась от него самого, что все мысли в доме были направлены в его сторону: старшая дочка раньше обычного вернулась домой, малютки без единого каприза поторопились с головою укрыться одеялом. Спать легли в прежнем порядке, и прошлому разу не в пример все пятеро заснули тотчас, чуть смежились веки.

Уже к концу недели первоначальный гавриловский замысел возвышенья сменился целым циклом хитроумных, возрастающе-сложных планов во что бы то ни стало и пока не поздно избавиться от ненавистного родственника. На четвертые приблизительно сутки постигло его совсем фантастическое сновиденье, будто безлунной ночью в кавказских предгорьях, где лечился позапрошлым летом, по тесным лабиринтам спящих селений, весь в поту и астматической задышке, потому что круто в гору, втаскивает он надежно прибинтованного дядю

к длинным, особого устройства санкам, на колесиках, которые со всхлипом повизгивают на ходу, отчего вдвое увеличивается тяжесть груза. Ни огня, ни шороха в окружающей мгле... чья-то тень явно перебегает по сторонам. «Кто, кто там?» — перебоями спрашивает сердце. По счастью, совсем близка вершина и общеизвестный как альков влюбленных грот на ней с историческим колодцем загадочного назначения, куда по преданью ходила за водой одна давнопрошедшая царевна и куда обычно кидают камешки послушать мелодичное бульканье из глубины. Так что если не окажется там дежурной парочки на скамье, если хватит давешней порции снотворного снадобья, чтобы не проснулся чертов оборотень, когда в упаковке из ватного одеяла придется пропихивать его головой вниз через тесноватую колодезную горловину... Ожидаемая авария застигает при последнем подъеме — что-то случается со шнурком, и колдовская тележка, совершая всякие подскоки, бочки, иммельманы, с грохотом и дребезгом мчится по склону, пробуждая собак, чутких старушек и самого кандидата в покойники, после чего со скандалом, по счастью, за пределами сна раскрывается, что в качестве груза у бывшего **фина** находилось не что иное, как скромный деятель освободительного движения и даже, помнится, случайно несостоявшийся цареубийца. Изнурительное сновиденье тянулось до самого рассвета, нескончаемое вроде музыки **болеро**, но с более погребальной тональностью, что грозит расследованием всей общефамильной по совокупности гавриловской подноготной. До сумерек фининспектор провалялся с мокрым полотенцем на лбу, наблюдая за сидевшим за газетой дядей — не хитрит ли, знает ли он о грозившей ему в прошлую ночь гибели? А перед вечерним чаем он даже побывал в поликлинике, не менингит ли, прихватив с собою и чертова старца во избежание очередного сеанса болтливости.

Так и не завершенное в один прием захороненье ненавистных дядиных останков, причем с нарастающей гаммой кошмаров и подробностей, повторялось и в последующие три дня, грозя перейти в стойкое душевное заболеванье. По возвращении с работы играли в шашки, лишь бы глаз со старика не спускать, перед сном про-

ветривал его на свежем воздухе, и фининспектор машинально выбирал переулки поглуше, но почему-то наиболее подходящие находились под особым присмотром милиции. Однажды, в комнате у дочки, между двумя чашками чая, Гавриилов беззвучно поплакал, завернувшись секретности ради в оконную занавеску... Конец, совсем конец подступал незадачливому Прометею и, конечно, назначенный на роль ворона к нему, с его профессиональным проникновением не упустил из вида роковые перемены, буквально на глазах постигшие племянника, а проводить последнего на кладбище вряд ли входило в интересы совсем теперь одинокого старика. Да и сам он заметно томился тайной мыслью, все вздыхал, явно случай подыскивал для откровенного объяснения наедине, которое как-то само собой и состоялось однажды на исходе дня.

Тем вечерком, при возвращении из бани, старик высказал смутное пока намеренье уехать, причем без определенного адреса, и не без расчета на родственную жалость завел речь про обычай зверей забираться в глушь перед смертью.

— Ну, пора мне уезжать! Так что извини, братец, что после такой разлуки совсем мало погостил...

— Что же, печально... но всем нам приходит пора расставаться на еще более длительное время, — с замиранием сердца откликнулся Гаврилов, имея в виду, по-видимому, воскресение мертвых.

— Но видишь ли... — стал мямлить дядя, — тут возникает одно щекотливое дельце. С пенсией у меня затянулось из-за кое-каких документов, а при моем относительно неплохом здоровье, хоть и прихварываю, мне и думать нечего об отъезде при моем безденежье.

Похоже, то был намек на отступное.

— Вы наверно заметили, мы небогато живем... Но мы могли бы продать кое-что. Сколько вы хотели бы?

Вышло грубовато, зато короче, ближе к делу.

— Ну, зачем же мне грабить твоих малюток! Мы попроще, без взаимной обиды обойдемся. У тебя еще цела моя коллекция?

— Это какая же? — очень правдоподобно нахмурился племянник.

— Не пугай меня, мой мальчик. Я имею в виду... ну, которую я **тогда** оставил вам на сохраненье.

Последовал торопливый размен колючими восклицаниями, похожий и на размолвку. Племянник удивился наивному дядиному предположенью, что кто-то обязан хранить чужие вещицы с портретами царей да еще иностранных, с риском загреметь из-за них в чрезвычайку. Тот разъяснил в ответ, что рассматривал коллекцию как неприкосновенную родовую ценность. Получался скверный узелок, и лучше было рубить его сразу, без обсужденья:

— Ее больше нет, дядя.

— Да где же, где же она?

— Мы ее тогда же, в голодуху девятнадцатого года, и проели. Меняли мужикам на сало и пшено, как вы помните, золота там было три-четыре монетки, а наши поставщики были плохие ценители. — Подозревая искусную дядину уловку, он даже посмеялся при виде дядина отчаяния, как тот хватался за виски, привлекая внимание прохожих. — Вы и в самом деле верили, что это могло сохраниться? Кстати, никто и не предполагал, что вы когда-нибудь вернетесь...

— Но почему, почему? — амфибиально расставив глаза, заинтересовался Гавриилов, но из понятных соображений не настаивал на ответе. — Да ты не спеши, братец, ты пошарь в ящиках-то сперва, кое-что могло за перегородки завалиться...

— И ящики тоже в ход пошли, — жестко сказал фининспектор. — Дров-то тоже не было: целых две каши на них сварили.

Лишь теперь старик поверил в утрату сокровища.

— Что же вы наделали, серые люди? Ладно еще отец твой, темная полицейская сошка... Но ведь тебя-то, балбеса, учили чему-то: латынь в классах проходил. Там вещи были — только на груди носить, и ни одного фальшака. Перикл, Юстиниан... — принялся перечислять он наравне с вовсе фантастическими именами. — И еще, отдельно большой такой рубль Лжедимитрия!

Тирада перемежалась открытой бранью, и немудрено, что племянник под конец тоже утратил равновесие:

— Там вещицы и похлеще имелись, дядюшка. Сребреники, например...

— Не помню... это какие сребреники? — нахмурился старик, причем мелкие жилочки опасно набрякли на висках, желвачок по щеке побежал.

— А те самые, евангельские. Тридцать штук.

Некоторое время родственники глядели друг на дружку, оторваться не могли, и надо считать — посчастливилось обоим, что без крови расцепка обошлась.

— Понимаю... — протянул дядя, отводя усмешливый взор. — Ну, очень хорошо, мальчик, что прояснилось, а то уставать стал с тобой от постоянного притворства: годы берут свое. Так и тянет иногда лечь посреди площади, распахнуться до исподнего и пусть расклевывают дотла... Не мог же я сам тебе признаться, а смотри, как славно обернулось... И снова мы с тобой друзья! — Дядино облегчение сказывалось в самом строе речи, где откровенно отныне просвечивала каторжная изнанка. — Ты меня береги теперь, на твердое не урони, а то хуже взрывчатки... прямо в ногах взорвусь. И малюткам покурить достанется. Ладно, пойдем домой, а то я что-то проголодался.

С горьким запозданьем фининспектор сообразил свою ошибку, сплотившую их теснее прежнего родства, — наличие тайны превращало их в сообщников. И что-то тяжкое, с наклоном тела вперед, появилось в гавриловской походке — от необходимости ядро на цепи волочить за собою.

— И какие же теперь намерения у вас, незабвенный дядюшка?

— А что мне делать остается? Придется при тебе пожить!

— Надолго?

— Пока не огляжусь. Жалко, с монетками-то сорвалось... Покупатель толковый объявился на такие побрякушки, подолговечнее. Вообще-то крыса и тварь, но в чинах и с деньгой... лоснится что твоя конфетка атласная. А смекает, что, как раскусит его усатый да поморщится, никуда ему дороги нет, кроме как на второго разбора клей столярный... ну, и запасается про черный денек, ищет емкости понадежнее. А эти госбумажки-то, до кассы не дошел, вдвое убавились... быстрым пламечком горят!

— Да и тех скудновато... — с волчьей тоской пожаловался племянник.

— Так видишь ли, дружок, ведь я не только ради монет твоих проклятых прикатил, — совсем по-свойски принялся разоблачаться Гавриилов, причем по старости лет да еще волнуясь при этом, он выдавал себя племяннику, почти признаваясь в прошлом и даже считая его своим сообщником по утайке от закона. — Тучки всякие вокруг собираются. Я тебе по приезде ширму сплел про Феклистова: никакой он не парикмахер, просто сучка сыскная из Главархива. По светлой-то жизни соскучимшись, да тут еще Бога нет, вся шпана ровно бешеная ко земному блаженству устремилась. Которые пошибче саженками по морю житейскому выгребают, а кому силенок не хватило, те на чужих гробах, оседлавши, вперегонки соревнуются... Значит, мой данному Феклистову приглянулся! Столько раз Россию взад-вперед фильтровали, что и самая вода-то пожиже стала, потощей... И вдруг по прошествии времени такую рыбину выудить, вроде меня, то большой суп можно соорудить, наваристый! Не без таланта ищейка, покойник Пирамидов страсть любил таких! Надо думать, Феклистова в манускрипте моем осведомленность авторская поразила.., а поскольку столь крупная и негласная фигура нигде по ведомству революции не числится, то и надлежит ее в супротивном лагере искать. По крючку в хребетине чую, крепко меня наколол...

— Брехать надо меньше, дядюшка, дольше на живодерку не попадешь, — сквозь зубы процедил, чтоб побольней хлестнуть, Гаврилов. — Я весь помертвел тогда, как они со всей квартиры вас облепили...

— Не ворчи у меня, не ворчи!.. Да еще мало того, что за шесть тысяч верст незримыми перстами, по радио меня прощупывает, аспирантку вдобавок, тетеху свою подослал. Вселилась рядком, под цветок природы загримирована, то мимоходом у крыльца пощебечет, то в окошко средь ночи заглянет, то да се, а перед отъездом бельишко напросилась постирать, хе-хе, патриарху всемирной революции... Во цирк, а? Сама виду не подает, что от Феклистова.

Не хватало только, чтобы к прошлому своему старик еще и спятил малость.

— А вам откуда известно, что он ее подослал?

— Мне теперь, дружок, даже по ту сторону все насквозь известно... Я и приехал пораньше козни его пресечь, меньше хлопот. Веришь ли, я своими руками козявки в жизни не обидел, но тут мне выхода нет. И во сне-то чудится, будто на извозчике везет меня этот Феклистов, уже в препарированном виде, разумеется, а куда — неизвестно... — Раздвоившимся взором он проследил легковую машину, уходившую в глубь переулка, наверно — себя в ней, благодаря чему и не заметил, как его спутник весь уличающей краской залился: до такой степени оказался заразным страх слежки и преследования возможно несуществующих фантомов.

— Откуда вам известно, кто и для чего к вам ее подпустил? — суеверно покосился младший. — А здесь, в Москве, к вам аспирантка не заглядывала? Близ моей квартиры ее не замечали?

Тут они остановились где побезлюднее, чтобы никто подслушать не мог.

— Порознь они к вам заявляются или на сменку друг другу? Рукой вы их касалися?.. не пробовали отпихнуть их от себя?.. Может, это галлюцинация одна!..

— И рад бы отпихнуться, да мне самому руку вывихнуть боязно, — вновь забубнил Гавриилов. — Видишь ли, мне в свое время самому на всякий случай удалось сумасшедшим записаться, пока никого не зарежу — личность вроде неприкосновенная. Так что в желтый дом упрятать меня не рассчитывай, а лучше привыкай помаленьку: и с килой люди живут!

Все тянулось по-прежнему, пока однажды после обеда дядя как обычно вышел пройтись по смежному бульварчику и домой больше не возвращался. Никаких вызовов и уведомлений из больниц, моргов, отделений милиций не поступало в адрес племянника, затихшего, чтоб не спугнуть счастье. Кстати, и тот мифический Феклистов ничем себя не обнаруживал и по отсутствию других тревожных сигналов единственным объяснением внезапного дядюшкиного бегства должно было служить лишь свойственное загнанному зверю чутье погони, обостренному тем, вполне вероятным совпаденьем, что по генетической близости родственники видели один и тот же сон, как младший из них на салазках с колесиками втаскивает на гору старшего,

притворившегося спящим, чтобы не поднимать скандала, способного привлечь внимание властей. Причем первый тяготился не муками неизбежного подноготного расследованья в случае неудачи без возможности выслужиться или хотя бы заслужить прощенье фамильного греха с правом на койку в яме социального ничтожества, а невыполненным обязательством в отношении престарелого, тогда как другого огорчает не перспектива погруженья заживо в иррациональный, на горе, бездонный колодезь, не процедурные перед пулей переживанья, а неблагодарность любимца к застигнутому бедой дарителю стольких детских утех... Странная семейственность в условиях крайней политической разобщенности объяснялась тем, что в пустыне их волчьего одиночества родство становилось единственным критерием доверия и близости.

Несмотря на восьмиклассное среднее образованье, фининспектор близок был к заключению, что дядя-провокатор вполне мог быть ниспослан на него в качестве возмездия по жалобе попадьи. Впрочем, мировоззренческая гавриловская ущербность выражалась лишь в том, что он допускал, будто нередко окружающие вещи при совмещении могут выполнять, помимо основного предназначения, вовсе неподозреваемые дотоле функции, наподобие проволоки и магнита в руках Фарадея с магическими затем последствиями...

В сущности это было как бы началом новой жизни для старших участников описанной эпопеи. Гавриловское прозрение в чем-то весьма совпадало с ощущением о. Матвея, для которого бегство на обетованный Алтай сливалось с концом жизни на краю света.

Поразительно, что такое множество разных событий уплотнилось в одну неделю, начавшуюся уходом о. Матвея в свое заалтайское скитание.

Глава XXVIII

Повторялась свойственная усопшим, по преданию, потребность истосковавшейся по приюту души в последний разок в просвет меж занавесок и уже без права прикосновенья взглянуть на покинутое гнездо.

Поезд приходил в столицу поздним вечером, и на сей раз о. Матвей не заметил обычной на вокзальных площадях шумной толкотни, трамвайного грохота, парадной иллюминации по случаю какого-то очередного праздника. В сущности, он отправился в Старо-Федосеево почти в невменяемом состоянии, и надо считать, лишь оказия пополам с чудом в кратчайший срок донесли его до старо-федосеевской обители. И вдруг в самых воротах кладбища зрение его обострилось до предельной остроты, как всегда бывает в последнюю минуту перед прощаньем навечно. Знакомая местность показалась непривычной после тысячеверстного путешествия — деревья и те до жути чужие, самый воздух тоже. Не снимая с плеч котомки, о. Матвей вошел в ворота и, припадая от дерева к дереву, прокрался к домику со ставнями.

Как у заправского призрака, ни ветка, ни камешек не хрустнули под его стопой. Еле хватило воли подойти к окну, словно, помимо следов разоренья, предстояло увидеть мертвое тело на столе, себя. Набравшись храбрости под конец, о. Матвей заглянул поверх неплотно сдвинутой занавески, и мурашки ужасного открытия побежали у него по спине.

Вместо ожидаемого зрелища скорби и сургучных печатей на отчуждаемом в казну имуществе батюшка заставал дома почти неописуемое сборище и в некотором смысле даже разгул. Все домашние в полном составе находились за столом, включая одного неожиданного гостя и на правах члена семьи студента Никанора, сидевшего с опущенными очами и таким лицом, словно он принимал участие в государственном преступлении, как оно и происходило в действительности. Как бы радужное сиянье исходило от расставленных на праздничной скатерти обыкновенных маринадов и солений, даже коробки шпрот, запретных для питанья верующих в эту пору Великого поста. Как предел земного благоденствия, домовитым паром дымилась посреди только что сваренная картошка. Словом, законно представилось о. Матвею после его могильного небытия, преступное винишко так и текло, правда — не рекой, а лишь струйкой, потому что из единственной бутылки, в которой с расстоянья опознавался кагор из предпоследнего, трехлетней давности,

скудновского подношенья. Виночерпием с видом совершаемой измены, и, верно, по поручению матери, оказался сам виновник переполоха, Егор, повзрослевший и тоже, как почудилось о. Матвею, с изнанки черный весь, потому что по долгу хозяина должен был угощать то постороннее лицо, ради которого персонально и было затеяно все пиршество.

На почетном месте красовался не кто иной, как вчерашний разоритель лоскутовского гнезда Гаврилов, произносивший жаркую речь в адрес сидевшего наискосок от него Никанора. И судя по его воровато-блуждающей улыбке, было видно, что оратор испытывал глубокое удовлетворенье по поводу оказанного ему приема и, главное — что справляется не его капитуляция, не поминки по бегствующему хозяину, а желанное примиренье враждующих сторон. Надо согласиться, Прасковья Андреевна не пожалела неприкосновенных запасов на угощенье раскаявшегося фининспектора, причем, как выяснилось позже, в полной уверенности, что и вторая половина желаний осуществится по ее горячей молитве, поставила лишний прибор для безбожно запаздывающего супруга. Однако участившиеся совпаденья обстоятельств поневоле заставляют искать объяснения вне здравого смысла. Как раз в минуту Матвеева открытия мальчик Егор наливал вино в бокал своего врага, вдруг бутылка дрогнула в его руках, и черная струйка пролилась мимо, на скатерть: виночерпий почувствовал присутствие отца за окном и тотчас бросился ему навстречу, которая произошла в потемках сенец, капли света не сочились ниоткуда.

Егор бился в его грудь: «Я не злой, не злой, я только сломанный мальчик!» — точно втиснуться хотел в отца.

Батюшка стоял с закрытыми глазами, качаясь от толчков сына, еще не верил, что дома. Розы горних миров не могли не заменить кисловатого запаха капусты, исходившего из кади по соседству. Теперь было бы славно и забыться навеки.

Прильнув вплотную, словно слить хотел отцовскую судьбу со своею, мальчик мелкими поцелуями покрывал грубую крестьянскую сермяжину, перекрещенный на его груди ремень, пуговицы, все что пришлось на уровне лица.

— Не умирай, не умирай... — с мольбой шептал он, пользуясь минуткой, пока не выглянул к ним кто-нибудь из домашних, целовал и гладил лицо отца. — Не думай, не хотел и не хочу... не умирай!

— Теперь уж не стану, быть по-твоему, сынок, — пытаясь высвободиться из объятий, успокаивал его о. Матвей. — Ничего, ничего... я ведь догадался, что не из дому меня гнал, а просто из клетки каторжной на волю выпускал... Мне и самому пуще жизни улететь хотелося. Ну, ладно, отпусти теперь...

Но сын и не нуждался в его прощенье за вину, которой, в сущности, и не ведал за собою, он другого добивался, первенство свое закрепить пытался у нищего и жалкого старика по праву первого **сретенья** после воскресения. И пожалуй, принимая во внимание размягченное Матвеево состоянье, то был верный ход в сердце отца. Но оттого, что последние два года, **с тех пор**, и разговора в семье не возникало о запретнейшем человеке, чье имя мальчишка через мгновенье вслух да еще в тоне соперничества посмел произнести и которому буквально все, включая благо младших, принадлежало в домике со ставнями. Так что и сейчас, на краю жизни, только и помысла у него было о нем, о. Матвей подивился, как глубоко иной раз Господь вразумляет ребенка на познание человеческого сердца.

— И не люби его больше, Вадима, не люби его... — безумно и вовсе непонятно бормотал Егор, вынуждая вспомнить его родство со знаменитой Ненилой. — Он отступник, перебежчик он. Мать по нем ночей не спит, убивается, а он, бесстыдник, весточки не подаст: злой, холодный, мертвый. Не люби его... Меня, меня с Дунькой люби!

В приступе детской ревности он кулаками стучался в грудь отца, и если не лихорадка его била, значит, вытеснить кого-то оттуда торопился. Тогда о. Матвей опустился вместе с ним на сложенную в пристенке дровяную саженку и, своеобычно накрыв его полою армяка, приникшего к коленям, малость поприжал к себе. Так они посидели, не шелохнувшись с полминутки, пока не миновал опасный приступ, пока свет вдруг не ворвался, на пол не упал квадратный луч через распахнувшуюся дверь.

— Вот и я к вам на огонек с того света припожаловал... — коснеющим языком пошутил о. Матвей, появляясь на пороге.

Его встретила пауза ошеломительного молчания, какая и должна сопровождать настоящее чудо, после чего и начался не поддающийся никакому описанию переполох слез, объятий, перекрестных ликований, в которых сам он уже не играл сколько-нибудь самостоятельной роли, целиком отдаваясь проворным рукам и заботам близких, не преминул, однако, распорядиться, чтобы отпустили машину от ворот, поставил в уголок полюбившийся ему костылик, ибо только в скитаньях поверяется верность вещей. По дороге к столу, скорее во утоленье душевной потребности, он присел было на канапе, стараясь на ощупь удостовериться, много ли попортилось от пылающего казенного сургуча, хотя осознавал, что никакой описи не было. И лишь кивал в ответ на поступавшие к нему приятные вести, что составленное Егором письмо так и не отослано, а заказанные сапоги получены Герасимовым в срок, без минуты промедленья. Но мало что доходило до его сознанья, даже Дунины поглаживания, даже знаменательный рассказ Прасковьи Андреевны о фининспекторе, постучавшемся к ней на исходе дня. И будто спросила его: «Ай чего забыли с прошлого раза, лишнего разка не ударили?» Он же молча показал ей прокушенную руку, и она перевязала ее как милосердная самаритянка, после чего надоумилась к столу пригласить, дабы за чайком изъяснить гостю, что рады бы и вчетверо заплатить, да нечем: «...самые мы теперь что ни есть к стене припертые!»

Когда первая суматоха улеглась, Гаврилов, с воодушевленьем часто поглядывая на о. Матвея и как бы приглашая его к участию, продолжил дискуссию, прерванную появленьем батюшки. Речь шла о вреде мнимой науки **философии**, которая путает человечество поисками несуществующих благ, в то время как имеется высшая мореходная наука государственного кораблевожденья, особливо в штормовые нынешние ночи, при этом явно подразумевалась непогрешимая и всеобъемлющая лоция для любых времен, широт и океанов, а именно знаменитая четвертая глава из сочинения вождя.

— Нет, что ни говорите, дорогой товарищ Никанор, а хваленые ваши философы повторяют уже сказанное кем-нибудь до них, отчего происходят бессовестные излишества и засорения мозгов... — говорил Гаврилов, помахивая забинтованной рукой, — и прочую благонадежную чепуху, необходимую ему для того, чтоб восстановить на людях свое помятое достоинство. Но батюшка после стольких переживаний уже не слышал его, погружаясь в домашнюю теплынь, испытывая хмельную сладость воскрешения и радуясь тому, что впредь до мирного и скорого теперь конца избавился от всяких потрясений, в чем он, кстати, прискорбно ошибался.

Все были счастливы, включая Гаврилова, что отделался пустяками без потерь, не приобретя лучшего, не утратил и наличного. И тут на радостях Дуня и вслед за ней Никанор порознь повинились и раскрылись начистоту в предпринятых ими по отвращению беды самовольных и, по счастью, бесплодных хлопотах после того, как выяснилась абсолютная неспособность младшего Лоскутова сочинить тот громоотводный донос вослед сбежавшего отца. Сам же герой сидел присмиревший, подавленный щедростью небесного благодеянья, не участвуя в домашнем оживлении и уже мало понимая: все чаще вступали голоса, беседующие об истине, и странные рукоплесканья слышались над головой, но и возвратившаяся болезнь была ему приятна, потому что **дома**.

Сидя за общим столом, вряд ли понимал он смысл происходящей беседы, все глядел на свой серебряный подстаканник, который во испытанье фининспектору выставила матушка напоказ и тоже, наверно, не догадывался, что в нем. Внезапно все затмилось вокруг старофедосеевского батюшки, наполнилось шумом крылоплесканья, как бы от стаи поднимавшихся птиц, и не в силах вытерпеть впечатленье он повалился со стула на пол. Домашние поспешили уложить его в постель, причем в хлопотах добровольное участие принял и кающийся фининспектор в очевидной надежде, что ему зачтется. Так, при переноске в соседнюю комнату, держал хозяина за ноги, издавая деловые восклицания и напрасные советы силачу Никанору Шамину, например, не задеть батюшку за дверную скобку, а то и вовсе не уронить.

— Спасибо вам, милые: теперь, что ни случись, а все под кровлей у себя... — забегала вперед и кланялась им Прасковья Андреевна за оказанную помощь и сочувствие.

Сам о. Матвей уже не понимал происходящего, но в просветах, под свежим впечатлением пережитого он еще острее вглядывался в воображаемое небо... И как далеки были его нынешние настроения от той поры, когда распростертый на каменном полу взвыл к **нему** в мольбе о лучике едином. Теперь вся боль его укладывалась в одну формулу — дескать, все шутишь над нами, Господи, по неисповедимому юмору своему, но все равно, все равно: да будет воля твоя! Сказанное надлежит рассматривать как мостик, переходное состояние к тому чрезвычайному для священника умонастроенью, чтобы принять в доме у себя подозрительного господина, о коем еще недавно не помышлял без содрогания.

До этого визита оставалось две недели, и батюшке надлежало отболеть к назначенному сроку, поэтому, точно подгоняемые, женщины засуетились кругом. Жена принялась раздевать больного, дочь побежала липовый чай заваривать; что касается мужчин, то вчетвером с присоединившимся Финогеичем они ради порядка потолковали еще с минутку-две насчет расплодившихся волков, участившихся грабежей, также намечаемого назначенья товарища Скуднова на пока еще не выясненную должность. Время от времени каждый мысленно провожал вчера еще жуткую тучу, почти смешную, если смотреть вдогонку. Все кончилось ко всеобщему удовольствию — кроме Гаврилова, пожалуй. По счастью, дальнейшая судьба фининспектора уходит в толкотню тогдашних событий.

Можно легко представить, какое вредное толкованье в суеверно-обывательской среде получило бы известие, скажем, что давно и надежно зарытый провокатор и не думал навещать своего племянника. Да и жильцы вряд ли пощадили бы соседа, уличенного в неблаговидном родстве и занимавшего лучшие комнаты в коммунальной квартире. Ввиду того, что к осени подобный же шантажно-миражный прием должен был повториться в значительно-расширенном масштабе, с угрозой всему земному шару, желающим мыслителям дается заблаго-

временно разобраться в этой путанице, единственное оправданье коей состоит в том, что дальше их ждут еще более невероятные.

Как плотно укладывались происшествия одно на другое в связи с приближением Первого мая, когда было назначено событие, о каком о. Матвей совсем забыл на время скитаний. Вот тут понятно, как после всего случившегося напугало его напоминание Никанора о приближающемся сроке встречи с корифеем, который якобы неоднократно интересовался состоянием здоровья в связи с постигшими попа налоговыми приключениями.

Несмотря на достаточные сроки приготовиться к событию, с каждым днем о. Матвея захватывала почти паническая пополам с раскаянием тревога по поводу его опрометчивого согласия, им же испрошенного испытания...

Глава XXIX

За эти дни, покуда Матвей Лоскутов болел и ехал в поезде, привыкая к новой бездомной жизни, в домике со ставнями, ввиду того, что мальчику Егору, несмотря на хитроумный замысел по гавриловскому способу извлечь какую-нибудь выгоду из несчастья, явно не давалось написать в верховные инстанции задуманное доносное послание на отца, по-тогдашнему **телегу**, молодежь на свой страх и риск самостоятельно, не посвящая никого в свои планы, оберегая от разочарования в случае неудачи, предприняла вылазку в мир на предмет спасенья от крушенья. Дуня вспомнила еще при упоминании фининспектором цифры налога, что мельком названная Сорокиным странным образом совпадает с требуемой суммой, и наконец-то решилась разыскать режиссера. Одновременно совершил свой поход в цирк Никанор тайком от подруги и близких в поисках денег, спасительных для семьи Лоскутовых и которые не стоили никаких трудов для чудотворца. Самое поразительное — сколько событий нагромоздилось в ту злосчастную неделю, заполненную беспомощными хлопотами, похожими на бултыханье в ледяной воде.

В ответ на уместное недоуменье наше касательно роли налогового эпизода в предпринятом повествованье Никанор по испытанной формуле острословия предложил спросить у него что-нибудь полегче. Вдруг испугавшись порочных для советского студента философских вольностей, уже не раз допущенных им при освещении старо-федосеевской эпопеи, проявил он крайнюю осторожность, принялся торопливо и зачастую невпопад рассуждать о праве каждого вносить свое толкованье в чередование событий подобно тому, как древние различали в звездных россыпях мифические фигуры богов и животных. По его словам, человеку от самой пещеры свойственно было объяснять мир на уровне наличных знаний, поэтому никогда не окончательных; к слову, их ему всегда в обрез, то есть в целых числах, хватало для постиженья всего на свете... Даже оговорился, что последнее соображение должно было поунять высокомерную прыть иных наук, окрепших на базе, главным образом, расширенного человекоубийства. Лишь после стольких оговорок и то не для широкой огласки намекнул он, что в раскиданное многоточие лучше всего вписывается коварный план Шатаницкого оскандалить командировочного ангела в глазах небесного начальства, чтобы, как выразился он, «путем гравитационного захвата втянуть Дымкова в орбиту своей адской резидентуры». Ключом к пониманию махинации должно служить повторенное, на протяжении менее чем полугода, упоминание одной и той же суммы **сто семнадцать** тысяч, коей в ходе истории обозначен не только свалившийся на Лоскутовых налог, но и памятное, в начале зимы, сорокинское предложение Дуне о совместном, за ту же цену сценарии об ее девичьей тайне: само собою напрашивается покрытие первого за счет второго. Дело сводилось к разоблачительному, с широкого экрана, кинорассказу о легкомысленном поведенье небесного посланца, выдавшего доверенный ему секретнейший объект своей подружке, в свою очередь спустившей его по дешевке бессовестному дельцу. Речь идет о загадочной, в старо-федосеевском храме, колонне с дверью за ней, — оказалось впоследствии, она была проходом служебного пользования во вчерашний и завтрашний день мира. Естественно, са-

мый посредственный фильм о конструктивной изнанке бытия был бы воспринят человечеством как открытие нового материка. Можно заранее предсказать ожидавшую постановщика, помимо изрядного денежного куша, сверхколумбову славу, равно и степень возмездия провинившемуся стражу со стороны разгневанной небесной администрации.

До конца разработанная сюжетная канва была, однако, внезапно перечеркнута в завершающем звене, именно при очередном свиданье Дуни с Сорокиным, из чего позволительно заключить, что при почти неограниченном предвиденье и у них тоже бывают черновики. Если нельзя считать крупным художественным изобретеньем мелодраматическую девицу, продающую ангела-хранителя на выкуп престарелого родителя, то и обогащенный введением обольстительницы вариант тоже не блещет новизной. Да еще произошла непредвиденная осечка в расчете, что к решающему столкновению ангел окончательно дозреет для полноценного грехопаденья. Механизм перестроенной акции легко просматривается в логической цепи Юлия — Дымков — Сорокин: земная игра — обольщенье — шантажный фильм и параллельно ему страх за Дуню — ночной разговор в Кремле — потенциальная, уже всемирная **большая кровь** во имя всеобъемлющей из когда-либо нарождавшихся доктрин, последней в истории поэтому. В намеренья Шатаницкого входило замарать свою жертву тухлой человечиной или в случае половинной удачи задержать ее **здесь** до поры, когда в силу некоторых превращений у него не останется крыльев преодолеть земное притяженье, и таким образом сделать из него невозвращенца в пику небесам.

В обеих версиях остается непонятным, зачем было ему при почти безграничных возможностях прибегать к неуклюжим ухищреньям, если мог впрямую, без передаточных шестерен, подкинуть режиссеру искусительный сюжет, как поступил однажды в сновиденье со стариком Дюрсо, и нередко ради забавы потусторонние силы вдохновляют иных политиков на разные эпохальные мероприятия. Видимо, они ради анонимности и под предлогом свободной воли предпочитают осуществлять свои некрасивые предначертания людскими же руками.

Именно оттого, что инженерия расставленной на ангела западни поражает своей прямолинейной жестокостью, бросается в глаза крайне неровное поведение Дуни в ту начальную ночь несчастья: вспышка отчаянья по поводу слепой канарейки и почти безразличие к судьбе отца, когда на семейном заседании обсуждались средства спасенья. Мать объясняла его для себя как раз повышенной впечатлительностью дочки: так глубоко залегла рана, что ни кровинки не просочилось наружу. Напротив, тот гадкий, уже через сутки сожженный **детский** донос был задержан как раз по требованью Дуни, с утра развившей просто непосильную при ее хрупкости спасательную деятельность. Начать с того, что еще той же разгромной ночью, в перерыве, пока младший брат безмолвно стенал и плакал в уединенном дощатом ящике, подавляя свое безутешное мальчишество, паническ ий поиск любого исхода кинул его сестренку к заветной, так никогда и не объясненной старо-федосеевской колонне. Влекли туда запомнившиеся от одной давней прогулки с Дымковым зеленые, с привольным озерцом посреди и вполне пригожие для поселенья пологие холмы, пускай даже в землянке на первое время... Господи, да окажись там сама Атакама, бесплоднейшая из пустынь, такая добрая, потому что совсем **бесчеловечная**, Дуня непременно уговорила бы родителей скрыться туда от **правды** и ее чиновников, железной дверью затворясь навеки. Разумеется, очень скоро все они погибли бы там из-за отсутствия паствы и заказчиков, также по нехватке продовольственных продуктов... но все равно, все равно, лишь бы день и тишина!

Дуня застала в **колонне** бурю и мрак. Непроглядный океан, словно в раскачку на гремучих цепях, которых никто не слышал кроме нее, бушевал там из края в край, норовя закрученными на гребнях валами дошвырнуться до одинокой, в проеме неба, звезды. Как раз набежавшая волна остановила Дуню на приступке, однако успела черной пеной замочить ее простертые вперед, за черту просунутые руки. Было странно видеть себя, плечи и ладони, как бы в дырах от крупных брызг, вернее, от заключенной в них тьмы, и так силен был гипноз образа, что всю обратную дорогу, да и дома целый час потом старалась

незаметно стряхнуть с себя **это**... К сожалению, грустная концовка старо-федосеевской обители не позволяла нашим химикам нацедить в пипетку того мнимоиррационального вещества, которое сам рассказчик, для наведения тумана, упорно сближал с некой предвечной памятью, в которой как бы растворено сущее, так что мы, нынешние, включая номенклатурных работников, даже вождей, всего лишь блик от звездного луча, возникший на ее вознесенном гребне... даже малым ребятам очевидна ненаучность подобного воззренья.

Неудача с колонной и заставила Дуню броситься из одной крайности в другую: добывать через Сорокина необходимые средства на выручку семьи. Здесь полностью проявилась житейская Дунина непрактичность, ибо лишь в аду, по слухам, деньги за столь важный товар, как человеческая душа, выдаются без бухгалтерской волокиты, десятка страховочных виз, без троекратного подоходного обложенья. Но сделка была обоюдовыгодна, потому что по выходе на экран сенсационная картина о конструктивной изнанке бытия сулила ему, кроме куша денег, сверхколумбову славу... и, конечно, у такого ходока при его исключительном напоре и мощных связях хватило бы энергии добиться самого скоростного, благоприятного прохожденья в сценарных дебрях. Да еще незадолго до старо-федосеевской истории усилиями самого же Шатаницкого, не иначе как в предвидении означенной операции было создано Главное Управление атеистических фильмов с довольно либеральными полномочиями насчет как мистики, так и подцензурной эротики, лишь бы сработала заложенная в корень идея — расстреляньe Бога. Устная, при подписании указа, директива великого вождя позволяла не опасаться перегибов в деле совращенья верующих в просвещенное безбожие: на худой конец не составило бы затруднения сплавить такую долгоиграющую мину в заграничный прокат. Шепотом, не для дам, добавляли его игривый *en toutes lettres*, высказанный комментарий насчет склонности обреченных классов тонизировать **малинкой** свои дряхлеющие силы, — и якобы усы погладил при этом.

Одетая и без сна мать еще лежала пластом, когда Дуня начала свои сборы. Она оделась в самое лучшее свое, труд-

ней всего далась наигранная беспечность в глазах. У ней еще не было опыта, но безотчетное чутье гонимых подсказывало ей, что отблеск беды, да еще такой подпольной, мог отпугнуть великого удачника. Поразительно, что сохранился в памяти нигде не записанный, столько месяцев назад и вскользь произнесенный номер сорокинского телефона. Вперебежку, из одной в другую начался обход автоматных будок в Старо-Федосееве, все не решалась позвонить. Сперва кого-то разбудить боялась, но вовремя сообразила, что тот может укатить за город на весь день. Но как только набралась храбрости, то вдруг забыла две последние цифры... Последовавшие затем знаменательные совпаденья показывают, насколько все было готово к заключению роковой сделки.

Наугад произнеся пятизначный номер, Дуня сразу попала на Потылиху. Был выходной день, без шанса застать кого-нибудь на студии, но ответили без промедленья. Когда же без капельки удивления попросила позвать режиссера Сорокина, сам же он **случайно** оказался у телефона.

— Слушайте, Сорокин, не кладите трубку... Я сейчас все объясню, — отчаянно прокричала она, даже не назвавшись в спешке из боязни обрыва. — Помните, я вывихнула ногу в начале зимы, ночь и метель, и ваша синяя машина... Так вот, я решилась, я продаю то самое, если оно еще нужно вам..! Ну, помните теперь?

Дальше снова шли совпаденья. Сорокин крайне дорожил своим временем и досугом, а в студию прибыл лишь ради неотложного совещанья... и вообще он уже подзабыл забавную девицу в смешном капоре и шубке, помнится, голубого **рытого** плюша, употребляемого на подклейку футляров для среднеазиатских музыкальных инструментов. Он еще колебался с согласьем на сомнительное приключение, но в срывающемся девичьем голоске звучало обещание чуда, от которого не посмеет отвернуться самый иронический скептик на свете. «Ах, это вы, малютка?.. Как же, как же!» И тотчас выяснилось, что из-за срочного вызова докладчика в высшую инстанцию заседание переносится на понедельник, отчего, в свою очередь, переместились другие мероприятия, и в донельзя перегруженной повестке сорокинского

дня объявился двухчасовой просвет, как раз на обеденное время. Природная осторожность заставила его назначить местом встречи водную станцию в Химках, где дальность и глухой сезон обеспечивали ему безопасность от дотошных друзей: он не любил быть мишенью. Новый тамошний ресторан, сразу прививший у спортивной молодежи, кроме того, в первое трехлетье стал модным местом у обеспеченных москвичей, стремившихся за светским развлеченьем в пределах от дюжины шампанского до кружки пива под шашлык забыться от суровой тогдашней действительности.

Нужно было ехать долго, и с пересадками, так что успела померкнуть краткая прелесть первовесеннего денька, заодно с ним и возникшая было надежда. Перед закатцем, в косых его лучах, немножко просиял неказистый об эту пору подмосковный пейзаж, но Дуня за всю дорогу не выглянула в окно автобуса, рукавом не обмахнула запотевшего стекла, — ехала и качалась на сиденье, прикидывая в уме возможные условия сделки, тоже всякие попутные обстоятельства, слившиеся по мере приближенья к цели, в самые пугающие сочетанья... В сущности, заодно с **дверью** ей предстояло продавать самое драгоценное свое, тему дымковскую, то есть бессонные виденья последнего месяца, расцвеченную тревогами за ангела, разумеется, в пределах провинциально-ребяческого воображенья. Ей чудились темные притоны и подворотни, знакомые по романам с чердака, душные альковы, чуть ли не игорные дома, если бы имела о них хоть слабое зрительное представление, — другие, ею же придуманные страхи вроде каверз, обольщений, надувательства... мало ль бывало в ту пору небрежных, хуже вострого ножа, прикосновений!

Последнюю неделю она в думах своих о Дымкове постоянно видела его с женщиной... нет, то не ревность была к возможной и, кстати, уже появившейся сопернице, ибо совсем другое связывало Дуню с ее созданием, даже не боль материнская за отданное превратностям моря житейского любимое детище, — скорее одержимое состояние художника, прикованно следящего за движением самого себя в нем, еще вернее, его смутная творческая печаль о чем-то преходящем, гаснущем, распыляе-

мом, как звездный свет, без надежды на повторенье **здесь**. И оттого, что буквально все в Дымкове от чрезвычайной доброты и бесхарактерности до простоватой внешности его было только от Дуни одной, вся его земная судьба была заранее программирована в ней — задолго до момента, когда послушный ее бессознательному веленью, сошел к ней, отслоясь от старо-федосеевской фрески. Вдруг болезненная догадка, что сейчас, через какую-нибудь сотню шагов застанет **их** вместе в появившемся из-за деревьев нарядном здании с террасой и квадратной башней впереди остановила Дуню в пустынной, непросохшей аллее. Легкие туфельки на кожаной подошве все глубже тонули в набухшую водой щебенку, но все прочие ощущенья поглотил страх, который прежде всего предстояло преодолеть.

— Не надо, не хочу... — ноготки вдавливая в ладонь, шепнула она, но, значит, навязчивая идея была сильнее воли.

Зрелище, открывшееся сразу по выходе из хвойной заросли, убеждало в бесповоротности наших первожеланий. Чуть в стороне от главного подъезда толпа подозрительных зевак окружала длинную и черную чью-то, с поднятым мягким верхом, легковую автомашину, и в самом деле она заслуживала их, по-видимому, профессиональное любопытство: откуда взялась такая. Без единого намека на роскошь, скорее веха человеческой цивилизации, нежели просто сенсация транспортной техники, она была сейчас, наверно, самым примечательным явленьем в квадрате, по меньшей мере, тысячи километров... и следуя цепной женской логике, Дуня смятенно догадалась **чья**. Между прочим, никогда ей раньше не приходило в голову применить дымковские способности для чисто бытовых надобностей, — тогда-то и зародилась у ней робкая пока мысль в случае несговора с режиссером обратиться за помощью к ангелу: все в мире посильно для него! При всей неловкости напоминать о своем существованье ему, выходившему в **большие люди**, все же был предпринят через Никанора пробный шаг, и лишь опередившая события скандальная гавриловская **Каносса** позволила ей отложить свое обращенье до очередной нужды.

Начиная с дремучего швейцара в дверях, все там было в диковинку Дуне. Правда, лепные потолки в вестибюле кисло пахли непросохшей штукатуркой, и в отдаленье стучали молотки сезонного ремонта, зато исключительно ценные предметы обступали ее отовсюду, громадные вазы, канделябры. И сразу при входе, в суровом, на полстены и, показалось, тоже золоченом зеркале она увидела шедшую ей навстречу, почти ничтожную в таком объеме, неприглядную девчонку... и ничего нельзя было утаить от него — синяки под глазами, оставляемые ею мокрые следы на красной ковровой дорожке, забрызганные грязью чулки, кстати, первые у ней такие прозрачные, даже **стыдные** слегка, кабы на номерочек поменьше, но других ко дню рожденья не сумел сыскать Никанор. Постаралась было принять независимый вид, но получилось еще хуже... Дуне не удалось самой пристроить пальтишко на вешалку, чтоб не платить потом, как и заглянуть в зал незамеченно, не приехал ли. Предупрежденный по телефону метрдотель, важный и во фраке, как их описывали в заграничных романах, перехватил Дуню на пороге и с видом жалостливого презренья повел ее словно к эшафоту через весь ресторан, мимо эстрады с контрабасами в чехлах, мимо глазеющих официантов куда-то в укромную даль, к заказанному столику: зная знаменитого режиссера по прежним посещениям в богатых и шумных компаниях, он усматривал в его неказистой избраннице нередкую у великих артистов шаловливую причуду.

— Только что звонили со студии и, надо полагать, уже находятся в дороге... — справившись с часами, сообщил он и, с видимым удовольствием, еще раз склонился в почтительном поклоне, позволявшем рассмотреть анатомический рельеф его незаурядной лысины.

— Ничего, я подожду, — шепнула Дуня и, суеверно отодвинув положенное было на стол меню, поспешила предупредить, что она совсем сытая.

Причем, чтобы столика без дела не занимать, она почти собралась было хоть чай себе заказать, но пока искоса справлялась в длинном списке о цене, ее иронический покровитель, слава богу, уже отошел. При всей укрытости от посторонних взоров место Дунино удобно было для кругового обзора, даже видна была часть сто-

ликов в верхнем ярусе ресторана; Дуня взглянула туда в последнюю очередь. Ее ожидания оправдались: судя по скопившейся порожней посуде, те двое, подразумеваемые, давно находились на месте.

Из-за снеговых тучек в пасмурном небе денек быстро шел на убыль, но вскоре зажглось пол-люстры, — обострившееся, без особой вражды, любопытство позволило Дуне разглядеть там, даже при недостаточном освещенье, наиболее интересные ей подробности. Дама была та самая, из ночных страхов, хотя обычно Дуня видела ее почему-то со спины. Женщина была хороша недоброй, все время в озабоченном поиске чего-то, отовсюду приметной красотой... Бесконечно нарядная, хотя ничто в отдельности не поражало глаз, но все на ней не по карману прочим, потому и дорогое, что незаметное совсем, и, наверно, требовалось отслужить сто панихид, сшить дюжину пар яловочных сапог в оплату одного этого алого, с феноменальным начесом, облачка у ней на шее. На балюстраде рядом лежала такая же сумка, полная бесценных пустячков для утоления потребностей, вовсе не известных в старо-федосеевской провинции, — непроизвольным движением Дуня поторопилась спрятать в коленях свою, клеенчатую, посильную при Никаноровой стипендии. С погасшей сигареткой в пальцах женщина следила за ходом банкета внизу, как посредством перекрестных тостов его участники на взаимных началах выясняли свои, от прочего мира сокрытые добродетели.

Царственная внешность женщины дополнительно выигрывала на фоне спутника, наверно, ее же стараньями экзотически разряженного для контрастного сопровожденья. Своеобычно приклонив голову набочок, с прической из парикмахерской витрины рядом с нею сидел Дымков, пестрый и пышный, все такой же до забавности долговязый и, несмотря ни на что, по-прежнему бесконечно милый Дунину сердцу. Неизвестно даже чем именно прельщенный, но только с каким-то безотчетным, видимо, стремлением во что бы то ни стало угодить своей даме, он буквально из кожи лез, пускаясь в опасные мальчишеские проделки, лишь бы развлечь ее надменную презрительную скуку. Вдруг, например, находившиеся в зале посетители, кроме них самих, все ста-

ли на одно лицо и, одетые одинаково, словно в зеркальном повторении, даже сидели в тех же позах; рассеянной усмешкой дама вознаградила дымковское усердие. И не тем огорчилась Дуня, что увлеченный своим занятием не ощутил, как бывало раньше, ее присутствия в зале, в чем уже заключалась зловещая примета грядущих изменений, а что на такие грешные пустяки расходовал свой нездешний дар.

К счастью, скоро появился Сорокин, и в поднявшейся кругом суматохе, чуть ли не оставлявшей ветерок на лице, выяснилось одно за другим, что по соседству чествуют знатного бурильщика азербайджанских недр, а в ресторанном обиходе появилась ранняя зелень из подмосковных теплиц, а послезавтра режиссер со съемочной группой отправляется в Крым, чтобы немножко опередить нерасторопную северную весну, а через два часа на экстренном Художественном Совете министерства должен защищать дипломную работу своего ученика, — предлог был придуман на месте для фирменной марки и чтобы заблаговременно ввести в рамки неясную пока старо-федосеевскую девицу.

— Ну, чем вы собираетесь порадовать двух изголодавшихся путников? — фамильярно, берясь за обеденную карту, осведомился режиссер. — Посмотрим, что новенького в вашем социалистическом **пищеблоке**...

К сожалению, выбор, как всегда, был несколько ограничен, на сей раз из-за досадного перерыва в завозе свежих продуктов по распутице, так что в основном все повинности несла малосольная, якобы и в Букингемский дворец вхожая, деликатесная треска, вполне пригодная, как показал состоявшийся где-то конкурс поваров, для большинства гастрономических шедевров. Веселее пошло дело с закусками, также по части соусов и гарниров, причем Дуне представился случай благоговейно подивиться осведомленности больших артистов в дорогой еде. По ходу обсужденья стороны приходили к обоюдному пониманию, и окончательный выбор пал на дежурный борщок и шницель с горошком под рюмку перцовки, и если нет свежих фруктов, то сборный компот в придачу.

— А вы чего помалкиваете, Дуня? — заметив переглядывание официантов, с широким жестом спохватился

Сорокин. — Видите, я даже имя ваше помню по прошествии стольких лет! Надеюсь, вы разделите со мной скудную трапезу, но прежде всего какой салат вам хотелось бы и что вы станете пить?

Признаться, в беготне по неисправным телефонам она ни капельки не проглотила с утра, даже зябла теперь от холода в пустынном пространстве с громадными оконными проемами, однако наотрез отказалась от предложенного пиршества. Уж ей-то, перед такою просьбой, никак не следовало в лишний расход вводить человека, от которого в конечном итоге зависела вся их судьба.

— Но я же не могу допустить, чтобы вы сидели просто так, **без дела**. Хотя бы легкое что-нибудь, например, эта букингемская треска... Бокал вина, по крайней мере?

— Нет, что вы... — очень правдоподобно, самостоятельно усмехнулась Дуня и прибавила, робея, что если найдется, то хотела бы получить **ситро**, а то после селедки пить хочется.

С видом вынужденного подчиненья Сорокин молчал до самого конца и чуть дальше, на случай отмены.

— Отлично... упрямая нынче молодежь! Значит, сюда плодовоягодный напиток, мне остальное... — и отпустил с наказом торопиться.

Критическим взором он обежал сидевшее перед ним провинциальное существо и сперва мысленно головой покачал на свою расточительную отзывчивость к людям, но потом похвалил себя за предосторожность, что не назначил встречу у проходной на Потылихе, где то и дело снуют насмешливые друзья. Так легко повредить свою годами создававшуюся репутацию скептика, эрудита в универсальном комплексе, импровизатора, непогрешимого мастера и арбитра смежных искусств и почти в глобальном масштабе аналитика социально-психических явлений, многократно доказавшего на киноконгрессах и международных симпозиумах диалектическое уменье разложить иной эпохальный персонаж на составляющие элементы: как то — классовая принадлежность, экономическое положение, характер наследственных склонностей, семейное положение, месячный заработок и все прочее, из чего по воззрениям передовой науки состоит человеческая душа... тем досаднее было промахнуться на

очевидном пустяке. О, эта глупая, нередко в яму нас ведущая надежда на какую-то ослепительную внезапность!..

Похоже, в серийном выпуске людского множества природа наложила всего понемножку в паек девицы — ума, носика, голоска, не говоря о прочем... Но вдруг поймал мимолетный, из-под приспущенных век всегда дразнивший интеллектуальную элиту мерцающий блеск, подобно рудным спутникам нередко сопровождающий недоступное ей сокровенное, сверханкетное знание. Какая-то грустная жемчужинка скрывалась внутри невзрачной раковины и, при понятном нетерпении, не вскрывать же было обеденным ножом намертво стиснутые створки. Вдруг возобновилось погасшее было очарованье той, первозимней поездки, в том и состоявшее, что тема Дунина никак не совпадала с официальными тезисами современности, так что взявшемуся за ее реализацию смельчаку, при условии хотя бы однопроцентного шанса на удачу, пришлось бы посвятить делу всю жизнь. А отсюда вытекало, что скромные производственные расходы в пределах двух бутылок ситро и нескольких часов безделья вполне окупались ценностью заготовляемого впрок сценарного сюжета. Затем последовал безукоризненно построенный без обязательств или знаков препинания сорокинский монолог, имевший целью чисто гипнотическое приручение дикарки.

На сей раз он начал с того, что девица выглядит теперь несравненно свежее, нежели в незабываемо-романтический вечер их первого знакомства, даже со скандинавским оттенком, пожалуй, что дает ему, режиссеру, основания называть ее сегодня **фрекен**. Кстати, он иносказательно попрекнул Дуню за ее жестокое молчанье, хотя проявленные им в прошлый раз широта натуры и красноречие давали ему надежду на ее хотя бы беглый телефонный звонок. Однако прошел месяц, другой и уже начался четвертый, в течение которых забытый ею передовик кинопроизводства последовательно утрачивал сон, румянец, аппетит, самый оптимизм, наконец, без чего их-нему брату, киношнику, надо лавочку закрывать. И якобы за истекший срок он, Сорокин, минимум дважды исколесил вдоль и поперек старо-федосеевскую окраину в поисках старинного паркового массива, но так ничего и не

обнаружил в их на редкость тоскливом районе, кроме старой свалки да запущенного кладбища. Разумеется, он мог бы через суд взыскать с нее издержки на лекарства, потраченный бензин, за бальзамический воздух в дорогом санатории полузакрытого типа, куда ему придется поехать для поправки расшатанного здоровья, если бы не спасительная Дунина принадлежность к разряду травок, птичек, родничков и прочих бесконечно милых и безответственных явлений природы. Но известно ли фрекен, что все подобные злодеянья записываются на небе именно в черную книжечку специального назначения?

— Так с невинным видом вы подрезаете мне крылья вдохновенья, которое вот поневоле приходится искать в вине... — заключил он, наливая себе перцовки.

— Вы напрасно думаете, что я пожалею вас, — сказала Дуня.

— Но разве вам не очевиден ущерб, нанесенный вашим поведением важнейшему из искусств, как его определил один товарищ?

— Незаметно, — и покачала головой.

— Оно зачастую незаметно и врачам. В том и состоит тактика наиболее зверских недугов, что мы еще цветем, когда, приладившись втихомолку, он уже гложет в нас что ему повкуснее. У Фабра есть отличное описание такой трапезы богомола. Это продолговатое насекомое типа саранчи...

— Я читала. Все равно не пожалею.

— Так мало жалости в юном сердечке? — опрокинув рюмку, усомнился Сорокин.

— Нет, а просто вы мне уже говорили это. У меня хорошая память. Нельзя на одну и ту же монетку что-нибудь два раза покупать.

Он впервые пригляделся к ней.

— Неужели, в прошлый раз? Прелестно, вы жжетесь нежно, как молодая крапивка, — засмеялся он, водя вилкой по тарелкам. — Продолжайте в том же духе... это щекочет, я люблю.

— И вам часто бывает в жизни так щекотно? — с блестящими глазами и так тихо спросила Дуня, что можно было и не отвечать.

Прозвучавшее в вопросе раскатистое эхо, словно резонатором ему служила вся старо-федосеевская пустыня за ее спиной, несколько озадачило Сорокина. Лишь теперь какое-то неблагополучие почудилось ему в его собеседнице... И прежде всего бросился в глаза убийственный цвет лица, словно истекшие месяцы провела взаперти и без солнца. На время их беседа прервалась, — расшалившийся Дымков подарил своей даме очередную шутку, на сей раз над метрдотелем, принимавшим срочное распоряжение от азербайджанского тамады. Почтенный господин во фраке внезапно оказался стоящим на голове, чудом сохраняя равновесие на яйцевидном выступе черепа, причем, не балансируя нисколько, продолжал записывать заказ в своем рабочем блокноте. Характерно, что Сорокин издали испытал слабое головокруженье, даже осунулся слегка, и крайне сожалел потом, что не обратил внимание — загибались ли фалды при этом, тогда как сама жертва не испытывала какого-либо болезненного неудобства или удивления, равно как и участники банкета, логически связавшие необычное оптическое происшествие с перерасходом спиртных напитков. Все прекратилось, как только дымковская дама в наказание за проделку не больно, букетиком крымских фиалок хлестнула его по руке.

— Ну, что же замолкли вдруг? — тотчас оживилась Дуня. — Или вино перестало действовать на крылья вдохновенья?

— Видите ли... — замялся тот, — видимо, иногда оно прикрепляет их к ногам, отчего происходят довольно курьезные явления. — И пристально посмотрел на собеседницу, но ничего, кроме прежнего простодушия, не прочел в ее лице.

Пожилой, добрый официант подошел сменить сорокинское блюдо и почему-то вместо заказанного принес Дуне горячий чай, на свой риск прихватил миндальное печенье. Она поблагодарила его долгой улыбкой, когда же, подчиняясь непроизвольному влеченью, взглянула наверх украдкой, красивая дама, в знак примиренья, что ли, кормила Дымкова с ложечки мороженым, и тот с комичной птичьей ужимкой склевывал едва протянутое ему лакомство. И косвенным образом эта фамильярность

уже назревшей между ними близости еще более укрепила Дуню в решении, ради которого только и приехала сюда.

— Мне очень приятно снова видеть вас, фрекен, — сдвигая в сторону незаконченный борщ, приступил к делу Сорокин. — Не скрою, у меня сейчас крайне трудный период, гóним по километру пленки в сутки. Уже темнеет, а с вечера я должен раздать уйму заданий на завтра...

— Я понимаю, — скорбно кивнула Дуня.

— Судя по внезапности звонка, что-то аварийное стряслось в вашей романтической усадьбе... Что именно?

Вместо ответа она мучительно помотала головой.

— Мне прошлой ночью так умереть хотелось! — и всхлипнув, беспомощно утерлась той же смятой салфеткой.

— Спокойнее, фрекен, мы не одни. Ваш голос давеча и вот глаза теперь позволяют заключить о степени ваших огорчений. И рана где-то в окрестностях сердца... Однако диагноз требует уточненья. Да перестаньте же, — прикрикнул он шепотом, потому что слезы бедно одетой девицы могли быть превратно истолкованы кем-то со стороны. — Покажите же мне ее! Общенье с художником или врачом неминуемо требует полной откровенности, в некоторых случаях даже обнажения.

— Мне ни то, ни другое... мне скорее волшебник нужен!

— Что же, вы обратились по правильному адресу, — поощрительно сказал Сорокин, принимаясь за пожарскую котлету. — Волшебник — это я. Итак, я слушаю вас...

— У меня большое горе!

Уже из одной порядочности он должен был прервать ее:

— Надеюсь, не денежное?

— Откуда вы знаете? — ужаснулась она его проницательности. — Да, мне нужны деньги, целая уйма их... — и даже задохнулась: так много.

— Это гораздо хуже, — печально сказал Сорокин, кончиком ножа снимая крохотную брызгу с рукава. — Не сочтите за скупость: как правило, волшебники отзывчивы и щедры. Но процедура взятия взаймы обычно

строится в расчете на пониженную интеллектуальность давальца. При своей обостренной догадливости волшебники обидчивы, как дети!

Ледяным ветром отказа повеяло на Дуню от его скользкой безупречной речи, — приходилось сгорбиться, сжаться вдвое, лишь бы убавить площадь охлаждения.

— Ах, что вы, да разве я посмела бы просить... — обронила она упавшим голосом и чуть по отодвинулась от стола. — Ведь вы меня не знаете совсем...

Нет, чутье кладоискателя не обманывало его: что-то пряталось в этом детском кулачке. Скорее возникшая угроза Дунина бегства, нежели ее безутешное состояние заставили Сорокина смягчиться.

— Не сердитесь, фрекен, что я поневоле знакомлю вас с печатными правилами, что висят в приемной у всякого вольно-практикующего волшебника. Да вам еще повезло, что попался хотя и небогатый, но бескорыстный, не требует гонорара вперед... Хотя сами понимаете, сколько непредвиденных расходов: милицейский риск, износ, не говоря уж о **подмазке** потусторонних сил. Но он законно желает собственными глазами видеть рану, которая нуждается в его вмешательстве. Только шарлатаны лечат заочно!

— Да вам и лечить ничего не надо, — оживилась повеселевшая Дуня, даже в ладоши хлопнула разок, не сдержась. — Совсем не то, а просто я решилась, вернее, необходимость вынуждает меня... ну, продать вам ту самую вещь, которую, помните, вы все добивались купить в машине. Господи, да неужели же вы все забыли?

Но он и вправду не помнил, чего наболтал ей в прошлый раз на радостях сомнительного, в общем-то, приобретения керосинки на колесах: иные, более емкие мечтанья застилали теперь прежние его, отцветшие привязанности. Тем не менее явно из предосторожности скрываемое наименование товара, в особенности даже не названная стоимость чего-то предъявляемого к покупке, позволяли отнести его к категории ценностей, о которых по известным причинам небезопасно поминать в публичном месте. И уж никак нельзя стало, из любопытства одного, прекратить чем-то унизительный разговор до выяснения сути дела.

Режиссер доверительно понизил голос:

— Пожалуйста, намекните двумя словами, фрекен, что вы там принесли с собою!

Казалось, она все еще не верила, что он в действительности все забыл.

— Право же, я не сумею обрисовать **это** красивей вашего, но мне запала в память предложенная сумма. Во всяком случае, **такой** вещи нет ни у кого на свете... Все даже засмеются, если вслух сказать! И не только о ней никто не знает, не подозревает совсем, но и не узнает никогда!

Слишком уж походило, что обласканное им, юное и неумелое с виду, а возможно, и бесполое существо вознамерилось поймать его, Сорокина, на обыкновенную **куклу**, применяемую для уловления в сети приезжих простаков из глубинки, **фраеров**.

— Но, дорогая моя, — сострадательно заулыбался Сорокин, позволяя куску мяса остывать на вилке, — боюсь, что наши переговоры заходят в тупик неожиданных философских разногласий! Допускаю, что поколенье наше, на свое счастье, не доживет до окончательных достижений разума, после чего ему уже нечего будет открывать, но... и ваш уважаемый родитель, помнится, ветеран чего-то такого, наверно, посвящал вас в ведущую доктрину века, что в мире нет вещей непознаваемых, но... единственно допустимая неисчерпаемость его заключена лишь в безграничности слагающих, но порознь вполне постигаемых элементов! — На деле он растянул сказанное чуть ли не втрое длиннее, выкраивая время на разгадку Дуниных секретов. — Словом, этого не бывает, и давайте не будем играть втемную... не так ли?

Надо своевременно отметить не свойственное Сорокину заключительное присловье, попадавшуюся нам ранее опознавательную примету чьего-то постороннего присутствия, вскорости и подтвердившегося. Все же, несмотря на некоторую привычку и пока не миновал начальный спазм, Сорокин диковатым, обращенным взором созерцал странное, внутри себя, отнюдь не послеобеденное стеснение, как и должно происходить в любом помещенье, не рассчитанном на двоих, по счастью, явление не сопровождалось частой икотой, как

оно исстари наблюдалось у бесноватых крестьянок в России.

— Простите, вы что-то хотели сказать, фрекен? — чуть оправившись, но еще неуверенно справился режиссер.

— О, наверно, вы правы! Я зря понадеялась!.. Вещь моя не стоит **таких** денег, потому что, мало сказать, непонятная, она еще и бесполезная в придачу, — уныло согласилась Дуня и виновато поотодвинулась от стола, словно собираясь в обратную дорогу.

Примечательно, что находившегося в переуплотненном состоянии, перед очередным сеансом чревовещания, Сорокина не на шутку встревожила возникшая вдруг угроза потерять нéчто, почти ничтó, хотя бы ему и не принадлежащее.

— Зачем же раньше срока впадать в отчаянье?.. Наш с вами настоящий разговор в сущности и не начинался, — можно сказать, вдвойне захлопотал он, обрушил на нее целый поток фраз, зачастую невпопад из-за мучительно двоившегося вниманья. — Вам нечего стесняться, каждый продает, что может, а в обширном хозяйстве у волшебника всякий **шурум-бурум** идет в дело. Правда, подобно портным они не любят перешивать старье: чудо из абсолютно ничего получается не то чтобы прочнее, но стерильнее!.. Зато оба одинаково берут в руки, скажем, ношеное драное пальто, чтобы прикинуть на **квалитет**, как говорит один мой знакомый: выйдет ли из него, максимум, костюмчик на дошкольный возраст или плюс к тому три парижские кепки с начесом для особо выдающихся строителей социализма. Но и самому надо с чем-то остаться в итоге! Ничто на свете не совершается без оплаты, и даже творец небесный, на заре мира засучивая рукава, наверно, имел в виду какую-то цель, служившую ему хотя бы моральным вознагражденьем. — Но здесь у Сорокина обозначилось плаксиво-натужное выраженье, потому что не успел кончить фразы, как следом нутряной с жестяным оттенком голос, не сам Сорокин, прибавил не без сарказма, что помянутое высокое лицо вообще **имеет неплохо** от верующих на этом довольно темном деле.

Пытливым умам современности предоставляется оказия пополнить ценными соображениями все еще до-

вольно скудные сведения о природе демонов. И в частности, зачем понадобилось Шатаницкому снова прибегать к недостойному приему, столь унизительному для полувсемирного режиссера, пускай даже безопасному для его здоровья, вместо того чтобы явиться в зримо натуральном виде, как оно бывало с магами и пророками древности, также с виднейшими нашими деятелями, причем не только в крайнем их подпитии. Остается предположить, что, случайно находясь поблизости, не удержался принять участие в интеллигентном разговоре на скользкую темку. Но, по-видимому, профессорское обличье висело у него дома, в стенном гардеробе на трубе, и буквально ради нескольких сентенций, да еще при московской нехватке такси, ему просто некогда было смахать за ним взад-вперед, так как в связи с принятием нового варианта ему все равно предстояло вскоре исчезать вслед за Дымковым и его нынешней обольстительной хозяйкой.

— Не спешите же, фрекен, времени у нас достаточно, — после некоторой паузы, когда поулеглось внутри, сказал Сорокин, — а лучше давайте обсудим сообща. Я ничего не возьму даром, но, по некоторым источникам, сам дьявол при покупке стремится посмотреть товар, так сказать, прикинуть его на вес в ладони.

— А если он вовсе и не весит ничего? — с неуверенной мольбой протянула Дуня, но опять, опять как бы влажная жемчужинка блеснула сквозь дрожащие ресницы в ее чуть прищуренном глазке.

Сопровождаемый мерцающим узором намек позволял отнести предлагаемую девицей ценность к разряду нереализуемых, если только — не одна из тех фантастических, всеобогащающих идей, что котируются выше золота. Именно таким детям нужды и горя небо благодарно посылает неразгаданную пока находку, спускаемую ими буквально за хлеб насущный. Никак нельзя стало быть отпускать простушку до выясненья, что у ней теплится в зажатом кулачке, пускай даже медная монетка. Налицо был тот случай, когда надлежало пустить в ход все свое обаянье, щедрость, черт возьми, даже то крайнее великодушие, когда по отзыву сверх меры беспощадных друзей он становился ужасно похожим в профиль на великолепного Лоренцо Медичи.

К обольщенью было приступлено незамедлительно.

— Слушайте, высокородная фрекен, не будем спешить... и раз уж силы небесные свели нас вместе в этом почти не обогреваемом вертепе, давайте сообща обсудим создавшуюся ситуацию, чтобы обоим не каяться потом. Но сперва... Хотите кофе со взбитыми сливками или, — справился он мельком с расположенной сбоку картой местных лакомств, — розовый крымский мускат, например, изысканное дамское блаженство в наш переходный период?.. Нет? Но такие великие решения не принимаются с маху! Признаться, меня ужасно заинтриговала эта самая запродажная штучка в черном мешке, хе-хе, неуловимая такая. Приступим же к делу, наконец: как вашему партнеру мне нужно решить тысячу проблем о действительной стоимости вещи, о ее сезонности, не говоря уж о практической применимости в жизни...

— Нет, это совсем не для жизни, — испугавшись чего-то, поторопилась вставить Дуня, — разве только для кино!

— Тем более, при заключении сделки госконтроль требует от нас, кроме гербовых марок, соблюдения ряда юридических условностей. Развяжите же ваш мешок, покажите мне если не самого кота, то хоть краешек его... как это выглядит по крайней мере?

Щепоткой, чтоб хватило подольше, Дуня подбирала с блюдца рассыпанные крошки миндаля.

— Хорошо, только не обманите меня... Это синий камень.

— Сапфир, что ли? — наивно спросил Сорокин, хоть и сам понимал, что не сапфир. — Тогда я должен огорчить вас, фрекен: не занимаюсь скупкой диамантов или ценных металлов... На всякий случай положите его сюда на минутку! — и шутливо протянул ладонь. — Или боитесь, что волшебник унесет его с собою?

О, только обладанье подлинным сокровищем могло породить у ней такую высокомерную улыбку.

— Да, вам и не удержать его, пожалуй... — начала было Дуня.

— Что довольно плохо согласуется с давешней невесомостью! — заключил Сорокин. — Подскажите же, по крайней мере, его применение на практике... Вешается

ли это, скажем, на шею перед купаньем неумеющим плавать или содержится за пазухой на случай расплаты с ближними?

— Вы рано смеетесь. Камень только приступка, над которой и помещается самая дверь...

В награду за невесомый шаг вперед он приласкал свою жертву ястребиным взором.

— Сдвинулось наконец! Теперь стало несколько вещественней, хотя все еще не видно сквозь туман... — Он взялся за свой компот, лишь бы унять почему-то задрожавшие руки. — А между прочим, вы напрасно отказались от обеда. Здешняя еда далека от гастрономических ухищрений презренного Запада, но в какой-то мере она выполняет свое спартанское назначенье в суровом и прекрасном, как говорится, мире грядущего. Право же, меня гложут угрызения совести, что я не настоял... И единственное мое утешенье, что по распорядку старозаветных семей вы уже, наверно, отобедали... не так ли? Если же это просто девичья уловка, то, имейте в виду, фрекен, только спортивная худоба на пользу. Кстати, какой спорт вы предпочитаете? — Словом, он закидал ее пестрыми вопросами, но Дуня уже понимала, что было бы неприлично отвечать всерьез на любой из них. — Впрочем, мы немножко отвлеклись от нашей темы... напомните, о чем у нас шла речь? Ах, дверь... но какая же она? Опишите мне ее пополней.

— Ну, как бы вам сказать, она довольно высокая, — с заминкой сопротивления принялась перечислять Дуня. — Вернее узкая очень по длине, но вы без труда протиснетесь...

— Простите, не вижу, — опечаленно, с жестом режиссерского отрицания прервал ее Сорокин. — Дайте мне ее еще разок, но уже в полный голос!

Слово за слово, с помощью наводящих приемов прояснились внешние приметы товара. Дверь была железная, не иначе как древней работы, в кованой раме и с полосами на заклепках вперехлест, еле вытянешь за скобку — такая тяжелая, однако ничуть не провисшая на массивных крюках так, что всюду заподлицо со штукатуркой, без зазоров и щелей, ни лучика **оттуда** не пробьется в закрытом положении, взглянешь и забу-

дешь, зато у открывшего ее навсегда сохранится в ушах щемящее пеньице.

— И все же что-то не получается у вас, не вижу, — с отвлеченным лицом повторял режиссер. — По всем приметам, вещь довольно ветхая?

— Я бы не сказала, еще постоит!

— Тогда уточните, собираетесь ли вы мне вручить ее на вывоз, вроде как в утиль, или, как подсказывает здравый смысл, лишь самый ключик от нее. В последнем случае нашей с вами юрисдикции подлежит нечто находящееся непосредственно за дверью. Мне пока не требуется ни адрес, ни перечень возможных за нею находок... но для начала хотелось бы знать, в какого рода помещение ведет она: архивно-складочное, тюремно-башенное, забытое казнохранилище, наконец?

— Если вы насчет клада подумали, то я бы и не пришла к вам тогда. Зато там есть такое, чего не найдешь ни в одном **Мирчудесе**!

— Например?

— Ну, главным-то образом безлюдная пустыня, просто даль иногда и в ней то скалы разные, то море. Вчера застала там бурю ночную, даже войти не смогла.

— Буря как раз то самое, чего мне всегда не хватало. Хорошо, я согласен купить и бурю, но дайте же мне ее потрогать хотя бы сквозь мешок... может быть, это далеко не качественная буря?

— Все шутите, Сорокин... не спросили даже до сих пор, сколько денег мне надо. И я хочу получить их вперед.

Их взгляды встретились, в Дунином читалась непреклонная воля. Самая дерзость высказанного условия подтверждала явную достоверность предлагаемого сокровища.

— Имейте в виду, милая девочка, для меня нет в мире ничего такого, чего я не смог бы оплатить в тот же день, и наличными, — строго сказал Сорокин и вдруг решился на поступки, означавшие сдачу на милость победителя. — Выслушайте, у меня есть план. Вас не соблазняет с места в карьер совершить ряд безумств, доступных человеку с воображеньем в расцвете социализма... скажем, полюбоваться на вечерний город с Воробьевых гор, затем отправиться на того знаменитого иллюзиониста, у кото-

рого гастроли в цирке. Говорят, этот верзила в затрапезном пиджаке совершает на арене кое-какие пустячки, способные опровергнуть государственное мировоззренье. Вся Москва сходит от него с ума, но я берусь достать места за полчаса до начала и, наконец, мы поужинаем в Доме литераторов, где можно наблюдать наших любимых творцов во всех ракурсировках, до драк включительно. Словом, весь мир у ваших ног, и в награду вы всего лишь позволите мне доставить вас домой в заранее обусловленное время, однако, если позволите, уже до самого порога вашего замка на сей раз, ладно? Но сперва главное... Здесь у меня машина, и по дороге к развлечениям мы смогли бы заскочить к вам на место. Найдется же в той секретной двери одна, насквозь проржавевшая дырочка для обозрения внутри лежащего пространства!

Он сам себя не узнавал теперь, — не оставалось и следа от заносчивого киномэтра с бесплодной скептической хохмой, разъедающей любой сосуд, куда налита душевная оболочка прежде всего... и потом через дырку уходит в землю все накопленное ранее — смешное, до стыдности трогательное, **человеческое**, из чего только и создаются шедевры. Больше того, чем глубже сейчас сознавал он почти обидную нелепость предложенной аферы, тем сильнее боялся погасить в себе смутное пока, но уже крылатое влечение к чужой, бесконечно наивной тайне, как будто лишь она одна способна оплодотворить художника на истинное искусство.

Все это время, как ни отворачивалась, Дуне никак не удавалось изгнать из поля зрения трагическую расфранченную куклу, о которой шел торг. Буквально по минутам могла бы назвать, что поделывает вверху, за балюстрадой, может быть, самая противоестественная пара, какая только случалась на свете. Очевидно, из-за дымковской неприспособленности к земному распорядку, а возможно — опасаясь очередной, ради краткости, проделки с его стороны, женщина сама вела расчет с официантом. Тот машинально кивал, не спуская озабоченных, чем-то обнадеженных глаз с ее спутника, в котором по странной подсказке сердца уже опознал героя тогдашних столичных слухов и догадок. Но, значит, сам Дымков вовсе не понимал ни своей эпохальной славы, ни тем более про-

щального значения ее вспышки перед погружением мира в беспросветный рационализм. Чуть оставшись наедине с собой, без стороннего присмотра, он враз утрачивал характер неистребимого весельчака, напротив — в его поведении проступало что-то от плененной, голенастой и долгоносой птицы, высматривающей лазейку для бегства, равно как в манере время от времени близоруко подносить к глазам пальцы угадывалась попытка постигнуть назначенье стеснительного, совсем ему не обязательного, все еще полностью не освоенного тела, бремя которого не вознаграждалось пока обычными вульгарными радостями бытия. Возможно также, то было временами мучащее всех нас воспоминанье невесть о чем! И значит, женщине были знакомы такие припадки, потому что наугад, не прерывая расчетов, протянула Дымкову зажигалку из сумки, и Дуне жалко было видеть, как он тотчас отдался любимой игрушке, как ребячливо улыбался возникавшему перед ним язычку пламени, освещавшего глубину его глазниц... Все чиркал и гасил, всякий раз нюхая пальцы: что-то здесь не совпадало с его представленьем о **большом** огне. За минуту перед тем, пестрый и забавный, всего лишь для нее шут гороховый, он снова показался Дуне заблудившимся ребенком. «Я здесь, взгляните на меня, совсем рядом...» — мысленно прокричала она, и Дымков тотчас безуспешно повертел головой, как и люди — при неполной пока глухоте силятся распознать происхождение звука. Таким — помнила его, когда по первому зову являлся к ней в мезонин, и теперь беспомощное неведение его показалось Дуне тяжким предзнаменованием.

В ту же минуту Дуне пришло в голову, подавив личные обиды, обратиться непосредственно к Дымкову за помощью, и таким образом остается предположить, что Дунин отказ добыть деньги впрямую предшествовал, если только не был причиной, решениям Шатаницкого на ходу перестроить расставленную западню.

— Итак? — спросил Сорокин.

— Нельзя... — с опущенными глазами твердо сказала Дуня. — Не хочу.

— И не боитесь, что кто-нибудь однажды помимо вас откроет вашу дверь?

— Никто не сможет войти туда без меня, — улыбнулась Дуня.

— Но почему, почему?

— Она нарисованная.

На таком повороте Сорокину полагалось бы оскорбленно подняться и уйти, но, значит, при сочетании благоприятствующих условий именно иррациональность поступающих к нам сведений становится источником самовоспламеняющейся веры — в силу до детскости простого прозрения, что дверь в неведомое должна отмыкаться таким же незаправдашним ключом. И вдруг, вопреки голосу служебного благоразумия режиссер Сорокин абсолютно уверовал в ее существование, причем вера его, по Тертуллиану, по меньшей мере учетверилась бы, кабы узнал вдобавок ее весьма странное местоположенье на замкнутой в себе колонне. Последовавший затем припадок начался кратковременным столбняком, после чего из самой его середки забубнил уже знакомый по прежним разам, жестяного тембра и без нижних частот, сдавленный голос, сопровождаемый серией томительных жестов и спазматических восклицаний в духе былых кликуш с церковной паперти, что само по себе не могло украсить признанный столп социалистического реализма. Хорошо еще, что высказанная затем ахинея, к которой, стыдно сказать, сам он прислушивался с нескрываемым интересом, не привлекла штатных наблюдателей, потому что содержавшиеся там вольности, хотя и подсказанные нечистым духом, весьма могли повредить не только его политическому, но и физическому здоровью.

Верхняя пара за балюстрадой явно собиралась уходить, и, кажется, Шатаницкий имел намеренье, благо невидимка, воспользоваться свободным задним местом у них в машине. К вечеру погода изменилась — в зеркальном окне ресторана валил густой снег, застилая сизую окрестную даль, и, значит, указанному господину не улыбалось возвращаться в город эфиром, в некотором роде без пиджака. Именно профессорской спешкой уложиться в несколько оставшихся минут, также и раздвоившимся по той же причине Дуниным вниманьем объясняется обидная неполнота, а местами и несвязность воспроизводимых здесь сорокинских рассуждений — с

поправками на прежние его, из той же будки, высказыванья. Вкратце они сводились к тому, что предстоящие вскоре, целая серия, лишь с сейсмическими потрясеньями соизмеримые бури не только взмутят или осквернят, но в силу чисто животных страданий вовсе затопчут светлые роднички, издревле питавшие большое искусство, без коего люди запросто понизятся в человеческом ранге, ладно еще если на одну лишь, не более, биологическую ступень. И якобы единственный выход, чтоб не захлебнулось в гное, сукровице, лжи и кое-чем похуже, состоит в заблаговременном обращенье к первоисточнику всех ценностей на свете — человеческой душе, в лучах которой мир предстает уму. Получалось даже, будто она одна определяет сокровища, недостижимые со всех баррикад эпохи, и посредством некой содержащей там **вестибулярной кристаллинки**, как весьма неанатомично выразился профессор, не только научила обладателя своего слышать божественную тишину, но и, возводя его на отвесные обручи вселенского сознанья — из пещеры, не дала ему сорваться в пропасть по причине телесного тяготенья к земле, — не только от века в нас желанного, но и вполне осуществимого однажды. «На своем веку вам еще не раз придется наблюдать сквозь слезы, фрекен, с какой деловитой страстью, даже с ликованием, человек будет хлестать взрывчаткой свои святыни, лишь бы вырваться на волю из стеснительных, всякого рода, им же созданных оков». Нам понятна ярость зловеще-затихших передовых мыслителей, вон того в особенности, чуть **неглиже** с похмелья, потому что и впрямь зазорно было слышать, будто такой жироскопической штучкой, поднимавшей человека по лестнице материальной цивилизации, было не что иное, как пресловутое, уже не раз слышанное нами алканье чуда, тогда как из неоднократных высказываний того же товарища Скуднова, например, на квартальном совещании животноводов Киргизии, не говоря уж об инстанциях повыше, доподлинно известно, что единственным двигателем нашего развития был труд. Если даже из всего контекста людской истории, из многократной преемственности ее и вытекает, что прогресс является постепенным утоленьем некой предвечно заложенной в нас жажды, то вопрос — какой? Так складывалось в ито-

ге, что раз преддверием к спасительному чуду служит надежда, в свою очередь питаемая тайной, то, вручая свой секрет самому важному из искусств, представленному здесь доверенным лицом от Мосфильма, фрекен запросто помогла бы человечеству еще годок-другой продержаться на достигнутом интеллектуальном уровне.

Там, вверху, почему-то медлили уходить, и, видимо, чтобы заполнить паузу, Сорокин с разбегу распространился насчет всякого художества как лупы для рассмотрения еще не открытых тайностей бытия, подобно тому, как изобретение предполагает выявленье неизвестных возможностей. И наилучшим средством к тому считал он погруженье события в неповторимую среду человеческой особи, выступающей за рамки принятого эталона, желательно даже тронутой каким-то дисгармоническим расстройством, чем якобы дополнительно усиливается прозрение искусства прямо пропорционально коэффициенту искажения. Дело специалистов рассудить, насколько здесь уместна ссылка на иммерсионную микроскопию или астрофотосъемку в невидимых лучах! Но прямое дело чести для оптимистов всех наук, времен, народов и континентов дать решительный отпор чисто еретическому утвержденью, будто в нынешней фазе знания, когда взор разума одинаково тонет в пучинах неба и атома, только в человеческой душе, этой третьей бездне, надлежит искать великие открытия, способные уравновесить непогодную действительность века. И опять до таких рекордов, пусть не по своей вине, размахнулся признанный столп кино, будто критерий личности куда моральнее любых истин, потому что, едва вырвавшись из небытия, торопятся сменить пророческое рубище на царскую парчу, а нищую свиту на полицию и придворных шаркунов... Кажется, рассудок возвращался к нему, потому что по произнесении последней фразы заметно побледнел, как перед пропастью.

— Словом, не отрекайтесь от бессмертия! Подарите же нам вашу Аладдинову лампу, Ариаднину нить... — заведомо не своим голосом взмолился режиссер и, возможно, хотел прибавить сюда из своего энциклопедического запаса знаменитый колобок русской сказки, импортную синюю птицу, еще что-то путеводное ко спасению, но

вдруг на всем разбеге последовал странный щелчок в сочетанье с подозрительным сипеньем, как бы из проколотого пузыря, причем несколько зубами похрустел, чем, по утверждению сведущих лиц, сопровождается исход беса, и остаточный словесный фейерверк завершился репликой отказа, кстати, совпадавшей и с Дуниным решеньем. — Впрочем, нет... не надо. — Наваждение кончилось, и, несмотря на естественную разбитость во всем теле, Сорокин испытывал благостную пустоту выздоровленья, даже извиняться перед Дуней стал за сорвавшуюся сделку.

— При любой беде нельзя спускать по дешевке нечто, чему нет цены на свете, да и мне покупать исчезающее при передаче из рук в руки... — сказал он тоном школьной прописи, что объяснялось для него состоянием крайнего расслабленья. — Не сердитесь.

— Ой, что вы, я сама еще раньше раздумала. Видать, заветное колечко не продашь: как ни дергай, ни тяни, с пальца не снимается. Это вы меня простите за причиненное беспокойство... — и сразу собралась бежать домой.

По опустевшему столику за балюстрадой можно было догадаться, что верхняя пара, уже втроем, наверно, проследовала к выходу, и тут по жаркой девичьей обиде Дуне непременно захотелось, пока спускаются по лестнице, догнать их в вестибюле, чтобы пройти под самым носом у Дымкова, мимо его протянувшихся рук и тоже не заметить... К слову, намеренье Дуни как нельзя лучше подходило и Сорокину. Внезапно зажглась вторая половина люстры, появившийся на эстраде оркестрант стал раскладывать ноты по пюпитрам. Ресторан готовился к приему основных своих, вечерних гостей, и воротившийся здравый смысл подсказал режиссеру, что теперь-то уж кто-то из его приятелей, забредших на загородный огонек, непременно застукает его здесь в компании с подозрительной милашкой.

— Я подвезу вас, насколько мне будет позволено, — тоже поднявшись, предложил Сорокин, благодарный за нечто сохранившееся от их странной беседы, в сущности ничто.

Дуня колебалась, потому что, с одной стороны, давешняя пара имела время исчезнуть, и случай наказать

Дымкова мог и не повториться, а с другой — желтые пятна истощенья то и дело плыли в глазах, и вот уж не было уверенности, что по непогоде и со столькими пересадками хватит сил добраться до Старо-Федосеева. Опасения подтвердились: пока расплачивались за обед, Дымков со своей дамой успели, видимо, одеться, пройти в ту нарядную машину, по-прежнему, уже с зажженными фарами стоявшую у подъезда. Никакого движения не замечалось в машине, но по внутреннему ощущенью, царственные наблюдатели, несомненно, следили из-под приспущенных щитков, как, хлюпая по мокрому снегу, сопровождаемые гигантскими силуэтами на речном тумане, Дуня и ее спутник пересекали поток их нестерпимого сиянья, — сорокинская бричка выглядела заводной игрушкой в мощном желтоватом луче.

Ладонью защищаясь от света, Дуня погладила крыло жестяной коробки.

— Все еще бегаешь, бедняжка? — поздоровалась было она и тотчас прибавила, из смутной потребности польстить помрачневшему хозяину, что машина его почему-то стала больше и темней.

— Побывала со мной на съемках в Крыму... — отметая снег с ветрового стекла, сквозь зубы отвечал Сорокин на ее непрошеное милосердие. — Видимо, поправилась и загорела.

Изогнувшись, с гадким самочувствием последнего босяка он втиснулся в тесноту за руль и стронулся с места, следом двинулись и они; затем началось бесшумное, как в простудном кошмаре, беспредметное преследованье. Прожекторный свет из-за спины мешал вести машину и в стремленье оторваться, уйти из светового тоннеля, напрасно налегал режиссер на всякие рычаги и педали, отчего злосчастная жестянка то издавала жалобный дребезг, то пускалась скакать по-телячьи со ската на скат. Без чувства вражды или мести за один неотданный должок, только с печальным любопытством, поминутно настигая, чуть не подталкивая сзади, Юлия вела свою неслышную громаду за убегающим Сорокиным, позиция которого лучше всего определялась словами **сверканье пяток**... Догадываясь о дымковской проделке по наущению спутницы своей, Дуня присоветовала пропустить по-

гоню мимо, но едва прижались к обочине, остановились и **те**. Такое сопровожденье не исключало и политической слежки, обычно она в те годы предшествовала аресту, — в режиссерском воображении развернулся было весь цикл последовательного, на ночных допросах, разрушения личности, но задняя машина внезапно свернула за угол, и тогда самое издевательство **их** странным образом вплелось в романтику сорокинского приключенья.

Еще далеко оставалось до Старо-Федосеева, когда Дуня пожелала выйти под предлогом посещенья подруги, причем в довольно глуховатом районе. К тому времени режиссер то ли устал смертельно, то ли начинал понимать, что в его прямых творческих интересах лучше не настаивать на немедленном раскрытии подвернувшейся тайны.

И как в прошлый раз, непонятный спазм тоски, сопровождающей утрату, заставил его выйти из машины:

— Мы с вами так и не договорились ни о чем. Мне ничего от вас не надо. Через пару ужасных недель я возвращаюсь со своей съемочной группой на юг... Потом еще месяца три хлопот и переживаний... Как мне найти вас после выпуска картины?

— О, я сама напомню вам о себе, когда потребуется... — И простившись, движением пальчика в рваной перчатке, как-то слишком быстро, без оглядки, потаяла в сумерках переулка.

Тамошняя тишина, воздух окрестности некоторое время хранили как бы тень ее присутствия. Режиссер с запозданием осознал, что стеснительное вначале приключение оборвалось без надежды на третью встречу, оставив по себе лишь щемящее, возраставшее с годами сожаление; позже, в одном генеральном выступлении, выясняя секрет прочности мировых шедевров сравнительно с ходовыми рукодельями современности, он определил его как некий **квант** той первородной, воспоминаньем или предчувствием пропитанной печали, что наравне со штурмовой одержимостью художника таится во всяком истинном творенье. Дерзость публичного суждения, насторожившего приятелей и дежурных стукачей, выдавала меру сорокинской тоски об упущенных свершениях, от века вознаграждаемых по высшей прометей-

ской ставке — чахоткой, нищетой, безумием, больничной койкой, магаданской каторгой. Он потому и не носил своих медалей за усердие, что самому напоминали о пропащих годах его шумного и многосерийного бесплодия, — лучше было толковать его тем, другим, а прежде всего — что до сей поры подходящего сюжетца не наклюнулось. Последнее время, однако, особенно в интимной компании, все чаще поминал он про какие-то **врата**, несколько неожиданные в его словаре по своей архаической фактуре, причем подразумевался наглухо замкнутый от широкой общественности, в обыденность задрапированный проход куда-то, за порогом коего избранникам открывается горизонт священного и запретного прозренья. Одного томления по неизвестности иному хватило бы на полнометражный непреходящий боевик, и, конечно, эпизод с забавной владелицей непродажной тайны мог вполне послужить зерном, запевной нотой к такому, может быть, надэпохальному созданию. Однако, как ни **мараковал** полувсемирный режиссер, оперируя глубоко-эрудированной логикой с применением социалистического реализма, так и не далось ему дальнейшее прочтенье начатой было строки.

Закрыв ладонями лицо, вполне безопасно для своей репутации по безлюдности района, пытался он мнемонически закрепить в себе божественное впечатленье, которое быстро распадалось, утекая сквозь пальцы.

— Дверь, дверь, дверь... — вслух бормотал он, как пароль тайны, и, правду сказать, никому из его сослуживцев по искусству не доводилось наблюдать солидного, преуспевающего генерала от кино в таком нравственном неустройстве.

Целый месяц затем все собирался заказать кому-либо из выдающихся графиков современности цветной эстамп, чтоб висел над рабочим столом. Круто изменившаяся в чужой трактовке Дунина тема складывалась теперь приблизительно так — сплошная, во весь лист и без кромки неба поверху, крепостной кладки стена тонет в сумраке циклопического колодца; скользящий по выступам дикого камня с чахлой зеленью и плесенцой кое-где, тихий свет вечерний едва достигает середины, и надо присмотреться, чтобы различить внизу глухую, под

полуциркульным несущим сводом **архивольтой**, железную, давно не открывавшуюся дверь, а дальше только сердце подскажет непонятное, извне пробившееся сиянье, высветляющее щербатый, плитчатый порог... Среди высокооплачиваемых мастеров капитального проектирования не нашлось ни одного Пиранези, хотя бы просто мечтательного мастерового на такого рода **частную** поделку, а через полгода самое волнение подзатихло под воздействием сытости и покоя, но замечено было, что даже наиболее казенные сюжеты, обкатанные в присутствии лишь подразумеваемой **двери**, по загадочной механике душевного катализа, начинали слегка светиться изнутри. Благодаря экономному пользованию, режиссеру Сорокину удалось растянуть полученную в тот памятный вечер порцию тайны до пенсионного возраста.

Было так забавно следить сзади за метаньями сорокинской жестянки в попытках ускользнуть от преследованья, что, будь немножко времени в запасе, Юлия непременно продлила бы свою в конце концов безвредную игру, чтобы при встрече, в развитие исторически сложившихся отношений посмеяться над приятелем. В тот раз ее не на шутку встревожило сделанное открытие из интимной жизни режиссера Сорокина, хотя по причинам, требующим особого разговора, огорчения ее были далеки от чисто женской ревности. В силу издавна разделявшей их социальной дистанции Юлия и в мыслях не допускала иных отношений с ним, кроме поверхностного приятельства с покровительственно-надменным оттенком, — как все прочее в мире, режиссер со всей его славой относился к разряду мягкой, безличной, удобной **травы**, по ней ходить. К тому же Сорокин был женат, и знатной Москве были общеизвестны его семейные бедствия — ранний брак с женщиной старше себя, уже несколько лет экзотическим недугом прикованной к постели, так что у Юлии не имелось оснований строго судить о его нередких, по слухам, развлечениях на стороне. Однако, сколько ни вглядывалась в Дуню поверх балюстрады, не могла понять сомнительный выбор этого высокоинтеллектуального капризника, вряд ли объяснимый спешкой или неряшливостью, разве только причудами артистической неполноценности. Конечно, из такой мизерабель-

ной простушки, при самых скромных расходах, легче было исторгнуть слезу благодарности, ужас приобщенья к высшему греху, что при известном воображении могло не только возместить известные телесные изъяны, но и доставить дьявольскую гордость совращенья... но, право же, в резервных цветниках кинематографии за ту же цену можно было сыскать милашку и попригляднее. Следовательно, не мужские, а только режиссерские соображения привели к ней сюда Сорокина, и так как страх обычно подсказывает худшие варианты, Юлия увидела в их свидании за пальмами прямую угрозу тем самым своим интересам, выше которых не было в ее жизни. Занятней всего, что, почти обладая первоисточником чудесной феерии, уже обступавшей отовсюду, она так и не сумела пока разобраться в ней до конца, даже когда вторично на протяжении того же вечера постучалась к ней в лице, некоторым образом, своего посланца.

Глава XXX

Издали еще видней, насколько благоразумнее было рассчитывать не на Сорокина, бессильного по масштабу представшего дела при всем ореоле его мнимого великолепия, а на самого Дымкова, которому в ту пору ничего не стоило вызволить из беды старо-федосеевского батюшку. Намерение на свой риск обратиться непосредственно к ангелу возникло у Никанора Шамина к концу первого же дня катастрофы, когда уже стемнело на дворе, а не сказавшаяся при отъезде Дуня все еще не возвращалась из Химок; он же должен был помочь встревоженным старофедосеевцам и в розысках Дуни. Конечно, Никанорово решение обратиться к потусторонней помощи, хотя и предпринятое в извинительных обстоятельствах крайней нужды, выглядело для него, передового студента-общественника, непростительным суеверием. В извинение себе мог бы он лишь указать, что раздираемый на части преданностью к Дуне и жалостью к старухе, с одной стороны, и позором отступничества от материалистического учения — с другой, дотянул дело до последней минутки. Уже смеркалось в окнах, а еще еды не варили, печей

не затапливали, невзирая на опасность заледенеть здесь до второго пришествия, и все сидели с опущенными лицами вкруг пустого стола, в томительном и постыдном ожидании, когда их добрая, беззащитная, самоотверженная дочка, подружка и сестра притащит в горстке, высыплет перед ними свои мокрые от слез девичьи копеечки, добытые не от того ли пронзительно-милосердного незнакомца, что близ Рождества подвозил ее, охромевшую, в своей роскошной крытой машине?

На исходе девятого часа Никанор с полушубком в руках, издавая угрожающее гуденье и сам словно взорвавшийся, ринулся на крыльцо с прямым направлением на московский цирк. Уже не менее двух недель по городу пестрели узкие, тревожно черные афишные наклейки с одним лишь словом под красной стрелой — **Бамба**. Незадолго до катастрофы загадочный наставник, шуруя что-то в ящике своего деканского стола, ироническим намеком — на какие, дескать, вершины, восходит наш с вами запредельный артист, раскрыл оцепеневшему Никанору этот, всех с ума сводивший псевдоним. Простейшая логика вела к спасительной цели — при всей своей учености студент в простоте душевной полагал, что советская власть помилует домик со ставнями, если мильон отступного выложить к ее ногам... Однако для успеха требовалось застать ангела в цирке до конца представления, для чего, в свою очередь, приходилось в рекордно короткий срок совершить поистине героический бросок через весь город вопреки не только светофорам, графикам или правилам перехода улицы, но и физическим законам перемещения тел. Несмотря на такую перегрузку, ему посчастливилось в дороге подобрать оправдательный предлог своего визита к лицу, идеологически неправомерному, и в том состоял компромисс с совестью, чтобы признать в ангеле неизученную разновидность порхающего по вселенной, разумного мотылька, способного осветить для науки кое-какие темные проблемы звездной баллистики, того-сего, но пуще всего интересовала материя как таковая, а именно — если количество ее постоянно, то сколько в общей наличности, если же убавляется — то куда, а прибавляется — откуда? Диалектический подход к такому визиту несколько смягчал в Никаноре угрызе-

ния совести, примирял в нем прогрессивного мыслителя и собственно **человека** с его сердечными слабостями. Хотя дымковский номер занимал лишь вторую, гораздо меньшую часть программы, вся артистическая тройка **Бамба** к тому времени уже находилась в цирке. Юлия потому и прервала свою изысканную **римскую** забаву над Сорокиным с его жестяной таратайкой, что по пути обещалась заехать на квартиру за отцом, научно пояснительное **антре** которого предшествовало номеру короля иллюзионистов, — старик же, верный традициям великого Джузеппе, требовал от партнеров быть на месте задолго до начала, и сам отказывался от послаблений и скидок на собственные многочисленные немощи. По шумной молве, хотя и без газетных извещений почему-то, молодые обитатели домика со ставнями и раньше догадывались о необычайной карьере старого знакомца, но лишь теперь, в непосредственной близости, Никанору предстояло оценить масштаб той выдающейся, если не генеральной сенсации века.

В утвержденье евангельской истины и в опроверженье некоторых иных можно было наглядно убедиться, что людская потребность в чуде ничуть не слабее их нужды в коренных благах с хлебом во главе. Наиболее сообразительные современники, московские старожилы в особенности, смущенные необъяснимой поблажкой властей, разрешавших триумфальное поклонение частному лицу, не члену партии к тому же, высказывали предположенье, что под маской мнимого чародея скрывается опытный, в чине полковника, деятель тайного сыска, имеющий порученье, на манер знаменитых китайских **ста цветов**, выявить наиболее закоренелых мистиков для крупнейшей гекатомбы в честь одного назревавшего тогда юбилея. Разумеется, остренький тот слушок надлежало рассматривать лишь как форму подпольного злословия, однако само по себе небывалое, на фоне тогдашних идеологических строгостей, дозволение аттракциону Бамба **быть** выдавало какую-то хитроумную правительственную акцию. Во всяком случае от социальных психологов постоянного наблюдения не могло ускользнуть исключительное его воздействие на широкую публику, выражавшееся прежде всего в полном отсутствии ожи-

даемых оваций подозрительному фокуснику, даже обыкновенных аплодисментов — не потому ли, что **иным** вещам не рукоплещут. Правда, дымковские выступления проходили пока без нарушения порядка, но, видимо, на всякий случай старенькая цирковая ротонда, где протекали гастроли, каждый вечер и за несколько кварталов оцеплялась конной милицией с отменой транспортного движения в прилежащем районе. Все тесноватое пространство кругом, сквозь бульвар прорастая в соседние переулки, заполняла, пока извивалась, безмолвная, продрогшая, давешним снежком припорошенная толпа... Время от времени непримирившиеся фанатики предпринимали с нижних ступенек очередной, напрасный нажим, и опять все затихало. Давно погасли прожектора на куполе, рекламные щиты по сторонам, но сборище не расходилось. Только зажженных свечей не хватало для сравнения его с пасхальным наплывом окрестного населения, когда далеко за ограду обступают до отказа забитый храм — в настороженном чаянии услышать дальний возглас благовестия, клочок ликующего напева.

Никакая сила земная, Никанорова в том числе, не смогла бы пробиться внутрь здания сквозь тройной заслон у входа. Тут мозги пришли мускулам на помощь. Посредством испытанных приемов, вроде клина, внезапности и гидравлики локтей, да еще в сопровождении угрожающего, как резак, действенного гуденья, Никанору посчастливилось зайти с фланга, где людская толпа была пожиже, угол потемней, а там ничего не стоило с его хваткой перемахнуть через забор. В девственно-снежном дворике, занятом цирковой, под навесом, реквизитной ветошью, сверх того громоздился фургон для доставки зверей. Делом минуты было вломиться во мрак запасного хода, и монументальная служебная тетка, посаженная там затыкать собою доступ в здание, и стала последней преградой на пути студента к поставленной цели. Напор был так стремителен, что, пока кудахтала, пока что, Никанор успел миновать полуосвещенный, показалось ему, тоннель, заваленный всякой костоломной рухлядью с засовами по сторонам, переждать тревогу в ледяном мраке неизвестного назначения и, наконец, через конюшню, где почему-то пели хором ученые петухи, двинулся

на поиск ангела. Словом, когда он приступал к штурму своей крепости, на манеже, при общем невниманье публики, спеша и сбиваясь с ритма, канатоходцы дотанцовывали свою лезгинку с веерами, и, наверно, прошла уже добрая треть антракта к тому времени, как он прорвался, наконец, на служебную половину.

Лихорадочное молчаливое возбужденье царило в цирке, но здесь, в округлом коридоре, видимо, параллельном кольцевому фойе, стояла полная тишина — кабы не сочившиеся сюда булькающие звуки оркестра. Кучка отработавших, частично разгримированных артистов, жалась по стенке, — представители большинства поименованных в программе жанров — худенькая немолодая полетчица в наморщенном трико, сквозь которое просвечивал шрам давнишнего паденья, юные икарийские прыгуны и меж ними подкидная сестричка с голыми ножками, полиловевшими от постоянного сквозняка из въездных ворот поблизости, — еще там напудренные музыкальные эксцентрики в экзотических блестках и цветных жабо, на бумажные цветы похожие и неправдоподобно-нарядные рядом с обслуживающим персоналом, с той же целью выползшим сюда из своих швейных закоулков и драпировочных щелей. И оттого, что в напряженном ожиданье выключались из себя, тем сильней бросалось в глаза их вполне земное, тренированное к перегрузкам подвига, даже у детей натруженное тело, — чернорабочая изнанка романтически-сказочного ремесла. Сами творцы чудес, они каждый вечер заблаговременно выстраивались здесь — в новой и напрасной надежде, молча и вблизи, на проходе хоть взглядом коснуться недосягаемого собрата. По сценарию старика Дюрсо, в его непрестанной опеке и заботе уберечь партнера от возможных просителей, опасных знакомств и вообще посторонних влияний, артист Бамба появлялся из ничего, прямо на манеже.

Никто не остановил Никанора — задышка, испарина на лбу, растерзанный вид с порванным на гвозде рукавом — все как нельзя лучше изобличало пожарную срочность его дела. Силач с синей морской наколкой на массивном плече почтительно кивнул ему на сравнительно низенькую дверь в глубине коридора, уже без

всякой охраны при входе, возможно, экономили штатную единицу в расчете на положенное благоговение паломников, что автоматически включается на пороге святилищ. Крайне примечательно, что еще месяц назад никакой гардеробной здесь не существовало, она была организована на время гастролей самим иллюзионистом, видимо, в угоду своей прекрасной даме, которой, по ее происхождению, претило обычное в цирках убожество артистических уборных. В конце концов ангелу ничего не стоило где угодно ткнуть пальцем — и **пусть будет**. Существенное обстоятельство, что ни администрация, ни служащие не замечали происшедшего под носом у них преобразованья, невольно наводит на всякие мысли, и прежде всего, по счастью, главные чудеса жизни, радуя нас, бывают мнимой обыденностью своей защищены от нашего удивления, чтоб сберечь себя от развенчания. Вообще-то тесноватое помещенье это, перегороженное занавеской и с низким сводчатым потолком, тоже вполне заслуживало названия форменной **дыры**, однако из гурманства, что ли, оборудованной под стать старомодной окружающей обстановке, так что крутые, счетом три, полустертые от времени приступки, по которым в спешке чуть не сверзился Никанор, как нельзя лучше свидетельствовали о древности всего сооруженья.

На шум, опережая посетителя, быстро вышла молодая смуглая женщина, видимо, из ближайшего теперь окруженья. Нет, вовсе не ярость за самовольное, без стука, вторжение светилась в ее немигающем взоре из-под властно-опущенных век и при почти невозмутимом лице, но в сто раз более унизительное, с чуть приподнятой бровкой удивленье, окрашенное жалостью к бесконечно обездоленному Богом существу. У студента замкнулось дыханье — не от робости, однако, скорее от смятенья перед ее повелевающей, бесконечно враждебной ему красотой. Впрочем, по возвращенью докладывая Дуне о своем походе в цирк, он из всех примет новой дымковской приятельницы только и смог перечислить кружевную манжетку рукава, на лоб ниспадающую прядку волос, да еще так и неразгаданное, поминутно отвлекавшее его сверкание на пальце, но и словом не обмолвился про

жесткий уклад ее речи, оставлявший в душе непрощаемое, как от бича, саднящее воспоминанье.

— Вы ошиблись дверью, солнышко мое, — как-то хлестко, наотмашь сказала она с недоброй лаской. — В этом несуразном доме действительно все учрежденья похожи друг на дружку... но вам лучше поискать в другом крыле здания.

Чтобы не вступать в общенье с дикарем, она даже не спросила, как он попал сюда сквозь многослойное охраненье, но еще обиднее было, пожалуй, что у женщины действительно имелись основанья именно так истолковать его нетерпенье. Впрочем, она заметно насторожилась, когда посетитель напрямки, пусть без полагающегося извиненья, заявил о своей неотложной нужде повидать **Дымкова**, известного под такой фамилией лишь в самом тесном их кругу. Юлия и раньше, по некоторым несомненным признакам, имела случай догадаться о плебейском, даже пугающем происхожденье этого подозрительного господина, несмотря на его фантастический дар. Последовал рапирный обмен незначащими фразами, причем женщина все поглядывала на дверь в ожиданье отца, который вышел ненадолго подготовить свои лекционные аппараты и пока не возвращался.

В ответ на законное недоуменье, какого рода имеются у **товарища** причины нервировать артиста перед столь ответственным выступлением, Никанор объявил с заминкой, выдававшей его душевное нездоровье, что хотел бы получить от Дымкова, как недавно прибывшего из недр вселенной, кое-какие сведения из практической астрономии.

— Успокойтесь... и что же именно притягивает вас в астрономии? — тоном показного безразличия спросила Юлия.

В свою очередь и Никанор тоже сделал поправку на чисто дамскую осведомленность в небесных науках:

— Ну, звезда Бетельгейзе, например.

— Это действительно назревший вопрос нашей современности, — поддержала Юлия. — Он и меня тоже гложет с некоторого времени. Если не секрет, то... что интересует вас на этой звезде?

— Да многое... в частности, откуда у ней берется, при ее разреженности такая температура, свыше трех тысяч.

— Ах, вот что?.. Это совсем нетрудно. Ступайте пока в буфет и запишите там на столике ваши вопросы, но поразборчивей, пожалуйста! — И тоном усыпленья обещала передать заполненную бумажку по адресу в следующем же антракте, которого не будет.

В разговоре она придерживала за спиной сдвинутые полы глухой складчатой драпировки, как бы рассчитанной на максимальное поглощение пыли... Но вот они немножко разошлись. Никанору с его предпоследней ступеньки частично открылась для обозрения комната за нею, обитая помпезным красным штофом с позолоченными лилиями и уж, верно, не без умысла обставленная такой же старомодной пышной мебелью в духе времен незабвенного Джузеппе. Кстати, овальный портрет его в рединготе и с шамбарьером висел прямо над тахтой, где, к немалому удивленью Никанора, буквально в десятке шагов от него, возлежал сам он, величайший маг современности, озабоченно созерцая гостя сквозь бесцветное пламя зажигалки. В следующее мгновенье Юлия перехватила Никаноров взгляд, кольца звякнули, и складчатая ткань сомкнулась, но и скрываться дольше стало Дымкову ни к чему. Первая же его сбивчивая фраза с попыткой оправдаться в непростительном забвенье друзей показала несомненные успехи в освоении ходовых навыков людского общежития, прилгнуть во спасение прежде всего. Будто бы чуть не каждое утро рвался хоть на часок в Старо-Федосеево, но всегда какая-нибудь неотложность поважнее меняла его планы. Из виноватого чувства или конспирации ради он даже о Дуне не помянул, и студента, почти ревновавшего к их дружбе, несколько обидело подобное небрежение, хотя понимал, что от ангела, в некотором роде полупризрака, неподчиненного формальной логике, явления феерического, и нельзя ждать постоянства. Но опять разоруживающая ребячливость слышалась в его рассужденьях о своем истинном призвании — делать радость людям, даже хвастовство в его ссылках на круглосуточную занятость, да ему и в самом деле льстила поднявшаяся вокруг суматоха лести, переполоха и восхищения, каждодневная давка у цирковых касс, головокру-

жительная толчея восторженных ротозеев, барышников и газетчиков, именно та прельстительная и для многих нынешних деятелей перегрузка мнимыми делами, когда нехваткой времени на личные потребности покрывается сомнительная полезность их работы.

— Да уж и сам вижу, — холодно посмеялся Никанор. — Мы вас свеженького помним прямо из скорлупки... а как всемирным факиром заделались, так и память враз поослабла на всякую старо-федосеевскую голь!

— Нет же, и вправду, кроме вечерних представлений у нас теперь редкий день обходится без концерта. Да подтвердите же ему, Юлия!

— В текущем месяце сверх договорных у нас пока запланировано что-то около четырнадцати добавочных выступлений, — сухо сообщила та и, отойдя в глубь помещения, стала красить губы.

Нечего было думать об отмене хоть одного из них. Вряд ли стоило ссориться с самим Наркомздравом, откуда чуть не каждые два дня трезвонили насчет встречи с ведущими медработниками столицы, еще неудобней было обижать отказом областной клуб рабоче-крестьянской милиции, и уж вовсе недопустимо обходить сказкой безгласных ребяток из сиротского дома. Впрочем, можно было бы завтра попозже выкроить часок на посещенье друзей, если кончить представленье чуть пораньше.

— Как у нас завтра, Юлия?

Она справилась с записью в крохотном блокноте:

— Сейчас скажу... вот. Научно-показательный сеанс в редакции психоневрологического журнала.

— Да, да, помню, — подтвердил Дымков и принялся объяснять срочно возникшую необходимость обелиться перед общественностью после одного, по счастью, ненапечатанного читательского письма под названием **сомнительный аттракцион**. — Потом ужин, хотя мне ничего нельзя, кроме изюма... но не подумайте только, милый Никанор, что мне самому нравится такая жизнь.

— Что-то сомнительно, — усмехнулся Никанор, со значением покосившись на женщину, красившую губы в стороне.

Время утекало зря, и не оставалось надежды, что та хоть на минутку покинет их до выступления.

— Нет, я и в самом деле чувствую небольшое переутомленье... вон, даже микстуру прописали! — кивнул он на дымчатый флакон с розовым бумажным шлейфом возле небольшой коробки с цукатами и не без детского самодовольства последил, оценен ли его подвиг перед человечеством. — Я бы мог даже сегодня, сейчас, прямо сквозь стенку, но в ложу приехали большие власти. Давайте лучше условимся прямо на субботу попозже вечерком!

— Нельзя, в субботу у нас Фитгоф, — бесстрастно сказала Юлия.

— Ах, та жирная, рогатая улитка из Стокгольма? — с жалостным унынием вспомнил Дымков. — Видите, Никанор, как все неблагоприятно складывается. Сюда прилетела ученая делегация, во главе ее крупнейший европейский специалист по мозгам. Причем он изучает только важнейшие проблемы... напомните, что он собственно изучает, Юлия?

— Парапсихические феномены.

— Вот, слышали? — и опять комично показал пальцем в ее сторону. — Как-то неприлично обманывать, раз прикатил ради моей персоны. Я почему-то считаюсь у них явлением, выходящим за рамки обычного. Даже придумали красивое слово... Как оно у них называется?

— Аномалия. — Она с досадой покосилась на дверь, видимо, в ожидании отца. — Вам теперь пора остаться одному, Дымков, чтобы сосредоточиться перед выступлением.

— Не гоните его, пожалуйста, он мой друг... — так весь и сжался тот, обороняясь. — И вообще сейчас многие лаборатории, даже из-за границы, делают заявки обследовать меня. Но, знаете, это не очень приятно: потом долгий тянущий зуд в затылке... особенно когда ледяные магниты и всякие спирали приставляют к вискам и голой спине. Но последнее время они почему-то чуть приложат, сразу ломаются! — Он украдкой подмигнул Никанору и со смешливым озорством облизал губы. — А послушайте, Юлия, что если мы нашего Фитгофа возьмем да и **побоку**? Как ненормальному явлению мне вполне позволительно исчезнуть в субботу на часок...

— Абсолютно невозможно, — сказала та сквозь зубы. — Он прогрессивный ученый, видный борец за мир...

кроме того, о нем был специальный звонок из секретариата товарища Скуднова, чтобы принять и обеспечить на должном уровне. Впрочем, вам надо самому решать, насколько ваш поступок приличен в отношении страны, которая вас приютила...

Она хоть и отошла за портьерку, к большому зеркалу, но при такой тесноте все равно находилась вблизи, а Никанору не хотелось при посторонних излагать цель своего посещенья, поскольку речь шла о **лишенцах**.

Кстати, и сам Дымков проявил неожиданное малодушие.

— Нажалуется отцу с три короба, достанется мне от него по шапке, — зашептал он смущенной скороговоркой, обрисовавшей Никанору его нынешнее зависимое положенье. — Вы его еще не знаете, он тоже великий волшебник, может на свете больше меня... мне без него уж давно бы в белый порошок! Я правду давеча сказал, **что-то** происходит во мне: или вдруг упадок сил, или, наоборот, помимо воли, такой избыток, что и не справляюсь. Хуже всего, что видеть **вдаль** перестаю... В голову пришло на днях, что, кабы цирк сгорел, я бы смог минимум на целый день **к ней** туда выбраться. Как странно, что никогда я почему-то девушку ту по имени не знал... почему?

— Дуней, Дуней ее зовут, — тронутый искренним жаром дымковского сожаленья поспешил к нему на помощь Никанор.

— Вот!.. а у нас где-то рядом конюшня за стеной... И чуть подумал, а уж враз словно спичку на солому кинул, огоньки побежали во все стороны. Слышу, лошади ржать и биться стали, значит, и у них занялось!.. А то заминка вдруг, чего-то сдвинуть не могу. Ведь ваш приход сюда я еще вчера утром заказал, а вон когда осуществилось. Правда, я вас неуверенно задумал, боялся — ну, как мне забывчивость мою объяснить. А мне некогда, потому что не покладая рук работаем на человечество, чтоб хоть немножко улыбалось. Приводите Дуню посмеяться. Дюрсо говорит, что чудо должно быть веселое, детское, как дождик при солнце. Правда, билетов не купишь, но я пошлю... хватит вам десяток? Вот, они уже там. Но поторопитесь, а то упорно поговаривают, что скоро меня

запретят за мистику... хотя мы так стараемся, чтобы получилось наоборот. — Он перешел на еле слышный шепот: — Знаете, первого мая у меня дневного выступленья нет и, если до той поры не соберетесь, то я к вам с полдня приблизительно и нагряну... просто убегу!

В своем пестром полуптичьем одеянии как не похож он был сейчас на себя недавнего в ту нечеловеческую **лыжную** ночь своего появленья, когда, с одной стороны, словно в необношенном армейском мундире, немножко форсил только что полученным телом, но уже начинал пугаться опасной, в обтяжку пригнанной обновки и связанных с ней невыясненных обстоятельств. И то украдкой процарапать ее с себя пытался, то ногой от себя откинуть неотлучную теперь тень. С тех пор, видать, он попривык к земной оболочке, освоился до поры, но сравнительно с собой тогдашним, полупризраком, полуотвлеченным и чужим, под воздействием маленьких пока житейских уязвлений, что ли, подкупающая человечность появилась в нем. А порывами такая жгучая доброта излучалась из этого смешного, необразованного, шарнирно-вихлявого парня, что заставляла Никанора, пусть временно, забыть ему не только гадкие проделки, вроде возмутительного летанья над Большим театром или искрового щелчка в нос на глазах любимой девушки, но и срочное дело, ради которого пришел.

— Слушайте вы, безумное иррациональное существо, которое по всей логике ума существовать не может и не смеет, ведь вы же настоящий ангел! — неожиданно произнес Никанор в неодолимом и безотчетном восхищенье. — Вам стоять на острой надмирной скале, созерцать нас сквозь непроглядную снизу тучу и не вмешиваться, потому что нам и без вас дано все для свершения всего возможного на свете... а только запоминать чисто спектральные изменения скорби земной — на случай, если кто-то, еще в большей степени несуществующий, надоумится спросить про нас сто тысяч лет спустя: как **они** там? Так зачем же вам, ангел Дымков, это жалкое, небезопасное, мучительное балаганство?

Чуть не в одно дыханье вырвавшаяся тирада — как по образной структуре, так и по лексике своей, уже тогда потенциально таила в себе зачатки того незабывае-

мого, четыре месяца спустя, как бы обрушившегося на меня лавинного откровенья, которое в тогдашней черновой записи моей так и обозначалось — **Апокалипсис от Никанора**... Между прочим, он произносил ее в постепенно замедлявшемся темпе, машинально приковавшись взором к ногам Дымкова, на коих стали проступать непомерно-шутовские длиннейшие штиблеты. Не больше двух минут оставалось до начала. По собственному позднейшему признанью Никанора Шамина, он ждал от ангела нередкого, в диалоге с небесами, встречного вопроса — «А разве не мучаетесь вы?», но вместо того услышал притворное, от смущенья, дымковское прикашливанье. Следом красный свет замигал на стенке, и тотчас в дверь мимо них скользнула Юлия, торопившаяся в директорскую ложу. Однако вовсе не сигнальная, к началу, лампа стала причиной переполоха. Сзади стоял бесшумно подобравшийся директор аттракциона Бамба, с которым Никанор знакомился впервые.

От гнева, что ли, он был весь кондитерски-розовый сейчас, в золотых очках и сюртуке с голубой муаровой лентой через плечо и поверх уймы невероятных, в спектральном порядке размещенных орденов, какие, возможно, еще будут учреждены на братских планетах; исключительной величины драгоценные камни так и сверкали на поминутно выпадающих манжетах, дополняя сценический образ шарлатанской учености. Тем смешнее выглядело оскорбленное величие, с каким старик Дюрсо указывал на дверь обернувшемуся Никанору, предупредительно сторонясь в проходе, чтоб не замараться о дикаря, — взор его побелел, а протянутая рука дрожала, напоминая об угрожающих, в его возрасте, последствиях такого негодованья.

Такая изгоняющая властность заключалась в его волевом жесте, что при всем своем тоннаже Никанор испытал как бы подъемную тягу к выходу и успел сделать туда неуверенный шаг, когда и последовал показательный дымковский бунт.

— Я не хочу, не хочу... вы не смеете, не смеете, гнать моих друзей, — на птичьем фальцете, с повторностью поврежденного механизма, прокричал Дымков, и надо полагать, лишь трехмесячное воспитание в ежовой дис-

циплине удержало его от необузданных поступков, роковых даже для города в целом. — Я буду в местком жаловаться на вас, а то и Скуднову позвоню... он меня, наверно, помнит. Целых два месяца без передышки, а чуть просвет, везут куда-то, впрыскивают всякую дрянь — то синьку, то еще похуже, от чего всю ночь потом пахнешь мышами. Не говоря уж, что я занят у вас без выходных и даром...

— Нет, постойте, это я у вас работаю, Дымков... помогаю вам делать счастье для человечества! — резонно перебил его Дюрсо и, изловчась на сложном пируэте, попытался прихватить за пуговицу, но тот вовремя отскочил, не дался. — Плюс к тому, кто вам велел отказываться от гонорара в пользу пробуждающихся негров?.. Притом за всех троих на целый год вперед. Положа руку на сердце я вас просил за это? И я вам работаю исключительно за моральный успех, как тот сумасшедший, что имел свою прибыль бульоном от варки яиц. Хорошо, не надо совесть, но давайте юмор: зачем деньги, когда вам все дано **так**?

— Именно не так, — пуще загорячился Дымков. — Все кругом запрещают мне летать, но вместе с тем у меня и на трамвай копейки нет... хотите, чтоб зайцем? Вы забываетесь, забываете, кто я! Не хочу, не буду сегодня выступать...

Старик Дюрсо выслушал его с усмешкой сострадания.

— Хорошо, я умываю руки, но тогда расхлебывайте сам, — и большим пальцем показал куда-то за спину себе. — Они там набились в проходах, поднимают детей на руках видеть пророка, и, возможно, троих уже увезли в неотложке, я не считал... но ничего, идите, станьте посреди и, когда стихнет, объявите им, что чудо отменяется. Пусть идут по домам, потому что ничего больше не будет, и я посмотрю, как вы найдете выход из создавшегося положения. — Но тут, помимо вторично замигавшего света, глухой звонок донесся из коридора через раскрытую дверь. — Слышали? Ладно, пошумели, больше не будем. Плюс к тому серьезное дело не должно страдать от наших капризов. Вы будете иметь карманные деньги, но плюс к тому вы скажете мне, куда ехать, я сам отвезу на машине за свой счет. Однако нам пора, дружок...

Ангел еще фыркал, шипел, не сдавался, и тогда Никанор стал свидетелем примерного дымковского укрощенья. То был класс высшей дрессировки обычно неприручаемых существ, основанной на чередованье каких-то еще непознанных наукой, потусторонних рефлексов. Щелчком пальцев пригласив ко вниманию, Дюрсо извлек из тайника под фалдой большой замшевый футляр, откуда неторопливо, невзирая на лимит времени, вылезла такого же размера, хоть для клоунады годная зажигалка: различишь и с галерки! И тотчас, выключась из своих огорчений, Дымков искоса, как бы клювом нацелился на проблеснувшую никелированную грань, — когда же из-под крупного колпачка поднялось соответственно длинное, благородное и бестрепетное пламя, очарованная радость узнаванья засветилась в глубине его таких страдальческих в ту минуту глаз.

Оставалось воспользоваться возникшей паузой, — предоставив одному любоваться игрушкой, старик Дюрсо в несколько усилий, единственно наступательным маневром живота вытеснил в коридор другого, пребывавшего в неменьшем замешательстве.

— Я не знаю... но только я сразу заметил, вы же умный человек... химик, юрист? Теперь не важно, не будем! — притворив дверь за собою, доверительно приступил Дюрсо. — Но как может умный человек врываться в такой момент, когда люди заняты к выходу? Некогда, но объясню вкратце, как написал про нас заграничный критик: мир болен тоской великого предчувствия, надо лечить, и вот артисты Бамба вводят чудо ему в жилы.

— Ну, положим, в данной стадии его только ломом вылечишь... ломом по пляшущим ногам, — не преминул высказать свою точку зрения Никанор по возможности в мягкой, шутливой форме.

— Но тем более, — вскричал Дюрсо, — тем более понятно теперь, что вы наделали в один прием, если он остервенел весь. Вы знали, с кем имели дело?.. Бунтовать его перед самым выступленьем, то он же мог взорваться по дороге на манеж. Вам, что, хочется кратер на этом месте... А люди? Вам не жалко людей, которые покупали на нас билеты?

Но здесь к ним подбежал инспектор арены в панике и с перекошенным лицом:

— Начинайте же... товарищ Бубия со всем синклитом давно проследовал в правительственную ложу!

— Не пугайтесь, товарищ Бубия подождет, я занят... — отвечал Дюрсо, не повышая голоса, однако настолько внятно, чтоб услышали другие.

— Итак, зачем вам нужен некто Дымков?

— Да, тут дельце одно, крайне секретное, — озираясь, сказал Никанор.

— Понятно... хотя вы могли бы доверить мне самое худшее, как лишенцу с большим стажем. Давайте, будто мы уже толковали целый час. Кого-нибудь посадили... не то?.. Плохой диагноз из поликлиники, тоже отпадает? Тогда вам нужны деньги... угадал? И ясно, вы не пришли сюда попросить взаймы из частной кассы артистов Бамба, которой нет, а хотели бы взять их прямо из воздуха, посредством так называемого чуда, так? Тогда примите мой совет, молодой друг, чаще применяйте головной прибор, который у вас на плечах, по его прямому назначенью, и вы избегнете крупных неприятностей как за себя, также опекаемых вами лиц.

И будто не было ни цирка, втугую набитого публикой, ни серчающего Бубии в правительственной ложе, старик стал излагать студенту юридические обоснованья крайне нежелательного обращенья к дымковскому дарованию, ибо любые, помимо государственного казначейства выпущенные кредитные билеты, даже отменного качества по своему небесному происхождению, окажутся фальшивками, имея на себе повторный номер серии, уже находящейся в обращении или вовсе несуществующей, что подследственному отнюдь не слаще.

— Я уже уловил вашу тайную мысль, — как ни в чем не бывало продолжал Дюрсо, — что на худой конец можно подчистить всю отчетность Госбанка, не исключено, но вы представляете объем работы? Плюс к тому он, хотя и самородок, должен пропустить в своей башке несколько раз взад-вперед весь бухгалтерский гроссбух, иначе не сойдется в балансе. Если вы не ребенок, то понимаете, что при чуде надо в точности представить себе, чего ты

хочешь, чтобы не получилось на вате или даже наоборот. Я вижу, вы не боитесь, что несчастный безграмотный парень, если его сюда подключить, просто сгорит от короткого замыканья, а у меня с ним гастрольный договор на август — сентябрь, Крым, Воронеж, Одесса, Северный Кавказ... — быстро перечислял он на пальцах. — Скажите, вы пришлете мне свою тетю ехать в **турне** или доверите самому делать его адские штучки?

Тем временем к инспектору в отдалении присоединился директор цирка, еще какая-то номенклатурная личность, не говоря уж о как бы мерцавших за ними должностных винтиках помельче. С почтительного расстояния они подавали робкие и напрасные знаки приглашения к началу, которых Дюрсо настолько демонстративно не замечал, что Никанор, уже тяготившийся выпавшей ему ролью пассивного участника в завязавшейся игре стихий, вынужден был привлечь к ним его внимание.

Вряд ли то было стариковское безразличие к еще одной порции боли — скорее сознание своего нынешнего иммунитета от эпохальных бедствий.

— Ну, что у вас там? — осведомился он тоном крайнего утомления, в котором звучали сладострастные нотки долгожданного реванша за недавние классовые поношенья.

— Справлялись о задержке, выражают неудовольствие, хмурятся, — вразнобой последовал ответ, и еще можно было уловить из недружного шелеста голосов, что в ту же ложу без предуведомления прибыл с дочкой сам товарищ Скуднов.

Бесшумные молнии высших сфер реяли в наступившей тишине, и, кажется, в противовес им старик бесновато похрустел вставными зубами.

— Ничего, пускай музыка поиграет им что-нибудь веселенькое! — сипло, как в астме, прохрипел Дюрсо, и, надо полагать, в ту минуту великий Джузеппе с удовлетворением разомкнул глаза — взглянуть из своего небытия на сына, возвращавшего себе утраченное династическое величие. — Итак, на чем мы с вами остановились, дружок? Да, я хотел сказать... чудо — далеко не лопата копать землю. Жизнь слишком плотно уложена, и, скажите, можно вынуть третий этаж из-под четвертого, чтобы

не рухнуло вам на голову. Чудо надо взглянуть и отойти прочь с пустыми руками. И вы его увидите сейчас. Теперь ступайте, не мешайте мне работать, — и царственно подтолкнул в плечо.

С видом утомления он поднял руку, посигналил партнеру в дверь, после чего оркестр заиграл элегическое вступленье и все разбежались по местам. Подчиняясь странному чувству неблагополучия, Никанор оглянулся с полдороги. Видимо, старику нелегко давалась его бравада. Держась за стенку обеими руками, мешковато привалясь лбом, он пережидал минутку накатившего припадка. Никого не было поблизости, но прежде чем студент решился прийти на помощь, Дюрсо успел сглотнуть что-то с ладони, после чего опавший было мешок с муаровой лентой стал набирать прежнюю осанку. Когда Никанор обернулся второй раз, старик уже успел исчезнуть в распахнутом занавесе форганга; слабый взволнованный гул приветствовал его появленье на арене.

Никанор решительно направился домой; как всегда, обратный путь оказался куда легче...

Поскорее рассказать подружке про свой поход к ангелу Никанор не торопился. Он боялся огорчить ее своей повестью о крушении мечтаний. Кстати, дома Дуни не оказалось и в мезонин к себе, где ждал ее Никанор, она воротилась получасом позже, чуть заплаканная, но торжественная, даже с тихой радостью в лице, что при очевидной дымковской измене пожалела его, не продала, невзирая на жестокое искушение выручить семью из неминуемого разгрома.

Вряд ли Сорокин и отвалил бы ей целых сто семнадцать со столькими нулями, даже за предъявленный товар. Просто из жалости к захолустной девчонке по ее неспособности вместить в уме подобный капитал, хотя фильм о загадочной стране за железной дверью был бы воспринят в мире как открытие нового материка, и можно было заранее предсказать ожидавшую постановщика, помимо денежного куша, сверхколумбову славу. Дуне представился бурный, вслед за тем, период освоения заповедных территорий, — как сквозь проломанную брешь хлынула бы тут стихийная волна иммиграции, поисковые партии ископаемых, фининспектора с портфелями и туристы

в полном охотничьем снаряжении, а заодно и строители неизбежных концентрационных лагерей, по самой уединенности своей гарантированных от побега. Да если бы даже политэкономический обмен несколько затруднился по иллюзорности присоединенных владений, все равно всеобщий исторический жребий осуществился бы во всем объеме и на автономных началах, как всегда и случалось с обетованными странами. Легко было сообразить степень небесного возмездия провинившемуся стражу тайны Дымкова за выдачу людям секретного объекта, в чем, видимо, и заключался коварный замысел Шатаницкого.

Мать все еще лежала пластом, сущая покойница, на неразобранной с ночи постели, а Финогеич уже затапливал главную, на весь дом, печку в сенях, и сладковатый белесый чад вползал через порог в остудившиеся комнаты, — Егор же в муках творчества, с хмурым видом и набухшими глазами составлял черновик так и неотосланного посланья. В его ящике с инструментами Дуня отыскала подходящую стамеску; а в углу за клиросом, помнится, стояла неубранная лестница еще от той поры, когда мальчишки из рогатки пробили узкое витражное окно... Самое трудное было одной перетащить ее оттуда, приставить к подножию колонны, дальше быстрей пошло. Постепенно спускаясь по перекладинам, девочка принялась подрезать краску по периметру изображенья, в петлях чуть поглубже. Местами срывалась рука, и багровый кирпич проступал сквозь сыпавшуюся штукатурку; зато как только, на исходе сил, соскоблила и железную скобу, за которую тянуть, то совсем стало видно, что дверь была всего лишь нарисованная. Отныне никому на свете, Дымкову тоже, стало не проникнуть в тот закрывшийся мир. Хватило сил и времени вернуть на место лестницу, мусор подмести, начерно оплакать утраченное.

Так Дуня застраховалась от соблазна продать тайну в трудную минуту.

Света не зажигали, пользуясь косым отсветом от столовой снизу, где, по локоть выпачкавшись, трудился над бумагой Егор. У Никанора имелась полная возможность уклоняться от лишней точности, ограничиться описанием технических обстоятельств. Из ночных своих тревож-

ных прозрений зная почти все о необычайных дымковских приключениях, Дуня не спрашивала рассказчика ни о чем. По словам студента, ангел выглядел совсем неплохо и не то чтобы поправился, а вроде **омордел** слегка в смысле артистической представительности, что означало возвращение прежней вражды к обидчику.

Кутаясь в рваный материнский платок, Дуня не прервала ни разу, лишь в одном месте шумно пошевелилась, откликаясь на сокровенную, главную теперь мысль:

— Что же мы делать-то станем, Господи? Ведь и по миру нынче не пойдешь... видать, в яму нас сметают!

— Ничего, наладится, — сумрачным баском успокоил Никанор и привел в пример горные хребты после землетрясения — где повалятся, где на дыбки привстанут, а через тысячу лет из них-то и образуется красота.

ЗАБАВА

Глава I

Для тогдашней Москвы знаменательна одна подробность — раздвоившееся поведение публики на самых, казалось бы, напряженных этапах исполняемого номера. Руководствуясь безошибочным предчувствием самосохранения и ходом истории подготовленная ко всяким политическим внезапностям, она время от времени искоса поглядывала на загадочную даму — как если бы зловещая комета восходила на небосклоне. Почти мистическая несообразность заключалась в том, что просторную директорскую ложу занимала она одна, тогда как в правительственной смежной — деятели первостепенного калибра сидели без надлежащего люфта, едва ли не впритирку, а чуть пониже рангом и младшие члены семейств всю четверть часа торчали за спиной у них, на ногах, не проявляя ни малейшего недовольства. Неизвестно, с чьего верховного дозволения, но именно так было обусловлено в договоре, что указанное помещение с прилежащей гостиной на все время гастролей поступает в распоряжение дирекции аттракциона и приглашаемых ею гостей. Ультимативное требование это, к слову, исходившее от Юлии, мотивировалось настолько сомнительной необходимостью иметь какой-то добавочный пункт технического **согласования**, что возмутившийся было доверенный помощник одного, хоть и не первой десятки, соратника вдохновился поставить на место зазнавшихся фокусников, но в целях сохранения престижа поручил дело своему второму заместителю как раз по части зрелищно-развлекательных предприятий. К удивлению сторонних наблюдателей, аудиенция даже такому, казалось бы, лицу

была назначена лишь после двойного отлагательства и то в закрытом ведомственном буфете, где ему пришлось вдобавок делать всякие вздохи и телодвиженья, даже зубами поскрести, чтобы привлечь к своей особе благосклонное внимание сидевшего за обедом Дюрсо.

— Хорошо, говорите... — двинул тот пальцем наконец, не подымая головы.

Садиться он не приглашал, руки не протянул, хоть и знал, с кем имеет дело. Дальнейшее поведение старика воочию выдает весь запал начатой им крупной и далеко не безопасной игры, хотя в его возрасте физическая боль и не бывает долгая. И возможно, уже тогда он исходил не только из уверенности, что Дымков вытащит его из любой беды, как из полусозревшего в нем намерения совершить один неблаговидный в отношении партнера, внешне патриотический поступок.

В одно дыханье назвав свои чины, высокий посланец с дипломатической мягкостью, как бы из уважения к славе Бамба, предложил от имени дирекции обменять неудобную по своей отдаленности от манежа **дыру** на равнозначное число мест в первом ряду и получил от Дюрсо ответ, что ложа его вполне устраивает.

— Но, кроме того, как недемократично складывается... — заторопился тот и сделал смелый шаг по-свойски пробиться в родственную душу современника. — Видные товарищи неделями пробиться не могут, а тут молодая, в сущности, баба на глазах у всех захватила себе территорию чуть ли не вполцирка!

— Я сам умею многие высокохудожественные выраженья, но лучше я вам не буду, — невозмутимо сказал Дюрсо, продолжая заниматься рыбой. — Но эта **баба**, как вы чутко подметили, имеет руководящее влияние на артиста Бамба. Теперь вы понимаете, на что замахнулись?

— О, я все соображаю, — подхватил тот, — но ведь публика-то всех секретов не знает. Она теряется, догадки строит. И вот уж слушки некрасивые пошли про одно, так сказать, непричастное лицо...

Мужчина внушительный по всем статьям и анкетам, он тотчас и сам испугался сорвавшегося намека. Железные карьеры и репутации запросто рушились вокруг по куда меньшим поводам, — распространение же

злостной сплетни о подразумеваемом **товарище** влекло за собой не только отлучение от житейской благодати.

— Какие, какие? Про кого слушки? — ледяным тоном добавил Дюрсо и посмотрел на смельчака, вгоняя в бледность с испариной. — Я понимаю, каждый толстяк ищет немного похудеть, но вы, что, хотите осунуться в один прием, сразу?

Тот забормотал о своем нежелании обижать кого-либо, тем более такую красивую даму.

— Я только рассчитывал, исполняя поручение, что вы возьметесь поговорить со своей дочкой, чтоб всем было хорошо.

— Нет, это вы возьмите свою дочку поговорить. Ступайте, ступайте, почтенный! Так и скажите там, что артист Бамба не может иначе.

Желудевого кофе **здоровье** Дюрсо не признавало, сладкое же ему не полагалось. Он подозвал официантку расплатиться.

Беседа, состоявшаяся при немалочисленных свидетелях, следивших за ней из-за своих борщей и селянок, наводила на мысли о стремительном взлете старика Дюрсо и его компании. Обращение в подобном тоне далеко не с **кем-нибудь** имело бы заведомо самоубийственные последствия, если бы не какие-то охранительные и, естественно, неразглашаемые связи, нередко возникавшие у артистов после концерта на загородной даче у сановника. Заключительная дерзость Дюрсо прямо доказывала не просто его доступ в сферы, а в верхний, непомышляемый смертными этаж. Невольно вспоминалась незадолго перед тем и в крайнем раздражении оброненная им реплика — «...не хотите позвонить, я вам дам, позвонить в одно место, чтобы немножко протерли пыль с мозгов...» — причем явно подразумевалась инстанция, куда никто в здравой памяти звонить не станет.

На деле же верховное покровительство в адрес великого иллюзиониста началось гораздо позже, а пока была всего лишь бесстрашная атака Дюрсо, рассчитанная на слепой страх атакуемых перед самой тенью вождя. Он приспособил себе ходовое изречение эпохи: при плохих картах на исходе лет некогда ждать милостей от природы, надо **блефовать**. Последнее время старый Джузеппе

чаще навещал сына во сне — напомнить, как мало остается у него жизни, подправить совсем померкшую славу дома Бамбалски. И так глубоко въелась обида, что возместить теперь нанесенный революцией урон могло лишь государственное же признание в достаточно искупающей форме. Например, если бы **усатый** самолично позвал старика Дюрсо к себе в Кремль познакомиться в теплой дружественной обстановке плюс к тому обсудить тему текущего дня. Разумеется, приглашение могло последовать лишь в ответ на соответственно щедрый акт со стороны самого Дюрсо, и он охотно пошел бы взнести что-нибудь поценнее на алтарь социалистического отечества, кабы знал наверняка, что дающая рука не останется на нем вместе со взносом... Словом, идя напролом к поставленной цели, восстановлению династического имени, Дюрсо нигде не отрицал романтической версии о дочке, хотя бы по той причине, что опроверженье могли расценить как намеренное поддержанье ложных слухов, направленных к умалению вождя. Вообще-то было бы небесполезно намеком на подобный роман возбудить легкий общественный трепет перед фамилией **Бамбалски**, но, конечно, паническим смятением в умах мыслящих современников могло отозваться известие о возникающем приятельстве Юлии с ангелом, благодаря чему вся их судьба с достоянием и потомством могла оказаться в безраздельном владении всевластной, неукротимой женщины, чужой к тому же.

В самом деле неразрешимая задача для присяжных разгадчиков, как могла она пользоваться привилегией единственного лица в стране — при постоянных аншлагах, когда билеты распределялись по ведомствам в порядке жесткой очереди и **брони**, так что даже дипломаты получали их через наркомат иностранных дел при условии заблаговременной заявки. Не менее поражало и не свойственное Юлии терпеливое постоянство, с каким она из вечера в вечер обрекала себя на скуку, неминуемо проистекающую, как нам подсказывает опыт, из всякого примелькавшегося чуда. Подобно своим друзьям она просто заболевала от некоторых простонародных зрелищ, в особенности — низменного русского действа песни и пляски плывучих девиц в кокошниках и лубоч-

ных молодцов в картузах и полотерских шароварах, этот устрашающе-пестрый архаический вихрь, грозивший развалить иное ветхое здание, не рассчитанное на сейсмоакустические излишества. Не в меньшей степени недолюбливала и оскудевший в советское время жанр иллюзиона. Взамен иронических волшебников, каких при поездке к родне нагляделась в Европе и чье легкое манипуляторское мастерство немыслимо без юмора, столь дефицитного во все великие эпохи, на эстраду пришли самодеятельные плуты, призванные за сходную цену **наставлять носы** почтеннейшей публике с помощью громоздкого фабричного реквизита, по выходе **там** из моды спущенного сюда, **в азиатскую глухомань**; банальность в кругу Юлии и плеяды ее спутников считалась едва ли не хуже нечистоплотности...

Но в сенсации Бамба явно содержались явления, находившиеся в противоречии с трезвыми истинами из обязательной для тогдашних граждан **четвертой главы**, повергавшие Юлию в жестокое раздражение по необходимости тратить время удовольствий на разоблачение негодяйской, заключенной там мистификации. Подобно своей среде, полагавшей цель жизни в преодолении грязи, боли и нищеты, а красоту в искусной маскировке уродства, она с зевотой, не от одной лишь скуки, пропускала страницы в знаменитых книгах, где толковалось про сокровенные источники морали или — иррациональные силовые линии, якобы изовсюду просекающие земное бытие, — попросту презирала такие смешные до бесполезности своей, безумием оплачиваемые домыслы предков: куда, например, девается пламя, когда гаснет свеча. Так и должно было быть, иначе слишком многое в окружающем мире подлежало тогда пересмотру и ломке, привычный уклад ее существования в том числе. Без выраженья, медлительной рукой в черной перчатке еще и еще раз подносила она к глазам старенький **стыдный** бинокль, украдкой от себя и перед уходом из дома сунутый в сумку, и всякий раз отмечала в дымковской работе все новые обогатительные интонации и краски, отличающие исполнительное творчество от ремесла, и в них — непонятные, но соблазнительные для ума странности, вызывавшие порою жуткий восторг и более уместные в алтаре, пожалуй, чем на цирковом манеже.

Запрет пользоваться даром чудотворенья в житейском обиходе вынуждал Дымкова по всякой мелкой надобности, когда-то исполнявшейся легким мановением воли, прибегать к серии томительных, зачастую недостаточных действий, и тогда ангел становился капризным беспомощным ребенком, готовым по ничтожному поводу взорваться с самыми нежелательными последствиями. По необходимости постоянной опеки и ввиду участившегося отцовского нездоровья дочь нередко брала надзор на себя. К тому времени Дымков настолько оторвался от старо-федосеевской среды, что ему безразлично становилось, кто на очередном этапе посвящает его в земную действительность. Не то чтобы оказался ленивым учеником, а просто новая школа уже тем одним отличалась от Дуниной, что обходилась без томительных музейных километров, без скуки общеобразовательных лекций. Правда, из предосторожности Юлия не торопилась пока, до проявления кое-каких обстоятельств, вводить ангела в круг близких друзей, где все подобные явления растворялись бесследно в иронической кислоте скептицизма, зато не без удовольствия позволяла ему как бы сопровождать ее на всякие просмотры, премьеры и вернисажи, даже закрытого типа артистические ассамблеи, куда прежде не имела доступа сама: любые двери раскрывались перед невероятным артистом Бамба. Да и ему самому, видно, пришлось по вкусу — почтительное оживление встреч, шепотки уличного узнавания, несмелая погоня за автографами, которые он вследствие изобилия протянутых блокнотов и бумажек нередко раздавал беглым наложением как бы благословляющей руки, иногда — на что пришлось, то есть помимо подставленной цели. Естественно, львиная доля поклонения сама собою доставалась на долю сопровождаемой им дамы, причем словно по цепочке следуя за нею позади, соблюдая неизменную дистанцию, что давало повод острить насчет наследственного у внучки таланта к высшей дрессуре. Однако дурно понятая провинциальная галантность Дымкова нередко ставила Юлию в неловкое положенье, доставляла острые переживания ее отцу. Как раз такой случай произошел на традиционном **капустнике** столичных театров, где присутствовала вся актерская

знать — почтенного возраста знаменитости, получавшие памятные подарки еще от покойных монархов, с одной стороны, также звезды балета и экрана — с другой, отмеченные вниманием ныне здравствующих.

Исполнялся один из тех заунывных любовных романсов, от которых, было замечено, Дымков испытывал нестерпимую, чисто космическую тоску. Как раз напротив него, сидевшего в группе почетных гостей, за столиком с прохладительными напитками, в мраморном простенке красовался поясной портрет великого вождя, откуда легко просматривается происхождение сомнительного дымковского поступка: внезапно, без какого-либо предупреждения у всех присутствующих, включая дородную певицу, выросли точно такие же усы. Правда, во избежание томительного единообразия, автор себя и своего шефа, например, снабдил совсем тоненькими — мушкетерского образца, хотя у старика Дюрсо с тенденцией к дальнейшему развитию; тогда как одну заслуженную старушку, напротив, наградил богатейшей, в обе стороны волосяной накладкой с характерным винтообразно-запорожским сбегом на нет, так сказать, в окружающее пространство. Никого не пощадив, даже алебастровый бюст видного театрального реформатора в углу, Дымков лишь одну избавил от преобразованья, которую поразвлечь хотел своей дикой шалостью, тем самым сделав ее виновницей происшествия.

К чести собравшихся, ни один из них возгласом гнева или удивления не прервал артистки, самозабвенно призывавшей лобзать ее, несмотря на постигшее преобразование, но тягостной улыбкой она стремилась замять бестактную проделку приезжих знаменитостей. **Народные** прятали нижнюю часть лица в богатых палантинах, а кто победнее обходился просто ладонью, приложенной к губам с видом задумчивого сопереживания. Наваждение кончилось к заключительному аккорду, причем главным пострадавшим неожиданно оказался переволновавшийся Дюрсо, и так как никакие аварийные пилюли не помогали, сразу после пения Дымков повез его домой... К слову, выступление аттракциона Бамба в программе не значилось — по болезни, как было объявлено, экспериментальной собаки, на которую опиралась научная часть вступительного слова.

Под предлогом навестить отца после вчерашнего припадка Юлия с утра отправилась к нему на квартиру, намереваясь заодно поговорить об участившихся, все более неуправляемых дымковских вольностях — они грозили завершиться монументальным скандалом. К ее удивлению, дверь открыл в фартуке и с разбитым яйцом в руке сам Дымков, тотчас, без тени смущения, воротившийся на уютную кухоньку рядом... Кстати, пока говорила с отцом, ей видно было, как тот не без сноровки орудует с непривычной утварью, — почудилось, однако, что, никем не наблюдаемый, управляется слишком быстро, начисто выключая некоторые промежуточные, томительные для хозяек, моменты приготовления пищи.

В халате и с утренней газетой больной ждал своего завтрака, когда из прихожей показалась Юлия.

— А, это ты... — взглянул он поверх листа и кивнул на свободное кресло, продолжая обегать глазами ведущие заголовки. — Почему плохой вид?.. Не спала? Или успела за ночь соскучиться о своем старике?

У старика были все основания толковать по-своему несколько ранний приход дочери, после того давнего охлаждения не баловавшей отца лаской и заботой, даже вниманием. С тех пор всякий их разговор для разминки, что ли, начинался с колючего, в полушутку, препирательства.

— Не угадал. Я пришла справиться насчет давно ожидаемого мною наследства!

Дюрсо посмеялся:

— Опоздала... тот незабываемый матрос с **Очакова** вынул из меня почти все наличные плюс к тому кусок жизни размером с Черное море. Иногда я сам кажусь себе все равно как кости от селедки, если в большой семье. Тебе придется, милашка, потерпеть немножко.

Последовал усмешливый поединок взглядов, глаза в глаза.

— Ничего, я не тороплюсь, папа.

— Я не поручусь тебе, что сковырнусь так быстро... поэтому, может быть, разденешься?

Снимая шубку, Юлия похвалила отца за стихийную способность преодолевать горести холостяцкого одиночества: имелся в виду доброволец на кухне. Дюрсо отве-

чал, что вообще-то за годы упадка и лишений наладился обходиться без прислуги, но с годами стал быстро сдавать. Дымков же, постоянно нуждаясь в квалифицированном отеческом наставлении, настолько привязался к старику, что, помимо всего, в предвестье его сердечной немочи, остается ночевать у него на раскладушке.

— Ты не боишься перегружать его вдобавок и по домашнему хозяйству?.. Не сбежит? — спросила она, снизив голос и по-немецки, чтоб не понял тот, у плиты. — На твоем месте я не стала бы доводить до крайности, чтоб не рисковать в твоей большой игре.

Дюрсо усмехнулся:

— Так мы же компаньоны, но я постарше плюс к тому же все хлопоты по номеру лежат на мне. Он без меня ни ногой, а яичницу может поджарить простой ребенок... Хочешь, он сделает и тебе?

Правду сказать, торопясь застать отца пораньше, Юлия с утра ограничилась чашкой кофе, так что была бы не прочь перекусить на целый день беготни, если бы до тошноты не отвращал смешно возникший образ.

Похоже было, она колебалась.

— Нет, знаешь ли, воздержусь, пожалуй, — не без содроганья отказалась наконец.

Еще дед когда-то возил внучку смотреть балаганы на ярмарке, источники площадного цирка, откуда вышел сам, и с тех пор у Юлии на всю жизнь сохранилось детское убежденье, что у фокусников, в их среде, высшим шиком считается сготовить глазунью без огня и непременно в старой шляпе, не пригодной для дальнейшей носки.

— Сомневаешься, что это съедобно? — несколько невпопад обиделся отец, — здесь употребляются только диетические и натуральные продукты. Я категорически запретил ему всякую мистику у себя на квартире.

Ее позабавила отцовская логика:

— Еще не хватало, чтобы он у тебя стряпал вовсе из ничего. Накормит досыта воздухом, и будешь икать на весь квартал, как бывало в Киеве у нас **большая** Марфуша... Помнишь? И вообще, кто может предсказать, какая вдруг осенит его фантазия?.. Я затем и приехала, поговорить после вчерашнего. Надо принимать какие-то меры

укрощения, чтобы однажды не погореть с ним запросто, синим огоньком!

После краткого раздумья Дюрсо предложил, было, генеральный выход из положения. По его тайному знаку, ради соблюдения секретности, дочь неслышно и поплотнее подтянула на себя дверь на кухню. Оказалось, что, учитывая весеннее оживление природы и для отвода избыточных сил, лучше всего было женить чертова дикаря, — старик соглашался даже **доукомплектовать** коллектив Бамба на одну штатную единицу. Впрочем, дело упиралось в кое-какие, почти непреодолимые трудности, в частности, где для него найти **технически** подходящую Марфушу. Не из чего стало выбирать, все девки теперь разбежались кто куда, на фабрики и в самодеятельность. Но здесь надо в особенности, чтоб получилось хорошо. И пускай она его понадежней держит за кудри! К сожалению, такая простая вещь тоже не валяется...

— Какую гадость ты придумал, — слегка поморщилась Юлия.

— Найди лучше, и я скажу — да.

Внезапно получил объяснение горелый смрад, с некоторого времени сочившийся в щель у порога. Семейные прения были прерваны вторжением повара — в клубах чада и с раскаленной сковородой. Во избежание удушья рычавшее на ней кулинарное творение тотчас было отправлено назад для срочного погружения в помойное ведро.

— Вот к чему приводит, если подслушивать за дверью... — начал было Дюрсо.

Юлия дипломатично вступилась за славного, в общем-то, парня.

— Не брани его, отец, ты отлично обойдешься и хлебом с ветчиной. Тем более что ведь он и не собирался причинить тебе неприятность... Правда, милый Дымков? Не падайте духом, все случается с новаторами производства на первых порах. Не все питаются одним изюмом, и вам надо разбираться, годится ли ваше изделие, как говорится для белого человека. Во всяком случае, эта провинность гораздо легче вашей выходки с усами в прошлый раз!

— Вам вчера было не смешно, Юлия?.. Не понравилось? — с высоко поднятыми бровями огорчился Дымков. — Я опять **сорванец**?

— Слабо сказано, дорогой мой, вы истинное, Божьей милостью, чудовище! — непонятно, в знак восхищения или порицания, бесстрастно и в самые глаза ему сказала Юлия. — Но вам никак нельзя забывать, что вы живете среди ортодоксов, а стоит ли дразнить гусиную породу?

Тот как-то по-птичьи даже взъерошился весь:

— А что, что **они** могут со мной поделать?.. Оштрафуют, в милицию отведут?

— Видите ли, Дымков, — многозначительно усмехнулась Юлия, — в этом печальном царстве-государстве некогда проживали самонадеянные люди, куда более неуязвимые, чем цирковой волшебник. Невольно создается впечатление, что вы недавно прибыли в нашу страну, а это может послужить вам дурной уликой. Вы даже не сообразили, что при желании в каких-нибудь три прыжка можете заслонить центральную фигуру эпохи, а там всякая историческая вероятность предусмотрена на столетие вперед. Да они просто оторвут вам башку вместе с вашим пробором, прежде чем вы пустите в ход свою магию. Вы не подозреваете, каких усилий стоит отцу уберечь вас от болезненных переживаний, но ради дальнейшей вашей сохранности позвольте нам принять некоторые дополнительные меры...

— Например? — озабоченно вскинулся весь Дымков, поочередно вглядываясь в отца с дочкой, а мимоходом в широкое окно, выходившее прямо в небо над незастроенным пустырем.

— Окончательно мы не решили пока, — издалека и с важностью приступил Дюрсо, — но если под рукой не найдется другой громоотвод, то придется просто женить вас. Скажите, на вашем личном кругозоре нет никого на примете?

— Но мне не надо, я ангел... — стал обороняться тот, хотя, как выяснилось впоследствии, не понимал существа предложенной процедуры.

Старик сочувственно кивал ему. Уже знакомый с нехитрой дымковской байкой о его чрезвычайном происхождении, он великодушно мирился с ней как с невинной артистической причудой.

— Я и без вас знаю, что ангел, — деловито заспешил он, чтобы в корне пресечь сопротивленье. — Чего вы

боитесь?.. Что вас назад не пустят? Если у всех богов в древности тоже имелись дамы на земле, то это не мешало их основной работе. Плюс к тому, зачем вам торопиться назад, если и у нас неплохо... Вам, что, дует? Скажу открыто про себя, я тоже не стал бы в такое тревожное время, хотя здесь имеется свой положительный момент. За те же деньги, но вдвое экономичней и сверх того, что положено мужчине, вы получаете домашний уют, не меньше чем трехразовое горячее питание, но считаете сюда пришитые пуговицы, и шуба заблаговременно уложена в нафталин. А заведутся ангелятки, тоже неплохая вещь... будете всем гнездом летать на дачу под выходной, тоже интересная вещь! — пошутил было он, изобразив пальцами шаловливое трепетанье ребячьих крылышек вкруг пыхтящего папаши, — но вдруг все еще непрощенная стариковская горесть исказила ему лицо. — Но не в этом дело, а главное — что под старость вы имеете родительское удовлетворение от своей любимой дочки, у которой вечно такой вид, будто ей чего-то недодал!

Тотчас последовала ответная буря.

— Мне ничего не надо из твоих лохмотьев, неприятный старик, — бегло и по-немецки бросила Юлия. — Уйду немедленно и навсегда, если не перестанешь...

Оба понимали, впрочем, абсолютную безвредность угрозы: никогда еще не нуждались друг в друге как теперь. И от потенциального наблюдателя, изучающего переходную физиологию существ потусторонних, наверно, не ускользнуло бы, что уже на этом этапе Дымков, судя по растерянному поиску опоры, перестал понимать перебранку на чужом языке.

Повторная стычка с отцом объяснялась всего лишь плохим настроением Юлии; благодаря предусмотрительной родне со стороны матери, она даже в тот год, на острие века, не нуждалась ни в чем, а к слову, не слишком верила и в бедственные отцовские финансы. Но в утренней спешке и, не рассчитывая встретить у него посторонних, она не отсидела положенного получаса перед зеркалом, что всем женщинам становится столь необходимым с некоторых пор. И теперь поминутно испытывала жгучее чувство женской ущербности под пристальным дымковским взглядом. На деле же тот следил за ней

с обычной острой приглядкой, но, значит, в тот раз, по выяснении подозрительной нездешности его, что-то изменилось в ней самой. Минуты молчания и выпитой через силу чашки кофе оказалось достаточно для установления фамильного мира и душевного покоя.

— Я не думаю, что в сложившейся обстановке женитьба помогла бы вам, Дымков, — со всей серьезностью сказала потом Юлия, — однако на вашем месте я поискала бы другой выход. К тому же все они дурного вкуса, ваши шалости... все одно что сорить деньгами. А если некуда девать, найдите им полезное применение...

— Я и так... осуществляю благие намерения, — заученно отвечал Дымков, вспомнив Дунину формулировку. — Может быть, мне пойти в науку?

— Нет, там это совсем не годится... — Она задумалась. — Скажите, Дымков, как вы их делаете, эти свои фортеля?.. Если вам позволено, конечно.

— Нет, почему же... — охотно откликнулся он и принялся отрывисто объяснять вчерашний поступок. — Мне привиделось, туча с большим огнем висит над вами, и уже никто прогнать ее не может, и мне захотелось немножко поразвлечь вас. Вот я и выразил пожелание про усы на главном портрете: пусть **это** будет много, по-разному и у всех... кроме вас одной, иначе вам не стало бы смешно. Понимаете теперь?

— Не совсем!.. Люди **желают** не меньше вашего, но у них не выходит.

— Оттого, что вам вполне хватает тела и рук, а при нашем хозяйстве только ими не управишься. Вот мы и **карежим** свою работу мыслью, словно рычагом... да и то в обрез! — Озабоченным простонародным движеньем он почесал в затылке. — Но последнее время и мне все чаще приходится немножко сжимать кулаки, чтобы поначалу с места сдвинуть... Все еще непонятно?

Что-то прикинув в уме, она неуверенно выкинула вперед ладони и сжала их:

— Вот и я тоже хочу, но у меня почему-то...

— Да... но вы забываете, что я-то ангел.

Сообщение прозвучало как дурного тона заявка на свою исключительность, раздражающее домогательство особых прав.

Юлия взглянула на него со строгой улыбкой:

— Впредь никогда не именуйте себя так, милейший Дымков. Не поддавайтесь... избегайте! Слово давно вышло из обихода... старомодные мужчины называли им своих красоток, главным образом за интимные услуги наедине.

— Но ведь я настоящий ангел! — с детской обидой вскричал Дымков.

Подобная неприличная настойчивость выглядела не менее досадной, чем если бы у ней, внучки самого Джузеппе Бамбалски, кто-то вытягивал фокусный шарик из носа в присутствии гогочущей публики. Однако искренность сорвавшегося восклицанья, да и прочее дымковское поведенье в целом выдавали в нем несомненного, хоть и невыясненной природы, еще не оглядевшегося на земле новичка. Тем более все ее существо противилось новости, начисто отменявшей ее привычный мир... Впрочем, она колебалась с признанием Дымкова и после того, как стала свидетельницей одного непостижимого, на прогулке в Сокольниках и среди бела дня, правду сказать, до крайности унизительного для него преображенья, потому и непритворного, что совершилось на глазах у женщины, которую к тому времени уже одарял поистине царственным вниманием своим.

Потребовалась некоторая пауза освоиться со сказанным.

— Тогда... тогда вы можете все на свете? — протянула она в замахе полунадежды. — Давайте на пробу тогда...

Глаза у нее разошлись, словно пыталась взором, в полном объеме, охватить желаемое, и значит, оно не уменьшалось там. Так и не открылось никогда, в чем состоял ее безумный помысел, так испугавший Дымкова; видимо, он успел прочесть его остатками своего дара.

— Нет, нет... — бормотал Дымков и тряс головой, тем самым лишний раз, от обратного, подтверждая свою подлинность во мнении Юлии. — Ведь я же только **младший** ангел...

По счастью, пришедший к нему на выручку Дюрсо приказал дочери, поверх газетного листа, чтоб не допекала парня своей **бабьей** блажью.

...Отныне покровительственно-ироническое отношение Юлии к Дымкову, как низшему созданью, ослож-

нилось настороженным ожиданием каких-то угрожающих открытий, но они случались все реже. Врастание небесного пришельца в земную среду сопровождалось перестройкой всего его существа — с отмиранием кое-каких бесполезных теперь способностей, если не вредных в нынешнем обиходе. Прежде всего оно коснулось неограниченного проникновения в будущее, могущего отравить радость и вдохновенье в канун приближавшихся мировых и личных его потрясений. Улетучился и не менее мучительный дар видеть сущее насквозь, в створе всей одновременно действующей механики физических законов, причем самое восприятие окончательно сфокусировалось на тончайшей и мнимой оболочке нашего бытия. Да и своевольное могущество, недавно беспредельно удлинявшее ему руки и слишком опасное, чтобы орудовать таким рычагом в стесненных земных условиях, а временами почти нестерпимое по необходимости ежеминутно контролировать подсознательные микрожеланья, стало перемежаться паузами полной прострации, доставлявшей ему хоть кратковременный отдых; вдобавок каждое утро тренировался делать руками все, для чего раньше хватало однократного волевого импульса. Заодно, тоже путем упражнений преодолевал прежнюю разборчивость в пище и некрасивую привычку разглядывать **нечто** поверх собеседника, отчего последний начинал украдкой щупать свое темя... На смену приходили наиболее ходовые людские качества, порою стыдные или беспокоящие, потому что скороспелкой проходил все фазы адамова развития.

С некоторым запозданьем не по своей вине Дымков стал проявлять любознательность к различию полов, причем вел себя как нормальный юноша, воспитанный в стерильном неведении. Порою взгляд его машинально прилипал ко всяким незастегнутым пуговкам, розовым ямочкам в сочленении локтя, ко всяким округлостям в кружевце и очаровательным завиткам волос за ухом на затылке, чего не наблюдалось у старика Дюрсо, а то с чисто гусиным изумлением, как бы удлиняясь слегка, заглядывал сверху на некоторые усложненные подробности женского телосложения, без которых легко обходился сам... Пришлось бы перечесть все бесчисленные и

нехитрые штучки, фантики и конфетки, какими природа понуждает род людской на безумства и тяготы размноженья. Естественно, по недостатку посторонних женщин в этом строго замкнутом кругу дымковский интерес по дамской части обратился на ближайшую. В непрестанной и невинной пока угадке скрываемых секретов он беспредметно робел, оставаясь наедине с Юлией без наступательных покамест акций, потому что в мальчишеской манере безмерно возвеличивал все недоступное ему и, поминутно пугаясь чего-то, все бежал, сломя голову бежал от западни, но только, как всегда бывает в таких случаях, в обратную сторону от спасенья. Под воздействием нарастающего, чуть ли не враждебного порою любопытства Юлия также не пресекала его неуклюжих попыток к сближению, немедленно расшифрованных древним чутьем ее праматери. Все складывалось тем более наилучшим способом, что и старик Дюрсо, своевременно подметивший их взаимное, чуть колючее влеченье, посильно содействовал их переходу к дружбе. По отсутствию контракта между компаньонами и при участившихся бунтах младшего против суровой опеки старших такой ход привязывал Дымкова к их фамилии крепче всякого юридического документа.

Для Юлии с ее высокомерным равнодушием даже к ближайшим друзьям начинавшийся роман становился скорее инструментом для исследования неких **пучин преисподних**, как сама же и пошутила Сорокину неделю спустя. Не отрывая глаз, с насмешливым холодком и прищурясь, следила она за неуклюжими, несмотря на молчаливое поощрение, уловками Дымкова, не шедшими, впрочем, дальше мимолетных прикосновений... И вдруг ей стало интересно с ним! Но как ни подстрекала она его, почти научно обставляя опыт, на какой-нибудь неосмотрительный поступок, чтобы тотчас жестоко и звонко наказать за него, всякий раз Дымков безгневно пропускал мимо ушей ее грешные и оскорбительные шутки. Нормальный человек вряд ли был способен на столь безоблачное воздержание, а раз не обманщик, то существо ангельской породы и должно было в чем-то отличаться от людской. Налицо была темная и, видимо, неосознанная им неполноценность, заблаговременное

выяснение которой помогло бы им избегнуть катастрофы. Надо сожалеть поэтому, что вследствие очередного ремонта Юлии не удалось сводить своего протеже в музей искусств на Волхонке, куда собиралась, и подержать чуть дольше перед микеланджеловским Давидом и другими обнаженными фигурами, сбоку следя за сменой выражений в дымковском лице: малейшее удивление доказало бы правильность ее печальных догадок.

Также подвела ошибочная, от Сорокина полученная, справка о подразумеваемом предмете. Случайно встретясь в консерватории, на круговой прогулке после первого отделения, Юлия вспомнила о его репутации всезнайки, особенно по части редкостных, наиболее бесполезных сведений. Беседа состоялась в уединенном левом уголке фойе, откуда через лестничный проход виден был оставленный без присмотра Дымков — без присмотра, зато с двойной порцией мороженого.

— Вам что-нибудь известно об ангелах, Женя? — спросила она после серии обязательных слов ни о чем.

— Ваши умственные запросы растут на моих глазах, пани. Вы так взволнованы Генделем?

— Будем считать, нормальное с годами любопытство к вещам потусторонним, — колюче и не без значения усмехнулась она. — Тряхните памятью, великий эрудит!

— Вы затронули довольно обширную тему, а вопросы маленьких детей, — тоже не без умысла вставил Сорокин, — тем и трудны, что не знаешь, куда руку протянуть на полке пропылившихся фолиантов. Боюсь, не успею втиснуть что-нибудь в рамки антракта. — Он взглянул на часы, соразмеряясь со временем в своем распоряжении. — Но если вы немножко сузите содержание вопроса...

— Хорошо. Они тоже родятся и умирают?

— К сожалению, последнее время я порастерял знакомства в этой области... но из самой логики их предназначения надо предположить, что они практически вечны. А при столь продолжительной жизни вряд ли кто из них помнит ее начало.

— Значит, они и не стареют? — отчужденно спросила Юлия, видимо, представив себя рядом с тем подозрительным парнем через тридцать лет.

— Не надо огорчаться, дорогая, — поспешил Сорокин, уловив оттенок неудовольствия в ее интонации. — Полагаю, что проживающие постоянно в земной атмосфере их резиденты, например, по наличию материального тела сгорают гораздо быстрее, чем у себя в космическом вакууме. А что, срывается предприятие?

Она трагически помолчала.

— В таком случае они не нуждаются и в любви?

— Разумеется, если речь идет о продлении рода, но ведь остаются чисто лирические побужденья. Исторический материал слишком недостаточен, а литературные шедевры, вроде пушкинского, не могут служить основой для серьезных научных выводов. Вряд ли вас устроит также очень смешная теория инкубата и суккубата, обстоятельно разработанная в средневековой демонологии... Не берусь излагать вам ее технологию. Кроме того, приводимые там сведения не могут считаться объективными, как добытые инквизицией на пытальном столе. — Вдруг лицо его оживилось. — Эврика, нашел как раз что вам надо, пани! В знаменитом апокрифе Еноха...

— Кто этот Енох?

— Он был прадед Ноя и почти из первоисточника писал о доисторических временах. У него имеется прелестная новелла, слышанная от очевидца, ангела же, про своих своевольных, впоследствии **падшими** наименованных собратьев. Крылатые озорники спустились по горе где-то в нынешнем Ливане и учинили скороспелые браки с девицами земного происхождения. Даже народились дети...

— Ах, даже так? — подняла брови Юлия, не спуская глаз с парня по ту сторону прохода: не обращая внимание на обступивших его ротозеев, он теперь увлеченно занимался с особо причудливой зажигалкой. — И что же, хорошие от них родились дети?

— Началось неплохо, кончилось нехорошо. Получились десятиметрового роста ребята, обучившие невинный род людской ремеслам, искусствам, заодно всяким сомнительным таинствам. Наряду с прометейскими задатками они обладали завидным аппетитом, причем заодно с гадами и падалью жрали и человечину... даже непереработанную экономической кулинарией, как ныне,

во всякие гурманские деликатесы, а в натуральном виде. Не поручусь за достоверность эпизода, Тертуллиан тоже считает его неправдой, хотя она и подтверждается жестокой казнью их самих, очевидно, за развращение земли, тоже наказанной общеизвестным всемирным потопом.

Заданный Юлией вопрос выдавал ее глубокое смятение:

— Всегда какие-то факты лежат в основе легенд. Вы хоть немножко верите в эту сказку?

— Абсолютно, дорогая, — с показным порывом откликнулся он, — не для мосфильмовского парткома, разумеется...

Вслед затем вполголоса и с отвлекающими хохмами на случай подслушивающего стукача Сорокин как бы расстелил перед нею свое **кредо**, и непонятно было, что там проистекало от искреннего убежденья, что следовало отнести за счет словесной пены и умственного щегольства. Для него якобы дедовские мифы и отвергнутые скрижали старины — те же алгебраические уравненья, выражающие локально закрепленное соотношение величин нравственных и материальных, механику тогдашнего самосознанья. Не торопясь обогащаться иногда подозрительно навязчивой новизной, он не кидает в огонь испытанной ветоши, чтобы было чем прикрыться от ледниковой стужи или гоморрского огня при каком-то уж близком, пусть временном, но неизбежном отступленье человечества, может быть, не на одну биологическую ступень. Нет, он не принадлежит к так называемым передовым мыслителям, которые, наглядевшись на смелое и, главное, безнаказанное поведение собак в алтарях, усвоили их опыт для своих прогрессивных дел... и вот уже подобно завоевателям прошлого карабкаются на античные статуи в намерении отрубить носы в ознаменование победы над ними...

— И как мы ни шумим, — продолжал он с запросом куда-то и бравадой, — мир все равно мчится в свой непроглядный, почти по Еноху — без признаков и счастья, и жизни, такой плотный мрак, что можно резать ножом. Хотя все его орбиты вычислены на тысячелетия вперед, вряд ли кого может интересовать что-либо, имеющее произойти без него. Средоточие не там, где летят и кру-

жатся неоправданной сложности системы, ибо в конце концов божественное блаженство можно было организовать проще и дешевле, без применения материи, как от века пользовался им все тот же алгебраический ее создатель. Истинное бытие наступает лишь там, где теплится моя мысль, которая и дарует всей наблюдаемой карусели математический патент на существованье. С уходом мысли она исчезает в одной из складок **большого сущего**, а на смену, там, **где** я, возможно, выступит какая-то иная, непохожая, в соседней пазухе скрытая вероятность... Словом, верю в бесчисленное их количество где-то рядом, возле меня! — заключил он в своем обычном стиле, как всегда с Юлией шалил.

Сердитая билетерша в последний раз позвала их в зал из опустевшего фойе. Дымкову из буфета было ближе идти на места через смежный проход, и таким образом Юлия на сей раз счастливо избегла необходимости содействовать его знакомству с Сорокиным, которое состоялось лишь через полгода, зато в куда более стесненных обстоятельствах. Она просто боялась своей дружбой с подозрительным циркачом, хотя бы и в зените его славы, уронить себя во мнении иронического и просвещенного режиссера, от которого зависела ее собственная.

Одновременно были предприняты шаги выведать кое-какие тайности и у самого Дымкова, причем некоторые из попыток Юлии, с глазу на глаз и с применением веками проверенных женских вольностей, в нормальных условиях можно было бы приравнять к допросу первой степени. Следствие велось, однако, в форме шутливой анкеты о быте ангелов, ссорятся ли между собою, ходят ли в гости один к другому или общаются только в общенебесных ассамблеях, квартируют ли раздельно или в казарменных общежитиях, а для сна располагаются ли врастяжку на космических туманностях или цепляются за что-нибудь, повисая вниз головою в пустоте. И так как ангелам, **посланцам** в переводе, положено быть всегда наготове, при должности, то имеют ли **они** на зверском морозе обогреваемые караулки, вешалки для крыльев и домино на столиках от космической скуки...

Дымков безгневно улыбался, молчал и только, глаз на женщину не поднимая, все чиркал безотлучную за-

жигалку, оглаживая пламя как прирученного зверька. А он потому взор опускал, что, по всей очевидности, не постигал смысла совершаемых Юлией разнообразных и настойчивых вольностей, стеснялся показать ей их напрасность.

— Как видно, небесные секреты охраняются у вас построже военных земных. Может, и похвально, но я тоже не выношу плутни, оскорбительной для моего самолюбия. Но изреките же что-нибудь в утешение, ангел мой!

Он печально покачал головой:

— Живущему сутки трудно понять существующее вечно.

— В таком случае, — жестко смеялась Юлия, — вы хорошо сохранились для вашего возраста!

Тогда дознание приобретало оттенок пытливой и невинной любознательности об ангельских трудах, обязанностях и, между прочим, о собственной дымковской специальности. Кстати, выяснилось окольным путем, что там, у себя, Дымков имел косвенное отношение к ведомству времени, и его мучительница постаралась уточнить его штатную должность: хранитель кладовой, экономист-статистик по учету или же непосредственно занимается выдачей товара неродившимся пока потребителям. И так как все сущее смертно в мире, то и вынуждено стоять в очереди у распределительного дымковского окошка: звезды, одуванчики, левиафаны, петухи и улитки, тоже и мы сами, зябкие и зыбкие тени в простынях и с дырками покамест вместо лица. И если обстоит так, как она придумала, то какое оно — время, похоже ли на мелкий просеянный песок, медную проволоку или, скажем, загустевшее оливковое масло?

— Вы хотите сделать мне больно, потому что не верите в меня, а не верите от обиды, что именно я ангел.

— Но, дорогой мой, для пылания веры требуется регулярное поступление горючего, хотя бы обыкновенный керосин... а в вашем случае его нужно втрое. У вас жуткая внешность, Дымков... Втиснулся в первопопавшееся тело, хотя по вашему положению можно было поинтереснее подобрать!.. Да и то содержите в вопиющей небрежности. В самом деле, небритый, в мятом пиджаке и уж, наверно, на дурном счету у прачек... а вдобавок целый

день валяетесь в ботинках где придется. Да у вас без движения скоро ноги отомрут, хотя, я так полагаю, ангелу с его крыльями ноги лишь обременительный придаток!

— Вот это правда, там у нас пешком не походишь, в один конец никакого бессмертия не хватит! — в тоне корректной и вполне равноценной шутки откликнулся Дымков, чем и вызвал у Юлии неожиданную, не без досады переоценку своих умственных возможностей.

Мелькнула было мимолетная догадка, что вся его показная простота, беспечная распущенность порою — не маска ли, обязательная для всякого лазутчика в глубоком вражеском тылу. Видимо, технология предположительной деятельности и толкнула Юлию на косвенный и довольно точный вопрос:

— О, при желании у вас нашлось бы немало о чем рассказать, но... умолкаю. И не сочтите за попытку выведать ваши служебные связи, а только... Наверно, у вас имеются интересные знакомства и в кругу дьяволов?

Свой вопрос Юлия задала незначащим, чисто бытовым тоном и, к удивлению своему, без промедления получила невозмутимый ответ в плане все той же полусерьезной болтовни ни о чем.

— Разве только издали пока, ведь я у вас впервые!.. Но, возможно, мне еще доведется встретиться с кое-кем из них. Есть дело к ним или захотелось взглянуть для самообразования?

Она пожала плечами:

— Особого стремления не имею.

Она прибавила вскользь насчет сомнительного удовольствия созерцать голую и вертлявую чугунного цвета шпану и получила в ответ резонное возражение, что не все же **они** работают в пекле: оба по различающимся причинам и в мыслях не допускали его существованья. Видимо, Юлия должным образом оценила, что в пусть недолгой словесной игре Дымков с честью продержался на уровне принятого в ее кругу легковесного, обтекаемого острословья, — во всяком случае, с той поры ее прежнее, чуть высокомерное обращение с ним вошло в рамки приблизительного равенства.

— Судя по литературным источникам, эти адские господа всегда такие целеустремленные, мускулистые,

волевые... в противоположность вам! — пояснила Юлия случившийся в разговоре поворот. — А вы вялый и скучный, на растение похожи, рохля. Вам надо двигаться, действовать, сверкать, клубиться, **быть** — то есть везде, везде оставлять ветерок за собой...

Кстати, как раз через полгода, перед всеобщей развязкой, Юлия имела случай не без юмора, хотя и в постели, воспроизвести на память тот эпический разговор с Дымковым, причем ее эрудированный любовник сразу отыскал ему литературную параллель в плутарховом диалоге Кинея с Пирром.

Похоже было, что Дымков сознательно вернулся в свою обычную, защитную раковину:

— А зачем, зачем мне оставлять позади ветерок?

— Потому что так нравится женщинам, помогает вашему брату завоевать их расположение, — иронически наставляла его Юлия. — Попутно полагается хвалить их, угадывать их прихоти и лгать им что-нибудь приятное.

— Вот я и спрашиваю **зачем**?

— А затем, что только здесь пролегает путь в их сердце. Чем сумасброднее их желанье и мгновеннее исполненье, тем жарче бывает ожидаемая всеми вами награда.

— Но зачем она мне?

— Чудак, она называется **любовь**, главная пружина мира. Ежеминутно ее заводят где-то, как часы, чтобы не остановилось все на свете. Потому что любовь одновременно цель и средство, подвиг и награда. От нее родятся солдаты, поэты, вожди, генералы: **дети**... все еще непонятно?

— Непонятно **зачем**?

Наступил черед Юлии обороняться и по ходу отступления делать неожиданные для себя выводы.

— А хотя бы затем, чтобы было кому отвечать на ваш вопрос. Дети рождаются продолжать дело их отцов, так называемое **цветение жизни**. Ну, книги, плотины, спектакли, трамваи, мосты, корабли, лекарства... — И словно предвидя завершающий дымковский вопрос о цене перечисленного, предпочла вернуться к началу разговора.

— Так и быть, я беру шефство над вами, если обещаете не противиться и не раздражать по пустякам. Через месяц-другой вы себя и не узнаете...

Словом, бралась в кратчайший срок сделать из него **человека** — с гарантией, что сам себя не узнает в зеркале через полгода. Преображение дикаря началось с внешности. Юлия перевязала у неряхи на шее разболтавшийся галстук, — нужно было преодолеть сопротивляющееся усилие в пальцах из опасенья мельком задеть его по-птичьи пупырчатую кожу, словно заразная. Покамест древней магией мимолетных касаний да мелких женских забот и ограничивалась методика генерального дымковского освоенья. А попутно невинным вопросом врасплох старалась выудить у него признанье — кто же он, только без кокетства и шаманства, кто же он на самом деле? Впрочем, его загадочная сущность раскрылась Юлии еще до того, как он повергнул к ее ногам необузданные дары калифской щедрости, на основании кое-каких подсмотренных, в сущности, ничтожных эпизодов, вернее, странностей дымковского поведенья при этом, как будто для него имел иное, нечеловеческое толкованье наблюдаемый факт. В первый раз причиной стала повстречавшаяся им на улице рябая баба, тем разве примечательная, что, остроклюво нацелившись куда-то вперед, прошла мимо крупной солдатской походкой и рыбину под мышкой, как портфель, несла. Юлии стоило труда удержать спутника с каким-то магнитным любопытством устремившегося было вдогонку старухе. Запомнился также один на неожиданно высокой ноте дымковский смешок у окна при виде, как внизу девчушка лет шести с прижатым к груди каравaем хлеба, видно, из булочной, медленно ведет взгляд за обыскивающей ее по кругу собачонкой, и у Юлии осталось странное ощущенье, что не бесстрашие ребенка, не фальшивое ожесточенье продрогшего щенка является причиной сомнительного дымковского удовольствия, а совсем иной, недоступный нам и по соседству с ними происходивший процесс, во исполнение коего оба они и пришли во вращательное движение. Третий случай окончательно убедил Юлию в принадлежности Дымкова к иррациональному миру, куда она невхожа.

Последние года два Юлия с наступлением весны испытывала обычные недомоганья. Нигде не болело, а просто всякий раз с уходом зимы, когда хозяйки начинают

промывать стекла в домах, а природа — улицы и небо, все ее тело заполняла ноющая тревога, состоявшая из одного понятного в ее возрасте недоуменья — неужели правда, что смешней ее нет судьбы на свете? В один из таких приступов, на исходе короткого погожего денька ее потянуло куда-нибудь за глотком воздуха и тишины; ближе Сокольников ничего подходящего не придумалось.

Тревожная и внезапная, впервые в жизни, появилась у нее потребность побродить по вешним проталинам, надышаться досыта талым снегом в **предчувствии чего-то**. Дымкову без объяснения причин велено было сопровождать ее в прогулке. Парк стоял безлистый и пустынный, полная глушь, так что все хрупкие сокровища пробужденья принадлежали им одним. На вспученных щебенчатых дорожках то и дело талые струйки выбивались под подошвой, и оттого лучше было бродить в лесной глубинке, оглашаемой пробными вскриками птиц и где целительная, местами пряная затхлость дразнила ноздри. Юлия раньше увидела с опушки разбежистую лощину с островком грязного износившегося снега посреди, а на пригорке по ту сторону, истинный подарок душе и глазу, как бы пылала березовая, плечом к плечу сбившаяся рощица, волшебно и розово позлащенная закатом. Тронутая сезонной прелестью природы, что с нею совсем редко случалось, Юлия показала спутнику на преображенные кривые стволики, словно струившиеся в перегретом воздухе из земли, но, когда обернулась к нему за ответом, событие уже кончалось. Отвалясь к сосне, Дымков диким закосившимся взором провожал нечто, незримо для спутницы промчавшееся чуть не вплотную впереди; вот также конь храпит и рвет постромки, чуя чье-то присутствие, в ночном придорожном овраге. Весь тот невещественный вихрь занял несколько мгновений, так стремителен был пролет, меж тем вечернее безветрие не нарушалось, ни одна былинка прошлогодняя не шелохнулась, не зарябилась в канаве застойная вода. Постепенно ухо распознавало обыденные звуки города, вытесненные магической тишиной, — гул проходившего за деревьями трамвая, перекличку ребят, видимо, гонявших мяч на обсохшей полянке по соседству. Вдвойне жалкий в своем щегольском пальто, спутник Юлии выглядел разбитым,

не вступал ни в какое общенье, да Юлия и сама, по безотчетному инстинкту самосохраненья, избегала дознаваться о причине его испуга. Но именно момент величайшего, казалось бы, ничтожества сильней убеждал ее в иной дымковской сущности, чем если бы сияющие крылья вспрянули вдруг у него за спиной. Однако вспыхнувшая было вера также быстро и гасла. Своей машины у Юлии в ту пору еще не было, домой в Охапково она отвезла его на такси и у калитки, перчаткой сметая налипший к ворсу смолистый сор с его рукава, осведомилась у него помягче, невзначай и с дальним страховочным прицелом, не страдал ли падучей кто-нибудь в его роду.

Никогда впоследствии не дознавалась причин поразившего ее тогда дымковского испуга, — непритворная искренность его вряд ли была доступна даже гениальному исполнителю. Впервые она ощутила вещи близ себя, которые **боязно** знать. «А вдруг и в самом деле по суеверным старушечьим придумкам, не важно — в фантастическом отдаленье или в математическом допущенье по соседству где-то, и впрямь существует реальный, лишь по нехватке прозренья ускользающий от нас эквивалент?» Словно юпитером подсветили сбоку, все новые черты нездешности проступали в нем, несомненном провинциале, если в него вкладывать понятие выходца из безмерной, неблагоустроенной пустыни неба, а центром вселенной считать Театральную площадь в Москве. Появлялось неизвестное ей дотоле ущербное чувство личной неполноценности, как если бы приходилось приподымать голову, чтобы рассмотреть Дымкова в полный рост: и все равно не хватало. Правда, он и на деле приходился на целую голову выше ее, — в таком случае почему же раньше в их отношеньях все обстояло наоборот? Наблюдались и другие перемены, из них болезненней прочих была состоявшая из ощущенья голизны гадкая боязнь, что Дымкову с его иррациональной высоты самое потаенное видно в ней все равно как галька на дне озера, если с птичьего полета: уже появлялось там кое-что, переживания и мысли, которые желательно скрывать. Правда, она была еще ослепительно красива и молода, насколько это приложимо к незамужней в возрасте около двадцати семи, опять же если мерить с двух-, трехлетней точностью, то есть на том

пределе женской спелости, когда требуется ежеутренняя косметическая приправка — не для усиленья прелести, а лишь затушевать очевидное, целевое телесное цветенье. Однажды предприняв обзор сплошного праздника позади, она как бы чужими пальцами полистала такие ровные, ровные благополучные деньки без каких-либо трагических разочарований или романтических недугов, без досадных хотя бы упоминаний, заслуживающих житейских промахов и даже — мелких несчастий вроде кражи кошелька... вдруг ей захотелось оплакать начало жизни. Ибо не случалось в ней и тех равновесных, всевознаграждающих озарений, что, по слухам, родятся из каких-то обременительных и до поры дремлющих дарований, в свою очередь, пробуждаемых однажды катастрофическим потрясеньем... но кто же добровольно ищет слез? И так как помянутый стимулятор вдохновений, горе людское, в самой разнообразной сортности был представлен эпохой, а не имелось гарантии, что всякое душевное увечье непременно вознаграждается рождением шедевров, то Юлия и не стремилась запасаться впрок излишне ходовым товаром, который в переизбытке имелся под рукой.

Среда и, в частности, воспитавшая Юлию заграничная родня растили ее царствовать. Детские плечики рано научились уставать от тяжести воображаемой порфиры, а с годами девочка примирилась с необходимостью поступиться непроверенными знакомствами и забавами частного существованья ради ожидавшего ее сана. Но вот стали покидать любимицу баловавшие ее старики, а не сбывались их пророчества, напротив, во избежание фиаско и несмотря на снижение требования к женихам, никто и присвататься не смел к внучке великого Джузеппе — даже когда естественное затухание династического ореола и окончательное, после дополнительных заходов очаковского матроса, крушение видов на приданое должны были, казалось бы, умножить количество женихов. Со всевозрастающим смятеньем листала она дни и встречи, тревожно вглядываясь в снующую возле толпу ледяных поклонников и таких же скользких друзей, и, не найдя на их челе осеняющих примет высшего, вполне земного, впрочем, избранничества, гнала прочь, **отшивала** — всех кроме одного, постоянного в

ее свите Сорокина. Умнее и выгоднее остальных, он сам никогда не пробовал удачи, причем не в силу разделявшей их когда-то социальной пропасти, а просто в доме Бамбалски его помнили при незабываемо-смешных обстоятельствах, более горестных, чем нищенские лохмотья, чем, кстати, и объяснялась собственная его менторская манера держаться с Юлией...

Конечно, такого кандидата, как цирковой иллюзионист с мистической подкладкой, партнер ее злосчастного отца к тому же, судьба могла предъявить Юлии разве в издевку, если бы не выявившиеся шансы оказаться ангелом вдобавок: титул несколько темный в наши дни. И тут в пору томительных колебаний она узнала случайно печальную историю некой Марины Мнишек, — ее насторожили приключения иноземки, **погоревшей** на сходной авантюре, тоже в Смутное время и в той же стране. Призванный для исторической консультации мосфильмовский энциклопедист, без введения в курс дела, дал успокоительную справку в том смысле, что **тот** монастырский **михрютка** тоже не стоил и ногтя знаменитой польской панны, но Париж стоит одной обедни; надо полагать, подразумевалось — коронационной. Так женский цейтнот и боязнь оказаться посмешищем в глазах придворной черни заранее толкали Юлию на согласие, которого пока никто не добивался, и несмотря на выдержку, делать уйму суматошных, чаще всего подсознательных и оттого тем более стыдных приготовлений к предстоящему и **любому**, в какой бы форме оно ни вылилось, венчанию на царство.

Глава II

Считавшийся чуть ли не выродком в патриархальной семье гуляка и безбожник, будущий Дюрсо не перестал предаваться частным радостям жизни и после женитьбы. Молодожены разошлись вскоре после рожденья Юлии, — без ведома старших разъяренная мать увезла ребенка с собой за границу. Прерванные отношения стали налаживаться несколько позже, когда дальновидная бабка послала на родину фотографию девочки — не

беззаботному кутиле, разумеется, а непосредственно деду. Стрела попала в цель, — сияющее, с кудряшками, трехлетнее существо тянулось к сердцу старика с объятьями, настолько бескорыстными в отличие от прочей сообразительной детворы, что уже в ту пору, случись такая неотложная необходимость, в них легко уместились бы два доходных дома с Крещатика да, пожалуй, и один из цирков в придачу. Знакомство заинтересованных сторон, происшедшее не раньше смерти матери и буквально в канун его собственной, было заблаговременно подготовлено в детской душе вереницей благодарных и фантастических впечатлений. В продолжение трех лет ящики драгоценных игрушек и разных экзотических лакомств, доставляемых чуть не со всего света, где имелись филиалы фирмы, чередовались с комично-безграмотными в фирменных конвертах под русской маркой, где старик собственноручно, порою жалкими при его могуществе словами, просил обожаемую внучку погостить у него в Киеве, пока жив... Не раз впоследствии и с несколько виноватым чувством за его неоправдавшиеся надежды, раскрывая тяжкий, с бронзовой лирой на лиловом бархате фамильный альбом, девушка подолгу вглядывалась в жесткое, с рыжевато-выцветшей бородкой лицо сухопарого человечка в своеобычном рединготе и ботфортах, как он всегда снимался, и все пыталась угадать, где у него там помещалась такая ненасытная нежность.

Непримиримая итальянская сторона согласилась, однако, предъявить богачу его внучку сразу по получении доверительно печальных известий от ее отца, рассчитывавшего по крайней мере на опекунские права, в случае собственного провала. Ввиду внезапного заболеванья великого Джузеппе было бы не в интересах Юлии, намекал он, чтобы многочисленная, отовсюду на погребальное пиршество слетавшаяся родня опередила в завещательном акте наиболее вероятную и, возможно, единственную наследницу. Указанное юридическое лицо было ближайшим экспрессом и под конвоем надежной тетки доставлено в Киев, но старику было плохо в те дни, и, несмотря на его предсмертное нетерпение, девочку в глухой двухэтажный особняк к нему на Фундуклеевской доставили лишь через неделю. За парадно убранным сто-

лом вперемежку с чопорной родней сидела местная финансовая знать, а в дверях теснилась с детками домовая челядь. Все не без волнения, в ожидании сюрприза, поглядывали на замысловатую посреди киноустановку, присланную накануне неким Ханжонковым, личным другом хозяина и по его просьбе. Больного ввезли в кресле, с пледом на ногах и почти не изменившегося, словно нечему было болеть в его ссохшемся организме, но прислуга ближнего окружения диву давалась на выдержку, с какою тот скрывал свое, уже непоправимое нездоровье. Старик молча присоединился ко всеобщему ожиданию какого-то высшего гостя, даже в тех исключительных обстоятельствах имевшего право на запоздание. Тайна раскрылась лишь при появлении строгой разряженной девочки с загадочно-долгим взором, каким она, уже привыкшая владычествовать, обвела собрание... И тут, по выражению лица у старого Джузеппе собравшиеся наследники, уже лязгавшие зубами в предвидении дележки, уразумели вдруг, какая грозная беда стряслась над ними. Для нее одной, маленькой царицы, было затеяно в неблагополучном доме торжество, в нарушение традиций завершаемое сеансом **кинки**: под таким названьем незадолго перед тем и к ужасу блюстителей русской речи вошел синематограф в бытовой обиход киевлян. Был показан боевик об одной покинутой красавице, как она спрятанным в муфте небольшим, в сущности, пистолетом простреливает огромного неверного мужчину в роскошных усах. И так как жаднее всех вглядывался в экран сын домовой прачки, оказавшийся поблизости мальчик лет четырнадцати, то ему-то, по окончании ленты попавшемуся на глаза, размягчившийся старик, несмотря на недомоганье, и дал полушутливый наказ, чтоб не забыл его милой внучки, когда сам научится крутить такие же чудесные картины из красивой жизни. Всем запомнившееся слово впоследствии стало выглядеть пророчеством и на протяжении лет становилось для созревающего режиссера Сорокина сперва напутствием мастера и посвящением в подмастерья, а там таинственным образом превратилось в само собой разумеющийся моральный должок прозорливому старцу, подлежащий оплате его юридическому преемнику в лице Юлии Бамбалски.

Следующее, прощальное свидание с дедом состоялось в конце той же осени, на исходе пронзительно-золотого денька. Снежно-белые голуби вперемежку с желтыми листьями реяли в громадной небесной синеве над днепровским раздольем, над базаром и лачугами бедноты внизу, но тот же дом, несмотря на всю свою угрюмость, каким-то старозаветным уютом прогретый по-прежнему впечатленью, показался теперь Юлии выкрашенным сажей изнутри. По мощенной красным клинкером дорожке надо было пересечь двор с затихшими собаками до поворота за углом и затем по задней, непосильно-крутой лестнице подняться наверх. Хотя дыханьем смерти овеянная обстановка могла травмировать ребенка, было кем-то сочтено, что возможные издержки вполне окупаются размером оставляемых даров и благом последнего общенья. Дальше последовал длинный коридор, забитый непонятными, в непомерно-длинных кафтанах почему-то, черными людьми, в особенности — как почтительно расступались они, взирая со своей высоты на проходившую в ногах шестилетнюю царицу. Так через анфиладу и полупотемки полубезлюдных комнат ее ввели в прохладное, с завешенными окнами, давно непроветриваемое пространство, и потом с подгибающимися от страха коленями ей пришлось почти столько же тащиться до стоявшей, помнится, под пологом и на возвышении, очень большой кровати, где лежал кто-то несоразмерно маленький: девочка не решилась взглянуть в лицо умиравшего. Зато на всю жизнь закрепилось в содрогнувшейся памяти единственное ореольное пятно, как бы в рембрандтовском луче библейского провидения, брошенная поверх одеяла, недвижная и закатным лучом сквозь штору высвеченная, ужасно маленькая и уже от всех красок жизни отмытая рука. Повеяло холодком, словно тот приподнял веки. Девочку взвели на приступку, и один кто-то, не отец, властно пригнул ее головку, а другой положил ужасную руку на склоненный затылок наследницы. Чисто мускульным ощущением Юле навсегда запомнился могильной тяжести груз, соответственный значимости момента. И, несмотря на детский возраст, с каким облегченьем, сбежав по той же деревянной черной лестнице, вдыхала она потом сладкий-

сладкий, синий-синий воздух с неутомимой в нем стаей голубей... Забитый досками парадный ход открыли лишь перед выносом гроба. Прискорбно и странно, что наиболее, может быть, грандиозное происшествие предреволюционного Киева, наделавшее шуму не меньше знаменитого покушения на премьера Столыпина, не оставило ни малейшего следа ни в тогдашних газетах, ни в коммунальных документах города, ни в памяти современников и даже самих его участников. Впрочем, толпившиеся вдоль улиц дотошные наблюдатели высказывали догадку, что еще при жизни обдуманная феерическая чертовщинка была сознательно подпущена в погребальную процессию возглавляющего ее участника, благодаря чему она одновременно играла роль демонстрационного шествия, каким в старину возвещалось прибытие бродячих цирков. Лишенное навязчивой печали зрелище похорон содержало в себе столько призывов к жизни, что у самых суровых противников цирка возникала немедленная потребность, купив билет, посмотреть то же самое в оптимистически-каскадном развороте, — лишнее доказательство, что и безвыходное состояние не мешает нам содействовать преуспеянию любимого детища. Кроме того, чисто американский размах и несоизмеримо более богатая бутафория, но прежде всего проявленный в отдельных моментах тонкий вкус постановщика позволяют в полном объеме оценить проделанный усопшим путь от убогого отцовского заведения, на дюжине кляч кочевавшего когда-то по галицийским городкам — до нынешнего величия, которому позавидовал бы любой камергер его величества. Буквально всякая мелочь, даже погода была предусмотрена для удобства почтенной публики волею завещателя, удачно избравшего для отбытия в вечность нарядное и нежаркое воскресенье, последнее такое в наступавшем сезоне дождей. По всему пути следования было солнечно, празднично и беспыльно, несмотря на громадность похоронной свиты и обилие зрителей, будущих клиентов, по сторонам, потому что две сопроводительные тучки дважды и чуть вкось, под ноги, спрыскивали погребальную колонну — без повреждения парадного обмундирования должностных лиц или еще более хрупкой цирковой экипировки. Под печальнейшую му-

зыку на свете заслуженные лошади из личной конюшни покойного влекли вниз по спуску, к месту погребения, правда — не артиллерийский лафет, как хотелось бы, зато самую внушительную в тогдашнем Киеве по своей мрачной архитектуре, баронскими гербами украшенную колесницу с продолговатым на ней, особо ценного дерева ящиком и в окружении шагающей вровень ливрейной униформы, к сожалению, тоже без факелов, которым почему-то принципиально воспротивился местный полицмейстер... Указанные недочеты возмещались количеством и разнообразием провожатых — почти от всех сословий, ввиду популярности покойного, причем, судя по сосредоточенности поз и выражений, все они одинаково сознавали известную гордость исполняемой ролью в том фантастическом гала-представлении, подобно тому как все мы, в зависимости от ранга и достатка, разумеется, испытываем важность от участия в комедии человеческого прогресса, не подозревая его истинной сущности.

За гробом великого Джузеппе, с высшим духовенством во главе, следовали бесчисленные гости, заблаговременно и даже из-за океана прибывшие проводить к праотцам главу рода, на разнообразных поприщах процветающие родственники, но прежде всего дети, старшие сыновья Джузеппе, которых дотоле никто не подозревал у него в таком количестве. В отличие от бесшабашного Дюрсо то были примерные сыновья: учредители самостоятельных фирм, кое-кто уже в преклонной седине, а заодно с ними директора дочерних и подчиненных предприятий, пайщики и компаньоны анонимно-доходных отраслей, зрелые и преуспевающие тузы банковской гильдии и среди последних — представители конкурирующих фамилий с печальной благодарностью в лице за доставляемое им удовольствие. На несколько кварталов растянулась вереница экипажей, где, сперва пакетами по четверо в каждом и невозмутимо подрагивая на толчках, ехали как из дерева изваянные, целеустремленные джентльмены с британскими бакенбардами либо французскими эспаньолками, но исключительно в цилиндрах, тогда как следом за очевидными баловнями финансовой судьбы, пока еще в колясках и тоже словно наштампованные, но уже в более плотной упаковке шестерками двигались до-

стопочтенные особы рангом помельче, комиссионерско-квакерского облика в партикулярных котелках. Дальше, уже в смешанных головных уборах, вдавясь друг в дружку, точно нанизанная без всякого люфта, на наемных дрожках местных балагур тащилась туда, за Лукьяновку, деловая, полупочтенная мелкота — коммерсанты с ограниченным капиталом или вовсе без оного, маклеры и ходатаи, лодзинские фабриканты без наемного труда у себя на дому, — всякие там внучатые племянники, седьмая вода на киселе, тот самый **песок морской** неисчислимого потомства, каким библейский Бог награждал особо благочестивых патриархов.

— Красота какая, Господи, и сколько же денег сюда вложено... — не без зависти передавали потом, бормотал один православный батюшка, до самого конца простоявший на обочине, и якобы все головой качал от восхищения.

Лишь во вторую очередь и пешком вышагивала осиротевшая цирковая гвардия Джузеппе, соратники его по манежу со шталмейстерами во главе — кое-кто в искренних слезах словно от предвиденья, что с уходом старого Бамбалски кончается романтика циркового чуда, гаснет ореол необыкновенности вместе с фантастикой загадочных имен, — остается спортивное обозрение без регистрации рекордов, профильтрованное сквозь циркуляры главкультполитпросвет. Под присмотром опечаленных приставов и околоточных, получавших праздничные пособия из жилетного кармана усопшего, мимо всяких служивых и смотровых, что в полицейских седлах гарцевали по обочинам шествия, не допуская толчеи, мимо раскрытых окон с нацеленными из них биноклями шагали размалеванные фигляры, акробаты с надувными бицепсами и в цветных тельняшках, спешенные наездницы, несколько посиневшие на сентябрьском холодке в своих слишком фейных нарядах, канатоходцы в бурках и усатые верзилы в сплошных медалях всемирных чемпионатов, а также жилистые и худосочные, видимо, не слишком жирно кормившиеся при покойном, швеи, реквизиторы, конюхи, позади которых, сверху глядеть, опытный глаз свободно различал словно побежалые цвета при закалке, сероватую массу добровольно провожающих на предмет

получить вспомоществование на бедность, а также темную, в черной оправе, прослойку вышедшего на поживу ворья с вкрапленными в нее неотлучными сыщиками, — наконец просто зеваки, нищие и босоногая, беспредметно ликующая детвора в неприглядных клубах пыли, ввиду ограниченного запаса влаги, что ли, подсобные тучки обслуживали лишь избранную часть публики.

По личному впечатлению давешнего батюшки, как раз о. Матвея Лоскутова, прибывшего на недельку поклониться покоящимся в лавре угодникам и случайно до самого конца наблюдавшего похороны неизвестного ему богача Джузеппе, процессия никак не меньше двух часов, свиваясь в кольца и переливаясь звеньями, тянулась через весь город, так что голова ее примерно достигала ворот кладбища, а самый шлейф, вернее, хвост ее, едва развертывался на противоположной окраине. Однако не масштаб погребального замысла или великолепие исполнения умилили провинциального, тогда всего лишь вятского священника, — даже не жуткое сходство процессии со змием иноверия, уползающим к себе в подземное убежище, а центральная в ней режиссерская придумка, сверкнувшая как драгоценность в тяжеловесной оправе события... Просто странно, как могла такая изысканная подробность гала-представления выветриться из памяти киевских старожилов! Впереди, тотчас за катафалком, в игрушечном кабриолетике ехала печально-надменная девочка рядом со столь же чопорной и недвижной дамой. Из опасения измараться взором о толпу, Юлия безотрывно глядела либо на траурные плюмажики своих пони, либо на хлопотливую птичку, всю дорогу порхавшую над главной колесницей: гувернантка пояснила, что это дедушкина душа. Незадолго до прибытия на место последняя улетела, возможно, по необходимости, пока не поздно, уладить какие-то незавершенные дела.

Разочарованная, если только не оскорбленная посмертной волей завещателя, родня разлетелась по домам чуть ли не на утро после похорон; так что годовая и трижды заупокойная в день молитва частично выполнялась с помощью со стороны нанимаемых лиц. Через замочную скважину, на уровне глаз, девочка могла наблюдать их, недостающих до обязательного по ритуалу десятка бед-

няков с Подола, — как они неприлично вздыхают там, нюхают вкусный воздух, взад и вперед выхаживают полутемную каморку близ кухни, маются в ожидании, пока благодетели приканчивают завтрак поблизости. В числе их находился и достигший тогда требуемого возраста будущий кинорежиссер Сорокин, еще раньше приспособленный сюда матерью, тамошней прачкой, на побегушки: в богатом доме всегда найдется чем занять неслышного, услужливого, голодного подростка четырнадцати лет. Девочке живо запомнилась эта, из-за глухоты, с громовым разговором суматошная женщина, настолько льстивая и несуразная, что сын уже в ту пору стыдился ее, — таких габаритов, что у Юлии возникало невольное раздражение от невозможности сразу охватить ее взглядом. Скудное вознаграждение за полуторный рабочий день, наполовину выплачиваемое горячим питанием с господского стола, без отлучки домой, вряд ли выглядело благотвореньем. Тем не менее никогда не скрываемые в семье Бамбалски — манера врожденного покровительственного превосходства одной стороны и подавленное чувство благодарного подчинения у другой — прочно сохранились, несмотря на изменившиеся социальные отношения, и во втором поколении, у младших. Закреплению такой неправомерной сорокинской зависимости, временами доходившей почти до безраздельного владения его личностью и, главное, не отменяемой никакими революциями на свете, способствовал один до ничтожности мелкий и гадкий эпизод, случившийся у них там вскоре после похорон деда. По делам какой-то срочной надобности пересекая столовую, подсобный мальчик заметил блюдо пирожных на буфете и среди них одно со взбитыми сливками, покрытыми голубоватой сахарной глазурью. По странному и жестокому совпаденью оно преследовало его, попадалось на глаза во всех кондитерских витринах по Крещатику, даже навестило его в одном, по летам и развитию несколько стыдном сновиденье. Отсутствие свидетелей, также искушение немедля утолить подлую мечту толкнули прачкина сына на неосмотрительный поступок. Однако, сверх ожидания, забившее ему рот сладкое облако не пролезало сразу, и тут, с комком в горле ощутив на себе чей-то взгляд, он поздно

заметил хозяйскую девочку на втором марше парадной лестницы, уводившей в апартаменты хозяев. Склонив головку с бантом, она с нескрываемым интересом наблюдала комичное поведение подростка в перешитой из чего-то куртчонке с наставными рукавами и таких же куцых брючках.

В довершение беды, то ли с отчаянья, то ли по бессилью расстаться с добычей он машинально запихнул остатки себе за пазуху. Так они простояли четверть минутки, пока Женя не догадался слизнуть с губ липкую безвкусную пену, а девочка не насладилась созерцанием казни, после чего без смешка или спешки стала подниматься к себе в детскую... Забыть подобную картинку обе стороны никак не могли, и, пожалуй, единственным для Сорокина средством истребить тягостное воспоминание было бы совместно осмеять его в некоторых исключительных условиях, уравнивающих имущественное, да и нравственное положение партнеров, о чем при всей его знаменитости режиссер, разумеется, и мечтать не смел.

После революции молодой человек Сорокин, временно приютившийся на полуголодном пайке в местной газете, до поступления в тамошнюю кинохронику иногда по старой памяти продолжал навещать все еще благополучный, без продкарточек обходившийся дом Бамбалски, где нередко был оставляем на обед с обязательными расспросами о новостях и досадными при его самолюбии наставлениями. Показательно, что и по вступлении в славу он продолжал платить преданностью разоряемой фамилии за сомнительную ласку, преувеличенную в его воображении масштабом собственной его исходной нищеты. Несколько лет спустя, когда очаковский матрос уже приступил к вышибанию родовых капиталов из наследников Джузеппе, непосредственно с оставленного им опекуна, действующие лица столкнулись лицом к лицу уже в Москве, на интимной пирушке в честь удачного сорокинского кинодебюта. Тут, в предвиденье обычной тогда отсидки на предмет очередного отжатия сока, наследник Дюрсо высказал через тамаду завещательную надежду бессмертного земляка, пророчески указавшего ему путь из провинциального ничтожества, что восходящее светило кинематографии выполнит свой моральный долг

перед его любимой внучкой. Смущенный непосильным обязательством дебютант виновато покосился на сидевшую возле пятнадцатилетнюю красавицу, а присутствующие запили шампанским, закрепили аплодисментами стеснительный для Сорокина договор, с каждым годом усложнявший его мироощущение по мере того, как убеждался в бесталанности будущей кинозвезды, порученной его водительству на тернистых тропах киноискусства. Так, постепенно вызревала в нем потребность скинуть с себя посмертную диктатуру господина с неминуемым как-нибудь бунтом прозревшего раба.

Последующие десять лет у Юлии, при всем ее незаурядном уме, протекли в напрасном ожидании звонка со студии о начале съемок. В том и состояло содержание века, что все напряженно и страстно желали чего-то, а она ничего другого, кроме кино, и не умела. Среднего зажитка теткин дом, куда девушка переселилась вследствие вынужденных и частых отлучек отца, превратился в штаб для подготовки племянницы к великой будущности. Родня по-прежнему вкладывала в нее свои гроши и заботы, как в акционерное предприятие, чтобы иметь пай под старость и, видимо, в расчете, что если киноцарствование Юлии и не состоится, то на свете найдутся и другие, достойные ее плеча порфиры. Уже был придуман броский афишный псевдоним, экзотической фонетикой своей суливший простодушному зрителю насыщенные гаммы универсального эстетического сервиса. Никто из ближних уже не сомневался в скорой и молниеносной карьере Юлии Казариновой, но требовался, конечно, подходящий конъюнктурный момент для такого штурмового броска на экраны мира. Последние годы положение усложнилось некоторыми общими, не для огласки, привходящими соображеньями, и теперь сам он, режиссер Сорокин, под натиском дружеских нажимов, ожиданий и вопросительных недоумений, не властен был отменить, отвергнуть свое дурацкое, из шутки лавинно образовавшееся обязательство. Обнаружилось вдруг, что от решения проблемы зависят не только судьбы людские, даже жизни, но и его собственная репутация. К развороту настоящих событий до того дошло, что при встрече со своей кандидаткой он первым спешил объяснить ей задержку

студийных проб — то срочным правительственным заданием или загрузкой съемочных павильонов, то низким, не достойным ее качеством сценарной текучки, общим упадком литературы, наконец. Бедняга изворачивался, юлил под ее невозмутимо-спокойным взором, — не мог же он, глаза в глаза, сослаться на отсутствие у Юлии того первостепенного в искусстве элемента, обычно неназываемого вслух в социалистическом общежитии, чтобы не раздражать обделенное Богом большинство, — если бы он существовал, разумеется.

— К сожалению, все не так просто, дорогая, — почтительно, но сквозь зубы говорил он. — Вам не к лицу боковая, вспомогательная роль, а главная при вашем абсолютном праве на нее никак не подвертывается мне в современной тематике.

— Почему вы так волнуетесь, Женя? Разве я когда-нибудь торопила вас, упрекала, предъявляла векселя, которых, кстати, у меня на вас и нет?

— Да... но всякий раз в молчании вашем я читаю приговор себе, хотя не виноват ни в чем. Немое зеркало красноречивей меня подтвердит вам, что по всем показателям, по самой конституции своей вы предназначены для ролей эпического диапазона: полулежать, изрекать, повелевать движеньем глаз. Сивиллы и всякие там Семирамиды и царицы Савские, вообще дамы античной древности — все та же Балкис, Аспазия, Елена или Клеопатра, которая, как вы, наверно, видали в музеях восковых фигур, даже умирает без плебейских содроганий... Вот галерея ваших перевоплощений! — С разгону чуть было не помянул и Юдифь, но в данном случае требовалось изощренное, не зря и доныне с успехом применяемое мастерство анестезирующей ласки: настолько вскружить голову любовнику и врагу, чтобы потом без усилий отделить ее от туловища. — Однако социальный заказ, бич художников, предусматривает сегодня лишь героинь в гимнастерках, больничных халатах, в комбинезонах и с подойниками... Я не смею предлагать вам их как чужое, ношеное белье. Но не отчаивайтесь, дорогая, я ищу и, кажется, что-то уже есть на примете! — по счастью, не было никого поблизости закрепить на бумажке речения признанного ортодокса по части социалистического реализма.

Иногда через весь зал, фойе, стадион, даже целый город порой режиссер ловил на себе ее недвижный, затаившийся взор. Одно время просто избегал встреч с нею, но тут быстро назревавшее тягостное объяснение с неминуемым разрывом в конце было отсрочено целой серией непредвиденных обстоятельств, из них главные — выяснившееся вдруг неизлечимое заболевание сорокинской жены и связанные с ним медицинские хлопоты, затем внезапное поступление Юлии в юридический институт, что объяснялось скорее душевным смятением, нежели сознательным поиском определенного места в обществе. Впрочем, с некоторых пор, наверно, по ущербности настроений из-за все резче обозначавшихся неудач по части вершин и власти, ее привлекало почетное, грозное и в общем нетрудное занятие карать внутреннее злодейство в диапазоне от хулиганства до кулацких вылазок. Правда, пришлось бы отрекаться от находившегося в заключении отца, и, конечно, окружающие, сам старик Дюрсо в том числе, не осудили бы ее за довольно частый в те годы, вынужденный и чисто временный поступок, тем более все знали, что именно отец, в чаянии политических перемен и чтоб не расставаться с опекунскими правами, своевременно не отпустил дочь назад за границу, а потом запретительный шлагбаум навсегда отрезал Юлию от итальянской родни, где тоже начали сходить в могилу современники великого Джузеппе, покровители, кредиторы, вкладчики, акционеры обширной и прервавшейся империи. Несмотря на сменяющуюся толкотню кругом всяких гениев по житейской части, мастеров на мелкие дела и просто эстрадных свистунов, она пребывала в гнетущем одиночестве, в постоянной борьбе ложного фамильного величия с убийственной иронией над самой собою. Не закончился ничем и переход на другой факультет, показавшийся Юлии скучнее прежнего...

— Так ты думаешь, что **он** и в самом деле **настоящий ангел**? — попеременно спрашивала она у отца, у всех, кто снился ей в тот месяц, у себя самой в зеркале — мысленно.

Как-то сами собой стали исчезать из ее свиты все возможные соперники Дымкова. Его нескромные, чрезмерно любознательные взоры в прихожей, пока застеги-

вала ботинки на ногах, явно выдавали происходившее в нем, по запомнившемуся реченью их киевского кучера, простонародное **мление**, которое искусными маневрами легко было разогнать до бешенства и еще дальше. Как-то балуясь, она ввела ему под ногти, на пробу, маленькие, крашеные свои, — он вытянулся чуть не вдвое, словно прислушиваясь к происходящему внутри, и, правда, совсем ненадолго темная радуга просияла в его птичьих глазницах. Уже в ту пору все было готово для взрыва, но, следуя подсознательной тактике далекого прицела, Юлия вдруг перестала красить губы, одевалась строже, пыталась умерить темпы назревавшего романа. «Привернуть фитиль любви...» — пошутила самой себе перед зеркалом однажды. В наступающей фазе, чтоб как у людей, ей подсознательно захотелось испытать самой столько раз в знаменитых поэмах воспетые обмиранья, ту блаженную после одержанной победы радость, где тонет глупый страх неизбежных последствий. Пускай еще раздражала Юлию неартистическая, мягко сказать, внешность нынешнего кандидата в избранники, его журавлиные ужимки, особенно придуманный в Старо-Федосееве чудовищный начес на лбу, но право же стоило ли теперь, на достигнутом пороге, привередничать по поводу столь легко, женскими средствами, устранимых пустяков. С такой глубиной запечатлевшийся в душе сорокинский сюжет о грехопаденье ангелов, кроме числа участвующих пар, неожиданно прорастал производными картинками во всей их стыдной физической реальности. В беспокойной истоме проснувшись среди ночи иной раз, она рисовала себе в потемках первую встречу крылатых любовников и их земнорожденных сообщниц по преступленью. По горной лужайке, при звездном свете, скользит хоровод из десятка тоненьких, вполне смышленых девиц, будто не подозревающих о стольких же сошедших с неба ради них, в облачные плащи закутанных гигантов, подобно смерчам спускающихся к ним по ступенькам скалистых уступов. Наверно, их любовные поединки сопровождались молниями и немыслимой кровью, под ворчанье разбуженных громов, — она закрывала глаза, чтобы лучше наблюдать момент нападенья. И вот уже некуда было отступать от обступивших ее видений, подробностей и

содроганий... Нет, наряду с легко поправимыми недостатками у этого своеобразного парня из низов имелись и очевидные преимущества, и, кто знает, не ему ли суждено возвести ее, Юлию, на вершины всемирного владычества?

Возраст взывал к благоразумию, но оно же отвергало и возможность коварной и бессмысленной, в данном случае авантюры... Что ему было в ней? Конечно, временное пребывание Дымкова на земле исключало какие-либо серьезные намерения, да она и не гналась за столь опасным в наше время и двусмысленным в ее кругу положением **ангельши**. Опять же все они так непостоянны... (насколько было известно Юлии из хрестоматий), заводившие себе красоток среди смертных античные боги никогда не забирали их к себе на Олимп. Было бы глупо поэтому не извлечь из приключения если не выгоду, то хотя бы мимолетное удовольствие, чтобы иметь чему прощально улыбнуться, оглянувшись из старости. Было бы низменно выпрашивать себе вторую порцию всего того, что уже имела в избытке... «Тогда чего же недостает мне для полноты бытия?» — допрашивала она зеркало по утрам. Листая возможные варианты, куда вложить приобретаемый капитал, она добралась и до генеральной и доходной идеи века, стать благодетельницей человечества, однако своевременно отказалась от мысли оделить людей равным счастьем — по личным наблюдениям, во что оно им обходится. Ввиду бесконечной щедрости источника возникало также затруднение, куда складывать все извлеченное из него **про запас**, — единственный выход заключался в том, чтобы ангел просто поделился с нею даром чудотворения, которым она могла бы пользоваться без спешки и по надобности. Чувство самосохранения напомнило ей сказку об алчной старухе, рассердившей волшебную золотую рыбку. С большим запозданием она поняла, что чудо вообще лишь в малой доле следует примешивать к действительности, ибо кому можно слишком много, тем, как правило, почти ничего нельзя.

Удобство иррационального вмешательства открылось Юлии впервые, когда взамен утраченной, на пальто, особо причудливой пуговицы Дымков после мимолетного взгляда на оставшиеся незамедлительно протянул ей

целую горсть точно таких же. К их обоюдной досаде выяснилось позже, что лучше всего ему удавались именно пластмассовые, не слишком крупные изделия ширпотреба... В другой раз, на прогулке, ангел мимоходом, без инструмента и даже прикосновенья починил ей отломившийся каблук, при сырой погоде и отсутствии скамейки поблизости туфлю и снимать не пришлось. Поистине, постоянное наличие подобного спутника под рукой избавляло от уймы житейских огорчений.

— Вы просто факир у меня, — благодарно похвалила она, покачиваясь на одной ноге в обе стороны. — Думаете, совсем надежно теперь?

— О, с гарантией на ваш век, — кротко усмехнулся Дымков, — да и на мой, пожалуй!

Не было никакой нужды в таком запасе прочности, — даже щекотно, если не жутко при мысли, что, когда истребятся солнце и шар земной, все еще будет скитаться по вселенной пустая туфля на **вечном** каблуке, — кажется, Дымков не понял ее шутки... Кстати, Юлия в обоих случаях успела подметить там множество полезных и очаровательных мелочей обихода, иногда довольно громоздких. Так, на третий раз ангел по внезапному капризу повелительницы скопировал ей в подарок стоявший в глухом арбатском переулке заграничный автомобиль последнего выпуска; в ту пору иностранные посольства, видимо, для смущения умов, пускали по улицам социалистической столицы блистательные технические диковинки капиталистического производства. По инструкции отсутствующих хозяев или же из внимания к нарядной даме шофер терпеливо пояснил ее долговязому кавалеру сокровенные фирменные новшества в приглянувшейся им модели, каждый узел в отдельности, а прежние инженерные навыки Дымкова помогли ему, хотя и не сразу, повторить машину как бы в зеркальном ее отображении. Неделю спустя на кремлевском приеме советник соответствующей страны выразил кое-кому на правительственном уровне шутливое вербальное недоуменье по поводу объявившегося в Москве двойника описанной новинки, ввезенной сюда в единственном числе: краткость сроков исключала казус промышленного плагиата с последующим юридическим демаршем. Знаменательно,

что ответом на довольно злую тираду была загадочная, тоже с обнажением зубов, далеко не дипломатическая усмешка как бы с обещанием кое-чего в дальнейшем. Дополнительное сверх того обстоятельство, что никто не обеспокоил расспросами владелицу дубля, тоже могло бы служить доказательством осведомленности надлежащих сфер о характере участившихся в столице странностей... Тогда почему, почему же столь бдительные органы наблюдения своевременно не пресекли разгулявшуюся, глубоко порочную идеалистическую стихию?

На достигнутом этапе естественным выглядело намерение Юлии выяснить, какими возможностями располагает она в лице своего придворного волшебника.

— Мне хотелось бы спросить вас как ангела, — начала было Юлия и тотчас уточнила свой вопрос, — нет-нет, я высоко ценю вашу скромность, но все же мне хотелось кое-что узнать о них, кроме того, что они весь свой рабочий день летают и поют, на что они тратят свой отдых? Читают, играют, прогуливаются? И вообще, как они из ничего делают чудо? Хорошо, я объясню вам, — и опять поторопилась объяснить непонятное ему слово. — Чудо — это всякая безмерная и всегда несбыточная радость, без которой, как без воздуха, нельзя на свете жить. Что вам требуется для этого? Воля, заклинание, неотвязная боль, оплачиваемая разочарованием?

— О нет, — доверчиво отвечал Дымков, — я просто тянусь рукой в пустоту, где таится все, и беру оттуда любую вещь, какая мне подумалась.

— Любую в смысле товарной ценности или нравственной емкости? — жестко и загадочно переспросила Юлия.

— Ну, — замялся Дымков, — в зависимости от масштаба задуманной цели, а иначе в случае перерасхода сил может потребоваться изрядный срок на возобновление их запасов. Какое сокровище вы имели в виду?

— Ну, скажем, дачу, знаменитую картину, автомобиль... и даже взрослого верблюда, например, — неожиданным поворотом сменила она тему из опасения обмолвиться о естественной надежде женщины ее красоты, зрелости, ума, воспитанной в условиях династической знатности.

Разговор происходил в тот самый раз, когда чинилась туфля, на девственно-голом пустыре Воробьевых гор, над Москвой. В тогдашнем смятенье все казалось Юлии, что окончательное решение свое она должна принять лишь под огромным небом, на высоте, и чтобы под ногами простирались миры и царства. Во всяком случае, только безумный душевный непокой мог завести сюда такую горожанку, как она, да еще в пронзительную апрельскую непогоду. Когда-то здесь, в густом сиреннике помещался рай гуляк, знаменитый крынкинский трактир, о чем доселе напоминало черное, на заблудившегося пропойцу похожее древо неизвестной породы, кривое мокрое полено без листвы. Обширное плато за спиной уже приспособлялось под строительную площадку эпохального значения, зато впереди открывался свободный, незахламленный техникой вид. Еще набухшая от напряженья река, недавно взломавшая зимний лед, изгибалась полукругом внизу и точь-в-точь такой же кривизны, цвета чумы, гадкое облако от соседнего асфальтового завода стлалось над нею из края в край. Дальше, во влажной дымке низины располагался незнакомый неприглядный город, невежеством одних и ненавистью других поутративший былую красу, белокаменные вехи своей истории, столько веков манившие к себе Европу купола да башни. Несколько последних тусклых золотинок еще сияли сквозь теплый моросящий дождик, застилавший видимость и уводивший все это в такую даль, что смотреть на рану было легко и почти не больно.

Оставив машину на проезжей части шоссе, Юлия со спутником глядели в пространство перед собой, облокотясь на временную каменную изгородку над кручей.

— Слушайте, Дымков, смогли бы вы сразу и сейчас учредить здесь, — врастяжку, чтобы не сбиться, заговорила Юлия, кивком на город уточняя задание, — учредить голубое озеро с яхтами, пляжами и даже лебедями? Если это вам по силам, господин ангел, разумеется!

Тот даже отшатнулся, напуганный чисто патологической греховностью ее желания, меж тем как оно диктовалось не геростратовской прихотью или меркантильностью, как впоследствии истолковал Сорокин рождение ее подпольного музея.

Она заколебалась, — не то чтобы жалко стало чего-нибудь на свете для эффектного эксперимента в библейском стиле, а просто не успела бы отменить по телефону назначенную у нее же на квартире послезавтрашнюю вечеринку по случаю дня рождения. Правда, катаклизм избавлял ее от необходимости обзванивать друзей, которые... Она запуталась и померкла.

— Не надо, мне расхотелось. Что-нибудь другое сперва, не знаю. — Она измученно пошарила взором вокруг себя. — Я хочу обыкновенное антоновское яблоко...

Тотчас извлеченный из воздуха зеленоватый плод, несмотря на сертификат присохшей веточки и характерную, десны обжигающую кислинку, оказался вовсе не съедобным из-за мерзкого жестяного привкуса и полунадкушенный помчался вниз по склону, попрыгивая на проталинах.

Кстати, Юлия не сомневалась, что опыт истребления многомиллионного города дался бы Дымкову гораздо легче, нежели вульгарное яблоко... Но вряд ли одной рассеянностью объяснялось, почему не все так гладко удается ангелу, в могуществе которого после создания роскошной автомашины уже не сомневалась. Теперь она воздерживалась даже от неосторожных помыслов не только из прежних соображений, что неограниченные возможности парализуют сами себя, если не умерять благоразумием разгул необузданных желаний. Между тем, материальные обстоятельства заставляли подумать о пополнении иссякающих фамильных фондов, и, конечно, Дымков охотно, любыми средствами пришел бы друзьям на помощь, но, судя по недавнему разговору с Никанором, отцу и дочери Бамбалски было известно о последствиях, связанных с выпуском кредитных билетов частным образом, помимо государственного казначейства. Речь могла идти лишь о реализуемых из-под полы непронумерованных ценностях, но было унизительно каждый раз по утрам испрашивать у Дымкова ювелирную вещицу на текущие расходы, а сделать сразу хотя бы полугодовой запас — сверх того и опасно: обладание количеством золота или горсткой качественных бриллиантов сближалось в представлениях граждан с хранением взрывчатки на дому. Однако существовали иные, нева-

лютные сокровища на предъявителя, неподверженные биржевым колебаниям, напротив — с нарастающими процентами по мере старения: произведения искусства. Юлия исходила из мысли, что если смертный художник, выходец из трущобы, способен создавать нетленные творения, то у ангелов при условии тренировки и некоторого умственного напряжения должны получаться вовсе блистательные шедевры, в разряде чуда. Она не могла предвидеть, что такой поворот повлечет для нее еще большие разочарования с риском жестокой простуды в самом конце приключения... Для наилучшего усвоения данной проблемы мыслителям предлагается решить заблаговременно — почему так пресен хлеб богача, почему не совратили святого Антония первоклассные прелести адских женщин, почему все обольщения цивилизации не могут заглушить в нас тоски о неком блаженном прадетстве?

Глава III

Меж тем приблизился первомайский праздник и с ним одно из двух важнейших в нашем повествовании свиданий. Никанор Шамин вскользь приоткрыл мне, что оба они бросают свет на происхождение всех горестей земных. По невозможности избавиться от них, люди во все времена искали посильного утешения, одни — в примирении ничтожества своего с абсолютным произволом неба, другие — в составлении заумных, наподобие алгебраических уравнений с участием всех знаков наличного философского алфавита; наиболее нетерпеливые пытались рубить питающий зло и лежащий поверху корень материального неравенства по недоступности главных, спрятанных глубоко в почве. Повторность скорбей заставляет некоторых признать их неизбежность, но странно, что всем, со времен Зороастра искавшим их первопричину в якобы задолго до нас происшедшем конфликте двух могущественных противоборствующих сил, не хватало конструктивной догадки нащупать источник самой первопричины, без чего никогда не определиться нам, заплутавшим в безднах мирозданья, не разглядеть

просвета впереди. Новизна, хотя бы и на старой канве, сделанного Никанором заключения состояла в том, что, признавая неотвратимость человеческого страданья, он предвидел возможную его конечность — в случае примиренья враждующих сторон на основе одного созревающего варианта, пока содержимого в секрете, но уже обозначившегося в нашей действительности.

Всеобъемлющий иероглиф человеческой истории, составивший сущность Никанорова открытия, магическая по своей емкости формула бытия, заложенная в основе всех вещей логика развития, и, таким образом, манящий венец нашего самопознания будто начертился сам собой у него в уме. Однако если принять его, Шаминское толкование действительно престранного рандеву в доме старо-федосеевского батюшки как некое надкосмическое, по истечении регулярных сроков происходящее противостояние **начал** (в лице их полномочных представителей, разумеется), то оно неминуемо должно было стать блистательным поединком изощренных умов, обнажающих изнанку бытия. На деле же дискуссия вылилась в профессорский монолог, несовместимый с ученым званием Шатаницкого, без единой ссылки или цитаты для подтверждения приводимых фактов и небезынтересный разве только для вымирающего племени богословов как свидетельское показание участника общеизвестной катастрофы.

Остается под конец кисловатый привкус сомнения, не является ли пресловутый первомайский эпизод со всею его умственной начинкой бессовестным Никаноровым сочинением для осмеяния простонародных святынь, к чему нередко прибегают и пожилые, даже семейные атеисты под предлогом, чтобы трудящимся еще вольготнее стало жить. К сожалению, уже не сохранилось ни современников, ни архивов для проверки впервые публикуемых, так сказать **изначальных** фактов, меж тем как на них-то и покоится Никанорово открытие, которое, правильно учтенное, позволило бы уберечь потомков, не далее как правнуков, от довольно жестоких, как будет видно, переживаний. Но если так, то за отсутствием **Закона Божьего** в школьных программах, а в продаже книг на затронутую тематику, тогда откуда же представителю мо-

лодого поколения, казалось бы, совершенно стерильного на всякую мистику, стали известны каверзные штучки богословского вольнодумства? **Откуда** мог он в таком объеме почерпнуть сведения о небесной размолвке отдаленнейших времен, когда и времени-то не было, да еще в столь скрупулезных, почти интимных подробностях, доступных даже не каждому первоочевидцу? А ведь именно в его окончательной редакции, правда, через меня, дошла до публикации указанная история. Еще одно абсолютно достоверно... Ближе к осени посещение с **той** стороны, ужаснувшее старо-федосеевцев адским сарказмом и системой передаточных шестерен чуть было не повлекшее вереницу рикошетных, уже всемирных потрясений, полностью рассеивает возможные подозрения какой-либо мистификации с Никаноровой стороны. Напротив, опрометчиво беря на себя устройство конспиративной сходки своего загадочного шефа с издалека прибывшим господином, именующим себя **ангел**, которую по тогдашним обстоятельствам, случись стукач поблизости, легко могли расценить как политическую явку на предмет всероссийского переворота к царизму, Никанор Васильевич тем самым ставил под удар не только родимое гнездо и в нем только что вновь запившего родителя, но вовлеченное сюда же, с Дуней во главе, злосчастное семейство, где его принимали, как сына. По отсутствию личной выгоды Никанорово пособничество Шатаницкому выглядит истинным сумасбродством, хотя и роднившим его с самоотверженными испытателями прошлого и сводившимся к фантастическому эксперименту сближения двух чрезвычайных и разнородных потенциалов: потустороннюю подоплеку обоих участников предстоящего свиданья он при всем своем марксизме стал стихийно ощущать с некоторых пор. С тем же нетерпением — что из **этого** получится? — пытливые дети вставляют согнутый гвоздик в полюса электрической розетки.

При желании можно увидеть прообраз грядущего через век-другой внутри общественного перемещения идей в том, как в решающий момент поменялись ролями подающий надежды и, несмотря на молодость, весьма начитанный безбожник с пожилым русским батюшкой, бывшим дотоле хранителем христианской веры, ныне же

предоставившим для сомнительного сборища кров и хлебосольство. Если младший из них по природной интуиции еретика стал прозревать вдруг за кулисами материи нечто вопреки всем кодексам официального благочестия, то старший, всю жизнь профессионально утверждавший персональное бытие подразумеваемых начал, Бога еще рисовал себе кое-как по старинке в образе благообразно-сурового старика, нечистую же силу разумел лишь в отвлеченно-нравственном допущении, поскольку она проявляет себя исключительно от злоупотребления горячительными напитками, откуда гадкую внешность ее и переняли церковное художество и простонародное суеверие. Полагая практически невыполнимым перевоплощение ангела в человеческое тело, батюшка почитал Дымкова, с коим лично не встречался пока, всего лишь порождением Дунюшкина воображения, в Шатаницком же видел ходового **корифея** нашего времени, надзирающего над науками, чтобы ненароком не открыли там чего им не положено. О. Матвею даже нравилось, как тот в знаменитых своих статеечках подолгу шурует, в змеиноизвивающемся стиле прогуливаясь вкруг намеченной жертвы, даже в потемки души через зрачок заглянет, на еще более преступную дерзость воодушевляя, а там, глядишь, кэ-эк саданет пребойким своим перышком, словно рогом, под самый вздох, и вот уже образовавшуюся падаль специальные мортусы волокут крюками на свалку истории. Тогда по странной ассоциативной смежности в уме о. Матвея начинал как бы струиться запавший туда не то из одной ветхой книжки, не то из сна длинный до неба и не менее александрийской Ипатии дивный образ таинственной безбожницы Цецилии Вагапет, тоже немало досаждавшей православию вкрадчивым голосом, на поверку же оказавшейся дюжим и рыжим мужчиной с черными пятками, далеко не христианской веры, а возможно, и неземной вовсе принадлежности.

Словом, батюшке давно не терпелось побеседовать кое о чем с профессором в непринужденной обстановке... И вообще веяния времени зачастую понуждали тогдашнее священство на более либеральное отношение к некоторым категориям ереси, бескровного зла, бытового отступничества... И вот уже соглашались иные, попо-

кладистее — не тащить же в завтрашний день тронутые жуком и плесенью фолианты, создания яростного благочестия.

Под влиянием всеобщего просвещения о. Матвей тоже воспринимал нечистую силу немножко, так сказать, в плане отвлеченной философской категории и потому не слишком верил, чтобы столь видный сановник ада, избалованный на повседневной добыче целыми университетами, а то и державами, удостоил визитом простого сапожника, хотя бы и в расчете на особо лакомую поживу. Правда, самим согласием принять у себя злокозненного врага, хотя бы и под видом популярного деятеля науки, он совершил канонически-тяжкий проступок; но, во-первых, Господь не зря даровал человеку свободное мышление о любых предметах умственного круга. По странному совпадению и Дуня, обеспокоенная участившимися отлучками Дымкова невесть куда и чтоб уберечь последнего от случайностей, с ведома стариков пригласила и его в гости на тот же день. Причем родитель, привыкший с полуслова выполнять маленькие прихоти любимицы, дал ей обещанье всерьез поговорить с ангелом насчет более достойного применения его талантов на поприще добрых дел. Обещание тем более охотное, что неминуемо бурное соприкосновенье этих, по природе своей взаимополярных сущностей позволило бы батюшке выявить реальную достоверность обеих, на что, видимо, рассчитывал и сам устроитель столь чреватого последствиями эксперимента проницательный Никанор.

Однако в самый канун Первомая о. Матвей сам же не на шутку перепугался собственного согласия предоставить квартиру под хотя и лестное ему, но тем уже сомнительное предприятие, что особы, о которых речь, будучи повыше, чем только полусреднего уровня, смогли бы подыскать себе во вселенной и более укромный уголок. Попозже вечерком и в темных сенцах не столько в целях секретности, как для прикрытия понятного смущенья, батюшка поделился со студентом своими опасеньями в том доверительном разрезе, дескать, что в лице оного корифея опрометчивый гостеприимством не оказывает ли он содействие тому, страшно сказать, еще отцами Церкви

предсказанному Антихристу, чье надмирное воцарение, по некоторым приметам, уже осуществляется кое-где на земном шаре. В ответ по праву соседства и возможного в будущем родства Никанор увещательно присоветовал начисто прекратить дальнейшую умственную разработку затронутой темы ввиду вреднейшего, якобы содержащегося в ней политического оттенка.

— Кстати, — чуть погромче почему-то пояснил Никанор, — последнее время означенный господин целиком переключился на чисто просветительскую деятельность...

Весь день накануне назначенной встречи о. Матвей к работе не присел. Вечерком выходил на крыльцо послушать прохладную кладбищенскую тишину, в которой отдаленно плескалась предпраздничная музыка с соседней птицефабрики. Ночь провел, не раздеваясь, в кресле — на каком-то песчаном откосе, отбиваясь от троицы негодяев, мешавших ему запастись консервами к непонятному бегству. Разбудил как бы голос над самым ухом, внятно произнесший слово **измена**. Чуть светало в окне, духовитый березовый ветерок из форточки холодил лицо. Вдруг силы иссякли и словно ноги отнялись, но бежать было поздно и некуда. Однако пример выдающихся подвижников древности, не убоявшихся поединка с Велиаром, и странный даже для бывшего иерея расчет на корректное поведенье последнего вернули о. Матвею не только утраченные волю и мужество, но и надежду посредством русской хитринки, Бог даст, выведать у противника планы на будущее. Кстати, соглашаясь принять гостя, хозяйка и понятия не имела, кого с еле скрываемым волненьем ожидает ее супруг, даже наставление дала ему шепотком не трепаться с незнакомцем на опасные темы, а проявлять непричастность ко всему на свете. Никак не обеляя малодушие, трудно винить оступившегося попа. Когда в разбушевавшемся море житейском волна смывает кого-то с палубы и самый корабль исчезает во мгле ночной, обступают и гадкие исчадия бездны с рогатым Левиафаном во главе. Всю ночь попеременно испытывал обычные перед пропастью — жар отчаянья и озноб предчувствия... Так он промаялся всю ночь, а уж поздно, светало в окнах, — опять же в преисподнюю не по-

шлешь телеграмму с отменой своего согласия на встречу. За ночь о. Матвей бессчетное количество раз, превозмогая сердцебиенье, и под предлогом утоления жажды выходил в столовую — украдкой взглянуть на часы, много ли осталось до условленного срока. Жутко сказать, полупритворный страх боролся в нем с противоестественным нетерпеньем... потом поплыл, как чурка, по петлистой, непроглядно-черной реке без берегов. Так стенал во сне, что вставшая со светом и непосвященная в тайну матушка пожалела будить его поутру, пока не сделали этого за нее солнышко и подготовительная уличная музыка. Вдруг почудилось, сейчас, через минутку гости постучатся в дверь.

Так и бывает обычно: то самое, что люди всю жизнь мысленно отодвигают в гипотетическое отдаленье, вот оно уже вплотную стоит за спиной, длинным дыханием холодя нам затылок.

Необыкновенные происшествия дня начались с появления в кладбищенской черте ряда неблаговидных в смысле сомнительной реальности, как бы прогуливающихся фигур, — вряд ли свиты высоких, инкогнито прибывающих сторон, скорее охраны для недопущения посторонних. Чтобы не травмировать местных жителей, все они были снабжены вполне земною внешностью, но то ли в спешке, то ли по обычной своей в наших делах небрежности с довольно поверхностным правдоподобием. Отправившийся было за водой на колонку Егор, например, наткнулся на оцепление из четырех новеньких милиционеров, даже попятился при мысли о возможной облаве, не раз случавшейся у них на территории, но тотчас обнаружил в них насторожившее его сходство, и тогда, как по команде, все четверо лихо козырнули ему, однако не с той руки. Сестра его тоже видела в роще стайку редкой породы птиц, уставившихся из голых пока ветвей на домик со ставнями, но первое большое удивление выпало на долю Финогеича. Заложивший с утра полдиковинку в ознаменование великого пролетарского праздника, он выбрался покурить на любимое местечко в палисаднике и вдруг заметил нечто, никак не сообразное со здравым смыслом, задумчиво надвигавшееся на него по тропке от входных ворот, словно на роликах катили. Оно

было полуторного роста, в необъятной кавказской бурке и столь же причудливом меховом сооружении на голове, причем обладало откровенно быкообразным сложением и угрожающе лиловатым цветом лица, признаком адского здоровья. Отнеся увиденное на счет своего расшатанного состояния, старик не стал дожидаться сближенья, а сразу благоразумно отправился соснуть часок-другой, и снова присоединился к действительности уже после генерального разворота событий. Полминутой позже вышедшая на крыльцо, помнится — полоскательницу выплеснуть, Прасковья Андреевна увидела уже описанное чудовище, которое, надо полагать, по инструкции применяться к обстоятельствам тотчас скинулось приветливой, как бы заблудившейся барышней под летним зонтиком, по забывчивости, видно, сохранив тот же ужасный колорит лица, после чего враз приняло наружность зажиточного, тоже в оригинальном стиле, господина **из прежних**, который с газообразной плавностью, при почти неподвижных ногах, бродит там по обсохшим кладбищенским дорожкам, изредка нагибаясь почитать надписи на плитах. Во мгновение ока очутившись перед хозяйкой, он с вкрадчивой готовностью оказать какую-нибудь услугу приподнял было плоскую соломенную шляпу, назвавшись не то **Пузыревский**, не то **Небылицкий**, но вероятнее всего **Шмит**. Когда же Прасковья Андреевна приветливо улыбнулась странному гостю, тот почему-то вновь посчитал нужным превратиться в быка. Однако матушка, навидавшаяся в жизни кое-чего и похуже, ничуть не испугалась, а просто на обратном пути на кухню позвала мужа полюбоваться — какого к ним, ветром, что ли, бугая нанесло.

Было проще выйти на крыльцо, а он из странной предосторожности, щекой прижавшись к стеклу, попытался через окно, искоса разглядеть расположившееся там на ступеньках создание, — даже цветы на пол с подоконника составил, но сирень в палисаднике все равно мешала о. Матвею утолить разыгравшееся любопытство. Чтобы шумом раскрываемой рамы себя не выдавать, он тогда надоумился по-мальчишески высунуться наружу через форточку и уже полез было, как вдруг услышал позади дельное замечание, что, если сорвется с приставленной

матушкиной скамейки, тесное отверстие сработает как домашняя гильотинка. Обернувшись, помертвевший священник различил в затемненном углу сидевшего на канапе незнакомца. И вдруг при виде посетителя его охватило странное цепенящее спокойствие, какое, возможно, переживали отшельники фиваидской давности перед лицом высокого гостя из преисподней. Как ни странно, внешность посетителя почти совпадала с тою, какая представилась батюшке накануне: просторный, стрельчатого покроя плащ с пелеринкой, римско-католическая шляпка на голове и, несмотря на установившуюся сушь, зонтик под мышкой. И хотя о. Матвей сразу распознал — кто таков, не замечалось в нем никакого инфернального свечения либо телесного неприличия для причисления к адскому сословию. Поминутный блеск сильно выпуклых очков не позволял, к сожалению, разглядеть его глаз, всегда служивших о. Матвею средством для проверки первых впечатлений.

— Да-да, это я и есть, — со стеснительным смешком, привставая навстречу, подтвердил гость. — Пожалуйста, появление мое в ваших краях рассматривайте как визит почтения. Мне в особенности лестно, что вы допустили меня к себе, несмотря на мою... уж такую плохую репутацию, когда и терять нечего. Вижу в этом акте скорее подвиг ученого, нежели любопытство обывателя. А я давно тут, из уголка, наблюдаю ваши уловки посмотреть поближе несколько забавного спутника моего...

Против ожидания никаких фортелей, из описанных в Четьи-Минеях, посетитель не выкидывал, тем уж хорошо, что не чадил и не гадил. Дальше у о. Матвея и вовсе от сердца отлегло, когда сидевший на крыльце громоздкий товарищ в бурке оказался не каким-либо соратником по темным ночным делишкам, а всего лишь приехавшим на всесоюзную выставку достижений моздокским виноделом.

— Сущий ребенок по нраву, но в силу кавказской их обидчивости не хотелось оставлять его дома одного. Вместе с тем было бы рискованно да и затруднительно, — прибавил Шатаницкий, — тащить его с подобными габаритами в деревянное ветхое строеньице, да еще через входную дверь!

В поддержание разговора хозяин справился, давно ли у винодела такая слоновость — по болезни или врожденной наследственности?

— Возможно, от падения, но в точности никто не помнит... — последовал откровенный ответ.

Мягко пошутив насчет постоянных, с виноделом, транспортных недоразумений, ибо не в контейнере же его перевозить на дальние расстояния, профессор просил дозволения подержать его снаружи, на крыльце.

— Отчего же, можно и снаружи, можно и на крыльце, — со вздохом облегчения, словно успокоительные капли принял, согласился о. Матвей.

— Судя по щебету, который услышал с крыльца, это у вас птичка **овсяничного** напева? — справился еще издалека гость про канарейку, причем отметил с видом знатока, что у молодых и трель почище, и свист позабористей.

С печалью отозвавшись, что благородное некогда увлечение пернатыми певцами все более вытесняется повсеместной модой на радио, корифей ласкательно потянулся было к птичке, изобразив пальцем рогатую козу, отчего бедняжка забилась в угол, с головой прикрывшись растопыренным крылом.

— Слепая она у нас, бедняжка! — сказал о. Матвей, собственной персоной заслоняя желтокрылую любимицу, и на указанье Шатаницкого, что знатоки как раз слепым канарейкам приписывают особо качественное пенье, возразил последнему из собственного опыта, что с горя не поют.

В свою очередь гость авторитетно указал, что не от душевной сытости, а лишь из боли родится настоящее искусство, где и восхищение сущим окрашено соразмерным отчаянием необходимости однажды расстаться с ним, но, оборвавшись на полуфразе, пощадил целостный мир старо-федосеевского батюшки и стал похваляться своим домашним кенарем тирольского напева, мастью и ростом, вроде гибрид со скворцом, причем выполняет знаменитую арию Мефистофеля, которая про металл.

— Больших капиталов стоит, но ежели согласитесь принять в дар, я бы охотно преподнес его вам. При желании было бы легко переучить его на всенощную... фрагментами, не целиком, конечно: такой понятливый!

Батюшка уклонился, однако, под тем шутливым предлогом, что за подобное чудо отдариться можно только собственной душой, которая самому покамест надобна.

— А ведь глядя на моего компаньона, истинного бугая, вы и меня кое в чем заподозрили, наверно... например, что профессор-то к вам, пожалуй, через стенку заявился, не так ли? — дружественно пошутил Шатаницкий.

— Не без того, не без того... — с опущенным взором повинился о. Матвей.

— Ну, так за кого же вы меня, в простоте сердечной, приняли-то, батенька? — стал настаивать гость.

— Уж будто так и не знаете, за кого, — в том же тоне уклонился о. Матвей, чтобы не портить отношений. — Небось, сами замечали, у всех у вас, у атеистов, что-то общее в лице написано... что у Сильвена Марешаля, что у Вольтера самого: из всех вас он выглядывает, как из телефонной будки. Да известно ли вам, господин хороший, что означенный-то Вольтер так и называл свою **братию** энциклопедистов братьями по Вельзевулу?

Шатаницкий озабоченно головой покивал в знак уважения к проявленной собеседником учености:

— Неужели?.. Совпадение какое! Но раз уж такой жгучий интерес возбудили, так потрудитесь уточнить тогда, кого же вы в нас-то, святой отец, прозреваете?

— Нет уж увольте, — даже руками замахал о. Матвей. — И давайте покончим наши с вами недостойные прятки...

— Не хотите, так и не надо, не настаиваю. Вообще-то мы и сами не любим, когда нас в лицо опознают, так сказать, на свет вытаскивают... Тем более что в подозреваемом качестве, как оно обозначается самыми дурными словами на всех языках, мы и не существуем... подобно тому как холод и тьма, являясь антитезами тепла и света, не имеют самостоятельного бытия. Понимаете теперь, в кого вы метите? Если же признать все мыслимое за алгебраические псевдонимы, что, разогнавшись во мраке неведомо зачем, стыкаются на орбите с подобными себе и гаснут даже без раскрытия истинной сущности своей, так и моральной окраски у них нет, не так ли? — И пронзительно улыбнулся, сверкнув неживыми зубами. — А в заблужденье вас ввела произвольная, даже на обидный каламбур похожая, словом, чисто фонетическая ассоци-

ация имени **Шатаницкий**, откуда шаг один до смыслового сближения... Ну, с тем самым, кого из ложной щепетильности вы не желаете назвать. Меж тем в основу моей фамилии, по слухам, довольно нередкой среди поляков северо-осетинского происхождения, положено слово **шайтан**, что по своей оккультно-мусульманской окраске вообще выводит ее из круга христианской компетенции, не так ли? Таким образом, родословная моя туманится, как говорится, в глубине веков, но в памяти моей живо стоит прадед, кавказский горец с аршинными усами, по семейному преданию, женившийся на одной залетевшей туда на метле да и заблудившейся в тех краях немецкой баронессе. Что касается масти, то у нас там немало альбиносов вследствие расщепления видового пигмента под воздействием космических лучей. Вот почему меня и покоробило ваше упорство, словно боитесь уста свои осквернить упоминанием неназываемой особы, чьего общения не гнушался ваш большой и такой незадачливый пророк...

Кстати, вы никогда не задавались вопросом: чем и как может искушаться некто, по самой своей натуре неспособный согрешить? Начать с того, что посторонних свидетелей нашей с вами басни в тексте не указано и, поверьте, уж мне-то стало бы известно, если бы искуситель сам же кому-нибудь и проболтался о ней... Но с чего бы ему было посвящать мир в историю своего фиаско? Итак, информация о состоявшемся событии могла поступить лишь от главного его участника, не так ли? Вдобавок лаконизм рассказа и отсутствие мотивировок толкают на предположение, что сам рассказчик утаил что-то от всех четверых евангелистов... Не подскажете, что именно? И почему скуповато открывшись одному из двенадцати учеников и двум из семидесяти, не доверился любимцу своему Иоанну, более прочих способному, казалось бы, объяснить последующему христианству проверку великого пророка перед его выходом на арену подвига через злейшего антипода, даже со временным отданием ему в подчиненье, что так неуклюже пытается смягчить Ориген и с ним другие экзегеты. А скажите, Матвей Петрович, вас самого нимало не смущает столь бесцеремонное обращение с вашим шефом, в первую очередь унизитель-

ная редакция соблазнов во всех трех турах искушенья, ибо уважение к соблазняемому не мерится ли размером предложенной цены? Конечно, и горы земные тоже постерлись с той поры, но что-то в тогдашней иудейской пустыне не припомню я Эверестов для панорамного обозрения царств земных, способных пленить воображение аскета... И вообще, если Юлиан мучился недоуменьем, как смог при его гордыне **искуситель**, даром предвиденья знавший все наперед, согласиться на участие в заранее расписанном спектакле... то тем более непонятно, почему сам **искупитель**, сын такого отца, должен был претерпеть испытательные, ни одним догматом не обусловленные, процедуры? Возникает законное сомнение в добровольности сторон, откуда шаг один до версии о некоем предвечном и обязательном сотрудничестве для пользы дела, что привело бы нас к наиболее каверзному пункту о роли и происхождении Зла. Почему, в самом деле, после безусловной победы Главный не поступил с противником, скажем, как Уран с Кроносом, а позволил ему не только копить ненависть к Добру, но и доставлять людям средства к перманентному его повреждению? Так чем же диктовалось опасное милосердие к падшему — слабостью, презрением, необходимостью? Значит, позволительно считать Зло попущением Добра, эманацией, даже функцией и, следовательно, рассматривать деятельность Главного под углом наполеоновского изречения, будто дело государственного управления состоит в искусстве равномерно волновать возлюбленное отечество... простите? — слегка подался он вперед.

— Вера благоговейно обходит тайнички, не поддающиеся лукавым отмычкам ума, — даже со стула поднялся Матвей, поглаживанием ладони стараясь унять поднявшееся сердцебиенье. Вслед за ним с успокоительными манипуляциями поднялся и профессор.

— Хорошо, не будем, не будем... тем более что и праотцы погорели однажды от излишней любознательности! — заговорил он встревоженно, жестами возвращая батюшку на прежнее место. — Не будем вдаваться в хитросплетения философских догадок, а лучше взглянем на предмет попроще, с позиции позднейших немецких схоластов, пытавшихся увязать легенду со здравым смыс-

лом посредством перевода ее в бытовой ключ... кстати, до таких порою забавных мелочей, как вопрос доставки пророка из пустыни на кровлю Иерусалимского храма. Естественно, телесная субстанция испытуемого предполагает и материальный способ перемещения, которое, в свою очередь, должен был обеспечить инициатор приключения, не так ли? Было бы неудобно для завтрашнего мессии отправляться через весь город, как получается у Луки, да еще в сомнительной компании, с риском наткнуться по пути на поклонника или ученика... Впрочем, спутник мог заявиться к Иисусу и в переодетом виде, без обычных неприличных излишеств. Блаженный Иероним настаивает на авиаварианте, но как? Способом Фауста, на плаще, что ли? Еще решительнее, вслед за святым Киприаном надо отвергнуть и скоростной, но малокомфортабельный и слишком легкомысленный для верующих транспорт на плечах у рогатого партнера.

Опять же, если оборотистому русскому иноку и позволительно было посетить палестинские святыни на закóрках, пардон, у подвернувшегося черта, вряд ли подобный вояж был бы к лицу уважаемой особе назарейского учителя, не так ли?

Не нравится мне почему-то и версия рационалистического богословия, будто под личиной злого духа скрывался обыкновеннейший, для пущего неузнания загримированный под **это самое** осведомитель, подосланный синедрионом к самозваному царю иудейскому — выяснить пределы его чар и, значит, степень угрозы для их саддукейской партии, губернатора Пилата и Римской империи в целом... Всего разумнее, пожалуй, применить здесь поэтический тезис о мирах, умещающихся на острие пера и в едином моменте сокрывающейся вечности. Так, минуя промежуточную логику, мы приходим ко всепримиряющему толкованию знаменитого Федора Мопсуетского...

— Кого еще, кого? — вздрогнув, виновато пошевелился старо-федосеевский батюшка.

— Ай-ай, и не стыдно, батенька, не знать почти коллегу своего, подобно вам одарившего богословие жемчужинами своих озарений? Блистательный оппонент отступника Юлиана, однокашник Ивана Златоуста, **морем мудрости** прозванный епископ! Он просто рубанул с раз-

маху пресловутый узелок, отвергнув самую вещественность Иисусова искушенья. Если, по евангелисту, все произошло **во мгновенье времени**, значит, мгновенно, как в той прелестной новелле про Магомета с падающим кувшином. В личной беседе я не раз указывал Федору на существование Джебел-Коронтоль, **сорокадневной** горы, как места действия, но по свойственной вашему брату одержимости он осмеял свидетельские показания очевидца. По нему призрак искусителя возвел смятенную душу Назорея на им же произведенное видение скалы с панорамным обзором вселенной, но сам аскет увидел оттуда его собственным алканьем созданные соблазны — хлебы и простор для паренья, раскинутые внизу пестрые царства земные. Видимо, я присутствовал там, хе-хе, лишь как подголосок Иисусовой мысли, аргумент *ex inferno*[1]... и все же, невзирая на краткость приключенья, память моя сохранила мельчайшие подробности. — Незнакомые нотки умиленья явились в голосе Шатаницкого, а во взоре даже читалось стремление проникнуть в даль времен. — Но почему-то еще ярче запомнилась мне вторая половина, то раннее свежее утро на северном храмовом крыле, зеленая гуща гефсиманского парка направо, долина Кедрона впереди и, наконец, он сам, в профиль, на фоне смутного в утренней дымке, Иерихонского оазиса. Видимо, он уже знал свою судьбу, но пока во внешности его — большого художника, истощенного непрестанной медитацией в зное полуденных скитаний, еще не проступала свойственная всем им, в предчувствии скорой казни, тоска обреченности... если вы помните, судя по гефсиманской же мольбе, на свою Голгофу пророк собирался без особого воодушевления, не так ли? Все же значительно возмужал с нашей последней встречи, в чем-то даже окрылился слегка...

— Однако, где же вам раньше-то посчастливилось встречаться с **Ним**? — не без трепета перед живым свидетелем святых событий так и подался вперед о. Матвей.

Мысленно он взад-вперед обежал страницы всех четырех Иисусовых биографий, но, кроме вряд ли применимого тут исцеления бесноватых, не нашел ничего.

---

[1] Из ада *(лат)*.

Усмехаясь на Матвеево волнение, собеседник дал ему время проникнуться еще большим почтением к себе, хранителю бесценных, никому еще не известных евангельских обстоятельств.

— А на Тивериадском-то озере? — тихо напомнил Шатаницкий. — Я там инкогнито, под видом рыбака, в дальнем ряду сидел на опрокинутой лодке, поневоле до конца наблюдал забавную эпопею с кормлением толпы из ничего. Признаться, мне не шибко понравилась в тот раз затея галилейского учителя... При довольно неприглядной репутации мы принципиальнее в нашей практике, исполнительнее в наших обещаньях... вообще щепетильнее с людьми особенно на таком щекотливом поприще, как вербовка прозелитов. Как вам известно, батюшка, мы тоже можем кое-что, но в отличие от наших противников избегаем применять чудо — банальную и в нашей среде ничего не стоящую монету, изготовляемую из милостыни в сплаве с подкупом и устрашением. В общении с людьми мы вместо обязательного у вас монолога на коленях предлагаем равноправный диалог на основе свободного убежденья, которое у вас называется **совращением малых сих**. Впрочем, Тивериадское чудо было неполноценно и в том заключалось, что на деле-то его, пожалуй, и не было, а просто окрыленное пропагандой алкание мечты временно заглушило желудочные бурчанья... и, значит, такой, на манер нашего нынешнего, энтузиазм разыгрался, что от пяти буханок целые короба излишков наскребли! Тактическая ошибка Церкви, взявшей на вооруженье изобретенный тогда тезис, что хлебом духовным можно накормить досыта нуждающийся в реальных калориях рабочий класс, благодаря чему тот и осознал под конец свое превосходящее множество. К слову, вам никогда не казалось, что коммунизм — это наконец-то взорвавшаяся **Нагорная проповедь**?

Профессор поудобней откинулся к спинке, в намерении коснуться параллельных цитат, где галилейский учитель пренебрежительно отзывался о хлебе **животном**, священник же опустил взор, чтобы пресечь ломоту в висках от непрестанного, с некоторых пор, профессорского двоения... и вдруг, спохватившись, уставил в гостя уличающий перст.

— Позвольте, позвольте-ка, господин Шатаницкий, — надтреснутым от волнения голосом приостановил его Матвей. — Что-то с хронологией вы не в ладах. Ведь тивериадская-то трапеза много позже **пустыни** свершилась, а у вас вроде наоборот получается...

— Да неужели?.. — чуть руками тот не всплеснул. — Вот действительно полный склероз! Зато драматургия-то какая: господин из преисподней тщится батюшке заведомую липу всучить, а тот извернулся да хвать его как воришку в чужом кармане. Браво, браво, отец Матвей, ноль-один в вашу пользу!.. Ой, да вы никак опять на простую шутку обиделись?

Некоторое время о. Матвей щурился на собеседника с грустной человеческой укоризной:

— Как же это вы при таком своем образовании, походя за моим же столом, то и дело пинаете убогий умишко мой? Устыдитеся, профессор всех наук!

Тот казался смущенным:

— И все же, разве только в том вину свою признаю, что в тщетной попытке поразвлечь собеседника, правда — в несколько вольном стиле, пожалуй, превысил регламент.., но ведь короче-то о таком и не скажешь!

— Оно верно... в том разве смысле, что ложь и должна быть многословной, хлопотливой, усыпляющей, дабы предупредить маневр опровергателя. Зато теперь давайте беседовать молча! — с жестковатой усмешкой подтвердил о. Матвей и неожиданно для себя испугался, что тот обидится и уйдет, так и не досказавши главного, ради чего приходил.

Возникавшее порой угрызение совести батюшка смягчал укрепившися к тому времени убеждением в надмирной важности назначенной у него встречи. Дух захватывало при мысли, что никогда по лишенству не выбирали его не то что судебным заседателем, даже членом участкового комитета по сбору утиля, а тут Провиденье назначило его свидетелем какого-то почти не помышляемого акта. Вряд ли при его занятости большой нынешний барин Шатаницкий пожаловал бы со злым умыслом в лачугу старо-федосеевского попа.

И тотчас, не давая ему передышки, как бы в неожиданном порыве искренности Шатаницкий признал-

ся ему, что ни с кем и никогда, пожалуй, так страстно не искал встречи, как именно с ним, скромным старофедосеевским батюшкой, — даже несмотря на обилие весьма достойных всевозможного профиля собеседников в прошлом. С головой выдавая свое страшное инкогнито, он бегло перечислил не менее как десяток виднейших отшельников с Иеронимом и Антонием во главе, популярных иерархов, **мартиров**, столпников и прочих, рангом помельче, деятелей высшей экклезиастической номенклатуры, охотно прерывавших сеанс самоизнурения или молитвенного экстаза для усладительной дискуссии на столь щекотливые порою темы, что даже без произнесения излишних слов.

И опережая непременный о. Матвеев вопрос, чем именно снискал он опаснейшие симпатии Шатаницкого, тот отвечал, что давно уже, но из боязни подпасть под влияние издали, любуется обаятельным обликом старофедосеевского батюшки, равно как и благороднейшим, потому что перманентно в ущерб себе, поведением русских вообще по переустройству жизни как своей, так и ближнего, вместо греховного прозябания в ее прелестных, но предосудительных, потому что якобы мещанских радостях. И еще — как дружно, всю историю свою рвались они убежать от ненавистного, не подозревая — что готовит им столь страстно желаемое. Но что в особенности якобы трогает его в этом племени, так это беззаветная готовность к лишениям и страданиям по всякому, где-либо в мире возникающему освободительному поводу, как будто иначе и ходу нет, с непременным охватом во вселенском масштабе, так сказать, методом применяемых там в лесах сплошных рубок напролом, причем не в силу только своеобразного национального альтруизма — «чтобы и вам всем, по соседству проживающим, было хорошо, иначе башка с плеч», а просто даже такому народу было бы непосильно возвращаться вновь для доделок в безгранично-равнинное пространство, где трагически и уж не первый век вязнет он, что ни шаг, все проваливается по шейку, как в трясине... По мысли Шатаницкого, изнурительной, в значительной мере географической необъятностью задач и обусловлена в характере русских столь предосудительная, на взгляд

Запада, обиходная их небрежность, неугасающее анархистское побуждение хоть мысленно взорвать шар земной со всеми его темницами и так называемыми проклятыми вопросами, так что в назначенном ему для дыханья воздухе постоянно плывут апокалиптические виденья, сотканные из пылающей мечты пополам с пеплом и на части разъятой человеческой плотью. Но больше всего будто бы тянет потолковать сердечно с кем-либо из исторически-сокрушаемого ныне православия, однако, не в лице его столпов вроде митрополита Введенского, например, уже тронутого душком приспособленческого разложения, а как раз с представителем низовой Церкви, имеющей непосредственное прикосновение к **земле бытия**.

— Однако же, сколько я понимаю вас, имеются и другие, пока еще не истребленные служители Церкви на Руси... — с холодком отчуждения молвил о. Матвей.

— Оно верно, еще имеются долгогривые, да с ними браги не сваришь! В обоих полушариях поизмельчали нынче древнего благочестия Мамврийские дубы. Можно ли паству винить, если самые кормчие христианства отступают от заповедей своих? К примеру, вы проклами-руете на всех углах любовь к ближнему, но вот мы с вами вдвоем сидим, ближе-то в данную минуту у вас и нет никого... А признайтесь-ка, положа руку на сердце, любите ли меня? Ведь нет... правду я сказал, не так ли? И вообще без шаманства и предубеждения вглядитесь в историю болезни Церкви своей с ее идеей православного империализма во главе. Имеется в виду Третий Рим с центром всехристианского мира в Московии... А помните, как начиналось христианство? Каменный эллипс арены с кучкой полунагих смельчаков в одном из центров, и затихший Колизей слушает тихую, но громче львов рыкающих, ассонирующую песенку о Христе. Наслышанный о безмерном и пассивном страдании русского духовенства, тем не менее хотел бы я узнать, многие ли из вас, препочтеннейший Матвей Петрович, за минувшие двадцать лет спалили себя на манер староверских самосожженцев либо лам буддийских — всего в двадцати пяти годах отсюда? Нет, не по каменному полу кататься надлежало вам с риском насморка и в намерении прослезить созда-

теля, а бензинцем, бензинцем оплеснуться, да и пылать, пылать за милую душу... ибо лишь такого рода живыми факелами и высвечиваются на века столбовые дороги человечества!

Похоже, он вполне сознательно здесь задержался и, осведомленный об ужаснейшей, на ту же тему и всего два года назад состоявшейся беседе, старался вызвать в о. Матвеевой памяти образ одного, доброго и честного, невоздержанного молодого человека, на том же самом месте бросившего тот же попрек малодушному русскому священству, только с обидной прибавкой, об изгнившем в православии яростном аввакумовском корне и — что с ватиканским орешком, случись там заварушка, уж не так-то легко справились бы большевики!

— Давайте не будем... — тоном застарелой боли сказал о. Матвей.

— Цените, милый Матвей, умеренность собеседника, который, целиком разделяя ваши предчувствия, в той же степени не сгущает красок. Вот, заодно с прочими пережитками старины наконец-то отмирает в людском обиходе уже теперь ставшее стыдным понятие **греха**, и человечество, преступив рубеж, лавинно вторгается в вожделенное царство безграничной свободы от стеснительных прадедовских запретов. Сладостное скольжение по возрастному наклону с упоительным ветерком в ушах заметно убыстряется, и вся цивилизация блоками втягивается вослед, в круговерть образовавшейся прорвы. Детская, в человеческой природе заложенная страсть к разрушению птичьих гнезд, позже восходящая к восторгам брачной утехи, на известном уровне самозабвенного могущества и по той же логике глубинного осквернения увенчается показной доблестью завоевателей — блудом на чужих алтарях, меж тем уже не хватает ни заповедей, ни кладов и недр на утоление маниакальных потребностей сытости, и тогда распаляющая воображение мечта дотянуться до небес ищет в интеллектуальном кощунстве источники наслажденья. А без того **чем** заняться уму и **как** ему бороться с другим, преуспевающим кандидатом на трон жизни?.. Не торопитесь, с вашего позволенья, я назову его потом. Итак, все чаще, сильней голода и нужды наркотическая одержимость толкает людей повторить

шалость Пандоры. Приоткрою вам по дружбе: незадолго до того, как возникает над головой у них черное курчавое облако с огненной бахромой, правнуки ваши выпустят в мир всякого рода шедевры кровосмешения, позывающие на кровавую рвоту фантомы вроде кошки с грибом, холерного вибриона с жирафом. А уж там сама собой наступит срочная необходимость бежать с отжитой планеты в прискорбный финал, куда я приглашаю вас сойти на минуту для ознакомленья.

Были все основанья ужаснуться проступившей очевидности — близко стало предначертанное в Писании владычество его, если со столь дерзостным нахрапом рассуждает о вещах, дотоле для него неприкасаемых.

— Так что, как ни печально, отец святой, вовсе не мозг, а некий другой орган, чуть пониже, диктует линию цивилизации нашей, — со вздохом сказал Шатаницкий.

— Чему же печалиться, если милостивое всегда добрее разума, сердце людское станет править миром, — подхватил о. Матвей, потому что такое толкованье укрепляло его позицию в начавшейся полемике.

— Нет, не разум и сердце правят миром, а некто ниже рангом и местоположением. Одиннадцатого октября тысяча девятисотого года, гуляя в яснополянской роще вдвоем с навестившим его Максимом Горьким и остановившись по надобности у изгороди на опушке, Лев Толстой буквально сказал: «Вот он **хозяин жизни**»... Случайно оказавшись поблизости, не упуская случая втихомолку обогатиться беседой великих людей, я сам слышал и видел. Напомнить вам, святой отец, как это называется на языке родных осин?

— Нет уж, лучше обойдемся без названия, — резко сказал он, заслышав за дверью присутствие любопытствующей супруги.

— Ладно, обойдемся. Сгорайте изнутри, не гасите в себе бунт свой против всего на свете. Вот вы мне приписываете грех и подвиг всех ересей земных, а про то невдомек — справиться ли мне одному за всех вас? Сам, батенька, втихомолку коллекционирую слепки наиболее святотатственных, тем-то и плодотворных озарений ваших, откуда и нарождалась впоследствии любая прогрессивная новизна. В особенности любил я начинаю-

щих еретиков, первую дрожь гнева в них, отреченье от себя, тот перламутровый, после снятия кожи, блеск на содрогающихся, сольцой присыпанных тканях души, когда в обессилевшем организме, в обход нестерпимой муки родится бесстрашное самостоятельное мышление, еще вчера мирно бренчавшее на лире под журчанье Кастальского родничка... И все же дальше немного страданья, на манер лежачей забастовки, дело у них не шло, как у библейского старика из страны Уц, который, расположась на рогожке под открытым небом, давал Творцу досыта насладиться смрадным зрелищем нанесенных ему увечий. Более поздние еретики ограничивались залпом по догматам: сомнением в логической необходимости высшего начальства для всемирной гармонии, вызовом пополам с экспериментальным глумлением, не так ли? Но еще не случалось, чтобы на локте из гноища своего поднявшийся Иов такое в небо над собою махнул, но не от гнева, а по кроткой и безграничной любви к нему, причем словца обидного не обронил в адрес громадного владыки, — напротив, сам старым телом своим прикрыл его от обвинений за кое-какие действительно досадные административные оплошности. Так сказать пожалел именуемого **Творцом** с вершины боли человеческой...

— Что же это за новатор такой дерзкий объявился? — глаз не подымая, еле слышно спросил старофедосеевский батюшка.

— Ужели себя не узнаете, отец Матвей? Собственной персоной перед зеркалом стоите, на себя смотрите... — без фальши почтительно подсказал о. Матвеев гость. — В очередном рапорте мне донесли, что пожилой симпатичный батюшка терзается мыслью, может ли тварь обидеть своего творца и что даже вы мельком подумали по принципу *audiatur et altera pars*[1] побеседовать об этом с кем-нибудь из наших иерархов, чтобы взглянуть на истину с обратной стороны. В вашей проблеме, может ли творение от гения до ублюдка обидеть своего творца, явно подразумевается человек. Задача легко решается встречным вопросом, способно ли солнце обидеться на ребенка, изобразившего его в виде блина с улыбкой до

[1] Выслушай и другую сторону *(лат.)*.

ушей и чернильными завитками пламени вокруг. Совсем другое дело, когда ребенку свыше сорока и шалость вызревает в заблуждение, а заблуждение — в ересь, состоящую в искажении какого-либо главного догмата. Многоликая догматика верующих народов о едином для всех верховном существе и тем самым, казалось бы, до степени родства сближающая их, но этнически и фонетически разная, а исторически взаимно непримиримая, позволяет определить догмат как охранительный пароль от агентов и вирусов инославных вероисповеданий в свое стерильное соборное пространство. Тем и объясняется его замысловатая, порою до абсурдности причудливая формула, одинаково необходимая ключам от сейфа и рая во избежание отмычек и подделки. Еще сытнее для нас знаменитое интимное и потому наглухо запертое от профанов признание самого Тертуллиана: *«Credo quia absurdum»*[1], где тот же мудрый аргумент толкуется как высший момент при посвящении неофита во все звания святости. Да вы никак всамделе подзабыли свой ночной, на клиросе-то, разговорец с покойным Аблаевым, коего я тоже глубоко ценил за исключительную прозрачность ума... По крайности, хоть дьякона-то самого помните немножко? Сосед ваш был: мужчина конского сложения и бас хрипучий! Накануне отреченья вы еще призвали его **извинить** общего хозяина вашего, коему тот четверть века беспорочно отбубнил...

— Это за что же **Его** извинять потребовалось?

— Ай, память у **нас** какая стала!.. Я постарше, а живо помню. Не сочтите за лесть, но, случайно оказавшись в ту памятную ночь накануне аблаевской казни в пределах вашей обители, я с содроганием восхищения сквозь стену храма слушал ваше жаркое отеческое напутствие обреченному дьякону. Впервые оно в новом ключе раскрыло загадочный смысл искупления, общедоступный для народной массы... Согласитесь, если речь шла всего лишь о прощении Адамовых потомков от первородного греха, то нуждались ли в небесной амнистии безвинные и вовсе неродившиеся малютки? Ибо если не предвечная, по катехизу Филарета, доброта, а роковое одиноче-

[1] Верую, ибо абсурдно *(лат.)*.

ство Властелина с его бесцельным, вразброс, в сущности ни для кого излученьем чудовищных квантов силы и света вынудило его создать первочеловека, цель и рабочий орган в одном лице, который, через кровоточащее свое подсознанье прогоняя те испепеляющие вихри, открыл таившиеся там музыку, число и форму, немудрено, что юридически ставшее соавтором видимого мира творение потянулось осмыслить заодно и незримого Творца, для чего потребуется перестройка общества на некий высший образец. Близится срок, когда по отмирании рудиментарных, расовых, вероисповедальных, социальных тож категорий, всякий раз с безжалостной отбраковкой стеснительных излишеств и реликвий, тормозящих восхождение к пресловутым звездам, подоспеет короткое замыканье полюсов, и тогда под анестезией безболезненного, может быть, тысячелетнего обморока последует уже тотальная линька человечества до десятка наших уцелевших счастливцев... Из них единственному дано будет подняться на вершину заповедной горы, откуда открывается круговой обзор по всем параметрам мышления, что, кстати, считалось высшим призом варварских цивилизаций... Где-то здесь на промежуточном рубеже, пока длится полдень разума, и должна проблеснуть золотая эра мечтателей с вожделенным утоленьем всех нужд и печалей — в коммунальных пределах, разумеется, ибо и по христианской доктрине лишь ничего не имеющий потенциально владеет всем. Бессильная удержать солнце в зените, сама природа может продлить сроки наиболее удачных созданий не иначе как упрощеньем их на несколько порядков с переплавом всей наследственной памяти предков в насекомый инстинкт. Как долгожитель, могу обнадежить род людской тем, например, что муравьи являются древнейшей на земле расой, которая еще в пору, когда отщепившийся от гриба человек бродил на четвереньках, уже обрела под видом бессмертия нынешнее свое долговременное, обычно золотым веком именуемое, беспорочное блаженство, какое при условии благоразумного поведения ожидает и ваших отдаленнейших потомков! Предвижу законный ваш вопрос: если мечтою навеянная греза о счастье без износа в мечте же и осуществляется, то зачем было человечеству столько ве-

ков томиться напрасною мечтою? А затем, отвечаю, что умственная эволюция жизни нуждается в непрестанном и благоговейном созерцании священной идеи, заменяющей компас на кораблях дальнего плаванья. По вашей версии, Голгофа явилась актом высшей справедливости, которая в глазах простых людей и должна значиться вторым, после могущества, эпитетом верховного существа. Тогда пускай из безграничной любви происшедшее заблуждение, толкнувшее Его призвать к бытию род людской, дает основание поднять вопрос о юридической, независимо от занимаемого поста ответственности вплоть до мужественного, в апофеозе, признания своей исторической неправоты. А при наличии очевидной ошибки единственным выводом будет эсхатологического масштаба примирение сторон с удалением из игры вздорного повода для столь длительного, наконец-то разрешившегося недоразуменья...

По закону вероятностей сочетания в одном лице всех качеств, обязательных для вселенского исповедника, какой потребуется в данном случае, явление крайне редкостное, и кабы не вы, дело великой **разрядки** могло бы затянуться еще на тысячелетье. Как вы знаете, чудо возможно лишь в пределах малопроцентной усушки либо утряски, **наше** произвольное вмешательство в регион генеральных чисел, означающее отмену самих себя, повлекло бы ужасные для всех троих последствия... Короче, несмотря на жгучее нетерпенье заинтересованных сторон, они бессильны вторично отсрочить подразумеваемый акт, как в прошлый раз, к тысячному году или снизить условия святости для кандидата. Мир вступил на порог грядущего... Вам не кажется, что уже задымилось? От вас зависит, в какой-то мере смягчить участь человечества, чтобы не стало козлищами отпущенья... А ради такой цели грешно щадить и самые святыни, пепел которых святее их самих, потому что в священном разбеге жизни он — материнская нива для последующих. Тут дороже всего, что идея единства возродилась не от гордыни уязвленного ума, от тщеславия или корысти, как у мнимых святош с приставными бородами, сеющих сорняки смуты вокруг угасающих алтарей, а в стерильно чистом тайничке вашего сердца вызрела она. И уж если

хватило дерзости очистить ходовую часть корабля от ракушек финикийской давности, небесная воля повелевает вам вести его в бескрайний океан бессмертия. Все мы потому заочно и наметили вас в обновители веры, что, признавайтесь-ка, контрабандные мыслишки на ту же тему частенько гостевали у вас на уме, забредая нередко за пределы человеческого разуменья?

Услышанная о. Матвеем мысль о возможном сближении Добра и Зла пугающим образом совпадала с его собственной давней уверенностью в непременном когда-нибудь восстановлении небесного единства, порушенного разногласиями при создании Адама. Тому причиной могла служить постепенно иссякавшая в человеке первозданная нравственная чистота, остававшаяся почти на излете, так что утрачивался и трофейный смысл дальнейшего противоборства сторон за сомнительной ценности товар. По мнению старо-федосеевского батюшки, случившаяся в России официальная отмена души настолько ускорила духовное опустошение с переносом сближающих шагов в обозримое будущее, что вследствие назревающих сроков представлялось разумным заранее обсудить трудную протокольную часть. По отсутствию малейших шансов на осуществление подобного мероприятия в атеистической стране, чтоб не получилось вспышки религиозного энтузиазма, поневоле приходилось провести церемонию на чужбине, где покаянное обращение родоначальника грехов должен был бы принять исповедник в ранге никак не ниже Папы Римского — на Вселенском соборе церквей и с участием иерархов прочих вероисповеданий, вплоть до шаманского, ввиду универсальности злодейства...

Кстати, предварительной речи о том не было, но тем более смутил о. Матвея как бы мельком брошенный намек, что с целью показать отступнику, как далек из бездны обратный путь к небу, именно ему, как бывшему захолустному батюшке, полагалось бы возглавить генеральный момент унизительной процедуры — нищей епитрахилью накрыть посыпанную главу коленопреклоненного дьявола — босого, во **вретище**, с куском символического **вервия** на шее. Однако на фестивальное зрелище такого рода слетелась бы уйма титулованной знати,

газетчиков, киношников, туристов, экспертов, сувенирных коммерсантов, жулья всех мастей и местных ротозеев. Естественно, запросто взбунтовавшись, высокий клиент мог бы из престижных соображений потребовать для своей **Каноссы** обстановки поскромней, без оркестров, фейерверков и факельных шествий, где-нибудь в трущобном уединении, хотя бы и на здешнем погосте — «Где мы с вами так уютно сидим теперь!».

— Стар становлюсь, нервишки поистрепались, не выношу людских орущих сборищ, когда слишком проступает **родословная** их подоплека... — с содроганием неприязни обмолвился Шатаницкий и, словно читая наперед Матвеевы мысли, пророчески добавил, что охотнее всего толпа рукоплещет событиям, грозные последствия коих ей предвидеть не дано.

Такой поворот существенно менял направление батюшкиных раздумий. Присутствие людей на торжестве воссоединения бессмертных представилось о. Матвею просто неприличным как наглядное свидетельство столь пустякового повода для конфликта, ознаменовавшего их появление на свет, а дальнейшее существование Адамова племени даже оскорбительным для гармонии небесной, являя собою по обилию несчастных, увечных и обездоленных прямое доказательство своего инженерно-генетического несовершенства. Отсюда логически проистекала предстоящая судьба человечества — сгинуть начисто, причем заодно улетучится и приданная ему как среда пребывания, уже безлюдная вселенная. И если люди в качестве приличных жильцов не догадываются каким-нибудь экстракатаклизмом для пущей бесследности подмести за собой покидаемую планету, бессмертные сами поспешат еще до своего апофеоза **закрыть дело**, чтобы потом малейшим напоминаньем о них не омрачать себе блаженное отдохновенье.

— Обдумайте создавшуюся ситуацию, не посвящая даже супругу в нашу с вами тайну, которую воспримите как знак доверия моего и симпатии, — опять без запинки прочел Шатаницкий Матвеево намеренье посоветоваться с Прасковьей Андреевной, благо та находилась поблизости, за едва прикрытой дверью. — По отсутствию полномочий не гарантирую благополучного исхода, зато

в случае нужды, по специальности, охотно обеспечим градус накала, потребного для душевного переплава.

И такая завлекательная неизвестность прозвучала в предложении Шатаницкого, что уже не под силу стало старо-федосеевскому попу удержаться от соблазна взглянуть глазком — что за приманка припасена для него в уже явной теперь ловушке?

— Так ведь мало ли чего за работой на ум взбредет, всего не упомнишь... — с краской в лице замялся Матвей, ибо второй месяц под влиянием некоторых раздумий, мучило его как раз подобного профиля неотвратимое влечение. — И по сей день случается, ино так восхощется полетать, как в ребяческом сне бывало, а без крыльев-то вроде смешно и боязно с кровли этак-то скинуться... Ну, и отложишь свое попеченьице до поры. — И тут умолчать бы ему, однако искушение оказалось сильнее благоразумия. — Впрочем, уточните примерно вашу мысль!

— Ну, милый человек, ежели о равноапостольном подвиге заходит разговор, крылья — дело наживное, — обнадеживающе усмехнулся тот и вдруг, понадвинувшись на батюшку, так и опахнул его духовитым жаром серы с камфорой. — Замахнувшись на опорный пункт своего вероучения ради поддержки ближнего перед ожидавшей его, худшей четвертования казнью через отступничество, ужели пастырь добрый откажется спасти целое человечество на краю бездны?.. — и оборвался в очевидном сомнении, стоит ли посвящать бескрылое то существо в послезавтрашний график мира.

И опять намек странным образом совпадал с кое-какими даже запредельными помыслами скромного старо-федосеевского батюшки.

— Ну, это смотря в каком разрезе, от какой бездны спасать... — пугаясь двойственного смысла, ужасно волновался о. Матвей.

— Видите ли, дорогой Матвей, — отвечал собеседник. — Всему поставлены свои сроки. Смертны и небесные светила, чтобы стать сырьем и топливом для иных в лучшем исполнении. По прошествии сроков все на свете сгорает, иссякает, улетучивается, чтобы замениться чем-то... В данном же случае все сразу и **ничем**. По порядку излагать ста сеансов не хватит, пожалуй... но **мы** при всем

желании не прочь хоть на недельку в чулане у вас, на коечке, пристроиться... Да ведь вторично-то в гости не позовете, не так ли? Придется сегодня же, пока наедине и вкратце обрисовать сложившуюся неотложность, чтобы начерно наметить совместное решение. Авансом, пользуясь **нашим** кодом, намекну, однако, что износилась в небе самая идея человечества: разошлась с тем, как было задумано. Уж вечер человечества, полдень далеко позади... и смеркается, не так ли? Бывало и раньше ночные бури сминали в лом, успевая подмести к рассвету горы, государства, города и прочее, сработанное накануне из призрачного вещества. Люди еще не знают, что это будет последняя. Если вплотную поднести к глазам, пятачком легко заслонить и солнце, также и бельмо привычных, чисто домашних сведений мешает порой разуму вникнуть в мнимую пустоту. На нынешнем уровне знаний лишь предельное отчаянье способно порасширить ему зрачки на сущее, но в случае нужды мы могли бы вам на подмогу мобилизовать кое-какие свои резервы, чтобы довести до нужных кондиций род людской. Не шуточное дело, пока рушится последнее небо! Тут вам останется взять в руку сей никелированный и, не скрою, слегка холодящий инструмент и мужественно резануть вашему пациенту...

— Извиняюсь... — осторожно перебил батюшка, — как провинциалу, проживающему вдали от жизни, все же хотелось бы уточнить, на какой предмет и что именно предстоит мне резануть?

— Ну, это самое, узы слепоты... чтобы, как говорится, узрил свет небесный! Вы понимаете, подразумевается покаянье не только мое, но и той, еще не называемой особы, от лица которой я уполномочен вести наш разговор. Так получилось, что бессмертных, которые считались без износу, состарила история тех же самых людей, какие еще до появленья на свет уже разлучили нас.

Как вы знаете, мы встречаемся с вами **на краю времени**, а в оставшиеся сроки люди лишь в огненной купели успели бы омыться от содеянного до своей первородной чистоты. Речь идет о скоростном, допустимом в экстренных случаях, покаянии даже без исповеди, примерно описанном вашим тезкой-евангелистом в главе... Помните, какой удачный бросок в безвыходных, каза-

лось бы, условиях совершил распятый слева разбойник? Не ужасайтесь заранее, но вам придется возглавить род людской на его последнем этапе. Так вот, что касается самого **купалища**, мы беремся обеспечить его людям на самовысших термоядерных кондициях... В случае, разумеется, вашего согласия на самопожертвование. Оговорюсь, подвиг ваш, который явится актом подлинного искупления грехов людских, сопряжен будет с вечной гибелью. Поверьте, в поисках подходящей кандидатуры мысленно тысячи досье просмотрели, чтобы вернуться к вашей.

— Разве неизвестно такому знатоку, что массовая исповедь каноническими правилами возбраняется нам?

— Пардон, в виду имелась не общая исповедь, а именно от каждого порознь, но лишь по времени слившаяся в единый коллективный вздох вполне на евангельской основе. То будет заключительный всплеск отчаянья пополам с насильственным экстазом высвобожденья, каким, по слухам, сопровождается обычный исход души. Авансом поясню: так же, как в слезинке детского горя, можно утопить всю радость мира, тою слезинкой покаянного отчаянья с избытком хватит омыть все его прегрешенья. В обоих случаях термином детскости определяется чистота применяемого реактива, но тут уж мы с вами постараемся довести человечество до надлежащих кондиций...

— Каким образом, если не секрет?

— Произнесением сакраментальной фразы, самой емкой из бесчисленных прощальных записей, вперекрест нацарапанных ногтями в безысходном житейском лабиринте заблудившихся в нем. Среди них ваша станет итоговой истиной, образованной сплавом всех когда-либо бушевавших на земле правил людских...

— Желательно было бы заранее вникнуть в те немыслимые словеса, способные в миг единый отвратить поистине крах человечества, — сказал он, стараясь не смотреть на искусителя, который уставился на него фосфорически заблеставшим глазом.

— Не стоит ли загромождать мозги слишком емкой и оттого до поры небезопасной для нас с вами формулировкой?

— А что, больно замысловатая, длинная такая?

— Напротив, из семи букв, в одно дыхание, но, к сожаленью, в ней упоминается тот, чье имя запрещено произносить всуе, нашему брату в особенности. Будьте корректны, святой отец, не заставляйте вашего собеседника касаться предмета, который имеет обыкновение взрываться даже от беглого помысла о нем.

— В таком разе, — преодолевая одурь наважденья, не сразу заговорил батюшка, — поелику без участия моего немыслимо, то и потрудитесь хотя бы иносказательно раскрыть мне суть оной волшебной реплики... для упражненья!

— Ну, в рамках оставшегося времени намекните кратенько... — уклончивой скороговоркой пояснил Шатаницкий, — что, дескать, извините, господа хорошие, уж некогда да и **некого** просить в небе о заступничестве, поелику нет **Его** и не было никогда на свете...

— Пардон, — ухватился за ниточку о. Матвей, — это кого же вы помышляете, будто нету... Неба, что ли?..

— Но при чем же небо, здесь **Главный** имеется в виду, — пожался тот.

— И кто же у вас разумеется под кличкой **Главного**? — с хитринкой простака осведомился хозяин. — Уж потрудитеся уточнить для полной ясности...

Вместо ответа последовала томительная пауза, с помощью которой гость выразил меру своего смущения пополам с досадой.

— Согласен с вами, отец Матвей, что подразумеваемый вами заповедный термин полней всего, без эпитетов абсолютного совершенства, отображает надмирное величие высокой особы, о которой речь, — с достоинством незаслуженной обиды пытался вразумить его Шатаницкий, — но с некоторых пор, по известным причинам, я избегаю произносить кое-какие, не дающиеся мне слова, чтобы не причинить своему собеседнику корчи постыдного смеха. Равным образом было бы некорректно потехи ради толкать калеку на забавные пируэты, противопоказанные ему увечьем, не так ли? Словом, не сочтите примененное мною условное обозначение помянутого лица за фамильярность или пренебрежение, напротив, несмотря на мои былые огорченья, по-прежнему высоко чту **его** как даровитого, щедрого, хотя, как показывает опыт с человеком, не всегда взыскательного художника...

— Вот я и добиваюсь услышать про помянутое лицо, любезнейший, кто оно есть и за что, в особенности, столь высоко его почитаете?.. — почуяв слабое место противника, насел батюшка под предлогом, что затемнение привходящих обстоятельств снизило бы юридическую реальность обсуждаемого соглашения.

— Хорошо, я вам отвечу **почему**... — в нерешимости, как перед прыжком с высоты начал было гость. — Ладно, полюбуйтесь на меня, святой отец, если сие доставит вам удовольствие, — с жуткой горечью повторил он, и затем последовала быстрая, по пронзительной интимности своей неподдающаяся буквальной передаче скороговорка, смысл которой сводился к тому, что никто сильнее дьявола не любит **Бога**, либо лишь отверженному дано постичь объем постигшей его утраты. Неположенное ему слово далось нелегко бедняге. Проступившая в личности Шатаницкого смена побежалых колеров и еще — как обмяк весь и зашелся лаистым кашлем, поперхнувшись на запретном слове, показывали, что дорого обошлось сделанное признание. Оно заключалось в кратчайшей, наверно, формулировке основного статуса во взаимоотношениях потусторонних сил со столь престранной, казалось бы, на поле вечной битвы, почти кроткой терпимостью всевластного Творца к своему дерзкому, утомительно оперативному антиподу.

— Я хотел бы, — сказал Шатаницкий, — наметить пока пунктиром такой ход из нашего лабиринта. Если **началу начал** ничего не предшествует, то никакое познание не сможет начаться ранее, чем что-либо начнет быть. Сокрывающийся инкогнито автор сущего впервые предстает пред нами в произведении своем, что законно приводит к довольно скользкому предположению, будто создатель одновременно с миром создавал и самого себя. Пришлось бы тогда допустить некую иррациональную фазу *ante Deum*[1], но не шарахайтесь, мы с вами не отменяем догмата о предвечном бытии, лишь исследуем природу его предположительного небытия... то есть вслед за Августином, коего крайне ценят за сохраненную до преклонного возраста младенческую непосредственность, мы вправе поинтересоваться — где и в каком качестве

[1] Ante Deum (лат.) — до Бога.

пребывал творец накануне творческого акта?.. И если в той же пусковой точке, как полагалось бы опочившему мастеру близ дела рук своих, почему сразу становится для всех невидимкой? Тайны высшего порядка снабжены совершеннейшей защитой, — если и не взрываются тотчас по открытии сейфа, то превращаются в банальнейший пепелок. По счастью, на той же странице в энциклопедии о путях к истине можно наткнуться на Аверроэса. Великий ересиарх и антихрист своего века, сколько ночей провели мы вместе в его опальном уединении под Кордовой! Вглядываясь в черновики из-за его плеча, я приходил к невольному заключению, что если первоначальная материя и впрямь заключалась в самой возможности **быть**, то неизвестность по ту сторону **начала** представляется потенциальным рогом изобилия, где все мыслимое буквально кишит хаосом полусозревших вариантов. И вот уже так набухло там, что от простого удара шилом все они, истомившиеся по бытию души и вещи хлынут **сюда** через пробоину в такие же воспаленные от ожидания емкости. Ничего не стоит нарисовать в воображении, как спрессованный в нуле, взбесившийся хаос, раздвигая мозг и мир, быстро затопит все их закоулки уймой неправдоподобных, лишь в ближнем радиусе постижимых фантомов — собаки, трамваи, некто Гаврилов в их числе... И вы думаете, восторженный взор предполагаемого **Творца** все еще следит за разворотом им содеянного, не устал, не надоело? А уж вам-то хорошо известно, как незамысловато устроено обезумевшее к тому же циклически повторяющееся чудо мирозданья, если критически, инженерно взглянуть со стороны, чуть отойдя. Так вот, не проще ли было бы обойтись без лишней штатной единицы, совершающей прокол? А может быть, оно само, плененное и изнемогшее от напрасной предвечной надежды прорвалось наружу, и тогда мы с вами как раз половинки щели, ворота мирозданья, откуда все стало быть... Ничего не утверждаю, без проверки и сам не уверен пока, но вдумайтесь, всмотритесь в окружающее попристальней, только без спешки, пожалуйста, а то ничего не получится... Ничего вам не бросается в глаза? Казалось бы, производное каких-то сверхмистических непостоянств, в свою очередь, образовавшихся из множества полярностей и энергетических перепадов выс-

шего порядка, на деле все сущее построено по двоичной системе, наиболее экономной и равновесной гармонии, определяется одно за другим, аннигилируется при сложении, исчезает взятое порознь. Отсюда мир не акт, а лишь эффект нашего с вами взаимоотталкиванья в различных ипостасях, как то зима и лето, свет и тьма, катод — анод, добро и зло, холод и жар, электрон — позитрон, субъект — объект, раввинистические сефирот и келифот, плюс и минус, орел и решка, нормально — ненормально, папа и мама, да и нет. Словом, соль есть антисахар, а бабушка не что иное, как антидедушка, не так ли? Наконец корпускулярно-волновая двойственность самого строительного вещества не наводит вас на такие же догадки? Гностики, давно подметившие ту же странную двуликость сущего, двоеначалие, бинарность, дуализм, двуснастность по-русски, приписывали ее исключительно природе нравственной, — манихейство распространило то же воззрение на прочее мирозданье. Не подумайте, что я рисуюсь перед вами, с помощью знаменитых имен набиваю себе вес в ваших глазах, но великий Ману тоже дарил меня своей дружбой... Я даже уговаривал его выпить тот роковой стакан расплавленного свинца с гарантией вылечить потом, но он почему-то уклонился из боязни, что подведу, и получилось еще хуже! Так вот, он совершенно уверен был в существовании не одной, универсальной, а двух автономных и совечных материй, с помощью **эонов** и **демонов**, пребывающих в перманентном, с переменным успехом, сотрудничестве. Бессонная битва их якобы не затихает ни на миг, но трудящиеся могут без опаски выполнять свои промфинпланы, так как ночному океану, как бы ни бушевал, никогда не доплеснуться до звезды, равно и ее лучу не пробиться в его пучины. Теперь, упрощая написанное уравнение, временно вычеркнем творца, и мы с вами сразу становимся равноправными его половинками, и сразу все становится на место — его вынужденная терпимость к закоренелому врагу, его странное безразличие к текущим нуждам земли, неизбежным вследствие все той же парности, наконец, недоступность его для обозренья. Оказывается, мы с вами, будучи первопричиной всего, своей антагонистической деятельностью ежеминутно обеспечиваем весь мировой процесс в рамках пресловутого единства

противоположностей... Постигаете теперь, как чудесно все у нас налаживается? По аналогии сама собой напрашивается школьная вольтова дуга, где, если током пренебречь, тоже вьется и журчит, слепит и жалит огненная змейка. Вон как забавно обернулось: мы-то из сил выбились, на стороне первопричину ищем, а она ближе чем рядом оказывается: в нас самих давно сидит да в кулачок посмеивается. Сказанное, хотя и повышает наши с вами акции, зато по диалектической взаимозависимости обязывает стороны к более частым контактам с обоюдным поручительством, не так ли? Не отрицаю, до принятия решений нам без генеральной проверки не обойтись... согласен даже, что вплотную умом к таким вещам прикасаться риск большой, зато ведь и приз немалый. Оно можно было бы и сразу, времени не теряя, да уж не успеем, пожалуй... Нашарил вас брюхатый старик, в воротах стоит, по нюху притащился. А в силу парности нашей, сами понимаете, в одиночку мне такой эксперимент не поднять.

— И нужно вам прибегнуть просто к риторической фигуре под названием **оксиморон**, где сопоставлением понятий, явно несовместимых, усиливается воздействие на аудиторию!

— А ежели ложь да еще **оксиморон** в придачу, то и желательно установить истину — не о том ли высоком лице речь, кто умирал лишь в своей телесной ипостаси и ненадолго?.. — настаивал о. Матвей, успевший тем временем сообразить, почему избегал корифей произнести каверзную формулу.

— Видите ли... — с неохотой признался тот, — существуют словеса конституционально противопоказанные нам для пользования. И потому убедительно прошу соблюдать минимальный такт в отношении гостя, неофициально и по вашему приглашению явившегося для разговора на интересующую тему, не так ли?

— Однако же небесполезно и мне заранее ознакомиться с содержанием документа из тех, видимо, что подписываются натуральной кровью простаков, — дипломатично схитрил батюшка.

— Пусть так, — после недолгого колебанья согласился Шатаницкий. — Но раз догадались, в чем суть, то не разумнее ли вам сперва и огласить свою догадку для про-

верки — правильно ли, что облегчило бы мне ее повторенье за вами следом?

— Нет уж, давайте без дураков, любезнейший! А поелику вам сие не положено, то потрудитесь хотя бы раздельно назвать три загадочные буквы, коими обозначается личность обсуждаемого лица, точнее, занимаемая им должность в мироздании... и без лишней учености применительно к умственному уровню сапожника, с коим беседуете! — ультимативно выпалил Матвей и, откинувшись в кресле, приготовился наблюдать натуральные признаки мнимой своей победы в преддверии еще более сомнительной впереди.

Потекла ледяная пауза молчанья, в течение которой оба выжидали, что противник сгоряча оступился в одинаково для них запретную ловушку. Видимо, шальная потребность во что бы то ни стало поддержать в глазах священника свой генеральный авторитет надоумила корифея испытать на практике — не ответшало ли за давностью лет заповедное табу? Судя по сжатым на коленях кулакам, пузырчатому клокотанью в груди и судорожной подвижности кадыка, напрасно тужился он протолкнуть застрявшее в глотке неподвластное словцо.

— Хочешь гортань мне сжечь, честной отец? — ощерясь, словно ему нечто прищемили, просипел Шатаницкий.

Он жестом отвергнул услугу хозяина, метнувшегося было за водой, и, наклонясь, с частой одышкой старался остудить, проветрить опаленную внутренность. Дыша открытым ртом, словно с обожженным горлом, голова на бочок, он увлажнившимся взором жутко целился куда-то в глубь старо-федосеевского батюшки — не без надежды, что в очередной молитве тот доложит кому надо о его нечаянной, довольно крупной, с желтоватым оттенком неторопливо выкатившейся слезе, паденье которой поп машинально проследил до ее соприкосновенья с половиком.

— Немедленно изыди из моей убогой храмины, пока я не шарахнул тебя чем попало по ногам, треклятый, — сиплым шепотом вскричал словно из столбняка пробудившийся хозяин, наугад шаря вкруг себя не иначе как бутыль с крещенской водой, оставшуюся дома на подоконнике.

— Смиритесь, отец святой, не шумите, чтобы, помимо милиции, не привлечь сюда и газетчиков, которые присутствию моему здесь неминуемо придадут срамное для вашего сана истолкование. Потерпите меня еще хоть чуток, и вы убедитесь, что я пришел сюда не только с черным камнем за пазухой, но и с приятным сюрпризом для вас обоих, особенно для супруги вашей, которая в данную минуту изучает меня через замочную скважину, — убедительно сказал ему корифей, уже не отмахиваясь на сей раз от его заклинательных бормотаний. — По старинному этикету гость при первом визите в незнакомый дом еще на пороге вручает хозяйке свежие цветы, как поступил бы и я, если бы в кладбищенских условиях такого рода подношенье не приобретало несколько пугающий оттенок, не так ли? Тогда я надоумился подарить уважаемой Прасковье Андреевне нечто более значительное, и если для нас менее хлопотное в смысле пересылки и доставки на место, то для нее самой — полностью избавляющее от воздушной прогулки на сомнительном транспорте в несусветную даль, то есть мы могли бы хотя бы на пару дней отправить подарок, так сказать, самоходом через всю Сибирь непосредственно в материнские объятия.

Корифей говорил о Вадиме — старшем в лоскутовской семье, неудачном детище, **блудном сыне**, около двух лет пребывавшем в безвестии. В свое время взятый у себя на квартире, он у лубянских властей числился, видимо, однофамильцем старо-федосеевского попа, почему имя его и не произносилось вслух в домике со ставнями, чтоб не поставить под удар остальных, но и отрекаться от любимого сейчас было еще горше.

Тут, словно каленым железом коснулись незажившей раны, Матвей Петрович уже в задышке бессилья едва не произнес куда более резкую, неприглядную для священника формулу изгнания, как внезапно распахнулась дверь и ворвалась обезумевшая матушка, умоляющим жестом приказавшая мужу молчать, и затем разыгралась неподдающаяся пересказу сцена. Ковыляя на больных ногах и как бы цепляясь за воздух, чтобы не упасть, воодушевленная надеждой женщина пыталась ухватить корифея за любую из рук, чтобы поцеловать, даже облить ее слезами благодарности за обещанное исцеление от материнского

горя, а тот, держа обе над головой, метался по комнате из угла в угол, совершая немыслимые пируэты, почему-то не решаясь запросто исчезнуть или провалиться к себе в преисподнюю, например.

— Опомнитесь, мадам, вы не знаете, с кем имеете дело. Меня нельзя касаться даже взглядом, даже мысленно нельзя, чтобы рассудка не лишиться! — на все лады твердил он и, видимо, считая бестактным покидать стариков в переполохе, затеянном им самим, менял свои очертания, вспухал, коробился, почти искрился и одновременно слегка рычал, чтобы образумить несчастную. И правда, едва Прасковье Андреевне посчастливилось ухватить его хотя бы за пуговицу на животе, старуха стала быстро таять в пространстве, так что на пару мгновений от нее осталась всего лишь рука намертво вцепившаяся в середку кителя, что сразу отрезвило обе стороны, и, когда несчастная женщина восстановилась до полной цельности, посетитель с прежним достоинством отошел к комодику поблизости, на котором между двух ваз с крашеным ковылем вдруг оказался настоящий телефонный аппарат, почему-то не отражавшийся в зеркале позади него, но теперь затихшие хозяева не удивились ничему.

— Но когда же и где посчастливится мне обнять его? — робко, еле слышно осведомилась Прасковья Андреевна в наступившей вдруг тишине.

— Не завтра, но скоро, — отвечал страшный гость. — Но тогда предоставьте мне возможность сделать кое-какие необходимые распоряжения и вы убедитесь, что я пришел к вам не с пустыми руками.

— Я сейчас же, в дальний ящик не откладывая, **туда** к ним в **отдел кадавров** позвоню... но только не прикасайтесь ко мне!

Интереснее всего, что охваченные жгучим нетерпением чуда старики Лоскутовы, да и сам Никанор по причине своего позитивного мировоззрения, как-то не обратили внимание на случайную неточность адреса, сущую оговорку в смысле интонации, разрешавшей отпуск зэка на побывку из лагеря... Бездействующему старофедосеевскому кладбищу телефона не полагалось, но столь силен был разбег событий, что корифей отошел к переговорному аппарату. Разумеется, по своим возможностям Шатаницкий как таковой мог бы обойтись и без

техники, но, вероятно, по тактическим соображениям не хотел пугать хозяев мистическим распоряженьем в пустоту. Любопытно также, что, несмотря на холодный ужас в лопатках, родители, как по сговору, отвернулись в сторонку, лишь бы иметь отговорку перед Богом и совестью, что не видели. Соединенье получилось сразу, едва корифей вполголоса назвал засекреченный, видимо, номер — до отдаленнейшего, где-то за Сибирью до Вадимова лагеря вряд ли было дозвониться так легко, — однако отклик последовал незамедлительно, словно абонент с рукой на трубке уже караулил вызов. Слышимость была для всех отличная, но сам по себе отвечающий голос — неразборчивый, булькающий: сопроводительное эхо как при высоких отсырелых сводах глушило слова. По общему впечатлению разговор велся с большим начальником — не менее как зав. сектором по учету личного состава, но, значит, Шатаницкий был главнее, потому что едва, даже не назвавшись, произнес фамилию узника, подлежащего временному увольненью от адской муки, на другом конце провода некоторое время слышался легкий металлический скрежет, как если бы листались железные страницы Вадимова досье.

— Ваше дело в шляпе, — сказал успокоительно Шатаницкий, когда аппарат по миновании надобности исчез. — Но вы понимаете, здесь довольно сложная кухня, и, возможно, потребуется не один месяц на некоторые подготовительные процедуры... но я лично потом проверю ваше дело еще разок!

И никто не удивился, что в распоряжении высокого гостя имеются такие чудесные возможности для экстренной связи. К сожалению, по все той же ученой рассеянности корифей по миновании надобности забыл убрать со стенки свою аппаратуру, что впоследствии и послужило разгадкой его адского розыгрыша.

В конце концов по зрелому разумению Матвей Петрович даже рад был, что не состоялась предусмотренная им встреча Шатаницкого с Дымковым, которая в случае возможного столкновения при их вселенской полярности короткого замыканья дела могла завершиться всемасштабной катастрофой, с крупными последствиями не только для старо-федосеевского некрополя, но и для самой столицы... События обернулись так, что вернувшие-

ся домой с праздничного гулянья Никанор с Егором уже не застали Шатаницкого, хотя провожавшие его старики все еще сидели на крыльце, подавленные обоюдоострой фантасмагорией случившегося. Встревожась их безответной немотой, Никанор сразу кинулся в светелку к Дуне, где она по нездоровью прилегла на часок, расстроенная еще небывалой на ее памяти вспышкой отца внизу и опозданьем ангела, который из-за боязни обидеть девочку согласился прийти к ее отцу за наставлением.

В то же время, едва войдя в столовую и приметив на стене необъяснимый телефон, Егор сразу схватился за трубку — просто убедиться в его физической достоверности. Прерываемый акустическим искрением по дальности пробега, хриповатый голос отозвался с другого конца: «Отдел кадавров слушает вас...» — причем так отчетливо и близко, что не на шутку перепуганный мальчишка ощутил ветерок чьего-то дыхания у себя на щеке и не успел сообразить — проявилось ли на его организме генетическое родство с юродивой теткой Ненилой, как чертова машинка истаяла у него на глазах. Из опасения огорчить родителей своим прозрением он ни словом не обмолвился об этом приключении — до поры, пока под влиянием новых, еще более впечатляющих событий не вызрела догадка очевидного наваждения.

Глава IV

Дымков появился ровно час спустя.

Девочка собиралась построже встретить пропащего ангела и сразу простила его, едва поведал ей причину опозданья. Собственно из дому вышел он своевременно и давно был бы в Старо-Федосееве, кабы маханул напрямки невидимкой. Дуню тронуло в Дымкове, что, отправляясь как бы в гости к ней, не решился нарушить ее запрет — не прибегать к своим **фортелям** для личных надобностей. Его задержали на контрольном пункте в смежном с Красной площадью переулке, когда он во избежанье долгих трамвайных пересадок пытался пробиться сквозь оцепленье. Путаные доводы долговязого парня, как и его переконфуженный вид, показались патрулю подозрительными на фоне обострившейся внешней ситуа-

ции и новых внутрихозяйственных затруднений. Тотчас по доставке арестованного в отделение милиции сообщили куда надо о поимке крупного диверсанта. Оружия на преступнике не было обнаружено, но уместность террористического акта подтверждалась сравнительно близким, не свыше двух километров, местоположением великого вождя на трибуне мавзолея, а неуклюжая, с отчаяния, что ли, дымковская попытка симулировать душевное расстройство подчеркнула политическую весомость находки. Пока одни вели в радиусе обнаружения нервный поиск сообщников, другие вместе с Дымковым набились до отказа в тесной дежурке и в предупреждение побега дополнительно прибывали все новые мальчики с печально-бесстрастными лицами. Из опасения подпортить дело к допросу не приступали, а просто, невзирая на духоту и почти впритирку друг к дружке, все стояли на ногах в ожидании высшего начальника, глядели через низенькое окошко, как в поднявшемся ветерке полощется праздничный флаг над ближней новостройкой. По несовместимости обстановок, видимо, никто не узнавал знаменитого мага в лицо. Пока велись телефонные переговоры, кончившиеся приказом о доставке злодея непосредственно в центр для расследования, Дымков еще терпел кое-как, сокрушенно на стенные часы поглядывал, когда же во внутренний дворик отделения, бултыхаясь с колеса на колесо, въехала большая окованная карета, он заволновался, стал биться, застонал...

— Дело в том, — наперед стал он оправдываться, — что деревянная там, даже кирпичная стенка, если не толстая, для меня по-прежнему нипочем, а вот сквозь железо мне теперь, пожалуй, не утечь...

— Ужас какой!.. И как же вам удалось вырваться из положения? — допытывалась Дуня.

— Но я их дважды предупреждал, что меня ждут... Они не отпускали. Я тогда исчез...

Дуня так живо представила себе забавную сценку изумления опера, потом гнева вооруженной охраны, что пропустила мимо ушей одно печальнейшее обстоятельство дымковского сообщения. Зато испугалась возможных, сама пока не знала каких, последствий в случае его разоблачения, чутьем предвидя их громадность.

— Слушайте, никогда больше... даже в случае крайней нужды, даже если сама умолять стану, не тратьте себя попусту... как тогда в Химках! — горячо начала она было и задохнулась в спазме непонятных предчувствий. — Вообще не выдавайте себя, а то погибнет мир... Ладно, будем надеяться, что обойдется. Встаньте теперь ближе к свету, еще ближе, дайте посмотреть на вас. О, совсем другой стал Дымков, усталый. Вон как, волосы завиваете теперь... Для красоты, что ли? Наверно, **та женщина** совет дала...

Видимо, он уловил скользнувшую в ее голосе грустинку ревности:

— Нет, что вы, это **шеф** настоял. У меня волосы прямые, на лоб свисают. Он говорит, слишком похоже на молодого Гитлера. Могут подумать, что нарочно... Вам не нравится?

— Не знаю, — сказала Дуня с холодком отмщенья, — по мне прежний лучше был.

— Я все время на публике, очень спрос на меня большой, все хотят **порадоваться**, еле успеваем. Возможно, летом придется за границу поехать. Один король выразил пожелание через посольство лично во мне удостовериться, а самому ехать сюда неловко. Но перед отъездом я непременно забегу проститься, вы не верите?

— Верю... если **женщина** отпустит, — посмеялась Дуня и отвернулась к окну.

— Вы ее в Химках видали?.. Вам понравилась?

— Не очень... Властная, недобрая, чужая... Не обижает пока?

— Ой, что вы... наоборот! — почти вскричал он, и чего раньше не бывало, залился краской предательского смущенья.

Испугавшее Дуню дымковское замешательство наглядно показывало, насколько ангел успел продвинуться в постиженье дел человеческих... но здесь, ко всеобщему счастью, хлипкая лестничка в мезонин катастрофически застонала, заскрипела под нагрузкой шагов, и в дверном проеме показалось шествие, где за родителями шел Никанор.

У слегка порозовевшей Дуни, видимо, с языка не сошло представить бывшего дружка ангелом, и оттого

Прасковья Андреевна не без целевой материнской приглядки отметила дымковскую моложавость, батюшка вспомнил к случаю похвальные, всего полугодичной давности, отзывы дочки о нем, меж тем как Никанор громоздко пошутил насчет бесплатной возможности повидать светило иллюзионного жанра...

— Полно вам на ногах-то маяться! Идите все вниз, за столом и побеседуете, а мы втихомолку уму-разуму поучимся. Грешна, ничего в жизни так не любила, как чаёк после баньки, да вот еще философию послушать...

Условились, что батюшка с Дымковым спустятся к столу попозже, после краткого промеж собою совещаньица на одну обоюдоважную тему и без постороннего присутствия.

— Мне очень приятно познакомиться с одним из весьма немногочисленных Дунюшиных друзей, — несмотря на усталость, бережно приступил к дознанью Матвей Петрович. — Скажите мне, как на духу, вы, что же, действительно являетесь ангелом?

— Совсем нет, — обеими ладонями на случай возможных подозрений защитился Дымков. — Разве только по сходству с породой ангелоидов, крупноразмерных существ вроде того знаменитого исламского ангела, у которого расстояние между очами — восемьдесят тысяч дней пути, если, конечно, двигаться верблюжьей походкой. При первой нашей встрече Дуня так испугалась моей внезапности, что я поспешил назваться ангелом, но вскоре шутка так прижилась ко мне, что бабуля, у которой я поселился, даже не спросила моего паспорта.

— Как же вы, голубчик, добирались к нам оттуда в такую даль и глушь? Летели, плыли или по способу пешего хождения, как все пытливые путешественники, чтобы ничего стоящего внимания не упустить?

— О, это совсем просто, — с облегчением вздохнул ангел, радуясь возможности хоть что-нибудь о себе изложить приветливому хозяину на доступном ему языке.

Однажды в поиске выхода из своего одиночества он принялся дробить щепотку вселенской пустоты у себя на ладони, каждую крупинку, в свою очередь, рассекая пополам. Не будучи стеснен сроками и в пересчете на земное время, он якобы посвятил забаве уйму лет. Надо полагать, что на каждом достигнутом рубеже он нена-

долго сам вступал в несуществовавшую для него ранее микроничтожность, чтобы осмотреться изнутри, и так шел, пока навстречу из небытия не вынырнула из мглы танцующая вкруг большой свечи пылинка наша, обращенная к нему старо-федосеевской стороной. Здесь на Земле стояли неуютные осенние сумерки, летел желтый древесный лист и моросило слегка. Словно подчиняясь чьему-то зову, он оказался возле нарисованной железной двери в почти безлюдном храме, где в потемках клироса совсем простая девочка в голубой косынке и венчике из косичек нараспев произносила не понятные ему слова. В ту же минуту он различил устремленный на него чуть испуганный взгляд: она его узнала. Вот видите, как все просто. Теперь-то ясно вам?

— Понятно-понятно, даже слишком, пожалуй.

— С тех пор, пользуясь эндомиальной шаровидностью времени, одинаково обтекающего обе сферы не только нашего с вами обитанья, но и вообще уже отбывшее с еще не состоявшимся впереди, я выполняю ее желание заглянуть в странички будущего людей, которых она так жалеет... Страшные странички, которые еще они смогут переписать, если успеют.

— Очень похвально с вашей стороны, что не оставляете нашу Дуню без дружбы и участия, и впредь в своих ночных прогулках туда присматривайте за нею, чтобы где-нибудь не оступилась, не испугалась, навечно не обожглась о что-нибудь дурное. Хотелось бы мне, сынок, как-нибудь еще на днях поговорить о самом главном, что именно требуется для нас, чтобы буквально не утонуть в жуткой утопии нашей...

На исходе сил заключил Матвей Петрович в справедливом предположении, что безобидный Дымков и кроткая Дунюшка — в общем-то одной и той же тронутой породы, которых под влиянием текущих событий уйма развелось на Руси, беспрекословно нуждаются в общении, чтобы не свихнуться окончательно.

Как раз по ходу событий в домике со ставнями дважды было отмечено появление престранной фигуры, явно подмаскированной для лучшего неузнания под франта начала века. Еще утром, когда лоскутовская семья в предвиденье гостей уселась за завтрак пораньше, к ним в столовую через несоразмерно узкую дверную щель как

бы с разбегу протиснулся довольно вертлявый мужчина в летней полосатой тройке и столь же старомодной, не по сезону соломенной плоскодонной шляпе **канотье**. Ничем не пояснив свое вторжение, он озабоченно покрутился во все стороны, после чего ретировался буквально никуда. Приученные к благоразумию не подмечать в жизни вещей сомнительных, чтобы не отягчать близких напрасными сетованиями, а пущею — не разойтись с начальством в оценке наблюдаемого факта, старо-федосеевцы и виду не подали, что видели нечто. Но ближе к вечеру и по памяти Матвея открылось в полосатом шаркуне, несмотря на очевидное отличие, мелькнувшее сходство со старцем Афинагором, таким образом получившим наконец логическое прикрепление к нашему повествованию. Характерно, что по обычному, видимо, пренебрежению сил потусторонних к земной клиентуре, бродяга и пальцем батюшке не козырнул, а весьма полагалось бы по-прежнему знакомству... Часом позже, при возвращении из сеней с добавочной порцией квашеной капусты, Егор едва миску не выронил, усмотрев тот же загадочный, теперь нахмуренный феномен в верхнем окошке, что на площадке Дуниной светелки, — в летние погоды солнышко чуть не на весь день расстилало оттуда свой слепительный коврик по полу столовой, на ночь унося с собой. Закалившийся отрок ничем не выдал своего смущения, кроме дрожавших рук.

Глава V

Для понимания дальнейшего надо согласиться с Никаноровой версией старо-федосеевского свидания как некоего информационного и, подобно противостоянию светил небесных, периодического сближения запредельных **начал**, движимых взаимно тяготением своего предвечного родства. Явление на протяжении веков не слишком частое, но, видимо, обычное в ряду многих таких же, доныне ускользавших от нашего внимания, оно, как и все на свете, могло бы стать объектом сравнительного исследования. К сожалению, ничего не известно о дате последнего из них или предположительных сроках ближайшего впереди. Вообще для мало-мальски пытливого

ума все раздражающе непонятно в излагаемой истории, начиная с выбора места для встречи. Любой уединенный астероид, недостижимый для земного сыска, надежнее обеспечил бы конспирацию, нежели ветхое строеньице кладбищенского причта... На худой конец, при неограниченных возможностях участников, поставь пару табуреток в ночном зените над головой и трепись сколько влезет: было бы о чем! Как раз пустяковое, с мистическим душком содержание состоявшейся беседы, как она дошла до публикации, возможно, и заставит поверхностного читателя пожалеть о потраченном времени, однако заблаговременно и с дрекольем столпившиеся вокруг блюстители новейших истин самой яростью своею убеждают нас в эпохальной важности вопроса. Развитие событий показало в дальнейшем, что мир действительно стоял на пороге грандиозных перемен, и если бы не сорвалось наикрупнейшее политическое дельце великого вождя, венец всех прежних его начинаний, то предосудительное ныне **ангеловедение** давно стало бы разделом Большого Естествознания со всеми академическими атрибуциями...

Разумеется, в случае необходимости небу ничего не стоило бы пресечь утечку информации, но, значит, имелись сокровенные причины, почему оно, кулуарным путем из престижных соображений позволило предать гласности материалы старо-федосеевского совещанья. Как ни наивно выглядит догадка, небо, может быть, по издревле применяемой тактике, решилось предостеречь умных на земле, если еще найдутся, чтобы не готовили впрок братские ямы на земле для обожаемых малюток. В обширном полусвидетельском монологе Шатаницкого проступает логика божественной размолвки, давшей толчок мирозданью. Вне зависимости, произошла ли она из-за противодействия ангелов ближайшего окружения действительно странному намерению Творца навязать себе на шею род людской, или же появление последнего рассматривать как наглядное возмездие отверженному ангельскому клану, в обоих случаях движущим фактором является его ревнивая любовь к Отцу. И не в том ли заключается их коварная деятельность, чтобы мнимым покровительством своим соперникам, потачкой их похоти, лестью их уму низвести в предельное ничтожество,

чтобы тот увидел возлюбленных своих в омерзительной ярости самоистребленья, с апофеозом гниющей пирамиды в конце, и ужаснулся бы — ради кого отвергнул одних и кому предпочел других. У Еноха упоминаются другие толкованья разрыва, и как раз показательные разногласия Шатаницкого с канонической трактовкой заглавного эпизода облегчают желающим анализ его философской концепции, понимание целевой ее направленности. По излишней местами громкости в передаче наиболее потаенных переживаний складывалось невольное убеждение, что старый опальный ангел, если только возрастная характеристика приложима к существам бессмертным, стремится обелить себя и возглавляемую им бесовскую шатию в глазах неопытного **молодого**, а также через представителя московского студенчества выйти в общественное мнение литературы, а заодно представить кое-какие неизвестные миру подробности в качестве материалов доследованья третьему, незримо соприсутствующему лицу.

Однако приспело время огласить важнейшую, может быть, работу профессора Шатаницкого, общепризнанную венцом его научной публицистики. По существу явившаяся обстоятельной хроникой первозданья, книга наделала в свое время большой фурор, чуть ли не переворот в умах юного поколения, кабы впоследствии не попридержали. Никому раньше еще не удавалось столь досконально показать простому читателю, как же на деле происходило творение мира. Правда, кое-что там не сходилось с академическими истинами — в чередовании геологических периодов, например, а робкие голоса отмечали также родословные неточности по части протеиновых соединений, тем не менее всех покоряла дерзость гипотез, щекотливая глубина проникновения в такие пучины, наконец, радость по поводу **свежего ветра эпохи**, ворвавшегося в затхлые кабинеты начетчиков. То был единственный случай, когда виднейший и универсальный критик с репутацией нелицеприятного арбитра, неподкупнейший из льстецов (и, как выяснилось впоследствии, воспитанник его же школы), некто **N** взял корифея под свою защиту. На сто лет вперед разгромил нападки на великую книгу, и чернильная кровь всех ранее зарезанных им служила ручательством его ис-

кренности и правоты. Дескать, педанты испокон веков не усматривали в черновиках гения чего-либо, кроме арифметических ошибок да неполадок с букварем, тогда как именно мнимыми несовершенствами и доказывается неземное происхождение всякого **нечеловеческого** шедевра. Даже с дальновидным, для умных, намеком на близкое сотрудничество с небесным мастером в дни творения. Причем запомнилась темная и как бы не к месту оброненная фраза, что всякое умаление великого прельстителя обедняет нашу мысль не меньше гадского кощунства в адрес его высокого противника, потому что более-то крупной да емкой купюры мышления не создавал никогда мозг людей. Вообще только имя и прежние заслуги Шатаницкого, возглавлявшего чуть не весь государственный атеизм, уберегли от изъятия его книгу, главная-то скандальная дерзость которой заключалась в том еще, что при изложении последовательных этапов эволюции ученый с наивной серьезностью придерживался им же не раз осмеянной библейской схемы, а именно — циническими хохмами то и дело подкупая гусей из наблюдательного ведомства, он раскладывал общеизвестный семидневный процесс творенья на ту же, пускай несколько спорную семерку фаз по миллиарду лет в каждой: кто их там считал! Автор как бы разоблачал нехитрый прием, каким Церковь создавала божественный престиж Творцу, бесконечно уплотняя его рабочий день в сплошной концентрат все новых и новых явлений, где из-за тесноты их укладки уже не просматривались переходные паузы и причинные узлы, отчего и получалось впечатление внезапного **чуда**. Собственно, тот же способ лишь обратного показа, путем растяжки коронного своего в ту пору номера на составляющие элементы применил и Дымков месяц спустя перед ученой правительственной комиссией. В практике тех лет зрительский успех, при отсутствии противопоказаний, обычно увенчивался званием народного артиста, но чисто аппаратная осторожность, чтобы не попасть впросак, требовала предварительного прояснения явных идеологических темнот в его деятельности.

Нередко за верстачком, среди прочих мыслей о загадках естества, задавался о. Матвей щекотливым вопросом, как приблизительно выглядело предназначенное

для бытия пространство за мгновенье до того, как стало в нем проступать сущее? За отсутствием живых свидетелей некому было утолить жажду его чрезмерно пытливого ума. Не без основанья приходил он к выводу, что записи памяти и не могли родиться раньше, чем наряду с начертательным орудием появилась владеющая им рука, также поверхность для нанесения условных знаков на ней, паче же всего сам подлежащий закреплению предмет, чтоб не исчез бесследно. Как раз в пору газетной дискуссии о знаменитой книге, не порочная ли, батюшка случайно увидел ее на столе у Вадима и в мучительных, на ощупь, поисках союзников целую неделю жадно, украдкой от сына, перескакивая темноты и трудности, несмотря на ущерб, наносимый текущей работе для семейного пропитания, не говоря уж о нехватке сна, вникал в действительно незаурядный документ: он был батюшке все одно как соломинка для утопающего. В общем, как и сама Библия, написанная для особо доверчивых умов, сочинение весьма понравилось о. Матвею прежде всего отсутствием жреческого презрения большой науки к непосвященным, ибо на том перегоне познания магия еще не разделялась с математикой как враждующие сестры. Ребячливой Матвеевой душе родственным оказалось величие описанных там гигантских, еще необжитых пейзажей, где при головокружительной широте панорамного охвата уже различима была каждая мелочь, пусть еще не привычная нынешнему глазу, но уже позывающая к осмыслению. И, пожалуй, сильней прочего восхитило батюшку так и оставшееся непонятным даже после троекратного прочтения загадочное местечко о самом начале всех **начал**, как образовавшееся однажды вследствие пространственно-магнитного натяжения, с небольшим внутренним перекосом, быстро расширяющееся вздутие на чем-то теперь уже не сразу преобразовалось в кромешный, но вполне реальный мрак, некоторым образом производственное сырье, из коего пополам с глиной и накрутили уйму всячины впоследствии мастеровитые руки.

Приблизительно с той же степенью ясности постигал о. Матвей неизбежные порой термины высшей учености, а именно — как сопроводительную, даже обязательную ко всякой тайне музыку, и, конечно, высшим моментом

ее было изначальное безмолвие послезавтрашнего мира, оглашаемое родовыми вздохами бездны, треском разрываемых оболочек и лопающихся пузырей, хотя, в сущности, безымянное **нечто** вылезало наружу буквально из **ничего**. И потом распрямившийся, дыбом вставший правоздух до отказа переполнился пыхтеньем скрюченных, из-за теснейшей покамест упаковки, едва осознавших себя, кое-где еще не расцепившихся стихий. Как и положено в материнском чреве, локоть одной упирался в пах помещавшейся сбоку, а ее собственный затылок был вмят в подмышку соседки. Там они дожидались своей очереди бытия без малейшего удобства и вдетые друг в дружку — ветры, горы, твари и вода. Такой живости достигало воображение, что о. Матвею казалось, будто слышит их ликующие или растерянные новорожденные голоса, и, странное дело, в самой расстановке обыкновеннейших с виду, колдовских слов — в их воркотне, бульканье, шепоте и бормотанье таилось нечто фонетически помогавшее заглянуть изнутри в журчащий взрывающийся хаос ионизированного газа, постичь генетические характеристики едва зарождающихся элементов. Странная пленительная достоверность описаний властно убеждала, что так и должно было обстоять на данном этапе, пока ничего, в сущности, не было. Когда же якобы постихла огненная толчея вступительного неустройства, молнии и ливни принялись хлестать серое, неприглядное, во тьму закутанное тесто. По беглой авторской прикидке цифрой в восемь-девять ли нулей чего-то мерится срок, в течение которого солнце не могло пробиться в опустошенные сумерки уже начавшегося, еще безличного бытия, где уже погасло одно, но еще не возгорелось другое. Позже установилась пронзительная погода, пронизанная иглами убийственных лучей, впрочем, никому пока не опасных за отсутствием — кому могли бы повредить. И потом несчитанную уйму тысячелетий звезды с недобрым ожиданьем глядели в один там клочок мелководного взморья: здесь и должен был начаться тот иррациональный акт, ради которого были предприняты природой такие хлопоты. Ни следа на рябом песке отмели или подстерегающего взгляда, ни шелеста крыла в пустынном воздухе над нею.., но вот дрогнуло нечто под тонкой водой, и первый самовольный круг побежал безветренной глади

лагуны. Спустя некоторое время автор, уже несомненный теперь свидетель описанных происшествий, как бы подводил своего читателя к самой колыбели жизни, в самые пеленки ее и давал подержать в ладони немножко почерпнутой там студенистой слизи, откуда повелась вся живность на свете, в том числе род людской. Если не спешить с уточнением формулировки, каждый на месте о. Матвея незабываемо испытал бы скорее музыкальное, нежели реально-вещественное ощущенье с головокружительным сознанием, что в том же где-то хаосе потенциально содержишься и сам после-послезавтрашний ты. В заключительных главах, как награда за проявленную стойкость, читателя ждала прогулка по девственным привольям раннего мезозоя и позже, где, к примеру, мог он почти вплотную, словно в микроскоп, рассматривать конструкцию громадного жука, оседлавшего травинку толщиной в слоновью ногу, а также с безопасного расстоянья наблюдать устрашающую любовь гиплодоков и вникнуть в панические переживанья сбившихся кучкой мамонтов, как и мы нынче в расцвете сил погибавших от неустройства существованья.

Сам о. Матвей объяснял визит к нему Шатаницкого довольно обычной в практике последнего привычкой пошалить с простодушным батюшкой, проявившим греховный интерес к изнанке Добра и Света. Что же касается вполне адского фортеля с действительно оправдавшимся приездом сына на побывку из лагерной отлучки, то и здесь, по авторскому толкованию Никанора Шамина, посвятившего не менее двух лет научному исследованию заново в мир входящего дьявола, просматривалось не просто свойственная ему, прежнему, время от времени потребность довести облюбованное духовное лицо до визга посредством ущекотания железным когтем под мышкой, а глубоко продуманный план применить отовсюду изгнанного, никому не нужного поповского сына в качестве наживки для одного щекотливого дельца с недоступным простому уму многоступенчатым прицелом. В студентовой расшифровке оно сводилось вкратце к тому, чтобы, доведя Вадима до безвыходной обреченности, так сказать, накануне пули в затылок, через его жалостливую сестренку вынудить столь чувствительного Дымкова на заступничество за жертву перед великим

вождем, который, в свою очередь, и в обмен на помилованье истребует от адвоката выполнить одно очередное по части пресловутого земного счастья, кощунственное в глазах разгневанного неба и вчерне уже разработанное корифеем мероприятие по временному, разумеется, низведению человечества в дремотно скотское состояние, пока не вызреют в нем благородные семена социального преображения.

Глава VI

По уходе гостей Никанор высказал проницательную догадку, что рассказанные корифеем байки — всего лишь неизбежная, ввиду посторонних слушателей, словесная ширма, служившая прикрытием их реального, действительно делового диалога.

Вообще же самые невероятные подробности состоявшегося у Лоскутовых приема вполне достоверно укладывались в сознание участников. К примеру, куда больше подивило всех внезапное открытие, что уже вечер. Ничего не знала сама, как оно осуществится, но только весь смысл мысленного тогдашнего Дунина напутствия Дымкову сводился к предостережению, чтобы не поддавался женщине из Химок, имени ее она так и не узнала до конца. Но если раньше по обстоятельствам окружающей жизни не сумела предотвратить ее в дымковской судьбе, теперь вовсе становилось поздно. Необходимо показать, чем так существенно, по длительности, отличалась дружба Дымкова с обеими полярно несхожими женщинами — участницами этой истории. На протяжении веков разновеликие, но и равнофатальные идеи, уже поизносившиеся в прениях и не оправдавшиеся наяву как необязательные для существования и насквозь пропитавшиеся слезой и кровью, успели слежаться до критического перегрева и в наше время дважды и всемирно воспламенялись, и теперь, после пары свирепых диктатур, измолотые в пыль, догнивали в подсознании стареющего человечества, отравляя всякую творческую микрофлору сериями сорных изобретений, потребностей, ремесел и искусств, мусорных гениальностей наконец. На основе своих прозрений тревожась за будущность людей, Дуня вослед родителю

высказала свое детское сужденье, что кабы Он малость смягчил свой гнев при виде юных праотцов, дрожавших от холода и страха, то обошлось бы и без Голгофы, по количеству страдания стократ превысившей всю вместе взятую боль человеческую от начальной глины до скончания веков. Даже сама ужаснулась, что ее, по счастью не высказанная вслух догадка об истинной сути искупления отпугнет от нее пришельца из ближнего поднебесья.

И правда, встречаться стали реже, ибо в сюжетную игру как раз вступала пани Юлия, сразу после знакомства удержавшая Дымкова при себе магнитной тягой своего мечтания, суть которого он впервые не смог прочесть. А она заключалась в непрестанном ожидании некой, прямо в лицо не произносимой услуги, состоявшей в надежде стать матерью последнего героя, который по завоевании глобального господства выйдет на простор провиденциального контроля над Вселенной[1]. В дальнейшем карьера гения могла состоять из двух смежных, с переходом одного в другой вариантов, из которых первый состоял в подвиге освоения еще не тронутых прогрессом лучших миров с переброской туда переуплотнившегося человечества, операцией, не испытанной у нас и почти безболезненной *in articulo mortis*[2], и все под тем же беранжеровским кодовым названием «сон золотой». Неизвестно, что более жутким выглядело бы для людей — сгореть в надмирном полете или под девизом братского равенства и многовековой дележки прежнего, все иссякающего пайка еды, жилплощади и воздуха, да еще в условиях желанного благоденствия, без этнических и социальных самовозгораний измельчать габаритно, стать бархатистой розоватой плесенью и вместиться в чашку Петри. Словом, всяческое мечтание проектируется на безграничный экран воображения, и отто-

---

[1] Кстати, к тому времени успешные математические раздумья о реалиях мнимой пустоты увенчались открытием фернеллевских функций, структурного фактора материи, практически позволяющего приступить наконец-то к освоению галактических территорий. В защитной от иностранных разведок шифровке оно спрятано как модуляционное смещение на два, три, возможно, и четыре порядка выше нормы. Речь шла о том, чтобы понемножку приступать к бескапсульному выбросу в собственной оболочке, что значительно удешевит мероприятие, любой живой твари, как саранча, пусть на скромную пока, зато прицельную дальность в пределах солнечной системы.

[2] В смертный час *(лат.)*

го несколько маниакальная характеристика пани Юлии, построенная на ее незаурядном уме, трагической судьбе и непреклонной воле, полностью совпала бы с диагнозом Дымкова, если бы он по памяти прочел когда-нибудь точный смысл облачка у нее над головой.

Наметившееся между Дымковым и Юлией сближение походило на тугое, вкруг единого, тоже так никогда и не определившегося центра вращения двух полярных тел, где стихийная воля к захвату и подчинению уравновешивалась настороженным любопытством неведения — уже в той стадии, когда оба не смогли бы вырваться из зоны рокового взаимопритяженья. По наблюдениям Дюрсо дело было на мази, и перспектива начинавшегося романа внушала ему самые радужные, но и болезненные надежды прежде всего насчет реставрации распавшейся империи великого Джузеппе, разумеется, в ином климате, более благоприятном для искусств — не ради барыша или презираемой им коммерции, а ради свободной **фантазии жить** плюс к тому кое-каких, смутных пока, мессианских планов на горизонте. Все на земле представлялось осуществимым с помощью такого зятя и преемника. По счастью для отца, дочь ничего не знала о его фантастических наметках.

К огорчению старика, с некоторых пор что-то не ладилось у них там. Преклонный возраст заставлял его торопиться с исполнением желаний, меж тем молодая чета крайне непроизводительно тратила быстролетящие мгновенья своих участившихся встреч не на вздохи даже, обязательные в таком деле, а главным образом на сосредоточенное молчанье, изредка прерываемое серией бесполезных фраз. Тем не менее ангел Дымков достаточно освоился с земной обстановкой, пускался иногда в довольно бойкие, с переменным успехом, опыты самостоятельного юмора и, между прочим, из всех сил старался вникнуть в основной житейский механизм, усложненный разными кодексами для сокрытия его откровенной простоты. Словом, оставаясь с молодой и интересной дамой наедине, он хоть и вел себя вполне неудовлетворительно, не совершал кое-каких предосудительных, уже из одного приличия обязательных поступков. Тем не менее Юлия все чаще ловила на себе — на спине, на груди, даже где-то под мышками — его до щекотки пристальный, неприятно холодящий взгляд; но это было не

мысленное мужское раздеванье, не жадное вожделенье мальчишки, нуждавшегося в чрезвычайных обстоятельствах для почина, а просто мучительное недоумение по меньшей мере инопланетного жителя. Как правило — украдкой, обычно — чрез зеркало он попеременно сравнивал себя с Юлией, пытаясь осознать предназначение столь несомненных различий наряду с очевидным сходством. Ей становилось не по себе от медлительного, как бы шероховатыми пальцами обшариванья, что доводило ее тело до мурашек, рефлекторных судорог, почти до крика. Вдобавок в лице у Дымкова, в немигающем взоре, в наклоне головы появлялось озабоченное птичье выраженье, так что у женщины возникала безысходная тоска ожидания, потребность защититься от боли, которую он причинит сейчас с гортанным восклицаньем.

— Кажется, вы собираетесь клюнуть меня, мой странный дружок? — через силу шутила она.

Он вздрогнул, смутился, отступил:

— Ну, что вы, я просто погрузился в свои раздумья... вам не понравилось?

— Не надо погружаться слишком глубоко куда не следует, а то можно надолго завязнуть там. О чем раздумье?

— Я увидел в окне тучу и подумал, что скоро будет дождик... нельзя?

— Нет, почему же, можно и про дождик... но в присутствии женщины, если хоть капельку приятна вам, лучше думать о чем-нибудь другом.

В его глазах отразилось усилие постичь проблему:

— Ну, о чем, например?

— Скажем, о счастье... впрочем, давайте оставим наш разговор. Право же, с некоторых пор вы задаете мне непосильные философские вопросы... Ступайте же куда-нибудь, я устала с вами.

В сущности, до Дымкова ни одному из **них** не предлагалась такая легкая победа, вообще никому. Юлии не доводилось ни разу выступать в унизительной роли совратительницы, вообще никогда. Вместе с тем было глупо обижаться на неопытную, тем и приманчивую невинность, что все впереди предназначается для тебя одной. Временами бесившая вначале затяжка событий начинала пугать ее. Почему в самом деле даже теперь, после уже

состоявшихся тогда и, главное, благосклонно принятых, поистине царственных даров не предъявляются мужские счета к оплате?.. Совпало, друзья как-то забыли ее в ту зиму, в том числе и закатившийся на дальневосточные съемки Сорокин, неизменно тоном шутливого поклонения напоминавший о себе хотя бы по телефону: слишком привыкла, чтобы каждый из зачисленных в свиту без напоминанья знал свои постоянные при ней — долг, час и место. Вдруг поймала себя однажды, что не пропускает случая мельком, испытующе взглянуть на себя в стекле уличных витрин, в чашке кофе, даже в кривом трамвайном никеле. Шарящий луч догадки высветил в памяти непонятный вначале, перед его последним отъездом и в связи с дальнейшей отсрочкой обещанных студийных проб, сорокинский намек, что, к великому прискорбию, не так легко сменить легкие покрывала Саломеи на дефицитные в социалистической кинематографии пурпур и виссон царицы Савской. Юлии было всего двадцать семь, когда она впервые испугалась за уходящую молодость. Именно Дымков по вопиющей неопытности своей больше всех прочих годился для пробы, проверки ее сомнений.

В начале знакомства с Дымковым Юлия увидела в нем всего лишь даровитого манипулятора и, не исключалось, даже восходящую звезду иллюзионного жанра, при этом, как нередко бывает с начинающими гениями, фигуру забавную, угловатую и несколько утомительную в смысле однообразия приемов, которыми ее спутник старался прикрыть свою вопиющую провинциальность. И, верно, оставшись с нарядной дамой наедине и, видимо, страдая от неспособности к изысканной речи пополам с хохмами высшего интеллектуального разряда, он то и дело пытался развлекать ее фортелями балаганной магии, причем от некоторых почему-то приятно-холодящие мурашки бежали по спине. Но в том-то и заключалось важнейшее психологическое свойство крайнего скепсиса, нередко достигающего тех же открытий с обратного конца, что на Юлию произвели впечатленье не каскадно, у ней на глазах, совершенные Дымковым акты подлинного чудотворенья или шутливая легкость проявленного им тогда дикого и в земных условиях даже небезопасного могу-

щества, но именно заправдашний, получасом позже повергший его наземь припадок страха на грани смертного ужаса, в самозащиту от неведомого ей виденья выкинутые вперед руки и совершенно птичье, с перекошенных губ сорвавшееся бормотанье, ей самой передавшаяся неподдельная дрожь, а главное, обнаружившееся затем, по счастью, временное бессилие просто вернуть себе утраченное благообразие хотя бы в степени обязательной для дневного появления в городе, к тому же за всю дорогу домой не было произнесено ни слова... Вот что убедило Юлию в его действительной принадлежности к тем, за кого себя выдавал, чем, кстати, подтверждалось наличие сокровенных тайн в мнимой пустоте за пределами воображенья. В приоткрывшийся странный мир Юлия вступила робко, не смея коснуться мыслью одновременно манящей издалека и холодом зияющей неизвестности, когда же врожденный практицизм навел ее на поиск наиболее рационального применения находки, а, по слухам, высшее удовлетворенье на уровне полусчастья достигается вложением жизни своей в некий общечеловеческий подвиг, оплачиваемый затем в потомках посмертной славой, святостью и сытостью, то за отсутствием других средств она и выбрала себе самый доступный женщинам путь скорбного материнства. К слову, день ото дня и под воздействием поистине царственных подарков все возраставшее доверие Юлии к небесной сущности Дымкова никогда не переходило в религиозное поклонение ему, скорее наоборот, потому что именно ей приходилось усердно и без особого успеха обучать ангела правилам хорошего тона, без чего тяготилась появиться с ним в своей ревнивой, недоброй и насмешливой среде. Однако время шло, и Юлия с незнакомым дотоле волнением примеряла на себя доставшуюся ей роль библейской прабабки поколений, а ее партнер медлил почему-то, не догадывался о возложенных на него ожиданиях.

В ход были пущены все интеллектуальные чары женского обольщения вроде заинтересованной внимательности, молчаливого и восторженного восхищения, мимолетной заботливости, — нехватка артистических способностей возмещалась притворством, почти жгучей, к тому времени, ненавистью. Ничто не достигало цели, даже с прозреньем иногда применяемые, наводящего

легкомыслия вопросы, так сказать, приглашение к самовольным поступкам сильнейшей стороны. Оставались в запасе самой природой придуманные, грубые приемы безотказного действия — тактика ускользания, автоматически умножающая натиск противника за счет охотничьей ярости преследования, — наконец наиболее верное, потому что с мольбой о пощаде, сопротивленье перепуганной девственности, пробуждающей еще более темные инстинкты. Несмотря на безвыходность положения, Юлии претила перспектива — с ее именем и внешностью стать наставницей греха при безусом юнце... Кроме того, в обоих случаях требовалась хоть малая инициатива противной стороны, чего как раз не наблюдалось. Единственное действие предпринятых мер сказалось в том, что Дымков под конец стал болезненно переживать хоть и не доступную его пониманью, даже вслух не называемую, настолько тяжкую вину, что по неимению интимных друзей и кабы удалось урвать свободную минутку, готов был отправиться к Дуне за советом.

К чести его, ангел всемерно, но преимущественно материальными способами стремился загладить нанесенную женщине обиду, и тогда как бы во исполнение некой магнитной тяги у него прорывались попытки тронуть, нажать, скользнуть прикосновеньем, также другие обнадеживающие приметы, к сожалению, без дальнейшего развития. Значит, пускай медлительно, как все у **них** там, развязка созревала в этом долговязом мастеровом волшебных дел, божественная раскачка, и надо терпеливо ждать, пока не разразится однажды во весь мах нездешних страстей, с самыми разрушительными последствиями — от порчи ценных вещей до какой-то кровавой и желанной боли, обязательной при посвященье в разряд надмирных богинь, мифических владычиц в ранге светил небесных. Наверно, это будет как торнадо, где небо в жгут свивается с землей, и потом шествует неведомо куда, шатаясь, ликуя, визжа и под непременным эскортом молний. Если только не обманывает, гадкий босяк, если сжалившееся над ее трагическим девичеством Провидение действительно выделяет ей такого жениха. Юлии хотелось продлить ожидание, по возможности отсрочить самое накрытие волной, намеренно притормозить процесс, чем только и можно оправдать

оскорбительное запозданье, испытать пресловутую стадию **мления**, в чем, по отзывам бабушек и поэтов, заключается самая сласть любви. Стала проявлять холодок в обращении с Дымковым, губы красить перестала, что для нее означало непричесанность, почти неопрятность, глухие до ворота платья завела. Подобную грозу, раз в жизни, полагалось встречать не в тугой, золотом накрахмаленной парче, а в крестьянской ряднике без капризов и причуд, в нищенской дерюжке даже, чтобы сразу, всю до костей прохватило ливнем и пламенем, а предназначенное ей одной без задержки пролилось бы вглубь, в сокровенное лонце души. Задолго до той катастрофической развязки, по оценкам лестничных соседок, Юлия если и не подурнела, то как-то изнутри осунулась, стала даже горбиться слегка.

Болезненно ощущая ироническую нетерпимость пани Юлии к своей особе, Дымков мирился со своей обидой как вполне заслуженной.

— Давно замечаю, что вас что-то раздражает, верно? Я и сам знаю, что вам скучно со мной. Но мне не о чем рассказать вам... В наших краях все кругом настолько громадно, длительно, медленно и пустынно, что у нас времени не хватит хотя бы бегло рассказать вам о самом ничтожном, как оно совершается там...

Она начинала сердиться.

— Поймите, Дымков, мне неинтересно, как все это обстоит там, вот я и таскаю вас по всяким киносеансам, пытаясь обучить ангела, как оно обстоит здесь, — сердилась она уже в открытую, ведя его к разгадке своих намеков.

Тут очень кстати, переутомясь от многочисленных зачастую хлопот, старик Дюрсо после очередного припадка слег недельки на полторы в больницу и перед отъездом оставил дочери наставление не спускать глаз с легкомысленного ангела во избежание каких-либо чудотворных вольностей, разоблачающих его идеологически-криминальную сущность. Таким образом, женщина могла чуть ли не ежедневно, систематически водить своего отныне подопечного ангела на закрытые просмотры входивших тогда в моду фривольных фильмов, тем самым помогая ему постичь *ars amandi* для последующего исполнения ее сокровеннейшего замысла.

Однажды, после одного особо выразительного сеанса, полного остросюжетных моментов, за исключением некоторых, удаленных цензурой во избежание подражательных инцидентов в затемненном зрительном зале, на закате, к концу дня, они вернулись в уютное гнездышко пани Юлии и, по привычке остановясь перед зеркалом в прихожей, она, за плечом у себя, в задумчивом взоре Дымкова, прочла решимость заняться делом без дальнейших проволочек. Предчувствия не обманули ее. Однако за минуту до посвящения своего в ранг высокий материнства, для чего дотоле сберегала себя, испытала леденящий холодок мистериального страха, что вместо желанного младенца, с задатками будущего пророка, родится такая же всевластная и, как сама, бесталанная девчонка. И не было никаких оснований для опасения, что случится нечто худшее, одинаково оскорбительное для ее фамильного и женского достоинства.

Атака началась не в меру бурным нападением, которое служило предзнаменованием полного успеха, так что едва присевшая на тахту женщина вправе была отнести его за счет природного темперамента всех существ потусторонней породы. Вступление сопровождалось нещадным срыванием досадных помех, однако в порядке, обратном здравому смыслу, так что сперва Юлии было немножко неудобно, жарко и смешно, потом стало щекотно и тревожно, и не приходилось обижаться, потому что наметившаяся, вполне серьезная цель поистине свирепого натиска уже в данной стадии оправдывала и неминуемое в оргиастическом поиске повреждение белья, и сокрушение столика с безделушками поблизости, и несколько дерзкое обращение с нею самою вообще. Не успевая следить за его руками, Юлия бормотала ему то в плечо куда-то, то в самый ушной хрящик положенные в таких случаях призывы к благоразумию — отложить, поберечь ее, не торопиться, — несмотря на лимитированное время, но в то же время уступала с видом то оскорбленного, то насмешливого удивления, каким лучше всего маскируется активная любознательность к дальнейшему. В общем, тихоня действовал вполне толково, и хотя нельзя было считать победой случившееся до сих пор, бравурное вступление предвещало не менее энергичную фугу... если бы только не досадное, буквально с минуты

на минуту ожидаемое вторжение отца, к тому же далеко не полная уверенность, защелкнулся ли неисправный дверной замок в прихожей. Поспешно склоняясь перед выпавшим ей жребием послужить человечеству, женщина заранее соглашалась на физическую боль, томительные десятилетья промежуточных тревог и последующие нравственные муки, из чего слагается подвиг материнства. Правда, желанное избранничество средь жен человеческих постигло Юлию с досадным запозданием, несколько омрачившим ее надежды на успех предприятия, но еще более пугало неотступное, весь последний месяц, воспоминание об одном щеголеватом удальце, который двумя годами раньше, по ее девичьему любопытству и одиночеству, опередил ангела Дымкова на том же самом ложе. Даже удивилась немножко, что и на небесах не изобретено ничего нового, все же надо было считать благоволением судьбы, что с самым симфоническим, так сказать, аккордом бытия знакомилась в столь обнадеживающем исполнении. Чуточку пугало, что ничего такого не было пока — вакхических задыханий, воплей насыщения и других столь хронометражно у классиков описанных переживаний. Ввиду мимолетного сомнения ей ничего не стоило, причем обеими руками сразу, пощупать лопатки у партнера, но нигде там, как и на спине пониже, не оказалось даже рудиментарных следов от летательных приспособлений. По обратной логике живо представилось, какой получится **шухер** в мировом масштабе, если под маской ангела ею овладеет тот роковой обманщик, о ком никогда и помышлять не приходилось, но чье бытие явно доказывается фактом бытия дымковского. «Но ведь и у них тоже крылья?» Вот будет **очко**, когда по родильной палате запорхают с крючками и рожками новорожденные чертенятки, гадя на стерильное оборудование, норовя забраться под тугие крахмальные, почему-то католического покроя, колпаки медицинских сестер. И все равно, кем бы ни оказался на поверку, явно сбивался с программы, но теперь уже самая бесповоротность положения заставляла Юлию мириться со многим, оправдывать его вопиющую провинциальность, неглубокий ум и, пожалуй, привлекательную в его неуклюжей фигуре, но грозным даром уравновешенную мужиковатость, — наконец прощать преступную медли-

тельность — ангелу, вовсе не повинному в том, что в **ихнем** обиходе на целое тысячелетье растягивается миг единый.

— Ну что же, что же... я старая для тебя, да? — глазами в самую душу спросила она, а он был такой неумелый, что отбивался слегка, когда, решась пойти на помощь, пустила в ход некоторые средства поощренья, какими располагает великодушие старшинства.

Оскорбительная заминка объяснялась просто тем, что Дымков добросовестно выполнил все, чего нагляделся на экранах кино в пределах допущенного цензурой нравов, причем, показав неплохое усвоение урока, израсходовал весь комплект предварительных действий, дальше постановщик рассчитывал на зрительские воображение и опыт, которых у ангела быть не могло. Именно в крайнее мгновенье избранник Юлии легонько поосвободился из ее объятий и, отряхнувшись, отправился к буфетику подкрепить истощенные силы. Водя пальцами, он долго выбирал себе банан из декоративно разложенных в деревянной чаше и, неторопливо обдирая кожуру с одного, покрупнее, весьма горделиво, точно усы подкручивая, поглядывал на свою жертву, лежавшую в притворном беспамятстве. Между прочим, та, в кинокартине, тоже оставалась поперек кровати потом — бездыханная, чуть не задушенная, растерзанная вся.

Юлия была живая, но, как бывает с убитыми иногда, сквозь тонкую глазную щелку подсматривала за своим несостоятельным любовником, вытиравшим пальцы бумажной салфеткой после банана. Не было сил двигаться, даже приказывать, чтобы задернул тюлевую занавеску от маляра с ведерком на противоположной крыше: он что-то с излишним интересом, не по сединам, приглядывался через улицу к распростертой женщине. О, все равно: и при появлении отца не поднялась бы... Пускай весь шар земной войдет и, удостоверясь в содеянном, не ужасается потом кровавостью последствий. К несчастью, во всем мире не нашлось бы клинка достаточной длины для совершения отплаты. Все следила прищуренным глазком, как герой ее злосчастного романа пожирал третий по счету банан, любуясь на стаю домашних голубей, подобно клокам пламени круживших в закатном небе, и, по рассеянности, видно, не узнавал подозрительного старика

с малярной кистью. Кстати, подобно о. Матвею, так до конца и не сумевшему совместить добрый десяток конспиративных масок в одну личность старца Афинагора, сам Дымков лишь в самом конце разгадал приставленного к нему наблюдателя, когда стало уже поздно. То была, конечно, еще большая неосторожность с дымковской стороны, чем после случившегося становиться спиной к своей недобитой жертве. С визгом скользнувшая по улице внизу **скорая помощь** вернула Юлию к действительности. Кое-как нашарив на полу, и насколько позволял притиснутый телом рукав, она мгновенным рывком подтянула на себя съехавшую шубку... не потому, что ощутила отрезвляющий холодок на обнаженном колене и чуть выше, а чтобы **этот**, проклятый, не понял ее наготы как приглашение исправить свою гадкую недоделку. Словом, самые коварные побуждения приписывала она ангелу, не повинному ни в чем, вместо благодарения судьбе, что кинокартина, откуда был почерпнут его инструктаж насчет обращения с дамами, не оказалась инсценировкой из жизни одного венецианского мавра, например, что могло оказаться роковым при его наблюдательности.

Заслышав шевеленье позади, Дымков обернулся к Юлии все с тем же самодовольством Геракла после интимнейшего из его подвигов.

— Почему-то ужасно проголодался, а вы?.. Полежите, я сейчас вам сервирую кое-что на скорую руку... — В его возможностях покамест было наделать ворох любой, лишь бы известной ему, пищи, ему хотелось одновременно поразвлечь чем-то недовольную Юлию. На стенке по соседству когда-то украшением дедовской столовой висел старофламандский натюрморт, где при довольно скромных размерах была насована уйма всякой съедобной всячины, включая лимон с распущенной кожурой и зажженную свечу зачем-то. Галантным движением базарного чародея запустив туда руку, Дымков достал флягу с вином и бокалы к ней, оставив третий на месте, и так как ни сыр, ни фаршированные яйца тоже двухсотлетней давности, хоть и довольно свежие на вид, не внушали доверия, принялся вытаскивать полное виноградом доверху серебряное блюдо, никак не пролезавшее у него сквозь тесноватый проем рамы. Как положено заправскому фокуснику, номер свой он показывал не спуская

глаз со зрительницы, и, конечно, ни один из когда-либо показанных им магических фортелей не сопровождался такой четкой, в смысле правдоподобия, отработкой деталей, как теперь.

— Прекратите ваш балаган... — качая головой сказала Юлия, — мне плохо, уходите. Пожалуйста.

— Вам понравилось? — польщенно спросил Дымков, подразумевая, видимо, всю совокупность доставленных даме удовольствий.

— Вы обаятельный любовник, — сквозь зубы, не разжимая губ, сказала она. — Ладно хоть обошлось без увечья, — нетвердо добавила она, не раскрывая глаз, как и положено переехаанной колесом судьбы, и сделав едва заметное движение ладонью, чтобы уходил.

Но вдруг, не успела на ноги стать, ее вырвало дважды подряд, необъяснимо, бурно и почти ничем. Причиной тому вряд ли был один только распространившийся по комнате скверный душок, возможно, от кабаньей головы во глубине натюрморта, скорее долговременное отравление чудом, нарушившее координацию жизнеощущений, но еще вероятнее — все вместе с психическим потрясением во главе.

Кстати, состоявшееся в только что описанном эпизоде развенчание героя наглядно указывает, что в отмену прежних, научно-космической и кощунственно-богословской версий о происхождении ангела Дымкова, последний как по внешнему облику, умственному уровню и дальнейшей судьбе, кроме заключительного момента, является всего лишь духовной эманацией бедной фантазерки со старо-федосеевского погоста, младшим братом тех фантомов, что, зародившись в бессонном мозгу художника, бродят порой по всей земле с выходом за пределы века.

Сколько Юлия не кивала ему на дверь, всякий раз без тени гнева, тот, донельзя расстроенный, мялся на пороге, ломал себе пальцы, не уходил.

— Вероятно, отец уже на лестнице... скажите, чтоб не поднимался. Никуда не гожусь теперь, не поеду... чуть позже, может быть. Ну, ступайте же, дайте мне прибрать эту помойку. Подергайте дверь за собой...

Ангел пожал плечами и исчез вверх или вниз, неизвестно в каком направлении.

Выяснилось заодно, она спутала даты мероприятий, и ученая коллегия назначена на будущий вторник, а нынче вечером Главное управление цирков устраивает банкет в честь приезжего скандинавского импресарио, бравшего на себя двухнедельную поездку труппы **Бамба** по стране после выступления перед дворцовой знатью. Лишь ради встречи с ним, чтоб не обиделся, Дюрсо раньше срока выписался из больницы и вот платился за безрассудное намерение — по крутому склону любой ценой втащиться на вершину славы. Слишком волновался, найдутся ли портные, успеют ли сшить хотя бы один дипломатический сюртук, так как собственный гардероб растерялся, пообветшал, стал не по фигуре, Дымкову же, как оригиналу, был простителен любой вид... Даже справки наводил стороной, который из шведских орденов доступен выдающимся иностранцам и где его носят: мечталось, чтобы на ленте через плечо. Представлялось, что королю захочется не один раз посмотреть летающее пальто, а такой особе неудобно оставаться в долгу перед каким-то большевиком, и, разумеется, награда коронованного поклонника могла бы возвысить старого Дюрсо не только в глазах покойного родителя, но и советского правительства, непривыкшего замечать свои таланты до признания их за границей... Ему так плохо было в тот вечер, даже не нашел сил предупредить дочь, что проедет прямо в банкетный зал, а прибывший к началу Дымков по рассеянности не обратил внимание на плачевную наружность шефа. Тем не менее оба важнейших тоста старик отметил соразмерными глотками вина, всякий раз запивая тайком спрятанную под губой таблетку. Третий же и заключительный, насчет круговой дружбы северных соседей, от лица своего коллектива произнес он сам, уже на исходе сил и, как все понимали, для единственного там, с опущенным лицом для лучшего запоминанья, неприметного товарища, от чьей подсказки зависело разрешение на заграничный выезд. С бокалом в руке Дюрсо заявил собравшимся, что хотя ему, хлебнувшему по горло старого режима, глубоко наплевать на обреченный капитализм в полном объеме, однако не отказывается между делом на призыв истории путем личного обаяния плюс к тому кулуарных переговоров поослабить международную напряженность, без чего нельзя предотвратить назревав-

шую войну. Участники банкета, в большинстве закаленные администраторы столичных зрелищ, восприняли речь Дюрсо с видом глубокомысленного наслаждения, как разновидность эстрадного жанра. Тотчас после подвига ожидавшее такси отвезло оратора назад, в постель.

На банкет Юлия так и не приехала, вообще несколько последующих дней не появлялась нигде. Трудно было предположить, чтобы девушку с ее вольным умом мог сразить такой смешной удар, которого как будто и не было. За книжку ни разу не взялась, и все равно к вечеру уставала от себя, потому что, если и была рана, все время пребывания наедине с собою — в зеркале, не лечила, а пуще растравляла ее воспоминанием подробностей. Все кинжала не попадалось по руке, но главная трудность заключалась вообще в недоступности ангела для отмщенья... И опять непонятно до поры, как сам он с его способностями не узнал о сбиравшихся над ним тучках.

Первый выход из дому состоялся сразу по возобновлении гастролей Бамба. Не могла отказаться от наркотического опьянения, доставляемого почтительным вниманием публики, ничуть не меньшим, чем в отношении героя дня на арене: слишком привыкла **быть** у пульта назревающих вокруг событий. Как всегда, приехав ко второму антракту, она через служебный вход поднялась было на свое законное место, но выставленная в проходе охрана не пропустила ее в директорскую ложу. Туда прибыл мало кому известный и даже, казалось бы, промежуточного ранга сановник, даже не полувождь, административная значимость коего обозначалась лишь количеством по всем щелям расставленной охраны да разве только особо оскорбительными приемами обращения, какого Юлия не испытала от самого Курандина при точно такой же случайной встрече. Высокомерно начальственной печалью, из-за необходимости копаться в грязи, был окрашен состоявшийся на вонючем лестничном сквозняке допрос Юлии насчет ее социальных координат, также — истинной цели проникновения в цирк без билета и необычным путем, — но еще более раздражала неторопливая пунктуальность, с какой чуть не по секторам сличали ее внешность с фотографией в документе и кончиками пальцев затем исследовали содержимое сумки, прежде чем отпустить... всякая мелочь поли-

цейского прикосновения приводила Юлию в бешенство. Не вступая в пререкания, она прямиком отправилась рассказать о случившемся Дымкову, чтобы тот длинной рукой проучил зазнавшегося вельможу, но сообразила по дороге, что жалоба ее означала прощение предполагаемому защитнику за еще худшее оскорбленье... Как всегда, публики было чуть не вдвое больше проданных мест. По круговому променуару в два встречных потока текла пестрая зрительская масса, распаренная не столько даже аммиачной конюшенной духотой, как волнением предстоящей необыкновенности. Пока колебалась, идти ли, Юлию понесло толпой: ничего, пусть смотрят на сверженную королеву! Ее замечали и сторонились, склоняя головы под предлогом заблаговременного протирания биноклей, и тем пристальней к ним под носовые платки засматривали особые инспектора, выуживая контрабандные фотоаппараты. Обильная иностранная речь подтверждала возрастающий зарубежный интерес к **иллюзиону** Бамба, способному, при некоторых условиях, затмить все прочие сенсации века. Как раз двое у Юлии за спиной беседовали по-немецки о мимолетной заметке в заграничной прессе, где московский корреспондент тоном комического прогноза, вполне всерьез, однако, предсказывал цирковому аттракциону грозную будущность в арсеналах наступающего коммунизма, — но ничье признанье, хотя бы мировое, не могло смягчить ее гнева. Когда же кто-то из старых приятелей отца детским именем назвал ее сбоку, вовсе не обернулась во избежание расспросов о постигшей ее катастрофе, тень которой еще отражалась в ее лице.

Совсем недавно глохла и слепла от ярости, заслонившей все на свете, поостывшая теперь в ноющую потребность отплаты — не сановнику, конечно, занявшему ее тронное место наверху. Сколько же полезных открытий по части мщенья было сделано Юлией за минувшие дни добровольного заточенья! Казалось бы, каким инструментом добраться туда, в **середку** ангела? Но ведь убойные качества кинжала определяются не только твердостью металла, длиной жала, тонкостью заточки, даже не механическим расчетом лезвия, для лучшего преодоления среды или веществом подсобного действия, заранее нанесенного на режущую поверхность, но в неменьшей

степени морально-психологическими обстоятельствами, вроде внезапного удара и выбора самой точки пораженья, откуда орудию легче проникнуть за пределы, обусловленные его техническими параметрами, желательно в самый мозг жертвы. И престранное совпадение, едва подумала о внешнем виде кинжала и подходящей для него руке, тотчас наткнулась взглядом на мелькнувшее в потолке узкое, как бы затесанное лицо. Значит, и он различил ее одновременно, потому что видно было, как дернулись от неприятной неожиданности его усики, и потом произошла стремительная эволюция взаимоотталкиванья, отражавшая механизм их тогдашних, на разрыве остановившихся отношений.

Надо подвести итог чувствам, с какими они сходились в этот раз. Если любая жизнь бывает проникнута одним каким-нибудь стремлением, неизгладимой, до гроба неосознанной тоской иногда, то у режиссера Евгения Оттоновича Сорокина все заключалось в преодоленье той давней, еще киевской травмы; происходившим отсюда ощущеньем неполноценности и мерился масштаб его болезненного самолюбия. На своих кинопремьерах и международных фестивалях, чем ценнее бывали премии и громче аплодисменты, тем унизительнее представали некоторые болезненные видения детства... Нет, не услужливо суетливая при всей громадности, столько конфуза доставлявшая юноше своими ухищрениями нищеты, бестолковая мать, не столь же фантастический отец в портновской жилетке и с чахоточным хвастовством о своей причастности к истории, так как подмастерьем у знаменитого портного принимал участие в сооружении того самого парадного мундира для господина киевского градоначальника, в коем тот совместно с чинами придворного ведомства проносил мимо огорченного государя императора только что подстрелянного Столыпина... Пожалуй, никогда и ни к чему другому в жизни, включая приобретенный впоследствии малолитражный автомобиль, потолок мечтаний советского деятеля на вершине бытия, не питал Сорокин более страстного вожделения, чем к той кондитерской слоеной драгоценности с розовым тюрбаном глазурованных сливок, на которой и был так печально **застукан** в богатом особняке на Банковой. Юлия всегда понимала, что было бы смертельной обидой

Сорокину хоть полусловом обмолвиться про тот смешной, давний, вообще незначащий эпизод: ну чуть у них возникала пауза в разговоре, оба почему-то именно его принимались разглядывать в памяти своей — пристально и по-разному: она — как лакомство, сберегаемое в запасе до поры, он же — как хлыст, которым когда-нибудь его ударят по лицу. Однако имелось нечто, еще более тяготившее знаменитого режиссера, — не одни только черные, сквозь лестничную балюстраду, насмешливые глаза наблюдательной девочки преследовали его всю жизнь, даже не само по себе скрипучее пророчество великого Джузеппе насчет его кинокарьеры, а последующий затем момент, когда стоявшая сзади мать могучим нажимом в затылок сына склонила его к руке парализованного старца. Так сошлось, что уж никак нельзя стало обойтись без поцелуя, которым он, **временно бедный**, как было сказано о нем, мальчик выручал свою кормившуюся при доме семью, ибо сопротивление, конечно, повлекло бы для нее кучу мелких, нищету усугубляющих бедствий. В конце-то концов не было ничего позорного в помянутом акте почтения к гению, богачу, патриарху, вроде как бы и благодетелю, но в том-то и дело, что сверх заработанного горбом никогда не было получено ни гроша из лобызаемой руки — ни до, ни после погребения в счет совершенного поцелуя. Меж тем настолько сочно, от безвыходного ребячьего усилия, видимо, прозвучал тогда самый **чмок**, что доселе стоял в ушах и свидетелями был воспринят, если не как присяга на верность уходящей династии, то по меньшей мере как трогательное обещание, чуть выбьется в люди, тотчас поспешить снять на кинематографической ленте особо высокохудожественную картину с участием маленькой Юлии, которая к тому времени как раз успеет подрасти. Таким образом, стоявший на краю могилы великий человек, не расходуя основного капитала, оставляемого в наследство обожаемой внучке, дополнительно, чтобы не скучала в жизни, обеспечивал ей вполне радужную, привольную будущность и одновременно творил благотворительное дело, на пьедестал возводя ничтожество из грязи. Юлия сидела на окутанных пледом коленях деда, но отлично запомнившая украденное пирожное, она про тот знаменательный вечер, никак не запечатлевшийся в детской памяти, узнала лишь

в преувеличенном пересказе родни и, разумеется, после успешного сорокинского дебюта на развивавшемся тогда кинопоприще. В действительности никакого скрытого механизма не содержалось в мимолетной шутке старика, растолкованной позже в желательном смысле, вдобавок почти никого из свидетелей не оставалось в живых, кроме одного Дюрсо, пожалуй. Сама же Юлия легчайшим намеком, в обстоятельствах крайней нужды не напомнила бы мнимому должнику про взятое обязательство, но, значит, с возрастом, все настойчивее при встречах, читалось в ее лице какое-то затаенное ожидание, приводившее режиссера в исступленье кроткой, причем социально окрашенной ненависти к миллионеру — в первую очередь ухитрившемуся сорвать пожизненный вексель с юнца и оборванца. В конце-то концов последнему ничего не стоило, ибо за казенный счет, оплатить его в общем потоке расхожих фильмов. Неминуемый приговор газет избавил бы Сорокина от повторных попыток. К сожалению, в окружающей действительности не обреталось роли, мало-мальски, чтобы посмешища не получилось, подходящей к царственно-статуарной конституции актрисы.

В толчее заметив Юлию, режиссер попытался сделать **финт**, метнулся вправо-влево, спрятался было за подвернувшегося плечистого моряка. Не благоразумие или самолюбие удержали его от унизительного бегства, а то совершенно новое обстоятельство, что и Юлия прикинулась, будто не видит его, взаимоотталкиванье сменилось фазой обоюдного притяженья. В следующий момент он с фальшивым оживленьем, салютуя поднятыми руками, двинулся к ней наперерез потоку. Шумно-преувеличенная радость встречи даже привлекла внимание толпы, обтекавшей их по сторонам. Произошел обычный размен репликами скользкого и показного изыска, с холодком притворной дружбы — защиту от иной навязчивой искренности, чтобы не раскрываться самому: лучшая гарантия от чьей-нибудь бестактной судьбы.

— Ну, и я, и я то же самое... — сдержанно говорила Юлия, высвобождая из сорокинских рук свои. — Смертные полагают, что эпохальный режиссер обогащает на съемках мировой экран, а он... Как это вас занесло в наш печальный балаган?

Он комично пожал плечами:

— Чтобы обогащать кого-то, надо изредка обогащаться самому. Я с детства питал почтительную зависть к фокусникам, уличным шарлатанам, ко всяким вообще простонародным сластям... — Он почти побледнел от словца, выскользнувшего из памяти, но Юлия великодушно не заметила оговорки. — А вы-то, вы-то, капризница, что поделываете тут? Вы же собирались куда-то, не то в Давос, не то на Бискайю.

— О, вы совсем отбились от реальности, Женя. С некоторых пор я чуть не каждый вечер высиживаю здесь в директорской ложе.

— Это у вас атавистическое, я тоже был подвержен цирковой романтике: выстрелы бича, пощечины, конский аммиак. К несчастью, все ржавеет на свете, меркнет, приходит в негодность... детские очарованья и мы сами вместе с ними.

— Не потому вы пытались сейчас скрыться от меня, чтобы не омрачаться видом друзей.

— Напротив, это пани Юлия надменным сиянием наполняя цирк, не обратила внимания на своего давнего поклонника... хотя он все первое отделение подавал вам сигналы и всякие фигли-мигли, с риском вызвать неодобрение милиции.

Она иронически улыбнулась режиссеру.

— Последнее тем более трогательно с его стороны, что я прибыла всего минуту тому назад, — досказала она и насладилась его замешательством. — Но давайте же отойдем в сторону, а то **они** затопчут нас.

В их кругу в особенности ценились умные колкости, произносимые без интонации и хотя бы на уровне цирковой репризы, лишь бы сражающие наповал.

Антракт кончался, пора было спешить на места.

— И что же вдохновляет вас на ваш ежевечерний подвиг?.. Роман, какое-нибудь экзотическое увлеченье?

— Не терзайте меня насмешками, Женя. Все простительно одинокой, всеми покинутой женщине...

— ... потому что все боятся фамильярностью навлечь на себя вашу немилость, пани Юлия, — впрок, на будущее поспешил оправдаться Сорокин. — Однако, по старой дружбе, кто же он?.. Ведущий акробат, кавказский

канатоходец? Тоже среди наездников попадаются иногда Гераклы с мощной фигурой...

— Я вас давно не видала, вы стали изрядный балагур с тех пор и, видимо, сегодня в ударе, — в полушутку хлестнула она его словом в наказанье. — Право же, у меня так на душе, словно попала в компанию подвыпивших гардеробщиков.

— Нет, в самом деле, что? Не бойтесь меня, я чем-то отравился вчера и не смешлив сегодня.

— Нельзя, здесь тайна с грифом высшей секретности.

— Клянусь никому не выдать ваш секрет, — все добивался режиссер с каким-то тайным умыслом. — Дайте же хоть на карточку взглянуть, в сумке у вас, для кого вы берегли себя столько лет и зим, пренебрегая толпой нищих там, внизу.

Действуя натиском и шуткой, он почти расстегнул лакированную коробку у ней на ремне, она отвела в сторону его слишком предприимчивую руку.

— Не суйте нос куда не надо, а то машинка защелкнется и вы потеряете добрую половину своей былой привлекательности. — Просквозившая в ее тоне серьезная нотка заставила Сорокина комично поднять руки в знак капитуляции. — Право же, когда вплотную приглядишься к людям, невольно проникаешься жалостью, даже гуманизмом ко всем пытающимся переделать их на высший образец.

Замечание Юлии относилось к толпе, заторопившейся на чудо, пришлось прижаться к стенке. Скоро никого, кроме них, не осталось в опустевшем проходе.

— Дорогая, я не собирался огорчать вас, но вы так похудели... и мне не нравится тревожность в ваших глазах, словно приходится обороняться от какой-то безумной идеи. Если не секрет, что именно происходит с пани Юлией?

— Я очень сложно живу сейчас. Высокая гора и отвесная пропасть над нею.

— И вроде воздуху не хватает порой, так? Узнаю симптомы... это и роднит вас с выдающимися **менталитетами** современности, как сказал бы ваш уважаемый папа. Со мною в том числе, с вашего позволения. Дело поправимое, если нет другого диагноза...

Она надменно усмехнулась:

— Я тоже имею склонность к юмору, но здесь несколько иные переживания, чем у передовиков животноводства, в которых, судя по последнему фильму, вы так сильны. Случилось, Женя, что на вершине горы я вошла в странное облако. Мне в нем нехорошо.

— Но разве нет у пани Юлии интеллектуальных друзей, чтоб какой-нибудь смельчак протянул руку сойти назад, к людям?

— Пусть протянет.

— Он не прочь, но ведь для этого ему потребуется побывать на месте действия.

— Мы могли бы отправиться туда немедленно.

Вслед за бурей аплодисментов наступившая тишина возвестила начало аттракциона. С тоской во взоре Сорокин обернулся на проход к арене, и Юлия до конца насладилась его плебейским сожалением о пропадающем билете, стоившем даже ему таких усилий.

— Неплохая мысль, но боюсь, мы уже опоздали к началу. Меня так долго звали, что не хотелось бы обижать приятелей, самого чародея в том числе.

— Значит, вы его знаете?.. Встречались с ним?

— Немножко... ведь кое-кто из видной цирковой бражки иногда снимается у нас. Мастер своего дела, но, как у большинства фокусников, весь ум у него в пальцах, — с детской правдивостью во взоре отвечал режиссер Сорокин. — Слушайте, Юлия, у меня есть дельное предложение: давайте мы отправимся к вам сразу после представления?

Юлия успокоительно коснулась его руки:

— Я вас понимаю, мальчик вцепился в приглянувшийся ему пряник и не хочет выпускать... но до конца сезона у Бамба еще пять выступлений. По телефонному звонку я устрою вас на любое. Кроме того, чуду предшествует научная лекция, чтобы немножко продлить хронометраж номера. Вот папа сейчас и треплется там о вреде суеверий в сознательном социалистическом обществе.

— Ну, что же, во всем цивилизованном мире принято заворачивать товар в шумную оберточную бумагу, чтобы продлить трудящимся удовольствие покупки, — и все еще сомневаясь в чем-то, согласился Сорокин. — Кстати, далеко отсюда до вашей горы?

— О, мы поедем быстро и вернемся до ночи, у вас нет причин колебаться, итак, поехали?

— Тогда мне остается пане Юлии раскрыть секрет моих колебаний. Я сегодня пеший, мой конь как раз на перекраске.

— Мы отправимся на моей.

Наружные лампионы были уже погашены, цирковая программа близилась к завершенью, но, как обычно в гастрольные вечера, тесный бульварный проезд перед зданием был запружен людьми. Конная милиция здесь и там монументально возвышалась над изреженной толпой, неподлежащей разгону, так как ничем не нарушала уличного распорядка. Снова, расходясь на целую ночь, накрапывал дождик, но, невзирая и на поздний час, все они там, милиционеры тоже, понуро и горько, не спускали глаз с наглухо закрытых дверей. Возможно, дожидались окончанья, чтобы поймать в глазах у выходящих отблеск только что совершившегося, загримированного чуда. Оно должно было подтвердить им существованье чего-то в нарушение повседневных законов бытия — от распорядка коммунальных квартир до обязательного всем всемирного тяготения.

Сборище расступилось с открытой враждебностью к людям из расы господ, пренебрегших самой надеждой для неведомых смертных целей. Иные дантовским шелестом губ просили **билетика**, — режиссер воздержался из-за реальной угрозы быть растерзанным вместе со своею дамой... под конец пришлось протискиваться локтями, почти бежать. Машина находилась в темном переулке за бульваром. Просто везло Сорокину, что собственная его жестяная коробка оставалась в гараже, — рядом с автомобилем Юлии она выглядела бы совком для уличного мусора — только с окошками и на колесах. Казалось, все адские соблазны капиталистической цивилизации сочетались в длинном, для лучшего пожирания космических пространств, транспортном агрегате, правой стороной взобравшемся на тротуар, чтобы не загромождать проезжей части проулка.

При погрузке в него Сорокин испытал знакомое, довольно тошнотворное чувство личной невесомости, с каким вступал когда-то в мрачный особняк на Банковской.

— О, откуда пани Юлия раздобылась такой таратайкой?.. Заморский дядя? — и с кривым ртом высказал сожаление, что в роду у него не нашлось конквистадоров для завоевания золотоносных песков за океаном. — Или тетя?

Юлия не откликнулась: слишком много цветных и мигающих точек на пульте требовали ее внимания. Что-то бешено простроилось под ногами, и путешествие началось. Дождь хлестал снаружи, но внутри было тепло и сухо. И до такой степени не достигали сюда житейские огорченья, даже изъяны мостовой, что наблюдать предночную уличную суматоху за стеклом было приятно и беззаботно, как, наверно, с неба. Пока из лабиринта выбирались на простор, магнитный негритенок над пультом лишь дважды тряхнул головой, — позже у него не было повода для потрясений. Вдруг Сорокину стало ясно, что за полчаса подобной скорости можно умчаться даже в такую даль, откуда нет возврата. Последнее слово техники, изворотливое до сходства с живым организмом, машина проявляла такое презрение к дорожным знакам и уличным препятствиям вроде встречного транспорта и просто уличных фонарей, к самим законам механики наконец, словно кто-то дополнительно, с заднего управления, что ли, корректировал очевидные погрешности водителя. На крутом повороте, слегка оттеснив хозяйку, озабоченный седок кинул взгляд в сумерки за спиной, никого третьего там не было. И так как дьявола не виднелось позади, значит, действовало какое-то жироскопическое устройство его изобретения. Время от времени трепетное, всякий раз не осуществившееся ожидание неминуемой катастрофы стало сменяться приятным замиранием сердца от скольжения в какую-то бесшумную пустоту. Вряд ли даже на испытательном треке позволительно так форсировать мотор, и следом вошло в голову, какие призы можно было сорвать на ближайших же мировых гонках. Искоса Сорокин взглянул на соседку за рулем: никогда не видел ее такой. Трудно было понять, что именно происходит с нею. Возможно, сама природа, в наказанье за слишком долгое женское сопротивленье, лишает Юлию своего покровительства, прежде всего тех последовательных превращений, естественно приводящих к итоговому примиренью в конце. И хотя их общественное положение

давно сравнялось, Сорокин с раздраженьем поймал себя на почтительной осторожности, с какой пытается ставить диагноз состоянию Юлии, даже в мыслях избегая положенных в таком случае медицинских формулировок... Не место было бунтовать здесь, и, кроме того, как шла ей теперь огорчившая его давеча худоба одержимости — от напряжения на пределе сил, ожесточенного азарта, как будто непременной через какую-нибудь минуту вспышкой пламени с распылением в нечто хотела растратить до конца предоставленное ей, осмыслению не поддающееся чудо. Зеленоватые блики из прорезей пульта лежали на ее губах и щеках, светились в крупных пуговицах пальто, в камне несоразмерного ее руке, почти мужского перстня. Наблюдаемое всего сравнимей было с флюоресценцией человеческого вещества, застигнутого электрической бурей. После затяжных поисков поэтического материала, конституционального близкого наконец-то в режиссерские руки сам ложился сюжет мирового боевика — с участием полуотвлеченных существ, от века служивших людям крупнейшими купюрами мысли — неких тайных сил, в чьих грозных возможностях уже убедился и чьего бытия все еще не допускал — и оттого столь рискованным для автора без философского обеспеченья. Собственно, уже владел сюжетом, видел на просвет, но, по счастью, для репутации своей так до самой развязки полгода спустя и не осознал богатой темы, — слишком чужда она была миру бытовавших в тогдашнем кино доярок, монтажников, стригалей и других тоже, где профессия, социальный привод с эпохой, считалась лицом самой души.

Потусторонне чье-то присутствие стало еще очевиднее по выходе на простор загородной трассы. Весьма обострившаяся восприимчивость режиссера Сорокина помогла ему на подобной скорости и сквозь хлеставший дождь подметить, как они с ходу перемахнули железнодорожный разъезд со шлагбаумом по случаю как раз проходившего поезда. Не поворачивая головы, Юлия остерегла своего пассажира от самоубийственной попытки спустить окно, высунуться наружу, но и без того легко было убедиться, стоило взглянуть вниз, прижавшись щекой к стеклу, что тот отрезок пути прошли на бреющем полете... Сорокин пояснил было свое намеренье чисто научным любопытством — сохранились ли и что поделы-

вают колеса, — но Юлия не ответила. Вообще свойственный ему бескорыстный юмор приобрел вдруг несколько утилитарный оттенок.

Так он поинтересовался, например, в какую приблизительно помесячную сумму обходятся Юлии милицейские штрафы и аварийный ремонт? Ответа не последовало. Тогда он спросил, имеется ли в походной аптечке йодная настойка — своевременно смазать костные переломы во избежание гангрены: тоже безрезультатно. Наконец, он подошел к делу с чисто практической стороны, осведомясь у соседки, давно ли работает ведьмой, в смысле — достаточно ли освоилась с ремеслом, чтобы гарантировать своему пассажиру достаточную сохранность для завтрашнего боевого заседания на коллегии министерства, куда, к сожалению, в гипсе не пускают.

— Берегите нервы, Женя, они нужны для искусства. Моя машина не то что заколдованная, но все предусмотрено в ней... хотя вряд ли через триста лет будут такие тачки, — успокоила его Юлия.

В доказательство полной безопасности она еще ускорила ход машины. Если минуту назад встречные деревни и поселки как бы вспыхивали и гасли по сторонам, теперь скользящую мглу с каплями стелющейся влаги лишь прорезывали световые тире. Все же сильные фары позволяли различать кое-что впереди, кроме летящей навстречу нам вечности, чтобы удобнее разбиваться о нее: и неизвестно, что думали жители внизу о мелькнувших в небе лучах, позитивная наука достаточно навострилась последнее время при помощи наличных пяти пальцев объяснять все на свете... Сорокину видно было за ветровым стеклом, как машина круто обошла угол у надвинувшегося лесного массива, и тотчас же Юлия откликнулась в тон его мыслям, не отрывая глаз от струящейся в световом луче дымной мглы, что иногда отход от правил движения, на приличной скорости, позволяет срезать досадные дорожные петли, миновать людские пробки и заторы, сокращать расстояния, экономить дни.

Некоторое время режиссер зачарованно глядел вниз, на быстролетную внизу световую морзянку ночных селений, запоздалых машин на шоссе.

— Я не видел вас целую вечность. Пани Юлия успела кончить за это время краткосрочные курсы ведьмов-

ства? — Он беспокойно покосился на молчавшую соседку. — Крайне отрадно, что прогресс становится повсеместным явлением. Надо надеяться, ваша.., в общем-то, довольно элегантная метла обладает фирменной гарантией безопасности...

— О, я тоже боялась первое время с непривычки. Ничего дурного не случится с вами, Сорокин, пока вы со мною.

— Это не робость, уважаемая пани ведьма! Мне просто еще не доводилось летать на помеле, пусть даже таком комфортабельном, как ваше. Скажите.., — он помедлил в поисках точного слова, — имеется ли какой-нибудь предел скорости у этого дьявола в стальной запряжке?

— О, без ограничения.

— Не хотите ли вы сказать, вплоть до световой?

— Даже втрое, вчетверо и больше...

— А вы пробовали?

— Боюсь.

— Чего? Чего?

— Не знаю... Предвижу новую вспышку вашего полнокровного юмора, но здесь не трогайте, Женя, можно сжечь пальцы. Не хочу... — и чтобы прекратить расспросы, легким прикосновением к пульту впустила в кабину мягкую мурлыкающую музыку.

Серьезность ее тона, обстановка ли влияла, но только, к удивленью своему, Сорокин ощутил непосредственную близость той же самой неизвестности, что и в тот раз, зимой, когда на радостях покупки отвозил в Старо-Федосеево странную девицу в плюшевой шубке с лисьим воротником. И едва подумал о Дуне, тотчас о ней же, в перекидку мысли, вспомнила и его соседка.

— Так давно не показывались на моих четвергах, что мы собирались коллективно оплакивать вас.

— Бог наделил пани Юлию чутким сердцем, я действительно еле выжил после целого месяца на съемках в тайге, снедаемый гнусом, местной вонью и насморком.

— Тем приятнее сознавать, что пошатнувшееся здоровье не помешало вам сразу по возвращении завести счастливый роман... хотя и не с очень соблазнительной малюткой!

Сорокин кинул косой взгляд налево, — нет, ничего не прочесть было в ее лице.

— Мне льстит ваше сообщение. Ну, что же, чем неправдоподобней легенда, тем выше слава, которую она сопровождает... — тянул он, мучительно соображая и решая на всякий случай ничего не опровергать наотрез. — Конечно, жизнерадостному художнику с воображением и у которого жена второй год прикована к постели было бы позволительно завести шашни **налево**, но для них, помимо укромной **хазы** на стороне, требуется время, а как вы слышали, наверно, у лошадей весь их пыл уходит на добывание овса, а то и просто сена.

— Мало того, Женя, что вы себе заводите постороннюю голубку, вы еще воркуете с ней в самом уединенном уголке речного вокзала, лишь бы утаить такую сенсацию от огорченных друзей...

Было бы глупо спрашивать: ни кому он обязан таким открытием, ни каким способом было оно совершено? Судя по автомашине, повелительнице дьявола на побегушках ничего не стоило иметь дозорные глаза на всех перекрестках мира. В самом допущении нечистой силы, хотя бы гипотетическом и вполушутку, сказывалась несомненная эволюция закоренелого скептика.

— Большая честь для меня, — суховато сказал Сорокин, — что вы принимаете так близко к сердцу мои маленькие приключенья, хотя, сколько мне помнится, я никогда не числился при вашем дворе.

— Все равно, я не люблю, когда срываются с моей орбиты... Впрочем, в тот раз заодно с досадой я испытывала и сожаление... но **я-то свой** человек. Как хорошо, что вы не напоролись в Химках на кого-нибудь из наших маститых хохмачей, они бы сделали из вас калеку на всю жизнь. Уж если вас мучат избыточные силы, снимая свой **шлягер** по животноводству, вы запросто могли бы подобрать на лоне природы пейзанку, вкусно пахнущую соломой и парным молоком. В самом деле, где вы раскопали свою такую иззябшую, ощипанную милашку?.. Так и не могла понять, какие тайные адские пороки утоляете вы в компании с нею? Кстати, напомните мне, как называется бумажная, с ворсом, ткань у нее на шубке?.. Плюш, плис? Из нее шьют шаровары для плясунов из самодеятельности и оклеивают изнутри балалаечные футляры... Скажите, вам и в самом деле уютно с нею, Женя? — наотмашь жестко изрекла Юлия.

Сорокин стиснул зубы:

— Ярость или, пардон, ревность не мешает пани Юлии вести машину?.. Может, приземлиться до окончания припадка?

— Нет, ничего, — в запале продолжала она. — О вкусах не спорят, другое имею в виду... Никогда не думала я, что вы такой скряга, Сорокин. Ладно, еще в отношении подарков в какой-то мере простительно проявить забывчивость под предлогом любовной горячки, но вряд ли разумно экономить в отношении **харчевки** на своей даме. Конечно, не надо приучать их к излишествам, но, лакомясь кетовой икрой, не заказали для нее и пирожка... ну, с конским ливером, что ли. Мне не раз приходило в голову, что с утратой детской человечности люди приобретают либо слезливую чувствительность, либо полную черствость взамен... Так вот, Сорокин, нельзя так, надо подкармливать свою милашку.

Тем оскорбительней звучало обвиненье, что произнесено было вполне благожелательно, в тоне опечаленной дружбы.

— Я не сержусь, — сдержанно отвечал Сорокин, — пани Юлия не виновата в том, что изредка поддается наследственной потребности щелкать шамбарьером поверх зверей и нищих, но не чересчур ли пользуется она тем грустным обстоятельством, что в столь уединенной местности мне не найти сейчас, пожалуй, обратное такси.

Он принялся деятельно протирать запотевшее стекло сбоку, словно в чаянии рассмотреть сквозь туман хоть попутный грузовичок там, внизу. Благодарение Богу, что не высказал **с маху** в качестве предполагаемого повода ее поступления в юридический институт врожденную склонность **карать** кого-нибудь. Вдруг самое дыханье его замкнулось от совершенно точной, потому что единственно-реальной догадки, которая тотчас и подтвердилась.

— А может, это и есть новая ваша муза? — вкрадчиво спросила Юлия. — Восходящая звезда?

Он сокрушенно всплеснул руками.

— Пани Юлия всерьез считает ту бедняжку подходящей к моему творческому профилю? — и в голосе его прозвучала неподдельная горечь за столь незаслуженное сниженье своей духовной личности до такого уровня. — Эта тема ниже моего регистра...

— Очень рада, Женя, что, несмотря на обступающие соблазны, вы не изменили своей главной теме. Я потому вас заподозрила немножко, что вы у нас **универсал** не хуже всеядного блоковского скифа, которому внятно и чужое, даже враждебное. В любой измене, помимо самого факта, еще важнее — с кем она совершена. Вы росли у меня на глазах и, сколько помнится, помимо своих сценариев, удачных иногда, успешно сочиняли вологодские частушки, воззвания к трудящимся, цирковые репризы, даже текст для гимна, правда, сразу же отвергнутый.

Видимо, и ему самому было весело вспоминать былые подвиги.

— А также духовные стихи многоголосого исполнения по заказу баптистской общины, международные обзоры для тугодумного начальства, тататушки для конферансье... Мало ли чего там, — добавил он. — Не судите строго: я был молод, нищ и голоден тогда... но и теперь держусь точки зрения, что не стыден никакой честно заработанный хлеб.

— На моей памяти, — стала иронически перечислять Юлия, ведя машину поперек широкой, внизу, в сером падымке незнакомой реки, — вы ухитрились побывать руководителем детской самодеятельности, консультантом по спорту, напомните, кем еще?

— Кроме того, в моем потенциальном диапазоне — и присяжный поверенный, ученый секретарь чего-нибудь и митрополит пусть даже на Огненной Земле, но всюду с гарантированным успехом, — со смехом пополнил он свою действительно многогранную биографию. — Истинный талант есть мгновенное постижение самой конструкции явления, подчеркиваю, любого. Знаете, при моей внешней сохранности я ведь очень древний, дорогая, — с неожиданной строгостью добавил он, — все видел, трогал, владел, оплакивал... Знаю изнанку всего на свете. Давайте мириться, пани, — властно сняв с руля ее руку в перчатке, почтительно приложил к губам.

Она не противилась:

— Все же, приоткройте мне механику такой постоянной удачи...

— Ну, везде требуется одно и то же. Сделать для окружающих свое существование необходимым, суждение авторитетным. Легче всего это достигается в искусстве, но

не в исполнительном его разделе, где пребывание оплачивается потом, паденьями, сломанными крыльями, а в смежном — регистрационно-наблюдательном: куда пускают даже без таланта и патента. Практика такова, что недоданный автору паек хваления подобно прибавочной стоимости автоматически зачисляется на текущий счет критика. Так без особого повреждения здоровья и затраты времени на кропание ценностей к старости составляется капитал, нередко превышающий возможные процентные отчисления за соавторство. Собственно, все исключения известны современникам наперечет. Дело в том, что в своей мнительной осторожности, как бы не надули, публика щедро оплачивает строгую дегустацию предлагаемого товара, причем сладострастно любит наблюдать послойное снятие кожи с живого автора под благовидным предлогом проникновения в таинственный для нее творческий процесс. А если кому посчастливится раздеть гения вдобавок... о, критик со шкурой гения через плечо становится величественным и грозным явлением эпохи. Будь я поленивей, из меня вышел бы изрядный **зоил**! А попадись мне под руку подходящий Гоголь, о, я бы с таким трофеем... — Он замолк не без досады на себя за болтливое, все из того же льстивого плебейского красования, раскрытие глубочайших производственных секретов, пускай даже высокопоставленному благонадежному собеседнику. — Ну хватит об этом. Нам далеко еще ехать? Я собирался прояснить наши старые отношения заодно...

— И все же мне не нравится ваша философия, Сорокин, однако не виню вас, — со сдержанной неприязнью наставительно заговорила Юлия. — Там, внизу, откуда вы, в силу тяжких жизненных условий, все, чем жива душа, вообще воспринималось в упрощенном аспекте физиологической потребности — вроде почесаться, сходить в баню, зарядиться калориями на трудовые сутки. Зародившаяся в обиходе обеспеченных сословий как высшее духовное роскошество, так называемая **вечная** любовь, сегодня, судя по количеству разводов, не шибко приживается среди беззаветных тружеников. Правда, в преддверии великих столкновений иные мирные добродетели вырождаются у молодежи, хотя отжившие святыни жестоко мстят за свое осквернение. И сегодня любовь

не просто дар в расцвете жизни, но и единственный через пламя смутного времени перекинутый мостик в далекое послезавтра, где уже нет меня, растворившейся в толпе незнакомцев, но какой-то из них, может быть, ближайший **мой потомок**, как всегда бывало в годы бедствий, путеводной звездой взорвется над заблудившимся миром... и я в нем! Вообще не выношу срезанных цветов, убиваемых в самой их надежде... — по какой-то недосказанной логике заключила она.

— И давно, если не секрет, потянуло вас на сей благородный в смысле жертвенности, но опрометчивый для девушки поступок? — в тоне прежнего полемического задора справился у своей, возможно, будущей клиентки Сорокин, но та замкнулась в себя, сквозь стекло уставясь в летящую ей навстречу маньякальную даль. — Точнее и начистоту, откуда у ясновельможной пани с ее повышенной чувствительностью на малейший, даже безбольный дискомфорт, в чем, кстати, видятся мне корни ее неприступного античного целомудрия... спрашивается, откуда у ней влечение, навряд ли сладостные в наше время, насколько понял я, муки мессианского материнства? — И опять молчание было ему ответом. — Опять же я совсем не против масштабной любви с прицепом, как говорится, на светлую будущность... и если бы мне разрешили поставить по вашему замыслу картину гибнувшей планеты, я завершил бы ее как раз эпизодом любовного акта во имя такой, уже напрасной надежды... — И великий артист в доскональных подробностях обрисовал, как последняя на земле, не первой молодости, случайно уцелевшая парочка в каменной щели, под сенью нависшей руины деятельно выполняет Адамов долг по воспроизводству человечества. В данном случае дымящаяся развалина выглядела бы царственным ложем для бессмертных...

К слову, беспросветно ухудшавшаяся тогда международная обстановка внушала режиссеру обидную уверенность, что эпоха не дает ему изготовить достойный ее кинореквием по неоправдавшейся мечте, тем более впечатляющий, что *sub specil aeternitatis*[1].

— Да, я тоже читала где-то, что даже при казни импульсивное сопротивление смерти нередко выражается физи-

[1] Под сенью вечности *(лат)*.

ологическим актом такого рода... и будто бы даже яблоня, если проволочным кольцом сдавить шейку у корня, бурно цветет по весне, цепляясь за жизнь, в напрасной попытке продлить себя хотя бы потомством... — не без отвращенья сказала Юлия. — Как признанному эрудиту, вам знакома ли история некоего Абеляра и его любви?.. Слыхали также, когда много лет спустя последовало великодушное монастырское распоряженье хотя бы посмертно соединить несчастных любовников, то якобы кости Элоизы сами потянулись из гробницы принять в свои объятья возвращающегося супруга. Все-то вы на свете знаете, мудрец, только с изнанки, **с обратной стороны**! Такая банальная с виду любовная тема не нуждается в вулканической или дворцовой обстановке, и не ваша в том вина непониманья. Значит, не все цветы распускаются на всякой почве и, как показывает любая революция, выросшие в нищете лишь с печальным запозданием постигают политическую важность событий, творящихся где-то **там**, в презренной глубине наших душ... Так вот, получился бы скандальный, с противным душком кощунства **шлягер** на уровне модного в Европе экранного товара. **Орхидейно** процветая на чьих-то великанских останках, за ширмой идейного передовизма, вы никогда не создадите эпохального шедевра, о котором мечтаете. Сегодня художнику мало одного таланта, тут нужна гениальность...

— И в чем пани видит разницу? — с профессиональным интересом осведомился режиссер, привлеченный вполне уже товарной, для экрана годной ситуацией интеллектуального преображенья.

— Ну, в том хотя бы... если талант в конце концов неизменно справляется с поставленной целью, то гениальность на каждом узловом этапе внезапно осеняется дополнительными сверхзаданиями, которые множатся с приближением к финалу. Гений несчастней любой бездарности, не сознающей своих очевидных преимуществ в смысле творческого удовлетворенья.

Новичок в затронутой области, она мысль свою выразила попроще в смысле точности, но Сорокин понял, потому что, укомплектованный званиями и медалями, сам постоянно мучился поиском некоего обязательного в искусстве универсального иероглифа, способного изъяснить все роковые трудности эпохи. Тут он вторично, с

почтительным недоверием покосился на спутницу за рулем, обеспокоенный чрезвычайной осведомленностью по части проблем, которые считал закрытой темой своей касты.

Профессиональному киносюжетчику нетрудно было определить источник фундаментальной осведомленности этой избалованной и надменной, хотя уже не слишком молодой и оттого в товарном аспекте почти доступной плебею дамы, тем самым вдвое прельстительней прежнего, но и тем более ненавистной, ибо до такой степени унаследовала от деда династические права артиста, что участившиеся последнее время вспышки бунта всякий раз быстро гасились чувством безоговорочного подчиненья. «Итак, в своих очередных невзгодах пани отвергает художественный аккомпанемент искусства, она предпочитает лоно природы с уединеньем по-тарзаньи, в шалаше?» — многословно и невпопад от гнева собирался уколоть ее режиссер, но вместо того почтительно и наугад, из сочувствия к серьезности заболеванья, коснулся локотка Юлии.

Даже почудилось ему, что, как в Древнем Киеве когда-то, она насмешливо подсматривает за ним сверху, сквозь балясины черной дубовой лестницы:

— Всегда и высоко ценил исключительную проницательность, порою даже династическое сверхбогатство достоуважаемой пани, тем не менее... Откуда ей известно все **это**?

— Ну, всякое сверхбогатство сродни гениальности в том, что весь свой век трагически бегут за неведомой целью, никогда ее не достигая, — сухо и жестко посмеялась та. — Скоро все само собой раскроется по прибытии на место, потерпите еще немножко... кстати, на чем мы остановились? Да, я хотела прибавить лишь, что с детства, натерпевшись рабства и нищеты, вы слишком окаменели изнутри, Сорокин, чтобы творчески заболеть чьей-нибудь посторонней судьбою, в том числе и моей...

— Если эта заслуженная кара за все еще не сбывшийся фильм с вашим участием, — стал оправдываться режиссер, — то кто же виноват, что от нас требуется лишь бытовое ремесло в рамках политического тезиса и текущей хозпотребности. Невольно вспоминается герцог итальянского Возрождения, заставлявший гения лепить статуи из

выпавшего снега: пока не стаял. Сменившиеся боги прошлого тоже воспринимали доставшееся им наследство — пергамент, мрамор, металл и даже кирпич — как даровое сырье для собственных нужд. Нынешние вдобавок, озабоченные скоростной перестройкой мира и приспособляя памятники старины под всякую хозяйственную надобность, вовсе не спешат новые дарить потомкам, а ведь пора бы!.. Тем не менее я не устаю искать приемлемую, в наших условиях, сценарную канву для вашего триумфа, даже несмотря на все новые препятствия...

— Недостаточно фотогенична с возрастом становлюсь или попросту бездарна? — видимая Сорокину через зеркальце впереди, скорбно улыбнулась Юлия. — Чего не хватает — ума, культуры, воли?

— О, как раз напротив, — без тени смущенья подхватил Сорокин, — но в сущности вы актриса для единственной роли, так что историческую ситуацию приходится подбирать к исполнителю, а не наоборот. Натурам вашего, я бы сказал, **эсхатологического** профиля требуется и соответственная апокалиптическая партитура с выходом на простор космического мышления... чем, кстати, неизлечимо болею и сам.

Для такой женщины надлежало изобрести особый, выпадающий из будничной текучки, нечто в библейском ключе, вместе с тем современный сюжет, куда свободно и поэтично вписались бы ее незаурядные ум и характер, а также ее царственная, даже без положенных регалий коленопреклоняющая краса и чтобы, учитывая природные данные актрисы, не требовался исключительный сценический дар. Как ни крутил заданную тему, в воображении неизменно рождалась одна и та же, фантастическая по замыслу, но при все обострявшейся мировой обстановке почти реалистическая сценарная схемка с легким уклоном в некую мистическую документальность, отчего предназначавшаяся исполнительнице ролевая нагрузка целиком возлагалась на статистов ее окружения. Начиналось с того, что повелительница незримого царства, обладающая тысячью имен, среди них ни одного точного, как вавилонская Иштар со свитой магов или лучше — адских призраков, в черном до пят хитоне, с финикийским профилем и насурмленными бровями, в фантастической тиаре — воскресшая богиня, царица аккадской древно-

сти, адская эвменида ли, наконец, ниспосланная осуществить судьбу людей, в самые часы-пик шествует по городам земли, парализуя ужасом бегущую толпу в лаокооновские группы, особенно эффектно на фоне пламенеющего неба... ибо беспощадный завоеватель во главе полчищ или еще грандиозней, сам ангел смерти с огненным мечом стоит у городских ворот. Кстати, для пущего устрашения Сорокин придумал на приспущенных веках преображенной пани тушью нарисовать вторые зрачки, чтобы время от времени, при закрытых глазах, возникал нестерпимо-жуткий, повелевающий взор, каким издавна посматривает на нас терпеливая вечность. При виде подземной царицы народонаселение понимает, что и в тот предсмертный момент можно ничего не делать, а весь оставшийся срок расширенными глазами глядеть внутрь себя: ни с какой величайшей горы не бывает видно столько, как на краю отвесного обрыва, когда открывается, что и предки тоже прожили век на чемоданах, в сборах к путешествию в **золотой век**, оставшийся далеко за кормой, меж тем как осенние сумерки на дворе и уж срублена в лесу гробовая упаковка для отбытия на те блаженные, беззакатные острова... Словом, при известных студийных затратах на соответственно масштабный показ разрушаемой цивилизации с картинками смерти в самых причудливых ракурсировках да еще игривых сценок сексуального жанра в разных трущобных щелях, когда оставшиеся стихийно и подсознательно устремились к заблаговременной закладке послезавтрашнего человечества, мог получиться даже с экрана впечатляющий боевик, способный сыграть всемирно-отрезвляющую роль от пандемического, милитаристского ожесточения, а также доставить пожизненную славу дебютантке. Правда, сказанная затея плохо укладывалась в рамки социалистического оптимизма, к тому же в целях убедительности, чтобы надоумить зрителей к предотвращению увиденного на экране, пришлось бы прибегнуть к безмуляжным съемкам глобальной катастрофы *au naturel*[1] и легко представить, во что обошлась бы, к примеру, массовка эсхатологического отчаянья с участием всего населения небольшой среднеевропейской столицы, которой не пожалели бы ради святого дела, да

[1] В натуральном виде *(фр.)*.

еще на фоне разлетающихся небоскребов, обсерваторий и богоугодных заведений. Впрочем, и при более щедрых затратах вряд ли удалось бы образумить высокое начальство, лишенное воображения насчет последствий своей деятельности.

— Но если, даже сознавая свою вину перед **великим** Джузеппе, я не посмел предлагать пани воплотиться в ходовой и, главное, доходный нынче персонаж с кругозором на уровне квартального промфинплана, тем более не решился бы вовлекать ее в архаическую и тем опасную киноаферу, что боги не разговорчивы, а ввиду бессловесности роли даже с заменой ее, по старинке средствами пиротехники, пани досталось бы сомнительное счастье раскрыть смысловой континуум грядущего катаклизма подачей его изнутри себя с риском комического фиаско или, минимум, душевного заболеванья... Объяснить вам подробно, почему Бога можно сыграть лишь раз в жизни?

— Нет, спасибо! Очень трогательно, дорогой, что вы заботитесь о моем здоровье. Да мне уж и поздно начинать с выходных ролей... — чуть высокомерно сорвалось и, значит, что-то более значительное созревало у ней на уме. — И не презирайте умственные способности доверившихся вам собеседниц. Это я не столько о себе, как о той худенькой замарашке, с которой вы недавно сытно обедали в Химках...

Некоторое время она наслаждалась немотою великого артиста, которому застрявшая в горле пробка бешеных слов мешала произнести хоть одно. Собравшись с силами, он выразил несколько бессвязное и многословное удовлетворение, что предметные уроки Октября, столь прискорбно коснувшиеся уважаемого пана Дюрсо, благодетельно отразились на его дочке в смысле милосердия к униженным и оскорбленным...

— Впрочем, — прибавил он печально, — даже чисто солдатское ожесточение, с **годами** постигающее самые поэтические натуры, не дает права на запрещенные удары ниже пояса. — Здесь он машинально выглянул наружу — много ли ему лететь вниз, если та же колдовская сила вышибет его вон из машины. По счастью, все та же тянувшаяся из прошлого связующая нитка вражды и дружбы удержала обоих от произнесения крайнего словца с необратимым затем разрывом отношений.

— Вы зря обиделись, Сорокин, — неожиданно смягчилась Юлия. — Было бы смешно думать, что я ревную вас к юной девушке или, еще глупее, обозлилась за невыполненный и такой простительный, потому что на краю могилы данный вам наказ несчастного старика во что бы то ни стало прославить в кино его бесталанную внучку, которая, как вы сразу подметили глазом художника, успела подпортиться **с годами**...

Тут режиссер попытался вступиться перед пани за великого старца, но та успела признаться, что и не сгодилась бы на нынешние роли доярок и ткачих. Чем всегда кончались у них ссоры, дружественные интонации сулили скорее примирение: по какой-то не выявленной пока сюжетной линии обе стороны еще слишком нуждались друг в дружке.

— Нет, почему же, — тотчас принялся оправдывать свою позицию режиссер, — принятый нынче на вооружение в искусстве принцип социалистического натурализма с обязательным сведением всех мотивов человеческого поведения к утилитарно-бытовому истолкованию не исключает показа ее широкоугольным планом с птичьей высоты, откуда явственно проступают контуры иной, бессмертной действительности.

— Если не действительно просроченные обязательства, то, надо полагать, мои вольнодумные суждения о любви довели пани до такого, пардон, **самозабвенья**? Я утверждал лишь, что вечная любовь еще присутствует пока в обиходе чудаков пенсионного возраста да в старинных операх и романсах и, конечно, в восточной лирике, вполне уживаясь с гаремом и паранджой. Пани согласится, что нынешнее, без черемухи, влечение нашего брата к дамам вообще существенно отличается от прежней верности и благоговения перед **единственной**. Отметим для справедливости, что и с **обратной стороны** нередко замечается чисто целевое, потребительское отношенье к брату...

— ...и тогда люди лишь побочная продукция любви? Да любая на моем месте усмотрела бы в вашей пощечине материнству гадкое мщение нам за некое досадное неблагополучие по мужской части... Что тогда?

— В случае малейших сомнений вам представляется возможность проверить мою исправность на практи-

ке... — дерзко и непроизвольно, как бомба, вырвалось у режиссера.

— Я натравлю на вас орду своих поклонников, и они будут гнать вас метлами, пока не выметут за сто километров от Москвы, — без единой нотки ненависти сказала она, словно прошелестела шелковая бумажка, в которую была завернута ядовитая конфетка.

— Тем более умоляю не считать только что сказанное мною за дерзкую надежду бывшего плебея пробиться в плейбои при вельможной пани... — изящно и с хрустом, словно грыз небольшого размера кость, извинился перепуганный близостью разрыва знаменитый Сорокин, — но виной тому лишь страх надменной госпожи замараться словесным обращеньем к рабу, тем и позволившей ему истолковать беглое мановенье пальца в перчатке за былое у знатных римских матрон приглашенье втихую поразвлечься на досуге с естественным для нашего безвременья риском нарваться на фиаско... Тем и объясняется мой, самому мне досадный, защитный финт дискриминационных подозрений...

— Не огрызайтесь, не велю... — и отхлестнулась замшевой перчаткой, что странным образом сказалось на рывке машины. — Но вы с таким апломбом толкуете о предмете, будто из личного опыта с давешней милашкой выяснили, что такое любовь. В нынешних фильмах всегда найдется о ней немножко, в пределах дозволенных обнажений. Видите ли, Женя, не все произрастает на всякой почве, вследствие чего и физиологические потребности различно обозначаются на разных уровнях. Так иногда мы узнаем, что на деле это совсем другое. Оказывается, в самом банальном из слов содержится вера в чудо, которое продлится, пока хоть теплится жизнь на земле... Повторяю, Женя, я нисколько не сержусь на вас, хотя с некоторых пор, оттого ли, что старею понемножку, вы научились кусаться и доверять мне свои легкомысленные открытия, как провинциальный балагур! — не без угрозы пожурила его Юлия с акцентом отвращения на последнем слове.

— Никогда больше мне никто не будет нужен, как вы сейчас.

— Я тоже так думаю, пани Юлия. Нам пора кончать фарс классовой борьбы, недостойный нас обоих.

Действительно, их странное приятельство с годами приобрело характер затяжного социального поединка, развязку которого приближал теперь некий ускоряющий фактор.

Из всех довольно частых меж ними ссор ни одна в такой степени не грозила им полным разрывом навсегда. Некоторое время затем мчались над незнакомым, в горной впадине внизу водным пространством. По отсутствию подобных ландшафтов в европейской части отечества поневоле Сорокину приходило на ум, что за время случившейся перепалки колдовская телега сбилась с маршрута с залетом на чужую территорию, крайне нежелательным для советского гражданина по оказии очутиться в смежном государстве без заграничного паспорта. Кстати, и появившийся из-за тучки новорожденный, как бы на спинку положенный месяц над головой весьма смахивал на турецкий. Приходилось срочно начинать обычное в таких случаях примиренье, чтобы к утру поспеть в студию на обсужденье отснятых кадров очередного фильма. У них всегда имелся запас пестрых, с двойным дном каламбуров, при беглой смене напоминавших драгоценности ума.

— Я чем-то обидел вас? — через силу спросил режиссер, сердясь на себя, что так испугался утратить дружбу этой женщины. — Пусть извинит меня пани, если задел больную струну... — приглашая к благоразумию, решительно приступил он, — и прекратите бичеванье, а то, право же, истолкую ваш гнев как ревность. Представьте: не милашка и даже не поклонница! И немудрено, что, прибыв в Химки прямиком с изнурительного заседанья, был непригоден для светского **политеса**... в самом деле, стоит ли препираться по **пустякам**? Не узнаю нашу **ясновельможную** с ее пугающей лексикой и вовсе сомнительной тематикой. Кстати, о струне. Не спрашиваю, **что** именно и **где** стало причиной ваших мистериальных мечтаний, но... если это чрезвычайное событие как-то связано с моею вынужденной, в качестве советника, ночной прогулкой, пардон, к черту на рога, мне, естественно, хотелось бы...

Весьма бережно, чтобы вторично не подвергать испытанию их странную, колючую и неразлучную, дружбу, режиссер высказал тем не менее ультимативное пожеланье получить кое-какую заблаговременную информацию

для постановки правильного диагноза. Подавленное молчание Юлии было воспринято им как согласие на частичное, не сразу раскрытие тайны.

— Для начала хотелось бы знать, как пани сама расценивает свое состоянье: каприз, спортивная авантюра или, с вашего позволения, приятное династическое притязание на некий высший титул в человечестве?

Быстрый и скорее виноватый, чем негодующий взгляд женщины подтверждал вероятность высказанной догадки.

— Надеюсь, пани правильно поймет мою дерзость: впотьмах ищут на ощупь. Ввиду серьезности задуманной акции, не осуществимой без партнера, хотя бы косвенно намекните на его ранг, сферу деятельности... кто он?

— Я и сама себя не узнаю, словно подменили меня... — по необходимости заговорила Юлия и лишь в конце многословного вступленья призналась, что существо это как раз ангел.

Хотя осуществляемый полет допускал самое фантастическое объясненье, ответ наводил на грустные раздумья о душевном здоровье молодой обаятельной девицы, заждавшейся своего принца.

— Вас понял, — невозмутимо, с видом бывалого психиатра кивнул Сорокин. — В таком случае уточним, в каком приблизительно смысле. Это ласкательный термин, подпольная кличка, цирковое амплуа, собственное имя, наконец... в случае его болгарского происхождения?

Она ужаснулась своей вынужденной откровенности.

— Нет, он просто настоящий ангел... без меча и пернатого облаченья, разумеется, весь вообще обыкновенный... кроме неограниченных возможностей, как вскоре убедитесь собственными глазами, — залпом вырвалось у Юлии, и вдруг голосом издалека раскрылась на полминутки в самых ключевых своих мыслях. — Еще вчера не верилось, что, когда не хватает разума и рук носить с собой свое имущество, наступает одышка души. Недаром мудрецы учили владеть миром издали, прикасаясь к нему только взглядом... и когда-нибудь люди переключатся на этот вид богатства, если не сгинут от взаимной ненависти. Так ясно, но вот сама заблудилась немножко...

— В чем? В себе самой? — уже почтительно заикнулся Сорокин.

— Да, в чрезмерном исполнении желаний.

Озарившая кабину внезапная вспышка заставила режиссера обернуться в сторону водителя. Никогда прежде не видел Юлию с сигареткой: волновалась. Пока не погасла зажигалка, он прочел глубокую, вразрез ее очарованьям складку озабоченности у переносья. Начальный дымок она выдохнула с кашлем отвращенья с непривычки ценить сладость первой затяжки. Потом, все еще с перламутровой зажигалкой в руке, отрешенным взором глядела поверх зеленого сиявшего щитка куда-то в глубь чапыжного леса, в ночь за смотровым стеклом, словно колеблясь — впускать ли постороннее лицо в интимную тайну дымковской дружбы. Из недавнего опыта освоения собственной жестяной таратайки в точности знал он, что высшая сытость обладания подобным дивом современной техники должна состоять в непрестанной пробе таящихся в ней комплексных удобств. Неслышным прикосновеньем следователя, знакомящегося с делом клиентки, Сорокин взял золотую вещицу из вяло разжавшихся пальцев на мощном штурвале машины, и это непротивленье чужой воле подсказало артисту, что женщина и впрямь нуждается в его участии и совете, но, возможно, и активной помощи. То была прелестная и, видимо, по особым руслам полученная игрушка для миллионеров, во всяком случае, хоть и не курил, Сорокин-то слышал бы о еще не поступавших в продажу зажигалках с трехцветным, по желанию, пламенем.

— Очень милая штучка и тоже веха на трагическом излете находящейся цивилизации... — сказал режиссер, любуясь безделушкой в своей ладони, после чего произошел знаменательно странный разговор накоротке и без уточнений. — Тоже подарок от **него**?

— Скорее **мой** подарок ему от заграничных друзей.

— Казалось бы, такой всесторонний господин, — вполголоса подивился Сорокин. — Значит, **сам** это не может?

— Может все, но не смеет, — последовал столь же непонятный ответ. — Здесь живет огонь, он его боится...

— ... сгореть боится?

— Нет, обидеть. Я же сказала вам, что он ангел.

Постепенно гадкая желудочная муть, доставляемая непривычным своеобразием приключенья, уступала место приятнейшему ощущению нисколько не поврежден-

ной, на фоне волшебных переживаний, телесности своей. Оказалось, если не считать загадочно преодоленной гравитации, техническая новинка Юлии заключалась всего лишь в совмещении автопилота с радаром, что позволяло водителю вести машину, не касаясь руля, с закрытыми глазами предаваясь созерцанию высших, уже не доступных смертному забот. К слову, в придачу к прочим способностям режиссер обладал завидным даром быстро осваиваться в самых затруднительных обстоятельствах. Внезапно даже приоткрылось ему защитное свойство чудес прятаться в заурядную оболочку, чем и объясняется сравнительная редкость их обнаружения. Так, например, помимо испарины на запотевшем изнутри ветровом стекле и камуфляжного перемигиванья зеленых глазков на панели управления, тотчас под нею всю дорогу успокоительно урчал не обязательный в данном случае мотор.

Кстати, погода чуть разветрилась, посуровела окрестность внизу, и молоденький свежеотточенный серпик луны объявился в издырявленных облаках. Нетрудно было сообразить, что на ни разу не снижавшейся скорости машине давно полагалось быть по крайней мере над Гибралтаром, — вместо того сплошная, с просветленными полянками и озерками кое-где, угрюмая лесная щетка стлалась внизу. Несколько попривыкший к чуду, Сорокин иносказательно, чтобы не ронять себя больше в глазах дамы, высказал свое недоуменье, но оказалось, что с самого начала они перемещались в противоположном направлении, — по всем расчетам под ними было глухое Зауралье, выбор его вскоре объяснился сам собою.

Его прервал железный скрежет под ногами, одновременный с тошнотцой слишком крутого сниженья. Что-то упруго и жестко, может быть, гнилушка пня проскреблась в подбрюшье машины, после встряски заметно сбавившей ход.

— Сидите, не волнуйтесь, — прикосновеньем успокоила его Юлия. — Мы почти приехали, и все те же вековые ели кругом. Она сама остановится, где надо. И пусть вас не смущает до времени эта убогая внешняя нищета, и не делайте преждевременных выводов.

Так началась новая эра его отношений с Юлией.

Скорость сбавилась, за стеклом по сторонам обозначилась мокрая непроходимая лесная глушь. Замедли-

вшаяся дорога поминутно петляла меж стволов, сбивала с толку, изматывала, усыпляла, так что к концу пути горбатенная, востроглазая мразь, гнездившаяся в окрестных топях, замерещилась даже Сорокину. Только и слышно было, как хрустит под колесами хворост настила, плещет и чавкает даже для крестьянской телеги непроезжая колея, да еще обвисшие, тяжкие от влаги хвойные ветви скребутся по кузову машины. Фары поочередно выхватывали из неразберихи то узлы вспученных корней, то блеснувшую в луне трясинку чуть поодаль с клочьями тумана над нею, то с обеих сторон накренившуюся лесную дремь, надежно, лучше всех запретительных знаков охранявшую место от постороннего вторженья. Машина дрогнула, негритенок над пультом затряс лохматой головой, и какой-то иррациональный озноб предчувствия подсказал Сорокину близость чуда. Вдруг чащоба пораздвинулась, из распахнувшейся небесной промоины снова выглянул месяц и при небогатом освещении объявилась цель поездки.

То и дело проваливаясь и с фонтанами жижи из-под колес, машина выбиралась к просторной лесной поляне. Из-за возвышения, что ли, туман становился поменьше, дорога посуше. Непонятное обозначалось высоким и сплошным с колючей проволокой по гребню забором, словно это был номерной объект с воротами на бетонных вереях, которые сами распахнулись, едва скользнули по ним косые блики фар. Осведомленный в технике, Сорокин тотчас усмотрел в том позаимствованную с Запада электроновинку, как обычно на Востоке — в деревянном исполнении.

Буксуя в распухшей почве, машина с ходу вкатила в предупредительно распахнутые ворота, так что еле успела отскочить в сторону хлипкая фигурка — не иначе как сторожа в стариковском тулупчике и сдвинутом на лицо треухе: лишь торчавшая из-под козырька бородишка позволяла судить о его возрасте. Затем фары погасли, и, надо думать, снова все там вместе с приезжими растворилось бы в ночной мгле, кабы из-за облачной кулисы не подоспела четвертинка луны.

При ближайшем рассмотрении в глубине участка находилось ветхое двухэтажное строеньице с нежилыми мраками окон, сплошь в резном деревянном круже-

ве, обшитое тесом чудовищное бунгало в дачном стиле прошлого века, но и с причудами вроде симметричных балкончиков с козырьками по бокам и шатровой смотровой вышкой со шпилем для обозрения неизвестно чего. Нищая развалина эта, никак не вязавшаяся с обликом нынешней хозяйки, могла оказаться в ее владении лишь как дар номенклатурного поклонника средней руки и в отставке.

Помятуя дорожную размолвку, Сорокин воздержался от полувопросительной догадки, какими чарами ревнивый, суеверный и пожилой коршун смог заманить драгоценную добычу в столь укромный уголок, подальше от постороннего сглаза, возможно, и прокурорского в том числе.

— Вот мы и дома у меня... выгружайтесь, сердитый мастер! — с руками на руле сказала Юлия, когда машина остановилась. — Не бойтесь ноги промочить, вообще ничего не бойтесь: здесь у меня полное благоустройство.

Все еще не вылезая из-за руля, она пояснила в третьем лице смысл своего приглашенья. Итак, постепенно покидаемая всеми, не первой молодости женщина надоумилась вдруг **срубить** себе хату под старость. В ходе хлопот она якобы немножко растерялась от возникших трудностей и теперь нуждается в дельном мужском совете. Особая просьба была не торопиться с заключением до полного осмотра.

— Дайте немножко поразмяться сперва, — сказал Сорокин, ступая на мощенную гравием площадку, — ноги затекли.

— Да, я заметила, как вы всю дорогу, бедняжка, жали воображаемые тормоза, — дружелюбно кивнула Юлия и коснулась подбородка утомленным жестом, в котором выразилась вся ее тайная одинокая судьба, так что самому Сорокину давешний удар хлыстом представился вынужденным средством удержать в повиновенье тающую свиту.

Едва заглох мотор, слышнее стала заповедная тишина места, подчеркнутая гулкой, на весь лес, разноголосой вешней капелью. Никакие посторонние звуки, даже мысли не достигали сюда из мира, оставшегося позади. Только что освобожденный от тягостного обязатель-

ства, из одной благодарности вынужденный к правде, Сорокин испытал страшную неловкость — окружающая глушь никак не соответствовала ценности сокровищ, для сокрытия которых она понадобилась Юлии. Чувствуя на себе испытующий взор хозяйки, режиссер пытливо, приклонив голову к плечу для лучшего исследования предмета, созерцал сей необычной кладки штабель дров: право же, он не заслуживал сумасбродной гонки для срочной ночной экспертизы.

Режиссер начал с вопроса, зачем прирожденную урбанистку понесло, мягко говоря, на побывку к маме-природе? По крайней мере, у пани Юлии хватило благоразумия припасти заблаговременно себе тулуп, болотную обувь, брезентовый скафандр с накомарником — все это по числу друзей, от скуки приглашаемых устроить небольшой **на лужайке детский крик**?

Когда же словесный фейерверк кончился, Юлия поласкала мудреца взглядом и как-то уж слишком кротко попросила его в предвиденье дальнейших интеллектуальных затрат не расходовать силы.

Глава VII

Непонятно, когда и как он загорелся вдруг, но только с приближением гостей фонарь на кронштейне уже бросал по сторонам желтоватый отсырелый свет, также на площадку крыльца с домашней дерюжкой для вытирания ног. Связка ключей сигнально, на весь дом, прозвенела в руке у Юлии. Тотчас за вторым порогом оказалась неожиданно просторная прихожая с гардеробными нишами в стенах. Никто не вышел встретить хозяйку. Чуть дальше массивная, цельного дуба лестница в два широких марша уводила куда-то наверх... И вообще с первого же шага посетитель испытывал зрительное раздражение от неуловимых конструктивных несуразностей, как бы опечаток при пробежке корректурного листа. Трудно было свыкнуться, например, что довольно вместительный круглый холл для небольших приемов так легко вписался в столь ограниченную, судя по наружному периметру, площадь нижнего этажа. Поистине, мелькнуло у Сорокина в уме,

тот захудалый домик с двойным дном заслуживал упоминания в ряду мировых архитектурных парадоксов.

Свое одобрительное восклицанье, в ответ на удивленный взгляд хозяйки, Сорокин объяснил профессиональным чутьем на хорошую придумку, неожиданный, логарифмирующий действительность сюжетный поворот, так как, доппингуя мышление, помогает без скуки дожить жизнь, досмотреть фильм, дочитать книгу, страницу. В ответ Юлия предложила гостю передохнуть минуточку у нее наверху после дорожных треволнений, и режиссер понял ее приглашенье как законное стремление показом своей обновки изнутри посгладить первое неблагоприятное впечатленье.

— Если нет возражений, разумеется... — прибавила она, предоставляя ему право отказа. — Потом мы могли бы с окрепшими силами дочитать нашу страницу до последней строки.

— Есть опасения, что дело затянется за полночь? — почему-то обеспокоился режиссер.

— О, все будет зависеть от вас одного, Женя... — с неподвижным лицом посмеялась хозяйка.

Когда же речь коснулась самой истории приобретения, проницательный гость высказал догадку, что в обширных карманах покойного Джузеппе среди прочей драгоценной завали легко могла оказаться и эта, с деревянным чертогом посреди, скромная латифундия — ввиду близости золотоносных песков, например. Юлия сразу отвергла наследственное происхождение усадьбы, существовавшей не долее двух месяцев.

— Все кругом и что вам еще предстоит увидеть впереди возникло из ничего в самом конце зимы. Никто, кроме нас с вами, еще не поднимался по этой лестнице, не сидел в этих креслах... Все до последнего гвоздя сделано здесь по моему плану, хотя и не мною... — Она задумчиво посмотрела куда-то в лысеющий лоб улыбавшегося режиссера. — У вас такой светлый целеустремленный вид, Женя, словно вы разгадали секрет мироздания. Не томитесь, похвастайтесь!

— Вы угадали!.. Перед нами не иначе как подарок довольно могущественного жениха, судя по давешней колдовской коляске. Внешняя бедность строения — чистая

маскировка припрятанных где-то в подполье сундуков с сокровищами: смарагды, яхонты, хризоберилы... — Одобрительный кивок Юлии подтвердил его близость к действительности. — Но, примите мои сочувствия, вряд ли он правильный реальный мужчина в цвете сил. Наше, освобожденное от суеверий социалистическое сознанье может примириться с ним разве только в образе пожилого, многоступенчатого дракона с полудюжиной голов. Представляю небезопасный труд любви целоваться поочередно с каждой... да если еще это ненасытный сладострастник! Но представляю себе умилительное зрелище супружеской кровати и в ней семь подушек подряд... Скажите, у вас тоже асбестовая? — В заключение импровизатор деловым тоном осведомился у хозяйки, прибывает ли к ней любовник, по старинке, через каминный дымоход или из спальни имеется прямая штольня в пекло, и притворно поискал глазами, нет ли секретного лифта в стенке поблизости.

— Браво, браво, Сорокин... — улыбнулась Юлия и два разка хлопнула в ладоши. — Это вы с ходу придумали или взяли напрокат из сценария о своей пресловутой Аленушке?

Режиссеру оставалось лишь развести руками, признавая тем самым свое бесспорное пораженье в первом туре.

Теперь уже безобидно подразнивая друг друга, они поднялись по ковровой лестничной дорожке. Вкруг чуть меньшего верхнего холла располагались царственные в смысле старомодной роскоши апартаменты для влиятельной особы, даже монарха средней руки, пребывающего в изгнании. Продолжая свою импровизацию, Сорокин комично покаялся, что ни за что не поселился бы в столь уединенной резиденции, как нарочно приспособленной для всякой феодальной чертовни, но Юлия никак не поддержала его на сей раз. Меж тем помещение и в самом деле изобиловало множеством непонятных закоулков, помимо всяких тайничков с несомненными ловушками в виде подстерегающих зеркал. Так, на переходе во вторую половину здания, как бы в острастку шутника, неторопливая гуляющая пара, даже одетая под Юлию и ее спутника, если только не они сами, пересекла им дорогу и скрылась в полуосвещенной галерее, — так ловко

был рассчитан многозеркальный обман, что пришлось чуть попятиться, уступая им дорогу. Сорокин тогда ничем не выдал своей озабоченности, тем более что по заграничным луна-паркам знаком был и не с такими еще фокусами, все же в лицо ему дохнувшая жуть не то что поколебала в нем привычное реалистическое умонастроение, но заставила серьезней относиться к окружающей обстановке. И сперва ему не очень понравилось, что во всех комнатах отсутствовали окна в полном несоответствии с фасадом, а потом показалась нежилой самая атмосфера их, хотя для достоверности, видимо, два запачканных мелом кия лежали вперекрест на бильярдном столе с отыгранными шарами в лузах, а на жакобовском пузатом шифоньере — скрипка, издавшая кастрюльный звук от щелчка, а на девственно-несмятой постели в спальне валялись дамские чулки и только что с ног сброшенные туфельки на ковре рядом.

Сооружение было слишком громадно, причудливо и торжественно, чтобы не задержаться возле на минутку.

— Ну, тут спальня у меня... — придерживая занавес входной арки, как бы мимоходом обмолвилась Юлия и не помешала заглянуть в необязательный, казалось бы, для показа уголок своей резиденции.

Только крайнее душевное смятенье чувств, слепота самозабвенья вынуждали ее предстать перед консультантом в такой наготе. Утопая в ковре, он совершил, однако, беглый осмотр. Гнездышко грез и неги, как с налету обозначил его режиссер, мало соответствовало своему целевому назначенью. Помимо излишеств отделки и меблировки, какое-то раздражающее буквально в каждой мелочи противоречие логике и очевидности приводило глаз в замешательство. Как и внизу, общая площадь помещений заметно превышала наружные параметры захудалой дачки, а обнаруженный за прозрачной перегородкой бассейн семейной вместительности и с мраморными тритонами по борту никак не вписывался рассудком во второй этаж ветхого деревянного строенья. Но дольше всего и с почтительного расстоянья, диктуемого чрезмерной откровенностью объекта, Сорокин изучал приподнятое ступеньками в сумеречной глубине, под сенью ниспадающих драпировок, двуспальное сооруженье, достаточное для нескольких любовных пар. Старомодное

убранство вовсе не вязалось с обликом Юлии, но лишь на склоне лет, наконец-то приступая к съемкам фильма о внучке великого Джузеппе, уже с актрисой помоложе в главной роли, Сорокин разгадал подоплеку нелепого и, видимо, от наслоения многократных поправок, довольно смешного старанья молодой женщины приукрасить свое брачное, вернее — тронное ложе к тому сверхисторическому акту, что вскорости должен был свершиться тут в стерильной тишине, неведомо для мира.

К тому времени шаткость в коленях от полета на механической метле окончательно прошла, а концентрированная нелепость поистине царственных чудес снижала их на уровень забавного надувательства, если же сюда прибавить необычную терпимость Юлии к некоторым его вольностям, доказательство ее безвыходного положенья, то все вместе и вдохновляло режиссера на довольно легкомысленное балагурство.

— Бедняжке уже доводилось ночевать на этом парадном эшафоте? — и, видно, по праву ревнивого паладина еще раз на всякий случай осведомился даже насчет личности ее партнера, кто же он в действительности — ифрит из багдадской бутылки, кощей местного значения или огнедышащий дракон, наконец.

Блуждающая улыбка Юлии служила косвенным указаньем, как близка к истине его догадка. Правда, не виднелось кругом ни жаропрочной мебели чугунного литья, ни асбестовых подушек, зато обнаруженный в углу потайной лифт мог служить здесь лишь для прямого спуска в лабиринты преисподней. И лишь когда расшалившийся шутник приравнял к паяльной лампе поцелуи того чешуйчатого господина с зеленым хвостом, гримаска неудовольствия прозмеилась в губах хозяйки.

— Ваше счастье, что ангел, а не дракон... — сказала Юлия. — Иначе мог бы сделать вам **нехорошо**.

Похоже, искра блеснула на скрещенье их взглядов.

— Приберегите для ваших милашек эту карамель, — вразумительно, чтоб не оставалось сомнений, сказала Юлия и жестом пригласила продолжить начатую работу.

И снова, как ни добивался, даже с угрозой немедленно уехать, будто ему ничего не стоило привести ее в исполнение, Юлия смотрела на режиссера загадочным усмехающимся взором знаменитой луврской дамы, ко-

торую, кстати, и увидел четверть часа спустя. Изучающее ожиданье читалось в глазах хозяйки, и можно было подумать — выверяла его высшие способности, чтобы плачевно не обмануться вновь. Вдруг, показалось Сорокину, он разгадал истинный смысл приглашения в поездку — как призыв переступить последний разделявший их порожек, в некотором смысле прямое понуждение к действиям, неизбежным в столь располагающей обстановке. Чрезвычайная магия приключения поблекла, схлынула, обратилась в свою комическую противоположность, ибо технически сверхскоростное перемещение могло в равной мере объясняться и современным уровнем заграничного автомобилестроения, и невыясненными пока свойствами пространства, подлежащими открытию потомков, так что и совершаемый Юлией акт получал естественную в ее возрасте, единственно правдоподобную разгадку. Он выражал степень трагического отчаянья, крайнего женского одиночества, если больше некому было предложить себя, тогда как при желании из той смешной, связавшей их навеки детской тайны легко перекидывался мостик к достаточно легкомысленной дружбе, откуда всего шаг до завершающей дело интимности. Конечно, для предполагаемой цели нечего было мчаться сломя голову к черту на рога, нашелся бы и поближе уголок, но подобно тому как зверь по наступлению сроков забивается в тайную нору — сгинуть там, так и самолюбиво-целомудренные натуры ищут себе безлюдную глушь предаться там неистовствам постыдной надобности. Сорокин был из числа щепетильных мужчин, нуждающихся для любви в сопроводительной романтике, как раз подоспевшей к загадочной поездке, и на мгновенье ему даже причудилась римская матрона древности, позвавшая раба в свое святилище с бассейном на строго ограниченный срок, и, как ни глупо было отказываться от соблазнительной победы, он в силу все еще не изжитого комплекса плебейской неполноценности только и ждал теперь повода с холодком отстраниться от предложенной чести. Видимо, она прочла его дерзкие мысли.

— Наверно, это моя вина, Сорокин... — заметив как он непроизвольным жестом примерки погладил ореховое приножье кровати, сказала тогда Юлия, — что я по-

зволила вам слишком привыкнуть ко мне, и, деликатно говоря, приходят на ум разные игривые комбинации.

И хотя весь эпизод был обусловлен близостью молодой женщины и подземной уединенной обстановкой, доводившей его до мускульного ощущения любовника при наложении ладони на трепещущую округлость, сжатие которой таит восторг безграничного обладания, он смешался, словно уличили в покушении на внучку великого Джузеппе.

— Что случилось? Что у вас на уме, Сорокин? — Юлия так пристально посмотрела ему в лицо, что он опустил глаза.

Впрочем, его несколько примирило с Юлией, что, прежде чем перейти к делу, она провела его в смежную, с фламандскими гобеленами на стенах, гостиную, где на низком столике с креслами vis- -vis их поджидал совсем горячий, как можно было на ощупь удостовериться, кофейный прибор в окружении заманчивых лакомств, как тоже поспешил удостовериться Сорокин, самой разнообразной вкусовой палитры. Бутылка любимого ликера посреди венчала натюрморт. Чашки были налиты, оставалось руку протянуть. Непонятно было, кто и когда успел накрыть предлагаемое угощенье, — как в заправских дворцах, Юлия держалась правила без нужды не надоедать гостям лицезрением пусть даже бесшумной челяди.

Сорокин не преминул справиться, сколько же за домом числится прислуги, но та уклонилась от прямого ответа.

— Вы же знаете, как теперь хлопотливо стало с **ними**.

— Кому-то надо же пыль вытирать!

— Здесь все автоматизировано, — непонятно пояснила Юлия. — Дому придано постоянное обслуживанье. Кроме того, здесь у меня не бывает пыли.

— Значит, сегодня ни души кругом? — не заметив последнего замечания, удивился режиссер такой предусмотрительности хозяйки на нынешнюю ночь.

— И всегда тоже.

— Но молодой женщине нельзя долго оставаться одной... — совсем другое имея в виду, заметил Сорокин. — Вам не страшно?

— Кого, чего именно? — с приглядкой любознательности покосилась та в его сторону, мельком сославшись

на полную безопасность своей усадьбы от воровских вторжений. — Может, я затем и позвала вас, чтобы не быть одной?

Итак, все склонялось в сторону его ужасной догадки. Он поежился, готовясь к отпору:

— Туманно... поясните.

— Хорошо... но только советую подкрепиться сперва перед ожидающим вас испытаньем. Съешьте же еще что-нибудь, я знаю, как вы любите сладости... — явно без намеренья съязвить сказала она и, мельком приподняв крышку кофейника, чтобы самой удостовериться в чем-то, глубоко вдохнула распространившийся запах напитка. — Вон ту возьмите еще завитушку с песочным хохолком, она так жалостно смотрит на вас!

Прямо перед ним на стене, в раме потускневшей позолоты, немолодая нарядная дама читала письмо, и Сорокин, сразу и безошибочно по блеску ее пышной зеленоватого атласа робе и интерьеру признавший кисть Терборха, не преминул распространиться о его видном месте среди **малых голландцев** вообще. К сожалению, все время лектора отвлекала от темы торчавшая на столе старинная серебряная плетенка с пирожными. То были сплошь и на всякий вкус сладостные творения и скорее по рефлекторной тяге детства, нежели из потребности как-нибудь отбиться от соблазна, режиссер двумя перстами взял верхнее **нечто** невыносимо-воздушное, загадочное, легкомысленное в стиле рококо и небрежным жестом, как бы из нежеланья обидеть хозяйку, отложил его на блюдечко по соседству. Затем лектор обогатил свою аудиторию сведениями о роли голландских живописцев в Средневековье с намеком на Брейгеля Старшего во главе и, помнится, еще чем-то, как вдруг кондитерский шедевр как-то сам собой проскользнул в режиссера, приглушив возникшее было недоуменье: каким образом изделия подобной свежести могли оказаться на необитаемой, в сущности, вилле... но в конце концов не удивляемся же мы волшебным обстоятельствам снов! Пальцы были совсем не липкие, как он тотчас убедился с отчаянием и без особой уверенности, что не облизал ли он их по гадкой детской привычке. Подчиняясь той же подсознательной потребности, он нацелился на смежное с сахарной корочкой поверх сливок, из осторожности покосившись на

хозяйку, но та сосредоточенно красила губы перед зеркалом в ладошке, так что удалось по второму заходу утолить самое жгучее из воспоминаний детства.

Осмотревшись еще раз, Юлия опустила в сумку свою золоченую игрушку.

— Не брезгуйте же любимым лакомством... или боитесь утратить спортивную форму? — улыбнулась она, придвигая всю корзину соблазнов, и пощурилась слегка, хотя близорукостью не страдала. — Когда-то, при исключительной худобе, вы обладали незаурядным аппетитом на всякие кондитерские изделия.

— Право же, я наелся на неделю, — сопротивлялся Сорокин.

— Ничего, эти воздушные лакомства можно есть сколько влезет: от них не толстеют!

С видом научного исследования, на деле же из-за разыгравшейся как назло ребячьей жадности, режиссер Сорокин смахнул и ту, что на него глядела, и четверку соседних, чтобы не обижались, после залил ликерцем для всеобщего их там внутри примирения, — словом, перепробовал подряд стоявшие перед ним всякие пирожки, **пети-фуры**, цукатистые фрикадельки жгуче-пряного вкуса, иное по второму разу для более углубленного проникновенья в их таинственный кулинарный спектр, — ел и, странно, все еще оставалось место. Вглухую скрестив руки на груди, Юлия сострадательно, по частям, разглядывала резвящегося гостя, с пристальнейшим интересом наблюдая, как тот жует ее кондитерские шедевры, глотает в особенности.

— Чрезвычайно вкусно, пани Юлия, явление величайшего артистизма... — с набитым ртом и тоном знатока бормотал Сорокин, причем высказал догадку, что подобные изделия по своей принадлежности к разряду небесных блаженств, помимо райского табльдота, имеются разве только в закрытых распределителях высшего ранга, никогда не поступая в общегородскую торговую сеть. И с помощью волшебно-зеленоватого на просвет, почему-то почти не хмельного вина уплотнял ранее поглощенное, все пытался уговаривать себя: остановись, безумный Сорокин, царственная пациентка терпеливо ждет твоего диагноза. Уймись же, несчастный обжора, хватит тебе...

И все же, несмотря на полученный отпор, мысли его настолько разыгрались в прежнем направлении любовной фамильярности, как будто дама уже принадлежала ему, что намерение сопротивляться ей в случае ожидаемой атаки внезапно уступало место самой неприличной ревности.

— Ну, признавайтесь же, каков он?.. Груб, ревнив, ненасытен или, напротив, немощен, неопрятен, наконец? — добавил он и стал перечислять предполагаемые интимные качества **змия**, живописно поясняя некоторые из них.

— Врач должен вникнуть в симптомы заболеванья, — с появившимся вдруг противно-сахариновым привкусом на губах и глядя в сторону, почти обиженно сказал Сорокин. — Что именно беспокоит вас?.. Вернее, уж вам-то чем плохо в жизни?

— Я выбилась из колеи, — с заминкой, видимо, впервые попыталась сформулировать она. — Все началось с пустяковой игры, но запуталась потом. Я открыла, что можно желать беспредельно. Но нельзя без стен. Когда же стены падают и не на что опереться, это и есть смерть. Иногда кажется, что меня вынесли из жизни, но я все оглядываюсь назад. Я ищу меры, в чем она? Мне просто нужна рука, чтоб вывела меня назад оттуда.

Надо полагать, некоторую туманность описания самодеятельной доктрины отнес за счет нормальной, независимо от возраста, девической стыдливости.

— В общем-то, обычное состояние наших современников — бытовая неустроенность, социальное беспокойство, страх за будущее... Но хотелось бы чуточку точнее, — входя в роль, морщился Сорокин. — К тому же, вероятно, постоянная мигрень, раздражительность, изнурительная бессонница, так? Ввиду того, что высшая мудрость в естественной простоте, а мы здесь с вами как бы сообщники в чем-то, мне и хотелось бы с вашего согласия говорить напрямки...

— Внимательно слушаю вас, Сорокин, — сказала пациентка, доверчиво поддавшись вперед.

Он раздумчиво огладил подбородок себе, как если бы там помещалась качественная борода.

— Еще не встречал вас в таком меланхолическом ключе, Юлия, отсюда моя смелость, — приступил он со-

лидно и понял по тембру, что, в общем, у него получается. — В отличие от нас, проживающих там, внизу, вы знакомы с горем разве только в пределах детских разочарований, и высшее страдание ваше была зубная боль. Сколько я помню вас, вы никогда не нуждались в людях на земле, кроме как для поклоненья и услуг, но всякий раз потом сохраняли на кончиках пальцев гадливое ощущенье чего-то холодного, волглого, сального и липкого от вынужденного прикасанья к ним, правда ведь? А может, это жизнь постучалась к вам, что наступают предельные сроки? Требуются иногда ужасные лекарства, вроде паденья с горы, удар ножа от любовника, молния в темя, — от чего иногда к действию пробуждается душа. Нельзя, дорогая, слишком долго противиться велениям природы, она сердится под конец и может лишить тех естественных превращений, которые только и дают примирение в конце. Влезайте же в упряжку, поддайтесь благодатному данайскому дождю, выходите замуж, дорогая, не дожидаясь какого-нибудь сталелитейного монарха... И не подумайте, что сам напрашиваюсь в кандидаты: я подержанный, желчный, неудачно женатый человек, безвольный к тому же, потому что и ради вас был бы не в силах покинуть ее в беде!

Соображения свои, куда вложил весь опыт детства, Сорокин высказал не только с чувством, но и с явным удовольствием, однако ни жилка не дрогнула в лице Юлии.

— Так вы думаете, Сорокин, что требуется всего лишь обыкновенный дождик, как говорится, на иссохшую девичью ниву? — медлительно переспросила она. — И вы уверены, что ваш анализ построен на высказанных мною предпосылках? С вами никогда не бывает скучно... У дедушки был знакомый фельдшер, после одной семейной травмы он у всех подозревал дизентерию, но тому, по крайней мере, требовалось больше материала для заключения...

— Я не хотел вас обидеть, — сказал режиссер с пылающими ушами.

— Не сгорайте дотла, Сорокин, — чуть свысока кивнула Юлия, — вы еще понадобитесь. Верю, что **старый** друг просто хотел помочь мне **чем богат**... Не его вина, что не в ударе. Зато сам того не подозревая, подарил мне

сейчас веселое оружие против, **нового** врага моего... по руке пришлось!

Стало неудобно спросить — против кого и какое. Поднявшись вслед за хозяйкой, Сорокин рассеянным взглядом скользнул по гобеленам вокруг в поиске, на чем отыграться. Прямо перед ним происходила битва четырехсотлетней давности, самый ее эпилог. Линялыми шерстями вышитый рыцарь с поднятым забралом наблюдал из-под дерева на холме, как чужой эскадрон с ходу врубается в каре железных латников, сомкнувшихся перед обреченным господином. Обострившаяся память позволила мосфильмовскому эрудиту отличить Франциска от Карла.

— Позвольте, где-то я уже видел это... — пользуясь случаем поправить свои дела в глазах Юлии пробормотал режиссер. — Ведь это, по-моему, **при Павии**?

— Кажется, при Павии, да... — с непонятным раздражением откликнулась та. — Но давайте же продолжим нашу работу!..

Лифт находился сразу же по выходе из гостиной, за толстой портьерой направо. Кабина была глухая, падение скоростное, беззвучное, совсем краткое, — все же мимолетное сомнение в прочности инженерных сооружений, применительно к такой глуши, успело вызвать тоскливую сосущую пустоту в режиссерском желудке. Несколько успокаивало разве только соображение, что и доставившая их сюда чертова колесница, наверно, сработана той же рукой.

Подземные владения Юлии оказались значительно обширней только что покинутых. По сторонам служебного коридора, где они шли, угадывалась сложная сеть подсобных помещений, подсвеченные цветными лампами мерцали контрольные пульты, кладовые неизвестного назначения и с намертво замкнутыми дверями; нигде не прослушивались, однако, ни гудящие провода, ни шум парового отопления, ни просочившаяся сверху капель. Задолго до вереницы удивлений, поджидавших Сорокина впереди, единственно по масштабу хозяйства и добротности его исполнения следовало заключить, что никаких капиталов покойного Джузеппе вместе с фамильными возможностями заграничной родни не хватило бы осуществить виденное естественным земным усилием.

— Осторожно, держитесь за поручни теперь, — сказала хозяйка за спиной.

Предостережение выглядело не излишним. Едва раздвинулась панель в стене, неистовый свет ворвался в сумерки подземелья, шатнул, почудилось — мог бы запросто и с ног сбить. По всему они находились теперь на обзорном балконе перед поистине пиранезиевским пространством с потолком, пропадающим в голубоватой дымке из-за множества скрестившихся лучей. После невольного головокружения освоившийся глаз начинал различать соразмерную циклопическому объему по диагонали зрелища, дворцовой роскоши и широты лестницу с фигурами муз на площадках — нагих, танцующих, крылатых, всяких. Не сразу удавалось понять: почему так мучительно было глядеть на это варварское нагроможденье общеизвестных архитектурных стилей кое-где со столь вопиющим нарушением строительной логики, как оно там держалось? Конечно, никто не смог бы запомнить отделочные подробности или хотя бы, по отсутствию целеустремленного единства, перечислить элементы архитектурного замысла. Но самый размах творения подавлял в зародыше возникавшее было ироническое чувство к невежеству заказчика и множил почтение к силам, громоздившим шлифованный мрамор, колонны и глыбы вперемежку с отливками бронзы и сверкающим хрусталем. Казалось, все кругом было рассчитано на вечность, и все же тоскливое ощущенье непрочности рождалось от пребыванья здесь... Пожалуй, единственно возможное служебное назначение света в таком количестве заключалось в том, чтоб не было страшно одному.

— Что может бедный режиссер сказать пани Юлии? Очень, очень мило у вас тут, — через силу произнес Сорокин и в манере придирчивого ценителя прибавил исключительно на пробу, что на ее месте обошелся бы без старомодных золоченых розеток в кессонах сводчатого потолка, без античных квадриг, что мчались по окружности лазурно-мозаичного фриза. — Дорогая, излишества дадут кому-то право обвинить вас в нехватке элементарного вкуса, правда?

К его великому облегчению, Юлия забыла про обиду. В самой поспешности ее согласия сквозила скопившаяся тревога. Значит, и сама опасалась того же, забрызганные

известью висячие подмостки кое-где, вряд ли уместные по характеру производства, несколько сглаживали впечатление очевидной недоделкой работ, простительной при такой масштабности.

Оказалось, никто сюда не заглядывал пока, кроме Сорокина.

— Наконец мне ничего не стоили эти излишества, как и удалить их не составит труда... — почти благодарно объяснила Юлия. — Мне-то хотелось создать у посетителя торжественно-фанфарное настроение перед вступленьем... ну, в святилище, так сказать! У нас сегодня трудно требовать, чтобы снимали обувь при входе в храм, пусть по крайней мере потрудятся пешком: дальше у меня лифта нет. Я потому и сделала лестницу подлинней, хотя сама не ходила по ней ни разу, а пользуюсь своей собственной, маленькой, винтовой.

— Позвольте, я как-то не заметил снаружи входного вестибюля перед лестницей? — стал припоминать Сорокин.

— Я и не довела ее пока до самого верха, — глядя куда-то в сторону сказала хозяйка. — Еще не решила — нужно ли, где именно и, главное, **зачем**?

Винтовая по соседству, достаточно удобная, чтобы не ударяться друг о дружку, вывела обоих на главную площадку внизу. Два исполинских полированных Геракла, явно позаимствованных с Эрмитажного подъезда, только иной расцветки, размером покрупней, поддерживали на выгнутых спинах антаблемент входной арки, тоже, несмотря на маскировочные ухищрения, слишком памятной глазу по московскому метро. Теперь уже не оставалось сомнений в авторстве Юлии. Вопиющие погрешности ее представлений о гармонии и красоте да еще с учетом прежних впечатлений позволили Сорокину проникнуть в скрытую под царственным достоинством самую ее изнанку, — вот также из-под стершейся позолоты проступает местами истинный металл изделия. Беглое сравнение своих возможностей с достижениями хозяйки позволили режиссеру воротить совсем было утраченное сознание собственных преимуществ. И так как добровольное проживание мало-мальски мыслящего существа в описанных условиях пусть даже без подземной сырости исключалось, то проницательному уму оставалось пред-

ложить здесь потайное хранилище каких-то, загадочным путем приобретенных Юлией чрезвычайных ценностей.

— Вот мое подполье, Сорокин, — сказала она. — Пожалуйста, думайте вслух. Мне важно любое, самое мимолетное ваше соображенье.

Кстати, пока шли, всюду заставали они полностью включенное освещенье в такой степени расточительства, что в умеренности воспитанный консультант еле удерживался от стыдного плебейского соблазна справиться у владелицы, на какую примерно сумму выгорает электричества за месяц. Ротонда под высоким куполом и обозримыми прорезями на уровне глаз, в особенности залитая светом вообще, напоминала сторожевой форпост на выходе в какую-то дремучую неизвестность.

Последовала кратковременная остановка, как если бы спутница Сорокина сомневалась, стоит ли ради болезненной и все равно неутолимой прихоти посвящать кого-либо, к тому же впервые, в более чем интимную тайну.

— Итак, приступим к нашей работе... — решилась она вдруг, жестом приглашая Сорокина к двудольной двери, которая тотчас бесшумно раздвинулась перед ним, причем тот уже собрался было иронически похвалить тривиальное чудо загранично-коммунальной техники, успешно введенное в социалистический обиход, но шутки у него не получилось.

Сразу за порогом, без промежуточной площадки, взору открывалось веявшее сырым холодком и, как бывает над пропастями, до головокружения неохватное пространство, освоение его грозило если не гибелью, то повреждением рассудка. Непроизвольным рывком самозащиты Сорокин выставил руки вперед, так что Юлия сочла нужным удержать под локоть своего консультанта, хоть падать, в сущности, было некуда. Ибо от самого их подножья единственно парадная здесь во всю длину крытая ковровой дорожкой и с бесчисленным, казалось, количеством ступенек лестница сводила напрямки в уменьшенную расстояньем как бы оркестровую впадину, откуда радиально разбегались, надо полагать, подлежащие осмотру галереи. Там внизу, в лабиринте их, значит, и таилось нечто срочно нуждавшееся в ученой экспертизе. Странный, как бы клубящийся сумрак, на

котором два исполинских силуэта повторяли движения вошедших, переполнял это поистине пиранезиевского размаха каменно-сводчатое помещенье, и, несмотря на гроздья слепительных лампионов по обе стороны каждого лестничного марша, стены кругом, равно как и ощутимой мощности перекрытия, высоко над головой едва проступали в потемках. Не поддаваясь обывательским настроеньям, режиссер даже попытался было прикинуть на глазок приблизительный объем земляной выемки и сметную стоимость сооруженья в целом, но уместнее было вспомнить о времени, потраченном на придумку подобного сюжета. Тут Сорокин на пробу кашлянул погромче, и гулкий многоразовый отголосок подтвердил ему реальную масштабность почти несомненного наважденья. Однако ему, как и всякому престижному критику, требовалось во имя личного достоинства отыскать какой-либо изъян даже в явном шедевре, Сорокин сразу нашел его.

— Представляю себе, как этот космический, с вашего позволения, ангар будет выглядеть в окончательном виде, когда вельможная пани превратит его в свой, так сказать, чудесный уголок... — неподкупным тоном знатока высказал он свое мнение по затронутому вопросу.

Он еще не догадывался тогда, что только наличием маленьких несовершенств, вроде следов от цементной опалубки на ближней стене или одного, на третьем марше, светильника вдвое тусклее прочих, доказывается рукотворность великих творений, — в чем и состояла, кстати, вполне сознательная уловка мастера.

— О, мудрейший Сорокин, — печально сказала Юлия, — когда **можно все**, полезно немножко гасить свои желания, чтоб не заблудиться в них... — и туманно посулила, что он и сам скоро убедится, как опасно бывает завязнуть в них. — Но продолжим нашу прогулку?

Чтобы не ронять мужское достоинство в глазах дамы, Сорокин старался не замечать участившихся странностей чуть сбоку, за спиной у себя, так, например, оттого ли, что ступеньки лестницы сами как бы струились под ноги, сокращая время спуска в ту кратероподобную яму, и под конец кинорежиссер был бы не прочь и продлить немножко приятнейшее для организма и, видимо, обычное у призраков скольжение над тамошними безднами,

как вдруг оказалось, уже приехали. Если через арочный, незавершенного вида пролом в стене заглянуть внутрь, взору открывалось смежное, тоже черновое покамест помещение со множеством массивных, в разбегающейся перспективе поставленных колонн, отдаленно напомнивших эрудиту сходную, но масштабом поскромнее, базилику святого Петра в Риме. Нигде не удавалось усмотреть ни конца им, ни потолка над ними, дальше все тонуло в тусклом сумраке подземелья. Откуда-то из-за спины и чуть сверху длинный луч выстилал как бы световую дорожку в глубь воистину странного, манящего в себя пространства, при созерцании коего от зеркальной, во все стороны повторности кружилась голова. Налицо был выдающийся феномен нашей суровой, сверхреалистической действительности, так что Сорокину было вдвойне щекотно и лестно, что ему в качестве эрудита и старого друга семьи доверилась первая экспертиза очередной мировой загадки, для чего, вероятно, в экстренном порядке и доставили его сюда.

— Что же, большая наука и раньше не смущалась перед лицом даже обожествляемых стихий, позже с успехом примененных для трамвайной тяги и в лампочке Ильича, — не переступая порога, приступил к исполнению обязанностей Сорокин. — Но поясните же, в чем источник затруднений?

— Перед вами будущая, пока рабочая территория для размещения еще не осуществленных коллекций, половину которых вы смотрели уже, — отвечала хозяйка. — С некоторого времени я располагаю почти безграничным средством для создания всего на свете... в пределах имеющихся образцов, почему-то. Но, как видите, пустоты здесь оказалось в тысячу раз больше, чем уже заполненной... Вдруг испугалась, что не хватит меня самой для ее заполнения! И тогда получится нехорошо, как если бы в потемках долго всматриваться в собственное лицо, вы не пробовали? — обмолвилась она невзначай.

— Естественно, всякие излишества ведут к отравлению... Владея стольким, зачем вам больше? — рассудительно указал Сорокин, и, хотя давно избавился от нищеты, какая-то незаживляемая обида детства вдохновила его на внезапную и многословную колкость насчет болезненной склонности богатых к накоплению избыт-

ков, в такой оскорбительной степени превышающих совместный пожизненный доход их челяди, что революциям приходится лечить ее прижиганием приобретательского инстинкта; даже в словах запутался под конец.

Намек на фамильные, по вине деда случившиеся горести вызвал ответную такую же реплику со стороны Юлии, аж подурнела на полминутки.

— Хотя бы до поры не завидуйте увиденному... Это помешает вам поставить правильный диагноз и уронит в моих глазах, — не повышая голоса и как бы наотмашь сказала Юлия. — И не будьте злопамятны... Разве не правда, что вы не голодали у нас? Вдобавок, мне казалось, вы достаточно повзрослели с тех пор, чтобы не держаться доктрины, вся философия которой о Добре и Зле умещается в узком диапазоне кнута и похлебки. Я понимаю, как трудно постичь устоявшийся механизм сорокавековой цивилизации, но надо же стараться, дорогой, чтоб не отстать от века... грядущего, подразумевается!

— Мне нужно было подчеркнуть, — виновато стал оправдываться режиссер, — что отныне большая собственность бесповоротно скомпрометирована историей и уже сегодня владение ею, сопряженное с риском нарушения неписаного нравственного декрета, выглядит чуточку неприлично в глазах большинства... И потом, кто же хранит взрывчатку под подушкой! Чем теснее становится на земле, тем сильней благоденствие каждого очага будет зависеть от благосостояния соседей, которых абсолютное большинство. А когда жителей станет буквально **впритирку** и охрана барахла превысит ценность охраняемого, то наиболее дальновидные, предвижу, сами начнут отрекаться от своих **авуаров** и **латифундий**, — с переходом на иные, духовные ценности, не подлежащие насильственному отчуждению... Словом, я вовсе не хотел обидеть вас, пани Юлия!

— И я вас тоже, — охотно шла и та на мировую, чем обычно завершались их частые за последнее время стычки. — В понятии собственности содержатся импульс, гормон и движущий момент прогресса, а многим молчащим уж понятно, что если в ближайшие же десятилетья не подобрать ей взамен нечто равной силы, то вся эта суетливая и мнимая мировая гармония сгинет, как рой мошкары под зимним ветром. Пирамиды воздвига-

лись в истории не только для сохранности трупа. А вдруг Шейлок-то не плут, паук и скряга на сундуке с сокровищами, как думают простаки, и, может быть, гора нужна ему, освободившемуся от нужд земных, презревшему прельщения, заключенные в емкостном желтом металле, чтобы испустить дух на ее вершине, не спуская глаз со звезды. Во избежание досадной ошибки с Сократом судье полезно вникнуть в истинную цель преступленья. Я взяла на себя большое задание, и надо много думать, как устроить мир на какой-то неподозреваемый образец. Теперь я охотно отвечу на предварительные вопросы...

— С вашего позволения, мне непонятна логика показа, — почтительно склонился режиссер и витиевато, для сокрытия замешательства, осведомился у достоуважаемой пани, за каким чертом ей понадобилась эта навзничь положенная световая шахта с какой-то щемящей тайной на донышке.

— Тут мой полигон желаний, точнее аппарат для обуздания их.

— Тогда как он работает?.. Если не секрет и доступно плебейскому пониманию.

— О, совсем просто. Надо лишь не оглядываясь идти прямо и вперед, насколько хватит выдержки. Показателем успехов будет пройденный путь. На колоннах слева увидите мои отметки, красный инициал в кружке. Обычно я тренируюсь наедине, вам будет легче со мною, готовой прийти на помощь. Попробуйте, если не страшно! — и, заметив его колебанье, одобрительно улыбнулась в том смысле, что здесь у нее все отменной прочности, без недоделок, ям и коварства.

Слушая монолог Юлии, режиссер не узнавал в ней давно знакомое ему властное, балованное и насмешливое существо, так изменилась она за минувшие полгода. За исключеньем нечаянной гневной вспышки, голос ее звучал негромко, но как бы с уверенностью — не посмеют не услышать. Рассеянная в машине по дороге сюда обмолвка о таинственном ангеле наводила на разные домыслы, в том числе о происхождении монументального чуда, не иначе как обручального дара, сработанного нездешними силами, причем по громадности его — мгновенно. Возможно, внучку великого Джузеппе постигло благодатное предуведомление о какой-то чрезвычайной,

не экранной будущности, воспринятое ею с должным смирением и согласием на подвиг и муки материнства в обмен на подразумеваемую святость и вечное владычество в умах простонародья. Под воздействием указанных соображений никогда не покидавшее Сорокина чувство личного достоинства, временами даже надменного интеллектуального превосходства над робким собеседником, как-то слишком быстро сменялось прежним гадким тревожно-беспокойным ощущеньем рабского возвращения под чужую своенравную волю. И вот мнение этой женщины о его персоне становилось ему стократ дороже газетных статей, важнее сокровенных, в несгораемых сейфах сохраняемых анкетных характеристик, определявших житейскую карьеру граждан.

Итак, если не самая судьба признанного артиста, то по крайней мере творческое самочувствие, по счастью, тоже не навсегда, разумеется, целиком зависело от его мужества, оперативности и маскировочной находчивости на случай **фиаско**.

Открывшаяся впереди анфилада просторных и нарядных помещений подтвердила сорокинскую догадку. Благодаря прозрачным плафонам и обилию воздуха, порывами напоминательно холодившего лицо, совсем не ощущалась здесь ни толща земляной кровли, ни мокрая над нею таежная ночь. Все тот же, из невидимых источников, похожий на отраженье гаснущего заката от облаков, ровный свет матово, без бликов и теней сиял в бронзовых завитках всеразмерных рам, в лаке драгоценной мебели, в глянце мраморных плоскостей. Втянув голову в плечи, как бы с намерением охватить все, гость шел впереди хозяйки, пока не заболела шея — налево-направо вертеть головой от поминутного удивления. Однако почтительная растерянность постепенно уступала место чувству сарказма над очевидной беспомощностью здешних устроителей.

Как мыслитель с дальним историческим прицелом, Сорокин и сам был бы не прочь, так сказать, в предчувствии далеко не кончившихся российских передряг обзавестись заветным сундучком на черный день. Однако у Юлии **Bambalsky** он получился несколько громоздок для пользования, к тому же большинство вещей в нем по грандиозности размеров или по сомнительной подлин-

ности вряд ли годилось для реализации из-под полы комиссионерствующих жучков. В ее намерения входило, по всей видимости, не просто обогащение через неведомого покровителя, хотя и потустороннего, но подлежащего несомненной расшифровке впереди, — нет, ей хотелось, чтобы все там было обставлено, как в больших домах. Правда, у владелицы хватило такта не пометить все кругом личными инициалами с баронской коронкой деда, все же лишь капризным тщеславием можно было истолковать внедрение сюда излишеств, не имеющих к замыслу прямого отношения. Так, из увенчанных раковинами ниш по верхнему ярусу величественно глядели изваяния выдающихся деятелей прогресса, в самом подборе которых Сорокину с его скептическим умом почудился довольно скользковатый аспект на всемирную историю.

Чуть в стороне за высокими фанерными щитами, если взглянуть в щелку, толпились взятые сюда отовсюду — с площадных постаментов, соборных кровель, алтарных ансамблей и дворцовых ниш — императоры и полководцы, античные мудрецы и философы: всякие там меркурии, сенеки, цезари, дискоболы. Похоже, приближением шагов вспугнутые среди тайного сговора, они притворились мрамором на полуслове: одни с воздетыми как бы в отчаянье руками или жестами восхищения, другие — спрятав лицо в ладонях, что позволило Сорокину назвать это разномастное сборище митингом сумасшедших, и тотчас повелительница их красноречивым взором пообещалась вознаградить консультанта этой еще не размещенной на постоянное место группировки.

Так, несколько крупнейших мечтателей, когда-либо навевавших человечеству веще-утопические сны и вчерне намечавших столбовую дорогу к их осуществлению, сменялись дальше более длинной шеренгой их преемников, уточнявших пути совершенства и заодно открывавших все новые гаммы и спектры людских потребностей с попутным изобретением средств к их насыщению в счет теперь-то уже обязательного, как бы предписанного блаженства, и, наконец, завершалась чередой суровых реформаторов, самоотверженно проливавших кровь во имя все более справедливого перераспределения благ земных, вкупе якобы и составляющих предмет последнего...

Коллекция Юлии состояла из прославленных полотен, еще издали легко узнаваемых по сюжетам и немыслимых в таком варварском уплотнении. Венера любовалась на себя в зеркале, и утыканный стрелами Себастиан улыбался своим мучителям; взвод солдат в надвинутых кепи расстреливал мятежников, и знаменитая голландская мать всматривалась в мир из обступившей ее вечности... И опять, как бывает и меж друзей, глаз машинально отмечал в них неуловимые и печальные измененья, происшедшие за период, казалось бы, не столь уж долговременной разлуки. Нигде не останавливаясь и с риском обидеть хозяйку, Сорокин шел мимо, иронически кивая по сторонам, как бы приветствуя мастеров на новоселье, порой напоминавшем джунгли, где одно растительное чудо громоздится на другом с единственной целью добраться, затмить, вовсе ниспровергнуть третье там вверху, пылающее на пределе творческого расточительства. И снова в самозащиту возникшая было ирония гасла, подавленная изобилием зрелища.

Один вывод напрашивался раньше прочих: при очевидной нелепости подобного рода клад не мог иметь естественного происхождения. Сама собою отпадала детская версия подарка от волшебного жениха, как и продажа души, если бы и нашелся скупщик слишком уж обесцененного товара в наши дни, оставалось допустить еще менее вероятное, хоть и случавшееся в исторических безвременьях эпидемическое визионерство, микроб которого до Юлии возродился в чьем-то ужаленном мозгу. Откуда все это появилось? Если это подспудное наследство деда, о котором толкуют до сих пор, где он прятал его при жизни? Но все равно, откуда бы оно ни взялось, режиссер Сорокин вступал в величайшую сокровищницу искусства, вроде помянутого Эрмитажа, но пополненного жемчужинами ватиканской галереи, мадридской и лондонской, вместе взятых с придачей лучшего из частных собраний. Снова одолела вязкая робость перед несметным богатством, находившимся в безраздельном обладании Юлии — без единственного права, чем только и тешится тщеславие собственника, хоть частично вытащить его на божий свет, похвастаться друзьям и толпе, потрясти столичную экспертизу. Малейшая оплошность повлекла бы за собою, помимо национализации, самые

непоправимые бедствия уже потому, что вступившая в главную фазу революция требовала себе новых контингентов для мщения прошлому. Лишь крайняя нужда заставила владелицу на риск разглашения тайны, но как ни бился признанный кинопсихолог и эрудит, так и не смог постигнуть корни ее смятенья. Правда, ему тоже доводилось приобретать предметы не бытового пользования, в частности, пресловутый подсвечник, послуживший детонатором гавриловского буйства, хотя лишь классовое вожделение фининспектора и возвысило его в ранг антикварного раритета...

На протяжении всех трех первых залов Сорокин ощущал на себе неотступно следящий взгляд хозяйки... В самом конце третьего приспела необходимость изречь нечто в оплату оказанного ему доверия.

Ввиду настойчиво ожидаемого восхищенья Сорокин с похвалой отозвался о масштабности замысла, также — разнообразии художественных интересов владелицы, но указал по долгу консультанта, что в пору социальной революции основное преимущество любых сокровищ заключается в их портативности, без чего обладание ими в излишестве сопряжено с риском утраты покоя, здоровья, дыханья вообще.

Мимоходом Сорокин почтительно отозвался о необузданной ангельской щедрости, за недостаток которой, если только он правильно понял его титул, люди так часто и напрасно упрекают небо.

Как бы мельком Юлия справилась, как ему понравились ее игрушки.

— О, я просто ошалел, мадам, — отвечая, он с иронический изыском справился: — Давно существует музей?

— Почти полтора месяца... и то буквально **не покладая рук**, — доверчиво и со вздохом утомления призналась она. — Неделю подряд мы возвращались домой лишь на рассвете, потому что все, что вы видите, **ночного** происхождения. При всех его прочих достоинствах, — загадочно продолжала она, — мой помощник мало смыслил в искусстве. Боже, сколько потребовалось здесь переделок и каких!

— Я вижу, вы с ним не теряли времени зря. Единственный способ собрать такое собрание в указанный срок — одновременное ограбление мировых коллекций...

Но тогда почему не объявлен их международный розыск? Кстати, насчет ограбления... у пани имеется сигнализация к тому старцу в сторожку или прямиком к самому дракону из преисподней, — снисходительно к женской слабости сказал режиссер.

— Вы как всегда проницательны, Женя... а вам не кажется, что в случае обиды мой ангел мог бы обернуться настоящим драконом? — вопросом на вопрос игриво предупредила хозяйка. В ответ на это режиссер фамильярно намекнул, что он был бы весьма не прочь познакомиться поближе с инфернальными талантами ее поклонника, даже с запущенными **на всю катушку** с правом использовать их в одном из своих фильмов. И опять вместо ответа пани поощрительно улыбнулась ему, внушая надежду на исполнение желания.

— Остерегусь пока поздравлять пани Юлию, потому что не знаю с чем... разве только в самом деле со вступлением в царство преисподнего владыки, к сожалению. Большинство вещей давно известно мне... но откуда эта мучительная от какой-то неуловимой новизны и общности всех сокровищ резь в глазах?

— Учтите, милый Сорокин, как правило, я собираю только подлинники... — надменно, а главное, вполне правдоподобно, пояснила Юлия, — точнее варианты, повторения, первые эскизы замысла художника, то, что у профессионалов называется *avant la lettre*[1], и вам станет чуть полегче, — вдруг захотелось ей заранее уличить в невежестве мосфильмовского энциклопедиста.

Имелись в виду пробные оттиски гравюры до внесения окончательных поправок и, следовательно, до авторской подписи: количество обнаруженных Юлией в дальнейшем пестрых сопроводительных сведений, каких не почерпнуть в каталогах, ценниках и справочниках, с наглядностью подтверждало самообразовательную пользу всякого коллекционерства. Еще убедительней выразилась плодотворность собирательства в рассуждениях Юлии об особой важности таких **предварительных** произведений для науки, потому что вводят исследователя в потаенный противоречивый мир художника в самом разгаре его сомнений и борьбы с подобными, иногда глав-

[1] Предшествующий эскиз, вариант до подписи автора *(фр.)*.

ными призраками, исчезающими по окончании творческого процесса.

— Жизнь корабля в его скитаниях по волнам, она прерывается, если не кончается совсем с прибытием в порт назначенья, — тоном лектора продолжала она, и Сорокин с удовлетворением опознал в брошенной ею фразе искаженную цитату из самого себя.

И то существенное обстоятельство, что Юлия тотчас поняла свою оплошность, оборвалась, смутилась, снова несколько подравняло их карты и возможности. В отместку ей режиссер продолжил мысль по контексту статьи, откуда та была похищена, что нередко вариант даже богаче как некое преддверие тайны, где зрителю взамен безоговорочного поклонения чуду даруется как бы соучастие в его созидании.

Так в беспредметной и приятной перебранке обходили они залы, соблюдая давно установившийся протокол ничем не хвастаться и не удивляться ничему. Ввиду размеров подземного хранилища, недоступного для одноразового обозрения, они шли быстрей обычного, задерживаясь взором на чем-либо, заслуживающем особого вниманья. Там были сплошь прославленные мастера, но с каждым шагом Сорокин все острее испытывал возрастающее, почти мозговое раздражение, как от неуловимых опечаток при беглом чтении газетного листа. Конечно, ни один музей мира не обладал такой коллекцией **авторских** дублей вариантного происхождения, но тогда при всей разности эпох, школ и творческих почерков бросалось в глаза необъяснимое во всех шедеврах родственное сходство, точно изготовленных механической рукой. Несколькими месяцами позже, уже после одержанной социальной победы, признался своей сообщнице режиссер, что лишь гипноз подземной тайны помешал ему сразу сделать авторитетное умозаключение о чуде, ради которого приехали.

Сразу по выходе из четвертого зала, на пороге пятого за высокой готической решеткой бокового ответвленья теснилась еще одна группа узников подземелья. В отличие от давешней чисто цивильной толпы мраморных деятелей античной древности, то были лишь деревянные фигуры в полный рост раскрашенные творения готического Средневековья. Уж, наверно, нигде больше не

имелось столь цельного комплекта образов, рожденных теорией и практикой западного христианства. Видно, католические итальянские тетки немало повозили гостившую племянницу по своим соборам, монастырям и галереям, если столько лет спустя запомнившиеся статуи перекочевали сюда из осиянных цветными витражами кафедральных сумерек. Босые пророки, томные митроносцы, епископы в майоликовых ризах и двурогих тиарах с золочеными жезлами, скорбные, с самых прославленных алтарей возносящиеся мадонны, в изящных корчах застывшие мученики. И лишь один из них в потрескавшейся францисканской рясе с грубым веревочным поясом просунул нос сквозь прутья своей железной корзины, немигающими агатовыми глазами уставясь в упор и так убедительно спрашивая у популярного кинодеятеля современности — ведомо ли ему, что станет с человечеством, когда в кострах революций окончательно пожрут их обветшалую, червецом времен источенную деревянную плоть? — что тот непроизвольно протянул руку отбиваться от непроизнесенного пророчества, о котором и сам догадывался, несмотря на передовое мировоззрение.

— С кем вы там поотстали? Ах, вы с ними! Все безработные мои стоят в очереди на свои ниши и постаменты...

— Надеюсь, будет там и помпейский мальчик, вынимающий занозу? — корректно справился Сорокин, но ирония пробилась к ней, сквозь ее раздумье. — Бедняжка, мне и подумать больно, какой ценой все это досталось пани Юлии!

Кроме висевших по стенам, не меньшее количество холстов еще без рам и составленных друг к дружке у колонн, в емких нефах за ними, дожидалось своей очереди на вниманье. По мере того, как продвигались по залам, всюду, куда ни обращался взор, вместо положенной музейной стройности, царил нарочитый местами хаос запасника, даже реставрационной мастерской, и возникало естественное, тем более законное недоуменье, что могущественному существу, в тысячу рук творившему нагроможденные шедевры, ничего не стоило одновременно навести порядок с наиболее рациональным размещеньем их на свободных площадях. По всему видно,

хозяйке хотелось принять на себя часть работы по окончательному устройству сокровищ, умножающей радость обладанья ими, не столь уж утомительной к тому же, ибо без посторонней помощи ей все равно не хватило бы сил втаскивать на крюки.

Впрочем, сама она отвергла осторожно высказанное сорокинское предположенье.

— О, нет-нет, мне просто не нравится сплошная, сверху донизу, дурного дворцового стиля развеска как в палаццо Питти, например, где все **они**, — имелись в виду живописцы, — кричат как на базаре, вперебой лезут вам на глаза каждый со своим товаром. Мне больше по душе более современный способ, когда самая стена служит фоном для картины. К сожалению, такая система требует и соответственных полезных площадей, но главная-то моя трудность вовсе не в тесноте. Вы скоро убедитесь, что как раз места у меня хватит на любое, сколько надо, на любое их число... Можете понять это, Сорокин?

Словно перед нежелательным признаньем она сделала затяжную паузу, крайне настороживщую консультанта, который более чем почтительно сейчас ждал конца фразы, наклонами головы понуждая ее к продолженью. Морщинка утомленья пролегла мимо губ, нотка разочарованности перед изобилием чуда придала чрезвычайную значительность ее признанью. И вдруг досказала, что, если захочет, никакой человеческой жизни не хватит не только обойти, на крыльях облететь образовавшееся пространственное вместилище. Так и не понял он в тот раз намек Юлии, истинную суть ее затруднений. Гораздо позже, когда веленьем все той же могущественной воли самое воспоминанье о ночном приключенье погасло вдруг, пришло в голову однажды, что мнимая незавершенность подземелья, привидевшегося ему во сне, объяснялась не столько неустройством организационного периода, как подсознательным опасеньем и раздумьями о целях всего на свете, что неизменно возникает в результате наших, к чему-либо приложенных усилий. Возможно, кабы потянуть за хвостик мелькнувшей мысли, которая позднее натолкнула его на сценарий о царице древности, вроде Иштар, режиссер Сорокин так и не понял и упустил большую и поразительную тему Юлии, но самое странное, что, потенциально владея чудом, ко-

торым могла стать для него та нарисованная, запертая от него Дунина дверь, продолжал творить свою киногазетчину под умеренный казенный аплодисмент.

Зато два последующих зала сплошь оказались завешены вовсе не известными Сорокину полотнами, вразрез сложившемуся было мнению о собрании Юлии как внушительном комплекте подделок и подражаний. Возможно, он даже повинился бы в том хозяйке, если бы своевременно не бросилось в глаза, что все они там были почему-то одного размера. Стремясь вернуть себе репутацию непогрешимого судьи, режиссер с иронической похвалой отозвался о таком принципе подбора шедевров, значительно облегчающем их упаковку при переезде на новую квартиру.

Слегка покосившись на проявленную резвость мысли, Юлия покачала головой:

— Мне нравится, что вы в таком ударе сегодня, но берегите ваши силы... они еще потребуются вам впереди, — повторила она с безгневной улыбкой, ведя его дальше от одного удивления к другому.

Оказалось, в стремлении пополнить коллекцию она прибегла к кое-каким тайным средствам своего изобретения. В частности, они заключались в масштабном увеличении миниатюрных творений живописи, обычно наряду с прочей мелочью скрытых от обзора в музейных витринах. Здесь были представлены наиболее удачные из них. Таким образом объяснилась их эскизная манера с несколько грубоватым мазком и прежде всего затрудненность опознанья — не меньшая, чем если бы показать на экране ускользающее от нас цветенье милой травяной мелюзги, повседневно попираемой ногами. Разумеется, эстетическая ценность их была различна, и, чтобы никому не доставлять преимуществ, хозяйка поставила их в одинаковые условия: пусть соперничают поровну!

— Очень, очень мило... — почтительно кивал Сорокин.

Мимоходом, в развитии давешней теории о вариантах и подлинниках Юлия посвятила режиссера в свои коллекционерские терзанья. Они заключались в бесплодных усилиях раздобыться для своего музея чем-нибудь **стоящим** по части картин, скульптуры или в особенности желательной античной **bijouterie** из какого-нибудь там тро-

янского кургана. К несчастью, вся мало-мальски достоверная классика была уже скуплена, описана, пронумерована в каталогах мировых галерей: даже третьестепенных жемчужин не раскопаешь нынче среди хлама аукционных торгов и подпольных антиквариатов — тем более в стране, где абсолютная власть собственника ограничена обязательной регистрацией сокровищ. Что делать? Не воскрешать же ради прихоти кого-либо из великих мастеров, давно пущенных матерью природой на другие неотложные надобности? Опасение провинциального налета не позволяло Юлии мириться и с копиями — пускай даже в виде зеркального двойника, хотя и приходило в голову не раз, что на достаточном качественном уровне тот автоматически становится оригиналом в случае, скажем, истребления последнего. В конце концов при желании и с помощью тайных средств, именуемых в газетной хронике загадочными обстоятельствами, самые надежные хранилища сгорают не хуже всего прочего на свете, а истинная коллекционерская страсть всегда мерилась готовностью к преступлению, присутствующему во всякой большой игре. В любых условиях уничтожение соперничающих собраний превращало данное в подлежащий немедленной конфискации пиратский клад — без права показать его самому верному и невежественному из поклонников. Словом, не одни лишь потенциальные угрызения совести помешали Юлии прибегнуть к услугам своего таинственного покровителя, наделенного, помимо стихийного могущества, почти кротким долготерпеньем. Выявлялся забавный по наивной хитрости, вместе с тем единственный для частного лица путь приобретения уникальных произведений посредством внесения в подлинник каких-либо новых подробностей и замен при сохранности основных планов, разумеется: метод отвергнутых гением, заново открываемых вариантов.

В подтверждение догадки часть ближайшего зала оказалась выгороженной как бы от постороннего любопытства, хотя и маловероятного в столь надежном укрытии.

Кусая губы, Юлия молчала в нерешимости, открывать ли ироническому посетителю свой фирменный сюжет.

— Не судите строго, Женя... здесь у меня кое-что не закончено, пока в работе, — сказала она, наконец, и, не

спуская глаз с насторожившегося арбитра, отдернула холщовую, до полу, занавеску.

На сложном инженерном сооружении там покоился легко узнаваемый автопортрет всемирно-знаменитого голландца с его рыжеватой белотелой супругой на коленях. Отсутствие кистей и палитры поблизости, также легкая смазанность изображения, как на плохой фотографии, указывали, что картина находится в **сухой** переделке. Не сразу уловимое смещение сюжета вызвало у Сорокина сперва лишь как бы оптическое замешательство с последующим переходом в физиологическое отвращение к еще неразгаданному подлогу и в симптоматичную, не от съеденных ли давеча пирожных, желудочную муть отравления. Даже мелькнула режиссерская деталь, как легко кровавой рвотой изойти насмерть запертому в камере с восковой куклой наедине... Собственно размещение фигур и самый натюрморт оставались прежними, художник был в своеобычном берете и навеселе, но обернувшаяся женщина с такой щемящей, в фазе безумного прозрения тревогой всматривалась куда-то поверх зрителя, что и того тянуло оглянуться на нечто у себя за спиной, побледневшее ее лицо выражало крайний испуг, вино из наклоненного бокала проливалось на плечо супруга.

— Да-да, перед вами то самое, что вы подумали! — горячо подтвердила хозяйка догадку режиссера, даже приотступившего слегка — то ли для лучшего рассмотрения, то ли от неожиданности. — Конечно, это она самая дрезденская **Саския**! Но фрагонаровская трактовка интимного события противоречит всему рембрандтовскому строю с его глубинным органным спектром. Как видите, ничего не меняя, я лишь изменила акцентировку произведения... Неужели не угадываете — зачем?

— Ну, знакомить нас лишнее, пожалуй, я неоднократно встречался с мадам... — шутливо раскланявшись перед шедевром, сказал Сорокин. — Однако на ней лица нет... Что приключилось с бедняжкой: воры, кредиторы или просто с обыском пришли? Было бы интересно от самого соавтора узнать разгадку ребуса... С чего у них там **заколодило**?

— Мне показалось, так будет драматичнее. Когда внезапный, среди праздника, стук в дверь, и неизвестно,

кто стучится. Думаете, мышление противопоказано живописцу?

— Искусство базируется на широкоугольном охвате действительности. Отсюда видно, что пресловутый социалистический реализм с его фокусировкой внимания сокращает жизнь произведения до однодневки... — подчеркнул Сорокин и поморщился с досады, что не сформулировал еще острее.

— Хорошо, я поясню вам, Женя... — с достоинством первооткрывателя сказала Юлия. — Это мой философский комментарий к картине, обогащающий простоватый замысел автора... Дело в том, что портрет Саскии был написан всего за четыре года до ее смерти, и мне хотелось обогатить сюжет введением трагической нотки. В момент интимного пиршества, именно при тосте за любовь женщине мог почудиться зов из-за порога, и она оглянулась на ночную дверь...

В заключение она спросила, **не представляется** ли режиссеру Сорокину, что своей подсказкой автору, не повреждая ни музейной ценности, ни эстетической глубины шедевра, она лишь углубляет трагически органную суть этого волнующего человеческого документа. И впервые в практике их отношений Сорокин отвечал, что нет, режиссеру такое не представляется, хотя сам по себе эксперимент и наводит на ряд грустных раздумий о вреде любого постороннего, с нахрапом, вторжения в труд гения.

— Скажите, может быть, уважаемому консультанту еще что-нибудь не нравится у Советской власти? — со злостью спросила хозяйка.

— Нет, до некоторых пор возражений не имеется, — с той же прямой отдачей, как в теннисе, парировал Сорокин.

И тут же свел на шутку новую размолвку, в том смысле, что, очутясь у черта на куличках, предпочитает не ссориться с ведьмой по пустякам хотя бы принципиального характера и, больше того, вполне разделяя демократическое стремление эпохи к широкой фабричной общедоступной инфляции художества, потому что труженику приятно иметь клочок солнца на стене. Он одобрил и данное сосредоточение сокровищ и даже попытался понять переживания запомнившего ему Шейлока, это странное

наслаждение собственника, достигаемое погружением рук в щекотный холодок соверенов и дукатов.

— Скажите, пластическую операцию над Саскией можно считать завершенной?

— О, вчерне, пожалуй... а пока мучусь, перекраиваю, все еще **ищу** пока. Последнее время стала такая мнительная... помощника своего измучила и сама извелась вся!

Вкратце она поведала ироническому лекарю, как поначалу вечера напролет зябла здесь от какого-то иррационального одиночества, бродила и заглядывала в ею же придуманные закоулки, одержимая бескорыстной жаждой скорее исследования, чем приобретения, и опасаясь преступить запретную черту желаний. Арбитр тем временем переводил рассеянный взор с вертикального пыточного станка, где терзали гения, на ампирный в дальнем по диагонали углу и как бы в розоватое сиянье одетый стол с непонятной издали драгоценной всячиной... но, в сущности, и его не видел, охваченный совсем уж нескромным влечением к своей собеседнице. И вдруг примирительно-изысканным тоном, в третьем лице, выразил сомнение — стоит ли достигшей своего полдня очаровательной даме развлекать догматическую скуку эпохи посредством опасной игры между пресыщением и разочарованием за счет иных, зря упущенных полнокровных радостей бытия, о которых придется пожалеть потом?

— И что надо делать по-вашему?

— О, на вашем месте я все же ринулся бы с головой из сомнительного гробового тлена в водоворот каких-нибудь необузданных страстей.., что нисколько не повредило бы репутации такой богатой невесты!

— Настаиваете на прежнем диагнозе *mode conditionnel*[1]? Кого же порекомендуете в партнеры, не себя ли?

— К сожалению, не отличаюсь ни благородным происхожденьем, ни богатырским здоровьем. Вдобавок королевы сами назначают себе фаворитов. — Он закусил губу, чтоб не наговорить еще более лишнего, и поспешил переменить разговор. — Скажите к слову, что у вас там такое королевское, раздражающее, расставлено на столе?

---

[1] В сослагательном наклонении *(фр.)*.

Как бы мимоходом Юлия провела консультанта в непосредственной близости от продолговатой, в латунь оправленной витрины, где слепяще желтое, благодаря подсветке изнутри, сиянье неминуемо должно было привлечь сорокинское вниманье. По первому впечатленью тут в самом зачатке обреталось ограниченное покамест казнохранилище владелицы, положенное в основу прочих художественных коллекций. На лиловом плюше под зеркальным стеклом навалом и с показной небрежностью грудились всякого рода низменные драгоценности, возможно, и ставшие основным, чисто философским поводом срочной ночной поездки. Тяжелая золотая фурнитура для восточных матрон преклонного возраста, аляповатые цепи и броши, массивные перстни с печатками во вкусе нэповских нуворишей, просто безделушки для утехи ненасытных пальцев ростовщика чванно теснили в угол всякую антикварную серебряную мелочь вроде табакерок вологодского черненья, чарочек со впаянными в донышко монетками, боярских браслетов с цветными по чеканному ободу уральскими камнями: все затейливо перемигивалось, манило руку убедиться, потрогать, взять. Так как ничему здесь в герметически замкнутом подземелье не требовалась охрана, значит, крохотный замочек с ключиком на верхней кромке ящика служил хозяйке некоторым сертификатом достоверности ее псевдосокровищ, что впоследствии тоже помогло Сорокину в разгадке ребуса. Ювелирные изделия, равно и **прочие** шедевры родятся лишь в жарком и **личном** поединке мастера с глыбой хаоса, с бездонной глубиной стерильно-чистого бумажного листа или, как в данном случае, с коварным и надменным металлом, из которого чеканится весь инструментарий зла, и нельзя было винить неизвестного и, видимо, **неземного** автора, который по незнанию тамошнего обычая пользовался в качестве образчика фирменными каталогами придворных поставщиков.

— Ах, всякий пока неразобранный хлам, — обернулась Юлия через плечо в направленье сорокинского взгляда. — Не успела рассовать по шкафам... угодно взглянуть?

Вблизи представшее зрелище просто ослепляло с непривычки, — впрочем, впечатление расточительного множества частично создавалось отражением в полиро-

ванной крышке стола... И опять почудился режиссеру нарочитый, спасительный беспорядок натюрморта.

Если не считать сдвинутой на край груды антикварных безделушек из кости, нефрита, горного хрусталя, числом не так уж много имелось там музейного добра. Среди чеканного серебра немецкого Средневековья и мелкой придворной утвари божественно мерцали, словно звездным светом пропитавшиеся, лиможские эмали... Но не они главенствовали там, а брошенная в глубине, видимая на просвет сквозь позднейшую, вовсе не уместную здесь для крюшона венецианскую чашу с нашлепками цветного стекла, совсем небольшая и пленительная вещица. Сорокин узнал с первого взгляда известную по всем хрестоматиям итальянского Возрождения золотую двухфигурную солонку работы самого Челлини, настолько невероятную даже среди окружающих чудес, что рука не смела потянуться к ней, чтобы удостовериться в реальности виденья.

— Ничего, не бойтесь, возьмите ее, согрейте в ладони... — откуда-то издалека донесся голос хозяйки. — Можете поласкать ее немножко, Сорокин!

Подчиняясь понудительному толчку под локоть, тот поднял со стола маленькую драгоценность, и тотчас с кисти до самого плеча мускулы напряглись от тяжести, уже не оставлявшей места сомненьям. Однако в намеренья Юлии входило не только сломить недоверие знатока, как будто стоимость материала, потраченного на старинное изделие, может служить сертификатом его подлинности... Нет, плебея приглашали зачерпнуть из Кощеева сундука пригоршню сказочных гульденов и дукатов — с непонятной пока целью понаблюдать сбоку, как подействует на беднягу грузный, сытый, желтый, щекотный холодок. Кстати, при беспредельных теперь возможностях Юлии помянутая вещь одна была там золотая; несмотря на подавленное состояние, гость отметил умеренность хозяйки, но так и не узнал до конца, чего ей это стоило.

— Боже, я узнаю эту вещь, но здесь мне необходимо проснуться. Пардон, у пани Юлии не найдется обыкновенного гвоздя поблизости, чтобы я мог уколоть себя? — фигурально выразил он свое почтительное восхищенье, как будто простой иглы было недостаточно.

— Дублет? — Подразумевалось, что находящаяся в обладании Юлии солонка выглядит не менее достоверно, чем знаменитый венский экземпляр.

Подкупленная таким безоговорочным признаньем, Юлия высокомерно подернула плечом.

— Еще вопрос, которую считать первой. Правда, мою Бенвенуто сделал гораздо позже, уже для Козимо Медичи, зато она и выглядит более зрелым произведением, правда? — Надо полагать, она не пренебрегла удовольствием называть мастера интимно, по имени, как если бы обладание его творением давало право на покровительственную фамильярность. — Обратите внимание: сюжет компактнее, фигуры не расклоняются, не выпадают наружу, трезубец заменен веслом, что придает произведению алгебраичную обобщенность. Таким образом, принадлежавшая когда-то французскому королю является лишь эскизом к **моей**, куда более совершенной... Вам не кажется, Женя, что эта, которая у вас в руке, гораздо симпатичнее, ведь правда?

Престранное, во всех историях искусств, умолчание о столь первоклассном авторском повторенье Юлия объяснила тем, что втайне сохранявшаяся в роду самой младшей из добрачных дочерей Челлини, **Репараты**, солонка так и не побывала в сокровищнице флорентийского герцога и тирана, кому предназначалась. Чуть раньше Козимо недоплатил мастеру за **Персея** и собственный его портрет.

— Вы, конечно, помните, Сорокин, ту великолепную бронзу с эмалированными белками глаз и позолотой на латах?

В ответ на законное сорокинское недоумение, откуда такая глыба золота взялась у обнищавшего к старости Челлини, последовал туманный, из деликатности к гению, намек на темную историю с утайкой Папских драгоценностей, стоившей мастеру двухлетнего заключения в какой-то не менее знаменитой башне. Плотность биографических сведений указывала на старания владелицы сконструировать из эпизодов авторской хроники как бы футляр для своей сомнительной игрушки. Однако очевидная перепутанность подразумеваемых дат, кое-где прямо противоречивших логике событий, указывала на спешку, с какой Юлия готовилась к своему испытанию.

— Что же, как видно, школьница изрядно готовилась к возможному экзамену, — коварно проворковал Сорокин. — Не напомните мне, случайно, который из тогдашних Пап застукал старика на хищеньях... Видимо, Климент Седьмой?

— Нет, тогда был уже Павел Третий, — не без заминки отвечала та.

Они пристально глядели в глаза друг дружке, и, кажется, Сорокин сердился на себя, что не может сквозь ил забвенья вспомнить какую-нибудь каверзную подробность из челлиниевской биографии.

— И вы, голубка моя, совершенно уверены, что именно так?

— Вполне... — сказала Юлия уже с мольбой во взгляде не ловить больше, не разрушать ее легенды и вот уже пыталась взяткой купить его молчание. — Но я вижу, вам приглянулась эта **штучка**. Можете взять ее себе на память... если хотите?

Неожиданный ход заставлял задуматься. Видимо, Юлия нуждалась в соучастнике чего-то, но чего именно?

— И вам не жалко, пани Юлия, расставаться с таким чудом? — не сразу, борясь с искушением, все вертел он в руках почему-то подозрительную, вдруг, драгоценность.

Маленькая искусная хитрость оправдала себя.

— О. нисколько... одним движеньем пальца, не моего, конечно, я могла бы завалить **им** весь тот угол! — с вызовом пресыщенья кивнула она на затемненный, перед ними, полукруглый проход в стене, почему-то напомнивший Сорокину мозговую извилину неизвестного назначенья. — Да вы смелее, Сорокин: кладите скорей за пазуху, раз дают...

Поневоле, чтобы не получилось смешно, приходилось поторопить недоверчивого плебея.

— Ну же, берите... пока не раздумала! Не бойтесь, это не взрывается...

— И все же я воздержусь, пожалуй, — отвечал тот, бережно возвращая на место ценный предмет.

— Любопытно... — одними губами усмехнулась обиженная пани, — какими соображениями вызвана столь негаданная скромность?

— О, наверное, теми же, что и чрезмерная щедрость пани. Но как вам с детства известно, милая Юлия, — впо-

лушутку сопротивлялся режиссер, — богатства мудрых составляются из миров нетленных!

— Если опасаетесь, что убьют по дороге домой, — несколько грубовато, явно злясь на его колебанья, сказала она, — то перед вами исключительно добрая ведьма, свои дары она обеспечивает не только доставкой на дом, но и вечной сохранностью.

— Все равно не пойдет, дорогая... у меня просто негде посадить слугу с пулеметом для охраны такого подарка, — поклонился Сорокин и взглянул на часы с вопросом — много ли чудес осталось для обозренья впереди?

Потребовалось некоторое время, чтобы восстановилось утраченное равновесие, после этого, будто ничего не случилось, продолжился осмотр подземелья. Подтверждались недобрые, смутные покамест догадки режиссера насчет истинного характера навязанной ему консультации, но генеральное испытание ожидало его впереди.

Заметно смущенная суховатым тоном отказа хозяйка предложила идти дальше без задержек, минуя путаные боковые ответвленья, надоумившие Сорокина на замечанье, что, пожалуй, в случае **чего** им и не выбраться из подобного лабиринта; была помянута также Ариаднина нить для энциклопедического блеска. И так как Юлия припустилась допытываться, что за **случай** имеется в виду, будто здесь-то и заключалось главное, Сорокин вынужден был отбиться первым же подвернувшимся реалистическим доводом: если перегорят пробки освещенья, например.

— Однако я заявляю вам формальный протест, — полусерьезно взорвался Сорокин. — Целый час, пардон, с гаком, вы водите меня за нос в своем феерическом иллюзионе, не досказываете чего-то, а только с фосфорической улыбкой взираете на мою способность производить по всякому поводу высокоинтеллектуальный конферанс. Так у нас дело не пойдет, перед консультирующимся врачом надлежит полностью обнажаться, мадам!.. Или вы, что, стесняетесь признаться в чертовщине, которую я и без вас давно раскусил? Меня не покидает гадкое чувство, что кто-то шалит со мною гипнозом из засады, через замочную скважину... Но кто? Поборите в себе ложное смущенье: никакая мистика не порочна, если в

состоянии представить оправдательные рекомендации так называемому здравому смыслу. В конце концов процесс умственного развития, помимо чисто утилитарных выгод в смысле поблажек похоти, не менее приятен нам возможностью безотрывно лакомиться некой коварной, наподобие **эскимо** холодящей тайной, полизывать и покусывать ее со всех сторон, добираясь до главной, иррациональной вкусноты в середке... и кто знает, что еще откроется нам внутри, прежде чем она снесет нам башку вместе с кусалками. Если **оно** еще не началось, то будем тешиться надеждой, что заключительная вспышка познания состоится чуть позже нас. Беглый обзор века, общественные симптомы вроде преждевременного, в ряде стран, загнивания ростков юности, также состояние искусств с их паническим отказом от мышления, сама нравственная структура событий показывают, что мы присутствуем при закате прежнего обветшалого божества, в канун интронизации его антипода... И, пардон, что мешает вам раздеться до конца? Вслух назвать своего покровителя?.. Что вас смущает в нем — его внешность, прошлое, дурной характер? Но эстетика всегда подстраивалась к действительности, и любое злодейство с приходом к власти автоматически реабилитируется с вручением ему романтического ореола, даже известного благообразия — хотя бы и с обратным знаком, разумеется, подобные смены не обходятся без нервных переживаний для современников. Но ведь по самой логике владычества с его падкостью на лесть и ладан не примется же новый начальник сразу по восшествии на престол за истребление подданных, которые ради избавления от скуки тотчас присягнут ему на верность, не так ли? В смутные эпохи самое безопасное место для такой прелестной дамы, как вы, у него на спине! Перестаньте же морочить меня, пани... Вы, что же, и впрямь оседлали черта? Редкая удача, мне остается лишь порадоваться за ваших друзей... Мой вам совет не выпускать из колен свое влюбленное чудовище: утомляйте, утомляйте его почаще, лишайте адской спеси, воли, самообладанья даже...

Юлия поглядела на него с пронзительным интересом.

— Вам в самом деле так не терпится сменить свое подданство, Женя? Должна огорчить вас: мой всего лишь ангел.

— Как он выглядит, ваш ангел?

— Только не таким, как их изображают. — По словам Юлии, Дымков долго качал головой, когда она показала ему благостную, в голубом хитоне и распростертыми крыльями, склонившуюся перед Марией золоченую полуптицу на знаменитой фреске Фра Беато Анжелико. — Вот я пришлю вам контрамарку, и вы увидите, как это выглядит на деле.

— Ах, это он и есть... — догадался, наконец, режиссер.

Сообщение было так неожиданно, что подавленного сорокинского молчания хватило по меньшей мере на полтора зала, и вряд ли приметил хоть одну из врезанных там в стены равеннских мозаик. Допущение дьявола, неоднократно обыгранного в большой литературе, представлялось куда более закономерным, нежели его противника, чье упоминанье в их кругу было бы сочтено банальностью самого дурного вкуса.

— Пожалуй, тоже неплохо, — с комическим жестом согласился он наконец. — Поздравляю вас с ангелом... но черт, хотя по бессмертности своей тоже не испытывает необходимости воспроизводства, тем не менее в силу приписанной ему порочности представляется мне в романтическом плане несколько перспективнее. Ангелы же по абсолютной своей, в смысле греха, стерильности всегда рисовались мне как исключительно плохие любовники... учтите, Юлия.

— И вы не боитесь, нахальный Сорокин, — в свою очередь едко посмеялась Юлия, — что, стоя где-то рядом, даже за спиной у вас, он услышит ваше предостереженье?

По многим признакам тому стоило некоторых усилий не оглянуться через плечо.

— Я хотел бы думать, — официальным тоном произнес Сорокин, — что подразумеваемый, неизвестный мне господин располагает чувством юмора хотя бы вполовину своего могущества... — И снова взглянул на часы. — Однако, отдавая дань его разнообразным дарованьям, я вынужден подумать о возвращенье. У меня трудный день завтра...

— О, потерпите... скоро мы будем на месте, где вы сможете проявиться в полном блеске, Женя! — зловеще посулила хозяйка.

Между делом навеянные подземельем приходили на ум самые головокружительные соображенья. Например, если сам он, как и объект его разрушительных усилий, является всего лишь причудливым сгущеньем сил в странном магнитном поле, то вдвойне жутко было представить, что некто, в действительности несуществующий, сознательно уничтожает нечто, чего на поверку тоже нет. Значит, суть заключается не в отменной добротности изделия, а в том, что актом творения и в спешке, что ли, не была предусмотрена именно **такая** его поломка. Здесь-то Сорокин и сделал любопытное открытие, впоследствии послужившее ему ключиком к разгадке ребуса в целом. В беглом рассказе Юлии об истории своего музея, созданного на голом месте волшебством ее приятеля, упоминалась вскользь единственная и знаменательная его неудача, прямое указание на сомнительное всемогущество бессмертия. Речь шла о задуманной было ею, вполне осуществимой с помощью посторонних-то сил, полагала она, переписке выдающихся покойников всех веков, культур и континентов. Не в подражанье виртуозным подделкам известного Врен-Люка, изготовлявшего для университетских хранилищ пергаменты сверхисторического содержанья вроде писем Пилата к Иосифу Арифамейскому. Затея не означала также и веры в загробное инобытие, где бездельные людские тени низшего пошиба круглосуточно бьются в домино, как пенсионеры на московских бульварах, тогда как поголовастее, слоняясь в безветренных рощах подземного Академа, треплются на свои, без износу, вечные темы. Подразумевались не сами они, а их отстоявшиеся в памяти нашей философские личности, чьи суждения о вещах в той окончательной редакции, как они видны **оттуда**, позволили бы проследить эволюцию смысла человеческого в гераклитовой реке. Дымкову, на фоне уже содеянного им, не составило бы труда технически осуществить сенсационную и, ввиду обилия участников, многотомную библиотеку, способную заинтересовать любое европейское издательство. Не барыш или истина интересовали Юлию, хотя не отказалась бы от удовольствия прочесть на титульном листе издания имя изобретательницы еще неслыханного литературного жанра. Постигшее ее разочарование в виде целого шкафа нарядней книжек с золотым обрезом, но пу-

стыми страницами показало абсолютную непригодность ангела для подобного заданья. Заметно попритихший от стольких обольщений ума, режиссер с возрастающей тревогой ждал приближающейся разгадки. Почему-то Юлии понадобилось вести гостя кружным путем, через ряд подсобных помещений, в том числе многоэтажной емкости кладовую с разностильным архитектурным реквизитом для еще более фантастических, лишь задуманных постановок. Поистине только бригада ифритов ухитрилась бы просунуть сюда, сквозь земляную толщу, монументальные фрагменты знаменитейших зданий, до поры начерно и поплотнее приставленных один к другому — вроде мраморной и до оскомины памятной откуда-то двухмаршевой лестницы с античными изваяньями на постаментах. В промежутках, словно впрок натасканные диковинки в сорочьем гнезде, красовалось множество всяких однажды приглянувшихся **запчастей** помельче. Золоченые, к примеру, алтарного типа двустворчатые врата Сорокин увидел сквозь клювастую решетку из башенной амбразуры, а многофигурный готический фриз с развернутым сюжетом на евангельскую тему, помнится, заслонялся свисавшим с потолка набором колоколов на полную октаву, также коллекцией венецианских уличных светильников и фонарей... Сквозило сумасбродное намерение самоучки смастерить еще неслыханный город из отборных кубиков мирового зодчества. Наверное, посредством перечисленной мешанины Юлии хотелось внушить эрудиту почтение к своим творческим поискам, в пределах нахватанных знаний, разумеется.

Тут на проходе, за аркой справа, мелькнул было уютный монастырский дворик, **patio**, раннего Средневековья в окружении крытой мавританской колоннадки с колодцем посреди квадратного газона. Режиссер Сорокин машинально, как в оазис, устремился туда на струйчатое журчанье послышавшейся воды и даже с клочком итальянского неба над ним.

— Нет-нет, тут вам нечего делать, — заступила ему дорогу владелица чудес, приглашая пройти за угол лабиринта. — Еще немножко, и мы с вами у цели, ради которой я и потащила вас с собой!

С непонятным смешком Юлия пояснила также, что отсюда-то и начинается самая мучительная часть ее ноч-

ных владений. Тотчас за поворотом открылся, видимо, уже последний теперь, но после недавнего ошеломляющего преизобилия какой-то до гулкости пустынный зал. Ничего примечательного не было там, кроме мощного, во всю заднюю стену, сооружения прямо напротив вошедших. То был нависающий, от старого готического собора, мрачновато-торжественный портал, однако без положенных фигурных композиций в стрельчатом своде и на боковых откосах. Зато струйчатая фактура известковых плит создавала бредовое и, видимо, не случайное для настроений хозяйки впечатление распущенных волос... скорбное прибежище не нуждается в орнаментациях! Можно было проследить путь разочарования, каким шла сюда Юлия, и оттого что ни одна подробность не могла явиться здесь случайно, то отныне каждая новая приобретала в глазах Сорокина значение симптома, по совокупности коих и предстояло ему вынести свое медицинское заключенье. В наличии заболевания он уже не сомневался, и, может быть, состояло оно в безграничности желаний.

Из-за размера той каменной, на боку внушительной воронки, ужасно маленьким казалось входное, без двери, отверстие в ее глубине.

— Входите, если не раздумали получать свой **хабар**! — сказала Юлия наконец.

Но тот недоверчиво покосился на дыру, словно предлагали лезть по меньшей мере в замочную скважину.

— Ах, Боже, ничего не случится с вашей драгоценной особой... Ладно, пустите, я сперва!

Холодком высоты и простора повеяло ему в темя, но все равно, переступая порог, почему-то втянул голову в плечи, даже подзажмурился слегка. Ничего дурного не случилось с ним, однако если не считать отчетливого вдруг предчувствия какой-то ямы впереди. Если до сих пор безвкусное нагроможденье чересчур именитых шедевров значительно ослабляло сорокинские впечатления от этого собрания чудес, теперь ироническое удивление сменялось пониманьем крайней серьезности своего приключенья. На его сужденье предлагалась предметная, в пофазном изложении, история неописанной заразительной болезни, судя по тому, как непривычно шатнулось что-то в его подсознании, когда через силу взглянул в

гнетущую высь над собою. То было до эфемерности удлиненное и практически отвлеченное архитектурное пространство, без декоративных прикрас и, видимо, все еще в работе, потому что во всех направлениях исполосованное грубыми, как после снятия опалубок, рубцами поправок, сомнений, отвергнутых намерений. Но если от ранее осмотренных частей подземного объекта оставался в памяти хоть какой-то след образной категории — той же простоволосой печали, например, то теперь Сорокина обступало нечто иного порядка за пределами нормального мышленья, и до такой степени ни с чем прежним несопоставимое, словно переместился в пораженный недугом орган человеческой души.

Они находились в своеобразной, вытянутой вверх **ротонде**, с многоярусными подвешенными в куполе галереями словно для обозрения чего-то далеко на дне исполинского цилиндра, в свою очередь увенчанного полупрозрачной дымчатой сферой. Сквозь нее лилось сиянье как бы июльского предзакатного неба, рассеиваясь по высоте, оно расплывалось внизу в сероватые сумерки, достаточные, впрочем, чтобы различить лицо собеседника. Но и та, чисто маниакальная конструкция меркла, уступала место еще одной последней головоломке, казалось, нарочно придуманной для помрачения рассудка.

По ту сторону круга, в какой-нибудь полусотне шагов перед собою, Сорокин различил два входных отверстия тоннельного диаметра — при третьем, едва намеченном. Но если левое, видимо, еще не до конца продуманное, было наглухо зашито обыкновенным фанерным щитом, тускловато освещенное правое во всю свою сквозную бесконечность зияло какой-то безнадежно-засасывающей пустотой. По мере ухода в глубину ребра потолочных перекрытий переставали различаться, и потом все сливалось в сплошное мерцание, как в ружейном стволе, где малейшая подвижка обозначается радужным смещеньем световых колец. Смотреть туда было не менее изнурительно, чем в неогражденную отвесную шахту прямо под ногами. Ощутимо стекавший к ногам слабый сквознячок довершал головокружительное сходство, и как ни пытался режиссер отвернуться от соблазна, вновь и вновь приманивал его острый со сбегом в точку, гипнотизирующий глазок бездны.

Лучше всего было вовсе не думать о нем:

— Пани Юлия большая выдумщица. По-видимому, мы забрели к ней в лабораторный корпус... хотя и не совсем ясного назначенья. Итак, что она втихомолку поделывает здесь?

— Ну, разные там вещи, — неопределенно плечами пожала та. — Кричу и плачу. Вам, например, не случалось стоять подолгу перед зеркалом во тьме... неполной тьме?

— И не раз, конечно! Поздно возвратясь домой, не сразу нашаришь в прихожей выключатель на стене...

— Нет-нет, Женя, тут нечто совсем другое. Если затаиться и подождать немножко...

— Ну, и что получается тогда?

— О, можно увидеть жуткие вещи.

Она загадочно и чуть обидно усмехнулась, после чего некоторое время их диалог велся молча. Под воздействием сближающих обстоятельств, в особенности социальных, сопротивление коим проявлялось порой у Юлии в форме оскорбительных срывов, у них выработался им одним понятный язык, позволявший публично перекинуться словечком без посвящения посторонних.

«А зачем, зачем вам становиться лицом к лицу с чем-то, чего нет? Недаром мы избегаем оставаться даже с самим собою, кого тоже не знаем до конца. Конечно, нет такого числа, чтобы нельзя было прибавить единицу... Но зачем? Надо примириться, что безразлично — душа или бутылка, в обе не нальешь и капли сверх обозначенной емкости. Икарова же дерзость взлететь на волне удачи куда-то по ту сторону естества неизменно кончалась мертвой зыбью разочарования, и оттого, право же, грешно в условиях стерильной социалистической действительности пренебрегать на житейской дороге всякой конкретной радостью, о которую так легко сломать ногу, если вовремя не нагнуться и поднять. В конце концов никому еще не доводилось охватить мир, сомкнув позади него пальцы хотя бы ума только, если не владычества, чтобы весь мир уместился в горсти. Когда же иные, по нехватке средств на освоение пучины, кидались в нее со скалы с раскинутыми руками, всегда бывало больно, негигиенично и смешно».

Вкратце приведенный без пауз и возражений диалог выходил за пределы обычной болтовни, причем весьма

обнаженный смысл его сводился к выводу, что при благоприятной обстановке грешно пренебрегать конкретным счастьем, которое выявляется иногда прямо под рукой. Неприятный коэффициент грубости объяснялся вдруг обострившимся накалом их отношений. И хотя Сорокин держал пока в секрете, чья кандидатура в любовники имеется у него в виду, завуалированный давешний абзац нес откровенную целевую нагрузку: предложение небольшой любви. Кстати, тем забавней через несколько минут обернулась недостаточно продуманная им эскапада.

— Итак, простите, все еще не понял... — возобновил он прервавшуюся беседу. — Верно, как в гадательном зеркале какая-нибудь чертовщинка выскакивает за плечами. Но... требуется для успеха небольшое подпитие или можно просто так? Не мучьте же меня жгучей неизвестностью... в самом деле, щекотное удовольствие?

— А вы попробуйте, Женя, если выдержки хватит. Мы слишком редко всматриваемся в ту сторону, где самые незаурядные открытия, возможно, подстерегают человечество.

— Например? — иронически нацелился Сорокин.

— В данном случае, кто тогда начинает всматриваться в вас из того же стекла вашими собственными глазами?

Даже смущала несоразмерная поводу серьезность ответа.

— Но, пардон-пардон, за каким **хреном** пани Юлии при богатейшем ассортименте здешних удовольствий пускаться в сомнительные занятия... вообще в пограничные дебри, где разве только лошадь не свихнется!

В порядке обычной пикировки Юлия сослалась на повышенную чувствительность названных тварей, которые вряд ли по одной лишь отсталости миросознанья дыбятся перед ночными оврагами и бьются в постромках в доказательство полной своей непригодности для подобных экспериментов.

— По вашему мнению, они противопоказаны мне одной или одинаково нежелательны и для избранных киноартистов тоже?

Но прежде чем ответить по существу, Сорокин поймал на себе ее скошенный, с блестящей остринкой взор без того почтительного привычного ему женского любопытства к своей высокоодаренной личности, что порою вне-

запно, как и минуту назад, вдохновляла его на экстренные плебейские порывы. Словно врасплох застигнутую, он не узнал вдруг преобразившуюся Юлию. Стеклянная пристальность ее зрачков молниеносно высветила в памяти давнюю, в детстве подслушанную сплетню о старшей, неблагополучной сестре незабвенного Джузеппе, проживавшей чуть ли не в самом фургоне со зверьми, великанше и безответной исполнительнице жутковатого номера **куль с картошкой**, где ее, зашитую в мешковине, роняли с высокоперегруженного воза, в разных направленьях переезжали колесом, а также, неизменно улыбавшуюся в холстинное окошечко, подвергали другим испытаниям на телесную выносливость. Возможно, именно эта, почему-то не сохранившаяся в анналах простонародных зрелищ и на широкой публике проверенная буффонада послужила праобразом жесткому, с гладиаторским презреньем к боли и состраданью, цирку Джузеппе **Bambalsky**. По счастью, у самого Сорокина все обстояло отменно по части наследственности, которая у его собеседницы, по его пониманию, определялась степенью усталости фамильного гена плюс к тому скопившейся психической накипью от чересчур эмоционального цикла нескольких предшествующих поколений, и потому благоразумней было увернуться от щекотливой темы. Кажется, Юлия правильно истолковала смену его настроений:

— Я вижу, у вас начинает складываться диагноз моей болезни. Так что же древние оракулы изрекают на мой счет?

— Лишь преамбулу пока!.. Но Сенека, к примеру, утверждал, что самые страшные недуги прячутся под маской цветущего здоровья. Тем соблазнительней предложение пани Юлии поставить опыт с зеркалом на собственной персоне. На будущей неделе в моем ужасно сгустившемся графике намечается оконце денька на полтора, и тогда, со свежими нервами, после бритья, я, наверно, рискну испытать на себе дыханье бездны. Теперь скажите, уважаемая, в своем роде зеркальная труба тоже служит пани Юлии для каких-нибудь загадочных исследований?

— В сущности, для тех же целей, что и зеркало. Вам незачем откладывать проверку себя в дальний ящик.

— Прелестно... Какого рода услуги требуются от меня?

— Всего только пройтись вглубь и затем спокойно вернуться под воображаемые овации зрителей.

— Хотя наш брат артист и падок на аплодисменты, но чтобы заслужить их... Скажите, имеется там, на стенке, что ли, какая-либо рекордная отметка, которую придется перекрыть?

Подразумевалось, что для полного преодоленья дьявольской трубы не хватило бы и вечности, которую из-за назначенных наутро актерских проб в Мосфильме он к величайшему прискорбию никак не сможет бросить к ногам пани Юлии. Та поспешила снять его опасенья.

— Вам будут принадлежать первые сливки и лавры! — и, Боже, как ласково звучал ее голос. — Никаких отметок, ни открытых люков или ловушек. Ничего, кроме обыкновенного коридора и под прямым углом пересекающих его ответвлений.

Несколько мгновений Сорокин выстоял, зажмурясь в попытке разгадать характер предстоявшего ему **теста** — на атавизм, ребячество или еще неведомый науке вид тоннельной клаустрофобии? Потом обобщенным планом, словно фонарик сбоку зажгли, прояснилась скрытая цель поездки — показать непокладистому режиссеру — какую тему, вернее — актрису, еще точнее — актрису с каким **приданым**, хотя и нереализуемым ни идейными, ни финансовыми возможностями советского экрана, теряет он в лице Юлии... Кратковременное наважденье сопровождалось мучительным подобием головокружения, словно в центробежном вращении все более отвлеченных, недодуманных мыслей, увлекавших его в свой хоровод, утрачивалось умственное равновесие. Из них главная: в частности, что только в полном по вертикали составе, для исторической взаимоподстраховки, род людской и мог отправиться в столь ледяную, исполинскую неизвестность, которую ему предстояло прогреть собственным теплом, наполнить мясом своим, **собою** для приспособления под жилье — не ведая наперед, что находится на том конце маршрутной трубы — казарма, склеп, складское помещенье, чтобы заранее обрекать себя на такое количество солдат, неведомых товаров, мертвецов... Однако, как бы ни обстояло дело, после недавней конфузной заминки для Сорокина возникала

настоятельная необходимость совершить близкий к подвигу поступок, а, по счастью, наметившееся задание выглядело настолько пустячным, что, право же, стоило подумать о своей репутации в замкнутом кружке Юлии, где вещи и пожелезнее пускались в круговой перемол.

С развязной ужимкой, словно воду пробуя перед купаньем, он вытянул было ногу вперед, как бы не решаясь занести ее за роковую черту порога.

— Но сама-то пани Юлия уже прогуливалась по своему проспекту хоть разок? — все еще с ногой на весу допытывался у ней режиссер, пока не качнула отрицательно головой. — Почему?

— Просто боюсь, — открыто солгала она.

По-женски исчерпывающий довод не воодушевлял на героическое поведенье, но отступать было некуда. Фланирующей походкой прославленного кинокомика, бойко частя вывернутыми ступнями, режиссер отправился в испытательную прогулку. Вскоре он, правда, перешел на нормальный шаг с шутовским пришаркиванием ради мужского престижа, но, видимо, так сильно ощущалось присутствие молодой женщины позади, подобно ветру гнавшее все дальше, что, к чести его, протекло несколько полновесных минут, прежде чем остановился вникнуть в тишину вокруг, как, приложив ухо к раковине, слушают плененный ею шум моря, а еще через десяток шагов и пытливо всмотреться в направлении обоих флангов, применяясь к паническим, даже со стороны очевидным смещеньям в себе самом. Никому впоследствии не признавался, как внезапно облился весь испариной страха, но Юлия издали по странно укоротившейся спине прочла охватившее его смятенье. Шаги становились мельче, остановки чаще и с потребностью ощупать воздух перед собой, пока не замер окончательно, психически балансируя на краю чего-то: обычное стоянье над пропастью, куда нас так и тянет спрыгнуть, чтобы не упасть. Тут-то, вопреки наставленью и в поиске опоры, что ли, он и допустил неосторожность дважды оглядеться вокруг себя, и, ни в одном из тоннельных лучей не обнаружив ориентирной женской фигурки, всего на пару шагов и отступившей-то за уголок, издал нечеловеческой тональности крик. В следующее мгновенье с поднятыми руками и нелепо всхлипывая, уже мчался ко вновь появившейся

спасительнице, заметно обескураженной чрезмерным успехом эксперимента.

Между прочим, спешил он, словно магнитной силой выброшенный из тоннельного ствола, и уже в зоне полной безопасности с такой резвостью проскочил мимо дамы, что та не только словом увещания, ничем не смогла бы притормозить его, — ей оставалось лишь пуститься за ним следом. К слову, если не собственным телом своим проделал себе выходное отверстие режиссер в зыбкой толще чуда, значит, с разгону угодил в какую-то ранее не замеченную потайную щель. Таким образом, возвращаясь по кратчайшей теперь дороге, они вывертом колдовства или секретом лабиринтного устройства вышли прямо к парадной лестнице, по которой спускались в подземелье, только с другой стороны. И настолько были предусмотрены там аварийные случайности, что сразу очутились перед желанной, в стенной панели, нишей со светящейся сбоку точкой, которую с ходу всей ладонью и надавила Юлия. Послышался машинный гул, и раздвинулись дверцы лифта, но и за все время подъема не обменялись и словом, в какой-то психической задышке избегая даже глядеть друг на дружку. Было бы не великодушно со стороны Юлии задерживать внимание на катастрофической сорокинской неприглядности по выходе из трубы, а тому по соображеньям мужского достоинства тоже не к лицу было попрекать любезную хозяйку за угощенье своеобразным, чисто умственным лакомством. Впрочем, та ждала большего эффекта вплоть до рвоты зеленой слизью, как однажды на том же месте, в сходном же припадке случилось с ней самой.

Разговор о случившемся завязался у них лишь на обратном пути, когда просвещенный деятель кино попытался подвести научно-оправдательную базу под свое прискорбное поведение.

— Представляю, с каким нетерпением пани Юлия ожидает от меня... ну, моих впечатлений, — солидно, местами с переходом на басок, заговорил Сорокин. — Надо отдать справедливость, лихо там у вас задумано: **миракль**, чистейший миракль! Само по себе пространственное ощущенье было мне до такой степени в новинку, что я до сей поры не могу толком постичь мое фиаско. И вы

представляете, конечно, как загремит картина с вашим участием, которую я заочно и творчески успел полюбить, если бы о нем проведали наши присяжные хохмачи с Потылихи... Кстати, очень громко я кричал?

— Как вам сказать, не очень. Мне давно хотелось полечить вас, Женя, от цинического презренья к тайнам, но вы как-то слишком быстро сглотнули мое лекарство. Так что же именно, если в двух словах, испытывали вы в итоге?

Благоприятно отозвавшись о живописных странностях ее подземного хозяйства, Сорокин оговорился, что сооружения и события нашего времени нередко сбивают с толку показной грандиозностью размаха, которым нередко движет до ничтожности крохотная пружинка. Нет, ему далеко не целиком понравился этот многослойный мираж, обусловленный мощным электромагнитным полем нераскрытого пока происхождения и, в общем-то, смахивающий на пену из мыльных пузырей, радужную оболочку которых физика не сегодня-завтра проткнет насквозь электронным пучком, как пальцем, не обнаружив особо примечательного на его конце. Правда, изустная история человечества изобилует псевдомагическими феноменами такого рода, но подобно тому, как в армии в победном продвижении обтекают мелкие крепости, всякие огневые точки долговременного сопротивления в расчете на их самостоятельное затуханье в тылу, так и наука разумно исключает разные загадочные частности из поля зрения, ибо стоит ли портить фасад, престиж и прозрачную логику естествознанья ради нескольких сомнительных исключений? Да мало ли что может причудиться современному человеку с его памятью и знанием, с выращенной на них плесенью ущербных концепций — в колдовском зеркале абсолютной пустоты!... Тем не менее Сорокин рассчитывал уже через недельку, как только станет вновь пригодным для интеллектуального употребления, с позволения пани Юлии, еще разок обревизовать ее подземный музей, который теперь представлялся ему в чем-то сродни обыкновенному подвалу с нетопырями.

В особенности последняя, врастяжку произнесенная сорокинская фраза с парой ученых словец вовсе не понятного значения выразила его готовность к глубокому

философскому раздумью, несмотря на досадную нравственную травму. Когда же Юлия, обернувшись к нему на сиденье и, видимо, торопясь по горячему следу, пока не **остыло**, выведать для человечества переживанья гения, попросила его описать свое тогдашнее психофизическое состоянье — «хотя бы на что это похоже», то режиссер тотчас воспользовался счастливым случаем искупить, загладить научным анализом, поправить в глазах собеседницы свое пошатнувшееся **реноме**.

— Трудно подобрать сравненье... — сказал Сорокин, вдохновляемый молчанием Юлии, участливо коснувшейся его рукава, — но в целом это слагается в своеобразную фугу, требующую... ну, я бы сказал, даже стихотворного пересказа, пожалуй. Представьте, цельного литья маховик внутри вас срывается с оси и, подскакивая в силу получившейся децентрации, убегает... и вы с ним куда-то. Но скачки переходят в ритмичные пространственные петли, всякий раз просекающие плоскость сознанья с одновременным сокращением диаметра и убыстрением цикла..., причем сложность заключается в том, что уже иссякает надежда выбрать момент, чтобы хоть на предпоследнем витке, прежде чем уйти в смертельную точку, выскочить во тьму и по траве уползти все равно куда — в сон, в детство, к серому волку в сказку...

Похоже, поэтический отчет так понравился ему самому, что по привычке уже ждал заслуженной похвалы.

— Очень интересно... посылает же иным Господь! — почтительно сказала Юлия. — А скажите, Женя, попутно не замечалось каких-нибудь спазматических явлений... ну, чисто желудочного типа?

Его уши зарделись, и заныли намертво стиснутые зубы. Конечно, все было возможно в ту фантастическую ночь да еще в полете на автомобильной метле в сотне метров над необозримой луговой поверхностью, — любые срывы в том числе. Но оскорбительное предположенье опровергалось самой необходимостью поставленного вопроса, так что беспричинную дерзость его нечем было истолковать иначе, как заблаговременным сопротивленьем щекотливой царственной недотроги уже тогда намечавшемуся жребию. Словно приглашая к мужеству, Сорокин погладил ее пальцы в перчатке все

еще у себя на рукаве и с близкого расстоянья так легко читалось в его лице — «ага, кусаешься, не хочешь, голубка... ничего, скоро, теперь марш в кроватку!», что у Юлии создалось впечатленье, словно по холке потрепали перед седловкой.

Вместо ответа только и спросил сквозь безупречную улыбку, не опасается ли пани Юлия, легкомысленно оставившая руль без надзора, стукнуться о водонапорную башню с наезда, но тут оказалось, что летучий вездеход Юлии снабжен всякими новинками, о каких лишь мечтают военные ведомства и каким-то чуть ли не радарным автопилотом.

Доставленный к дому, Сорокин долго корил себя в тот вечер за плебейскую несдержанность: выместил на прощанье накипевшую обиду.

— Давно собирался спросить... если не семейная тайна, разумеется. Кажется, сестренка покойного Джузеппе Паскуальевича тоже была циркачкой, но почему-то ни одна цирковая энциклопедия даже мимоходом не упоминает о ней в разделе о вашей династии. Она, что, в ссоре с братом, бросила арену, осела где-то за границей... просто не существовала, наконец?

К сожалению, пущенная неточной, дрожащей рукой стрела не достигла цели:

— Ничего о ней не знаю. Во всяком случае, за столом у деда не принято было говорить о ней. Она умерла еще до моего рожденья. Кажется, от туберкулеза.

К стыду своему, с поцелуем склонясь к ее руке над приспущенным стеклом, не удержался от совсем уж лишнего вопроса.

— Наверное, **это** было очень смешное зрелище, правда?

— О, мне приходилось видеть и смешнее, но... поправляйтесь! Возможно, вы мне еще понадобитесь на днях...

Выйдя из машины, режиссер не торопился захлопнуть дверцу, злился и не мог. Сама по себе ссадина на ушибленном месте почти не ощущалась, болел скорее оторванный лоскут. Все не приходило на ум что-нибудь путное, чтобы вычеркнуть из памяти досадное происшествие и как-то оправдаться в своих неудачах перед пани.

— Не горюйте, бедный Сорокин, ступайте, все наладится впереди. Я позвоню вам завтра... — посмеялась она на прощанье, зная наперед, что в наказанье за случившееся сама не позвонит ему ни завтра и, возможно, никогда потом.

Некоторое время режиссер задумчиво глядел вослед удалявшейся машине, пока скорбная, в сопровождении икоты, и куда-то вверх по пищеводу струившаяся желудочная пустота не напомнила ему тот внимательный испытующий взор Юлии, когда он усердно на ее глазах утолял свое природное пристрастие к мучным сладостям, причем не исключалась и версия заранее подстроенного спектакля, и вдруг в лице и сжатых кулаках отразилась решимость при случае расплатиться с пани за ее волшебное угощенье, которое и позволило ему разоблачить чудо.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАГАДКА 8
ЗАБАВА (гл. I — VII) 524

Леонид Максимович Леонов

Собрание сочинений в шести томах

ТОМ ПЯТЫЙ

Редактор *О. Хвитько*
Художественный редактор *А. Балашова*
Технический редактор *О. Стоскова*
Корректоры *Н. Иванова, Л. Кузьмина*
Компьютерная верстка *И. Немцева*

Подписано в печать 23.08.13 г.
Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Ньютон». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 37,8. Уч.-изд. л. 37,82.

Книжный Клуб Книговек.
127206, Москва, Чуксин тупик, 9.
www.terra.su

Отпечатано BALTO print
www.balto.lt
www.baltoprint.ru

Литературное
приложение

ОГОНЁК

www.terra.su

ISBN 978-5-4224-0729-3